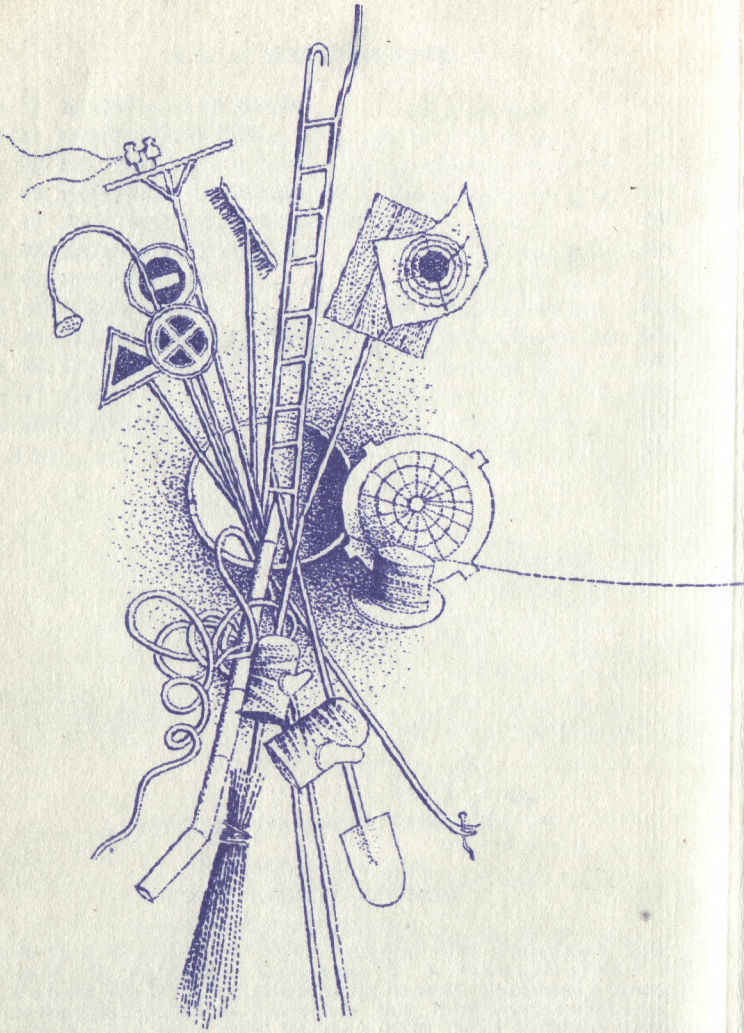
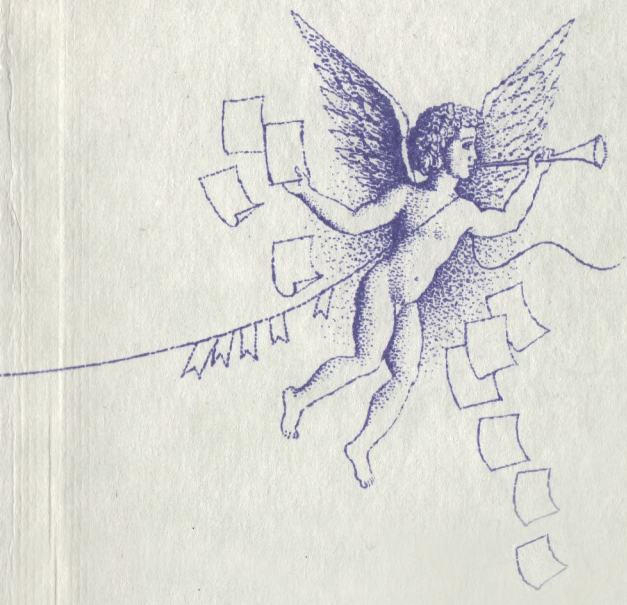
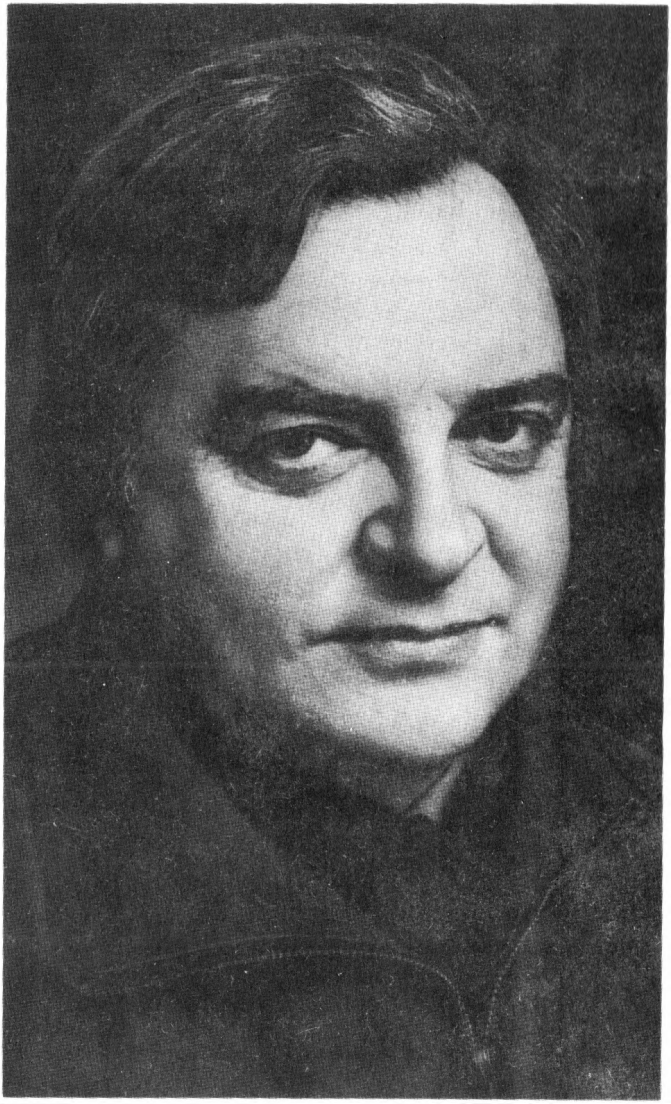
Александр Житинский

ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ, или Разговоры с милордом







Александр
Житинский

ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ, или Разговоры с милордом



РОМАН

Советский писатель
Ленинградское отделение
1989

ББК 84 Р7
Ж 66

Художник Валерий Мишин

Житинский А.

Ж66 Потерянный дом, или Разговоры с милордом: Роман.— Л.; Сов. писатель, 1989.— 584.
ISBN 5-265-00547-1

Многоплановый роман Александра Житинского — о сорокалетнем ленинградском архитекторе с незадавшейся судьбой — отличают фантастические коллизии, увлекательный сюжет и острый юмор.

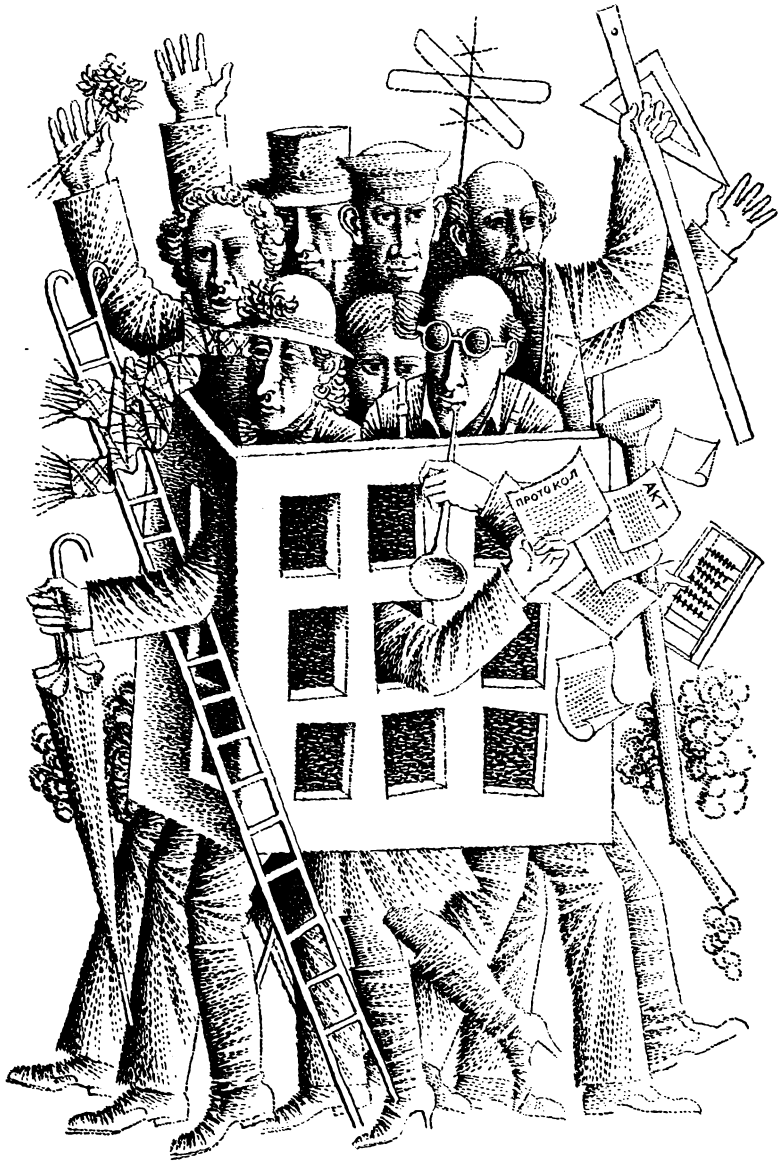
Ж $\frac{4702010201-015}{083(02)-89}$ 42—89 ББК 84.Р7

ISBN 5-265-00547-1

© Издательство «Советский писатель», 1989 г.

ЧАСТЬ I

Переполох


ПРОТОКОЛ
АКТ

Я сделаю все, что смогу,
но смеяться, милорд, я буду,
и притом так громко,
как только сумею...

Л. С.

ПРОЛОГ

1

Вот! С этого и надо было начинать!

Дело в том, что я трижды принимался писать этот роман, но далее нескольких страниц не продвинулся. Погода ли была тому виною, скверное расположение духа, отсутствие времени или что там еще, но роман не желал увидеть себя на бумаге, несмотря на то, что он — уверяю вас! — давно написан и прочно занимает в моей голове центральное место.

Примерно такое же положение (я говорю о прочности) занимает и дом, стоящий ныне на Петроградской стороне, неподалеку от Тучкова моста. Я могу сообщить точный адрес.

Дело было в непоправимой серьезности, с какой я намеревался писать. «Устраняюсь! — шептал я себе.— Автора не должно быть видно, даже если он и живет в этом доме. Литературную воспитанность следует поставить во главу угла (я долго искал этот угол) с тем, чтобы, не торопясь, предъявлять читателю героев, оставаясь самому в тени, как и подобает скромному автору. Не зря тебя уже упрекали в том, что ты к месту и не к месту (последнее чаще) выскакиваешь на сцену и начинаешь строить рожи...»

Так я уговаривал себя, в то время как самому хотелось выскочить на сцену с очередной рожей и под свист и улюлюканье читателей попытаться изобразить нечто.

— Нечто?

— Не торопитесь, не торопитесь!

Сначала послушайте некоторые размышления о клапанах, кои должны быть открыты, чтобы на свет родилось нечто.

— Нечто?

— Тьфу ты, черт, так мы никогда не сдвинемся с места!

По моим наблюдениям, каждый человек обладает клапанами, подобно четырехтактному двигателю внутреннего сгорания, с тем отличием, что у чéловека их несравненно больше и расположены они не столь симметрично, в разных уголках души. Для нормальной работы двигателя клапаны должны быть поочередно открываемы посредством так называемого кулачкового механизма. А если уж ты решил излить всю душу, то будь добр открыть и все клапаны... С этими словами я расстегнул пуговицы на пиджаке, снял его, расстегнул пуговицы на рубашке, надеясь таким образом помочь открытию клапанов души. Они не открывались. Перед моими глазами все время маячили судьи: читатели, критики, литературоведы (их особенно не люблю), редакторы (люблю их безгранично), цензоры (никогда не видел), издатели и, наконец, наборщики в типографии, которым предстоит когда-нибудь буковку за буковкой набрать этот текст.

— Вы читали Эмиля Золя?

— Нет, не читал и читать не собираюсь.

Снисходительно-сочувствующая улыбка одной из моих редакторш не дает мне покоя! Она несколько месяцев донимала меня Эмилем Золя, которого я безгранично уважаю, но не читал (видит бог!), что и дало ей право улыбаться.

— Зато я читал Стерна. Каждый читает то, что ему нравится.

— Ага, попался!

Да, милые критики и литературоведы (скулы сводит при произнесении этого слова), я сам складываю оружие и поднимаю обе руки кверху. Прошу не ломать голову: на что? на что, господи, это похоже?! Да на Стерна же, черт побери! Совсем не на Эмиля Золя!

Учтите, я сам это сказал. Добровольное признание смягчает меру наказания.

Кстати, эпиграф к части первой я взял из письма Лоренса Стерна к одному высокопоставленному лицу,

которое упрекало писателя в неподобающей его духовному сану веселости. Для несведущих: Лоренс Стерн был по образованию священником — ну, а я тоже не родился сочинителем!

Что же поделаешь, если среди авторов, наряду с серьезнейшими их представителями (наподобие Эмиля Золя), встречаются — ни к селу ни к городу — шуты гороховые, насмешники, чтоб они провалились, для которых вся жизнь — сплошная игра и развлечение. Они прожить не могут, чтобы не позубоскалить, не вырядиться в колпак и не поплясать на невинных костях современников. Современники им этого не прощают.

Раздумывая таким образом, я приподнимал ногтем то один, то другой клапан — из-под них с жалким свистом вырывались струйки пара — я был похож на органиста — и напускал на себя повышенную серьезность, мечтая даже почитать Эмиля Золя (дался мне этот Эмиль Золя!), чтобы примкнуть к подавляюще серьезному большинству современников и написать назидательный роман на морально-этическую тему, в котором все морально-этические точки были бы расставлены над морально-этическими «i»...— и ни одна не была бы перепутана. Я почти поверил в то, что смогу это сделать. Глупец!

Как вдруг в один прекрасный вечер, находясь в полном одиночестве рядом с бутылкой вина и посматривая на эту бутылку несколько виновато, ибо не в моих привычках пить одному, я, все еще не веря в возможность полноценного питья в одиночку, потянулся за штопором, ввинтил его в пробку, дернул... дернул сильнее... Раздался невыразимо почему-то приятный звук — пык! — и бутылка открылась. Стерн лежал на тахте, уткнувшись в плед лицом (то есть обложкой). Я решил пить со Стерном. Я сказал:

— Учитель! Обстоятельства сложились так, что мы остались с вами вдвоем. Еще они так сложились, что вам было угодно родиться на двести с лишком лет раньше. Я ни в коем случае не укоряю вас за то, но хочу сказать, что ваши книги мешают мне существовать. Что делать в таком случае?

Стерн помалкивал.

— Не писать? Но уж вам-то должно быть известно, что страсть к писательству хуже любой другой страсти и не поддается излечению. Писать, как бог положит на душу? («Именно»,— отозвался Стерн, не поднимая об-

ложки от тахты.) Но тогда меня обвинят в плагиате, вторичности, третичности, четвертичности и архаичности, поскольку клапаны моей души, будучи открыты, источают потоки и струйки, чрезвычайно похожие на ваши, милорд.

Я выпил полстакана вина (это был венгерский «Токай»), сделав предупредительный жест. На мою учтивую речь Стерн ответил следующее:

— Мне сдается, вы хотите продлить игру, начатую мною двести лет назад. В таком случае не советую, потому что вы будете иметь неприятности.

— Я согласен их иметь, даже если размеры неприятностей будут соответствовать размерам сочинения,— сказал я.

— Какой же роман вы намереваетесь сочинить?

— Длинный,— сказал я.

— Ответ совершенно в духе шендианства! — воскликнул Стерн.— Так что же вам мешает?

Я приподнял бутылку «Токая», придал ей горизонтальное положение и, медленно наклоняя, добился того, чтобы золотистое вино заполнило мой стакан. Пока оно лилось, я успел подумать о:

1) клапанах;

2) плохой погоде;

3) количестве страниц в моем романе;

4) не явившемся ко мне на встречу приятеле (приятельнице);

5) тех нескольких страничках, что уже написаны и лежат в специальном закуточке, где я храню на всякий случай начатые сочинения с намерением когда-нибудь их продолжить, но так и не продолжаю, потому что, если сочинение не идет своим ходом, то нет никакого смысла тащить его на аркане — получится издевательство над самой идеей сочинительства;

6) литературных журналах;

7) том, что в них печатается;

8) нашем доме;

9) собственном невежестве;

10) способах полета тел тяжелее воздуха, а почему — это будет понятно позже...

Короче говоря, я успел подумать о десяти вещах одновременно, а кроме того, о полной невозможности добиться порядка в собственных мыслях. Огорченный их хаотичностью, я протянул левую руку к стакану, в то время как правая возвращала бутылку в вертикальное

положение и ставила ее на стол; обхватил стакан пальцами, приблизил ко рту...— Если я буду писать таким способом, роман наверняка получится длинным!— ...и выпил.

Тут я почувствовал, что клапаны открываются, вернее, вылетают из своих гнезд, как пробки из шампанского. Я едва успел добежать до пишущей машинки, сунуть в нее чистый лист бумаги и написать: «Вот! С этого и надо было начинать!».

2

Исходя из того, что «Бог любит Троицу» — а почему, неизвестно,— я предполагаю, что у меня будет три подступа к роману, подобно тому, как я трижды начинал его писать и только на четвертый раз путем не совсем корректных ухищрений заставил клапаны покинуть насиженные места. Роман тронулся, поехал, поплыл, теперь только успевай его записывать!

Сейчас я хочу, кроме вопроса о клапанах, которые, слава богу, уже открыты, исследовать вопрос о квадратном метре.

— Мы займемся геометрией? Чудесно!

Замечали ли вы в некоторых районах нашего быстро растущего города странные скопления людей, с завидным постоянством собирающихся в одном и том же месте? Место это, как правило, ничем не примечательно: это может быть сквер, пустырь, бульвар и тому подобное. Самое удивительное, что скопление это никак не зависит от внешних обстоятельств. На моих глазах сквер, в котором существовало одно из таких сборищ, был разрыт и завален трубами, вдобавок там стали рыть яму под фундамент будущего дома.

— И что же?

Скопление продолжало образовываться в яме среди труб. Строителям пришлось прекратить работы и перенести усилия на другой объект, иначе я никак не могу объяснить, почему яма и трубы существуют без всякого движения вот уже третий год.

Если в месте скопления случится расти дереву, торчать столбу или тянуться забору, то — несчастная их судьба! — они вмиг обрастают налепленными на них бумажными прямоугольничками, на которых можно прочитать целые повести о семейных неурядицах, алчности, глупости и поисках счастья. Там можно запастись

адресами и телефонами прекраснейших — со всеми удобствами, туалет отдельно, соседи превосходные — квартир и комнат, кои по неизвестным причинам срочно меняются на равноценные, а чаще на несколько бóльшие по площади. Здесь царит квадратный метр, это его вотчина.

Сам по себе квадратный метр ничем не замечателен, его может изготовить каждый. Проведем на полу мелом отрезок прямой длиною в метр и, если мы не упремся в стенку, из его конца под прямым углом проведем еще такой же отрезок. Теперь из оставшихся свободных концов обоих отрезков протянем параллельные им линии, пока они не пересекутся. Получившаяся на полу фигура, носящая название «квадрат», по площади равна квадратному метру. У вас достаточно места, чтобы отойти и полюбоваться ею? Если из вашей квартиры вынести мебель, то можно расчертить весь пол такими квадратами, после чего, подсчитав их число, твердо установить, чему же равняется ваша жилплощадь.

— Между прочим, милорд, на всех пятистах шестнадцати страницах вашего романа, на чудесных, остроумнейших и забавнейших страницах, полных рассуждений о прямых и кривых линиях, пуговичных петлях, усах и носах, я ни разу не встретил упоминания о жилплощади. Позволительно будет спросить: где живут ваши герои, Учитель?

— Они живут в Шенди-холле.

— Ну, вот! Я так и думал. А у нас совсем другие проблемы. Обитателям вашего Шенди-холла и в голову не приходило, что какой-нибудь квадратный метр в гостиной перед камином может служить предметом страсти и гордости, предметом купли и продажи.

— Что вы говорите?

— Да, предметом купли и продажи, ибо квадратный метр обладает стоимостью, он имеет цену.

— У меня это в голове не укладывается.

— У меня тоже.

Посмотрим еще раз внимательнейшим образом на квадрат, нарисованный нами на полу комнаты. Представьте себе, что его цена... Ну, скажем... Да вы прекрасно знаете и без меня, что он стоит сто рублей.

— Почему сто рублей? Почему не двести? Что, что в этом квадрате стоит сто рублей? Пол? Да, пол пар-

кетный, я охотно это признаю, но будь он сделан из мрамора, он стоил бы в десять раз дороже. Значит, не пол. Что же тогда?

— Площадь!

— Но не удивительно ли говорить о стоимости площади? Это все равно, что завести ценник на солнечную погоду, чистый воздух и поцелуй женщины.

У меня есть соображение относительно конкретной стоимости квадратного метра. Уверен, что вы не отгадаете. Я далек от мысли, что сто рублей были взяты с потолка (это же стоимость пола, в конечном итоге!) или были назначены по причине удобства запоминания и краткости. Причина глубже и научнее. Для ее объяснения нам придется еще немного поработать.

Возьмем тот же мел и расчертим наш квадрат (вы еще не устали?) на маленькие квадратики. Для этого нам придется провести 99 линий в одном направлении и ровно столько же в другом. У нас получится 10 000 квадратиков площадью в один квадратный сантиметр каждый. Какая густая сеть! Мы славно потрудились. Но я забыл предупредить, что нам понадобятся копеечные монетки, и в большом количестве. Они нужны для определения стоимости квадратного метра. Так что прошу запастись десятью килограммами медной мелочи по одной копейке, а теперь... Готово? Раскладывайте, раскладывайте их по квадратикам!

— Чрезвычайно красивая картина!

Кладите единообразно — гербом вверх. Теперь нетрудно убедиться, что на квадратном метре помещается ровно 10 000 копеечных монеток, что и составляет искомую сумму в 100 рублей. Видите, как просто? Именно таким путем впервые была определена стоимость квадратного метра.

Прошу не трогать это произведение, может быть, оно нам еще понадобится. Всегда приятно иметь в доме лишние сто рублей. Огородите квадратный метр, не пускайте на него кошку, не употребляйте монетки на бесцельные звонки по автомату — любуйтесь!

А мы вернемся к началу нашего подступа, чтобы подойти к его концу. Как вы уже поняли, надеюсь, в романе будут присутствовать и отступы, где мы будем толковать с милордом о попутных вещах. Не так ли и жизнь наша (это сентенция, не обращайте внимания) состоит из бесконечных подступов и отступов: сначала мы подступаем, а потом отступаем и снова подступаем,

а там, глядишь, время прошло, и что самое удивительное — что-то из этого времени образовалось.

Но пока не образовалось ничего, кроме скопления людей в строительной яме. Среди них много нынешних жильцов нашего дома, которые с плачевным видом топчутся на месте, безнадежно повторяя: «Две на одну... Три на две... В другом районе... По договоренности...».

Однако никто с ними не меняется, потому как наш дом выкинул фокус (а какой — об этом роман) и покинуть его теперь стало трудно, почти невозможно, милорд.

3

Если бы спасательным кругам присваивали имена, то мой литературный спасательный круг назывался бы «Реализм». Я голосую за реализм. Я отдаю ему голос. Я был бы счастлив называться реалистом.

Но всякий термин требует определения.

Не обращайтесь только к литературоведам, заклинаю вас! Кроме недоумения, вы ничего не получите. Так, например, они утверждают, что запуск пивного ларька на орбиту вокруг Земли нельзя считать реалистической деталью повествования. А я отвечаю: смотря в каком сочинении. Реализм — не метод, а цель. Ежели запуск ларька необходим для достижения реалистической цели повествования, то он абсолютно реалистичен. Под реалистической же целью я понимаю правду.

Иногда, чтобы приблизиться к жизни, нужно довольно далеко отойти от нее. И я не хочу спасательного круга с надписью «Правдоподобие», когда под рукой Реализм в широком понимании этого слова.

— Реализм «без берегов»?

— Нет, с берегами, с руслом, с холмиками на берегу, со стадами коров, дающих реалистическое молоко, но чтобы река была широкой и живой — Волга, к примеру, а не прямая, как палка, Лебяжья канавка,— ибо нашу удивительную российскую действительность может вместить река разнообразная и не менее удивительная.

Поэтому я прошу прощения, милорд, если в моем сочинении вы найдете факты, плохо согласующиеся с законами природы или маловероятные...

— Вы хотите сказать, что ничего такого, о чем вы сочиняете роман, не было?

— Что вы, милорд, господь с вами! Здесь все —

чистая правда! Да вот и Евгений Викторович, сосед мой, подтвердит. И в милиции подтвердят.

— Значит, было не так?

— Нет, именно так!

— Тогда почему «плохо согласующиеся»?

— Да потому, что законы природы в каждом сочинении — свои, а мои плохо согласуются с установленными критикой в качестве образца.

— Плюньте на критиков!

— Хорошая мысль, милорд.

Спохватившись...— за всеми этими разговорами я чуть было не пропустил действительно важную тему —...я хочу представить вам кооператив.

Нет, надо торжественнее: Кооператив.

Или даже так: КООПЕРАТИВ!

Тут я взял с полки «Словарь иностранных слов» (благо, он всегда под рукой) и открыл его на стр. 363 — там, где КОО... пробежал взглядом...— КООПЕРАТИВА нет! Но есть КООПЕРАЦИЯ, которая растолковывается как одна из форм организации труда, при которой много лиц совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собою процессах труда (ну, вот как мы с мистером Стерном пишем эту книжку, например), а также как массовые коллективные объединения в области производства и обмена.

Производство здесь совершенно ни при чем, его я отбрасываю. В самом деле, никогда и ничего совместно мы в нашем жилищно-строительном кооперативе не производили за все десять лет его существования. Остается обмен, но... предполагать, что наш ЖСК был организован только для того, чтобы его члены-кооператоры обменивали свои квартиры?.. Нет, здесь что-то не так!

А какая была идея! Какой музыкой отзывалась она в душе! Вы представьте: тысяча человек разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий, убеждений, привычек, характеров и семейного положения объединяются в единый КООПЕРАТИВ (чуть было не сказал КООллектив!), чтобы сообща построить прекрасный дом на 287 квартир и жить в нем припеваючи, в полном соответствии с правилами социалистического общежития. Вот я вижу: они идут вносить деньги на постройку дома.

— Где они их взяли?

— Скопили, милорд, назанимали, где можно, с рассрочкой платежа, собрали по крохам, взяли у родителей, выиграли в лотерею — и вот несут... Я сам когда-то нес примерно две тысячи рублей (сейчас несут больше), собранных всеми указанными способами и отложенных на сберкнижку, откуда в один прекрасный день вся сумма была снята и доставлена в другую сберкассу... Я очень волновался: мало ли что? Никогда в жизни я не держал в руках такой суммы наличных денег.

— А много это или мало?

— Это моя годовая зарплата по тем временам. И вот суммы этой не стало, вернее сказать, она влилась слабой струйкой в общий денежный поток коллектива, чтобы уже через год возникнуть в виде девятиэтажного дома на бывшей Илларионовской улице, переименованной вскоре (уж не в честь ли появления дома?) в улицу Кооперации.

Мы стали кооператорами с улицы Кооперации.

Господи! Дай нам, кроме жилплощади, еще и умение ею пользоваться! Дай нам, кроме свобод, которые у нас есть, еще и навык с ними обращаться! Дай нам, кроме идеи кооператива, еще и чуточку человеческой расположенности, предупредительности, общительности и доверия!

За десять лет я не познакомился ни с одним из наших кооператоров. Я не говорю — подружился...

— Неужели у вас такой скверный характер?

Что же мы купили за деньги, заработанные потом и кровью, в борьбе и лишениях? Идею кооператива? Идеалы равноправия, союза и взаимопомощи? Нет, мы спрятались в своих квартирках, мы украшаем их каждый на свой лад, мы знать не знаем о соседях (совсем как англичане, милорд!), хотя Правление кооператива регулярно устраивает общие собрания, настойчиво вывешивает в подъездах призывы к уплате задолженности за квартиру и даже поздравляет жильцов с Новым годом путем красочного плаката.

...А за последнее время я всех узнал.

Вот, например, Евгений Викторович Демилле...

Впрочем, об Евгении Викторовиче — в самом романе. Не будем загромождать подступы к нему.

А пока займемся описанием дома. Нам нужно знать, как он устроен.

Дом кирпичный...— не правда ли, большое преимущество? — терпеть не могу бетонные панели, соединяе-

мые битумными швами, бетонные потолки, бетонные стены, куда ни один гвоздь не лезет... Бетонные дома гудят!.. Звенят!.. А наш кирпичный молчалив...— итак, он кирпичный. Высота потолков, как и везде, два с половиною метра. Разумеется, лифт...

Кстати, о лифте. Лифт — это наш клуб, мистер Стерн.

От первого до последнего этажа нашего дома лифт движется полторы минуты. За это время можно успеть:

а) справиться у едущего с вами кооператора, на какой этаж ему нужно. Поверите ли, за десять лет мы не запомнили такой простой вещи. Я знал в лицо только соседей по этажу: Демилле, его жену и маленького сына, инженера Вероятнова с семейством, одинокую старуху без имени и отчества (может быть, и без фамилии), двух Ментихиных и кое-кого еще. Их я доставлял вместе с собою на девятый этаж, не спрашивая. Остальных приходилось вежливо выпытывать, а после, получив ответ, хлопать себя по лбу, приговаривая: «Да, верно! Как я мог забыть, что вы на восьмом» (седьмом, шестом, пятом, четвертом, третьем — на второй этаж лифт не ходит);

б) сказать: «Ну и погодка!»;

в) или: «Где вы брали апельсины?» — «В нашем».— «Спасибо»;

г) сделать озабоченное лицо...

И тут лифт останавливался — как раз вовремя, потому что все решительно темы были исчерпаны. Клуб у нас мимолетный, не обязывающий ровно ни к чему. Еще он отличается тем, что одновременно служит стенгазетой.

— Я не понимаю.

— Ну, милорд, это совсем просто! О газете вы ведь имеете представление?

— Сударь...

— А это то же самое, только без бумаги, на стене. Каждый может написать, что ему вздумается. Свобода слова в клубной стенгазете полнейшая. Правда, я ни разу не встречал в ней статей по политическим вопросам. Наши кооператоры пишут по вопросам пола, любви, дружбы; много стихотворений, а также — по национальному вопросу.

Разберем еще маленький математический парадокс, связанный с домом. В доме четыре подъезда и девять

этажей. На каждой лестничной площадке по восемь квартир. Умножим:

$$4 \times 9 \times 8 = 288.$$

А между тем, как вы уже знаете, в доме насчитывается 287 квартир. В последней живет семейство Демилле.

— Куда же девалась одна квартира?

— Это чудеса архитектуры. Но квартиры нет.

В этой несуществующей квартире живет несуществующая семья, к которой, кстати, вы имеете прямое отношение, милорд.

— Я?

— Да, я вас потом познакомлю. Правление занимает существующую квартиру на первом этаже второго подъезда.

А теперь, когда мы познакомились с устройством дома, поговорили о квадратных метрах, клапанах, кооператорах и реализме, мне ничего не остается, как со страхом скомандовать себе:

— Пять!

— Четыре!

— Три!

— Два! (Вы не представляете, какой долгий путь нам предстоит!)

— Один!

— Пуск!

4

Бог может любить, что ему вздумается — это его личное дело. А мы с мистером Стерном отныне любим Четверицу (в отличие от Троицы — вы догадались?), почему и затеваем еще один подступ.

— Вы просто боитесь!

— Чего я боюсь?

— Писать роман...

— Попробовали бы сами. Интересное дело! (Конечно, боюсь.) Отправляться в такие странствия, такие дебри (боюсь ужасно!) — 287 квартир! — без всякой надежды на признание, прочтение и опубликование, без...— нет, наоборот: опубликование, прочтение и признание —...моральной поддержки, без денег, наконец.

— А на что вам деньги?

— Бумага, милорд... Отправляться в это плавание в одиночку (простите, мистер Стерн!), имея в качестве компаса и маяка лишь собственные слабенькие пред-

ставления о Прекрасном, Высоком и Правдивом (это все одно и то же), и не бояться? Страшно боюсь.

Будем считать, что наша ракета стартовала неудачно. Или же будем считать, что она еще не стартовала.

А пока запустим на орбиту пивной ларек.

Это много проще, чем запустить роман. К тому же необходимо расчистить место на Безымянной улице Петроградской стороны.

Кажется мне временами, что функции любого места в нашем городе, любого здания и помещения были определены когда-то очень давно — может быть, царем Петром,— и с тех пор практически не меняются. Вернее, изменяется лишь форма, но содержание остается неизменным. Так, например, в помещении бывших царских конюшен, что на Конюшенной площади, находится ныне таксомоторный парк, а в Казанском соборе — Музей истории религии и атеизма. Кавалергардская улица названа улицей Красной Конницы — она лишь изменила цвет, в бывшем Адмиралтействе учат военных моряков, а в зале Дворянского собрания по вечерам собирается интеллигенция слушать музыку.

Наш пивной ларек на Безымянной не принадлежит к достопамятным местам, ничего там не происходило значительного, историко-революционного или литературно-художественного, но именно здесь вот уже сто с лишним лет трудящиеся пили пиво. Ларек выгоднее было бы поставить на углу Безымянной, однако его отнесли чуть дальше, то есть туда, где более века тому назад один предприимчивый немец по фамилии Кнолле организовал пивную — полуподвальное помещение, низкий сырой зал, темные дубовые столы, сейчас там книжный склад.

Пивная Кнолле исчезла в гражданскую войну. Склад был организован несколько позже. И вы представить себе не можете, но эти несколько лет безвременья (в смысле пива) доказали стойкую приверженность посетителей Кнолле к этому месту, доказали их преданность Безымянной, то есть в конечном итоге доказали, что место для пивной было выбрано не просто так, а было в этом нечто мистически-безошибочное.

Народ приходил сюда по-прежнему, располагался у заколоченных досками дверей пивной и распивал что придется.

Потому-то, когда встал вопрос об организации

книжного склада в бывшем помещении пивной Кнолле, сама собою родилась мысль облегчить бедственное положение любителей пива, поставив рядом с дверями книжного склада пивной ларь — убогое деревянное строение, подле которого всегда стояли пивные бочки — их увозили, привозили; добровольцы из толпы помогали продавщице тете Зое выбивать деревянные затычки массивным конусом, скользящим по длинной блестящей трубке с краником на конце; на донца бочек ставились кружки, раскладывалась вобла (тогда была вобла), бывало и кое-что покрепче, чем пиво, и завязывалась беседа.

Тетя Зоя возникла вместе с ларьком...

— Она заменила Кнолле?

— Да, милорд, и еще как заменила! Чем был для народа этот чужак-немец? Немцем! А тетя Зоя стала матерью-хранительницей квартала. Когда ставили ларек, ей было лет двадцать, не больше, она была Зоинькой, Зайчиком, Зайчонком, сестричкой, дочкой, красавицей — кто как не называл! Но постепенно, и довольно скоро, она стала тетей Зоей: она располнела, не утратив сначала привлекательности, а потом и утратив; обзавелась семьей — завсегдатаи знали мужа, сына, подробности жизни; затем потеряла семью в блокаду, когда и ларек сам пустили на дрова; постарела тетя Зоя, поседела, но по-прежнему оставалась всеобщей тетей, доброй и строгой. Алкоголиков она не любила (завзятых, конечно), поддерживала вокруг ларька железную дисциплину — не могло быть и речи о пьяной драке у ларька тети Зои; она сразу покидала свое место, выходила на улицу, подбоченившись, и вопрошала буйствующих: «Что, мужики? Места другого не нашли?» — и инцидент рассасывался.

Она наливала и без денег, когда их не было, и я не помню случая, чтобы деньги не вернули. Авторитет тети Зои был безграничен. Последние годы она сдала (ей было уже за семьдесят), кружки не так ловко мелькали в ее руках, она долго рылась в мелочи, отсчитывая сдачу, но упаси бог пришлецу со стороны прикрикнуть, поторопить — его изгоняли из очереди тут же!

На чем же основывался тетин Зоин авторитет? На честности!

Знаете, милорд, у нас есть такой плакат (его еще можно увидеть в провинциальных пивных): «Требуйте долива пива при отстое пены до черты!»

— Повторите, не понял.

— «Требуйте. Долива. Пива. При отстое. Пены. До черты».

— Ни черта не понимаю!

— Формулировка, конечно, скверная, но у нас ее все понимают. Дело в том, что на пивной кружке есть рисочка, отметка, обозначающая полулитровую порцию пива (у нас метрическая система, милорд). А вы сами знаете, что пиво имеет обыкновение давать обильную пену. Некоторые продавцы и продавщицы пива бессовестно пользуются этим физическим законом, наливая пиво бешеной струей, в результате чего, если дать ему отстояться, уровень жидкости в кружке далеко не дойдет до рисочки. А это деньги, милорд.

— Такие мелочи?

— Вот именно! В этом и состоит указание плаката: дайте пиву отстояться, а потом потребуйте его долива до черты! Но плакатом пренебрегают. Как можно дать пиву отстояться? Отстояться можно в очереди, но, когда пиво уже налито, оно не задерживается в кружке ни секунды.

Честность тети Зои можно было проверять мензуркой.

И вот, благодаря своей честности и отстою пены до черты, тетя Зоя к концу трудовой жизни не скопила денег, не купила дачу, не обзавелась коврами, хрусталем и драгоценностями, а продолжала жить в коммунальной квартире, здесь же, на Безымянной, в полном одиночестве, скромности и терпении. Более полувека торговать пивом! Из пены можно было бы соорудить наш кооперативный дом. Я не шучу. Потому, вероятно, и произошло из ряда вон выходящее событие.

Случилось так, что однажды весной, точнее, вечером в пятницу, в апреле месяце, тетя Зоя заработалась допоздна. То ли не вовремя пришла цистерна с пивом, то ли собесовские дела отвлекли тетю Зою, но она открыла свой ларек лишь в шесть часов вечера и торговала до темноты (а в апреле темнеет у нас уже поздно). Многие ее постоянные клиенты разбрелись по соседним ларькам, а может быть, купили бутылочное, но факт остается фактом: в тот весенний холодный вечер почти никого из коренных обитателей Безымянной в очереди у ларька не было, а она состояла из незнакомых тете Зое людей.

Тетя Зоя сидела на высоком табурете в своем новеньком бело-голубом ларьке с двумя округлыми белыми баками, а стеклянные трубки, служащие для

определения уровня пива, показывали, что его может хватить на всю ночь, если, конечно, доброта тети Зои распространится так далеко. Очередь была значительная. (Я говорю о длине, а не о составе.) Здесь были, в основном, молодые люди, свернувшие на тихую Безымянную с шумного Большого проспекта, расположенного неподалеку, в поисках чудесного вечернего ларька, слух о котором распространился мгновенно. А так как тетя Зоя устала за день, то работала она не в пример медленнее даже своего дневного обыкновения. Однако молодежь не оценила героизма тети Зои. В очереди раздавался глухой ропот, шуточки по поводу нерасторопности тети Зои и даже оскорбительные предположения, что она, мол, пьяна.

Тетя Зоя в жизни не пила ничего крепче кваса!

Случилось и так (не столько по прихоти автора, сколько по воле судьбы), что в очереди томился Евгений Викторович Демилле. Конечно, он не допускал никаких выпадов против тети Зои, хотя и был в приподнятом стаканом вина расположении духа. Евгений Викторович попал на Безымянную не поймешь как — шел без определенного маршрута, дабы скоротать время, оставшееся у него до встречи с одной особой, которой он сам же назначил вчера свидание, познакомившись в компании у своего приятеля. Свидание было довольно поздним, потому что особа работала тот день во вторую смену, но перенести его не пришло в голову Евгению Викторовичу, ибо он был человеком целеустремленным, любящим ковать железо, пока оно горячо.

Занявший за Демилле подвыпивший старичок маленького роста в длинном и широком пальто попросил закурить, и Евгений Викторович, угощая его сигаретой, не удержался:

— Уж больно долго...

— Тетя Зоя... она...— попытался ответить старичок, но продолжить как-то не смог.

Между тем ропот возрос. Молодой человек в распахнутой дубленке подошел из конца очереди к окошечку и прокричал тете Зое:

— Шевелись, мать! Так и замерзнуть можно!

— Да не видишь — пьяная...

— Карга старая. Нализалась!

— Старая ж...!

Извините, милорд, но именно такие раздались в очереди голоса, на что тетя Зоя не обратила внимания, а

может быть, не расслышала. Зато старичок в длинном пальто, пошатываясь, покинул очередь и подошел к молодому человеку, заварившему кашу.

Он встал перед ним, и черты его старческого лица исказились. Он силился что-то сказать, но не мог. Губы его шевелились, а вернее, дрожали, и с губ капнула слюна. Молодой человек насмешливо посмотрел сверху на пьяного старичка и спросил:

— Ну, чего тебе, дед?

— Тетя Зоя... Она...— выговорил старичок.

— В задницу твою тетю Зою!

Тогда старичок взмахнул рукавом пальто, где руки и видно-то не было — такая она была тоненькая и немощная,— и ударил парня рукавом по лицу. То есть он хотел ударить по лицу, но не совсем достал, и рукав шлепнул парня по плечу — удар смазался. Молодой человек же, не теряя ни мгновения, обеими руками повернул деда спиною к себе и дал ему здоровенного пинка ногою по нижней части пальто. Старичок взвился в воздух и отлетел. Тетя Зоя, заслышав шум, отставила кружку и наклонилась к стеклу, чтобы лучше разглядеть происходящее.

— Чего там у вас, сынки? — спросила она.

— Работать нужно! — зло прокричал ей тот же парень.

А поверженный старичок, медленно поднявшись с тротуара, снова пошел на парня. На этот раз ему удалось досказать фразу:

— Тетя Зоя... Она... святая!

— Пошел отсюда! — крикнул парень, не на шутку рассвирепев.

И тут из пивного ларька донеслось нарастающее шипение — жжж! шшш! ссс! — оно быстро переходило в свист. Раздался страшной силы взрыв, и под ноги очереди, отпрянувшей от лотка, брызнула белоснежная пена. Она клубилась по асфальту, сметая не успевших отскочить граждан, в то время как пивной ларек оторвался от земли и медленно пополз в воздух. Запахло кругом пивом; оно било из прорванных днищ белых баков двумя параллельными струями. Ларек ускорял свое движение вверх с нарастающим свистом. Еще мгновение (на головы сыпалась пивная пена; многие подставляли рты, глотая ее на лету), и ларек тети Зои вылетел в ночное небо, промелькнул мимо крыш и, оставляя пенный след, ушел в вышину.

Секунд пять в ночном небе были видны две белые точки бьющего из баков пива. Оно лилось рекою по тротуару, стекая в канализационные люки. Тетя Зоя вознеслась на орбиту.

— Ну? — сказал облитый с ног до головы старичок.

Тогда очередь в нашлепках кружевной пены, мокрая, трясущаяся молодая очередь стала разбегаться кто куда. Вмиг на Безымянной не осталось никого, кроме старичка и Евгения Викторовича.

Потрясенный Ев...— однако пора переходить к основному тексту.

Глава 1.

НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ

...гений Викторович возвращался домой поздно ночью на такси.

— Он все еще был потрясенный?

— Да, потрясенный и возбужденный.

Евгений Викторович находился в нервическом состоянии человека, у которого отказали тормоза — и не только вознесение ларька с тетей Зоей было тому причиной. Этот факт можно было бы рассматривать как некое знамение, и Демилле догадывался, что не все тут просто, хотя о какой уж простоте говорить! Ему, наверное, не следовало ходить на свидание, тем более что он тоже был облит пивом, которое, высохнув, образовало липкую корку на его плаще, но дело даже не в этом. Всякий разумный человек на месте Евгения Викторовича потихоньку отправился бы домой, помалкивая в тряпочку о полетах пивных ларьков, и постарался бы привести себя в порядок. Однако Евгений Викторович на свидание с особой пришел, особу повел в укромное место (а именно, в мастерскую своего приятеля-художника, где уже была припасена бутылка сухого вина и легкая закуска); там же, пользуясь историей с пивным ларьком для заговаривания зубов и мозгов молодой особы (впрочем, не ручаюсь, что у нее были мозги), Евгений Викторович постепенно и ненавязчиво разоблачил ее (только не в смысле «вывел на чистую воду»), перенес на продавленный старинный диван и...

— Милорд, в нашем языке нет приличного слова для обозначения того, чем занимались Евгений Викторович с особой на диване. Скажу только, что пружина, выпи-

равшая из дивана, несколько испортила удовольствие девице.

— Она была девица?

— Ну, что вы, милорд! Так принято называть молодых особ, не вкладывая в это слово какого-либо дополнительного смысла.

Девица очень смеялась фантазиям Евгения Викторовича. А он, войдя в роль и видя, что ему все равно не верят, прибавил от себя несколько живописных и не совсем реалистических деталей. Так, он утверждал, что старичок, назвавший тетю Зою «святой», вознесся тоже, чтобы там, на орбите, вдоволь напиться пива. Евгений Викторович, вызывая неудержимый хохот особы, подсчитывал запасы горючего в пивном ларьке и утверждал, что тот вполне способен развить вторую космическую скорость. Насчет скорости Евгений Викторович был прав, но про старичка наврал: не вознесся старичок никуда, это чистый вымысел, а преспокойно заснул тут же, у ступенек, ведущих в бывшую пивную Кнолле.

И пока старичок спал, Евгений Викторович закончил дела с девицей, после чего ему по обыкновению сделалось грустно и скучно. Эта грусть, эта тоска неизменно посещали Евгения Викторовича после подобных приключений. Странно даже, но он шел на каждое новое свидание с тайной надеждой на то, что и после того не исчезнет состояние азарта и стремления к цели... Однако оно исчезало. А лишь только оно исчезало, Евгений Викторович начинал маяться, совесть его пробуждалась и обрушивала на него град упреков, отчего герой выпрыгивал из постели (если она была), вскакивал с тахты, поднимался с дивана, с отвращением разыскивая и натягивая на себя разбросанные вокруг части туалета, а на предмет своих вожделений смотрел чуть ли не с ненавистью.

Согласитесь, женщины плохо это переносят. Вот и наша девица мгновенно обиделась, а так как была глупышкой, то не преминула и показать это. Она распустила губки, на глаза ее навернулась слеза... «Ты больше меня не любишь?» — прошептала она. (Евгений Викторович искал под диваном носок, тот куда-то запропал.) Девица отвернулась к стене и прекратила общение.

Евгений Викторович засовестился еще больше. Надо сказать, что положительно ответить на вопрос, поставленный его временной возлюбленной (любовницей, парт-

нершей — это как вам угодно, милорд), он никогда не мог, даже в том случае, когда действительно любил, а в этой мастерской... пружина выпирает... пыль... на столе разлитая и засохшая акварельная краска... раздавленный окурок... Да вы что?! Смеетесь?! О какой любви может идти речь в подобной обстановке?!

Потому он мысленно обругал девицу дурой и принялся искать второй носок. Девица со злостью подпрыгнула на диване и тоже стала поспешно одеваться, причем настолько порывисто, что от кофточки отлетела пуговица. Евгений Викторович смиренно подал ее девице. Та выругалась непечатно (чего уж тут стесняться!) и крикнула: «Ты бы хоть отвернулся!»

— Вот вам и любовь, милорд!

— Что вы говорите? В это трудно поверить.

— Я сам не верю, но это факт.

Впрочем, если вы думаете, что Евгений Викторович и его партнерша (любовница, возлюбленная) тут же разошлись, чтобы никогда больше не видеть друг друга, то глубоко ошибаетесь. Потом они пили кофе, и еще немного вина, и ели сыр, и целовались уже несколько устало, так что Евгений Викторович почувствовал себя обязанным что-то предпринимать и уже хотел начать все сначала (то есть не хотел...), однако девица мягко воспротивилась... Словом, все кончилось хорошо.

— Удивительно!

Короче говоря, они вышли из мастерской ночью, поймали такси с зеленым огоньком — их в тот час много было на пустынных улицах; они охотились за пассажирами так же, как днем пассажиры охотились на них,— и Евгений Викторович отвез особу домой (к мужу, как ни странно!), а сам поехал к своей жене.

— Скажите, а этот муж... он...

— О чем вы говорите, милорд! Муж был убежден, что жена явилась с ночного дежурства на электронно-вычислительной машине (очень долго объяснять, что это за машины и зачем они нам), а то, что от нее по приезде слегка пахло вином, так это не секрет (тем более, для мужа), что на службе да еще в такое позднее время всегда найдется повод, чтобы выпить.

— Но он мог проверить, в конце концов!

— А зачем? Лишнее волнение... Мы никогда не проверяем своих жен, милорд. Подозрительность оскорбляет.

Вот вы меня все время перебиваете, простите, а мне важно рассказать, что же случилось, когда Евгений Викторович приехал домой. Но сначала о непредвиденной задержке.

У нас в городе очень много мостов, которые по ночам разводятся. Время разводки мостов точно известно, оно вывешено на специальной синей табличке при въезде на него, однако о разводке забывают и она всегда оказывается некстати. Евгению Викторовичу нужно было попасть из центра в один из новых районов города, в северной его части, для чего следовало миновать Дворцовый мост. И вот он оказался разведенным.

Какое это необыкновенное зрелище, милорд! Дворцовый мост разводится посредине, так что створки разводящейся части встают на дыбы и оказываются высотою с десятиэтажный дом. Мост будто кричит разверстым ртом, но звук так низок, что его не воспринимает ухо. Это инфразвук.

— Что?

— В общем, его не слышно.

Такси остановилось в стаде других машин, ожидающих, когда мост сведут, и Евгений Викторович вышел из машины, чтобы поближе посмотреть на него. Демилле остро чувствовал всякие деформации пространства, это было профессиональное.

У парапета дежурил молоденький сержант милиции; он расхаживал туда-сюда, опустив уши шапки-ушанки и озабоченно поглядывая на урчащие автомобили, не выключавшие своих моторов, чтобы те не замерзли.

— Скоро сведут? — поинтересовался Демилле раздраженным почему-то тоном, словно разводка моста была прихотью сержанта.

— Полчаса еще,— миролюбиво ответствовал сержант и добавил, вскидывая руку: — Во-он последний караван.

Евгений Викторович взглянул в направлении, указанном сержантом, и действительно увидел вдали, где-то против крейсера «Аврора», огни каравана барж, видимые сквозь пролеты Кировского моста. Баржи неторопливо ползли по Неве, отражаясь в ней зелеными и красными искорками.

Демилле неудержимо потянуло к упиравшимся в небо огромным створкам, а в голове вдруг зароились варианты преодоления водной преграды: именно, возникла картина медленно сводящегося моста и прыжка

с одного края на другой через пропасть... В общем, что-то такое пьяно-романтическое.

Он ступил на мост, но был остановлен милиционером:

— Нельзя туда. Не положено.

— Почему? — стараясь быть ироничным, спросил Евгений Викторович.— Неужели вы думаете, что я смогу причинить мосту вред? Он ведь вон какой прочный! — и Демилле для убедительности притопнул ногой, на что мост, разумеется, никак не отозвался.

— Шли бы себе в машину! — с досадой сказал сержант.— Выпьют и начинают выступать.

Демилле ступил обратно, но в машину не пошел. Что-то раздражало его, сидела внутри какая-то заноза, царапающая душу, а почему — Евгений Викторович не понимал. Вряд ли это были царапины совести, поскольку ночные его приходы домой последнее время были не в диковинку; Демилле уже убедил себя превыше всего ставить собственную свободу, то есть ставил ее над совестью, хотя и не без труда. Но сегодня ощущались тоска и тревога, прямо-таки собачьи тоска и тревога, как у подброшенного под чужие двери щенка.

Караван барж между тем, миновав Кировский мост, вышел на широкий простор Невы у Петропавловки и, выгибая огни в плавную дугу, потянулся к Дворцовому мосту.

Евгений Викторович поднял воротник, засунул руки в карманы плаща, но тут же их выдернул — карманы были липкими от засохшего пива — и, задрав голову вверх, принялся всматриваться в звезды. Холодные их иголки, продутые небесными ветрами, кололи глаза; слезы наворачивались, дрожа на ресницах, набухали... и вдруг сквозь колеблющиеся тяжелые капли Евгений Викторович увидел в небе маленький светящийся прямоугольник, который тихо передвигался меж звезд.

Он смахнул слезы с ресниц, протер глаза кулаками — как в детстве — радужные круги, искры,— и выплыл желтый четырехугольник, который двигался справа налево в ночном небе, чуть ниже тускло сиявшего ангела на шпиле Петропавловки, но далеко-далеко за ним.

Если бы светящийся объект был меньше и не имел столь явной прямоугольной формы, Евгений Викторович предположил бы, что наблюдает искусственный спутник (совершенно нет времени объяснять, милорд, вы уж

простите!), однако более всего это было похоже на иллюминатор космического корабля, двигавшегося, напоминаю, бесшумно и плавно.

Конечно, Евгению Викторовичу тут же пришла мысль о летающих тарелках.

— Что? Что такое?

— А теперь, милорд, я охотно объясню, что это такое, потому что если отношение к искусственным спутникам никак не связано с человеческим характером, в данном случае — с характером Демилле, ибо есть просто-напросто определенная техническая данность, примета времени (как в ваши времена гильотина, милорд...), то отношение к летающим тарелкам есть вопрос веры, и, как всякий вопрос веры, он связан с личностью.

Итак, «летающими тарелками», или НЛО, что означает «неопознанный летающий объект», стали в наше время называть некие предметы или явления, наблюдаемые в небе, причем такие, которым не находится сразу разумного объяснения. Возникает непреодолимое желание видеть в них летающие корабли наших братьев по разуму, пришельцев из иных миров, якобы интересующихся нашей жизнью и облетающих с этой целью пространства планеты. Говорят, что и в ваше время, милорд, были такие «тарелки», разве что вы их меньше замечали. Должно быть, дела, недостаток знаний... Быть может, больше здравого смысла?.. Но мы заметили, мы ведем пристальные наблюдения, научные познания наши столь обширны, что позволяют пускаться в головокружительные экскурсы к иным мирам. Мы хотим общаться с нашими братьями!

Заметьте, общаться друг с другом нам уже не хочется. Надоело. Нам подай инопланетянина, гуманоида, который, конечно же, будет тоньше и умнее этой грубой женщины под названием «свекровь» или того развязного продавца в грязном халате, которому мы не смеем сказать в лицо все, что думаем о нем, ибо от него зависим; или тех двух-трех наших начальников и десятка сослуживцев, с которыми мы каждый день бок о бок идем вперед к великой цели... Господи! Возьми нас на другую планету, где уже все построили, все преодолели... Скафандры, ядри их душу...

— Ну, зачем же выражаться?

— Так хочется чуда, так соблазнительно снова стать ребенком, опекаемым высшей, разумной, гуманной цивилизацией. И мы верим в это, милорд. Увы!

Верил и Евгений Викторович. То есть не то чтобы верил безоговорочно, но хотел верить, верил половинчато, сомневался. С одной стороны, будучи по профессии архитектором, следовательно, человеком точного знания, он понимал, что существуют или должны существовать вполне научные объяснения НЛО, а разговоры о гуманоидах — досужая обывательская болтовня. Но с другой стороны, будучи архитектором и по призванию, то есть принадлежа отчасти к искусству, он обладал художественным воображением и желанием выйти за пределы зримого опыта, воспарить к заоблачным сферам, где — чем черт не шутит! — могут быть такие вещи, «что и не снились нашим мудрецам».

Он бы поверил и вполне, если бы сам хоть однажды наблюдал нечто подобное. Но, как назло, ни миража, ни иллюзии, ни загадочного отражения или блика ни разу не встретилось на пути Евгению Викторовичу, посему он более склонялся к скучному, но непогрешимому материализму.

И тут, узрев в небе светящийся предмет, Демилле, подогреваемый остатками вина в организме, внезапно вскрикнул и потерял дар речи. Он лишь тыкал кулаком в небо, чем обратил на себя внимание сержанта.

— Чего? Чего вы? — недовольно начал милиционер, обращаясь к Демилле, а потом поворачиваясь и вглядываясь туда, куда указывал подъятый кулак.— Чего случилось?

— Смотри! Смотри! — шептал Демилле, а милиционер, обеспокоившись, со старанием шарил взглядом по небесам, как вдруг...

Прямоугольник погас, будто там, на космическом корабле, повернули выключатель, и в это мгновение острая игла боли пронзила сердце Демилле, он схватился за левый бок, охнул и оперся на парапет. Непонятная нежность и жалость сделали его тело податливым, безвольным и легким, словно оборвалось что-то в душе. Однако это продолжалось лишь секунду. Демилле по обыкновению перенес жалость на себя, подумал с отчаянием: «Так и умрешь где-нибудь ночью на улице, и никто...» — в общем, известное дело. Он сгорбился и уже не смотрел в небо, а взглянул внутрь себя, где тоже была ветреная холодная ночь и ни одна звезда не горела.

Сержант между тем, безуспешно обозрев небесные сферы, не на шутку рассердился. Он вообразил, что

подвыпивший незнакомец разыгрывает его, смеется, гуляка проклятый, а ночь холодна, и смена не скоро, и затыкают им по молодости самые собачьи посты... короче говоря, сержант тоже себя пожалел и прикрикнул на Евгения Викторовича:

— Ступайте в машину! Слышите! Не то сейчас наряд вызову, отправлю куда надо!

Демилле покорно отлепился от парапета и поковылял к машине. Сперва он ткнулся не в ту, и его обругали, затем увидел, что его обеспокоенный водитель призывно машет рукой, и побрел к своему такси, бережно неся внутри жалость и размягченность.

— Нагулялся? — полупрезрительно спросил таксист, а Евгений Викторович взглянул на счетчик и убедился, что тот нащелкал семь рублей двенадцать копеек, а следовательно, до дому едва хватит, поскольку в кармане оставалась последняя десятка с мелочью.

Вздыбившийся мост медленно осел, сержант открыл движение, и стая таксомоторов ринулась на Стрелку Васильевского острова, с наслаждением шурша покрышками по занявшему свое привычное место асфальту.

Демилле устроился на заднем сиденье и сжался в комочек, лелея свою грусть. Он любил эту грусть — она его возвышала, делала значительнее, имела даже оттенок благородства, а сам краем уха ловил доносящиеся из динамика радиотелефона ночные переговоры водителей.

— Такси было с радиотелефоном?

— Вот именно, милорд! Как вы славно включаетесь в наш век! В сущности, меж нами нет той пропасти, о которой любят говорить... ну, такси... ну, радиотелефон... подумаешь! Это все условия игры, которые легко принять, в то время как суть человеческая мало изменилась, что и позволяет нам отлично понимать друг друга.

Итак, машина была с радиотелефоном, что указывало на принадлежность ее к разряду «выполняющих заказы», но в то позднее время заказчиков не нашлось, посему таксист и подобрал Демилле с дамочкой на улице.

Радиотелефон хрипел и трещал. Откуда-то издалека, словно из космоса, пробивались голоса водителей, выкликали диспетчера, перешучивались. Под эти фантастические ночные разговоры в эфире Евгений Викторович задремал, откинувшись головою на сиденье, и

сквозь дрему отмечал, как проносятся мимо улицы и дома: промчались по проспекту Добролюбова, мигнула подсвеченная изнутри льдина плавучего ресторана «Парус», и такси вырвалось на Большой проспект Петроградской стороны, пустынный и прямой.

И лишь только сон скрыл от Демилле виды ночного города — и цепочки огней, и тревожные мигающие желтые пятна светофоров — и начал заменять их совсем иными видениями, как раздался скрип тормозов, такси прыгнуло в сторону, точно всполошенный заяц, а перед капотом метнулась серая легкая тень.

Водитель, стиснув зубы, выскочил из машины, догнал серую человеческую фигурку — то была старушка в пуховом платке; она часто и мелко крестилась — и остановил ее за плечо.

— Ты что, бабка!..— закричал водитель, и непечатные слова сами собой посыпались у него изо рта.—...На кладбище торопишься? Днем бежать надо! Кладбища ночью закрыты! — уже выпустив пар, закончил он.

Старушка не слышала. Или слышала, но не понимала. Она продолжала мелко осенять себя крестом, точно на нее напала трясучка. Губы ее шевелились и повторяли:

— Господи, свят-свят! Спаси и помилуй!.. Спаси и помилуй, свят-свят!

— Чего стряслось-то? — обескураженно спросил водитель, поняв, что не скрип тормозов и близкая смерть под колесами вызвали у бабки испуг.

— За грехи наши... светопреставление... свят-свят,— твердила старушка.

Водитель махнул рукой, и старуха провалилась в ночь, как летучая мышь.

Надо сказать, что Демилле тоже выскочил из машины, когда увидел страшные глаза водителя и понял, что тот готов убить несчастную старушку. Он приблизился к месту происшествия и с облегчением заметил, что пыл водителя угас, старушка невменяема и бормочет бог весть что. Еще секунда — и она скрылась в подворотне. Острый кончик развевающегося за нею пухового платка лизнул кирпичный угол и навеки исчез из жизни Евгения Викторовича.

— Прибабахнутая...— задумчиво сказал водитель и направился к покинутой машине.

— Если бы он знал, милорд, насколько точное

вылетело у него слово! Ведь старушка именно была «прибабахнутая», но вот как, почему и чем она была «прибабахнута» — об этом не знали ни водитель, ни Евгений Викторович, хотя, по удивительному стечению обстоятельств, к последнему факт имел прямое отношение.

Когда вновь заработал мотор, а вместе с ним и динамик радиотелефона, водитель и Демилле услышали, что в эфире творится нечто невообразимое. Два или три голоса, захлебываясь, о чем-то рассказывали, но о чем — понять было невозможно, потому как диспетчер, позабыв о хладнокровии, кричала со слезой: «Прекратите засорять эфир!» — и этим вносила дополнительную сумятицу. Демилле удалось установить, что какого-то водителя, Мишку Литвинчука, чуть не раздавило.

— Где? Как? При каких обстоятельствах?

— Да не больно знать хотелось, милорд! Что-то там такое произошло в ночном городе, сдвинулось или осело, а может, почудилось...

Водитель выключил радиотелефон, и Евгений Викторович снова погрузился в дремоту.

Проехали Кировский, взлетели на Каменноостровский мост (навстречу пронеслась колонна милицейских машин с синими мигалками), дугою промчались по Каменному, миновали мост Ушакова и Черную речку, оставили позади кинотеатр с красными буквами «Максим» и вырвались, наконец, на проспект Энгельса, уносящийся вдаль — в Озерки, Шувалово, Парголово, где на бывших болотистых лугах стоят ныне сотни и тысячи похожих друг на друга многоэтажных строений. Демилле сонной рукою сжимал в кармане липкие ключи от дома; водитель вновь включил радиотелефон и повторял в микрофон: «„Двадцать седьмой“ — Гражданка...» — пока не щелкнуло в динамике и далекий девичий голос сказал: «Поставила «двадцать семь» на Гражданку».

Они свернули вправо и поехали по временной, в ухабах, дороге — так было ближе,— затем свернули еще и отсюда совсем недалеко уже было до улицы Кооперации. Она и возникла вскоре: въезд на нее был отмечен двумя точечными шестнадцатиэтажными домами, далее по левую сторону стояли двенадцатиэтажные и также точечные дома, а по правую — два детских сада, абсолютно одинаковые, за которыми и был девятиэтажный

дом Евгения Викторовича, выделявшийся оригинальной кирпичной кладкой «в шашечку».

— Куда дальше? — спросил водитель, когда такси миновало первый из детских садов.

Демилле встрепенулся и взглянул на счетчик. Там значились цифры 10.46. Он сунул руку в карман плаща, опять испытав легкое отвращение, и достал слипшуюся от пива мелочь. Беглый взгляд на нее определил, что, слава богу, хватит! Только тут он посмотрел за стекло и сказал:

— Здесь, за вторым садиком, следующий дом.

— Где? — спросил шофер. (Они уже ехали мимо этого второго садика.)

— Ну вот же...— сказал Евгений Викторович и осекся.

Никакого следующего дома за садиком не наблюдалось. Там, где всегда, то есть уже десять лет, возвышался красивый, «в шашечку», дом, была пустота, сквозь которую хорошо были видны пространства нового района, и вывеска «Универсам» в глубине квартала, и небо с теми же звездами.

— Стой! — в волнении крикнул Евгений Викторович.

Он выскочил из машины, причем водитель тут же распахнул свою дверцу и вышел тоже, опасаясь, по всей видимости, соскока. Демилле сделал несколько шагов по асфальтовой дорожке и вдруг остановился, опустив руки, да так и замер, вглядываясь перед собою.

— Эй! Ты чего? — позвал водитель, а так как пассажир не отзывался, то он направился к нему и, только подойдя, понял — чем был потрясен Демилле...

Глава 2.

НЕ ВЫГУЛИВАЙТЕ СОБАК НОЧЬЮ!

— Ну и чем же? Чем?

— Ах, милорд, и это говорите мне вы! Вспомните, прошу вас, какими фокусами вы занимались в своем «Тристраме»?

— Мне казалось — так забавнее...

— Еще бы! Оборвать повествование на самом интересном месте, чтобы ни с того ни с сего, с бухты-барахты («Вы не скажете, где расположена эта бухта?» — «Барахта? В вашем романе, милорд!») начать долгий

и бесцельный разговор о каких-нибудь узлах, тогда как в этот самый момент рождается ребенок... мало того — герой романа!.. Как это называется?

— Послушайте, молодой человек! Вам не кажется?..

— Простите, Учитель. Смиреннейше припадаю к вашим стопам. Вырвавшиеся у меня слова — не более чем авторская амбиция. Знаете, пишешь, пишешь — да вдруг и почувствуешь себя господом богом, творцом, так сказать... Но ничего, это ненадолго... Всегда есть кому поставить тебя на место.

— Это правда,— печально вздохнул Учитель.

Поэтому, раз я решил следовать вашим традициям, ничего не будет удивительного в том, что повествование мое приобретет сходство с лоскутным одеялом. В лоскутных одеялах есть своя прелесть: их создает сама жизнь. Настоящее лоскутное одеяло шьется из остатков, накопившихся в доме за долгие годы: старые платья, шляпы, накидки, портьеры — все годится; простыни, пальто, чехлы — что там еще? — мама! мама! я нашел беличью шкурку! — давай ее сюда!

Да здравствует лоскутное одеяло!

Это совсем не то, что расчетливо накопить денег, расчетливо пойти в магазин и там расчетливо купить десять сортов материи, чтобы сшить лоскутное одеяло. Скучное будет одеяло! Ненастоящее... Жизненные впечатления наши — суть лоскуты (Евгений Викторович в настоящий момент получает внушительный лоскут страха и отчаяния, а мы в это время занимаемся легкой и приятной болтовней), они накапливаются как бог положит на душу, неравномерно, случайно, хаотично. Однако, намереваясь сшить из них лоскутное одеяло романа, мы будем тщательно заботиться о том, какие лоскутки с какими соседствуют — по фактуре, по цвету... Иной раз до зарезу необходим лоскуток, которого у тебя нет,— парча какая-нибудь — и вот бегаешь по городу в поисках приключений, ищешь парчу...

— У меня уже мозги набекрень. О чем вы говорите?

— О нашем романе, мистер Стерн! О его композиции и свойствах, способных согреть душу читающему и усладить его взор.

— Но я пока не вижу романа.

— Зато я вижу, милорд. И, чтобы приблизить вас к нему, я продолжу рассказ, а заодно познакомлю еще с одним героем.

Кооператор Завадовский жил в первом подъезде

нашего дома, на пятом этаже, занимая с женой двухкомнатную квартиру № 34. Дети четы Завадовских давно встали на ноги, и теперь с ними жила собачка — фоксик Чапка, сучка восьми лет, беловато-серой масти.

Валентин Борисович и Клара Семеновна были цирковыми артистами на пенсии. Когда-то они выступали с номером «Необыкновенный велокросс» и разъезжали по арене на велосипедах, имевших по одному колесу и седлу на длинной железной палке, руля же не имевших,— а последние двенадцать лет жили в свое удовольствие, занимаясь мелким приработком по обслуживанию собак. Клара Семеновна умела стричь пуделей, а Валентин Борисович бесподобно готовил собачьи супы, так что в квартире Завадовских постепенно образовалось нечто вроде пункта питания окрестных собак, который временами трансформировался в собачью парикмахерскую. Разумеется, собаки обслуживались не бесплатно, но и не слишком дорого; во всяком случае, кооператоры из нашего дома и трех точечных, что стояли напротив, были рады отчислять из своей зарплаты кое-какие суммы в пользу Завадовских, лишь бы любимые (и весьма породистые!) их собачки имели вкусные супы и были красиво пострижены.

Подрабатывали супруги и торговлей щенками-фоксиками, которых ежегодно приносила неутомимая сучка Чапка, но это уж сущая мелочь... пятьдесят рублей за щенка... у Чапки родословная!.. пять медалей! — а попробуйте уберечь собачку от криминальной случки с какой-нибудь бродячей дворняжкой! попробуйте найти ей достойного партнера, интеллигентного, с хорошей родословной, смазливенького... (раньше Завадовские водили Чапку к профессору Кремневу, но вот уже два года водят к зубному технику Фишман — это дальше, но у фокса Фишман лапки будто в черненьких варежках и медалей на одну больше) — словом, никакие деньги не достаются зря, и я не хочу бросить и тени подозрения на достойных супругов.

Соседи по лестничной площадке, конечно, были не в восторге, но... Какие соседи и когда были в восторге от своих ближних, живущих за стенкой?

— Да, если они живущие. Только на кладбище соседи не ссорятся между собою.

— Как знать, милорд!

— Я вам точно говорю.

Валентин Борисович был ростом мал, худ и похож на

мальчика с длинным повисшим носом, а Клара Семеновна, напротив, походила на тыкву, разве что складочки располагались не по вертикали, а горизонтально. Характер у нее был громкий и общительный, тогда как у ее супруга — тихий и робкий. На этом несоответствии строилась не только семейная жизнь Завадовских, но и комизм циркового номера, когда они крутили педали каждый своего колеса, но в последние годы комизма никакого не получалось, и маленький сухонький Завадовский все чаще был выметаем из квартиры мощным дыханием супруги, чтобы без устали колбасить по магазинам, или по знакомым-клиентам, или в поисках шампуня для собак.

Чапку тоже всегда выгуливал Валентин Борисович, причем в порядке вещей были ночные выгулы, когда он, проснувшись среди ночи от храпа Клары Семеновны и будучи не в силах заснуть вновь, цокал зубом, отвернувшись от своей половины, и сразу же слышал легкое и звонкое клацанье когтей Чапки, спешившей по паркету на зов хозяина. Завадовский поднимался с двуспального ложа — немыслимо мягкой и почему-то египетской перины,— набрасывал прямо на пижаму пальто, засовывал ноги в меховые полусапожки и трусил с Чапкой по лестнице вниз, стараясь двигаться бесшумно.

Лифт работал и ночью, но в поздние часы Валентин Борисович лифтом не пользовался никогда, опасаясь шумом его моторов обеспокоить соседей.

Вот и в описываемую нами ночь, часа в три или около того, когда все дома на улице Кооперации погружены были во мрак, Валентин Борисович, как всегда, в пальто, накинутом на бежевую в полосках теплую пижаму, без шарфа, но в шляпе, вышел, сопровождаемый Чапкой, из подъезда и глотнул ночной весенний воздух.

Наш дом спал. Ряды темных окон отливали глубокой синевой, лишь высоко над четвертым подъездом, на девятом этаже, слабо светился желтый прямоугольник — то ли ночник там горел, то ли свеча. Скорее, все же свеча, потому что окно едва мерцало, будто от колеблющегося огонька, и этот неверный свет вдруг породил у Валентина Борисовича мгновенную тревогу, которую он тут же подавил, ибо для нее не было никаких решительно оснований.

Надо сказать, что и собачка вела себя беспокойно... скулила... не помчалась, как обычно, на спортивную площадку, что находилась неподалеку, а сиротливо

жалась к ноге хозяина, к пижамным полоскам, взглядывая на Завадовского снизу преданно и тревожно. Следовало бы обратить на это внимание, но... Завадовский нагнулся, поднял Чапку на руки и зашагал через улицу к площадке, окруженной кустами и деревьями — голыми в это время года.

Там он опустил Чапку на землю, фоксик шерстяным клубочком покатился к кустам, принялся обнюхивать стволы, потом присел на задних лапках... Завадовскому вдруг нестерпимо захотелось тоже («Холодно, черт побери! Как я раньше не подумал?») — в общем, как говорится, приспичило.

Валентин Борисович, боязливо оглянувшись, зашел за трансформаторную будку, что находилась рядом с площадкой, так, чтобы из окон дома, не дай бог, не смогли его увидеть (кого он боялся? кооператоры смотрели уже третьи сны!), нетерпеливо расстегнул пальто и...

...Тут дрогнула земля, воздух сместился всею массой и прошел под землею гул, отчего Завадовский втянул голову в плечи, а Чапка со звонким и яростным лаем бросилась куда-то в сторону.

Валентин Борисович не смог сразу остановить физиологический процесс; он лишь зажмурился и чуть согнул колени, а в воздухе возник вихрь, сорвавший с Завадовского шляпу. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего земля дрожать перестала и атмосфера успокоилась, только лай Чапки не затихал.

Вполне уверенный в каком-то случайном порыве погоды, в гигантской кратковременной флуктуации атмосферного давления (Завадовский не знал этого слова, зато я знаю, милорд), бывший артист цирка вышел из-за будки, застегивая нижние пуговицы пальто, да так и окаменел, обращенный лицом к месту, где только что стоял его дом. Дома не было!

Завадовский понял это сразу, ибо ночь была не столь уж темна, небо безоблачное — и луну было видно, а вернее, стало видно после того, как исчез дом. Она стояла низко над горизонтом, приближаясь к полнолунию. Поэтому Валентин Борисович не стал протирать и пялить глаза, а поспешил к месту, где пять минут назад находились двери его подъезда и где сейчас возле бетонного крылечка крутилась волчком Чапка, не переставая издавать горестные собачьи звуки.

Он почти бегом преодолел несколько десятков мет-

ров, взбежал на две ступеньки крыльца и... остановился как вкопанный... тяжело дыша... с жестом отчаяния: скрюченные пальцы перед обезумевшим лицом.

Прямо под ним открывалась бездна — так ему показалось — хотя при втором взгляде обнаруживалось, что до бездны далеко. Скажем так: провал глубиною метра два. Валентин Борисович повел очами и увидел огромную прямоугольной формы яму, в точности повторявшую своими очертаниями размеры дома в плане. В яме находился как бы лабиринт из бетонных плит и панелей, между которыми тянулись разного сечения трубы, провода, какие-то мостки были проложены — пол в лабиринте был земляной... Прошло еще несколько секунд, прежде чем Завадовский догадался, что видит перед собою фундамент собственного дома и его подвалы, дотоле скрытые от глаз самим домом. В подвалах кое-где сохранились кучи строительного мусора, тянулись сети инженерных коммуникаций: водопровода, газа, электрические кабели.

Было такое впечатление, будто дом аккуратно сняли с фундамента и куда-то унесли.

— Но куда? Что за шутки! Ночью! Без предупреждения! — Завадовский почувствовал сильнейшее негодование.

Он услышал вдруг, что в стороне, в районе второго подъезда, журчит вода. Завадовский, снова подхватив собачку на руки, бросился по кромке ямы на звук, осыпая в открытые подвалы свежие комья глины. Из трубы, уходящей в землю, хлестала вода, сверкая брызгами в лунном свете и постепенно заполняя отсеки подвалов. Как ни был Завадовский слаб в инженерии, он все же догадался, что видит главную артерию, посредством которой дом связывался с сетью водопровода. Между прочим, конец артерии был грубо обломан.

Тут же мелькнула мысль о газе, который тоже вырывается на свободу где-то рядом — невидимый, но опасный... и электричество!.. вон, вон оно трещит голубыми искрами, уходя в развороченную землю! Где дом? Где он? Куда девался?!

Катастрофа!!!

Завадовский обратил взор к небу, как бы посылая упрек господу богу, и тут только увидел высоко над собою черную прямоугольную тень, которая плавно удалялась к горизонту, имея в правом верхнем углу светящийся желтый квадратик. Завадовский сразу уз-

нал — не удивился, но заплакал, прижимая Чапку к груди,— дом! дом улетающий! возьми меня с собою! — не слышит...

Впрочем, необходимо было хоть что-то предпринимать.

Цирковые артисты — люди тертые, и Валентин Борисович не был исключением (собачьи супы — тому лишнее подтверждение). Поэтому, проводив прощальным взглядом улетающий с Кларой Семеновной кооперативный дом, он опустил взгляд на грешную землю и увидел телефонную будку, которая располагалась ранее у третьего подъезда, а сейчас, естественно, торчала на самом краешке ямы, слегка покосившись. Завадовский побежал дальше по кромке, суетливо роясь в карманах в поисках мелочи, как вдруг его осенило: мелочи не нужно!

— Мы же в милицию звоним, Чапа... монетка нам не нужна... Верно, Чапа? — бормотал Валентин Борисович, подбегая к будке.

На удивление телефон работал — гудок был! Завадовский поспешно набрал 02 и только тут сообразил, что не знает, какими словами будет взывать о помощи.

Разговор с дежурным был следующий (протокольный вариант).

— Дежурный УВД слушает.

— Говорит Завадовский... У нас несчастье!

— Что случилось?

— Дом... Пропал дом... Исчез!

— Что значит — исчез?

— Улетел... Я сам видел!

— Гражданин, проспитесь!

Последняя фраза была произнесена с интонацией прямо-таки металлической, после чего в трубке последовали частые гудки. «Не верят нам, Чапа!» — горестно вздохнул Валентин Борисович, но отступать было некуда — он снова набрал 02.

— Дежурный УВД слушает.

— Я вас умоляю — не вешайте трубку,— горячо начал Завадовский.— Говорит пенсионер Завадовский, заслуженный деятель искусств республики, член партии с одна тысяча девятьсот пятидесятого года, проживающий по адресу...

— Гражданин, короче. Что случилось?

— ...проспект Кооперации, дом одиннадцать, квартира тридцать четыре,— выпалил Завадовский.—

Я прошу прислать наряд милиции и разобраться на месте.

— В чем?

— Хищение социалистической собственности в особо крупных масштабах! — крикнул Завадовский в трубку.

— Магазин, что ли, грабят? — спросил дежурный.— Повторите адрес...

Завадовский повторил адрес и свою фамилию.

— Пришлем патруль,— сказал дежурный.

И лишь только Валентин Борисович с Чапкой покинули телефонную будку с чувством исполненного гражданского долга, как она, клонившаяся до того, как Пизанская башня, чрезвычайно медленно, вдруг набрала скорость и опрокинулась в подвал, оборвав провода телефонной сети. Раздались громкий всплеск и вой Чапки.

— Ничего, Чапа, ничего...— шептал Завадовский.— Сейчас приедут, разберутся...

Он отправился к своему подъезду и там принялся расхаживать перед несуществующими дверями, постепенно приводя себя в состояние языческого транса. Со стороны могло бы показаться, что странно одетый человек с торчащими из-под пальто пижамными брюками шаманит среди ночи перед разверстой ямой. Сходство усиливали газовые факелы, вспыхнувшие тут и там от электрических искр. Но улица Кооперации была пустынна, а соседние дома темны.

Обрывки самых разнообразных мыслей и воспоминаний теснились в мозгу бедного кооператора: вспоминался цирк, громкие выезды на арену под звуки фанфар... и Клара — пухленькая, веселая, неунывающая Клара, будто слитая воедино с одноколесным аппаратом, посылающая публике восторженные комплименты... где она? На небесах! — ужасно! ужасно!.. Лезли откуда-то со стороны, как тараканы, мелкие и многочисленные мысли о возможных последствиях исчезновения дома и Клары (Завадовский сразу и бесповоротно решил, что это — навсегда). Например, хотя и жаль было вещей и гардероба и вставал вопрос о необходимости начинать все сначала, все же прокрадывались и приятные мыслишки... не так уж он стар... а что, если... Да-да, несомненно найдется женщина... а можно вернуться к Соне. (С Соней Лихаревой, дрессировщицей собачек, была связана у Валентина Борисовича одна давняя ро-

мантическая история, весьма быстро и умело пресеченная решительной рукою Клары.)

Но Завадовский, к чести ему будь сказано, быстро справился с неуместным одушевлением и, раскачиваясь и завывая на луну, предался долгой великолепной скорби, из которой его вывел зеленый огонек такси, вспыхнувший вдруг у дальнего, четвертого подъезда.

— Это приехал Демилле, милорд. Шофер выключил счетчик, и одновременно включился зеленый фонарик: «такси свободно».

— Я догадался.

Валентин Борисович перестал раскачиваться и настороженно взглянул на такси. Согласитесь, после пережитого им любую новость воспринимаешь подозрительно! Из такси выскочила фигурка человека и бросилась к яме... там остановилась, как вкопанная... Выскочила следом другая фигура, подошла к первой, тоже остановилась. Последовала пауза, после чего фигуры начали разговор, причем обрывки фраз долетали до Завадовского: «Адрес?.. Тот адрес!.. Пить нужно меньше... Деньги есть?..» Одна из фигур протянула что-то другой... Хлопнула дверца, взревел мотор. Такси развернулось и уехало в ту же сторону, откуда появилось.

Завадовский хотел было подойти к товарищу по несчастью (он уже понял, что оставшаяся у ямы одинокая фигура — товарищ по несчастью, сосед, ближний), но увидел в конце улицы два мигающих синих огонька, которые быстро приближались к месту происшествия. Валентин Борисович испытал мгновенную радость победы — как в кино — Чапаев вылетает из-за холма впереди эскадрона, бурка на нем развевается — наши! наши подоспели! Завадовский еще крепче прижал Чапку к груди, на глаза ему опять навернулись слезы... Нервный был человек!

...И побежал навстречу милиции, забыв о ближнем, который внезапно исчез из поля зрения, как сквозь землю провалился. Но Завадовский этого и не заметил. Он бежал со слезами на лице, ослепленный светом фар, точно бабочка на огонь. Чапка лаяла у него в руках — было холодно, ветер свистел в ушах. Еще полчаса назад этот человек спал на мягкой и теплой египетской перине... имел дом, жену... Сейчас у него осталась байковая пижама, полусапожки, пальто и собачка. Шляпа куда-то укатилась. Ни документов, ничего!

Передняя патрульная машина резко остановилась,

и из нее высыпались три или четыре милиционера, которые, не мешкая, подскочили к Завадовскому и на всякий случай схватили его за руки, слегка заломив их назад, причем Чапка ухитрилась куснуть одного из милиционеров, тут же выпала из рук Завадовского и принялась чертить петли вокруг форменных серых брюк, заливаясь злобным лаем.

— Куда бежите? — быстро задал вопрос начальник патруля, лейтенант милиции.

— К вам...— тихо выдохнул Завадовский.— Я Завадовский. Я звонил.

— Что случилось?

— Дом... дом...— прошептал Валентин Борисович и кивнул головою в сторону ямы, ибо руки у него были крепко прижаты к спине.

— Где дом?

— Здесь был мой дом! — в отчаянии крикнул Завадовский.— Да отпустите же руки!

Милиционеры отпустили руки по кивку начальника, но остались стоять тесно к возможному нарушителю.

— Вот здесь стоял дом! — резко повернулся на каблуках кооператор и, протянув обе руки вперед, направился к яме.

Милиционеры двинулись за ним.

— Представляю их состояние. Они, должно быть, подумали, что перед ними помешанный!

— Ах, милорд, никогда не знаешь, о чем думает милиция...

Процессия приблизилась к фундаменту, и все милиционеры дружно заглянули вниз, в отсеки подвалов, куда по-прежнему не спеша прибывала вода. Две патрульные машины бесшумно подъехали сзади. Воцарилось недоуменное молчание. Более всего милицию смущала вода, бьющая из трубы,— вода была явным беспорядком — за исключением этого и, быть может, факелов, ничего особенно страшного не наблюдалось. Ну, фундамент... нулевой цикл... стройка как стройка.

— Вы утверждаете,— начал, кашлянув, лейтенант,— что здесь раньше стоял ваш дом? Вы здесь жили?

— Да! — с вызовом сказал Завадовский.

— Где? Когда?

— Сегодня! Только что! Здесь стоял девятиэтажный дом! Дом номер одиннадцать по улице Кооперации! — кричал, как глухим, Завадовский.

— А где же он теперь? — спросил несколько сбитый с толку лейтенант.

— Не знаю! Улетел! — патетически воскликнул кооператор.

— Вот что, гражданин, вам придется проехать с нами,— хмуро, скучным голосом (он уже знал, чем пахнут дела с сумасшедшими) сказал лейтенант.

— Но за что? — возмутился Валентин Борисович, будто не понимая, что если милиция не возьмет его с собою, то делать ему ночью на улице будет решительно нечего.

— Там разберемся,— сказал лейтенант классическую фразу. («Почему классическую?» — «Все милиционеры ее говорят».)

Помощники лейтенанта теснее сплотились вокруг Завадовского, еще один поймал Чапку и сжал ей мордочку ладонями, чтобы она не лаяла, и все двинулись к машине ПМГ.

— О господи! А это еще что?

— Народ зовет эти машины «помогайками», но официальная расшифровка аббревиатуры — «патрульная милицейская группа».

В это мгновение из первой «помогайки» высунулась голова водителя в серой шапке:

— Товарищ лейтенант! Вас к рации! Срочно!

Начальник патруля ускорил шаг и скрылся в машине. Милиционеры подвели Завадовского к задним дверцам «помогайки» и остановились, ожидая дальнейших распоряжений. Начальник вел переговоры по рации минуты три. Когда он вновь показался из машины, лицо его было глубоко озадаченным и слегка испуганным, несмотря на форму. Он снял шапку и вытер вспотевший под нею лоб.

— Как вас по имени-отчеству? — обратился он к Завадовскому.

— Валентин Борисович.

— Прошу прощения, Валентин Борисович... (При этих словах помощники, придерживавшие Завадовского за локотки, сами собою отодвинулись, как дверцы метрополитена.) Мы попросим вас поехать с нами, у нас есть для вас важные сведения... Архипов! Останешься на посту у дома... то есть здесь. Никого к яме не пускать! Скоро приедут строители, поставят забор. И аварийные службы... Валентин Борисович, никто

больше не видел, как дом... э-э... улетел? Свидетелей, кроме вас, нет? — спросил лейтенант.

На миг перед глазами Завадовского мелькнули фигурки людей у такси с зеленым огоньком... но тут же мысль о том, что признание задержит операцию, заставит бедных милиционеров искать неизвестного ночного пассажира... на холоде... нет! Завадовский был человек тертый.

— Не заметил,— осторожно сказал он.

Дверцы распахнулись, и Валентин Борисович, бережно поддерживаемый милиционерами, шагнул в темное нутро ПМГ. Туда же сунули и Чапку. Бывать ранее Завадовскому здесь не приходилось. Он на ощупь обнаружил низкую скамеечку у борта и уселся на нее, поглаживая Чапку. Только тут он заметил грузную фигуру в милицейской форме напротив себя. Фигура шумно вздохнула, обдав Завадовского густым запахом табака.

— Ну, шо?.. Допывся? — добродушно спросила фигура, взглянув на торчащие из-под пальто пижамные брюки.

— Хвыленко, придержи язык! — прикрикнул начальник снаружи.— Товарищ едет свидетелем.

— А я шо...— невозмутимо ответствовал Хвыленко.

Дверцы захлопнулись, погрузив кооператора, Хвыленко и Чапку в полнейший мрак, начальник патруля уселся рядом с водителем, и первая машина помчалась по пустой улице. На месте происшествия остался пост: два милиционера по углам фундамента. Вторая патрульная машина принялась медленно объезжать близлежащие закоулки. Она была похожа...

— Знаете, милорд, в наших сказках часто повторяется прибаутка: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Вот и эта машина... Такой она имела вид.

Глава 3.

БЛУДНЫЙ СЫН

Демилле нашел в кармане десятку, не думая, механически мял ее в руке, смотрел на водителя с надеждой... может быть, поможет, объяснит?.. Водитель грубо вырвал деньги, ушел. Взревел за спиною Демилле мотор, машина развернулась, уехала. Евгений Викторович

остался стоять перед ямой с бетонными плитами. Откуда там взялась вода?.. Он ничего не соображал.

Его вывел из оцепенения ровный механический звук, доносившийся со стороны проспекта Благодарности. Демилле повернул голову и увидел две милицейские машины с мигалками. Они приближались к месту катастрофы. «Паспорт!» — крикнул кто-то посторонний в голове Евгения Викторовича, и он принялся в растерянности хлопать себя по карманам, хотя знал точно — паспорта при нем не было. Зачем и почему понадобится паспорт, Демилле сказать бы не мог, но чувствовал — понадобится.

Им овладел испуг. Он вдруг представил себя на месте милиционеров, прибывших расследовать загадочное исчезновение дома. (Целенаправленность, с какою приближались машины ПМГ, не оставляла сомнений: едут расследовать.)

— Дом исчез неизвестно куда. Рядом с фундаментом подозрительный и выпивший субъект без паспорта, без денег, в липком почему-то плаще... А не причастен ли он к беспорядку? Милиция, по всем расчетам Евгения Викторовича, не могла его не арестовать.

— Арестовать? За что?!

— Успокойтесь, милорд! Какие вы, право, англичане чувствительные к гражданским свободам! Никто не собирался его арестовывать. Могли задержать, вот и все. Не более чем на три часа. Экое дело!

Тем не менее в сознании Демилле, взбудораженном невесть откуда свалившимся несчастьем, очень ясно обозначилось: «Заберут!». Он шмыгнул в сторону, огибая яму, перепрыгнул через низенький заборчик детского сада и, недолго думая, укрылся в бетонной короткой трубе сечением в человеческий рост, то есть почти в человеческий рост, так что стоять в ней Евгению Викторовичу пришлось согнувшись. Труба эта была положена на детской площадке специально для увеселения детей. Если бы в тот миг кто-нибудь увидел Евгения Викторовича, то наверняка заподозрил бы в злом умысле. В самом деле — ночью, на игровой площадке детского садика, в отрезке бетонной трубы неподвижно стоит скрюченный мужчина... А? Каково? Забрать его — и делу конец!

Но Евгения Викторовича, к счастью, никто не видел. Спал ночной сторож детсада (аспирант кафедры теоретической астрофизики Костя Неволяев), спали жильцы

окрестных домов, а прибывшая милиция достаточно была отвлекаема кооператором Завадовским и исчезнувшим домом. Демилле слышал доносившиеся оттуда голоса, особенно громко прозвучала фраза: «Здесь был мой дом!», которую выкрикнул высокий мужской голос... Демилле вздрогнул; до него стало по-настоящему доходить, что все случившееся — не шутка, не сон, не галлюцинация — дом исчез! стерт с лица земли! — а сын? а жена?.. «Так тебе и надо!» — вдруг жестко выговорил внутри тот же посторонний голос, который кричал о паспорте. «Допрыгался...» — подумал Демилле уже самостоятельно.

Он дождался, покуда уехала первая машина, а вторая развернулась и юркнула в глубь жилого массива, и только потом вылез из трубы. За оградою детского сада, у края разверстой ямы, виднелась статная фигура милиционера. Он стоял спиной к Евгению Викторовичу. Демилле, чуть пригнувшись, как на поле боя, простреливаемом противником, сделал короткую перебежку за угол детсада, выглянул из-за него и, убедившись, что фигура не изменила ориентации, побежал к заборчику. Перемахнув его, Евгений Викторович благополучно скрылся в ночи среди однообразного ландшафта.

Только-только отдышавшись, он начал соображать, куда идти дальше. Ну, хорошо, от милиции он ушел, но ведь надо где-то переночевать, а точнее, доночевать, потому что дело близилось уже к утру...

— И где же он ночевал? В ночлежке?

— Что такое «ночлежка» в вашем понимании, Учитель?

— Это место, где можно за умеренную плату получить ночлег.

— Браво, милорд! Но у нас нет ночлежек. С ними покончено как с пережитком старого быта, поэтому о ночлежках мы знаем только по пьесе Горького «На дне».

— Где же ночуют у вас бездомные?

— У нас нет и бездомных... Правда, случается, что тот или иной человек оказывается временно бездомным. В чужом городе, когда не удалось устроиться в гостиницу... или жена выгнала... или пьян и не можешь найти дороги домой... или просто тоска, хоть волком вой, и хочется опуститься на самое дно (как у Горького, милорд) — и вот тогда возможны следующие варианты, исключая, разумеется, родственников и знакомых:

1) вокзалы; это ночлежки бесплатные, но неудобные — жесткие скамейки — того и гляди, что-нибудь уворуют — да и милиция гоняет... официально в залах ожидания можно ожидать сидя, но не лежа;

2) ночлег у проститутки («Фи! Как грязно! Неужели у вас развита проституция?» — «Профессиональной проституции нет, но есть любительницы, которые за выпивку или небольшую плату могут предоставить в распоряжение свою комнату вместе с собою. Удовольствие, правда, грозит „чреватостью в последствиях", как выразился один театровед, получивший подобное предложение на Лиговке в районе полуночи».— «Что он имел в виду?» — «Вероятно, ограбление или венерическую болезнь, или то и другое вместе».);

3) вытрезвитель — это дорогое развлечение. Его могут позволить себе люди обеспеченные, крепко стоящие на ногах (фигурально, но не буквально), имеющие к тому же дефицитную специальность — токари, фрезеровщики, металлурги, слесари... Дело в том, милорд, что каждый ночлег в вытрезвителе обставляется, помимо платы за обслуживание, рядом неприятных формальностей: штрафом за антиобщественное поведение, сообщением на работу ночующего с последующей проработкой и прочим, поэтому интеллигентам лучше там не ночевать — их могут вышибить с работы. А рабочим легче... У нас не хватает рабочих, милорд, это серьезная экономическая проблема. Неудивительно, что им стараются создать условия получше.

Как видите, выбор невелик, а удобства сомнительны. Вот почему Евгений Викторович и думать не стал про все эти вещи, спешно прикидывая другие варианты: к приятелям — неудобно... В мастерскую, от которой имелся ключ — не хочется смертельно... Да и как доедешь? Трамваи не ходят, а денег на такси нет.

Пока Евгений Викторович размышлял, ноги сами несли его по проспекту Благодарности мимо темных окон домов. На всем проспекте горели два-три окна где-то высоко и далеко — свет забыли погасить, что ли?

Он вдруг понял, что идет к маме, к ее дому, где не был давно, месяца четыре. И с самого начала, когда, убежав от милиции, он начал перебирать варианты ночлега, ноги уже несли его туда, в старую квартиру родителей, где прошло его детство и где после смерти отца жили мать Евгения Викторовича и его сестра со своим семейством.

Поняв это, Демилле поморщился — ему трудно было бывать у матери. Упреки совести долго не давали потом покоя, будто в чем-то он был виноват перед нею — да и в самом деле был! — разве свободен кто-нибудь от вины перед матерью? Где, как не там, можно преклонить голову, и покаяться, и попросить прощения, зная, что будешь прощен, и вернуть на миг незабываемый запах детства?

— В сущности, мы никогда не порываем с детством, милорд, и как величайшее счастье воспринимаем всякое настоящее в него возвращение... Не то, знаете, когда ребячливость нападает... нет, тут другое...

— Я знаю, о чем вы говорите.

— Это бывает только наедине с собою. Чаще всего у зеркала, когда с отвращением смотришь на свое взрослое лицо и вдруг стираешь его, как ненужную маску, и подмигиваешь себе — десятилетнему: «Здорово мы дурачим взрослых?» Удивительно, но понятие «взрослый» по отношению к каким-то людям сохраняется всю жизнь.

— Но если это так, если они взрослые, то кто же мы?

— Дети, милорд!

Демилле заметил впереди огонек и прибавил шагу. Он наискось пересек улицу и оказался перед железной загородкой, за которой ровными рядами стояли накрытые брезентом автомобили. Это была стоянка личных автомашин. У закрытых ворот лепилась будочка, из маленького окошка которой выбивался свет. Демилле приблизился к окошку и осторожно заглянул в него.

В будочке он увидел молодого человека с бородкой, в красной с синим синтетической куртке, усыпанной белыми пятиконечными звездами. Бородка заострялась вниз клинышком, на голове молодого человека топорщилась петушиным гребешком вязаная шапочка с надписью на ней «LAHTI», из-под шапочки выбивались пучки черных жестких волос.

Молодой человек сидел в старом, с продранною обшивкою кресле, положив ноги на прикрепленный к стене будочки низкий столик, где под стеклом виднелся календарь, какие-то таблицы и бумажки. В руках у незнакомца была газета — как удалось установить Евгению Викторовичу, читавшему по-французски,— парижская «Фигаро».

Демилле легонько кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Молодой человек сложил газету, поднялся

с кресла и распахнул дверь будочки наружу. Щурясь и привыкая глазами к темноте, он замер в дверях. Наконец он увидел Демилле, выставил бородку вперед и произнес учтиво:

— Что вам угодно?

— Воды...— прошептал Демилле первое, что пришло в голову.— У вас попить не найдется?

— Прошу вас,— еще более учтиво ответил хозяин, распахивая железную калитку в ограде и приглашая Демилле войти. Евгений Викторович последовал приглашению. Хозяин запер калитку и тем же предупредительным жестом направил гостя в будочку.

— Садитесь... Вам воды или, может быть, желаете выпить? — сказал молодой человек, когда Демилле уселся на табуретку, втиснутую между краем столика и стеною.

— Я не... А впрочем...— Демилле запутался.

Хозяин изогнулся и вытянул из-за спинки кресла наполовину опорожненную бутылку «Каберне». Не говоря более ни слова, он извлек откуда-то стакан и чашку с отбитой ручкой, а затем разлил вино.

— Будем знакомы,— сказал он, приподнимая чашку за крохотный отросток ручки и глядя в глаза Евгению Викторовичу.— Борис Каретников.

— Евгений,— кивнул Демилле, приподымая стакан.

Фамилию свою Евгений Викторович называть не любил, во избежание недоразумений: как? простите, не расслышал?.. Демилев? Деми... что? и т. п.

Они выпили. Каретников, несмотря на то, что пил из чашки, да еще с обломком вместо ручки, держался исключительно элегантно и современно, на столике французская газета — курточка-то по виду американская! — меньше всего к ночному знакомцу подходило слово «сторож», хотя он был именно им.

Не зная, о чем бы потолковать с молодым человеком, Демилле задал довольно дурацкий вопрос:

— У вас здесь машина стоит?

— Разве я похож на человека, у которого может быть личный автомобиль? — возразил Каретников.— Я просто имею честь охранять эту стоянку.

— Странно...— пробормотал Демилле.— Я никак не мог предположить... Эта газета,— он указал на «Фигаро», отчего Каретников сразу приободрился и выпятил слегка грудь.

— Странно, вы говорите? — начал он с риториче-

ского вопроса.— Действительно, странно, когда человек, владеющий пятью иностранными языками, из них тремя — в совершенстве, работает ночным сторожем. Вы это хотели сказать?

— М-мм,— Демилле пожал плечами, ибо ничего такого сказать не хотел.

А в Каретникове будто открылся клапан (один из тех, милорд), а может быть, душа в ночных бдениях истосковалась по собеседнику, но он сразу высыпал на Демилле пригоршню круглых, хорошо обкатанных слов, из которых явствовало, что Каретников — не просто ночной сторож, а ночной сторож из принципиальных соображений, поскольку не в силах найти работу, где мог бы применить знание всех пяти языков (один из них был турецкий), а размениваться на меньшее количество языков ему не хотелось. На этой почве у Бориса Каретникова наметились разногласия с системой.

— С какой системой?

— О, вы задали сложный вопрос, милорд. Он требует анализа.

Не успеваем мы переступить порог этого лучшего из миров, как сталкиваемся с огромным количеством систем, которые по отношению к нам являются внутренними, внешними или умозрительными.

Классификация моя, милорд!

...Например, сердечно-сосудистая система нашего тела есть система внутренняя, тогда как система пивных ларьков Петроградской стороны, из которой — я говорю и о системе, и о стороне — несколько часов назад был буквально вырван один элемент с честнейшей тетей Зоей,— есть система внешняя. Это каждому понятно. Но что такое система умозрительная?

Под умозрительной системой я понимаю плод усилий нашего разума, стремящегося связать воедино набор внешне разнородных предметов, фактов или явлений с тем, чтобы вывести общие свойства этого набора и, окрестив последний системой, попытаться предсказать или исследовать законы, ею управляющие. В памяти сразу же всплывает Периодическая система элементов Менделеева, существующая лишь в нашем воображении, равно как и система единиц измерения физических величин, и системы стихосложения, и философские системы, и система «дубль-ве», и денежная система (уж она-то наверняка существует только в нашем воображе-

нии!), и новая система планирования и экономического стимулирования, и даже система «счастливых» трамвайных билетов.

Все это системы умозрительные.

И лишь одна система никак не укладывается в рамки моей классификации, которой суждено сыграть выдающуюся роль в науке и перевернуть взгляды философов, поэтов и системотехников. Она является одновременно внутренней, внешней и умозрительной.

Эта система — государственная.

— Тсс! Да вы что?.. В своем уме? Нет, если так будет продолжаться, то я слагаю с себя... Зачем мне лишние неприятности? Мне и так досталось в свое время! Я хочу дожить свое бессмертие спокойно.

— Да вы никак испугались, милорд?

— Ни капельки! Однако должен вам напомнить, сударь, что я никогда не затрагивал королевской власти. Всякая власть — от Бога. Мне хватало ослов поблизости — стоило лишь протянуть руку, и я натыкался на уши. Но зачем же трогать королеву?

— При чем здесь королева?

— Ах, вы меня прекрасно понимаете...

— Допустим... Но разве я сказал что-либо предосудительное о государственной системе? Я даже не назвал конкретное государство.

— Не считайте меня идиотом. Вы что — живете на Канарских островах? Или в республике Чад? Или в Новой Каледонии?.. Вы живете здесь, и каждое ваше слово насчет любого государства — даже Лапуту, даже Бризании — будет отнесено сюда.

— Но я, ей-богу, ничего плохого еще не сказал.

— Как вы любите, сударь, прикидываться простачком! Вы уже сказали, что государственная система является одновременно внутренней, внешней и умозрительной. Даже если вы этим ограничитесь, то, предоставив любому разумному человеку право поразмыслить над вашим определением, вы неминуемо натолкнете его на вывод о том, что:

а) государственная система является внешней, потому что противостоит индивидууму и подавляет его свободу;

б) она является внутренней, потому что страх перед государственной машиной заложен на уровне инстинкта;

в) наконец, она умозрительна, потому что не отра-

жает ничего реального, потому что она — фикция, игра воображения, к тому же — не нашего.

Вам достаточно?

— Достаточно, милорд. Я поражен вашей казуистикой. Таким способом можно извратить любое суждение.

— Дорогой мой, я старше вас на двести с лишним лет... Не трогайте государство, прошу вас. Что у вас — мало забот помимо него? Я вам больше скажу: литература не для этого... Свифт мне недавно признался: «На кой черт я воевал с государством? У меня был прекрасный парень — этот Гулливер — а я, вместо того чтобы дать ему насладиться жизнью, любовью и детьми, заставил беднягу таскаться по разным Лилипутиям, Бробдингнегам и Лапуту, описывать их государственность и показывать фиги доброй старой Англии. Зачем? Ничего не понимаю!» Так сказал мне Свифт.

Друг мой, плюньте на государство!

— Ох, мистер Стерн, как бы оно не плюнуло на меня!.. Но все же я, боясь показаться назойливым, объяснюсь по поводу тройственной природы государственной системы...

— Ну, как знаете. Я вас предупредил.

— Итак, государственная система безусловно является внешней по отношению к отдельному человеку. Ее установили без него, не спрашивая его и не интересуясь — как она ему понравится. Для отдельного гражданина государственная система — такая же объективная данность, как гора Джомолунгма (или Монблан — это чуточку ближе к вам, милорд).

Но она же является внутренней, потому что государственность впитывается с молоком матери. Однако я решительно не приемлю тезис о страхе. Внутреннее чувство от заложенной в нас государственной системы значительно сложнее. Это и восторг, и гордость, и уверенность (совокупность чего называют патриотизмом — не совсем, впрочем, правильно); и обида, и страх, и недоумение (это чаще всего именуется обывательским брюзжанием); и горечь, и стыд, и умиление, и надежда видеть свое государство сильным и сплоченным — и отчаяние.

Внутренняя государственная система стала как бы частью нашей нервной системы — и значительной! Мы так тонко чувствуем, что можно и чего нельзя в нашем государстве, что иностранцы, милорд, изумляются! Чувство это принадлежит к разряду безошибочных.

Я предлагаю мысленный эксперимент. Нужно подойти к первому попавшемуся прохожему и прочитать ему страницу текста (прозы, поэзии, публицистики), после чего спросить: возможно ли это опубликовать в нашей прессе? Ответ будет правильный, я готов побиться об заклад.

— Что же это доказывает?

— А это доказывает, милорд, что мы все мыслим государственно, мы легко становимся на точку зрения государства, мы знаем, как оно относится к той или иной проблеме. Внутренний цензор, о котором так любят рассуждать господа литераторы, на самом деле не является их собственностью. Он сидит в каждом из нас. Мы отлично знаем — что следует говорить на трибуне, а что можно сказать в семейном кругу. Мы возмущаемся писанными под копирку выступлениями трудящихся по телевидению, но позови нас туда завтра, вложи в руки текст и поставь перед камерой,— и мы с искренним чувством прочитаем его в микрофон, потому что станем в тот момент частицей системы.

— Я что-то никак не пойму, куда вы гнете...

— А никуда! Я пытаюсь разобраться в сложном чувстве внутренней государственности. Упаси меня боже от фиг в кармане или еще где! К сожалению, игривый тон все губит. Я уже объяснял, что не умею казаться серьезным. Я всегда шучу... дошучиваюсь... перешучиваю... Но никогда не отшучиваюсь, милорд! Попробуйте отшутиться от столь важной вещи, как отношение к системе!

Есть такое изречение: «Каждый народ заслуживает своего правительства». Кажется, выдумали французы. («Да, уж они выдумщики...» — «Что вы сказали?» — «Ничего, это я так...».) Я бы сказал, что каждый народ заслуживает своей государственности. По-моему, это глубже, как вы считаете? Государственность является как бы одной из черт национального характера, а следовательно, не государственный строй накладывает отпечаток на нервную систему граждан, а наоборот — нервная система народа определяет существующий государственный строй.

— Гм... У вас есть философы-профессионалы?

— Навалом, милорд.

— Предвкушаю их удовольствие. Для них ваши рассуждения — лакомое блюдо. Я уже слышу хрупанье, с которым вас сожрут.

— Что ж делать? Возможно, я думаю неправильно, но я думаю именно так.

Ну, и последнее — насчет умозрительности государственной системы. Тут вы, милорд, совсем ошибаетесь. Я просто имел в виду то, что у каждого гражданина имеется в голове проект идеального устройства нашего государства (мы вообще очень лично относимся к государству, вы заметили?), причем все проекты не совпадают. Посему и сама система приобретает некий умозрительный аспект. Мы тратим на обсуждение проектов уйму времени, собираясь в дружеском кругу.

— И помогает?

— Да, милорд, это успокаивает!

...Из всего вышесказанного с неизбежностью вытекает, что у Бориса Каретникова, к которому мы, наконец, вернулись, наметились разногласия с государственной системой, а так как она (мы это установили) является частью нервной системы, то и с последней тоже. Каретников, будучи по природе человеком неплохим, но чуточку амбициозным, посчитал во всех своих бедах виновной систему и перенес на нее обиду и гнев. С нервами у него становилось все хуже. Он хотел ближних обратить в свою веру, которой у него, по сути, не было. И глухое, неясное понимание того, что веры-то нет, а есть лишь обида, делало его еще обиженнее.

Демилле всего этого не знал. Он отметил внешнее: молодой, интеллигентный с виду молодой человек, владеющий языками, работает сторожем на автостоянке. Евгений Викторович не любил анализировать, да и не до того ему было сейчас! Поэтому, обеспокоенный прежде всего своими несчастьями, он слабо прореагировал на излияния Каретникова, то есть не выразил должного возмущения системой, и Каретников обиженно примолк.

— А скажите,— начал Евгений Викторович после паузы,— вы не заметили нынешней ночью ничего необычного?

— В каком смысле? — насторожился Каретников.

— Шума какого-нибудь, грохота...

— Да что же случилось?! Объясните! — нервно воскликнул сторож.

— Понимаете,— сказал Демилле, неловко разводя руками, ибо мешал столик, так что получилось — разводя кистями рук...— Понимаете, у меня исчез дом...

— Как? — воскликнул Каретников в волнении.

— Я приехал, а его нет. Остался один фундамент.

Все оборвано, выломано... Но следов никаких — ни кирпичей, ни мусора. Не подумайте, что я пьян. Я могу показать место.

— Ну вот! Делают что хотят! — с горестной удалью вскричал Каретников, хлопая себя ладонью по джинсам.

— Кто делает? — не понял Демилле.— Вы что-нибудь знаете?

— Кто же может делать? Они!.. И вас даже не предупредили?

— О чем?

— О том, что дом собираются сносить в связи с Олимпиадой?

Демилле диковато взглянул на собеседника.

— Почему... Олимпиада? — пробормотал он.

— Ну, вы же знаете все эти олимпийские прожекты. Олимпийский год — не только для олимпийцев! — сострил Каретников.

— Да не похоже на снос...— с сомнением сказал Демилле.— Очень чисто вокруг.

— Значит, Министерство обороны,— заключил Каретников.— Пригнали полк солдат и расчистили за час.

— А жильцов?

— Эвакуировали. Когда военным нужно, они это могут.

— Вы думаете...— растерялся Демилле.

— Я убежден.

— Но почему тогда не выставили охрану? Не оградили?

— Вы же знаете, как у нас все делается! — с иронией парировал Каретников.

— Что же теперь? — совсем сник Евгений Викторович.

Ему не приходила в голову мысль, что исчезновение (уничтожение?) дома могло быть государственной акцией. По правде сказать, у него вообще еще не было никакой версии. Эта была первой.

— Нужно бороться,— сказал Каретников.— Я дам вам телефон. Позвоните туда, расскажите о своей беде.

Он наклонился над столиком, быстро черкнул на клочке «Фигаро», оторванном для этой цели, два телефона; под одним написал свою фамилию, а под другим — «Арнольд Валентинович Безич».

— Позвоните Арнольду Валентиновичу, он скажет, что делать. Потом позвоните мне.

— Спасибо,— сказал Демилле, принимая бумажку.

— Я могу оставить вас здесь,— предложил Каретников.— Вам ведь негде ночевать, вы устали...

— Нет-нет! — быстро возразил Демилле.— Я пойду к маме. У меня мама, знаете, не очень далеко...

Он словно оправдывался, но желание поскорей уйти из будочки было весьма сильным. Евгений Викторович откланялся, бормоча слова благодарности, вышел за калитку и снова пустился в дорогу, провожаемый долгим, озабоченным взглядом Каретникова.

Он вышел к лесопарку, отделявшему новый район от районов старой застройки. Лесопарк, по слухам, был небезопасен в ночное время, но сейчас Демилле даже не подумал об этом, а зашагал напрямик по дорожке, которая вскоре вывела его на центральную аллею, где стояли окрашенные в белую краску садовые скамейки.

Аллея была прямой, как стрела, и строго над нею, в дальнем ее конце, обозначенном четким контуром деревьев слева и справа, висела красная тяжелая луна. Демилле быстрым шагом приближался к ней по аллее — размахивал руками, часто дышал, бормотал что-то под нос,— вдруг уселся на скамейку... Лихорадочно роясь в карманах, он извлек из них все, что там было, и стал рассматривать свое богатство в тусклом багровом свете луны. Он решил проверить, с чем же остался?

Проверка дала следующие результаты:

1) денег — 26 копеек;

2) связка ключей от квартиры (своей);

3) ключ от мастерской (чужой);

4) записная книжка с несколькими вложенными в нее бумажками, в том числе обрывком «Фигаро»;

5) зубочистка;

6) носовой платок;

7) пуговица от плаща (оторванная);

8) полиэтиленовая пробка от винной бутылки (надрезанная);

9) карамель «Мятная».

Евгений Викторович, вздохнув, сунул в рот карамель, а пробку выбросил, чем уменьшил свое достояние на две единицы. Он опять рассовал оставшееся по карманам и побрел по направлению к луне уже медленнее, перекатывая во рту мятную конфету. Она легонько постукивала о зубы.

«Ничего,— подумал он.— Не может быть, чтобы дом исчез бесследно. Этого не допустят. (Кто не допустит?)

Видимо, простое недоразумение. (Хороши недоразумения!) Поживем — увидим!»

Он вышел из парка, пересек проспект и оказался на улочке, где прошло его детство. Здесь стояли трехэтажные домики странной архитектуры, выстроенные сразу же после войны пленными немцами. Они были выкрашены в желтый цвет. В одном из таких домиков и получил в сорок седьмом году две двухкомнатные квартирки профессор Первого медицинского института Виктор Евгеньевич Демилле с семьею: женой Анастасией Федоровной, сыновьями Евгением (семи лет), Федором (трех лет) и грудной дочерью Любашей. Квартиры объединили в одну — получилась пятикомнатная за счет маленькой кухни второй квартиры (там жила домработница Наташа),— стали жить... И прожили тридцать лет до смерти Виктора Евгеньевича и еще три года после.

Евгений Викторович не жил здесь уже десять лет, с момента постройки нашего кооперативного дома, и бывал нечасто, в особенности после смерти отца. Каждый раз улочка с причудливыми «немецкими» домами казалась ему игрушечной, и каждый раз он отмечал пропажу чего-нибудь из детства: там заделали дыру в подвал, где они с братом любили прятаться во время мальчишечьих игр, здесь спилили старый тополь, в ветвях которого сиживал он мальчишкой, рассматривая окрестности и слегка задыхаясь от гордости и опасности; нет уже и деревянного дома с мезонином, хозяин которого, по слухам, имел бумагу от самого Ленина, чтобы дом не сносить. Все равно снесли, а взамен ничего не построили, остались лишь обросшие мхом камни фундамента.

Проходя мимо них, Демилле вспомнил Ивана Игнатьевича, хозяина дома, бывшего конармейца — тот еще был жив после войны; вспомнил пыльную теплую комнатку в мезонине, куда Иван Игнатьевич пускал его мастерить. Маленький Женя клеил в мезонине дом из спичек — тщательное фантастическое сооружение,— а хозяин поднимался, кряхтя, по крутым ступенькам, сидел в углу, дымил папиросой. Это происходило только летом, в каникулы. Вероятно, потому, что зимой мезонин не отапливался, и спичечный дом дожидался своего строителя долгими снежными месяцами.

Где он, спичечный дом? Где дом с мезонином?.. Ушли в небытие.

Демилле взошел на высокое, с перилами, крыльцо

материнского дома, отворил дверь с тугою пружиной и, подталкиваемый ею, скользнул в подъезд. Там было темно. Он поднялся на второй этаж и тихо постучал в одну из дверей родительской квартиры (вторая давно была заколочена).

И сразу же на стук отозвался изнутри легкий шорох, будто его ждали, и голос матери тревожно спросил:

— Кто здесь?

— Мама, это я... Женя...— сказал Демилле хрипло.

Мать тихо охнула за дверью, звякнула дверная цепочка, щелкнул замок. Дверь отворилась, и Евгений Викторович увидел мать в халате поверх ночной рубашки. Седые волосы были всклокочены, мать глядела на сына снизу вверх широко раскрытыми от волнения глазами. Он сделал шаг ей навстречу и поспешно проговорил, обнимая:

— Не волнуйся, не волнуйся... все в порядке!

— Жеша, что случилось? — спросила она, отступая.

— Ключ от дома забыл... Не хотел будить, задержался...— скороговоркой врал Евгений Викторович, пряча глаза и стягивая плащ.

Связка ключей, как нарочно, зазвенела в кармане, но мать не расслышала, поверила.

— Жеша, ну когда это кончится! — шепотом, с горестной интонацией начала она.— Ириша волнуется, Егорушка плачет... Когда ты перебесишься, сорок лет уже...— а сама подталкивала его в кухню, к теплу, к еде.

— Ничего, ничего...— по привычке шептал Демилле и по привычке шел в кухню, к еде, к теплу.

— Я всю ночь не спала, как знала... Который час-то теперь? — уже успокоившись, шептала Анастасия Федоровна — бабушка Анастасия, как звали ее дети и внуки уже добрых десять лет.

Демилле взглянул на ходики с кукушкой, висевшие на стене в кухне. Они показывали почти половину седьмого. Евгений Викторович сел за стол, вытянул перед собою руки. Мать уже ставила на плиту чайник, разогревала кастрюльку с мясом. Внезапно распахнулась маленькая дверца часов, из нее выпорхнула кукушка и, щелкнув деревянными крылышками, громко пропела: «Ку-ку!» Дверца со стуком захлопнулась.

И словно по сигналу кукушки в кухню проникло босое существо ростом с табуретку, в длинной до пят ночной фланелевой рубашке, слегка сопливое, с черными, блестящими, как маслины, глазами и прямыми

жесткими волосами. Личико было плоское и скуластое, с матовым оттенком кожи, притом — презабавнейшее, будто существо только что вынули из мультфильма.

— Ах, ты, господи! Хуанчик проснулся! — всплеснула руками бабушка Анастасия.

Глава 4.

ПРИБЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Мальчик увидел себя с матерью на большой площади, в центре которой стояла каменная колонна, увенчанная крылатой фигуркой с крестом в руках, а по бокам расходились веером нарядные желтые здания. Мальчик был здесь впервые, на этой круглой площади, расчерченной штриховыми линиями непонятного назначения, но ему показалось, что он просто забыл, когда его сюда приводили. Он взглянул на мать. Она торопливо шла рядом, озираясь по сторонам, потому что машины разъезжали по площади в самых замысловатых направлениях. На площади лежал старый грязный снег, собранный в неровные гряды, плоские камни мостовой вокруг колонны поблескивали ледком.

День был хмурый и ветреный. Золоченый шпиль, по направлению к которому они с матерью шли, тускло светился на фоне туч, а наверху рассекал лохматые их пряди крохотный резной кораблик.

Вдруг над площадью потемнело. Ветер принес откуда-то газетный лист и погнал его перед ними, то раскрывая, то складывая. На бегу лист превратился в собаку с грязной шерстью, свисавшей сосульками под брюхом, и поджатым хвостом. Мальчик взглянул вверх и увидел в облаках что-то постороннее — какие-то темные полосы, несомненно составляющие единый рисунок, но размытые и нечеткие. Еще через секунду он сообразил, что рисунок похож на человеческое ухо, только больно уж огромное, занявшее полнеба. Толстые размытые линии рисунка вдруг сместились все разом, и вместо них появилось в небе над ангелом радужное пятно, тоже размытое и большое. Оно было похоже на гигантский человеческий глаз со зрачком посредине, со вниманием и интересом приглядывающийся к земле. Мальчик прижался ближе к матери, но не перестал глядеть вверх. Мать мельком взглянула на него.

— Закрой рот. Простудишься.

Тут глаз удалился, скрывшись в облаках, зато прямо из зенита над макушкой крылатого ангела на площадь стремительно надвинулись три огромных бледных пальца, сложенные в щепотку. Мальчик увидел блестящие, коротко остриженные ногти и сеточку линий на пальцах — большом, указательном и среднем. Каждый палец был раза в четыре толще гранитной колонны, к которой они тянулись. Пальцы осторожно ухватились за кончик колонны и слегка дернули ее вверх, отчего под ногами по площади прошло дрожание. Затем пальцы, покрепче ухватившись за колонну, с усилием произвели вращательное движение, как если бы площадь и вся Земля были волчком, а каменная колонна — его осью.

Площадь качнулась, наклонилась и стала медленно раскручиваться, уходя из-под ног. Здания по краям ее побежали, сменяя друг друга — желтоватые, зеленоватые,— и золоченый шпиль с корабликом вспорол облака. Мальчик не успел ухватиться за протянутую ему руку матери. Он увидел лишь ужас у нее на лице и, оторвавшись от мостовой, полетел вверх, к небу, оставляя сбоку шестерку бронзовых коней, рвущуюся куда-то с крыши. Сам он не успел испугаться, успел подумать только: «Ниточка порвалась...» — и проснулся.

Несколько мгновений он неподвижно лежал в кровати, слушая, как гулко и быстро стучит сердце. Ниточка не восстановилась. Ощущение зыбкости и полета, испытанное им во сне, не ушло. Все в комнате было на месте: платяной шкаф, секретер, круглый аквариум на подоконнике, но все вещи будто сделались невесомы.

Из-под двери пробивалась колеблющаяся полоска света. «Это свеча у мамы»,— подумал мальчик. Он осторожно отогнул край одеяла и спустил ноги на пол. По-прежнему было зыбко. Пол будто уходил из-под ног, и ему пришлось прижать сверху коленки ладонями, чтобы почувствовать его прочность. Наконец он встал и сделал несколько шагов к окну. Ему показалось, что рыбки в аквариуме плавают среди звезд. Он уперся лбом в холодное стекло, и рыбки испуганно метнулись от него, лишь звезды остались неподвижны.

Он опустил глаза и увидел сквозь зеленоватую воду вереницы огней внизу. Он затаил дыхание, наблюдая за ними, а потом подтащил к окну стул и, взобравшись на него, взглянул в окно поверх аквариума.

Он увидел проплывающие внизу крохотные дома, мосты, улицы с горящими фонарями, одинокие малень-

кие машины, ползущие по улицам. Мальчику приходилось летать на самолете, но сейчас ощущение было совсем иным. Бесшумный плавный полет привел его в оцепенение. «Это мне снится...» — подумал он, а сам, опершись до боли ладонями об узкие края аквариума, завороженно следил за картиной ночного города, проплывающего внизу.

— Город, родина моя! Здесь я родился и умру, среди составленных в шеренги домов, под одинокими фонарями набережных. Твои чугунные мосты отзовутся на слабый шелест моих шагов, твои улицы сохранят мои адреса, стекла твоих витрин, отразивших мою жизнь, глянут на новых прохожих, вымытые прилежными весенними мойщиками. Здесь, в твоих каменных норах, живут жалкие и великолепные существа — моя забота, люди — рожающие и любящие, ненавидящие и смеющиеся, завоевывающие в борьбе квадратные метры жилплощади и уходящие затем в твою болотистую землю.

Все они сейчас спят, пока мальчик в окне смотрит сверху на город.

Они спят и на Петроградской среди бесконечных Бармалеевых, Подобедовых, Подковыровых и Разночинных улиц, и на Невском, и на Васильевском вдоль бесчисленных линий. Они ориентированы тобою, твоими прямыми углами и стенами, и редко кто может позволить себе вольность спать, как захочется, обратив голову к своей звезде...

Мальчик, улыбаясь в темноте, отошел от окна и вновь накрылся одеялом, чтобы досмотреть этот прекрасный сон в его тепле.

Когда он вновь открыл глаза, то увидел, что в окно ослепительной стрелою врезается солнечный луч, упершийся в пол у самой его кровати.

Он приподнял голову, и вдруг случилось чудо: солнечный луч метнулся к стене, прочертил по ней ослепительную полосу и исчез, будто его и не было. Мальчик вскочил с кровати и подбежал к окну.

— Его-ор, это ты там бегаешь?..— услышал он из соседней комнаты сонный голос матери.

Он ничего не ответил, а скорее, и не слышал возгласа матери, поскольку его всецело захватил вид за окном. Там было другое окно, с полукруглой фрамугой сверху, а за ним открывалось какое-то полутемное пространство. То, внешнее, окно было метрах в двух от Егорки.

Он силился понять, что же случилось, как вдруг из полутемного пространства за внешним окном, где угадывались очертания каких-то предметов, выплыла фигура в белом и, недовольно морщась, потянула за веревку, свисающую сверху. Раздался резкий звук, и на лицо Егорки упал тот же солнечный зайчик, что исчез из комнаты минутой раньше. Егорка наконец понял: зайчик был отражен от фрамуги внешнего окна, потому и втыкался в пол столь круто; фигура же в белом, подошедшая к окну с той стороны, как раз и открыла фрамугу, вернув зайчик. Решение этой маленькой загадки слегка успокоило мальчика, хотя оставалась главная загадка: откуда там это непонятное окно?

До Егорки долетел конец фразы, сказанной мужским голосом:

— ...не сделал зарядку, а ты закрыла!

Егорка покосился на свою открытую форточку, откуда прилетели эти слова, и медленно-медленно стал отступать в глубь комнаты, чтобы грозная фигура с круглой головой (он как-то сразу решил, что фигура — грозная) не дай бог его не заметила. Но она заметила.

— А вот и пришелец! — прогремел радостный голос, и фигура, приблизившись к своему стеклу, принялась вглядываться в Егорку. Тут и он разглядел незнакомца.

Это был крупный пожилой мужчина лет шестидесяти пяти, с абсолютно лысой головой и умными глазами, под которыми обозначались коричневатые мешочки. Он был в нижнем белье: белых кальсонах и белой сорочке с длинными рукавами. Смотрел он на Егорку чуть насмешливо и с любопытством.

— Маша, да посмотри же! — крикнул он, обернувшись.

Никто не появился. Старик обратил взгляд на Егорку и громко спросил:

— Мальчик, ты меня слышишь?

— Да...— еле слышно ответил Егор.

— Родители дома? — строго продолжал старик.

Егорка снова кивнул, но смешался, вспомнив, что отца с вечера не было и неизвестно — пришел ли он домой...

— Мама дома,— сказал он поникшим голосом.

— Позови, пожалуйста, маму,— сказал старик.

Луч, бивший сверху, напоминал, что где-то в небесах происходит весна.

— Папа, ты хоть штаны надень! — услышал Егорка женский голос с той стороны.

Старик поспешно отошел от окна в своей комнате, будто нырнул в темный омут. Егорка отправился в комнату родителей.

Мать лежала на диване, накрывшись пледом. Она не разделась с вечера: лежала в том же, в чем видел ее Егорка за ужином: в шерстяной кофте и в брюках. На журнальном столике у дивана стоял в подсвечнике оплывший огарок красной свечи, а рядом возвышалась горка бумажных клочков... письма, что ли? На металлическом с чеканкой подносике, использовавшемся обычно для кофейного угощения, Егорка увидел кучку черного пепла.

Отца в комнате не было.

— Ну, что? Будем вставать, Егор?..— сонно улыбнулась мать, мягко привлекая Егорку к себе, отчего ему сразу сделалось хорошо на душе и уютно.

— Там тебя дядька зовет,— прошептал он ей в ухо.

— Дядька? — мать испуганно отодвинула его, взглянула в глаза.— Какой дядька? — она мгновенно сунула ноги в тапки, бросилась в прихожую.— Ты шутишь, Егор? — обернулась она к сыну.

— Там... у меня,— кивнул Егор в сторону своей комнаты.

Мать недоверчиво взглянула на него, но направилась в детскую. Егор поплелся за нею.

— Ну, и где же твой дядька? — повеселевшим голосом спросила мать, оглядев пустую комнату.

— Уважаемая! — раздался вдруг густой красивый голос, исходивший от форточки.— Подойдите, пожалуйста, поближе...

Мать охнула... увидела наконец! Бросила быстрый взгляд на сына, стараясь взять себя в руки, не показать страха...

— Вы... откуда? — спросила она.

— А? Не слышу! — старик повернулся ухом к окну.

— Откуда вы? — делая шаг к окну, погромче повторила мать.

— Не-ет! Это вы — откуда? — рассмеялся за стеклами старик.— Я, уважаемая, здесь живу с одна тысяча девятьсот пятнадцатого года. А вот вы откуда взялись?

— Ничего не понимаю...— прошептала мать и придвинулась близко к стеклу, стараясь получше разглядеть собеседника.

Она быстро повела глазами по сторонам: и слева, и справа, и внизу тянулась стена незнакомого дома с окнами, стоявшего вплотную к их дому. Лишь вверху была видна полоска чистого неба над чужою крышей.

— Ну-ну... Не расстраивайтесь,— добродушно сказал старик.— Все бывает. Так откуда же вы? Как вас зовут? Вы понимаете меня хорошо? Вы русская? Советская?

— Ну, конечно! — воскликнула мать.— Советская, какая же еще! Меня зовут Ирина. Ирина Михайловна Нестерова.

— Очень приятно,— поклонился лысый старик.— Григорий Степанович Николаи... Не Николаев, как обычно думают, а Николаи. Это существенная разница.

— Николаи...— зачем-то повторила Ирина.

— Я, признаться, огорчен тем, что вы не с другой планеты,— продолжал Николаи.— Приятно было бы первому вступить в контакт...

Он явно настроился на длительную беседу, ибо придвинул к окну кресло-качалку и уселся на него, закинув ногу за ногу. Был Николаи теперь в стеганом красном халате, отчего напоминал кардинала.

— А где же вы жили раньше? — спросил он.

— В Ленинграде, на улице Кооперации.

— Гражданка? Понятно,— кивнул старик.— Ну, а каким образом вы оказались здесь?

— Я не знаю,— жалобно произнесла Ирина, и у нее дрогнула губа.

— Ну-ну...— успокаивающе сказал старик.

Он перевел взгляд на мальчика и увидел тревогу в его глазах; честное слово, легче вступить в контакт с пришельцем, чем поддержать и успокоить ближнего!

— Строго говоря, Ирина Михайловна, у меня нет уверенности, что это вы попали к нам в гости,— продолжал Николаи.— Может быть, и наоборот... Знаете, давайте откроем окна. Погода солнечная, весна. Так нам будет легче разговаривать.

С этими словами он поднялся с кресла, снял с подоконника горшочек с бегонией, решительно взялся за шпингалеты... раздался щелчок, скрип — и окно отворилось.

— У нас окна еще заклеены! — попыталась возразить Ирина.

— Пустяки! — бодро воскликнул Николаи (его теперь очень хорошо было видно — в красном шелковом

халате, блестевшем на солнце).— Когда-нибудь нужно отворять окна. Весна!

Ирина неуверенно взялась за черную ручку оконной защелки, повернула ее и с силой потянула на себя. Высохшие полосы бумаги лопнули с треском, взвилась междуоконная пыль — окно распахнулось.

— Ну вот...— ласково сказал старик.— Вот и прорубили окно... друг к другу.

Ветер ворвался в комнату, взметнул волосы матери; Егорка прижался к ней сбоку, уже без тревоги глядя на старика в трех шагах от них, на другом краю пропасти. Ирина набросила на сына одеяло с кровати, чтобы мальчик не простудился. Несколько секунд все молчали, будто привыкая друг к другу, будто распахнутые окна обязывали к какому-то другому общению... непривычно было... расстояние такое, что можно перепрыгнуть из квартиры в квартиру... очень близкое расстояние.

— Мис-ти-ка! — раздельно и удовлетворенно проговорил Николаи.— Маша! Ну иди же посмотри! — обернувшись, крикнул он.

На его зов из глубины комнаты показалась женщина примерно того же возраста, что Ирина — лет тридцати двух — тридцати четырех. Одета она была обыкновенно: длинная юбка и ситцевая кофта с широким воротом. На бледном лице выделялись большие черные глаза. Она без удивления посмотрела на нежданных гостей и чуть заметно улыбнулась, впрочем, из вежливости.

— Это — Маша, дочь моя. Учительница,— представил ее Николаи.— А вот как зовут вашего сына, уважаемая Ирина Михайловна, мы еще не знаем.

Егорка от смущения уткнулся в мамину кофту. Мать потрепала его по волосам, попыталась развернуть лицом к новым знакомым, но он лишь пуще застеснялся и сделал попытку убежать.

— Егор, перестань!.. Егором его зовут,— словно оправдываясь, сказала Ирина.

— Е-го-ром! Это хорошо! — с удовольствием повторил старик.— Сколько же лет Егору?

— Осенью в школу пойдет. Хотя теперь...— мать развела руками.

— И пойдет! Никуда не денется! — постановил Николаи.— Здесь у нас рядом английская школа. Машенька в ней преподает... Маша, ты не опаздываешь? — обернулся он к дочери.

Она кивнула, молча удалилась из комнаты. А Нико-

лаи, вновь усевшись в кресло и подставив солнцу лысину, продолжил разговор. Впрочем, это трудно было назвать разговором, потому что Григорий Степанович, в основном, говорил сам, пространно отвечая на робкие вопросы Ирины. В голосе у него было нечто обворожительное... красивый голос. Старику это было известно.

Ирина Михайловна и Егорка узнали, что находятся теперь на Петроградской стороне, неподалеку от Тучкова моста, на Безымянной улице. («Известна вам такая?.. Плохо, уважаемая. Надо знать свой город!») Григорий Степанович рассказал, как увидел, проснувшись, странную картину в своем окне, позвал дочь... Потом он перешел к рассказу о себе и сказал, что квартира, где живут они с дочерью, когда-то принадлежала его отцу, царскому генералу, погибшему на германском фронте в шестнадцатом году... («Я его никогда не видел и иногда думаю, Ирина Михайловна, что это к лучшему. Прости меня бог! Не исключена возможность, что теперь я заканчивал бы свой век где-нибудь в Париже. Отец, как вы понимаете, скорее всего, оказался бы среди белых, ну и... И слава богу! Дым Отечества, знаете, это не шутка. Грибоедов был прав...») ... что и сам он пошел по военной части, тоже дослужился до генерала, хотя и не без трудностей... («И посидеть пришлось в тридцать седьмом, к счастью — недолго...») — ...что вот уже пять лет как вышел в отставку, а супруга генерала умерла год назад, и теперь он живет с незамужней, точнее, разведенной дочерью.

— У вас, простите, супруг есть? — спросил Николаи.

Ирина, дотоле внимавшая речам генерала спокойно (она отошла немного от раскрытого окна и присела на краешек Егоркиной кровати, а сам Егорка из комнаты исчез — отправился в кухню), вдруг напряглась, покачала головой и негромко, но твердо сказала:

— Нет. Мужа у меня нет.

— Простите великодушно!.. Да, к сожалению, это теперь не редкость. Нынче неразведенных так же мало, как в наши времена — разведенных. Вот и Машенька моя...

Но Ирина не успела узнать о причине развода генеральской дочери, потому что из кухни раздался Егоркин крик:

— Ма! Воды нету!

И сразу вслед за этим в квартиру Ирины Михайловны громко и требовательно постучали.

Глава 5.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ

Что же произошло в ту апрельскую ночь в новом районе Гражданки и какие это имело ближайшие последствия? Пора задаться этим вопросом.

Как вы уже догадались, милорд, пропал кооперативный дом, с которым мы познакомились в Прологе. Как вскоре стало известно, дом снялся с насиженного места, взлетел вертикально вверх, как геликоптер, после чего, развив скорость километров двадцать в час, переместился к югу, где плавно осел в районе Петроградской стороны, неподалеку от Тучкова моста, на Безымянной улице. Да-да! Именно на той Безымянной, откуда накануне вечером стартовал в космос пивной ларек с кристальнейшей тетей Зоей.

Но чтобы установить это, потребовались недюжинные усилия компетентных органов, которые начали работать тою же ночью и работали долго — несколько месяцев.

У нас еще будет возможность ознакомиться с деталями расследования причин этого удивительного случая, но начнем мы, милорд, с непосредственных впечатлений свидетелей.

Мы уже знаем реакцию трех очевидцев происшествия: Евгения Викторовича Демилле, Валентина Борисовича Завадовского и сына Демилле — Егорушки Нестерова (почему он носит эту фамилию — расскажем позже). Собственно, ни один из них не был очевидцем, то есть не видел сам момент отрыва дома от фундамента и взлета в ночное небо. Демилле в это время дожидался, когда сведут Дворцовый мост, Валентин Борисович... вы помните...— а мальчик попросту спал и проснулся спустя несколько минут.

Вообще неизвестно — видел ли кто старт, но сам полет и финиш видели многие.

— Если позволите, милорд, я начну с себя. Я тоже летел.

— Вы?

— Да, что здесь удивительного? Я же говорил, что жил в этом доме, дверь в дверь с семейством Демилле, но... в описываемую ночь, к стыду своему, спал как сурок.

Никакие предчувствия не томили меня, сны той

ночью снились малозначащие, проходные, и даже кот мой Филарет (я держу ангорского кота) вел себя исключительно спокойно. Вечером мы с ним, как всегда, выпили теплого молока, устроились на тахте перед телевизором и, грея друг друга одиноким своим теплом, смотрели вполглаза передачу «А ну-ка, девушки!» — притом обсуждали с Филаретом, какую из девушек мы смогли бы полюбить при случае, ввести в наше холостяцкое жилище, назвать женою... Девушки все как одна были продавщицами мороженого, и это очень нравилось Филарету. Он музыкально урчал, устроившись у меня под боком.

Так мы и уснули на тахте, укрывшись махровым халатом, когда конкурсы для девушек кончились и я выключил голубое око телевизора посредством специального дистанционного выключателя...

Бог с ним, с котом, но я... как мог я проспать самое главное!

— Позорно и недальновидно для автора спать в те минуты, когда его герои переживают крушение судеб!

— Вы правы, милорд. Но я не знал еще, что это мои герои. Я думал — так, соседи... не больше. А герои там — на великих стройках, в полях, на заводах. И что же оказалось? Оказалось, что те герои — не мои, чьи-то другие, как это не печально, а эти люди — жалкие, смешные, глупые, мелкие и маленькие — они и есть мои герои, и я никуда не смогу от них убежать.

Но я понял это позднее.

Тогда же я, повторяю, заснул и проснулся лишь утром, часов в десять, от непонятных звуков на лестничной площадке. (В мою однокомнатную квартиру свободно проникают любые звуки, но не выходит ни один, кроме стука пишущей машинки.) Я потянулся и заметил в комнате нечто необычное. Я даже не мог сначала понять. Вещи на месте... Все, как вчера вечером... Что же не так? Ага, понял!

Полоса солнечного света, которая обычно в это время года по утрам пересекала мою комнату от окна к книжным полкам, тянулась на этот раз к тахте и падала мне на лицо, так что я перво-наперво подумал, что проспал до обеда. Однако посмотрев на часы, я установил истинное время и, позевывая, подошел к окну... да так и остался стоять с открытым ртом!

Прямо под моим окном, очень близко к нему, метрах в трех, располагалась наклоненная крыша, покрашен-

ная в зеленый цвет, местами проржавевшая, с характерными рубчиками кровельного железа, расчерчивавшими крышу на полоски. Чуть левее была труба, чердачные окна... словом, вид из окна никаким образом не напоминал мне то, что я привык видеть уже десять лет.

Солнце стояло слева, а не справа, как ему полагалось стоять. Но мне было не до солнца. Я обозрел дали и увидел только крыши, телевизионные антенны на них, трубы, карнизы... Нечего и говорить, что я удивился.

Таково было первое мое впечатление. Оно, как вы догадываетесь, запоздало по сравнению с соседскими — дом уже добрых шесть часов стоял на новом месте, уже во всех квартирах обсуждалось бедствие, а компетентные органы шуровали по этажам, проводя первые дознания.

К тому часу, как я потом узнал, было известно многое.

Во-первых, летящий дом был зафиксирован средствами обнаружения войск противовоздушной обороны страны. Это совершенно естественно, было бы удивительно, если бы случилось иначе. На индикаторах радарных установок внезапно возникло изображение крупного объекта, движущегося с малой скоростью на малой высоте. Операторы изумились. Конечно, доложили по команде; конечно, запросили летающий объект, послав ему кодированный импульс, на который нашим объектам положено отвечать, также кодированно — «я свой».

Дом ничего не ответил, что дало основания считать его «чужим», а следовательно — опасным объектом. На всякий случай были приведены в готовность номер один пусковые установки зенитных ракет и самолеты-перехватчики («Представляете, милорд, как в нас влепили бы ракету! То-то было бы звону!» — «Не представляю»), но, быстро поразмыслив, решили, что на военный объект не похоже. Что же тогда?.. НЛО?.. Выходило, что НЛО.

Тут же по тревоге был поднят пограничный вертолет, совершающий в дневные часы облет побережья Финского залива,— поднят и наведен на летающий объект. Летчик вертолета, приблизившись к нашему дому (тот в эту минуту летел над Каменным островом), четко доложил, что видит кирпичный девятиэтажный дом,

летящий к югу без видимых причин, приводящих его в движение. Летчик также сфотографировал наш дом в инфракрасных лучах.

— Сударь, вы прекратите это издевательство? ПВО! Радары! Ракеты! Инфракрасные лучи!.. Что это все значит?

— Дорогой мистер Стерн! Чтобы объяснить — что это все значит (не на техническом, а на этическом уровне) — мне пришлось бы написать совсем иной роман, где наряду с восхищением человеческим разумом, придумавшим все эти штуки, я бы ужаснулся трагической глупости, которая нашла им применение в военной области.

Короче говоря, убедившись, что дом безвреден, его передали в другое ведомство, а именно — в Управление внутренних дел.

— Почему внутренних, а не внешних? Он ведь летел «вне».

— Очень просто, милорд. Летчик узнал типовой проект дома. Таких домов у нас огромное количество. Сразу было видно, что летит наше строение, а не шведское, к примеру, заблудившееся в воздушных пространствах и ненароком пересекшее границу... Кроме того, у нас нет Управления внешних дел, но есть Министерство дел иностранных. Вот ежели бы оно было Министерством странных дел, то тогда историю с летающим домом следовало бы немедля записать на его счет, но... такого министерства нет, увы!

— Вам хотелось бы стать министром странных дел?

— Конечно, как и вам, милорд.

Сообщение служб обнаружения в Управление внутренних дел почти совпало по времени с телефонным звонком Завадовского, с тою лишь разницей, что первый сигнал поступил в верхнюю часть Управления, а второй — в нижнюю. Пока оба сигнала объединялись в один, совершая сложный путь по системам оповещения, к ним добавилось известие о благополучной посадке дома на Безымянной улице. Пилот патрульного вертолета проследил за нашим домом вплоть до момента, когда тот коснулся нижними своими кирпичами асфальта Безымянной улицы; тут же доложил по радио, и через несколько минут десяток специальных милицейских машин, среди которых были не только ординарные «помогайки», но и роскошные микроавтобусы с надписью «Дежурный УВД», оборудованные по последнему

слову техники, мчались по направлению к месту посадки.

Вслед за тем кооператор Завадовский был посажен в машину и доставлен в городское Управление в качестве первого свидетеля.

Все пришло в движение: на улицу Кооперации спешно выехали эксперты, машины аварийных служб и строительные рабочие с материалами, необходимыми для устройства заграждения. Постовые по всей трассе следования дома получили указание искать свидетелей, чем и занялись весьма активно, выспрашивая загулявших прохожих, дворников, и вообще всех, кто случайно или по долгу службы мог обратить внимание на странный предмет в небе.

Чтобы покончить с улицей Кооперации, заметим, что уже утром фундамент дома окружили добротным деревянным забором (через три дня он был уже облеплен объявлениями об обмене), труба водопровода была заварена, доступ газа прекращен, электрические сети отключены. Место происшествия (одно из двух) перестало представлять опасность.

Поиск свидетелей на трассе дал скудные результаты. Удалось, правда, заручиться показаниями некой дворничихи Перфильевой, застигнутой постовым в четыре часа ночи возле подведомственного ей дома на Кировском проспекте. Дворничиха при белом фартуке подметала тротуар.

— Похвальное рвение!

— Однако, справедливости ради, следует сказать, что Пѐрфильева привлекла внимание постового отнюдь не удивительным ночным усердием, а тем, что возле нее время от времени останавливались машины такси, оттуда высовывались какие-то молодые люди, о чем-то коротко осведомлялись...

— Спрашивали адрес?

— Очень может быть, милорд. Но не только. Перфильева скрывалась на минутку в подъезде, после чего появлялась вновь с небольшим продолговатым предметом, завернутым в газету. Она всовывала этот предмет в машину, пассажиры обычно при этом воодушевлялись, что-то радостно восклицали... машина с ревом укатывала.

— Гм...

Постовой зафиксировал три или четыре таких контакта, а так как он, мистер Стерн, родился и вырос не

в восемнадцатом веке на берегах Темзы, то прекрасно сообразил, в чем тут дело.

— И в чем же?

— Дворничиха торговала водкой.

— В четыре часа утра? Зачем, кому может понадобиться водка в столь неурочное время?

— Ох, милорд, вы замучаете меня вопросами...

Постовой наблюдал за предприимчивой дворничихой издали, поскольку подойти не имел возможности — форма мешала. Уверяю вас, что ни одна машина не остановилась бы рядом, если бы неподалеку от дворничихи находился милиционер. Тем не менее желание постового задержать Перфильеву с поличным становилось прямо-таки навязчивым. Он подкрадывался все ближе, и наконец, улучив момент, когда Перфильева удалилась за очередной бутылкой, постовой помчался к дверям подъезда гигантскими прыжками, придерживая одной рукой болтающуюся сзади кобуру.

Такси будто ветром сдуло, и постовой успел лишь преградить путь дворничихе, когда она вышла из подъезда, прижимая к фартуку заветную бутылку, завернутую в газету «Советская культура».

— Спекуляция спиртными напитками! — тяжело дыша, проговорил постовой.

— И-и, милок! — тонко заголосила дворничиха, успев заметить, что такси упорхнуло.— Какими напитками? Какая спекуляция?

— Давайте бутылку! — потребовал милиционер.

— Так бы и сказал, что бутылка нужна,— миролюбиво отвечала дворничиха, передавая сверток.

Однако постовой, подошедши к чугунной урне, грохнул бутылку о ее край, выказав тем самым принципиальность. Ничего иного делать не оставалось — никакой суд не нашел бы в действиях Перфильевой состава преступления.

— Ой, дурачок! И не жалко?..— покачала головою дворничиха.— Следил бы лучше за порядком. Тут вещами швыряются из окон, могут прохожих зашибить...

— Какими вещами? — насторожился постовой.

— Пойдем покажу.

Они проследовали в подъезд, где под лестницей находилась обитая железом дверь с висячим замком. Это была кладовка. Дворничиха отомкнула замок и зажгла в кладовке неяркую лампочку. Затем она извлекла из-за груды метел и лопат черный пухлый «министер-

ский» портфель с приплюснутым испачканным боком.

— С неба свалился,— сказала она.

Постовой уже знал о ночном происшествии с домом (ему сообщили по рации), потому, не задумываясь, связал эти два факта.

— Когда? Где? — устремил он взгляд на Перфильеву.

— Да с полчаса будет. Грохнулся, аж земля задрожала. Прямо на тротуар. Хорошо, не на голову!

Постовой открыл замочек и тут же, в кладовке, произвел предварительное расследование. В портфеле оказалось две папки с бумагами «для служебного пользования» и билетом на «Красную стрелу», отходящую в ближайшее воскресенье, аккуратно сложенная пижама, электробритва, зубная щетка, полотенце и мыло. В полиэтиленовом, сильно помятом от удара пакете виднелись остатки бутербродов и вдребезги разбитые крутые яйца. На дне портфеля обнаружились мокрые осколки... пахло чем-то знакомым. Милиционер определил, что видит остатки небольшой фляжки из-под коньяка.

В отдельном карманчике портфеля он нашел партийный билет, служебное удостоверение и паспорт на имя Зеленцова Валерия Павловича, проживающего... Собственно, неважно, где проживал гражданин Зеленцов. Важно, что не на улице Кооперации, в доме номер одиннадцать. Совсем в другом месте.

На основании этого постовой хотел было уже отъединить факт падения портфеля от факта перелета дома, как вдруг из партбилета выпала сложенная вдвое записка. На ней торопливым почерком было написано: «Нашедшему — передать в милицию! Подвергся провокационному угону за границу против своей воли. Прошу продолжать считать меня коммунистом. Зеленцов». Тут же была проставлена сегодняшняя дата и даже время: «3.30 ночи».

Найденная записка заставила постового вновь насторожиться. Дело явно требовало серьезных мер, даже если не было связано с летающим домом,— угон за границу! шутка ли! провокационный! Милиционер тут же сообщил по радио о находке, и через полчаса портфель и документы гражданина Зеленцова находились в городском Управлении, куда стекалась вся информация.

Был задержан еще один мужчина, спавший на

Каменном острове, на скамейке, и пробудившийся оттого, что рядом с ним на клумбу упала недопитая бутылка портвейна...

— Он был бездомный?

— Нет, это именно тот случай, когда сильно пьян и не можешь найти дорогу домой... Мужчина поднял голову и увидел над собою пролетающую громаду дома. На одном из балконов он заметил женскую фигуру, которая, ожесточенно жестикулируя и выкрикивая какие-то слова (ветер относил их), выбрасывала вниз бутылки, как балласт из воздушного шара. Две из них взорвались, упав на асфальт, а третья шлепнулась на рыхлую землю клумбы. Она не разбилась, милорд! Вот удача-то!

Гражданин схватил бутылку, немедля приложился к горлышку, побежал по аллее куда глаза глядят, к людям... и был схвачен, выбежав на проспект, проезжавшей машиной «Спецмедслужба», которая и доставила его в вытрезвитель на Батарейной улице. Там гражданина раздели и уложили спать. Лишь утром, уловив в его похмельном бреду мотивы пролетающего дома, милиция доставила гражданина, к крайнему его возмущению, в городское Управление.

Вот и все свидетельства с трассы.

— Негусто!

Зато на месте приземления, куда прибыли по тревоге участковый этого микрорайона, следователи и розыскные службы (привезли даже двух служебных собак), удалось собрать более богатый урожай.

Уже внешний осмотр подтвердил, что дом действительно опустился на Безымянную вертикально сверху, потому как не обнаружилось ни тэполей, росших по кромкам тротуара, ни пивного ларька рядом с помещением книжного склада. Если бы дом был вдвинут на свое место, то деревья и ларек оказались бы вытесненными и их останки лежали бы сбоку. Но никаких следов тополей и ларька не нашли. Очевидно, и то, и другое было разрушено и вмято в землю...

— Позвольте! Но ведь пивной ларек, насколько я помню...

— Да, милорд, но милиция, как это ни странно, еще ничего не знала о вознесении тети Зои.

— Не может быть! Неужели никто из очевидцев не заявил?

— Никто.

— Но ведь это сверхъестественное, из ряда вон выходящее явление! Хотя бы в интересах науки!

— Знаете, милорд, половина из стоявших в очереди к ларьку каждый день видит живых чертенят. Что им наука? Что им сверхъестественные явления? Они и не такое могут рассказать!

— А Демилле?

— А Демилле торопился на свидание.

Итак, дом стоял на Безымянной как влитый. Собственно, улицы более не существовало. Дом заткнул ее, как затычка пивную бочку.

Безымянная улица была довольно короткой — не длиннее ста метров — и соединяла две другие, более солидные улицы. По одну сторону Безымянной, во всю ее длину, тянулся старой постройки пятиэтажный дом с эркерами (крышу этого дома я и увидел после пробуждения). По другую сторону, куда выходили окна квартиры Демилле, стояли впритык два дома — семиэтажный, с башенкой на углу, и четырехэтажный, в подвале которого помещался книжный склад. Все вышеуказанные дома были жилыми, с коммунальными в большинстве квартирами, кроме четырехэтажного, где наряду со складом помещалась больница водников.

Кооперативный дом встал на Безымянной во всю длину, прямо на проезжей части, захватив и полоски тротуаров, так что между ним и старыми домами образовалось нечто вроде ущелий: эркеры пятиэтажного дома так и вовсе почти касались стен нашего здания; ширина ущелий получилась не более двух метров.

По ранжиру соотношение домов было следующим: семиэтажный дом (высота потолков в его квартирах была четыре метра) в точности равнялся нашему девятиэтажному, пятиэтажный дотягивался до нашего седьмого этажа, а четырехэтажная больница — до пятого. Таким образом, с одной стороны кооперативного дома доступ солнечного света в квартиры был прекращен вплоть до седьмого этажа, и лишь верхние два этажа (в том числе окна моей квартиры) выходили на свет божий над крышей соседей. С противоположной стороны семиэтажный и два подъезда нашего дома полностью перекрывали друг друга и глядели от тротуара до крыши окно в окно, другим же двум подъездам жилось лучше — верхние их этажи имели обзор и могли даже видеть Малую Неву.

Впрочем, это стало ясно только днем, а в предутрен-

ние часы шло следствие и решались многочисленные вопросы: как быть с жильцами всех перечисленных домов, хотя бы в первые дни, чтобы не создавать паники и обеспечить мало-мальски сносные условия существования? что следует предпринять, чтобы не допустить в дальнейшем полетов кооперативных и иных домов? что послужило причиной этого уникального перелета? и проч.

Очень скоро следствие получило новый импульс, ибо был обнаружен старичок в длинном пальто — тот самый, что заступился за тетю Зою. Его нашли во втором подъезде нашего дома. Старичок дремал, прислонившись спиною к остывшему уже радиатору отопления. Когда его разбудили, он поначалу ничего не понял, но потом охотно рассказал историю с вознесением пивного ларька. Тут уже не знали — верить или нет, потому как, с одной стороны, история была неслыханная, но с другой — появление дома на Безымянной тоже принадлежало к разряду историй не совсем слыханных.

Старичок про наш дом ничего путного не сказал. «Проснулся, гляжу — подъезд теплый. Я туда. Гляжу — батарея. Продрог я, граждане начальники... Ну, и снова заснул...»

— А где раньше-то спал? — спросили у него.

— А вот здеся, у ларька и спал... Тьфу, ты! Не у ларька, ларек-то взвился. В общем, у немца...

Съездили за женою старичка по указанному им адресу и обнаружили в комнате одетую во все праздничное старуху, сидевшую под иконой с горящей свечкой в руках. Старуха на вопросы не отвечала, лишь крестилась и бормотала что-то про светопреставление. Наконец, убедившись, что конец света не состоялся, а прибывшие за нею молодые люди в сером — не ангелы и не архангелы, а сотрудники уголовного розыска... дед ее жив и здоров, и весел, чтоб его черти разорвали! — старушка разговорилась, и из ее уст удалось получить описание момента посадки дома.

По словам Матрены Терентьевны, она вышла искать своего непутевого где-то около двух часов ночи — «сто раз божилась, не пойду больше искать, пускай пропадает, ирод!» — и, обходя излюбленные места старика, а именно: систему пивных ларьков Петроградской стороны, добрела наконец до Безымянной. Ей сразу бросилось в глаза, что ларька на улице нет. «Убрали, что ли? Ну, и слава богу! Меньше этих пьяниц, чтоб их...» Она

прошла по улице и заметила знакомую фигуру своего деда, который преспокойно спал на ступеньках, ведущих в подвал книжного склада. Матрена Терентьевна набрала в грудь воздуха, чтобы огласить Безымянную криками упрека и негодования, как вдруг... будто кто ее дернул! Она задрала голову и увидела, что на нее медленно опускается стена во всю улицу. «Ровно под утюг попала, ей-богу!» Точно спички, начали ломаться тополя, посаженные вдоль тротуара, и тут Матрена, как прибабахнутая, выскочила из опасной зоны и помчалась к Большому проспекту, забыв о своем благоверном и осеняя себя крестным знамением.

Она едва успела заметить, как выпрыгнуло из-под опускавшегося дома, точно лягушка из-под сапога, такси, проносившееся в тот момент по Безымянной улице и лишь чудом избежавшее гибели.

О том, как сама чуть не угодила под машину на Большом, Матрена Терентьевна не упомянула: это ей не запомнилось.

— Ветер был? — спросил эксперт старушку.

— Какой ветер?

— Когда дом приземлялся.

— Какой дом? — старушка вновь напугалась.

— Туда прилетел дом. Вы были свидетельницей, как он садился. Был ли ветер при посадке? — терпеливо разъяснял эксперт.

— Окстись, милый... Разве ж дома летают? — ответила Матрена.

Старика и старуху оставили в покое. Хватит с них волнений! Часы показывали шесть утра, и главные испытания для жителей дома и сотрудников УВД лишь начинались.

Глава 6.

СМЯТЕНИЕ

Прежде чем описать те незабываемые утренние часы в жизни бывшего дома номер одиннадцать по улице Кооперации, когда весть об изменении местожительства проникла в сознание кооператоров, мы поговорим о стихийных бедствиях.

Попытаемся поразмыслить о связи стихийного бедствия с психологией людей, подвергшихся ему. Как они воспринимают бедствие? Как соотносят со своею жизнью и нравственностью? Какие делают выводы?

— А зачем это вам?

— Видите ли, милорд, я совсем не ради экзотики начал наш роман с довольно-таки интересного и необычного случая, происшедшего в моем городе. Сами по себе полеты домов — кооперативных, общественных и государственных — интересуют меня не больше, чем... не могу подобрать сравнения («И не подбирайте, я понял») ...чем приливы и отливы. Я уже давно отошел от науки и занялся «человековедением», как иногда несколько пышно именуют у нас писательскую деятельность, а посему любое явление природы и общества интересует меня лишь в его связи с людьми.

Вот и в перелете нашего дома меня занимают не технические вопросы: как он летел? где брал энергию?.. подъемная сила и прочее — подобного рода загадки могут поразить воображение целого научного коллектива... диссертации, симпозиумы...— совсем же другие мысли мучают автора. Как перенесли полет жильцы? С какими мыслями они проснулись? Как им, бедным, жилось и работалось в те дни? Без электричества... газа... воды.

Начну с того, что причислю феномен перелета кооперативного жилого дома (примерно 50 000 тонн) к разряду стихийных бедствий.

— Почему «бедствий»? Ведь никто, насколько мне известно, не пострадал?

— Лишь физически, милорд, да и то случайно.

— Тогда я не согласен со словом «стихийный». Что стихийного в доме? Чем он напоминает стихию? Все известные мне стихийные бедствия происходят в результате действия природных сил. Дом же ваш сооружен человеком, а способ его полета тоже не принадлежит к числу естественных!

— Но он не принадлежит и к числу изобретенных человеком. Он, прямо скажем, сверхъестественного происхождения, что, впрочем, меня нисколько не смущает.

За время, что разделяет наши века, наметилось новое понимание человека и общества, а также связи последних с природой. Вашему веку, милорд, было свойственно безусловное возвеличивание человека, его разума и силы. Ярлык «покорителя природы», прилепленный примерно в те времена, привел к бурному расцвету науки и техники, промышленности и ремесел. Человек решительно отъединился от природы в надежде

построить взамен нее нечто другое, синтетическое и безусловно рациональное.

Как вдруг — и не так давно — на купающееся в довольстве и сознании своего могущества человечество стали обрушиваться сначала робкие, а потом все более уверенные упреки природы. Эти жалкие, истребляемые звери, птицы и рыбы, эти пустые горы, эти высохшие леса и грязные реки как бы воззвали к милосердию человека, и он благосклонно обратил на них внимание, постановив защищать.

Но лишь на первый взгляд дело обстояло именно так.

Те, кто пережил настоящее стихийное бедствие (например, жители Японии, на которую то и дело обрушиваются тайфуны и цунами), наверное, не смотрят свысока на природу. Они понимают, как ничтожен человек рядом с нею. Даже мы, милорд, живущие в более умеренном климате, прозреваем, случается, летними вечерами, когда какая-нибудь незначительная гроза проходит над городом и фиолетовые тучи постегивают землю хлыстами молний. Мы прикрываем окна, говорим шепотом, а в душе нашей просыпается тот естественный и полезный для человека страх, который сознательно преодолевался поколениями «завоевателей природы».

Тут-то начинаешь понимать, что слезные жалобы природы, покорное недомогание полей, рек и лесов, на самом деле суть не жалобы, а предупреждения, выраженные, правда, в вежливой форме. А наши призывы защищать и оберегать природу при более глубоком рассмотрении выглядят исключительно эгоистично.

Не природу мы хотим оберегать, а себя — от полного уничтожения природой. Природа была, есть и будет всегда. Трудно представить себе Землю без природы. Однако она вполне может стать такой, что человеку не будет на ней места.

Значит, следует умерить нашу самонадеянность и понять, что мы в ближайшем будущем можем быть равнодушно вычеркнуты природой из ее списков в наказание за то, что уже вычеркнули из них ряд любимейших и красивейших ее достояний. И наше любование собственным могуществом выглядит все более неуместным на фоне по-настоящему могущественных предупреждений природы.

Новое понимание человека, о котором я говорил, состоит в том, что человечество должно осознать себя неотъемлемой и равноправной с другими частью приро-

ды. Мы не можем разговаривать с нею пренебрежительно или покровительственно. Мы не больше чем муравьи (но и не меньше).

— Я вынужден вновь напомнить вам о философах. Они точат зубы.

— Спасибо, милорд.

Рискуя навлечь на себя еще больший гнев — и не только философов,— я должен сказать, что лозунг: «Все для человека, все во имя человека и для блага человека!» — следует толковать, на мой взгляд, расширительно: «Все для природы, все во имя природы и для блага ее!» — лишь в этом случае будет действительно достигнуто благополучие человека.

Возвращаясь к нашему дому (мы довольно далеко отлетели от него, чуть ли не дальше, чем он — от улицы Кооперации), я хочу заметить, что именно новое понимание человека как равноправной с другими части природы и дает мне право назвать перелет дома стихийным бедствием. Вообще с этой точки зрения любое общественное явление (инфляция, кризис, демонстрация, война, революция, безработица, матч по футболу и даже очередь у пивного ларька) можно назвать стихийным, но не все они, конечно, будут бедственны.

Теперь мы разобрались в этом вопросе и у меня наготове следующий: как относится человек к стихийному бедствию?

— А как? Страдает, конечно... Терпит.

— Нет, я не о том. Склонен ли он рассматривать бедствие в качестве кары?

— Могу ответить авторитетно. Не зря я долгое время был духовным пастырем, то есть пас души верующих. И вот, перегоняя стада душ с пастбища на пастбище, я запасся (игра слов, заметили?) ценными наблюдениями, которые могу предложить для вашего романа.

— Нашего, милорд...

— Люди верующие безусловно склонны воспринимать игру природных сил как ответ богов на те или иные личные дела и поступки. Когда есть ощущение, что многим людям вокруг свойственны одни и те же пороки, стихийное явление может рассматриваться как кара за общественные грехи.

Вы сами только что... помните ту старушку, как ее звали?

— Матрена Терентьевна, милорд.

— Ну да, Матрена! Она бежала и крестилась со словами: «Господи! за грехи наши...». Помните? Следовательно, она восприняла появление дома в воздухе как знамение, как предвестие конца света, который придет «за грехи наши».

— Спасибо, мистер Стерн. Я с вами согласен. Правда, я полагаю, что речь должна идти не только о верующих. Любой человек склонен принимать на свой личный счет не зависящее от него явление, и это, кстати, еще раз подчеркивает повышенное внимание человека к себе. Ему не кажется странным, что природа (божество) устраивает землетрясение для того, чтобы наставить человека на путь истинный или указать на то, что жил он неверно. Я думаю, милорд, что и вы — внимательный слушатель мой,— и читатели ни на минуту не усомнились, что я описал перенос дома на Петроградскую для того, чтобы показать, что герой наш, Евгений Викторович Демилле, жил не совсем праведно, за что и получил такой сюрприз.

— А что, разве не так? Разве исчезновение дома не вытекало логически из предыдущей жизни героя?

— Может быть, и вытекало, но ведь так мог рассуждать каждый жилец дома. Получается одно из двух: либо все кооператоры в один прекрасный момент (а именно, указанной апрельской ночью) пришли к жизненному краху, либо исчезновение дома — кара лишь для Демилле, но тогда почему за ошибки Евгения Викторовича должны расплачиваться ни в чем не повинные люди?

— Вы меня запутали. Так как же обстоят дела на самом деле?

— На самом деле перелет дома, как и землетрясение, не имеет касательства ни к Демилле, ни к другим кооператорам, ни к милиции, ни к общественному строю, но... так уж мы устроены, что и Демилле, и другие, и милиция, и читатели, да и мы с вами, милорд, будем искать в этом факте определенный смысл.

Милиция, как я говорил, стала искать его сразу после посадки дома на Безымянной.

Утро было субботнее, на работу жильцы дома не торопились; первыми среди кооператоров проснулись школьники и некоторые их родители. Первые признаки тревоги возникли сразу же: нет воды, нет газа, нет электричества! Телефоны, естественно, тоже молчали. Совпадение редкостное, что и говорить! В ближайшие

несколько минут пробудившиеся кооператоры начали обращать внимание на изменившийся ландшафт за окном. За стеклами нижних этажей царил полный мрак, в котором едва можно было различить придвинутые вплотную к дому стены, двери подъездов и окна старых обшарпанных домов — в некоторых зажигались огни, и напуганные кооператоры начинали знакомиться с жизнью чужих людей, которая происходила за освещенными окнами. Первый этаж кооператоров имел также возможность наблюдать фигуры в серых шинелях, которые сновали в образовавшихся ущельях между домами.

Тревога пока накапливалась и зрела внутри проснувшихся квартир: робко выглядывали из окон, перешептывались, прикладывали уши к дверям, слушая шаги на лестнице... недоумевали. Большая часть жильцов еще мирно спала, а посему напряженность психического поля не достигла уровня, способного возбудить панику.

Милиция тоже пока сдерживалась: не совалась в квартиры, ибо по внешнему виду окон трудно было определить — проснулась квартира или нет. Все окна по-прежнему были темны.

Но вот напряженность поползла вверх, как столбик термометра горячечного больного — ее можно было измерять гальванометром! Электричество, копившееся в квартирах, дало себя знать сначала в криках ужаса нескольких слабонервных женщин, затем в перестукиваниях между квартирами по батареям отопления, уже безнадежно холодным. Кто-то закричал в форточку с пятого этажа: «Помогите!» — и этот женский крик, услышанный кооператорами, выплеснул страсти наружу.

Первой в подъезде № 1 вырвалась на лестничную клетку Клара Семеновна Завадовская, у которой имелись веские причины впасть в отчаяние. Электричество, газ, вода — это, конечно, неприятно, но муж!.. но собачка!.. Где они?.. Клара Семеновна, обнаруживши пропажу, выскочила на площадку пятого этажа в пальто, накинутом на ночную сорочку, метнулась к соседям, которые отворили ей дверь с ужасом на лицах, чем еще более напугали несчастную Клару Семеновну,— дальше клубок покатился на другие этажи, хлопали двери... нервно перекрикивались соседи... строили предположения.

Во всех умах как-то разом обозначилась мысль: «За что?» Ее быстро сменила другая: «Бог наказал!» —

впрочем, не во всех головах, будем справедливы, она нашла себе место.

Паника распространилась мгновенно, как огонь по занавеске. Женщина, которая ночью выбрасывала бутылки с балкона, что было зафиксировано в свидетельских показаниях гражданина из вытрезвителя, проснувшись и припомнив ночной полет, опять выскочила на балкон... (С вечера в ее квартире происходило гуляние, вина запасено было много — так много, милорд, что к ночи все не выпили, перепало и пьянице на Каменном — и вот в три часа ночи, когда гости улеглись, где придется, внезапно погас свет в квартире. Хозяйка вышла на балкон и увидела, что дом летит над городом. Конечно, она и думать не посмела о реальности этого ощущения после обильных возлияний. Ненависть к пьянству — нет более непримиримых врагов алкоголизма, чем пьющие женщины,— заставила ее собрать бутылки с остатками жидкости и побросать их с балкона, сопровождая это антиалкогольной проповедью...) Итак, она снова выскочила на балкон и увидела то же, что увидел я из окна: крышу пятиэтажного дома и другие крыши во всех сторонах света. «Допились, допились...» — повторяла она, тупо уставившись на незнакомый городской пейзаж, то есть, по существу, тоже признавая некую кару, постигшую пьяную компанию...

— Скажите, сударь, вы намеренно сгущаете краски?

— О чем вы, милорд?

— Я говорю об алкогольных мотивах, то и дело возникающих в вашем рассказе. У вас так сильно пьют? Мне не верится.

— Мне тоже... Хотя, признаться, я не заметил, чтобы мой рассказ содержал повышенный против реальности процент алкоголя. Но если вам с расстояния в двести лет что-то показалось странным, я готов кое-что разъяснить. Что вас интересует, милорд?

— У меня создалось впечатление, быть может, обманчивое, что напитки, содержащие алкоголь, утратили у вас ту служебную роль, какая предназначалась им в прошлом, и перестали быть приятным средством увеселения на празднествах. По-моему, они превратились, наряду с хлебом и солью, в необходимый продукт, потребляемый в любое время дня и ночи, с поводом и без повода, в одиночку и группами, просто по привычке или от скуки. Я не прав?

— Вы правы, милорд.

— Я не знаю причин такого явления, но заметил также, что оно вызывает у ваших соотечественников повышенные терзания. Мне не совсем понятно, почему они относятся к потреблению алкоголя не так спокойно, как это делали, например, древние эллины? Вы можете себе представить Феокрита или Демосфена бегающими по Афинам с безумными глазами и вопиющими: «Допились! Допились!»? Непонятные страсти — тот не пришел домой ночевать, эти гоняют по городу в поисках вина, те стоят в очередях... непонятная система запретов, условностей, обычаев, связанных с питием... Куда повезли того несчастного, что ночь провел на скамейке?

— В вытрезвитель, милорд.

— Почему не домой?

— ...?

— Почему, уж если вам нравится пить не только по праздникам, не привыкнуть к этому и не узаконить?

— Так ведь пьют до чертиков!!

— Как это?

— Обыкновенно: до беспамятства, до посинения, до отключки. Непонятно? До галлюцинаций, до белой горячки, до потери пульса... Вы думаете, что перед вами древние эллины, которые пили разбавленное водой виноградное вино? Полноте, милорд! Наши граждане пьют что угодно, только не напиток греков!

— Но зачем? Они не болеют? Это же опасно!

— Еще как!.. Но у нас широкая натура, милорд. Широту ее нужно утолять бочками, но никак не рюмочками, хотя ими тоже не брезгуют... Вот скажите, мистер Стерн, сколько в английском языке глаголов, обозначающих процесс принятия алкоголя? Ну, синонимов глаголов «выпить» или «напиться»?

— Я не считал. Думаю, что три-четыре найдется.

— А послушайте, как обстоят дела у нас. Для удобства счета я буду располагать синонимы триадами. Итак:

отпраздновать, совершить возлияние, принести жертву Бахусу,
откушать, причаститься, приложиться,
вздрогнуть, загрузить, остаканиться,
поддать, влить, вдеть,
дербалызнуть, дербануть, дерябнуть,
пропустить, проглотить, принять,
сообразить на троих (триада, милорд!),
хлопнуть, клюнуть, бухнуть,

зашибить, засосать, засадить,
чебурахнуть, чекалдыкнуть, царапнуть,
керосинить, керогазить, чибиргасить,
загудеть, запить, нажраться,
нализаться, нарезаться, назюзюкаться,
промочить горло, заложить за галстук, залить за воротник,
пропустить по махонькой, похмелиться, поправить здоровье,
раздавить бутылек, банку, пузырек (тоже триада!),
дернуть, треснуть, колдырнуть,
кирнуть, тяпнуть, бацнуть,
шибануть, хапнуть, гепнуть,
врезать, вмазать, жахнуть,
шарахнуть, шлепнуть, шваркнуть,
выдуть, вылакать, набраться,
залить зенки, налить глаза, оттянуться,
налимониться, надраться, набубениться,
перебрать, набраться, нагрузиться,
упиться в сосиску, упиться в стельку, упиться в хлам...

...Я не могу отказать читателю в удовольствии — порыться в памяти и пополнить список синонимов, для чего оставляю свободное место. Это интересная и небесполезная работа; благодаря ей каждый экземпляр романа станет уникальным, приобретет индивидуальность и присущий только ему винно-водочный букет. Я мог бы долго еще распространяться на эту тему, милорд, но пора возвращаться к роману. Я думаю, вы смогли оценить серьезность проблемы, исходя из моего чисто лингвистического доказательства...

Милиция действовала решительно, но спокойно. Поначалу, когда смятение только зарождалось внутри квартир, не находя выхода наружу, милиционеры следили за школьниками, выбегавшими то тут, то там из дверей и устремлявшимися по привычке в школу. Их мягко останавливали, стараясь не напугать, и направляли обратно, причем в квартиру входил и сотрудник милиции, будил родителей, если они спали, и приступал к работе...

— Какой работе?

— У милиции имелся план, выработанный в Управлении за считанные часы, что прошли с момента при-

земления дома до рассвета. Главными задачами милиции были:

а) успокоить кооператоров;

б) разобщить их, как бы локализуя очаги пожара, чтобы не дать пламени вспыхнуть общим костром;

в) снять показания касательно прошедшей ночи;

г) произвести перепись всего населения дома, имеющегося в наличии...

— Перепись? Зачем?

...и сверить его с записями в домовой книге.

— Ага! Я начинаю понимать.

Вот именно, милорд! Милиции важно было не только успокоить людей, но и получить как можно больше сведений, могущих натолкнуть следствие на причины перелета дома. Это могло быть делом рук злоумышленников, преступных или антиобщественных элементов, а посему точный учет всех потерпевших был необходим.

Беда в том, что сотрудников на все квартиры не хватало, хотя и продолжали прибывать поднятые по тревоге группы, которые не только устремлялись к нам, но и рассредоточивались по старым домам Безымянной, чтобы успокоить пораженных старожилов. Неизвестно, кому было хуже — прилетевшим или встречающим, если пользоваться терминологией Аэрофлота, а потому в скором времени в коммунальных квартирах дома с башенкой, в больнице водников появились вежливые молодые люди в милицейской форме, которые начали разъяснительные беседы.

На моей лестничной площадке метался молоденький сержант, спешно снятый со своего поста у Дворцового моста, вернее, подхваченный крытым грузовиком на пороге родного отделения, когда он возвращался туда, отдежурив вахту. Поскольку он снова всплыл в нашем повествовании, я думаю, надо дать ему имя.

— И фамилию!

— Дадим ему только фамилию. Я боюсь, что имен на всех не хватит, у нас их не так много, а с фамилиями легче... Итак, его звали Сергеев.

Первым делом Сергеев ринулся в квартиру № 281, из-за дверей которой доносились звуки «Маленькой ночной серенады» Моцарта. Сержанта удивили громкие голоса скрипок, так разительно не похожие на все те звуки, которые Сергеев привык слышать в своем милицейском общежитии — приподнятые аккорды, бравурные аллегро — черт те что! — и это в доме, вырванном

и переброшенном какой-то нечистой силой за пятнадцать километров!

Дверь отворил среднего роста седой человек в костюме и при галстуке, как бы вытянутый в струночку, с кротким и лучезарным взглядом. Под стать взгляду светился на лацкане его серого с «молнией» пиджака рубиновый комсомольский значок, на котором, если бы на лестнице было чуть светлее, можно было бы прочитать надпись — «КИМ». Человеку было лет под семьдесят.

Он слегка наклонил голову и выжидательно посмотрел на Сергеева. Тот опешил от бесконечно терпеливого и в то же время доброжелательного выражения его лица, с которого жизнь совершенно не сумела стереть достоинство и веру в людей.

— Простите,— пробормотал сержант,— у вас все в порядке?

Лучшего ему в голову не пришло.

— Да,— твердо и как-то счастливо отвечал светлый старик, подтверждая быстрым кивком свой ответ.— А что случилось, простите?

— Нет... Ничего...— смешался сержант.— Я думал...

— Нет-нет, я же вижу, что у вас что-то произошло,— все так же просветленно продолжал старик.— Заходите, мы постараемся вам помочь. Может быть, вызвать милицию?

Сергеев совершенно ошалел. Собственно, старик с комсомольским значком не произнес ничего сверхъестественного, более того, он был абсолютно, стопроцентно нормален и предупредителен. Его неожиданное предложение вызвать милицию могло быть объяснено тем, что он просто не увидел в темноте милицейских погон сержанта. Но тон... Сергеев никогда в жизни не слышал таких проникающих в самую душу интонаций, такой расположенности в голосе, участия и неиссякаемой веры в благоприятный исход любых событий. Это было почище «Маленькой ночной серенады», продолжавшей звучать из квартиры.

— Я потом... Я скоро зайду,— пообещал сержант, пятясь.

Старик смотрел на него, проникая взглядом в самую душу. За его спиной, в глубине квартиры, открывалась идиллическая картина: залитая утренним светом комната, где блестели прутьями многочисленные клетки с ка-

нарейками, висящие тут и там на разной высоте, а под клетками, в современном кресле восседала седенькая старушка с портативным магнитофоном в руках, из которого и вырывался на свободу Моцарт. Старушка, слегка закинув голову, мечтательно смотрела в потолок, а канарейки божественно вторили серенаде.

Если бы Сергеев вгляделся в эту картину подольше, он заметил бы, что на лацкане пиджака старушки (она была в английском костюме, милорд) светится такой же «кимовский» значок, а чертами лица старая комсомолка чрезвычайно похожа на старика, отворившего дверь.

Словом, и эта квартира, и Моцарт, и канарейки... Трудно было бы представить себе что-нибудь более несовместимое с той катавасией, что творилась сейчас в нашем доме.

— Приходите,— кивнул старик Сергееву и, уже прикрывая дверь, ободряюще улыбнулся: — А свет скоро дадут. Это временное явление...

— Стоп, стоп! Как звали этих удивительных старичков? Кто они такие?

— Это были Светозар Петрович Ментихин и Светозара Петровна Ментихина, милорд,— брат и сестра, близнецы, Светики, как любовно называл их весь дом. И вправду, удивительные люди! В тридцатых годах они были членами Коммунистического Интернационала Молодежи, а теперь имели персональные пенсии. Вы бы видели, как они каждое утро бодро шли в магазин — не за покупками, нет! — они были общественники, народный контроль, совесть нашего микрорайона... У меня марш звучал в ушах, когда Светики удалялись по улице Кооперации в сторону «Универсама», где работали до вечера. Обмеры, обвесы, воришки среди покупателей были их специальностью. Мне всякий раз становилось стыдно при виде Светиков за свой сибаритский образ жизни с котом Филаретом, нетвердые моральные устои и вялый общественный темперамент. Ох, мистер Стерн! О любом из наших кооператоров можно написать отдельный роман. Прямо не знаю, что делать!

— Вот и пишите.

Сергеев направился дальше и постучался ко мне. Я открыл ему и впустил внутрь квартиры. Успокоил... Затем мы с ним интересно поговорили, причем я узнал много нового относительно нашего дома, а Сергеев добросовестно записал мою фамилию и свидетельское

показание, кое заключалось в одной строчке: «Свидетель спал. Ничего не знает».

Признаюсь, эта строчка задела мое литераторское самолюбие. Хороши дела! Свидетель спал, ничего не знает! Как это? Помните, милорд, Федор Михайлович Достоевский приводил умозрительный пример о поэте и лиссабонском землетрясении (по поводу стихов Фета, кажется). Мол, стыдно поэту не замечать катаклизмов.

— А что я вам говорил?

Короче говоря, именно эта строчка: «Свидетель спал. Ничего не знает» — стала первым толчком к замыслу романа, в котором я намереваюсь дать самые полные и достоверные показания о нашем доме, его жильцах и феномене перелета.

Узнав от Сергеева об этом факте, потрясшем мое воображение, я принялся расхаживать по комнате, не обращая внимания на сержанта, который задумчиво перебирал книги на полке... я увлекся и взволновался... живо представил соседей — тех же Ментихиных, Демилле, Вероятновых... Мысль моя бежала куда-то вдаль, предугадывая и нагромождая события; внезапно я стал собирать чемодан. Сергеев встрепенулся.

— Вы куда это... чемодан?

— Простите, сержант! — горячо заговорил я. (Филарет навострил уши.) — Ради всего святого! Мне нужно немедленно покинуть дом. Я оставлю вам адрес, не бойтесь... Оставлю ключ от квартиры — приходите, отдыхайте, живите... Выпустите только! Мне нельзя здесь, я не могу сейчас. Потом вернусь, вот увидите. Я только возьму пишущую машиночку, ладно?.. И своего кота, хорошо?.. Я здесь неподалеку. Буду писать, вы будете читать. Мы будем как писатель и читатель...

— Зачем это вам? — грустно спросил Сергеев.

— Не знаю. Хочется, хоть убей... Выпустишь?

— Я-то, может, и выпустил бы. Там не выпустят,— кивнул Сергеев в сторону улицы.

— Мы их обманем, обманем...— я и вправду как помешанный застегивал чемодан, надевал плащ, засовывал в футляр пишущую машинку. Филарет сам полез в корзину, в которой я обычно вывозил его на дачу.

Мой напор смутил Сергеева. Он уже вертел второй ключ от моей квартиры, уже озирался по сторонам, как бы ища выхода... Преступник может увлечь преступлением даже блюстителя порядка! Сергеев почему-то

поверил мне. Пожалуй, из него мог бы получиться редактор!

Я распахнул окно. Прямо подо мною расстилалась внизу крыша соседнего дома. Апрельский ветер пахнул в лицо. Я успел черкнуть Сергееву свой новый адрес и, подхватив чемодан, машинку и корзину с Филаретом, вспрыгнул на подоконник.

— Бывай, сержант! — воскликнул я и птицей перемахнул через провал, отделявший меня от соседнего дома.

Грохнула жесть, точно удар первой весенней грозы; я побежал по наклонной крыше вверх, перелез через конек, спустился, прыгнул снова... Крыши вели меня вдаль от моих окон — к вам, милорд, к правдивому и свободному вымыслу, к свидетельским показаниям, не стесненным протоколом,— прочь, прочь от своих героев! Я убегал от них — к ним, от себя — к себе... кошки высовывали свои треугольные мордочки из-за кирпичных труб; качались, как мачты, телевизионные антенны коллективного пользования. Прощай, кооператив!..

Сергеев провожал меня взглядом, в котором читались сочувствие, и сострадание, и скорбь по невыполненному служебному долгу. Затем он засунул за отворот шинели книгу «Приключения Шерлока Холмса» и шагнул к двери.

Только он хотел открыть ее (я в это время убежал по крышам почти к Большому проспекту и уже выбирал место, где бы спуститься на грешную землю), как услышал глухой стук. Сержант рывком распахнул дверь, готовый к чему угодно, и увидел на пороге мою соседку слева Сарру Моисеевну Финкельман, пожилую даму, работавшую смотрительницей в Эрмитаже.

— Таки ви не знаете, дадут свет или как? — спросила она.— Фи, я обозналась! Я думала, это ви, а это совсем не ви...

Глава 7.

ФАМИЛИЯ ДЕМИЛЛЕ

— Не кажется ли вам, сударь, что наш роман начинает напоминать святцы, где даже я, профессиональный пастор, с трудом ориентируюсь в именах?

— Тогда уж телефонную книгу, милорд. Это расхожее сравнение, но между тем ввертывающие его в речь

люди, по-видимому, не обладают фантазией. Нет ничего увлекательнее чтения телефонной книги!

Я вспоминаю детство, когда отец купил только что вышедшую телефонную книгу абонентов личных телефонов. Это был огромный, особенно по моим детским понятиям, том, содержавший ровные столбцы фамилий, адресов и телефонов. Весь Ленинград, спрессованный картонными обложками, жил в телефонной книге, и мне временами казалось, что жители города в виде маленьких черных фамилий ползают по страницам, как муравьи, делают свои делишки, переговариваются, пересмеиваются... Я раскрывал книгу наугад — они всегда успевали выстроиться в ровные колонки. Ни разу не удавалось застать кого-то в бегах. Время было такое, начало пятидесятых годов. Но я отвлекся.

Мне доставляло странное удовольствие подсчитывать число одинаковых фамилий. Иногда казалось, что фамилии, как и люди, обладают характерами, проглядывалось и деление на сословия и классы. Скромные и серьезные Ивановы занимали многие страницы; было ясно, что они, наряду с Петровыми, составляют основу общества, хотя между ними вызывающими группками пробегали Иванцевичи и Иваницкие. Ивановых и Петровых были дивизии, Семеновых и Никитиных — батальоны, рота Барабановых, взвод Лисицких, отделение Перчиков. В этой книге были кварталы, заселенные Суховыми, коммунальные квартиры, набитые Моховыми, отдельные особняки Скребницких и Бонч-Березовских.

Прослеживая этимологию, я докапывался до глубин отечественной истории, когда видел фамилии Смердова или Шуйского, а то вдруг оказывался за границей, натыкаясь на Цоя, Тойвонена или Гомеса.

Поражали двойные фамилии: Грум-Гржимайло, Коровин-Босой, Лебедев-Леонидов, будто их обладатели резервировали себе возможность прожить две жизни — одну Грумом, другую — Гржимайло... возможно, они так и делали.

Несмотря на разнообразие, фамилии удивляли меня своею уживчивостью. Копелевичи мирно соседствовали с Коршуновыми, Думбадзе — с Дульскими, Охрименко — с Очеевыми. Все были набраны одинаковым шрифтом, приоритет был исключительно алфавитный; мои муравьишки не обзывали друг друга кацапом, чечмеком, жидом,— у каждого был свой номер телефона, по кото-

рому они могли позвонить друг другу и потолковать о разных разностях.

Позже, в юности, изучая иные телефонные книги, а также документы, построенные по их принципу, а главное — наблюдая, какое впечатление производят фамилии (простые фамилии!) на моих соотечественников, я имел несчастье убедиться, что уживчивость эта — мнимая...

Взять хотя бы фамилию нашего героя.

В телефонной книге Ленинграда она встречается в единственном экземпляре, а именно «Демилле В. Е.» — это отец Евгения Викторовича, умерший, как я упоминал, три года назад. Рядом с Демилле, сверху, стояла фамилия Демиденко, а снизу — Демина. Обладателей той и другой было достаточно много. Демилле вклинился между когортой Демиденко и отрядом Деминых, точно клин, вбитый в землю на границе России и Малороссии.

— Клин был французский? Странно!

— Исторически в этом не было ничего странного... Фамилия Демилле в России берет свое начало от французского подданного Эжена Милле (Eugene Millet), который по случайному совпадению был ровесником Пушкина и родился в провинции Русильон, в крестьянской семье. Двадцати лет от роду молодой предприимчивый русильонец покинул отчий дом, овладев расхожими ремеслами, и устремился в далекий Санкт-Петербург, видимо, найдя созвучие в названии родной провинции и загадочной, утопающей в снегах (так казалось Эжену) огромной страны на востоке.

— Россия, русский, Русильон!..

Первое, что сделал Эжен Милле в Петербурге — это прибавил к своей фамилии дворянскую приставку «де», которая вскоре сама собою слилась с фамилией, нисколько, впрочем, не обманывая знающих толк людей: «Millet» по-французски означает «просо», а следовательно, вряд ли может быть дворянской фамилией; она, скорее, подходит для крестьянина, коим и был отец Эжена... Тем не менее фамилия родилась и даже получила в Петербурге известность среди купеческих дочек как фамилия модного «парижского» парикмахера (в числе ремесел, которыми владел Эжен, было и ремесло цирюльника). Демилле-прародитель ловко использовал тщеславие богатых купчих, млеющих перед «мсье Демилле, парикмахером из Парижа»... впрочем, профес-

сией Эжен владел недурно, что позволило ему вскоре твердо встать на ноги, обзавестись женою (из тех же купеческих дочек, с солидным приданым), домом, экипажем и тремя детьми. Старшего сына, родившегося в 1827 году, Эжен назвал Викто́ром, вероятно, в честь своих побед (деловых и любовных) в России. Русильонец прижился, мысль о возвращении на родину все реже посещала его, хотя русским языком Эжен так и не овладел — разговаривал отвратительно — как его понимала супруга Евдокия Дормидонтовна?.. Два сына и дочь обоими языками — papa и maman — владели в совершенстве.

Младший сын Петр не продолжил мужскую ветвь рода Демилле, дочь Клавдия, выскочивши замуж восемнадцати лет, само собою, слилась с русскими фамилиями, а Виктор родил Александра Демилле... было это... дай бог памяти! — в 1855 году, в разгар Крымской кампании, отзвуки которой Виктор Евгеньевич Демилле-второй чувствовал и на своей шкуре: к тридцати годам он был приват-доцентом Петербургского университета, и его французская фамилия не очень хорошо вязалась с приливом патриотизма, охватившим студентов во время Крымской войны.

Александр Викторович Демилле-третий был, пожалуй, самым блистательным представителем рода. Он поступил на военную службу, дослужился до полковника, получил-таки настоящее российское дворянство и погиб в Порт-Артуре в 1904 году, оставив после себя сына Евгения и дочь Марью.

Евгений Александрович Демилле-четвертый закончил университет, был историком, просиживал днями в архивах, заработал в архивной пыли чахотку, от которой и умер в скором времени после революции. Его жена, Екатерина Ивановна Демилле, в девичестве Меньшова, бабушка нашего героя, пережила мужа на пятьдесят лет, но замуж снова не вышла — воспитывала и поднимала трех сыновей — старшего сына Виктора, 1912 года рождения, и двух его братьев-близнецов — Кирилла и Мефодия, названных так по воле историка-отца. Они были двумя годами младше.

Виктор Евгеньевич Демилле-пятый восемнадцати лет выпорхнул из материнского дома, освободив мать от заботы о нем. Он уехал в Томск, поступил там в открывшийся медицинский институт, закончил его и отбыл еще дальше — в Приморье, сначала в город Уссурийск, а по-

том — во Владивосток. Там за год до войны родился Евгений Викторович. Мать его Анастасия Федоровна была из украинских поселенцев, переехавших в Приморье в начале века, работала в больнице санитаркой, потом — медсестрой; в той самой больнице Владивостока, где Виктор Евгеньевич работал хирургом.

Надо сказать, что удаленность врача Демилле от европейских центров России, возможно, спасла ему жизнь, ибо его младшие братья Кирилл и Мефодий бесследно исчезли в 1937 году, будучи еще совсем молодыми людьми. К тому времени оба они, активные осоавиахимовцы, были призваны в Военно-Морской Флот по комсомольскому набору и проходили обучение в морском экипаже Кронштадта. Оттуда в ненастную ноябрьскую ночь их вывезли на катере в Ленинград, где следы затерялись. Мать Екатерина Ивановна несколько месяцев ничего не знала, а узнав об аресте, послала с оказией в Уссурийск, где работал старший сын, короткое письмецо: «Витя! Кирюшу и Мишу взяли. Не пиши мне больше, пока это не кончится. Твои письма я сожгла, адрес потеряла. Благодарю Бога, что отец не дожил до этого. Прощай, мой хороший! Твоя мама».

Однако Екатерина Ивановна бумаги сына, которые могли бы указать на его местонахождение, не сожгла, как писала в записке, а надежно припрятала — и не напрасно. Через полгода после ареста близнецов пришли и к ней, произвели обыск... Надо думать, искали след старшего сына, но не нашли.

Виктор Евгеньевич затерялся, поменял несколько мест работы, перестал в анкетах упоминать о братьях (о своем дворянстве он и раньше не упоминал, как и близнецы, за что, видимо, те и поплатились... очень уж им хотелось вступить в Осоавиахим!), но тем паче чувство вины перед братьями не давало ему покоя, глодало до самой смерти. Не разделил их долю, а должен был разделить.

И он действительно не писал матери и ничего не знал о ней целых десять лет. К тому времени Виктор Евгеньевич уже отслужил в армии (участвовал в войне с Японией), защитил диссертацию, заведовал крупной клиникой, где заявил о себе смелыми операциями; потом перешел на преподавательскую работу в медицинский институт, а в 1947 году переехал с семьей в Ленинград. Семья к тому времени пополнилась Федором и Любашей.

Каковы же были удивление и радость профессора Демилле, когда он обнаружил в Ленинграде свою постаревшую уже мать, которая жила на старом месте, в квартире, некогда принадлежавшей деду Виктора Евгеньевича — полковнику Демилле, но занимала, естественно, лишь одну комнату.

Через некоторое время реабилитировали Кирилла и Мефодия, разумеется, посмертно. Виктору Евгеньевичу удалось получить сведения о том, что Кирилл умер в Соловках еще до войны, а Мефодий погиб под Сталинградом в составе одного из штрафных батальонов.

Вскоре после этого поехали всей семьею в Шувалово, на кладбище, где похоронена была мать Екатерины Ивановны и где за серым камнем маленькой часовенки над ее могилой, в сухой недоступной взгляду нише, хранился деревянный ларец с семейными бумагами: письмами, дипломами, фотографиями. Там же находился фамильный медальон с миниатюрой, изображавшей прародителя Эжена Демилле. Ничто не пропало и не попортилось. С того дня семья Демилле как бы вновь обрела свою историю, и шестнадцатилетний Женя Демилле под руководством бабушки вычертил генеалогическое древо, началом которого был прапрапрадед Эжен. Эта работа совпала по временам с Двадцатым съездом, произведшим в голове Евгения основательную встряску. Тайна его фамилии, долгое время мучившая юношу, раскрылась полностью, хотя наученный печальным опытом отец по-прежнему не любил разговоров о дворянском прошлом семьи.

Зато бабка переживала вторую молодость. Внезапно она сделалась легкомысленной, словно не было за плечами сорока лет жизни без мужа, утерянных сыновей, блокады, случайных заработков то ремингтонисткой, то репетиторшей, то делопроизводительницей загса, то... всего не упомнишь! — она, открыв, наконец, клапаны, без удержу вспоминала молодость, какие-то мифические балы, штабс-капитанов, адъютантов ее свекра полковника Демилле, конки, экипажи, журнал «Ниву», первую империалистическую войну, революцию... Далее воспоминания обрывались. Однажды вдруг бабка потащила внуков Евгения и Федора на Волково кладбище, где показала им могилу прапрадеда Виктора: черный мраморный крест, на котором едва заметны были золотые когда-то буквы: «Викторъ Евгеньевичъ Демилле, приватъ-доцентъ Петербургскаго Императорскаго Универ-

ситета». Женя вздрогнул — так звали отца; история ходила по кругу.

Так, предаваясь беззаботным воспоминаниям и напевая модные песенки своей молодости, Екатерина Ивановна прожила последние пятнадцать лет жизни и тихо скончалась в семидесятом году, восьмидесяти пяти лет от роду. Старший сын пережил ее на семь лет.

Если бы не история с домом, которая, собственно, нас и занимает, я мог бы... А почему вы притихли, милорд? Вам все понятно? Я изложил на нескольких страницах события — страшно сказать! — полутора веков... и никаких вопросов?

— Я размышляю.

Итак, Евгений Викторович Демилле, как мы только что убедились, был французом чуть более, чем на три процента. Точнее, в его жилах текла одна тридцать вторая французской крови. Нельзя сказать, чтобы оставшаяся жидкость была чисто русской: наблюдались украинцы по материнской линии, проглядывалась в конце прошлого века двоюродная прабабка-эстонка, за спиною которой из глубины лет смотрели строгие лица финнов, затесалась в компанию и грузинская княжна — каким боком, понять трудно,— но французов больше не было ни единого. Тем не менее окружающие единодушно считали Евгения Викторовича французом, чему способствовали, кроме фамилии, неизвестно каким чудом сохранившийся от далекого русильонца нос с горбинкой и не совсем славянский разрез глаз.

— Вот еще один факт в вашу главу о носах, мистер Стерн!

— Да, носы на удивление живучи!

Конечно, брат Федор и сестра Любовь были французами не более (но и не менее!), чем Евгений. Интересно, что к своему происхождению все трое относились совершенно по-разному.

Евгений Викторович уважал свое прошлое, однако фамилия вызывала у него противоречивые чувства. С одной стороны, он гордился достаточной избранностью и единственностью фамилии в телефонной книге, но с другой — сознавал, что французские лавры («Скажете тоже, лавры!..») не совсем им заслужены, и те три процента крови далекого предка, что насчитывались в его организме, с большой натяжкой оправдывают иностранную фамилию. Посему он постановил прекратить ее, начиная со своего сына Егора, в котором вышеназ-

ванной крови была совсем крохотулька, и дал ему фамилию жены — Нестеров, благо она обладала, на взгляд Евгения Викторовича, несомненными достоинствами: была чисто русской, не слишком распространенной и слегка патриархальной. Слишком хорошо помнил Демилле все дурацкие школьные прозвища, связанные со своею фамилией, и двусмысленные остроты насчет его французского происхождения!

Нечего и говорить, что Демилле также не позволил своей жене Ирине менять девичью фамилию при замужестве. Иными словами, Евгений Викторович сознательно пресек если не род Демилле, то его подлинное имя.

Брат Федор был еще более решителен. На него сильное впечатление произвела история дядюшек Кирилла и Мефодия, о существовании которых он впервые узнал в четырнадцать лет. Федор пришел к выводу, что исключительная его фамилия да еще в сочетании с именем никак не смогут сослужить доброй службы. То ли он боялся повторения смутных времен, то ли гены восстали против иностранщины, но факт остается фактом: Федор сознательно насаждал в себе русское: отпустил бороду, завесил стены иконами, потом сбрил бороду, снял иконы, женился и принял фамилию жены. Федор Демилле стал Федором Шурыгиным. Брата и сестры он сторонился, два года назад вступил в партию и уехал по контракту в Ливию строить цементный завод.

Но то, что выделывала со своими почтенным родом Любовь Викторовна Демилле, младшая сестра обоих братьев, с трудом поддается описанию.

Казалось бы, у Любаши было преимущественное положение перед братьями. Достаточно было выйти замуж, принять фамилию мужа и... прости-прощай далекий русильонец, французское прошлое, дворянская приставка! Однако Любовь Демилле свято берегла и приумножала свою фамилию.

— Как «приумножала»?

— А вот как.

Восемнадцати лет Любаша забеременела — как водится, совершенно неожиданно для родителей, ибо никакого намека на жениха не наблюдалось и в помине, хотя хвост воздыхателей подметал пыль перед домом Демилле с той поры, как Любаше исполнилось пятнадцать. Обходилась она с воздыхателями сурово, в свои сердечные тайны близких не посвящала... была таин-

ственна — глазки блестели то радостно, то печально, а то вдруг темнели, будто на смуглое Любашино лицо набегала тучка. И вдруг — на́ тебе!

Анастасия Федоровна подступалась с расспросами, снаряжала братьев, чтобы те выследили дерзкого совратителя (Евгений Викторович вечерами сидел в густой листве тополя перед крыльцом, точно дозорный, карауля провожатых сестры — это в двадцать пять-то лет! стыдно вспомнить!) — но все напрасно. Любаша как в рот воды набрала, твердила только: «Отстаньте! Что хочу, то и делаю!». И сделала.

Собственно, ни мать, ни отец рожать не отговаривали. Но не худо было бы иметь мужа — хоть какого! — все ж отец, опора для восемнадцатилетней девушки... Если бы они знали, что опора эта уже находится за тысячи километров от России, в жаркой стране, под знойным небом!

Рождение ребенка произвело еще большее потрясение, чем беременность. Родилась прелестная, здоровая, крупная девочка с черными, как у мамы, глазенками — пухленькая, с многочисленными вязочками на ручках и ножках. Радоваться бы да и только! Но была одна неприятность. Девочка была почти такая же черненькая, как ее глазки, а волосы — в мелкую и тоже черненькую кучерявинку.

Тогда впервые Виктор Евгеньевич потерял власть над собой. «Кто отец?! Где этот сукин сын!» — закричал он, когда дочь впервые внесла в дом очаровательную негритяночку, завернутую в розовое стеганое одеяльце с кружевными салфеточками. Черное личико выглядывало оттуда как изюминка из булки.

«Он француз, папа,— с достоинством ответила Любаша.— Мы же сами из французов».— «Француз?! — воскликнул отец, обрушиваясь на диван, как упавшая портьера.— Кто тебе сказал, что мы из французов?..» — тихим голосом закончил он. «Бабушка!» — вызывающе ответила дочь и с этими словами передала сверток с французской изюминкой в руки Екатерине Ивановне. Старушка расплылась в улыбке, негритяночка тоже впервые улыбнулась... инцидент был исчерпан. А что делать?

Позже удалось установить — правда, не без труда,— что отцом маленькой Николь (так назвала дочку Люба) является некто Жан-Пьер Киоро, подданный независимой республики Мали. Упомянутый Жан-Пьер обучался

в Советском Союзе, но рождения дочери — увы! — не дождался, ибо получил диплом врача и отбыл на родину молодым специалистом.

Справедливости ради следует сказать, что французскими у Жан-Пьера были только имя и язык, на котором он разговаривал, в остальном же молодой человек был истинным представителем Африканского континента. Любашу это нисколько не смущало.

Так в роду Демилле неожиданно появилась симпатичная негритяночка Николь Демилле, в свидетельстве о рождении которой, в графе «отец», стоял осторожный прочерк. Отчество записали «Петровна».

— Почему «Петровна»?

— По-видимому, от Пьера...

— Николь Петровна Демилле... Любопытно!

— Самое любопытное, мистер Стерн, что в графе «национальность», когда девочка будет получать паспорт, напишут «русская».

— Русская?!

— Ну, а какая же?!

...Погодите, милорд, это еще цветочки. Ягодки будут впереди... Появление Николь Демилле произвело брожение в умах соседей, знакомых и сослуживцев Любаши (она работала лаборанткой в НИИ, мыла химическую посуду и готовила реактивы для опытов), однако Любаша вела себя с таким достоинством, будто дело происходило в Африке. Брат Федор, который тогда только что стал Шурыгиным, пытался наставить сестру на путь истинный, указав ей на необходимость твердого национального самосознания. Любаша, как и следовало ожидать, послала его подальше.

Итак, она воспитывала девочку (с помощью бабушки и мамы) и мыла химическую посуду. Как вдруг опять забеременела! Что за напасть! Бывает же такое, как прицепится что-нибудь к человеку, так и не отвяжешься...— От кого — и на этот раз было непонятно. Евгений Викторович больше на тополе не сидел — бесполезно. Любаша оставалась такой же таинственной — ни тени смущения, даже радость я бы отметил, совершенно, впрочем, непостижимую. В назначенный срок она привезла из роддома мальчика...

— Опять негра?

...беленького чистенького мальчика с белокурыми волосами, голубыми глазками, совершенного европейца...

— Ну, слава Богу!

...и назвала его Шандор. Как выяснилось позже, отцом его был венгр, ватерполист, член сборной команды по водному поло — могучий и красивый молодой человек, оказавшийся в нашем городе на соревнованиях и оставивший Любаше и всей стране столь прекрасный подарок.

Отчество записали Александрович, поскольку отца тоже звали Шандор. Так появился в роду Шандор Александрович Демилле. Было это через три года после рождения Николь.

Я не буду описывать состояния отца Любаши (бабушка Екатерина Ивановна умерла за год до рождения Шандора — то-то бы обрадовалась), а матушка смирилась, более того, стала смотреть на жизнь в значительной степени философски; не стану также пересказывать разговоров вокруг этого события и кратких энергичных определений, которыми награждали Любашу ближние. А за что? Какое им, собственно, дело? Любаша по-прежнему была выше этого. Жаль, что отец не понимал... Так и не понял до самой смерти, мучался, считал дочь девицей легкого поведения — более энергичным словам обучен не был. А дочь, подождав еще несколько лет, принесла в дом смугленького мальчика с черными прямыми волосами, чуть раскосого, но не по-азиатски, а по-индейски. Мальчика назвали Хуаном, а отец у него почему-то оказался Василием, во всяком случае в графе «отчество» появилось слово «Васильевич».

— Откуда оно взялось? Может быть, Базиль?

— Не знаю, милорд. Про отца Хуана до сих пор сведений не имеется. Откуда он — из Никарагуа, Колумбии или Мексики,— остается только гадать. Впрочем, никто об этом не гадал. Появление Хуана было расценено общественностью как неслыханная дерзость. Стало ясно: Любовь Демилле сознательно расшатывает устои общества; ее действия квалифицировались уже не как обыкновенное распутство, а гораздо хуже — с явной политической подкладкой. Любу обвинили в отсутствии патриотизма и бдительности (аморальность как-то отошла на второй план) — и это несмотря на то, что несчастная женщина практически в одиночку увеличивала столь низкую у нас в России рождаемость, что она на деле, а не на словах, доказывала свою верность интернационализму и, наконец, препятствовала вырождению нации, ибо, как вам известно, милорд, смеше-

ние кровей благоприятно действует на наследственность.

Любаше предложили уйти с работы. Закона, по которому ее могли бы уволить, не существует в нашем Кодексе законов о труде, а посему Любаша ответила гордым отказом и продолжала неукоснительно выполнять порученное ей дело. Посуда для опытов, вымытая ею, отличалась столь восхитительным блеском, что придраться не было никакой возможности. Вдобавок Люба не опаздывала, не уклонялась, не склочничала, не возникала, не отлынивала, не смывалась, не сплетничала, не воображала... словом, вела себя и работала исключительно порядочно, так что начальство кусало локти, не в силах расправиться с безнравственной лаборанткой. Притом учтите, что Любаша была матерью-одиночкой троих детей! Пускай каких-никаких — африканских, мексиканских, венгерских,— но детей, на которых распространялись все льготы нашего общества, так что Любашу вынуждены были обеспечивать и пособиями, и дополнительными отпусками, и путевками, и детскими садами и яслями.

Постепенно страсти улеглись. Более того, Николь, Шандор и Хуан стали как бы достопримечательностью того НИИ, в котором работала Любовь Демилле. Уже большая часть общественности, удовлетворив любопытство и желание принять срочные меры, сменила гнев на милость... при встречах шутливо осведомлялись друг у друга: «Не слышали, как там наши „чукчи“ поживают?» (Почему-то троицу прозвали «чукчами» — то ли от «Чука и Гека», то ли нашли в этом какой-то юмор.) Лишь несколько одиноких и достаточно злобных институтских женщин не переставали распространять про Любу грязные сплетни, стараясь сжить ее со свету (тщетно!), и вообще посвятили дискредитации Любови Викторовны свою скучную, плоскую жизнь.

Любовь Викторовна держалась стойко. Причем совсем не из последних сил, вовсе не изнемогая под грузом сплетен, а как-то весело и естественно, будто предложенные обстоятельства целиком и полностью входили в ее планы — какие, никто не знал. И это бесило завистниц еще больше.

Лично я, милорд, уважаю людей, к которым не пристает грязь.

— О чем вы говорите! Это свидетельствует о досто-

инстве, о благородстве... Но как же все-таки быть с моралью?

— А что такое мораль?

— Ну... Общепринятые нормы нравственности, скажем так.

— Правильно, милорд! И у нас одна мораль: человек человеку — друг, товарищ и брат,— так что с этой точки зрения действия Любаши вполне укладывались в моральные нормы.

Мудрее всех вела себя бабушка Анастасия Федоровна. Стоило посмотреть на нее, когда она в окружении любимых внуков шествовала на рынок: смуглокожий Хуанчик в коляске — изо рта торчит соска — бутылочка теплого молока бережно закутана в одеяльце — рядом черненькая, как маслина, Николь с хозяйственной сумкой, а за ними на самокате — Шандор, обрусевший стремительнее всех, благодаря голубым глазам и имени Саня, которое пристало к нему с пеленок.

Жили, конечно, скромно: лаборантская зарплата Любы плюс ее же премия раз в квартал (даже премии лишить ни разу не смогли!), пенсия Анастасии Федоровны, кое-какие сбережения, оставшиеся после смерти Виктора Евгеньевича (остатки Государственной премии, полученной профессором Демилле за год до смерти), незначительная помощь родственников, в частности, обоих братьев, и средства социального обеспечения... в общем, жили, не унывали.

Еще хотелось бы упомянуть об отношениях братьев и сестры. Федор, последние два года проживавший с семьею в Триполи, ограничивался поздравительными открытками и посылками на имя матери; в них, надо сказать, было и немало детских вещей, несмотря на принципиальное осуждение им Любашиного поведения. Евгений же и Люба друг к другу относились со снисхождением, именно потому, что ощущали каждый в себе неутоленную потребность в любви, принявшую у Любаши формы, только что описанные, а у брата — более привычные и пошловатые, в виде скоротечных романов, сомнительных побед и беспрестанных угрызений совести. Брат и сестра будто болели одной болезнью и жалели один другого. И странно: болезнь была одна, а симптомы давала разные. Любаша в жизни никому не отдалась без любви — их было всего-то три: Жан-Пьер, ватерполист Шандор и неизвестный мексиканец (колумбиец?). От каждого не просто хотела ребенка,

а родила вполне сознательно. Евгений же Викторович, напротив, загорался быстро, как сухая береста, влюблялся, летел, спешил... а потом — пшик! — убеждался в ошибке, маялся... В итоге получалось, что сходился не по любви, а так, по дурости. Себе и другим говорил, что любит жену, и вправду любил, но как-то не так... В семье Демилле невестку недолюбливали, считали холодной и замкнутой, излишне принципиальной. Любаша догадывалась, что Ирина ее в глубине души осуждает, хотя внешне это не проявлялось. Неутоленность и в Ирине была сильна, но она прятала ее внутрь, комкала и лишь изливала обиды на мужа (впрочем, справедливые), будто надеясь, что смирное его поведение поможет вернуть бывшую когда-то любовь.

В последнее время дошло, как говорится, до ручки... Евгений Викторович все чаще являлся глубокой ночью, хандрил, был нервен. Ирина спряталась глубоко внутрь, выжидая. Нужен был толчок — и толчок произошел. Да такой внушительный! Посему и случились последующие печальные события в жизни Евгения Викторовича.

Глава 8.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ

— Проснитесь, милорд! Проснитесь!

Посмотрите, какое легкое утро гуляет по нашему весеннему городу! Оно скачет на одной ножке, перепрыгивая через зеркальные лужи, затянутые хрупким, как вафля, ледком; звенят трамваи, перекатываясь, точно копилки на колесиках; воздух пахнет первыми почками; ветер врывается в открытые форточки, производя замешательство в головах юных существ женского пола и на писательских двухтумбовых столах.

Я никак не могу найти листок... там что-то было... кажется, план романа. Милорд, вы проснулись?

— Да.

— Вам еще не наскучило слушать мою историю?

— Нет.

— Учитель, вы какой-то хмурый сегодня...

Тем не менее разбудим и нашего героя.

Евгений Викторович проснулся на широкой софе в бывшем кабинете отца. На спинке стула висела одежда: отутюженные брюки, выстиранная и выглаженная сорочка, пиджак и галстук. Тут же, на сиденье стула,

лежал аккуратно сложенный домашний костюм отца; под стулом чинно, выровняв носки, стояли тапки.

В первое мгновение Демилле почудилось, что и сам отец сейчас войдет в комнату, скажет: «Пора вставать, Женя. Любишь же ты поспать! Кто рано встает, тому бог дает...». Но, переведя взгляд на портрет отца под стеклом, висевший в простенке между стеллажами, Евгений Викторович снова осознал время и почувствовал, как он стремительно приближается к непоправимому воспоминанию, связанному с прошедшей ночью. Он именно приближался к нему, поскольку не совсем еще проснулся, и даже попытался прикрыть глаза и вновь заснуть, лишь бы оттянуть страшный миг, когда реальность встанет перед ним во всей отвратительной наготе. Упреждая ее, он ухватился за спасительную мысль: «Померещилось, наверное... Черт те что! Вроде бы не такой был пьяный...» — хотя знал точно, что обманывает себя. Не померещилось. Такое и спьяну не померещится.

Демилле проворно поднялся, натянул отцовские домашние брюки на резинке, набросил на плечи мягкую куртку, сунул ноги в тапки... будто перевоплотился в отца, как актер перед выходом на сцену. Это соображение позволило ему на секунду отвлечься от неприятного воспоминания, и он быстренько юркнул в ванную, плотно притворив дверь. Воспоминание осталось снаружи.

Демилле тщательно умылся, почистил зубы, мысленно сосредоточиваясь на этих процессах, чтобы не допустить нежелательных дум. «Мама, где папина бритва?!» — крикнул он, обращаясь к своему отражению в зеркале. Через минуту в ванной появилась Любаша с бритвенным прибором, окинула брата быстрым понимающим взглядом, сказала: «Привет!» — и чмокнула в щеку. Евгений принялся яростно намыливать помазок. Воспоминание тонкими струйками проникало в ванную сквозь щели: обломанные трубы, бетонные плиты, факелы газа в ночи, фигуры милицио...— Демилле с отчаянием вонзил намыленный помазок в щеку.

Егорушка, Ирина... Где они сейчас? Живы ли?

Выйдя из ванной, он столкнулся с матерью. Та всплеснула руками, охнула:

— Вылитый папочка... Жеша, как ты похож на папочку,— сказала она, пуская привычную слезу.— Бедненький, не дожил наш папочка...— скорбно пока-

чала она головой, как бы приглашая сына присоединиться к трауру.

Евгений Викторович этого не выносил. Не то чтобы он был равнодушным человеком, забывшим об отце... Помнил, но помнил про себя. Его коробили беспрестанные разговоры бабушки Анастасии о «могилке», «оградке», «цветочках» (все было уменьшительным, как и «бедненький папочка»,— только от слова «кладбище» не удавалось образовать уменьшительное, потому, произнося его, бабушка Анастасия делалась торжественной, значительно поджимала губы). У Демилле сердце разрывалось на части при виде растерянности и одиночества, навалившегося на мать после смерти отца, но помочь ей он был не в силах; разве так же подсюсюкивать: могилка, оградка... Это было выше его сил.

Вот и сейчас, вместо того чтобы обнять мать и шепнуть ей что-нибудь успокаивающее, он мгновенно раздражился, произнес язвительно:

— Перестань, мама! Если бы дожил, то верно не обрадовался бы!

— Какой ты черствый... какой ты черствый человек...— укоризненно забормотала мать, провожая его глазами в кабинет отца.

Кабинет этот оставался нетронутым после смерти Виктора Евгеньевича: стеллажи с медицинской литературой, письменный стол со стеклом, под которым располагались фотографии всех членов семьи (Ирина с Егоркой на руках), кожаное кресло отца, шкаф с его одеждой — костюмами, пальто, стопкой накрахмаленных белоснежных халатов — хоть сейчас на операцию... Евгений Викторович принялся одеваться, стараясь не смотреть на фотографии.

Лишь только он затянул галстук, в кабинет вошла Люба в халатике. Тут только Евгений Викторович заметил, что халатик сестры подозрительно задирается спереди, а под ним проступает округлый живот.

— Это что такое? — бесцеремонно спросил он, указывая на живот.— Опять двадцать пять?

— Ох, Жешка, не говори! — радостно вздохнула она.— А что я могу сделать? Не переношу абортов. Боюсь.

— А рожать не боишься...

— Рожать не боюсь. Дело привычное.

— Ну, и кто же отец? — иронически спросил брат.

— За-ме-чательный! — Любаша даже зажмурилась.

— Меня интересуют имя и фамилия. А также национальность. Неужели наш? — съязвил Евгений Викторович.

Любаша вспыхнула и бросила на брата быстрый взгляд, дав понять, что разговор в таком тоне опасен. Евгений Викторович привлек сестру к себе.

— Прости, я не хотел... У меня сегодня настроение ужасное.

— Ирка выгнала? И правильно,— Любаша решила отомстить.

— Хуже...— с тоской протянул Евгений.

— А что такое?

И Евгений Викторович, усевшись в кресло отца и поместив напротив себя Любашу, принялся рассказывать. Начал он со скрипом, часто останавливался, чтобы подобрать нужное слово (как-никак, завязка была деликатной), но постепенно разошелся, одушевился и конец рассказа с ошеломляющей картиной голого фундамента, подвалов, блещущей в лунном свете воды и синих милицейских мигалок провел с подлинной живостью. Любаша рот раскрыла. Поверила сразу, безоговорочно, спросила лишь:

— Маме рассказал?

— Нет,— Евгений прикрыл глаза, откидываясь затылком на прохладную кожу кресла.

— И не будешь?

Евгений Викторович сделал паузу, будто обдумывая, хотя и без обдумывания знал, что не расскажет. Нельзя об этом Анастасии Федоровне, запрет.

— Нет,— повторил он.

И в это мгновение стал воистину блудным сыном, ибо добровольно отказался от материнского крова, обрек себя на скитания. Куда идти теперь? А ведь уходить нужно немедленно, иначе упреков не оберешься, с утра бабушка Анастасия поминает Ирину с внуком, как те волнуются — где папочка?..

— Что делать-то будешь? — осторожно спросила Любаша.

— Искать,— пожал плечами брат.— Мне один тип сказал, что могли быстро снести, а жильцов переселить. Аварийная ситуация или... по государственным соображениям.

— Да ты что! — округлила глаза Любаша.

— Не испарились же они, в самом деле! — воскликнул Демилле.— Ничего. Даст бог, найду. Смотри, маме не проговорись.

Они вышли из кабинета и направились в кухню, где застали идиллическую сцену.

Вокруг овального стола, располагавшегося посреди большой кухни, сидели бабушка Анастасия в белом переднике и все внуки. Они перебирали пшено. Перед каждым была желтенькая горка крупы, от которой ловкие пальцы бабушки и внуков отделяли по зернышку, смахивая в сторону мусорные крупинки. Все четыре руки были разные: желтоватая, покрытая тонкой со складками кожей рука бабушки; узкая, будто выточенная из черного дерева, кисть тринадцатилетней Ники; пухлая, в веснушчатых крапинках рука Шандора и смуглая ладошка Хуанчика, которой тот не очень ловко перекатывал по клеенке желтое пшено.

Бабушка Анастасия, покачиваясь, пела под нос какую-то заунывную песню. Прислушавшись, Демилле узнал слова. «Дан приказ: ему — на запад; ей — в другую сторону...» — пела бабушка Анастасия жалостно, на манер русских страданий.

Дети дружно поздоровались с непутевым дядюшкой, причем старшие — Ника и Саня — уже, видимо, догадывались о его непутевости, благодаря привычке бабушки Анастасии чувствовать и размышлять вслух.

— Обедать будешь? — сухо спросила мать, еще обижаясь на тот разговор у дверей ванной комнаты.

Демилле шагнул к ней и поцеловал в темя. Обида мгновенно улетучилась.

— Я не понимаю тебя, Жеша! Четвертый час. Мне не жалко, сиди. Но Ириша волнуется, не знает ведь... Когда же вам телефон поставят?..— вздохнула бабушка.

«Куда?» — подумал Евгений Викторович, машинально берясь за ручку чайника.

Он выпил чаю, отказавшись от обеда, обнял матушку, поцеловал племянников и сестру и, надев плащ (уже не липкий, выстиранный и выглаженный), вышел из дома. Проверил в кармане ключи и мелочь — все было на месте.

Люба высунулась в форточку, крикнула вслед:

— Звони мне на работу!

Демилле помахал ей рукою и пошел прочь от дома. Не знал Евгений Викторович, что к этому часу он был

уже официально не только блудным сыном, но и блудным мужем, если можно так выразиться.

— Блудным мужем? Это что-то новенькое!

— Да, милорд, это не совсем то же, что муж гулящий. Гулящим Демилле был несколько лет, и не без приятности, если не считать уколов совести. Но погулял, погулял — и вернулся. Всегда было, куда вернуться, как говорила Ирина. И вдруг... возвращаться некуда, он основательно заблудился.

— Потому и стал «блудным мужем»?

— Не только поэтому.

К сожалению, этот факт был уже прочно зафиксирован в одном из милицейских протоколов, поступивших в Управление, после того как сотрудники провели беседы с кооператорами и переписали наличное население дома.

Евгения Викторовича, сами понимаете, в наличии не оказалось. Тогда прямо спросили Ирину, проживает ли с нею муж, Евгений Викторович Демилле, прописанный по этому адресу. Ирина ответила отрицательно. Милиция поверила словам грустной женщины, что муж оставил ее с ребенком, скрылся в неизвестном направлении и она, честно говоря, не хотела бы, чтобы он вернулся. Эти слова Ирины и сыграли роковую роль в дальнейшей судьбе Демилле.

Дело в том, что он был просто-напросто вычеркнут из списка действительных жильцов дома со всеми вытекающими отсюда последствиями. Органам охраны общественного порядка не было никакого дела до внутренних неурядиц в семье Демилле, до частых отлучек Евгения Викторовича, до слез Ирины, до того, наконец, решающего факта, что в ночь вознесения дома Ирина при свече перечитывала письма мужа и, обжигая пальцы, уничтожала их в пламени, посылая тем самым прощальный привет супругу, наблюдавшему за желтым прямоугольничком в небе с невских берегов. Именно в тот момент и замаячило в душе Ирины решение, которое привело к тому, что утром в ответ на прямой вопрос милиции о муже она ответила: «Не проживает». Про себя же подумала так: «Найдет, может быть, и пущу. Не найдет — туда ему и дорога».

Обреченный на эту долгую дорогу, Евгений Викторович начал ее с того, что позвонил приятелю-художнику, в мастерской которого принимал электронно-вычислительную девицу (истратил две копейки), поехал к нему

домой на трамвае (истратил еще три копейки) и отдал ключ без всяких объяснений. После чего попросил взаймы десятку. Десятка была дана. Евгений Викторович засунул ее за обложку записной книжки по соседству с клочком «Фигаро» и несколько приободрился.

Поразмыслив, он решил сначала удостовериться, что ночное происшествие не привиделось ему, а также в том, что за это время не произошло новых происшествий. После этого Демилле задумал идти в отделение милиции. А что делать?

Откровенно говоря, в милицию не очень хотелось. У Демилле было предчувствие, что ничего он там не добьется. У нас при столкновении с государственными учреждениями почти всегда есть такое предчувствие, иной раз, к счастью, обманчивое.

Минут через пятьдесят Евгений Викторович был на проспекте Благодарности, вышел из трамвая и двинулся к улице Кооперации тем же путем, что вчера на такси. Не доходя метров трехсот, понял: ничего нового не произошло, пейзаж по сравнению с нынешней ночью не изменился, по сравнению же со вчерашним утром — изменился невыносимо.

Впрочем, кое-что новенькое было. Фундамент пропавшего дома был обнесен глухим деревянным забором с единственной дверью, на которой висел амбарный замок. У двери прогуливался постовой милиционер. Реакция немногочисленных прохожих на пропавший дом была на удивление безразличной. Это неприятно покоробило Евгения Викторовича, показалось даже обидным.

Демилле не стал тревожить постового, а направился в отделение милиции, находившееся в трех кварталах от улицы Кооперации. Там за перегородкой сидел дежурный. В стороне, тоже за барьером, сидела компания из трех помятых мужчин и раскрашенной девицы с сигаретой. Демилле подошел к дежурному и, робко кашлянув, сказал:

— Простите, я по поводу дома...

— Какого дома? — поднял глаза дежурный.

— Номер одиннадцать по улице Кооперации.

По тому, как дрогнули брови у дежурного, да еще по хриплому смешку раскрашенной девицы, Демилле понял, что здесь осведомлены о доме.

— Замолчи, Миляева! — прикрикнул на девицу дежурный.

— Сам заткнись! — парировала она и почти ласково обратилась к Демилле: — Опоздал, братишка. Нету его. И нас замели, начали по району горячку пороть...

Она презрительно затянулась.

— Прекрати курить! — приказал дежурный, но с места не сдвинулся.— А зачем вам? Вы кто будете? — спросил он у Демилле.

— Я живу в этом доме,— ответил тот неуверенно.

— Паспорт,— коротко потребовал дежурный.

— Нету... Остался дома.

— Фамилия, имя, отчество,— так же коротко потребовал милиционер.

Демилле назвал требуемое, дежурный записал и вышел в другое помещение, плотно притворив за собой дверь.

— Вы... ты не знаешь, куда он делся? — стараясь быть развязным, обратился Демилле к девице.

— Почем я знаю! Да мне на этот вшивый дом тысячу раз плевать! Меня-то за что?! Я там не жила и не живу! Во, жлобы!

Алкоголики солидарно закивали.

Дежурный в это время, как вы догадываетесь, связывался с городским Управлением и передавал туда для справки фамилию Демилле.

К этому моменту, то есть спустя примерно четырнадцать часов после события, были не только приняты меры по успокоению жильцов и сбору сведений о перелете, но и начал проводиться в жизнь определенный план по предотвращению нежелательных слухов, могущих распространиться по городу. План этот включал несколько основных пунктов.

1. Обнаруженные в доме и прописанные жильцы были зарегистрированы, и им было настоятельно предложено не упоминать о перемещении дома в разговорах со знакомыми, родственниками, сослуживцами и проч.

2. Прописанные, но отсутствующие по уважительной причине жильцы были также зарегистрированы. Им было немедленно и конфиденциально сообщено о случившемся по соответствующим каналам с тем же предупреждением о неразглашении, а также дан новый адрес дома, дабы они могли вернуться туда из командировки (отпуска, больницы, дежурства и т. п.).

3. Непрописанные лица, обнаруженные в доме, заре-

гистрированы не были, однако им тоже было предложено держать язык за зубами.

4. Жителям окружающих домов по обеим улицам — Кооперации и Безымянной — было разъяснено то же самое.

5. Новое местонахождение дома было объявлено секретным для посторонних, то есть всех, кто не попал в первые четыре пункта. Любопытствующим соседям по улице Кооперации сообщали версию о срочном аварийном выселении и сносе дома № 11 в связи с обнаруженным подземным плывуном.

Как видим, налицо была возможная изоляция источников информации для предотвращения нежелательных слухов.

Жильцам нашего дома посоветовали, правда, уже не так настойчиво, не посещать группами и поодиночке улицу Кооперации.

— А что они там забыли?

— Любопытство, знаете... Вы бы разве не съездили посмотреть?

— Хм... Пожалуй. Но почему нельзя?

— Можно, но не рекомендуется...

...А поскольку Евгений Викторович по милости жены был единственным прописанным и притом незарегистрированным жильцом, то на него распространялся п. 5. Об этом и передали из Управления дежурному, не обнаружив Демилле в списках.

Дежурный вернулся на свое место и сообщил Евгению Викторовичу, что он в доме № 11 не проживает.

— Конечно, не проживаю! — воскликнул наш герой.— Его ведь нету.

— Вы там и не проживали. Жена заявила,— парировал дежурный.

— Как?! — у Евгения Викторовича было чувство, будто его ножом ударили в спину.

— А вот так.

— Но где он? Где дом? — сразу сникнув, спросил Демилле.

Милиционер устало изложил заведомую ложь: дом снесли, жителей эвакуировали, аварийная ситуация, никто не пострадал, место расчистили, плывун...

— Но где же они, жители? Где моя жена, сын? — в отчаянии вскричал Демилле, чуть не со слезами на глазах.

— Не могу знать.

— А кто может?

Дежурный молча указал большим пальцем правой руки в потолок. Демилле, круто повернувшись на каблуках, выбежал из помещения. Он понял, что дальнейший разговор бессмыслен.

Ошеломленный случившимся, он снова, в какой-то странной надежде, отправился к родному фундаменту. «Наврали! Про жену наврали!» — твердил он про себя. Демилле попытался представить себе молниеносную эвакуацию дома — Егорка плакал, наверное,— Евгений Викторович был доверчив, поверил в этот мифический плывун, рисовавшийся в его воображении этакой подземной медузой, плывущей в глубинах земли. Нет, нонсенс!.. Но куда же переселили? За какое время можно убрать с земли девятиэтажный дом? Ведь надо сначала сломать? Чем?.. Чепуха! Плывун — чепуха!

Но если бы с Ириной и Егором что-нибудь случилось, неужели в милиции не сочли бы возможным сообщить ему? Значит, живы...

Евгений Викторович добрался до глухого забора, вдоль которого все так же совершал прогулки постовой, и, стараясь не обратить на себя внимание, обошел огороженный фундамент. Как вдруг он узрел вышагивающую ему навстречу сплоченную пару — старика и старуху — оба были в голубых одинаковых плащах — шли они маршеобразно. Демилле узнал их тут же, ибо эта военизированная походка была известна всему микрорайону.

Это были Светики, Светозар Петрович и Светозара Петровна Ментихины, направлявшиеся домой после закрытия «Универсама».

Утром они, дав подписку о неразглашении и выслушав совет не появляться на улице Кооперации, все же сочли свои долгом поехать в контролируемый ими «Универсам», чтобы провести прощальную проверку и предупредить дирекцию, что они слагают... Они потрудились до закрытия, составив ряд актов на похищение майонеза и сардин атлантических в масле, а теперь возвращались на Безымянную — и все же не удержались, решили пройти мимо места, где еще давеча жили. Как бы не специально, а по пути.

Светики были на редкость дисциплинированны.

Евгений Викторович, размахивая руками, устремился к Ментихиным. В другое время он, по всей вероятности, перешел бы на другую сторону, чтобы

лишний раз не поздороваться со старичками, которых недолюбливал именно за их дисциплинированность,— здоровался лишь в лифте, когда деваться некуда. Но сейчас он бросился к ним, как к родным. Примерно так бросаются друг к другу наши соотечественники где-нибудь в Новой Зеландии после годичного отсутствия на Родине.

Завидев Демилле, Ментихины разом остановились.

— Светозар Петрович! Светозара Петровна! — лепетал Демилле на бегу, изображая радостную улыбку.

Светики вели себя по-английски, милорд. Кажется, у вас есть выражение «держать жесткой верхнюю губу», то есть ничем не выдавать своего волнения?

— Да, это признак истинных джентльменов и леди.

— Так я должен вам сказать, что у Светиков осталась жесткой не только верхняя губа, но и нижняя, а также щеки, брови, нос — короче, вся физиономия. Глаза были непроницаемы.

Светики испугались, что сосед, увидевший их в запретном месте, может донести (у них с юности было такое мышление), и на всякий случай приняли неприступный вид. Конечно, они знать не знали о том, что Демилле чуть ли не сутки находится в блудном состоянии.

— Какая встреча! — фальшиво воскликнул Евгений Викторович, добежав наконец до Светиков и неловко дернув рукой, будто хотел обменяться рукопожатием. Все четыре руки Ментихиных не выразили ни малейшего на это желания.

— Прогуливаетесь? — заискивающе спросил Демилле.

Светики молчали.

— А я вот тоже... Ну, и где вы теперь? — совсем ослабевшим голосом продолжал Евгений Викторович и поспешно поправился, задав вопрос, испортивший все дело:

— Куда вас... эвакуировали?

— Я не понимаю,— тихо сказала Светозара Петровна, не глядя на бывшего соседа.

— Ну как же! — несколько осмелел Демилле.— Вас же переселили? Куда, хотелось бы знать? Нас, например, в Смольнинский район с семьей,— соврал он.

Ментихины мигом сообразили, что Демилле не в курсе. Почему он не в курсе — его личное дело, но вводить его в этот курс Светики отнюдь не собирались.

— Извините, мы вас не понимаем. Вы, вероятно, нас с кем-то путаете,— ледяным тоном произнесла Светозара Петровна.

— Как это путаю? Вы мои соседи! Я ваш сосед!.. Светозара Петровна, господь с вами!

— Я не Светозара Петровна,— сказала старуха.

— А я не Светозар Петрович,— добавил старик.

Они разом возобновили движение с левой ноги и прошли мимо Демилле, точно мимо столба, не повернув головы. Евгений Викторович ошеломленно смотрел в их голубые, без единой складочки спины.

— Я Демилле! — крикнул он в отчаянии.

Ответа он не получил. Светики удалялись равномерно и прямолинейно, как электричка от перрона. Через несколько минут их голубые плащи слились в одно пятно, которое растаяло в сумерках. Евгений Викторович беспомощно провожал их глазами.

Тут Демилле немного тронулся. Удивительно, но исчезновение дома не привело его в такое идиотическое состояние, как исчезновение Светиков. Евгений Викторович глупо рассмеялся, потом нервно захохотал и, продолжая хохотать, перелез через низкую ограду детского садика, а там неожиданно для себя забрался в ту самую бетонную трубу, откуда ночью наблюдал за милиционерами. Стоя в трубе, он всхлипывал, согнувшись, утирал рукавом плаща слезы и повторял: «Я — не Демилле! Я — не Демилле! Я — не Демилле!..».

Глава 9.

ЖЕРТВА ТЕЛЕКИНЕЗА

Кооператор Завадовский провел ночь в удобном помещении, где стояла заправленная койка, на спинке которой висело вафельное белоснежное полотенце... тумбочка... графин... Туалет и умывальник. На камеру предварительного заключения комната походила лишь тем, что запиралась снаружи.

Завадовский с Чапкой зашли в эту неожиданную гостиницу и расположились на ночлег. Валентин Борисович залез под тонкое солдатское одеяло в пододеяльнике, Чапку пристроил рядом с собой, не переставая ее поглаживать. «Видишь, Чапа, не бросили в беде, помогли...» — убеждал собачку кооператор, уговаривая больше себя, чем фоксика.

И вот, пока метался по ночному городу Демилле, пока милиция окружала прилетевший на Безымянную дом и проводила утреннюю операцию, Завадовский спал. Разбудил его капитан милиции, который зашел в комнату с незнакомым молодым человеком в штатском.

Завадовский протер глаза и спрятал Чапку под одеялом.

Пришедшие вежливо поздоровались, осведомились о сне, предупредительно кивали. Внесли чай с булочками, не забыли и Чапку, которой принесли на тарелке мокрую, с остатками мяса и застывшего жира кость, будто только что вынутую из холодного супа. Чапка с урчанием вцепилась в нее.

Молодой человек в штатском представился. Назвался он Тимофеевым Робертом Павловичем, старшим научным сотрудником. Кого или чего сотрудником — не сказал.

Выпили чаю втроем в принужденных разговорах о Чапе, затем Тимофеев с капитаном встали и мягко попросили Завадовского следовать за ними.

— На допрос? — с робким вызовом спросил кооператор, но тут же испугался своего микробунта и пожаловался: — Я же в одной пижаме, товарищи. Неудобно!

— Все в порядке, Валентин Борисович,— дружески обнял его за плечи Тимофеев и увлек в коридор. Чапка, виляя хвостиком, последовала за ними. Капитан поймал ее и взял на руки.

— Валентин Борисович, собачку мы пока пристроим.

— Это не трудно? — обеспокоился Завадовский.

Капитан лишь улыбнулся, давая понять, что здесь ничего не трудно. После чего удалился с Чапой по коридору.

Тимофеев провел кооператора в другую комнату со множеством шкафов, открыл один из них и вынул оттуда серый костюм на плечиках и плащ-болонью. Из ящика в другом отделении шкафа он извлек новенькую сорочку, запечатанную в хрустящий прозрачный конверт. Явились и полуботинки — тоже новенькие, чешские, в коробке.

Тимофеев закурил, лениво наблюдая, как Завадовский одевается и прячет пижаму в коробку из-под туфель, против воли бормоча слова благодарности.

Через минуту он предстал перед научным сотрудни-

ком в полном блеске, как диссертант перед защитой. Немного волновался.

Далее преображенного кооператора вывели из Управления, выписав специальную бумажку на выход, и повезли в черной «Волге» по городу. Ехали минут двадцать и остановились у большого здания где-то в районе Политехнического института.

Тимофеев проводил Завадовского в вестибюль через стеклянные двери, рядом с которыми не было никакой вывески. Последовал разговор Тимофеева по внутреннему телефону, выписка пропуска, проход через турникет, лифт, коридор, еще коридор... Попадались сотрудники в штатском и белых халатах, очень немногочисленные. Завадовский понял, что не тюрьма,— ему стало интересно. Наконец они вошли в большую комнату с табличкой на двери «Лаборатория № 40».

Вдоль стен стояли письменные столы, а посреди комнаты располагался деревянный куб с полированной верхней гранью — довольно внушительный. В углу комнаты Завадовский заметил сооружение на треноге, по виду киноаппарат. Объектив его был нацелен на куб.

В комнате находились двое — мужчина и женщина. Мужчина был лет под шестьдесят, в черном костюме, толстый, лысоватый, с большим мясистым носом и маленькими глазками. Костюм на нем лоснился и в точности повторял формы тела, а вернее, его выпуклости.

Женщина была молода, в крахмальном белом халате.

Толстяк бросился к вошедшим и пожал руки сначала Тимофееву, потом Завадовскому, взглядывая на Валентина Борисовича с предвкушением счастья.

— Академик Свиркин Модест Модестович,— представил толстяка Тимофеев.

— Свиркин, Свиркин! — возбужденно закивал академик, улыбаясь.

Женщину звали просто Зиночка. Она, по всей видимости, была лаборанткой.

— Ну-с, начнем? — проговорил Свиркин, в нетерпении шевеля толстыми короткими пальцами.

— Модест Модестович, я еще не рассказывал Валентину Борисовичу о смысле предстоящей работы,— сказал Тимофеев.

— И прекрасно! Лучше быть не может! А вот мы сразу и проверим, без всякого смысла! — вскричал академик и, отбежав к стенке, уселся на стул.

— Зиночка, давайте первый тест,— сказал он.

Лаборантка достала из кармана халата обыкновенный спичечный коробок, подошла к кубу и положила коробок с краю, у самого ребра, в его середине. Затем она грациозно повернулась и отошла.

Тимофеев направился к киноаппарату и нажал на кнопку. Камера глухо застрекотала.

Завадовский ничего не понимал. Он чувствовал себя подопытным кроликом — да, пожалуй, и был им.

— Валентин Борисович,— задушевно проговорил академик, лаская взглядом кооператора,— мы вас сейчас попросим сосредоточиться на этом коробке,— он сделал жест ладонью по направлению к мирно лежащему коробку,— и представить себе, что он... как бы это выразиться?... ползет! Да-да, ползет по поверхности!

— Куда? — испуганно спросил кооператор.

— Куда угодно! — рассмеялся Свиркин.— Скажем, слева направо.

Завадовский робко уставился на коробок и, собрав разбегавшиеся в стороны мысли, попытался честно представить предложенную ситуацию.

Зачем? Почему? Что за ерунда?.. Где Клара? Где дом?

Коробок вдруг дернулся с легким шорохом, вызванным находящимися в нем спичками, и послушно, как овечка, пополз к противоположному ребру куба. Доехав до него под ровное стрекотание камеры и напряженное молчание экспериментаторов, коробок, естественно, свалился на пол.

Завадовский почувствовал, что мельчайшие капельки пота выступили у него по всему телу. Капельки были холодные и острые, как канцелярские кнопки. Может быть, это были мурашки.

— Браво! — воскликнул Свиркин, выйдя из оцепенения.— Зиночка, дубль номер два!

Зиночка схватила кинематографическую хлопушку, что-то написала на ней мелом, хлопнула перед объективом камеры, затем подняла коробок и водворила его на прежнее место. Все это она проделала с профессиональным хладнокровием и артистизмом.

— Снова! — потребовал академик.

— Что снова? — прошептал несчастный кооператор.

— Двигайте снова!

В трусливом мозгу кооператора вспыхнула искра

протеста. Он уставился на ненавистный коробок, отчего тот подпрыгнул и рыбкой скользнул по полировке куба к противоположному краю. По инерции коробок пролетел еще метра два и с треском упал.

— Бис! Браво! — закричал академик аплодируя. Он был возбужден, как дитя в цирке. Тимофеев, стоявший у аппарата, побледнел. Лишь Зиночка была индифферентна. По всему видать, ей эти опыты уже осточертели.

— Зинуля, тест номер два!

Лаборантка положила коробок в центр полированной грани и снова проделала процедуру с хлопушкой.

— А теперь,— заговорщически обратился Свиркин к кооператору,— я прошу вас, любезнейший Валентин Борисович, мысленно приподнять этот коробочек...— Свиркин на сей раз указал на него отставленным мизинцем.— Пускай он немного... э-э... полетает. Ну-ка!

Завадовский был человеком тертым, но покорным. Его тертость подсказывала ему, что ни в коем случае не следует идти на поводу у этого толстяка-академика, нужно хитрить и изворачиваться, потому как неизвестно, что может получиться из этой странной способности, обнаружившейся вдруг у него. Но страх, но покорность... Завадовский съежился и пронзил коробок взглядом. «Лети, сволочь!» — мысленно выругался он.

Коробок взвился в воздух, как пробка от шампанского. Со свистом он достиг потолка, ударился об него и раскололся. На пол посыпались спички.

Академик пришел в восторг. Он качался на стуле, всплескивал руками и заливался совершенно счастливым хохотом. Вдруг он перестал смеяться, вытер слезы носовым платком и погрозил Завадовскому пальцем.

— Вы опасный человек, любезнейший!..

Вот! Вот оно! Опасный человек!.. Завадовский струхнул еще больше.

Лаборантка с достоинством принялась подбирать с пола спички, но академик остановил ее.

— После, после! Давайте измеритель динамического усилия. Роберт Павлович, помогите... А вы присядьте, Валентин Борисович.

Завадовский опустился на придвинутый к нему стул, с ужасом наблюдая, как лаборантка и старший научный сотрудник укрепляют на кубе непонятное сооружение, состоящее из станины, на которой находилась железная тележка на колесиках... рельсы... пружины... указатель

с делениями, как у весов... «Зачем это?» — опасливо подумал кооператор.

— Все по местам! — скомандовал Свиркин, когда сооружение было установлено.— Видите тележку? — обратился он к Завадовскому.— Двигайте ее по рельсам к себе! Сосредоточьтесь! Максимум напряжения! Тяните изо всех сил!.. Да не руками! Мыслью! Мыслью!..

Завадовский зажмурился и, скривившись, как от клюквы, принялся мысленно тянуть треклятую тележку. Он услышал скрип и открыл глаза. Тележка рвалась со станины, натягивая железную пружину. Казалось, вот-вот она сорвется и, как снаряд, улетит в стену. Академик и Тимофеев, подскочив к указателю, впились глазами в стрелку, которая медленно двигалась к красной черте. Завадовский жалобно всхлипнул и закрыл лицо руками.

Раздался звонкий удар. Оттянутая пружиной тележка водворилась на прежнее место, едва не разломав сооружение.

— Двести десять килограммов! — вскричал академик.— Мировой рекорд! Колоссально! Просто колоссально!

Он подбежал к Завадовскому, отнял его руки от лица и расцеловал кооператора. Не переставая покрикивать: «Мировой рекорд!» — академик, приплясывая, пустился по комнате, радуясь так, будто он сам, а не Завадовский, установил мировой рекорд.

— Да вы понимаете, что произошло?! — вдруг накинулся он на лаборантку, которая по-прежнему была безучастна.

— Понимаю, Модест Модестович. Не дура,— надменно произнесла Зиночка.

— А-а! — махнул на нее рукой Свиркин.— Силища! Какая силища! — крикнул он Тимофееву, возившемуся с кинокамерой.

И тут Валентин Борисович горько заплакал. Рыдания сотрясали его худое тело. Кооператор согнулся на стуле и уткнулся лицом в ладони, выплакивая новое свалившееся на него несчастье, ибо понял, что настал конец его беззаботной пенсионной жизни. Валентин Борисович не догадывался о научном значении опыта, далеки от него были и физические причины явления, но главное он понял четко: он, Валентин Борисович Завадовский, больше не принадлежит себе, ибо черт его дернул установить мировой рекорд в черт знает каком виде спорта. Старая цирковая память услужливо подсу-

нула ему холодящую кровь барабанную дробь перед рекордным трюком, тишину — и взрыв литавр и аплодисментов. Завадовский никогда в жизни — один или совместно с Кларой — не был обладателем рекордного трюка. Зачем же он ему теперь?.. Кооператор плакал, как ребенок.

Конечно, к Валентину Борисовичу бросились экспериментаторы: «Переутомился!.. Нервное напряжение!..» — сняли со стула, сунули в рот какую-то таблетку... бережно обняв, вывели из лаборатории. Завадовский плохо помнил, куда его повели, и обнаружил себя уже в медпункте, на жесткой лежанке с клеенчатой подстилкой под туфлями...

— Может быть, вы все же объясните — что это значит? Что произошло с Завадовским?

— Очень просто, милорд! Перелетом дома в ту же ночь заинтересовалась наука, да так сильно, что лаборатория номер сорок одного закрытого НИИ во главе с академиком Свиркиным была вынуждена проводить эксперименты в субботний, нерабочий день.

— Но при чем здесь Завадовский?

— А вот при чем...

Как вы уже знаете, Завадовский был единственным свидетелем происшествия, известным органам милиции. И это сразу же дало повод рассматривать его в качестве подозреваемого...

— Но не могли же они предположить, что этот щупленький кооператор поднял в воздух девятиэтажный дом!

— А телекинез, милорд?

Единственной разумной гипотезой относительно причин вознесения дома мог быть только телекинез. Телекинез, мистер Стерн, это способность приводить в движение материальные тела посредством мысли, духовного усилия, не входя в контакт с телом. Гипотеза родилась в городском Управлении, ее подтвердил и разбуженный срочным ночным звонком академик Свиркин.

Виновника перелета дома следовало искать снаружи. В самом деле, если бы кто-нибудь из жильцов дома вознамерился отправиться в воздушное путешествие, не выходя из квартиры, то это был бы не телекинез, а левитация. Скорее всего, такой субъект взлетел бы к потолку и принялся, упираясь в него, отрывать дом от фундамента. Малоправдоподобно! Даже если бы у него нашлись силы, он просто проломил бы перекрытие.

Телекинез представлялся более разумным. Но кто мог его осуществить? И тут подозрение пало на Завадовского.

В самом деле, посторонний прохожий вряд ли просто так, из баловства, мог решиться на подобную акцию. Это мог сделать свой кооператор, какой-нибудь нервный вспыльчивый человек, обиженный судьбою и женой, который в состоянии аффекта мог, выбежав из подъезда, послать всех к чертям собачьим.

Улики против Завадовского были такие:

а) невообразимо поздний час выгула собачки (кто же выгуливает собак в три часа ночи?);

б) Завадовский был единственным из кооператоров, находившимся в тот момент вне дома, но рядом с ним (о Демилле не знали);

в) Клара Семеновна (сразу же проверили, что она собою представляет, а проверивши, пришли к заключению, что на месте Завадовского каждый разумный человек поступил бы точно так же).

В пользу кооператора говорило следующее:

а) сам позвонил (впрочем, это могла быть уловка для прикрытия);

б) одет кое-как (то же самое);

в) никогда не обнаруживал способностей к телекинезу (а вот это надо проверить!).

Как мы видели, милорд, проверка дала ошеломляющие результаты. Реакция на телекинез, если можно так выразиться, была положительной! Завадовский сразу же, несмотря на плохую физическую форму после ужасной ночи, шутя побил мировой рекорд динамического усилия, принадлежавший какому-то индусу и равнявшийся — смешно сказать! — весу трех бананов, которые йог сумел придвинуть к себе, причем будучи в голодном состоянии.

Разумеется, до девятиэтажного дома было далеко, но как знать! В определенных условиях спровоцированный Кларой Семеновной кооператор мог превзойти самого себя и швырнуть в воздух многотонную постройку...

Вслед за экспериментом последовало медицинское обследование Завадовского в медпункте НИИ, и Валентин Борисович попал в гостиницу — не ту, в которой провел нынешнюю ночь, а в настоящую, ведомственную, закрытого типа. Сопровождал кооператора на всем пути Тимофеев.

В одноместном номере Валентин Борисович, к своему удивлению, обнаружил не только предметы туалета, оставленные в Управлении, но и свои вещи из гардероба, улетевшие вместе с домом: костюмы, рубашки, галстуки, свитер, махровый халат и домашние тапки. На стене висела большая фотография, украшавшая прежде комнату Чапки: Валентин Борисович и Клара Семеновна выезжают молодыми на арену в седлах своих одноколесных велосипедов — на Кларе открытый костюм с блестками, страусовые перья. Валентин Борисович чуть не заплакал...

Чапка тоже находилась в номере, спала, как ни в чем не бывало, устроившись в мягком кресле. Телевизор, холодильник, телефон... на столике лежали документы Завадовского.

— Я буду здесь жить? — покорно догадался кооператор.— А где же Клара? Где они... все?

Завадовский имел в виду своих соседей, жильцов, кооператоров. Похвально, что он о них вспомнил!

— Не волнуйтесь, Валентин Борисович,— успокоил его Тимофеев.— Вы же понимаете, что такое... не часто случается. Требуется время, чтобы разобраться, все выяснить...

— Но откуда это... и фото...— бормотал Завадовский.

— Все живы, катастрофы не произошло. Супруга передает вам привет,— сказал Тимофеев, внимательно наблюдая за лицом Валентина Борисовича.

Вскоре пришли полковник с капитаном. Тимофеев не отлучался ни на секунду. Вчетвером сели за столик, появилась бутылка коньяка, сыр, колбаса, копченая рыба. Короче говоря, обстановка никак не напоминала допрос, а скорее — дружескую беседу. Капитан лишь время от времени склонялся к открытому портфелю, чтобы сменить кассету портативного магнитофона.

— Значит, обнаружили наклонности?...— добродушно спросил полковник, осушив первый тост за Валентина Борисовича.

— Какие? — испуганно встрепенулся Завадовский.

— Ну, к этому... к телекинезу,— пояснил полковник.

— Как... те... что? — еще больше испугался кооператор.

Надо сказать, что Завадовский в жизни не слыхал этого слова. Все его представления о паранауках огра-

ничивались фокусами Кио, имеющими, как известно, сугубо материалистическую основу.

— Любопытно было бы взглянуть...— продолжал полковник, посасывая осетрину холодного копчения.

— Федор Иванович, пленка в проявке,— быстро доложил Тимофеев.

— То кино! — отмахнулся Федор Иванович.— А здесь в натуре.

Капитан достал из портфеля сигареты и, распечатав пачку, положил ее на стол. Федор Иванович указал на пачку:

— Валентин Борисович, не в службу, а в дружбу — подтолкните ко мне... Усилием воли, если не трудно.

«Опять!» — подумал Завадовский и осторожно, легким толчком мысли придвинул пачку к полковнику. Тот захохотал, как нынче академик. Вытянул сигарету из пачки, сунул в рот и вдруг хитро подмигнул:

— А зажечь без спичек можете?

Завадовский прикрыл глаза, стараясь представить себе горящую сигарету во рту полковника. Когда он открыл глаза, Федор Иванович уже затягивался.

Тимофеев чуть в обморок не упал.

— Нет, это не телекинез,— пробормотал он.— Это хуже...

Но дальше беседа, слава богу, уклонилась от телекинеза и других непонятных штучек, свернув в житейское русло. Полковник с участием расспрашивал Валентина Борисовича о бывшей работе, об условиях вступления в кооператив: сколько выплатили? кто ответственный пайщик? Интересовался здоровьем Клары Семеновны и сколько лет они состоят в браке...

Завадовский отвечал коротко и обдуманно, но всегда чистую правду. Вскоре он слегка разомлел от коньяка, и собеседники представились ему сочувствующими, заинтересованными, почти родными людьми. Завадовский разоткровенничался.

В его рассказе мелькнули нотки обиды на Клару, воспоминания о Соне Лихаревой и ее собачках, одна из которых, кстати, наличествовала в виде Чапки; вспомнил кооператор и о стрижке пуделей, после которой шерсть неделю летает по квартире, попадает в суп, в глаза, в нос... Разве это жизнь?

— М-да...— протянул полковник.— Ваше здоровье!

Капитан перевернул кассету едва уловимым движением пальцев.

— И вы считаете, что этого достаточно, чтобы вот так, очертя голову, не посоветовавшись, решать свои проблемы? — твердым голосом, мгновенно протрезвев, спросил вдруг Федор Иванович.

— Что? О чем вы говорите? — вздрогнул Завадовский.

— Рассказывайте, Завадовский, как вы подняли в воздух ваш дом? С какой целью? Куда хотели направить? — резко произнес полковник.

— Я... господь с ва... ку...— Завадовский хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок.

Видя замешательство подследственного, полковник сделал знак рукой. Капитан поднялся, вышел из номера и через несколько секунд вернулся.

Он вернулся не один. Вместе с ним в номер вошла Клара Семеновна Завадовская. Она была громадна и величественна в своем панбархатном платье с затейливой золотой брошью, в лакированных туфлях.

— Завадовский,— с нежной угрозой произнесла Клара.— Зачем ты это сделал? Тридцать лет... Разве я заслужила?.. Сделай все, как было, Валентин! Я требую!

Валентин Борисович сполз со стула и на заплетающихся ногах бросился к своей могучей супруге. Он обхватил ее за бока, прильнул лицом к груди, зарываясь в пышные складки панбархата, как страус головою в песок... тело его сотрясалось.

— Клара, Клара,— всхлипывал несчастный кооператор.

Чапка с радостным лаем бегала вокруг хозяев.

Глава 10.

НИТОЧКА РВЕТСЯ

Во время разговора матери с милиционером Егор сидел в кухне, не шелохнувшись, и испуганно прислушивался к словам: «Прописаны... а еще кто?.. Евгений Викторович?.. Нет, не проживает... Где? Понятия не имею! Меня это не интересует!» Последнюю фразу мать произнесла в запальчивости, со слезой, и Егорке сделалось совсем худо. Он почувствовал, что произошло нечто более страшное, чем старик за окном и новая обстановка рядом с домом, и вода, и газ... Он схватил

ложечку и начал поспешно есть сгущенное молоко из открытой банки. Будто подслащивал беду.

Мать проводила милиционера и пришла в кухню.

— Испугался, сынок? Ничего! Все бывает. Ты же мужчина у меня,— проговорила Ирина, гладя сына по голове.— Ты посиди здесь, я сейчас.

— Куда ты? — спросил Егорка.

— Я на одну минутку.

Ирина Михайловна поспешила в Егоркину комнату. Окно старика Николаи было прикрыто. И слава богу! Не до него. Ирина закрыла свое окно, мельком взглянув внутрь комнаты старого генерала, потом быстро привела в порядок постель сына. Вдруг представила мужа ночью... Будто со стороны увидела картину: «у разбитого корыта». Так ему и надо! Пусть подергается. А что ему сделается? Вечером явится, как-нибудь узнает. Будет опять виновато вздыхать, маяться...

Она, как это не раз уже бывало в последние годы, заглушила раздражением подкрадывавшуюся жалость и перевела мысли на другое. Как быть с Егором? Возить его в садик на улицу Кооперации далеко. А здесь как? Но скажут ведь, помогут... Не должны бросить в беде.

Имелся и маленький плюс в этом перемещении: на работу теперь ездить не надо. Ирина Михайловна служила в канцелярии военного училища, расположенного неподалеку от Тучкова, то есть там, где стоял теперь дом, если верить генералу Николаи. Высшего образования Ирина в свое время не получила, ушла из финансово-экономического, с третьего курса... «Все из-за него!» — мелькнуло в мыслях.

Накинув плащ и платок, Ирина выскочила на лестничную площадку, где тут же столкнулась с Саррой Моисеевной.

— У вас тоже? — обратилась к ней старуха.

— Что?

— Нет воды, нет газа, нет света...— скорбно перечислила та.

— Естественно,— пожала плечами Ирина и проскользнула мимо, слыша, как Сарра Моисеевна горестно и недоуменно бормочет вслед: «У всех одно и то же! Одно и то же!»

Милиции на этажах поубавилось. Остались лишь дежурные на лестничных площадках — вежливые лей-

тенанты, пытавшиеся по мере сил погасить беспокойство несчастных кооператоров.

Жильцы потерянно слонялись по лестнице, собирались группками, обменивались мнениями. Паники уже не было, ее сменило уныние.

Ирине удалось узнать, что инженерные службы уже тянут к потерянному дому времянки электрических кабелей, водопровода и газа. Вопрос с канализацией пока оставался открытым.

— Как в блокаду! — весело приветствовал Ирину Светозар Петрович, бодро поднимавшийся к себе на этаж с чайником, наполненным водой.

— Где вы воду брали? — спросила она.

— В соседнем доме.

Ирина вдруг подумала, что давно не видела в своем доме такого единения людей, участия и предупредительности. Раньше едва здоровались в лифте, а сегодня прямо как родные...

Она спустилась до четвертого этажа, где какой-то маленький и уверенный кооператор разъяснял собравшимся вокруг него женщинам:

— Если кто в отъезде, встретят и дадут новый адрес. Родственникам и знакомым пока не сообщат. До особого распоряжения. И нам нужно молчать.

— Как же? — недоуменно спросила одна из слушательниц.— У меня бабка в понедельник должна прийти, дочка больная, а мне на работу...

— Все будет сделано,— успокоил ее маленький.— Нуждающимся вызовут из «Невских зорь», устроят в садик. Но посторонние знать не должны, это дело государственное!

Женщины притихли, понимая, что государственное дело — это вам не хухры-мухры.

— А скажите,— начала другая,— у меня сестра должна завтра приехать. Я телеграмму получила.

— Я же сказал: доступ в дом получают только прописанные и зарегистрированные при обходе. Остальным наш адрес знать ни к чему. А про сестру нужно заявить. Ее встретят, разъяснят.

Ирина пошла наверх, по пути соображая: муж прописан, но, по всей видимости, не зарегистрирован. Она же сама его не зарегистрировала! Значит, ему не сообщат, где они. Ирину обуяло сомнение, но лишь на секунду: «Пускай! Так ему и надо! Егорка все равно его неделями не видит, а уж я... Перебьемся!»

Мимо Ирины вниз проследовали два милиционера, сопровождавшие элегантного встревоженного человека лет сорока.

— Неужели и жене сообщите? — вдруг обратился он к милицейскому лейтенанту, останавливаясь.

— Вам, гражданин Зеленцов, не о жене надо думать,— спокойно отвечал лейтенант.— Вы важные бумаги выкинули на улицу. Жена простит, а начальство...

Мужчина кинул голову на грудь и пошел дальше.

«Жена простит... А вот как не простит!» — мстительно подумала Ирина.

Она вернулась домой, снова приласкала Егорку.

— Одевайся, сынок. Пойдем гулять. Я все узнала. Ничего страшного нет, будем жить здесь. Так надо,— значительно сказала она.

— А где папа? — хмуро спросил Егор.

— Папа?.. Он уехал. У него срочная командировка.

— А когда приедет?

— Не скоро... Да мы и сами с усами! Разве нам плохо вдвоем?

— Хорошо...— неуверенно протянул Егорка.

Ирина бодрилась. Она будто хотела оттянуть окончательное решение, зарыться с головой в мелкие хлопоты, благо их сегодня было предостаточно. Как вдруг с полной ясностью пришла мысль: все уже решено.

Она поняла это по тому, как в одно мгновение сцепились между собою события и раздумья последнего времени: поздние приходы домой мужа — ах, какой мерзкий запах исходил от него! — винный перегар и компактная пудра; ночное путешествие дома, сорвавшее их с Егоркой с насиженного места,— это знак! не иначе, надо что-то решать; регистрация жильцов — пепел старых писем на металлическом подносе с чеканкой...

Все это колебалось, дрожало в ее памяти, точно маленькие магнитики, которые неуверенно ищут друг друга, но внезапно прилипают один к одному — получается цепь.

Вырвавшееся у нее в разговоре с милиционерами «не проживает» с жалобою на мужа еще не было результатом обдуманного решения. Вылились раздражение, обида и мечта о свободе. На самом же деле, помыслить не могла, чтобы Евгений сегодня же вечером, на худой конец — завтра не заявился, как огурчик. Но теперь Ирина поняла, что самому, без ее помощи, мужу трудно будет найти улетевший дом. Что-то усмехнулось в ее

душе, выглянула откуда-то острая мордочка злорадства: накося, выкуси!

И вот последняя капля: «Папа уехал. Срочная командировка». И никаких гвоздей.

Ирина перевела дух. Магнитики сцепились — не разорвать. Она почти физически ощутила, как обрушивается с ее плеч страшная тяжесть... гора свалилась, верно говорят! Наконец свободна! Все как нельзя кстати: никаких ссор, никакой разводной тягомотины — улетели от него, и все!

А магнитики продолжали сцепляться. Ирина знала за собою такое свойство: мысли и чувства долго бродят внутри, примериваются друг к другу, пока сразу, как сегодня, не выстраиваются в мгновенное решение. И тогда в дело вступает железная логика.

«Мы улетели,— внятно сказала она себе.— Мы хотим жить с Егором одни. Значит, мы не хотим, чтобы он нас нашел и все началось сначала. Следовательно, надо оборвать нити, которые еще не оборваны: вернуть ему вещи и выписать Егорку из прежнего детсада». С глаз долой, из сердца вон!

— У нас есть такая поговорка, милорд.

— И получается?

Детский сад на улице Кооперации был пока единственным официальным местом, которое мог бы использовать блудный муж, если бы захотел встретиться со своею семьею. Даже если переводить Егорку в другой садик, туда следовало бы явиться за справками, а Евгений не дурак, может подкараулить. Значит, нужно торопиться!

Ирина окинула взглядом комнату, мысленно отмечая ниточки: семейную фотографию с годовалым Егоркой (Евгений Викторович худощав, похож на Жана-Луи Барро); книги по архитектуре старого Петербурга (Демилле поклонялся архитектурной классике, в особенности Карлу Росси); из-под дивана торчат шлепанцы мужа, на стуле висит его домашняя фуфайка...

— Егор, ступай приберись у себя в игрушках! — скомандовала мать, отсылая сына в другую комнату.

Егорка понуро поплелся в детскую.

Ирина, не мешкая, стянула с платяного шкафа огромный чемодан, подаренный когда-то на свадьбу Екатериной Ивановной,— бабушкин чемодан с латунными накладками и замками — и опрокинула его со-

держимое на диван. Там были старые тряпки, шерсть, лоскуты...

Действуя проворно, но аккуратно, она принялась складывать в чемодан вещи мужа. В кармашек на внутренней стороне крышки вложила документы. Поколебавшись, сунула в паспорт двадцать пять рублей — разделила наличный капитал почти поровну, ибо в шкатулке, где испокон веку складывались деньги, обнаружилось пятьдесят два рубля. Ничего, до получки доживем! Ирина изумилась собственной нечаянной предусмотрительности, которая заключалась в том, что месяц назад она сменила место службы, соблазнившись более высокой зарплатой в военном училище. Отдаленная мысль о том, что в случае развода с Евгением это может иметь значение, уже тогда возникала у нее, а отношения в семье последнее время были настолько натянуты, что Ирина сочла возможным даже не сказать мужу о перемене работы.

Следовательно, он может искать ее лишь на прежнем месте, в строительно-монтажном управлении, но и там ему не скажут, ибо уволилась она по собственному желанию, а новое место работы не сообщила никому. Ирина была по натуре довольна замкнута.

Что ж, и в этом можно усмотреть перст судьбы...

Ирина сняла со стены фотографию. Положить в чемодан? Оставить?.. Если положить, то муж воспримет это как укор, а может быть, намек на желаемое возвращение. Но оставить... Нет! Рвать так рвать!

Она быстрым движением разорвала фотографию надвое, потом еще... Обрывки бросила на подносик, в пепел. Оттуда, присыпанный черными хлопьями, вдруг страшно глянул на нее Егоркин глаз.

Ирина склонилась над распахнутым чемоданом, заплакала.

Вещи ее мужа, пахнущие его потом и чужой компактной пудрой, лежали перед нею, как останки.

— Мама...

Ирина поспешно утерла слезы. На пороге стоял Егорка с игрушечным паровозом в руках. Промелькнуло воспоминание: они с Евгением покупают этот паровоз в ДЛТ года полтора назад, перед днем рождения Егорки... Было хорошее, настоящее! Что говорить!

Она поспешила к сыну, желая отвлечь его от разверстого чемодана с вещами.

— Что? Что случилось?

— Колесо отломалось,— сообщил Егорка, показывая паровоз.

— Папа почи...— сорвалось у нее, но она осеклась, схватила паровоз, приговаривая:— Ну, где же это колесо? Сейчас мы его приладим!

Вдруг откуда-то сбоку прилетел приятный бархатный голос:

— Ирина Михайловна? Вы дома?

Мать с сыном поспешили на зов и увидели генерала Николаи, который стоял у своего открытого окна — в костюме и при галстуке. Николаи делал знаки, чтобы Ирина открыла окно.

Она распахнула створки, легким движением поправила прическу.

— Вы уж не обессудьте старика. У вас же, как я понимаю, сегодня разруха... Вот я себе и позволил...

С этими словами Григорий Степанович поставил на подоконник полиэтиленовый пакет, из которого торчала красная крышка термоса.

— Здесь кофе, бутерброды. Окажите честь...

— Спасибо. Ну, зачем же...— робко запротестовала Ирина.

— Благодарить будете после. Берите.

— Но как?

— Все предусмотрено,— улыбнулся генерал.

В руках у него появилась длинная палка с крюком на конце, предназначенная для задергивания штор. Григорий Степанович повесил пакет на крюк и протянул его к окну Ирины.

Ирина, рассмеявшись, сняла пакет с крюка.

— Видите, как просто! Нет, положительно я нахожу в вашем прибытии нечто в высшей степени приятное. Для себя, разумеется,— сказал генерал.

Ирина, не переставая благодарить, вынула из пакета термос и завернутые в фольгу бутерброды.

— Приятного аппетита,— Григорий Степанович слегка поклонился и стал закрывать окно.

— А пакет? Термос?..

— Пустяки,— отмахнулся он.— Мы ведь теперь соседи.

Ирина и Егор с аппетитом позавтракали, и мать велела Егорке одеваться, а сама пошла упаковывать чемодан. Она закрыла его на замки, не забыв уложить в отдельную сумку чертежные принадлежности и книги по архитектуре, затем кинула взгляд на обрывки фо-

тографии. Егоркин глаз по-прежнему пугал ее. Ирина собрала клочки, пачкая пальцы в саже, и, недолго думая, сунула на книжную полку между томами сочинений Тургенева.

Она кое-как обтерла пальцы платком и сказала уже одетому Егору:

— Присядем на дорогу.

Они вдвоем уселись на чемодан, причем Егорка сделал это так покорно, будто понимал, насколько серьезно прощание.

— Вот и все,— сказала мать, поднимаясь.

...Постовые на этажах провожали взглядами молодую женщину в синтетической куртке и в брюках, которая тащила в одной руке огромный и с виду тяжелый чемодан, а в другой — набитую сумку. За ручку чемодана, пытаясь помочь, держался мальчик лет шести с серьезным лицом. Инструкций на этот счет, если жильцы станут покидать дом, пока выработано не было. Все же один из лейтенантов счел нужным спросить:

— Вы, гражданочка, куда направляетесь?

— Вещи несу в химчистку,— не моргнув, ответила Ирина.

Лейтенант с сомнением взглянул на чемодан.

— Вы уж там осторожнее. Согласно предписанию.

— Знаю, знаю! — с готовностью кивнула она.

Трамвай № 40 повез мать с сыном по бывшему Гесслеровскому, ныне Чкаловскому проспекту, пересек Карповку и, миновав Каменный остров, резво побежал к новостройкам северной части города.

Глава 11.

МАЙОР РЫСКАЛЬ

— Вот скажите, милорд, такую вещь... Представьте себе, что у вас в Лондоне, в ваше время или несколько позже, произошел такой случай. Многоэтажный дом, заселенный вашими соотечественниками, внезапно снялся с насиженного места где-нибудь в Ист-Энде и перелетел в центр города. Допустим, в Сити.

— Что ему делать в Сити? Это деловая часть Лондона, как вам, должно быть, известно.

— И бог с нею. Меня интересует другое. Каким образом рядовые лондонцы узнали бы об этом происшествии?

— Таким же, как обо всех других. В тот же час, как дом приземлился, на этом месте оказался бы по крайней мере один из репортеров «Таймс» — репортеры связаны с полицией. В утренний выпуск эта новость, пожалуй, попасть бы не успела, но в вечерних газетах, будьте уверены, она заняла бы первые полосы. Уж они бы постарались, эти газетчики!

— Я так и думал, мистер Стерн. Но оставим газетчиков в покое — в конце концов, такая у них работа. Меня интересует способ оповещения. Разница национальных обычаев между нами столь велика, что у нас работают совершенно иные механизмы.

Вы не поверите, но я первый пишу о случившемся, несмотря на то, что с момента приземления дома на Безымянной прошло уже несколько месяцев.

— Вы шутите. Неужели никому не интересно?

— Еще как, милорд! Но у нас другие традиции. Посему, смею вас уверить, ни один из журналистов ленинградских газет не посетил Безымянную ни в субботу, когда на этажах шла разъяснительная работа, ни в воскресенье, когда кооператоры собрались на общее собрание (я еще об этом расскажу), ни позднее...

— Как же об этом сообщили жителям города?

— А никак не сообщили.

— Значит, никому, исключая кооператоров и жителей Безымянной, до сих пор не известно, что многоэтажный дом... Ну, в общем, все, о чем вы рассказали?

— Что вы! Известно... Известно даже больше, то есть по-другому и совсем не так. А все потому, что перелет дома не относится, по нашим понятиям, к разряду событий, о которых следует знать рядовому читателю газет.

Вот если бы дом взлетел действительно в Лондоне, то мы узнали бы об этом очень скоро. Не исключено, что к месту события были бы направлены специальные корреспонденты, а уж постоянные представители нашей прессы в Великобритании наверняка передали бы сообщение без промедления.

— В чем же дело? Почему такая разница?

— Мы против нездоровой сенсационности, милорд. Новости у нас делятся на два класса — нужные читателю и ненужные, однако критерий отбора неизвестен. То есть он интуитивно понятен нашим читателям; у них глаза полезли бы на лоб, если бы газеты сообщили о бракосочетании политического деятеля, новой системе

вооружения нашей армии, не выпущенном в прокат фильме и многом другом. В то же время никого не удивляет, что мы полностью в курсе событий каждой посевной или уборочной кампании, знаем все о заводах и фабриках, планах и перспективах.

Каждое событие рождается на свет с невидимой пометкой: об этом знать нужно, об этом — нет. Вот и перелет нашего дома сразу же попал в разряд фактов, недостойных упоминания.

Причин несколько. Возможно, сработала самая примитивная логика. Если узнают, что дома способны летать, то завтра же в воздух поднимется пол-Ленинграда, что может создать определенные неудобства.

Может быть, отпугивала необъяснимость явления. Сродни тому, как нечасто и противоречиво пишут у нас о тех же НЛО, биополях и прочем. Полагается, описав явление, тут же сообщить о его причине. Газета не может себе позволить недоуменно чесать в затылке: почему? отчего? ничего не понимаем!

Конечно же, опасались паники и распространения слухов. Но тем не менее слухи все же распространились, причем абсурдность их намного превышала уровень, который мог бы возникнуть при официальном сообщении.

Дело в том, что природа не терпит пустоты, милорд.

— Я знаю.

— И те факты, которые ускользают от наших газетчиков, упорно муссируются в виде слухов. Им верят больше, чем газетам.

Слухи о феномене вознесения дома, странным образом смешанные со слухами о запуске на орбиту пивного ларька, начали циркулировать по городу немедля, то есть утром в субботу, нарастали в течение трех дней, затем стабилизировались на какой-то отметке и просуществовали так с месяц, после чего медленно, но верно пошли на убыль.

Первым источником слухов стал Евгений Викторович через Бориса Каретникова. Дальше считать уже затруднительно, ибо тоненькие струйки слухов в виде прямых свидетельств (чаще всего — ложных), анекдотов, предположений, намеков и даже красноречивых умолчаний потекли в массы и от немногочисленных очевидцев, вроде Матрены и пьяницы на Каменном, и от старожилов Безымянной, и от кооператоров, и — увы! — от сотрудников милиции, проводивших утрен-

нюю операцию, несмотря на то, что и те, и другие, и третьи были предупреждены о неразглашении.

Вечером в субботу подключились «голоса», которые подлили масла в огонь...

— Какие голоса?

— Институт слухов у нас во многом поддерживается так называемыми «голосами», то есть западными радиостанциями, ведущими передачи на русском языке. Несмотря на большую удаленность от места события, они сообщают о случившемся очень быстро, но временами крайне неточно.

«Голоса» передали в эфир, что, по имеющимся у них сведениям из неофициальных источников, минувшей ночью в Ленинграде по требованию Министерства обороны была произведена срочная эвакуация одного из жилых домов, сам дом снесен, а место расчищено той же ночью двумя полками войск внутренней службы.

В результате уже в воскресенье по городу ходили слухи следующего содержания:

1. Какой-то дом, в котором был пивной склад, взлетел на воздух из-за взорвавшихся бочек и отброшен далеко, в район Парголова. Там и лежит.

2. Над Ленинградом зарегистрирован НЛО, битком набитый пришельцами. Пришельцы похожи на людей.

3. Вчера ночью состоялось большое милицейское учение. Отрабатывали захват самолета с террористами и заложниками. Вместо самолета захватили один дом, где все жильцы были заложниками.

4. На Петроградской стороне случилось знамение: ночью сделалось сияние, и ангелы с серыми крыльями летали по Безымянной.

5. Строительная техника достигла невиданного развития. За одну ночь построили девятиэтажный дом где-то в Купчине... Нет, не в Купчине, а на Гражданке!.. Или на Пороховых... Короче, в центре.

6. Популярная певица Алла Пугачева вышла замуж.

7. Мощный смерч, пришедший с Атлантики, поднял в воздух универсальный магазин в Выборге, протащил его до Ленинграда, а там обрушил дождем промышленных и продовольственных товаров на Каменный остров.

8. Обнаруженный на Гражданке плывун — на самом деле вовсе не плывун, а месторождение никелевых руд, необходимых оборонной промышленности.

9. С 1 июля повысят цены на шерсть, меха, серебро и водку.

10. Девятиэтажный дом со всеми жильцами ночью перелетел на Васильевский остров, где плавно опустился на 7-й линии.

И так далее, и тому подобное.

Как видим, если отбросить явно провокационный слух № 9, а также совершенно дурацкий слух № 6, то остальные в той или иной степени имеют касательство к совершившемуся — но какое далекое!

Даже слух № 10, наиболее близкий к истине, за исключением адреса прибытия, выглядел тем не менее совершенно неправдоподобно. Смерч, строительство, плывун, взрыв пива — чего только не нагородили! Старались объяснить. А объяснять нечего — нужно извлекать выводы.

Итак, вот еще один пример системы — на этот раз информационной. Для города она была внутренней, для нас с вами, милорд, внешней, а для майора Игоря Сергеевича Рыскаля — умозрительной.

Майору милиции Рыскалю выпал жизненный шанс. Шанс этот буквально свалился с небес в виде девятиэтажного дома, приземлившегося в неподобающем месте. Майор, как и многие в ту ночь, был разбужен телефонным звонком с приказом срочно прибыть в Управление. Одеваясь по-военному быстро и четко, Рыскаль одну за другой рассматривал и отметал версии. За последние десять лет службы это был первый ночной вызов.

Майор Рыскаль не занимался поимкой уголовников, не расследовал сложные дела о хищениях социалистической собственности и тем более не отлавливал на улицах пьяниц с последующей доставкой их в вытрезвитель. Специальностью Рыскаля была организация общественного порядка в случаях массового скопления людей. Он был непревзойденным дирижером толп во время демонстраций, футбольных и хоккейных матчей, массовых гуляний, выступлений популярных артистов и коллективов, похорон выдающихся людей. Никто лучше Игоря Сергеевича не умел расставить цепи по пути следования толп, рассечь лавину людей на мелкие ручейки и струйки, чтобы не возникло давки и паники. В условиях огромного города это была неоценимая способность: учесть тупики и закоулки, проходные дворы, проломы в заборах, по которым неорганизованная масса так и норовит прорваться к месту происшествия;

перекрыть подъезды, отвести в сторону городской транспорт с таким расчетом, чтобы пешеходы, трамваи, автомобили двигались с точностью часового механизма... Игорь Сергеевич был в этих делах большим мастером.

Когда-то в его распоряжении имелись эскадроны конных милиционеров; Рыскаль чувствовал себя полководцем, расставляя конников на самых ответственных участках — при входе в метро, у турникетов стадиона. Вот уже тридцать лет ему верно служила старая карта города, висевшая в его кабинете и буквально изрытая следами булавочных уколов флажков и фишек, коими майор отмечал устанавливаемые заграждения и цепи.

И хотя начальство ценило Игоря Сергеевича, непременно назначая его пастырем манифестаций и митингов, в звании он продвигался медленно. Негласно считалось, что работа Рыскаля хотя и необходима, но все же не так опасна и трудна, как деятельность угрозыска и даже ГАИ. Отчасти такое мнение создал сам Игорь Сергеевич, благодаря безукоризненной точности и почти полному отсутствию ЧП во время массовых мероприятий. Парадокс: мастер своего дела оказывался в тени именно из-за мастерства, с которым проделывал свою работу. Обремененный взысканиями коллега мог иной раз обойти майора на служебной лестнице по той лишь причине, что вдруг ни с того, ни с сего удачно проводил какое-нибудь дело. На фоне провалов прошлого оно естественно выглядело бриллиантом старания и умения, а значит, взывало к поощрению. Ничего подобного у Рыскаля не наблюдалось. Все порученные ему дела он проводил на одинаково высоком уровне, отчего к этому просто-напросто привыкли, считая майора добросовестным служакой, который звезд с неба не хватает.

Он и не хватал, скромный был человек, а ему не давали. Видимо, по забывчивости. Посему в душе Рыскаля накапливалась усталая обида на несправедливость. Его сверстники и однокашники (а майор мог уже идти на пенсию по возрасту и выслуге лет) дослужились до генеральских чинов, возглавляли крупные Управления в ряде городов, отличавшихся довольно-таки низким, на взгляд Рыскаля, уровнем общественного порядка. И все потому, что раз в пять лет раскрывали какое-нибудь громкое дело со стрельбой, трупами, автомобильными погонями... брр! Доведись такое Игорю Сергеевичу, он наверняка управился бы тихо-мирно, без помпы.

Последние годы майор обходился скромными средствами: не было уже видно конных милиционеров, огромные крытые грузовики лишь в редких случаях использовались для заграждения. Игорь Сергеевич настолько хорошо изучил маршруты людских потоков и психологию толпы, что ему не составляло никакого труда пресечь беспорядок в зародыше. Потому его дело стало выглядеть еще более мелким, чуть ли не элементарным. Но за ним стояло истинное мастерство.

И все же душа тосковала по большому делу. Последнее время толпа потеряла значительную часть своей опасности. То ли люди стали дисциплинированнее, то ли безукоризненно работали схемы Рыскаля, предназначенные отдельно для демонстраций, спортивных соревнований и салютов, то ли сами сборища утратили былую массовость. В мифической глубине времен терялись ужасы Ходынки, похорон Сталина или безобразий на стадионе, что на Петровском острове, во время одного давнего футбольного матча.

Давно уже ничего похожего не случалось.

Потому-то, бреясь в пятом часу утра у себя в ванной комнате, Рыскаль терялся в догадках. Трудно предположить, чтобы в столь ранний час произошло большое скопление людей... Облава? Прочесывание? Маловероятно!

— Неужто война? — в ужасе спросила заглянувшая в ванную жена Клава. Она тоже поднялась по тревоге.

— Типун тебе на язык,— укоризненно произнес майор, продолжая бриться. Он аккуратно доскоблил щеку и, видя, что жена не уходит, объяснил: — На войну по телефону не приглашают.

— А как? — вытаращила глаза Клава.

— Много будешь знать...— усмехнулся Рыскаль.

Игорь Сергеевич брызнул на лицо специальной пенки «после бритья», втер ее в щеки, требовательно вгляделся в зеркало. Оттуда смотрело моложавое лицо без морщин, не изборожденное, как у многих, следами неумеренности. Твердый волевой подбородок, аккуратная стрижка. Майор тщательно причесал «воронье крыло» — прядь жестких черных волос, спадающую на лоб наподобие крыла,— благодаря ему, а также небольшой ладной фигуре, Рыскаль имел в Управлении кличку Воронок. Это давало повод для каламбуров, вполне

безобидных, когда майор выезжал куда-нибудь на машине ПМГ: «Воронок на „воронке“!»

— Погодите, но вы говорили — «помогайка»?

— Синонимов и тут у нас хватает, милорд.

Через час майор уже присутствовал на совещании, где узнал о ночном происшествии, а также о том, что ему поручается новая ответственная работа. Рыскаля назначили начальником группы, в обязанности которой входили организационные вопросы, связанные с перелетом дома: снабжение водой, электроэнергией, газом, учет проживающих и их регистрация, другие бытовые проблемы, а главное — пресечение слухов, сокрытие нежелательных фактов от злых языков и досужих умов, которые, конечно же, постараются сделать из мухи слона.

Единственный вопрос, который не входил в компетенцию Рыскаля, был, так сказать, научный. Причинами перелета дома занимался полковник Коломийцев Федор Иванович, именно к нему стекалась та весьма скудная информация очевидцев, о которой я уже рассказывал. «Опять ставят науку над практикой!» — подумалось майору. Очевидно, он имел в виду разницу в званиях, поскольку других признаков предпочтения науки не существовало: группа Рыскаля была даже многочисленнее и имела те же права влияния на городские службы, что группа Коломийцева.

По существу, майор был назначен комендантом нашего дома, и это навело его на мысль, что назначение, весьма вероятно, относится к разряду предпенсионных. Однако размышлять было некогда. Требовались срочные меры. Игорь Сергеевич заперся у себя в кабинете для выработки стратегического плана, и через полчаса к дому на Безымянной уже спешили группы милицейских работников, имевшие четкие инструкции, то есть тот план, с которым мы уже знакомы.

Вскоре на улицу Кооперации прибыли строители с секциями забора, вызванные майором, и через два часа фундамент был огорожен. Рыскаль в это время связывался по телефону с городскими коммунальными службами — уговаривал, грозил, настаивал, уточнял сроки и возможности.

Старая карта ожила. Рыскаль черной фишкой обозначил фундамент на улице Кооперации и обнес его частоколом зеленых флажков. Красными маленькими фишечками Игорь Сергеевич нанес постовых: две на

улице Кооперации, около десятка — на Безымянной. Трассу полета дома он обозначил черной нитью, протянув ее между фишками фундамента и самого дома (последняя фишка была желтого цвета). Тут же возникли на плане и ближайшие к Безымянной сети инженерных коммуникаций, от которых требовалось в срочном порядке сделать отводы. Рядышком с желтой и черной фишками появились другие — зеленые,— обозначавшие соседние дома на обеих улицах: детсад и три точечных дома на месте отлета и жилые дома на месте прибытия. Это были места скопления людей, могущих заинтересоваться случившимся. Надлежало дать им нужную информацию и предупредить о неразглашении.

Истосковавшись по творческому делу, Игорь Сергеевич отдался ему, как отдаются любви,— с упоением. В душе его играл духовой оркестр войск внутренней службы (пластинка с записями маршей и вальсов в исполнении этого оркестра была любимой пластинкой майора). Рыскаль мурлыкал марш лейбгвардии Преображенского полка, а сам разноцветными нитями прокладывал электрические кабели и канализационные трубы вблизи Тучкова моста, перенося их на карту с планов, присланных из соответствующих Управлений горисполкома.

Стратегический кабинетный период длился недолго, после чего майор самолично выехал на «воронке» («Воронок на „воронке“») к месту исчезновения дома и проверил непроницаемость воздвигнутого забора. Вошедши внутрь ограждения, он осмотрел заваренные трубы канализации, газа и водопровода, оценил состояние затопленного подвала и, вполне удовлетворенный, самолично навесил амбарный замок на дверь в заборе. Ключ спрятал в карман.

По крайней мере, в одном месте порядок был наведен. Майор оставил улицу Кооперации и поспешил к Безымянной, ибо место приземления не сулило ему легкости в наведении порядка.

Когда он обходил по ущельям наш девятиэтажный дом, марш внутри сам собою оборвался. Темные щели с узенькими полосками неба наверху никак не соответствовали бравурности музыки. Шаги майора и сопровождающих гулко отдавались в ущельях, отраженные кирпичными высокими стенами. Рыскаль не мог и предположить, насколько сильным может быть ощущение

беспорядка от приставленных почти вплотную домов. «Позвонить в архитектурное управление,— подумал он.— Необходима перепланировка участка».

Однако легко сказать! Подъезды кооперативного дома выходили прямиком в щель — их не замажешь. Тут требуется капитальный ремонт... А вдруг дом опять взлетит? С этим тоже нужно считаться.

Затем Игорь Сергеевич посетил все четыре подъезда, наблюдая, как идет регистрация. Как раз в этот момент группа Коломийцева задерживала Клару Семеновну Завадовскую, которая успела посеять смуту на нескольких этажах громкими возгласами и плачем о пропавшем муже. Не добившись эффекта, она бросилась домой, нарядилась в лучшее платье, взбила прическу, навесила брошь и кинулась искать правды к начальству.

— Какому?

— Вероятно, в горисполком или еще куда. Четкого плана у бывшей артистки цирка не было, она просто знала: нужно к начальству. В таком праздничном виде ее и взяли люди полковника Коломийцева, направившие Клару Семеновну в машину.

— Ай да Федор Иванович... Профессор...— пробормотал Рыскаль, стараясь подавить в себе неприязнь к науке.

Самого Рыскаля причины перелета дома, а также физические силы, приводившие его в движение, интересовали не больше, чем причины Первомайских демонстраций и способы производства фейерверков. И там, и тут его занимали последствия: общественные беспорядки, могущие возникнуть при массовом неорганизованном скоплении людей. Вот и здесь, лично ознакомившись с положением дел, он понял, каких усилий потребует от него новая работа. Поняв это, Игорь Сергеевич принял ответственное решение. А именно: он решил переселиться на жительство в потерянный дом.

Перспектива переселиться в неухоженную захламленную квартиру в первом этаже второго подъезда, служившую помещением Правления и бухгалтерии кооператива, отнюдь не привлекала майора. Его семья из четырех человек — жена Клава и две дочери, Наташа и Марина,— имела прекрасную трехкомнатную квартиру близ Таврического сада. Но лишь только Рыскаль представил себе, что будет для кооператоров приходящим начальником, пастырем на расстоянии, отрабатывающим от звонка до звонка... Нет! Это не дело! Майор

был образцом долга и принципиальности. А так как поручение, выпавшее на его долю, по всему видать, было долговременным, то Рыскаль решил быть с народом. Клава, конечно, не обрадуется: первый этаж, темнота в окнах... Ремонт придется делать, посетители попрут без всяких приемных часов, но... майор решил твердо. Иначе получится чепуха. Все равно, что король станет жить за границей, лишь изредка наведываясь к своим подданным.

Рыскаль вернулся в Управление, прихватив с собою в машине председателя Правления кооператива инженера Вероятнова, бухгалтера и двух женщин, работавших дворниками.

Василий Тихонович Вероятнов, огромный сорокадвухлетний мужчина с румяным лицом и детскими голубыми глазами, внешне понравился Рыскалю. Однако дела в Правлении велись кое-как, да Вероятнов и не скрывал своей нелюбви к «бюрократии», как он выразился. Он с видимым облегчением уступил власть майору...

— Я имею в виду фактическую власть, милорд. Уже в субботу в кооперативе начало образовываться маленькое государство со сложной структурой управления. По виду это была республика с выборными органами власти, по сути же — монархия или диктатура,— как вам больше нравится. Рыскаль стал единоличным правителем, в его руках сосредоточилась вся власть. У вас в Англии, кажется, есть поговорка: «Король царствует, но не управляет». Положение дел у нас складывалось как раз наоборот: «Король управляет, но предпочитает не царствовать». Рыскаль с самого начала решительно избегал почестей и демонстрации внешних атрибутов власти.

Первым его решением было: назначить общее собрание кооператива, для чего Вероятнову поручалось снять актовый зал в ближайшей школе. Рыскаль снабдил его специальным мандатом, и инженер покинул Управление, радуясь, что не ему придется расхлебывать всю эту кашу.

Проверка финансов была отложена до более удобного случая, майор лишь затребовал необходимые документы у бухгалтера; дворникам Рыскаль указал на немытые окна и лестницы, неубранные баки с пищевыми отходами. Реакция двух подозрительно одинаковых женщин неопределенного возраста, служивших у нас

дворниками (одутловатые лица, красные глаза, мешки под ними), была тоже одинакова. Обе тут же написали заявление об уходе по собственному желанию, на что майор совершенно резонно предложил им освободить служебную квартиру в третьем подъезде. Это их не остановило. Дворничихи удалились, поставив майора перед новой проблемой.

Между тем в кабинет к нему стали стекаться опросные листы. Группа помощников сверяла их с домовой книгой, обрабатывала и передавала майору готовые списки зарегистрированных жильцов с указанием места работы.

Надо сказать, что к тому времени в Управлении сама собой возникла рабочая терминология. Всех, кто летел вместе с домом, назвали «летунами». Жителей соседних домов на улице Кооперации и Безымянной окрестили «соседями». Отсутствующих жильцов дома, среди которых был и Евгений Викторович, именовали «бегунами».

— Почему «бегунами»?

— А потому что они были «в бегах».

Летуны делились на прописанных и непрописанных, соседи — на провожающих и встречающих, бегуны — на зарегистрированных и незарегистрированных.

Если говорить обо мне, то я оказался бегуном зарегистрированным, благодаря сержанту Сергееву, ибо был прописан, реально проживал (сержант это отметил), но отсутствовал по неизвестной причине. Хотя, в сущности, мне полагалось быть прописанным летуном.

Демилле попал в незарегистрированные бегуны, поскольку был прописан, но, по словам жены, реально не проживал. Таких, как он, в доме насчитывалось около двадцати человек. Но те-то истинно не проживали, а Демилле...

В разгар деятельности по составлению списков в кабинет майора зашел капитан из группы Коломийцева и бухнул на стол набитый чем-то портфель.

— Что это? — спросил Рыскаль недовольно.

— Непрописанный летун, товарищ майор,— доложил капитан, выкладывая перед Рыскалем листки протокола.

Глава 12.

НЕПРОПИСАННЫЙ ЛЕТУН

К категории непрописанных летунов относились, во-первых, гости квартиры № 116 — той самой, с балкона которой ночью выкидывали бутылки; во-вторых, три молодые супружеские пары, снимавшие однокомнатные квартиры без прописки; в-третьих, несколько постоянно живущих в доме членов семей кооператоров, по тем или иным причинам прописанных в других местах. И наконец, в-четвертых, гражданин Зеленцов.

Гостей из дома вежливо удалили, взяв подписку о неразглашении, остальных причислили к списку прописанных летунов. А вот гражданина Зеленцова задержали, поскольку он имел неосторожность выбросить из окна портфель с документами и бумагами для служебного пользования. Это навело полковника Коломийцева на мысль, что Зеленцов может быть причастен к угону дома, но, допросив его, Федор Иванович убедился в ошибке и сплавил Зеленцова майору.

И вот теперь портфель лежал на столе, а бледный, но надменный Зеленцов сидел на диванчике в коридоре перед дверью кабинета Рыскаля. Рядом находился старшина милиции.

Рыскаль ознакомился с протоколом.

История Валерия Павловича Зеленцова была довольно обычной.

Валерий Павлович являл собою пример человека с блестящей служебной карьерой. В свои тридцать семь лет он был заместителем директора крупнейшего в нашем городе научно-производственного объединения со штатом работающих в несколько десятков тысяч человек. НПО занималось выпуском металлоконструкций, каких — это не важно, мы не будем вдаваться в секреты обороны страны.

Примечательно, что Зеленцов к металлоконструкциям, а также к обороне страны никакого отношения не имел. В свое время он окончил финансово-экономический факультет — далеко без блеска. Получить диплом ему помогла общественная деятельность, которой Зеленцов начал заниматься еще в школе, а в институте продолжил, да с таким размахом, что временами забывал, на каком, собственно, курсе он учится. Если бы не вежливые напоминания деканата о том, что пора явиться

на экзамен с зачеткой, то Зеленцов так и не вырвался бы из своей кипучей деятельности.

На экзамен, милорд, требовалось только явиться, не более.

Каких только общественных постов не занимал молодой Зеленцов! От необременительных, хотя и ответственных должностей председателя факультетского ДОСААФ или Красного Креста до секретаря комсомольской организации курса, а затем и факультета, члена партийного бюро и профорга. Мелкие обязанности, вроде председателя общества охраны природы, делегата на многочисленные конференции, общественного инструктора райкома, комиссара студенческого строительного отряда и так далее, и тому подобное — облепляли Зеленцова, как мухи липучку. Едва он успевал выступить с отчетом на слете ленинских стипендиатов (сами стипендиаты в это время прилежно учились и были, в общем, благодарны Зеленцову за то, что он прикрывает их своею грудью), только-только возлагал какой-то венок на чью-то могилу, чудом успевал слетать в Лондон для руководства группой учащихся, как перед ним уже маячили новые президиумы, съезды и фестивали. Зеленцов пыхтел, героически отшучивался на соболезнования, всем говорил значительно: надо!

И действительно было надо.

Такие люди, как Валерий Павлович, чрезвычайно полезны. Они позволяют огромному количеству специалистов спокойно работать и не думать о так называемой общественной работе. Они знают: есть Зеленцов, он функционирует. Если бы общественные нагрузки Зеленцова распределить равномерно, я боюсь, институт лишился бы десятка дипломированных специалистов.

При всем том Валерий Павлович отличался тем, что решительно ничего не делал ни на одном из занимаемых постов.

— Перестаньте меня дурачить! То — заменял десяток людей, то — ничего не делал! Я не понимаю!

— И никогда не поймете, милорд.

Между тем рабочий стиль Зеленцова был единственно возможным. Если бы Валерий Павлович хотя бы в одной из общественных сфер предпринял какие-либо реальные акции, то это неминуемо повлекло бы за собою и реальные трудности, а там, глядишь, и провал, ибо образование у него было небольшое, ум — невели-

кий, а работоспособность — средняя. Поэтому с блеском занимать все общественные посты можно было лишь при одном условии — ничего не делая.

— Но чем же он все-таки занимался?.. Эти фестивали... президиумы...

— Тем, чем и занимаются на фестивалях и в президиумах. У Валерия Павловича был лишь один талант, развитый, правда, в высшей степени. Он умел представительствовать.

Этот талант включал в себя несколько компонентов.

Во-первых, внешность Зеленцова была такова, что при взгляде на его статную фигуру и открытое лицо сами собой вылезали из памяти слова: «Передовой представитель нашей славной советской молодежи». Валерий Павлович не был ни красив, ни дурен, ни мал, ни велик, ни худ, ни толст. Не был он блондином, равно как и брюнетом. Он не был смугл или бледен, вял или резок, шумен или тих. В нем всего было в меру.

Иногда он позировал для плакатов на самые разнообразные темы. В его квартире, на кухне, шутки ради висели некоторые из них: «Храните деньги в сберегательной кассе!» (Зеленцов был изображен со сберкнижкой, протянутой к зрителю); «Наш ударный труд — Нечерноземью!» (Зеленцов в строительной каске с мастерком); «Лет до ста расти нам без старости!» (Зеленцов в футболке, а рядом — могучая девушка зеленцовского типа); «Скажем войне — нет!» (Зеленцов бьет молотом по маленькому тщедушному поджигателю войны на кривых ножках, который держит в обеих руках по бомбе) — и еще несколько подобных.

Таким образом, внешность Зеленцова была самим богом создана для плакатов и трибун.

Но еще лучше, во-вторых, был у него голос, и вообще умение говорить. Валерий Павлович мог придать самой заурядной, штампованной фразе бездну искренности, взволнованности и оптимизма. Когда он выходил на трибуну, открывал рот и, точно солирующая флейта в оркестре, исторгал из себя первую фразу: «Мы, как и весь наш народ...» — ей-богу, хотелось плакать!

Зеленцов мог выступать в любую минуту, перед любой аудиторией, на любую тему. Фразы выкатывались из него, круглые и блестящие, как шарикоподшипники. Их не нужно было редактировать, тем более

литовать. Они были залитованы еще до своего рождения.

— Простите, я снова не понимаю.

— Извините, милорд, я не хочу распространяться на эту тему, ибо данный текст тоже предстоит литовать, и, хотя наши фразы не менее круглы и блестящи, я боюсь, что они чем-то отличаются от зеленцовских.

И наконец, в-третьих, Зеленцов был мастером документа. Он, к примеру, мог таким образом сочинить отчет о проваленном или попросту неосуществленном мероприятии, что и проводить его не было никакой надобности. Все равно субботники и воскресники, рейды и кампании, почины и соревнования никогда не достигли бы в реальности того совершенства, какое мог придать им Зеленцов на бумаге. И пытаться не стоило! Это только испортило бы дело.

Зеленцов это понимал, потому из любви к чистому искусству сочинял сводки и доклады, намеренно не обращая внимания на реальные цифры и показатели. Искусство и жизнь — разные категории, это давно доказано философами, не так ли?

Таким образом, Валерий Павлович был в некотором роде совершенством. Легкий, как мыльный пузырь, он стремительно взлетал вверх и в настоящий момент находился на ступеньке замдиректора НПО с явным намерением перейти еще выше, в министерство.

Не стоит и говорить, что дома у Зеленцова был полный порядок. Перечисляю: жена, дочь, мебель, машина, музыка, книги. Одевался модно, но без пижонства. Пил умеренно. Делал физзарядку и уже подумывал о том, не пора ли заняться оздоровительным бегом. Однако пока не занимался.

И все же природе редко удается изваять полное совершенство. Имелся изъян и у Зеленцова. Прискорбно говорить об этом, милорд, но из песни слова не выкинешь. Валерий Павлович Зеленцов был бабник.

Как принято говорить, он не пропускал ни одной. Был из той распространенной породы бабников, которые любят и умеют пускать пыль в глаза. Зеленцов делал это без фанфаронства, он всегда выглядел деловым, никогда не опускался до влюбленности, тем более — до любви. Он как бы отрывал себя на часок-другой от государственных дел для свидания, ничего не обещая партнерше и не обнадеживая. Как ни странно, это действовало неотразимо. Правда, контингент подруг, если

можно так выразиться, был у Валерия Павловича вполне определенным. В молодости преобладали официантки шашлычных, продавщицы, кассирши, секретарши. По мере продвижения Зеленцова вверх по служебной лестнице круг любовниц тоже менялся. Теперь в нем присутствовали товароведы, начальницы отделов, врачи, многочисленные служащие общественных организаций. Попадались и дамы искусства: художницы, режиссеры телевидения, актрисы, но редко. Они были как бы пикантной приправой к деловым, прекрасно соблюдавшим условия игры партнершам.

Валерий Павлович не упускал случая похвалиться связями среди сильных мира сего, причем чаще всего говорил правду, лишь изредка блефовал. Он вводил в этот круг и любовниц, используя их уже не по прямому назначению, а для деловых контактов. Постепенно у него образовалась разветвленная сеть адресов и должностей, обладательницы которых при случае могли усладить тело, но чаще оказывали иные услуги: что-то доставали, куда-то устраивали, кому-то помогали. Их и любовницами уже нельзя было назвать, милорд, в прямом смысле слова! Да и как разделить функции, если, бывало, Валерий Павлович подкатывал на своих «Жигулях» к директрисе колбасного магазина за буженины, но в придачу к ней получал и кратковременное удовольствие здесь же, в кабинете.

В отличие от Демилле, который, особенно по молодости, влюблялся, вспыхивал, мучался угрызениями совести... «У тебя же на лице все написано!» — говорила Ирина с горечью... спешил, был неразборчив — мог влюбиться в молоденькую студенточку, а то в женщину лет на десять старше, жалел одиноких, разрывался, а в результате все портил — и дома, и у возлюбленной,— так вот, в отличие от нашего героя, Зеленцов действовал хладнокровно, четко и скрытно. Скрывать приходилось и от начальства, и от жены, ибо обнаруженная распущенность грозила крахом карьеры и семейной жизни. И он делал это исключительно профессионально, имея всегда убедительнейшее алиби, ни разу не пропустив из-за свидания очередного митинга или слета.

Конечно, и там, и там догадывались, иной раз знали достоверно, однако... предпочитали закрывать глаза. Даже на солнце есть пятна. Видели, что человек старается, что служба и семья для него выше любовных

связей, а значит, не стоит ворошить грязное белье. И жена Зеленцова тоже так думала, привыкла думать так.

Внешнее приличие соблюдалось всегда, хотя за спиной Зеленцова ходили слухи и сплетни. И на них не обращали внимания, считая, что быстро растущий (в служебном смысле) человек всегда вызывает черную зависть. Тут ему такое могут пришить, что только держись!

Таким образом, изъян при ближайшем рассмотрении превращался в одно из достоинств Зеленцова, так что я, пожалуй, возьму назад свои слова и признаю, что в лице Валерия Павловича природе удалось вылепить полное совершенство, без малейшего изъяна.

Перечисленные достоинства, а еще паче — служебное положение привели с годами к тому, что Валерий Павлович стал ощущать колоссальную уверенность в себе и несколько утратил бдительность. Он чувствовал: «еще немного, еще чуть-чуть» — и ему будет позволено все. Видимо, потому и произошла осечка, хотя и на этот раз Зеленцову не в чем было себя упрекать. Разве что в минутном малодушии, когда Зеленцов, узрев Каменный остров с высоты птичьего полета, спешно, в одних трусах нацарапал записку, сунул ее в партбилет и вытолкнул портфель в открытую форточку.

А дело было так. Как признался Зеленцов на допросе у полковника, в доме № 11 по улице Кооперации проживала его подруга, некто Инесса Ауриня, латышка по происхождению, по специальности же — модельер мужской верхней одежды. Инесса занимала однокомнатную квартиру № 250 в четвертом подъезде и была — могу засвидетельствовать — первой красавицей нашего кооператива: элегантная блондинка с роскошными волосами, с королевской осанкой, надменная и недоступная... Демилле однажды попытался заговорить с нею — она отшила его тут же (Демилле был одет в отечественное) — ну, а я уж и не пытался, куда нам!

Инесса конструировала верхнюю одежду для Зеленцова и других мужчин с положением. Не хочу бросать на нее тень, возможно, с другими клиентами ее связывали не такие тесные отношения, но с Валерием Павловичем было именно так: вот уже три года, примерно раз в месяц, Зеленцов проводил выходные дни в нашем доме, в квартире № 250, пользуясь одним и тем

же испытанным приемом. Он говорил жене, что уезжает в Москву, в командировку, и исчезал из дому в пятницу вечером, якобы спеша на «Стрелу» и имея в портфеле командировочные бумаги, пижаму, электробритву и проч. Билет же загодя брал на воскресный вечер, ибо командировка начиналась с понедельника, как у всех деловых людей. Жене врал про субботнюю коллегию министерства, и жена верила, впрочем... кто знает?

Таким образом, Валерий Павлович прибывал на улицу Кооперации в пятницу, в двенадцатом часу ночи, чтобы ровно через двое суток умчаться отсюда на такси к Московскому вокзалу.

Схема работала безотказно. У Инессы имелся телефон — редкость в нашем доме. У Демилле телефона не было, у меня тоже; Зеленцов ей его и поставил...

— Сам?!

— Помилуйте, милорд! Добился разрешения.

Но вот сдвинулось что-то в мировом порядке вещей, и Валерий Павлович обнаружил себя летящим в ночи над нашим прекрасным городом.

Почему он написал такую дурацкую записку и швырнул портфель с партбилетом в форточку — поди догадайся! Был в легком опьянении от коньяка и Инессы, в памяти всплыла только что услышанная в программе «Время» история с угоном пакистанского самолета... Испугался, одним словом. Подумал, что летит «туда». А так как «там» Валерию Павловичу делать было решительно нечего — с тем же партбилетом и документами для служебного пользования, он это понимал четко — то и выбросил. Хотел было сам выпрыгнуть, да Инесса остановила. Впрочем, не хотел. Погорячился.

Инесса ко всему происходящему отнеслась с прибалтийским спокойствием. Ей все равно было — куда лететь. Даже интересно.

Доставленный утром вслед за своим портфелем в Управление, Зеленцов поначалу вел себя уверенно. Страх прошел. Понял, что дома, среди своих. Поняв это, Зеленцов попробовал напугать полковника Коломийцева своими связями и действительно слегка встревожил. Посему Федор Иванович и спихнул Зеленцова майору. От греха подальше...

Майор Рыскаль, обладавший жизненным опытом,

сразу понял из протокола и содержимого портфеля — что за птица Зеленцов. Хотя в протоколе были зафиксированы только факты (должность, командировка в Москву, Инесса Ауриня), Игорь Сергеевич восстановил жизненный путь и моральный облик непрописанного летуна с большой точностью. Он много видел таких. Даже внешность нарисовалась в воображении майора с такой отчетливостью, что он не в силах был сдержать удовлетворенную улыбку, когда Зеленцова ввели в кабинет. Угадал!

Эта улыбка совершенно неправильно была истолкована Зеленцовым. Он тоже улыбнулся, несколько покровительственно: «Сейчас будут извиняться. Работнички!» — и сел на предложенный ему стул напротив Игоря Сергеевича.

— Что же мне с вами делать, гражданин Зеленцов? — в задумчивости, будто обращаясь к себе, сказал майор.

— Со мной ничего не нужно делать,— пожал плечами Зеленцов.— Надеюсь, моя личная жизнь находится вне вашей компетенции?

— Так-то оно так... — простовато отвечал Рыскаль, хотя внутри у него клокотала злость.— Но бумажки-то потеряли. Служебные документы, партбилет... Разве не так?

— Но вот же они! — раздражаясь, указал на портфель Зеленцов.

— Ну, это, положим, не ваша заслуга...

Чем сильнее злость и бешенство овладевали майором, тем тише и ласковей становился его голос. Майор хорошо знал эту породу счастливчиков и демагогов; они не раз перебегали ему путь, глумились, попирали все нормы. Но более всего Рыскалю ненавистен был повод, благодаря которому Зеленцов оказался здесь, а именно — распутство. Да-да, милорд, распутство! Майор называл вещи своими именами.

Рыскаль по натуре был ригористом и пуританином, человеком исключительных, теперь уже старомодных, моральных качеств. Он убежденно считал людей распущенных подлецами, способными, предавши семью, предать и Родину.

Если бы Зеленцову посчастливилось столкнуться с более широким и покладистым человеком, его дальнейшая судьба сложилась бы иначе. Но тут, как говорится, нашла коса на камень.

Зеленцов нюхом почуял, что не все так просто в этом простоватом майоре. Ему бы сбавить тон, но Валерий Павлович, принимая во внимание невысокий чин Рыскаля, решил надавить.

— А скажите,— произнес он небрежно,— Глеб Алексеевич знает, что я здесь? Ему доложили?

Милорд, фамилию Глеба Алексеевича называть не было нужды — ее знают все в нашем городе. Возможно, Глеб Алексеевич не один в Ленинграде, даже наверное это так, но те — просто Глебы Алексеевичи, а этот...

Естественно, Глебу Алексеевичу доложили о ночном перелете кооперативного дома. Среди подробностей, в частности, указали на портфель Зеленцова и на причину пребывания Валерия Павловича в летающем доме. Конечно, докладывал об этом не полковник Коломийцев, а генерал. Глеб Алексеевич отреагировал на сообщение о Зеленцове кратко и энергично: «Вот прохвост!» — Зеленцова он знал, поскольку тот представительствовал во время посещений Глебом Алексеевичем НПО, где работал непрописанный летун.

Такая оценка уже вполне способна погубить карьеру, но в данном случае важнее была твердость майора, не знавшего ничего о словах Глеба Алексеевича, ибо она покоилась не на эмоциях, а на незыблемой принципиальной основе.

— Сегодня суббота. У Глеба Алексеевича, как у всех советских людей, выходной день,— сказал майор.

— Шутите! — Зеленцов деланно рассмеялся.

— Значит, так, гражданин Зеленцов,— устало сказал майор.— О вашем аморальном поступке, потере служебных документов и партийного билета, я сообщу директору вашего предприятия, в партком и профсоюзную организацию. И вашей жене, само собою...

— Не имеете права... У меня командировка... министерство...— залепетал Зеленцов, потеряв лицо. Для него это было как обухом по голове. Вот уж не ожидал Валерий Павлович, что встретит здесь такого храбреца! Через секунду он взял себя в руки, сухо проговорил:

— Как знаете, майор. Но вы поплатитесь, учтите. А сейчас я требую возвратить мои вещи и освободить.

— Пожалуйста,— Рыскаль вынул из портфеля

папку с документами, портфель придвинул по столу к Зеленцову.

— А документы?

— Документы я передам по назначению.

Рыскаль вызвал старшину и велел проводить гражданина Зеленцова до выхода. Зеленцов вышел, не прощаясь, вполне уверенный в гибельной ошибке майора. В голове уже мерещились формы мщения, мелькали фамилии должностных лиц, способных осуществить кару... Не знал Валерий Павлович о том, что он — уже не подающий надежды руководитель, а прохвост, и об этом кое-кому известно.

Едва дверь за Зеленцовым закрылась, как зазвонил телефон. Майор поднял трубку и узнал от дежурного, что дозваниваются из девятнадцатого отделения милиции. Некто Демилле Евгений Викторович явился туда и утверждает, что проживал в улетевшем доме. Майор придвинул к себе список, не отнимая трубки от уха. Бешенство еще бурлило в нем.

Ага, вот и Демилле... Незарегистрированный бегун, вот оно как! Тут непрописанный летун, там незарегистрированный бегун, мать их ети! А все распутство проклятое! Почему от жены сбежал? Зачем теперь хочет вернуться? Ну нет! Майор решительно пригладил ладонью свое «воронье крыло» — жест этот в Управлении знали. Он означал неколебимую твердость.

— Передайте этому Демилле, чтобы катился колбаской! — прокричал он в трубку.— Не проживает он в доме, жена показала. Никаких сведений о семье не сообщать!

Вот так — отчасти благодаря Зеленцову — решилась судьба Евгения Викторовича. Слова майора покатились по служебным каналам и достигли незарегистрированного бегуна в несколько смягченном виде, но с неизменной сутью.

...Я не буду описывать дальнейшую деятельность майора в субботу; скажу только, что он вернулся домой в первом часу ночи, чрезвычайно усталый, но удовлетворенный работой. Сделано было много, еще больше предстояло сделать. Он уже мысленно сроднился с домом и, ложась в ту же ночь рядом с женою Клавой, рассказал ей всю правду (он всегда рассказывал ей правду о служебных делах, знал — Клава не подведет). Добавил, что жить им, вероятно, придется в доме на Безымянной.

Клава вздохнула, но лишь теснее прижалась к Игорю Сергеевичу. Майор знал, что так оно и будет — с войны были вместе.

— А знаешь,— произнес он мечтательно,— там ведь такое можно устроить! Они сейчас, как стадо овец,— потерянные, жалкие людишки. Им порядок нужен, уверенность, спокойствие... Мне большая власть дана, Клава, я должен оправдать.

Засыпая рядом с верной Клавой, майор воображал картины счастливой жизни в кооперативе, чистоту нравов, добро и порядок. По правде сказать, все об этом истосковались. Неужто нельзя хоть в одном месте...

Майор заснул, исполненный надежды и решимости, а мне что-то не спится, и мерещится мне наше государство в виде причудливого многоквартирного дома, в котором царят чистота и порядок. Странна его архитектура: торчат островерхие башенки, где живут поэты; башенки эти сделаны отнюдь не из слоновой кости, а из хрусталя — поэты на виду днем и ночью. В многоэтажных колоннах, подпирающих крышу, я вижу ряды освещенных окон — там живут рабочие и колхозники, а между колоннами на страшной высоте летают самолеты Аэрофлота. С покатой крыши, где устроились министры, академики и депутаты Верховного Совета, то и дело стартуют в космос ракеты; до космоса же — рукою подать, потому что здание наше выше всех мировых гор и пиков.

Соты интеллигенции выполняют роль фриза, на котором вылеплены барельефы, символизирующие союз искусств и наук; музы пляшут, свободно взмахивая руками, а на карнизе сидят ангелы и болтают в воздухе босыми пятками.

Под крышей крепкой власти, подпираемой могучими колоннами трудящихся, лежит наша страна — от Калининграда до Камчатки — и просторам природы вольно дышится под охраной человека. А посреди страны, где-то в районе Урала, стоит гранитный монумент Коммунизма, на котором высечено: «Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всем народам!»

Мечтания и видения, милорд. Видения и мечтания...

Вокруг монумента, разбросанные на склонах гор, лежат покрытые мхом плиты. Это могилы тех человеческих качеств и пороков, которых уже нет в нашем доме. На них написано: «Ложь», «Лицемерие», «Глупость»,

«Хамство», «Себялюбие», «Подлость», «Трусость»...— великое множество плит; по ним, перескакивая с одной на другую, толпы туристов добираются к монументу.

Далекий, затерянный где-то в просторах, монумент Коммунизма манит нас. Мы еще верим в него, олухи царя небесного, в то время как практичные люди давно освободились от иллюзий.

Я тоже олух царя небесного, милорд. Мне кажется, что между просто олухом и олухом царя небесного есть ощутимая разница. Просто олухи представляются мне тупыми, несмышлеными, вялыми людьми, в то время как олухи царя небесного сродни святым и блаженным. В них запала какая-то высшая идея, они мечтают и горюют о ней, не замечая, что жизнь не хочет следовать этой идее — хоть убейся!

Мы, многочисленные олухи царя небесного, с детства верим в светлое будущее. Его идеалы, высеченные в граните, представляются нам настолько заманчивыми и очевидными, что нас не покидает удивление: почему, черт возьми, мы не следуем им?

Мир, проповедуемый нами, начинен ныне таким количеством взрывчатки, что случись какая-нибудь искра — и он разлетится вдребезги, как елочная игрушка, свалившаяся с ветки.

Труд, необходимый нашему телу и духу, исчезает с лица Земли, как реликтовые леса: одни не могут найти работу, другим на работе делать нечего, третьи и вовсе работать не хотят.

Свобода, манящая нас с пеленок, посещает лишь бродяг и нищих. Мы же довольствуемся осознанной необходимостью и, обремененные тяжестью осознанных обстоятельств, тщетно твердим себе, что мы свободны, потому что понимаем — насколько несвободны.

Равенство, признаваемое всеми на словах, оборачивается хамством, потому что нам неведома иная основа этики, кроме страха, а раз мы уже не боимся ближнего своего, стали ему равны, то можно послать его подальше на законном основании.

Братство, знакомое нам понаслышке, по заповедям какого-то мифического чудака, зачем-то вознесшегося на небеса, выглядит странной смесью национализма и шовинизма — национализма по отношению к одним братьям и шовинизма по отношению к другим.

И наконец Счастье... Ах, что говорить о Счастье?

Таковы мы, олухи царя небесного, затаившие в себе идеалы, которым сами же не следуем. Чего же стоит наш превозносимый повсюду разум? Почему мы не можем совладать с собственным стяжательством, себялюбием и глупостью? Зачем мы ищем пороки вне себя, а внутри не замечаем? Где предел нашему лицемерию?

И вдруг, к концу двадцатого столетия от рождества Христова, мы с изумлением обнаруживаем, что уперлись в стенку. Дальше, как говорится, некуда. Пока мы поем гимны светлому будущему, тучи вокруг нас сгущаются, а впереди лишь мрак ядерной войны или всемирного голода. И это при том, что в наших руках такое техническое могущество, которое позволило бы нам, обладай мы хоть каплей разума, превратить Землю в цветущий сад...

Воистину олухи царя небесного!

ЧАСТЬ II

Скитания


Все на субботник!

Писание книг, когда оно делается умело (а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так), равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать все,— так и ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать...

Л. С.

Глава 13.

АРХИТЕКТОР ДЕМИЛЛЕ

Евгений Викторович считал, что интерес к архитектуре пробудился у него в детстве, на прогулках с нянькой Наташей и младшим братом Федором. Отец по воскресеньям отсылал Наташу с мальчишками в центр и наказывал гулять в Летнем или в Михайловском саду и по набережным. Сам запирался в кабинете и писал монографию «Внутренние болезни». Анастасия Федоровна хлопотала с годовалой Любашей.

Потом уже, незадолго до смерти, рассматривая листы того злосчастного проекта, отец признался, что отсылал их на прогулки с воспитательной целью. «Видишь, не пропало даром, Жеша. Архитектурой дышат, как воздухом, она душевный настрой создает...» Если бы он знал тогда, что видит последний настоящий проект сына, а дальше все покатится к привязкам, к халтуре, к «типовухе»...

На Наташе было цветное крепдешиновое платье и туфли-танкетки, как их тогда называли. Солдаты в гимнастерках, перепоясанных черными ремнями с беспощадно надраенными бляхами, пялили на няньку глаза, заигрывали: «Такая молодая, а уж два пацана! Шустренькая!». Наташа заливалась краской, шла твердо, так что вздрагивали завитки перманента. Женя и Федька, взявшись за руки, чинно следовали за нею.

Михайловский сад был еще запущен после войны, павильон-пристань Росси зиял выбитыми окнами в боковых портиках, но уже собирались под сенью полуротонды старики, пережившие блокаду, играли в шахматы

и домино. Маленький Демилле, смутно помнивший раннее детство во Владивостоке, кривые улицы, взбиравшиеся на сопки, неуклюжие домики, бараки, удивлялся тому, что огромное здание с колоннами (павильон представлялся тогда огромным) выстроено специально для стариковских игр. Мальчики спускались по ступенькам к Мойке и пускали по гладкой воде скорлупки грецких орехов, которые Наташа колола своими молодыми зубами. Отсюда видны были горбатые арки мостиков, из тени которых выплывали на солнечный свет нарядные крашеные лодки с гуляющей публикой.

Летний сад не пользовался благосклонностью няньки; Наташа не одобряла обнаженных мраморных женщин, торчащих на самых видных местах с непонятными предметами в руках. Тем не менее, выполняя волю профессора, она водила детей и туда; шла по главной аллее быстро, не поднимая глаз; на вопросы детей, касающиеся статуй, отвечала возмущенным пожатием прямых худеньких плеч, на которых трепыхались при этом волнистые отглаженные рюши.

Демилле украдкой поглядывал на крепкие каменные груди, которые хотелось трогать пальцами. Он читал надписи на табличках и давал пояснения Федьке.

— А это кто? — спрашивал младший брат, задирая голову перед очередной статуей.

— «Милосердие»,— читал Женя.

— Милосердие? Это значит, что у нее милое сердце,— догадывался Федор.— А почему она такая противная?

— Вот уж правда! — не выдерживала Наташа.— Ни кожи, ни рожи... Пойдемте, там мороженое продают!

И они мчались к решетке на набережной, где стояла тележка мороженщика на дутиках, и, заняв очередь, следили за священнодействием: одна вафля, другая, шарик мороженого на ложке — и вот уже из блестящего аппарата выдавливается идеальный кружок в вафельной обкладке с толстым слоем мороженого, которое так приятно было вылизывать кончиком языка, оставляя на ободе вафельного колесика глубокую круговую выемку.

Вероятно, именно тогда, в темных широких аллеях Летнего сада, или на просторах Марсова поля, или на гулких, как барабаны, мостах, по которым катили красные трамваи, или в бесчисленных арках Гостиного, или в прохладном лесу колоннады Казанского собора, у Жени Демилле возникло ни с чем не сравнимое ощуще-

ние архитектурного объема. Он сразу уловил главное в архитектуре — организацию пространства — не вдаваясь в мелкие подробности направлений и стилей, и город вырастал перед ним единым организмом, как лес, в котором аукались поколения.

Поначалу это не было осознанным интересом. Мальчик Демилле лишь замечал, что каждое место города звучит по-своему — родители начали учить его музыке в девять лет, «частным образом», как тогда говорили, для чего два раза в неделю на дом приходила учительница Надежда Викентьевна — пожилая дама «из бывших» с матовым желтым лицом, в бархатной фиолетовой шляпке с вуалькой; Женя осваивал этюды Черни один за другим, весь альбом — и вот по прошествии нескольких месяцев обнаружил, что каждый номер сам собою связался с тем или иным местом прогулок. Первый этюд для правой руки возникал в памяти всякий раз, когда они с Наташей спускались с Литейного моста и сворачивали направо к Летнему саду, а симметричный басовый для левой выскакивал у полукруглой решетки Михайловского сада, огибавшей церковь Спаса-на-крови. Вскоре весь альбом получил прописку: этюды для выработки самой разнообразной техники и выразительности — стаккато, легато, аккорды, крещендо и диминуэндо, пианиссимо и фортиссимо — легли точно в назначенные места: этот в арке Главного штаба, тот на Исаакиевской, третий — на улице Росси, да так прочно, что спустя десятилетия давали знать о себе, внезапно выныривая из памяти во время прогулок Евгения Викторовича с какой-нибудь очередной возлюбленной.

Демилле в шутку говорил уже в институте, что первым учителем архитектуры у него был Карл Черни — недоумение, конечно... кто такой? может быть, Карл Росси? — вы оговорились! — нет, нет, Карл Черни... хотя занятия музыкой как-то сами собой прекратились примерно в седьмом классе. К этому времени Женя достиг «Осенней песни» Чайковского и первой части «Лунной сонаты», которую он исполнял специально для отца по вечерам, неизменно вызывая у Виктора Евгеньевича слезу.

Тогда уже он интересовался архитектурой серьезно, поощряемый отцом, приносившим ему книги о петербургских зодчих, фотографические альбомы памятников. Но еще больше занимал его собственный проект — тот самый спичечный дом, о котором я уже упоминал. Де-

милле начал строить из спичек лет в одиннадцать — научил его этому занятию Иван Игнатьевич, хозяин дома с мезонином; он пускал мальчишек в свой сад, угощал яблоками, дождь пережидали наверху, в мезонине — ходили туда Женя с Федькой да три-четыре их приятеля. Иван Игнатьевич был мастером на все руки, строгал, клеил, вытачивал... как-то раз принес наверх полную шапку спичек и клей «гуммиарабик». Приятели попробовали — разонравилось быстро, слишком кропотливая работа,— но Демилле был захвачен и, легко освоив нехитрую науку, принялся строить.

Иван Игнатьевич показал, как кладется классический пятистенок, и вскоре у них уже была миниатюрная изба с крылечком, петухом на коньке крыши, крытой дранкой, для которой использовался материал спичечного коробка, и даже с наличниками на окнах из той же дранки. Женя приходил уже один, регулярно — весь строительный сезон, длившийся с апреля по октябрь. На следующее лето возник замысел дворца — Женя увидел его сразу, уже законченным, а потом принялся прорабатывать детали. Дворец строился пять лет, замысел видоизменялся, усложнялся и пришел в 1955 году к Дворцу Коммунизма, «национальному по форме и коммунистическому по содержанию», как определил Иван Игнатьевич, ревностно наблюдавший за строительством. Это было довольно-таки причудливое сооружение, сочетавшее традиции русской архитектуры с увлечениями пятидесятых годов — башенки, шпили, балконы и террасы — сбоку приклеилась луковка церкви. Иван Игнатьевич не одобрял, но Женя серьезно объяснил ему, что ежели существует свобода вероисповедания, то хочешь не хочешь нужно обеспечить верующим возможность ею пользоваться. Старик улыбался в усы: «Пускай, раз так...» Короче говоря, дом был многоцелевой — и жилой, и общественный, с ярко выраженным коммунистическим характером. После долгих раздумий Женя оставил в личном пользовании предполагаемых обитателей дома лишь спальни, помещавшиеся в островерхих башенках с узкими, напоминавшими бойницы, окошками — таких башенок было шестнадцать, по числу советских республик; над каждой торчал маленький бумажный флажок соответствующей республики. Башенки располагались по периметру сооружения, вроде как башни Кремля, но не такие величественные. Здание было асимметричным, имело внутри несколько

главных объемов — игровой зал под целлофановым куполом (для каркаса Женя использовал медную проволоку), зал заседаний со шпилем, в нижнем этаже помещение для столовой и общей кухни. Крытые галерейки, соединявшие башенки-спальни с комнатами общественного пользования, причудливо изгибались наподобие «американских гор», придавая дому странный, сказочный вид. Женя объяснял Ивану Игнатьевичу, что сделано это для разнообразия, чтобы детям можно было играть в прятки и пятнашки. Во всяком случае, клеить бесчисленные лесенки и виражи галерей, причудливо переплетать и соединять их было главнейшим удовольствием.

Потом уже, вспоминая об этом детском проекте, Демилле понял, что привлекала его причудливость топографии, неосознанное желание разрушить строгий геометрический облик интерьера паутиной ходов.

Много раз Евгений Викторович жалел об утрате спичечного дома. Он сам не понимал, как можно было враз все бросить... Этакая юношеская горячность!

В ту памятную весну пятьдесят шестого года Евгений заканчивал девятый класс; как-то в мае увидел старика на участке, тот сгребал прошлогодние подсохшие листья и поджигал их. Сизый дым выползал из невысоких холмиков, струился вверх, было тепло. «Ну, что, Женя, будем заканчивать коммунистический дом?» — спросил старик. «Коммунистический? — усмехнулся Демилле.— Стоит ли? Столько наворотили, что теперь не достраивать, а ломать надо!» Иван Игнатьевич оперся на грабли, пристально взглянул на Евгения. «Что это с тобой, Женька?» — «Ничего! — огрызнулся Демилле.— Мы, оказывается, не Дворец Коммунизма строили, а..!» — «Вот ты о чем...— вздохнул старик.— Что ты можешь знать...» — «А вот знаю! — закричал Женя.— У меня два дядьки были! Где они? Может быть, скажете?»

Иван Игнатьевич отвернулся, подгреб граблями листья, снова остановился. «Дом все равно надо достраивать, парень. А что до родных да близких, то...» — он опять вздохнул и принялся за прерванную работу.

— Сами достраивайте, Иван Игнатьевич,— сказал Женя, отходя от забора.

Такая реакция на прошедший недавно Двадцатый съезд была достаточно типична для юношей, бывших до того примерными пионерами и комсомольцами, передовой сменой, любимыми «внуками» вождя. Женя Де-

милле не был исключением. Учился он великолепно, легко и свободно, был обшителен и мягок, уважал авторитеты, потому постоянно носил до седьмого класса две красные нашивки на левом рукаве школьной курточки, что означало должность председателя совета отряда. Отсюда, кстати, и проект Дворца Коммунизма — здания будущего, в котором припеваючи заживут представители всех свободных народов, населяющих Союз. Отсюда же святая вера в идеалы, и звонкие рапорты дрожащим от волнения голосом, и суровые проработки двоечников на заседаниях совета отряда, и ревностные соревнования между классами, и... вдруг все рухнуло, будто выбили опоры, перевернулось с ног на голову, оказалось ложью, жестокостью... Юный Демилле нешуточно пережил это потрясение.

Потому в то лето между девятым и десятым классами строительство не было продолжено, а осенью Иван Игнатьевич умер. Демилле узнал об этом случайно, увидев у калитки похоронный автобус с траурной чертой да несколько человек провожавших. Он постоял в отдалении, запоздало коря себя за последний разговор со стариком... ничего уж не исправить!.. подойти к провожавшим не решился, ибо не видел там знакомых лиц: несколько стариков и старух, худой высокий мужчина в черном пиджаке, выглядевший главным в этой группе, беременная молодая женщина. Так и простоял, пока не вынесли из дома обитый красным кумачом гроб, на котором сверху лежала буденовка и рядом — орден Красного Знамени.

Потом, уже от матери, питавшейся, в свою очередь, соседскими слухами, Женя узнал, что незадолго до смерти к Ивану Игнатьевичу вернулся репрессированный в сорок девятом году сын — «Слава богу, все-таки дождался!» — сказала Анастасия Федоровна. Демилле вспомнил высокого мужчину, его жилистые руки, поправлявшие на крышке гроба старую буденовку... вроде бы дождалась его и невеста, с которой он был тогда разлучен, а теперь наконец встретился, она уже ждет ребенка.

Действительно, вскоре Женя стал встречать на улице возле дома женщину с коляской, в которой дергал ручонками ребенок, судя по розовому одеяльцу — девочка. Заговорить с женщиной, признаться в знакомстве с Иваном Игнатьевичем Демилле так и не решился. Ему казалось, что он предал старика.

Уже следующим летом эта семья покинула старый дом, окна забили досками, сад зарос глухой травою. Однажды Женя перелез через забор и забрался в мезонин снаружи, по водосточной трубе. Там было мертво, в углу он нашел лишь груду пустых спичечных коробков. Спичечный дом исчез. Вероятно, выбросили, а может быть, увезли с собой. Вскоре снесли и дом Ивана Игнатьевича.

У Жени Демилле тогда были уже другие заботы. Он стал студентом архитектурного факультета инженерно-строительного института, с восторгом открывая для себя новые имена и направления в архитектуре, которых раньше будто не существовало: конструктивизм, Корбюзье, Нимейер... Вообще, время было бурное, повеяло надеждами, в воздухе носились стихи. «Кто мы — фишки или великие? Гениальность в крови планеты!» Чувствовали себя великими, фишками стали чувствовать себя позже, лет через пятнадцать. Ночные сборища, споры до хрипоты, проекты, проекты... То тут, то там взрывалось фейерверком новое имя, взбегало на звездный небосклон и утверждалось на нем, либо лопалось с оглушительным треском. Демилле немного опоздал; «новая волна» в искусстве состояла из поколения, родившегося в начале тридцатых; мальчишки рождения сороковых с упоением вторили молодым кумирам, лишь надеясь в будущем слиться в следующей «новой волне», и препятствий тому не видели.

Первый гром грянул в шестьдесят четвертом году, когда Демилле уже закончил с отличием факультет и был принят на работу в крупный проектный институт, в мастерскую архитектора Баранцевича. Было договорено, что Демилле продолжит работу над идеями, заложенными в его дипломном проекте (Евгений Викторович представил к защите разработку торгового центра для районов Крайнего Севера; интересно, что был в этой работе далекий отзвук спичечного дома — веер крытых галерей, сходившихся к центральному залу,— смутное эхо детства).

Но внезапно тему пришлось сменить. Баранцевич, пряча глаза, говорил что-то насчет излишней усложненности, влиянии Запада — сам же на защите год назад хвалил, называл идею свежей и оригинальной... короче говоря, молодого Демилле перебросили на проект гостиницы для «Интуриста» в Пицунде.

Но до этого события были легкокрылые студенческие

годы, и честолюбивые мечты, и увлечение старыми мастерами — любимцем стал Карл Росси,— Женя снова и снова рассматривал планы зданий и чертежи фасадов, исследовал постройки в натуре, благо все под рукой! — волшебно звучавшие с детства архитектурные термины: антаблемент, архитрав, портик, каннелюра, пилястра — обретали жесткий функциональный смысл, вязались в единую сеть стиля и почерка архитектора. Демилле осторожно примерял свою фамилию в ряду великих, почти тайком от себя: Растрелли, Кваренги, Ринальди, Росси, Демилле. Было похоже... Юношеские его терзания, проистекавшие от французской фамилии, несколько поутихли: вот, получилось же, что люди с иностранными фамилиями, зачастую русские в первом поколении, тем не менее внесли блистательный вклад в нашу культуру, соединили ее с мировой, сохранив при этом самобытность и державность, безграничность русской идеи.

...Ринальди, Росси, Демилле...

Куда испарились те мечтания? Когда это произошло?.. Но их уж нет, ушли, точно вода в песок, смешно сейчас об этом говорить, а между тем лишь только они пропадают, так пропадает и человек, мельчает, покоряется рутине и уже годится разве на то, чтобы криво усмехаться над великими притязаниями молодости и предрекать юным: погодите, жизнь вас научит... За двадцать лет Демилле прошел путь от «все могу» до «ничего не хочу»: там погнался за выгодным и легким проектом, здесь поленился доказывать свою правоту, тут испугался необычности задачи. Архитектурный романтизм просыпался, случалось, в какой-нибудь влюбленности, когда Евгений Викторович садился на своего конька и буквально открывал глаза на красоты города благодарной слушательнице, прекрасно сознавая при этом, что движет им не только любовь к архитектуре, но и желание «запудрить мозги» доверчивому созданию (доверчивость тоже имитировалась бывало, ибо обе стороны стремились к одной цели). Правда, вдохновлялся нешуточно и даже перебирал вечерами старые эскизы, по чему Ирина безошибочно определяла наступление нового увлечения... так с той же самой Жанной был связан последний конкурсный проект Демилле, получивший в 1975 году первую премию на закрытом конкурсе, проводимом совхозом-миллионером (Дворец культуры), однако он же стал и каплей, перепол-

нившей чашу, ибо строить решили не по проекту Демилле (дорого, необычно!), а по другому, заурядному и скучному. Таких неосуществленных проектов у Евгения Викторовича к сорока годам накопилось ровным счетом семнадцать; единственным его сносным творением, на которое он мог бы взглянуть в натуре, был плавательный бассейн в городе Игарке, не считая, разумеется, каких-то частных проработок в проектах руководителя мастерской и других архитекторов со званиями, привязок типовых проектов и вполне ординарных, не отличавшихся по внешнему виду от типовых, служебных построек в рабочих поселках Севера: три бани, два магазина, столовая. О них Демилле вообще предпочитал не вспоминать.

Раньше доходило до галлюцинаций: новый замысел настолько захватывал воображение Демилле, что задуманное здание выплывало по пять раз на дню в самых неожиданных местах, располагавших к такому появлению. Стрелка Васильевского острова была излюбленным местом мысленных экспериментов. Демилле неоднократно застраивал ее самым причудливым образом, сознавая, впрочем, что Биржа Тома де Томона и Ростральные колонны все же остаются непревзойденными по своей лапидарности и силе.

Последние годы и замыслов было поменьше, и яркость их внутреннего видения поубавилась. Замыслы чаще раздражали: «А! Все было! Было!» — или же другой вариант: «Все равно не построят...» Получилось так, что он бы мог еще сочинить дерзкий проект, но «они» не оценят, не разрешат, «зарежут»... Кто «они» — конкретно сказать было трудно. Вероятно, ученый совет проектного института, где Демилле продолжал трудиться в должности старшего архитектора (ГАПом, то есть главным архитектором проекта, так и не стал), или руководство Союза, или же косные твердолобые заказчики.

Денег было достаточно, особенно когда пошла халтура на стороне, перепадали премии, случались и частные заказы. «Кусок хлеба с маслом», как выражалась Анастасия Федоровна, уже давно перестал быть предметом каждодневной заботы, но разве об этом он мечтал? Разве стоит где-нибудь постройка, на которой благодарные потомки вывесят доску с упоминанием: «построено архитектором Е. В. Демилле»?

В Союз архитекторов Евгения Викторовича приняли

после той первой премии, как бы в качестве компенсации за отказ от строительства. Рекомендовали его Баранцевич, уже ушедший из института на пенсию, и занявший его место пятидесятилетний Петр Сергеевич Решмин, ярый сторонник типизации и унификации, лепивший проекты жилых домов из стандартизованных узлов и гордившийся разнообразием, которое он мог извлечь из ограниченного набора элементов. Это архитектурное направление совпало со строительной политикой, с курсом на индустриализацию строительства. Демилле называл его «игрой в кубики»... кстати, даже в детстве он этим не увлекался, предпочитал фантазировать на спичках.

За два месяца до вознесения дома Демилле отпраздновал свое сорокалетие. Назвали гостей, заключив с Ириной временное перемирие — раз в жизни бывает! — будто что-нибудь бывает два или три раза в жизни — говорились тосты, преувеличивались заслуги... член Союза... первая премия там, вторая сям... дерзкие проекты, смелые идеи. Демилле знал: вранье! Напился в тот вечер; оставшись с Ириной наедине, поставил на проигрыватель пластинку Окуджавы и пел с ним в унисон, размазывая по щекам пьяные слезы: «Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь? Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь...»

С того дня и вошел Евгений Викторович в штопор, так плачевно завершившийся апрельской ночью на улице Кооперации.

Но не только профессиональная нереализованность была причиной того бедственного состояния, в котором находился наш герой. Эту сторону дела он как раз видел, сознавал — мучился, злился, ругая больше себя, чем обстоятельства,— за слабость характера, разбросанность, лень. Но более глубокой причиной был крах в его душе общественной идеи, о котором он лишь догадывался. Каждый человек — осознанно или неосознанно — воспитывает в себе определенную общественную идею, то самое устройство окружающей жизни, систему, о которых мы говорили. И судьба гражданина во многом зависит от соответствия внутреннего и внешнего укладов, а точнее даже — от развития собственной общественной идеи в окружающей действительности.

Такова уж, вероятно, черта русского человека: он очень ревностно относится к общественному развитию, к его тенденциям, постоянно прикидывает — куда мы

идем? правильно ли? Любой разговор за столом непременно сводится к экономике и политике... и горе гражданину, если его идеалы не находят подтверждения в реальности! С реальностью-то не поспоришь! Отсюда и уклонение от практической деятельности, и неверие в то, что можно что-то изменить, и разгул, и пьянство...

Идея, сформировавшая Евгения Викторовича Демилле, не отличалась особой оригинальностью. На первый взгляд, она была даже банальна, ибо ее наименование мы слышим чуть ли не каждый день по радио и телевидению, читаем в газетах. Это была идея социалистического интернационализма, всеобщего братства.

Как ни затерты эти словосочетания, в них есть глубокий смысл. Демилле, при его нелюбви к громким фразам и лозунгам, никогда не признался бы в том, что движет им именно эта идея, нашел бы какие-нибудь другие слова, но душа у него болела именно по всемирному братству людей всех рас и национальностей, при сохранении каждой нацией присущего ей самосознания, культуры и проч.

Это отразилось уже в постройке спичечного дома, в котором юный архитектор разместил интернациональное семейство, не забыв выделить каждому отдельную спаленку с флагом, но тут же вмонтировал и русскую церквушку, как бы давая понять, что дом предполагается все же построить в России, а православная вера неотделима от русской истории и культуры.

Ничего подобного, конечно, он тогда не думал. Делалось это интуитивно.

Корни интереса Евгения Викторовича к интернациональной идее брали свое начало из французского прошлого семьи. Противоречие между русским самосознанием и французской фамилией может показаться смехотворным лишь тому, кто носит фамилию Иванов или Кондратьев, к примеру,— в самом деле! — простое сочетание звуков, сотрясение воздуха, непривычный порядок букв, с одной стороны, а с другой — язык, воспитание, привычки, литература... кровь! Ан нет... Ударение на последнем слоге, легкое ...лле! плюс три процента французской крови оказывали серьезную конкуренцию патриархальной русскости бабок и прабабок, становившихся женами потомков Эжена Милле по мужской линии.

Все это заставляло детей Виктора Евгеньевича — Женю, Федю и Любу — как-то определяться внутренне,

и каждый сделал это по-своему. Демилле интуитивно избрал интернационализм, Федор ударился в русофильство, а Любаша обращала в русскую нацию (как раньше — в веру) своих детей разных национальностей.

При всем том Евгений Викторович считал себя истинным патриотом, больше, чем Федька!.. тот мало что отказался от своей фамилии, но и стал неприязненно относиться к любым другим нациям — а Евгений при глубокой любви к русской культуре, природе, языку не переставал искать связи между Россией и другими странами, а когда находил — радовался. Взять хотя бы Росси. Тем не менее червоточинка фамилии смущала, не позволяла обнаружить патриотизм, всегда присутствовала боязнь показаться русопятом.

И все же Демилле сорвался, пошел по пути Федора, когда нарек сына Егором и дал фамилию Нестеров. Хотел, чтобы сын чувствовал себя уверенней в жизни, но в глубине души угнездилось чувство вины перед всеми Демилле, начиная с Эжена и кончая дядьками Кириллом и Мефодием.

Тут важно подчеркнуть, что идея была именно социалистической, то есть включала в себя принципы и идеалы, утверждаемые научным коммунизмом: распределение по труду, правовое равенство граждан, приоритет общественных интересов над личными и проч. Демилле был честен и не мог без боли смотреть на нарушения социалистической законности, коррупцию, воровство и взяточничество, которые (будем смотреть правде в глаза) еще нередки у нас, а главное, не выражают тенденции к убыванию. Однако борцом он тоже не был, предпочитал негодовать и печалиться про себя; в партию не вступил, считая, что многие карьеристы лезут туда исключительно из корысти, и не желая быть с ними в одной компании. Кроме того, проявлял щепетильность: не звали, а напрашиваться не привык. В результате Демилле несколько отошел от жизни, а так как желанной справедливости никак не наступало, более того, моральный климат за последние десять лет резко изменился к худшему, то Демилле и вовсе с головою ушел в приключения, стараясь не замечать ничего вокруг. Остались дом, Егор, непрерывное выяснение отношений с женою, выпивки с приятелями, свидания с возлюбленными (партнершами, любовницами) и необременительное исполнение служебных обязанностей. А что происходит вокруг, куда катимся — это его будто не

интересовало. «Что я могу сделать?» — говорил он себе.

И все же время от времени острая тоска по потерянным идеалам снедала Демилле. Личных целей он не ставил себе уже давно, не считая достижения мелких удовольствий, общественная же цель все больше представлялась недостижимой в принципе из-за подлого устройства человеческой природы.

Так он и жил последние годы — без целей и идеалов — маленький архитектор Демилле, пока не попал в грозный и таинственный переплет мировой стихии.

Глава 14.

ТЕОРЕТИКИ

Первым временным пристанищем Демилле после потери родного дома стал детский сад, куда ходил Егорка. Судьба точно хотела заставить Евгения Викторовича начать сначала: с детства, с младенческой чистоты и ясности. Но ясности и чистоты не дала.

Как мы помним, Евгений Викторович попал сюда в состоянии, близком к помешательству. В отличие от нас с вами, милорд, он и не подозревал, что случилось в ночь с пятницы на субботу, а увидел лишь неприглядный результат. В голову втемяшилось слово «эвакуация», смутно рисовался экстренный снос дома, производимый неимоверным количеством солдат. Это все фантазии Каретникова!.. Как архитектор, Демилле понимал, что снести девятиэтажное здание за те восемнадцать часов, в течение которых он отсутствовал, будучи сначала на службе, а затем на рандеву с девицей,— невозможно. Если и возможно, то куда делись остатки?.. И следов вокруг никаких, свидетельствовавших о скоплении людей и механизмов.

Пребывание в детском саду пролило свет на проблему и снабдило Евгения Викторовича существенно новой информацией.

Но для этого ему пришлось познакомиться еще с одним ночным сторожем. Им был уже упоминавшийся Костя Неволяев, аспирант кафедры астрофизики.

Костя был человеком добрым, но со странностями. Собственно, я не уверен, можно ли назвать странностями то, что он до тридцати лет не только не был женат, но и... как бы это сказать? — не знал женщин. Ему это

было как-то не нужно, несмотря на известное внимание женщин к его бороде и ученым занятиям.

Неволяев и в сторожа сбежал отчасти благодаря женщинам. Жил он в аспирантском общежитии Академии наук неподалеку от улицы Кооперации, в комнате на троих, причем два его товарища (один из Ташкента, а другой — из Баку) отнюдь не разделяли целомудрия Константина, и в небольшой комнатке довольно-таки часто появлялись прелестные девушки из Гостиного двора или аэрофлотских касс, молодые бухгалтерши и студентки, которые засиживались допоздна, а иной раз и оставались на ночь, несмотря на бдительность комендантши тети Вари, а вернее сказать, благодаря ее мягкости и любви к урюку, поставляемому регулярно из Баку либо же Ташкента.

Потому Костя и подался в ночные сторожа, однако это не единственная причина. Существенную роль играл и приработок к стипендии, и возможность в полном одиночестве заняться теоретическими выкладками в непогоду, а в ясные ночи вести наблюдения в собственный телескоп с крыши подведомственного детсада.

Демилле, не задумываясь, выложил Косте свои беды, ибо был человеком открытым, обычно не таящим ничего о себе, и тут же узнал наконец страшную правду: дом его прошлой ночью улетел!

— Послушайте, как это — улетел?! Вы шутите! — в сильном волнении воскликнул Евгений Викторович.

— Да зачем же мне шутить,— ответил Костя, опуская маленький никелированный кипятильник в стакан с водой и намереваясь приготовить чай.— Я сам видел, честное слово.

— И что же вы сделали?

— Понаблюдал звезды, а потом пошел спать,— сказал Костя.

Он внимательно следил за кипятильником, на спирали которого стали образовываться крошечные серебряные пузырьки.

Демилле вскочил с дивана и прошелся по небольшому кабинету директора, служившему ночным обиталищем Кости.

— Но... неужели это вас не заинтересовало? Хотя бы как ученого?

— Заинтересовало, конечно,— протянул Костя.— Евгений Викторович, если бы вы знали, сколько загадочного в природе! Я не могу распыляться. Мой объект

исследования — черные дыры. Это почище летающих домов, ей-богу!

— Но там же были люди! Люди! — вскричал Демилле.

— А что им сделается? Никаких разрушений я не заметил,— оправдывался Костя.— Они уже где-то приземлились, не волнуйтесь.

— Откуда вы знаете?

— Приходила одна мамаша. Забрала вещички сына и оставила заявление.

— Какое заявление? — похолодев, проговорил Демилле, ибо предчувствие, сходное с тем, что осенило его на мосту прошлой ночью, снова кольнуло в сердце.

— Да там оно, в шкафчике,— махнул рукой Костя.

Демилле, сорвавшись, бросился в раздевалку; он натыкался на какие-то стульчики, игрушки — темнота была кромешная — ощупью искал выключатель... внезапно вспыхнул свет. Это Костя, последовавший за ним, включил освещение.

Евгений Викторович кинул взгляд на ровный ряд шкафчиков и шагнул к тому, на котором белела бумажка с именем и фамилией его сына.

— А как вы догада...— начал Костя, но Демилле уже выхватил из шкафчика листок заявления и впился в него глазами. По тому, как побледнел Демилле, Костя понял, что произошло что-то важное.

— Это мой сын...— прошептал Евгений Викторович, снова и снова вглядываясь в стандартные фразы заявления: «в связи с тем, что...» и «прошу отчислить».

Причина была указана такая: перемена местожительства.

— А Егорка? Мальчик был с нею? — вдруг спросил Демилле, волнуясь.

— Не знаю. Мальчика не видел,— замялся Неволяев.— Да вы не волнуйтесь, он, должно быть, во дворе оставался.

Демилле положил листочек на место и медленно побрел обратно. Костя шел за ним, гасил свет в комнатах. За Евгением Викторовичем возникало черное пространство, темнота будто преследовала его. Но он ничего не замечал.

Он понимал одно: Ирина и Егорка живы и здоровы, но по-прежнему недостижимы для него. Это заявление, так же как отказ милиции сообщить о судьбе пропавшего дома, ставило его в безвыходное положение. По

существу, у него не осталось логических возможностей узнать новый адрес семьи: власти не сообщили, сына из садика забрали, место работы жены неизвестно.

Рассчитывать на то, что Ирина сообщит свой новый адрес Анастасии Федоровне и Любаше, вряд ли приходилось, поскольку Ирина с семьей Демилле находилась в отношениях корректных, но не больше... Евгений Викторович наконец-то добрался до мысли, которую не допускал до себя: если бы Ирина желала его возвращения, она уже нашла бы способ дать о себе знать. Судя по всему, дом приземлился той же ночью неподалеку, то есть в городе, а значит, она могла позвонить утром Любаше... Но не позвонила... «Гордая!» — с внезапной злостью подумал Демилле.

Правда, кроме этой возможности, другой у Ирины не было. Оставалось надеяться, что она позвонит в понедельник на службу, объявится.

На всякий случай воскресным утром Евгений Викторович обзвонил друзей — благо, телефон в детском саду имелся! — тех, с которыми дружили домами (кроме них, были у Демилле и друзья для себя), но никаких полезных сведений не получил. О пропаже дома пока молчал по многим причинам: слишком невероятно, не поверят; не хотелось выглядеть брошенным на произвол судьбы; мысль о жалости и участии казалась оскорбительной. В ответ на некоторое недоумение друзей по поводу беспричинного воскресного звонка (друзья знали, что телефона у Демилле нет, значит, какая-то нужда заставляет звонить из автомата) — он говорил, что ему срочно понадобился фетовский перевод «Фауста», надо сопоставить с переводом Пастернака, не можете ли помочь?

Друзья, привыкшие к неожиданным желаниям Евгения Викторовича, тем не менее ничем помочь не могли. Фетовский перевод «Фауста» ныне библиографическая редкость, милорд...

Знаете, мистер Стерн, я сейчас подумал о переводах. Вот ежели такой роман, как наш, перевести с русского на английский, потом с английского на китайский, с китайского на венгерский, с венгерского на фарси, с фарси на латынь, с латыни на монгольский, с монгольского на украинский, с украинского на швейцарский, с швейцарского на русский — и сравнить то, что получилось, с оригиналом... Как вы думаете, какой вариант будет лучше — первый или последний? Мне кажется все же —

последний, ибо переводчик никогда не может удержаться от того, чтобы не внести в переводимое сочинение несколько собственных красот, а, учитывая интернациональную компанию переводчиков, красоты тоже будут со всего земного шара... хотел бы я на это посмотреть!.. роман приобрел бы английскую строгость, китайскую хитрость, венгерскую удаль, таджикскую мудрость, латинскую звучность, монгольскую зоркость, украинскую мягкость, швейцарскую сырность...

— Милорд, неужели вы не заметили, что я нарочно дурачу вас! Швейцарского языка не существует! Что же вы молчите?.. Милорд!

Однако, где же милорд???

...С этими словами я покинул насиженное место за пишущей машинкой и направился на поиски соавтора; мистер Стерн обычно всегда был под рукой, черный том номер 61 из «Библиотеки всемирной литературы» лежал на краешке письменного стола, а его цветная суперобложка занимала пустующее место среди других томов БВЛ. Таким образом мы разговаривали, глядя друг другу в глаза, кроме того, у меня всегда был перед носом наглядный пример толщины сочинения.

И вдруг он пропал... Этот том был оставлен мною во время поспешного бегства из собственной квартиры по крышам старых домов Петроградской стороны. Спустя некоторое время сержант Сергеев принес мне его по новому адресу, в квартиру моих друзей-геологов, обычно проводящих весенне-летний сезон в экспедициях. Вместе с книгой он принес и некоторые предметы хозяйственного обихода (кофемолку, чашку с блюдечком, штопор), и с тех пор мистер Стерн лишь один раз покидал мое новое жилище (я давал его читать одной даме, заинтересовавшейся рассказом о нашем совместном творчестве). Где же он, черт его возьми!

Я полез на стремянку, чтобы проверить, не присоединился ли милорд к своей суперобложке... может, погреться захотел?.. соскучился по соседям... кто там у него?.. Свифт, Смоллет, Филдинг... неплохая компания, соотечественники...

Книги на полке не оказалось. Кряхтя, я слез со стремянки, чувствуя одиночество и растерянность, и полез в рукопись, чтобы проверить, когда мы разговаривали с милордом в предыдущий раз. Я переложил листочки и убедился, что мистер Стерн подал послед-

нюю реплику в главе двенадцатой, во время знакомства с Зеленцовым.

Оставалось вспомнить, когда же я рассказывал ему о Зеленцове и что произошло с нами после? Дело в том, что у меня случился временный перерыв в работе, связанный с летним отдыхом, а когда я вернулся из Ярославской области, где жил в деревне в полном одиночестве без кота и соавтора (первого я оставил той же милой даме, любительнице изящной словесности и котов, а второго, как мне казалось, на своем письменном столе), то немедля сел за машинку, забыв (увы!) про мистера Стерна, а может быть, в убеждении, что он по-прежнему рядом со мною. Но вот он не откликнулся на обращение... его нет.

Не мог же он сам уйти? А вдруг? Но почему?

Видно, я порядком надоел ему и запутал своими рассказами о кооператорах — если так, то грустно! — значит, не умею рассказывать... Но что же делать дальше? Роман приближается к середине, и терять соавтора в это время было бы обидно.

Я подошел к окну — здесь у меня первый этаж, не то что в родном кооперативе — и увидел картинку городского лета, тяжелое мокрое белье на веревке, детскую коляску у подъезда и двух котов — Филарета и его бродячего оппонента, которые, изогнувшись подковой и задрав хвосты, перемещались по невидимой окружности с явным намерением напасть друг на друга.

Шел к концу июль. Демилле был в Севастополе, Ирина с Егоркой на даче, кооператоры занимались обменом и обивали пороги различных инстанций с целью получить новое жилье, по стране гремели позывные Олимпиады, экраны телевизоров были заполнены голами, очками и секундами.

Наш роман, напротив, находился еще в апреле: я все дальше уходил от героев по временной оси, и, когда представлял себе все, что нужно описать до отъезда Демилле в Крым (зачем? почему? к кому он туда поехал?), а его семейства на дачу (те же вопросы), мне становилось худо.

Потерять в такой момент соавтора равносильно катастрофе.

Коты наконец сшиблись с ужасным криком, вверх полетела шерсть, после чего бродячий кот позорно бежал, вопреки моим опасениям, а Филарет не спеша

потрусил к окну, вспрыгнул на карниз, а оттуда через открытую форточку проник в квартиру.

— Филарет, где мистер Стерн? — строго спросил я.

Кот спрыгнул с подоконника и направился в кухню, всем своим видом выражая презрение к легкомысленному сочинителю, потерявшему по своей халатности собеседника и соавтора.

Мне стало стыдно. Я вернулся к машинке и написал весь этот текст, попутно размышляя — что же делать дальше?

Положение представлялось трудным. Клапаны мои, если вы помните, открылись не без влияния мистера Стерна (бутылка «Токая» не в счет), и теперь я боялся, что они могут закрыться. В самом деле, милорд был единственным благодарным слушателем, терпеливо сносил болтовню, следил за действием, подогревал мой интерес к работе, помогал преодолевать лень. Кроме него, никто не был в курсе всех без исключения событий романа и не проникся к автору таким доверием. Немногие приятели и дамы, которым я рассказывал о сюжете и читал отдельные главы, отзывались о романе поразному. Одни говорили, что это «неплохо придумано», другие спрашивали, «зачем это придумано?». Я огорчался. Показать неверующим наш дом, стоящий на Безымянной, я опасался, ибо всегда был человеком лояльным, выполняющим требования милиции. Я не считал, что занимаюсь распространением слухов, описывая правдивую историю нашего дома и его обитателей, поскольку фактически знал обо всем лишь мистер Стерн, а читательская масса сможет ознакомиться с романом только с официального разрешения, когда история канет в прошлое и перестанет очень сильно тревожить умы — собственно, как она кончится и когда канет, никто не знает сейчас. Я надеялся, что буду следовать за событиями на почтительном расстоянии, и начал роман лишь в мае после трех неудачных попыток, когда Демилле уже сменил несколько мест жительства, майор Рыскаль произвел ремонт в бывшем помещении Правления, Завадовский довел рекорд динамического усилия до тонны, а я понял, что нужно спешить, иначе мне за ними не угнаться. И действительно, за два месяца, пока я рассказывал милорду о событиях той страшной ночи и последующих двух дней, герои успели натворить немало дел, в особенности Демилле, который вызывал во мне сильнейшее беспокойство. Посему я ис-

писывал страницы, заботясь только о правдивости, а уж поверят мне или нет — это потом позже...

И все же как необходимо сочинителю хотя бы одно доверенное лицо! Как нужен заинтересованный ум, живые глаза, внимательный слух! Как важна непредвзятая оценка! Милорд обладал всеми этими достоинствами и щедро дарил их мне. Кому же теперь рассказывать? И стоит ли?

Не без труда преодолел я минуту слабости, упрекая себя народными мудростями — «взялся за гуж», «назвался груздем» и «на печи сидя, генералом не станешь» («Каким генералом? Николаи?» — спросил бы сейчас милорд. Эх!..) — прежде чем решил продолжить свое предприятие.

...Евгений Викторович и Константин Петрович обедали в помещении детсадовской кухни — просторном чистом зале с кафелем, кухонными столами, покрытыми рисунчатым пластиком, и громадной электрической плитой, на которой стояли алюминиевые баки для приготовления пищи. В одном из них сохранились остатки геркулесовой каши в количестве, достаточном для питания взвода солдат. Висели по стенам поварешки и дуршлаги, а также толстые разделочные доски, мелко иссеченные следами ножей.

По торцам досок имелись надписи масляной краской: «Хлеб», «Мясо», «Рыба», «Овощи».

В кухне было прохладно и гулко.

Разговор вертелся вокруг исчезновения дома и дальнейшей судьбы Евгения Викторовича. Накладывая себе новую порцию каши, Костя сказал:

— Надо посоветоваться с нашими... Вероятно, имела место кратковременная аномалия гравитационного поля. В принципе это возможно, хотя бывает редко.

— Вам известны другие случаи? — спросил Демилле.

— Мне — нет. Да что нам вообще может быть известно? — возразил Неволяев.— За тот миг, который называется историей человечества, на Земле практически ничего не изменилось. С астрофизической точки зрения... Вообразите себе бабочку-однодневку. Она живет и умирает в полной уверенности, что природа устроена так: яркое солнце, жара, желтые одуванчики на лугу, птички поют. А если в день ее жизни идет

дождь, бабочка думает, что дождь и природа — одно и то же Ей в голову не приходит, что есть зима, например... Так же и человечество. Мы просто ничего не успеваем заметить. Время нужно мерить не годами, не столетиями и не тысячелетиями даже, а миллионами лет. Тогда видно, что все течет и изменяется. Может быть, толчки гравитации следуют с периодом в сто тысяч лет. С космической точки зрения — очень часто, а для нас каждый такой толчок — чудо...

Демилле с ненавистью смотрел на бесформенный кусок каши, будто покрытый слизью. Он не любил овсяные хлопья с детства. Преодолев отвращение, ткнул кашу вилкой и вырвал клейкий, похожий на желе кусочек.

— Да, это так...— со вздохом проговорил он и проглотил кусочек, не жуя.— Но мне-то от этого не легче. Я, к сожалению, не бессмертен.

— А насчет бессмертия — вообще чепуха! — азартно воскликнул Неволяев.— Нет никакого бессмертия! Кто бессмертен? Пушкин? Данте? Аристотель?.. Я имею в виду духовное бессмертие. Какая-нибудь паршивая тысяча лет прошла, а мы уже — бессмертен! Между тем точно известно, что через пять-шесть миллиардов лет Солнце сгорит, скукожится до размера Земли и все сгинет: книги, рукописи, картины, идеи, имена... Да и до этого прекрасного мгновения может случиться масса непредвиденного. А вы говорите — бессмертие!

Костя доел кашу и тщательно вычистил бороду, освободив ее от хлебных крошек.

— Точно известно, говорите?..— с огорчением повторил Демилле.— А вдруг что-нибудь останется?

— Что? — насмешливо спросил Костя.

— Ну, хотя бы идеи...

— В виде чего? Да вы идеалист, Евгений Викторович. Приятно встретить идеалиста в наше суровое время... Нет, ничего не останется. Ни-че-го-шеньки!

С этими словами Костя подставил грязную тарелку под струю воды и одним движением ладони смыл с нее остатки каши. Демилле, давясь, доедал свою порцию.

Костя вымыл и его тарелку, снисходительно поглядывая на Демилле, который был неожиданно сбит с толку научными откровениями.

Словно фокус в объективе изменился: только что интересующее его событие выглядело крупным, подавляло своей величиной и непоправимостью, как вдруг

отодвинулось на тысячи лет и стало мелким, обыкновенным, как падение камешка с горы, несущегося в лавине других камней и веток.

Демилле неожиданно успокоился, даже не успокоился, а как-то размяк душевно.

— А зачем же тогда жить? — раздумывая, вымолвил он.

— Как зачем? — не понял Костя.

— Ну, ведь... не имеет смысла...— жалобным шепотом закончил Евгений Викторович.

Костя рассмеялся и закрутил бороду в кулаке.

— Имеет! Еще как имеет! Смысл в другом! Не в бессмертии человека и человечества, а в истине! Докопаться до истины — разве это не оправдывает жизнь?

— Не знаю...— сказал Демилле.— Докапываться до истины, Костя, не всем дано.

— Нет, вы меня неправильно поняли! — вскричал Неволяев.— Я не только о научной истине говорю. Вот вы, например, архитектор, так? Допустим, вы спроектировали дом (при слове «дом» Демилле вновь омрачился). Так вот, дело не в том, что он простоит века, а в нем самом, в его архитектуре, в выявлении через нее художественной истины, красоты...

Демилле совсем впал в уныние, и не только потому, что вспомнил о своем родном кооперативном доме, построенном по типовому проекту, но и по профессиональным причинам. Как мы знаем, он уже давно, лет этак семь, как отошел от истинной архитектуры и занимался халтурой.

Обед закончился в молчании, Демилле допил чай и отправился на второй этаж, в спальню младшей группы, где развернул детскую раскладушку, одну из многих, заполнявших стенной шкаф, улегся на нее, свернувшись калачиком.

Костя, подумав, последовал за ним и остановился в дверях. С минуту он смотрел на малознакомого ему бездомного человека, и жалость охватила его.

— Евгений Викторович, они найдутся, не расстраивайтесь...

Демилле не отвечал, невидяще глядя в окно с низким подоконником, за которым виднелись забор вокруг фундамента и милиционер на посту.

— Я вам ключ от моей комнаты дам. Поживите пока у нас в общежитии,— продолжал Костя.— Я все равно здесь ночую, а тетю Варю уговорить можно.

— Какую тетю Варю? — слабым, больным голосом спросил Демилле.

— Комендантшу. Тариэль и Мамед возражать не будут...

— А? — переспросил Евгений.

— Соседи мои, аспиранты. Может, что-нибудь и придумают, они башковитые.

Евгений Викторович тоже почувствовал к себе жалость, и чем болезненнее звучал его голос, чем нелепей и смешней была поза на раскладушке, тем больше сострадания к себе рождалось в его душе. Ему показалось, что он маленький мальчик... игрушки на полках, кроватка, одеяльце... уменьшительные ласкались, приятно щекотало в носу, будто от слез, и подушка пахла детским молочным запахом, и холодила щеку нечаянная пуговка... Он вспомнил свою мать Анастасию Федоровну с ее любовью к уменьшительным, рассердился, как водится, на свое умиление и вообще на умиляющихся... Плюшевый кот шел по забору, осторожно переставляя лапы... Демилле заснул.

Проснулся он часов около шести вечера. Бодрости не прибавилось. Демилле спустился вниз, в кабинет, и застал у Неволяева гостей. После взаимного представления выяснилось, что это были профессор Голубицын, Костин руководитель, и два его аспиранта, Костины коллеги,— Миша Брагинский, румяный молодой человек с черной курчавой шевелюрой, и Рейн Тоом, эстонец с жесткими скулами и маленькими голубыми немигающими глазками.

Голубицын был могуч, медлителен, неповоротлив.

— У нас традиционный воскресный коллоквиум,— пыхтя, сказал профессор.— Никто не мешает, просторно... Да вы не смущайтесь!

Видимо, гости уже были осведомлены о причинах появления Евгения Викторовича в детском саду.

Голубицын указал рукою на окно, где в отдалении все так же прогуливался у забора милиционер, и спросил:

— Значит, ни кола ни двора? А я-то не мог сообразить. Вижу — что-то изменилось в округе, а что — не пойму. Любопытно!

— Я думаю, можно рассчитать, Владимир Аполлонович. Условия равновесия найдем, масса приблизительно известна,— тихо сказал Брагинский.

И они тут же (Демилле удивился внезапности)

включились в теоретический спор, касавшийся условий, необходимых для полета дома. Несмотря на то, что говорили все по-русски, Демилле не понимал ни слова, поскольку нормальные, поясняющие слова астрофизики пропускали, а употребляли лишь специальные термины: гравитационное поле, аномалия тяготения, параллелограмм сил, пси-функция... Брагинский со своим петушиным голоском наскакивал на Рейна, Голубицын удовлетворенно улыбался, задумчиво сооружая на столе башню из детских кубиков.

— Но... ведь надо что-то делать! Так нельзя,— сказал вдруг Евгений Викторович.

— Вы о чем? — мягко спросил профессор, оторвавшись от башни.

— О людях... вообще, я о людях. Понимаете, ведь должна быть уверенность. Дома летают, надо что-то предпринимать! Страшно ведь, Владимир Аполлонович...

Голубицын добродушно захохотал, его аспиранты тоже, несколько принужденно. Демилле стоял перед ними, опустив руки, пытался улыбнуться, но не мог.

— Страшно, говорите? Да и нам страшновато, мы тоже люди,— сказал профессор, оборвав смех.— Что же касается вашего дома, то (он развел руками) — не по нашей части. Явление любопытное, спору нет, но — не по нашей части. Беспокоиться нет причины, люди, насколько я понял, не пострадали. Государство поможет.

Демилле стало неудобно, что он лезет к ученым со своими житейскими заботами. В самом деле, государство ведь поможет, не должно быть так, чтобы не помогло.

В этот миг Голубицын сделал неловкое движение, задев стол. Башня покачнулась и грохнулась всею плоскостью на пол, образовав бесформенную груду разноцветных кубиков.

Глава 15.

ГЕНЕРАЛ НИКОЛАИ

Время между тем шло себе понемногу; воскресным утром кооператоры проснулись, выглянули в окна и убедились, что прошедшие сутки не были дурным сном, вверху по-прежнему голубеет полоска чистого неба,

а день, по всей вероятности, предстоит солнечный. Человек быстро привыкает ко всему; еще вчера происшедшее казалось трагичным и непоправимым, а сегодня есть кое-какие улучшения: за ночь подвели газ, а воду и свет дали еще вечером — глядишь, все образуется...

Ирина пошла будить Егорку. Сунулась было в комнату сына в ночной рубашке, но вдруг вспомнила, что старик Николаи тут рядом, окно в окно. Она накинула халатик и машинально посмотрелась в зеркало... Вот незадача! Это же теперь каждое утро будет, точно в коммуналке, а принимая во внимание общительность старого генерала...

Ирина вошла к сыну, взглянула в окно. Точно! Григорий Степанович тут как тут, улыбается, кланяется. Она тоже улыбнулась, кивнула старику и принялась тормошить Егорку. Николаи делал из-за стекол знаки — просил отворить окно. Ирина Михайловна показала: сейчас, пускай мальчик оденется. Егорка натянул штаны и отправился умываться. Ирина распахнула окно.

— Доброе утро, уважаемая Ирина Михайловна! — приветствовал ее генерал.— Как спали?

Ирина, не привыкшая к столь изысканным оборотам речи, смутилась, пробормотала — мол, все в порядке. День обещал быть теплым, из-за крыши генеральского дома выглядывал краешек солнца.

— А у меня новость для вас, Ирина Михайловна. Я уже прогуливался, знаете, я встаю рано, каждое утро гуляю. Зашел и в ваш дом. Любопытство одолевает! Вчера не решился, слишком много было милиции, заберут еще, ей-богу! — генерал рассмеялся.— А сегодня один постовой. Пустил меня!.. Так вот. В вашем подъезде висит объявление: в три часа общее собрание кооператива. Явка, как водится, строго обязательна. Вы пойдете?

— Не знаю...— пожала плечами Ирина.

— Пойдите, пойдите! И я, если позволите, тоже с вами схожу. Делать мне, старику, нечего — вот и получу бесплатное развлечение. Как вы думаете — мне можно?

— А где будет собрание? — спросила Ирина, несколько обескураженная предложением Николаи.

— Да здесь неподалеку, в школе, где Маша учительствует. Заодно покажу вам дорогу. Я там бывал не раз, пионеры приглашали...

Ирина кивнула. Она не знала, о чем еще говорить с генералом, да выручил Егорка. Он вернулся умытый, надел рубашку, и Ирина Михайловна, извинившись перед Николаи, повела сына в кухню — завтракать.

— Собрание в три часа! Ну, мы еще поговорим,— обнадежил ее Григорий Степанович.

Ирина не знала, что и думать. С одной стороны, генерал ей понравился своей обходительностью и заботливостью, но с другой... Она не привыкла к такому настойчивому вторжению в ее личную жизнь. Ирина не понимала — радоваться ей или огорчаться.

Однако размышлять над этим не было времени. Надо начинать новую жизнь на новом месте. Она быстро приготовила завтрак, заглянула в холодильник — он, конечно, оттаял, но за ночь снова промерз — проверила продукты. Придется идти в магазин... Ей попался на глаза термос генерала. Нужно отдать. Ирина взяла термос и пакет, снова отправилась в детскую.

Генерала не было видно.

— Григорий Степанович! — несмело позвала Ирина.

Генерал вынырнул откуда-то из той части комнаты, которая была скрыта от глаз Ирины. Он был в домашнем байковом костюме.

— Я к вашим услугам...

— Вот, возьмите, пожалуйста... Большое спасибо,— покраснев, сказала Ирина, показывая Николаи термос с пакетом.

— Ну что вы! Не стоит беспокоиться! — запротестовал генерал, но все же протянул Ирине палку с крюком и принял вещи.

— Чем я могу быть полезен? — учтиво поклонился генерал.— Вы не смущайтесь, уважаемая Ирина Михайловна. Мы теперь соседи. Уж простите мою назойливость... Маша у меня молчунья,— продолжал он, понизив голос,— а я люблю поговорить.

— Тогда, знаете...— в нерешительности начала Ирина, а увидев, что Николаи весь внимание, продолжала: — Вы не присмотрите за Егором? Мне в магазин надо. Вообще я его оставляю одного, но здесь, на новом месте... Как бы он не закапризничал.

— С превеликим удовольствием! — просиял Николаи.

Ирина напутствовала Егорку: «Ты не бойся, посиди здесь, на подоконник не лазай, можешь поговорить

с Григорием Степановичем»,— одела сына в курточку и вязаную шапку, чтобы не простудился, подхватила сумку и вышла из квартиры. Она спустилась в лифте, с удивлением обнаружив в нем приколотую чьей-то заботливой рукой бумажку со списком необходимых телефонов и адресов: сантехника, газовщика, прачечной, химчистки, детской поликлиники. Адреса и телефоны были здешние, Петроградской стороны.

Внизу, при выходе из подъезда, действительно висело нарисованное гуашью от руки объявление, где сообщалось о собрании кооператива. Объявление тоже удивило Ирину качеством своего исполнения; раньше вешали на стене кое-как нацарапанную бумажку.

На улице, вернее, в щели, ей попался постовой милиционер, который приветливо кивнул, и она, растерявшись, ответила:

— Здравствуйте... Господи, темно-то как здесь!

— Ничего,— улыбнулся постовой,— зато не дует!

Ирина вышла из щели и направилась к Большому проспекту Петроградской стороны с забытым чувством новосела, по-хозяйски оценивая витрины, вглядываясь в прохожих. Вдруг поймала себя на мысли, что ей здесь нравится... странное чувство обновления, почти молодость... и старик этот смешной и славный... Ирина вкушала свободу.

Подмерзшие за ночь лужицы на тротуарах весело потрескивали хрупкой корочкой льда. Ирина нарочно наступала на лед каблучком, испытывая забытую беспричинную радость, как в детстве — хруп, хруп,— извилистые белые трещинки вспыхивали в прозрачном стекле льда.

Она вышла на Большой, огляделась: по тротуарам текли праздные воскресные толпы. Большинство магазинов не работало по случаю воскресенья, но люди, истосковавшиеся по солнцу, высыпали на улицу просто так, без дела.

— На Зеленина яички дают,— услышала Ирина разговор двух озабоченных бабок с хозяйственными сумками.

— Очередь большая?

— Никого нет. Я взяла два десятка к Пасхе. Потом ведь не будет.

— Ох, и верно! Пасха-то на носу! Побегу!

Ирину Пасха мало интересовала, тем не менее она

двинулась вслед за старушкой, рассудив, что та приведет ее к гастроному.

Она шла не спеша, чтобы не обгонять семенящую перед нею бабку, а сама разглядывала прохожих, жадно всматриваясь в лица, как вдруг поймала себя на мысли: ищет мужа! У Ирины даже дыхание перехватило — этого только недоставало! Но тут же осознала трезво: лишь только она вышла на улицу, как где-то глубоко затеплилась надежда — вдруг встретит Женю? вдруг он где-то рядом бродит, голодный?..

И лишь она подумала это, как ее внимание привлекла фигура мужчины в коричневом плаще. Человек стоял у аптечной витрины — лица не было видно,— он вглядывался внутрь аптеки, как бы пытаясь разглядеть, есть там кто или нет. «Он!» — подумала Ирина, и тело ее совершило одновременно два независимых движения: верхняя часть отшатнулась и будто остановилась, в то время как ноги устремились по направлению к мужчине.

Он обернулся, посмотрел тусклым взглядом и медленно пошел по проспекту, засунув руки в карманы плаща. Нет, не муж! И непохож вовсе.

День сразу померк, прохожие уже не казались ей нарядными и праздничными, да и солнце затянулось чем-то дымчатым, грязноватым. Настроение у Ирины упало, она представила мужа где-то в городе, далеко... Ничего, так ему и надо! Она попыталась настроить себя воинственно, вспомнила его последние похождения — одна Жанна чего стоит! (Жанна была чертежницей в проектном институте, где работал Демилле.)

Но даже воспоминание о Жанне не смогло истребить в душе Ирины жалости и тревоги. Тогда она подумала, что Демилле, наверное, сейчас у Жанны — конечно! куда ж ему деваться! нежится, как миленький, в постели! ему что! — и эта мысль выдула из головы сострадание. Ирина подтянулась, снова отыскала глазами маячившую впереди старушку и устремилась за нею.

В магазине Ирина купила яиц, колбасы, сыра, молока и с нагруженной сумкой пошла домой другим путем — по проспекту Щорса. Путь этот оказался короче. Через пять минут она уже была на улице, перпендикулярной к Безымянной, то есть, собственно, на той улице, где стоял ныне дом, ибо Безымянной более не существовало.

Как я уже говорил, прилетевший дом заткнул ее, выйдя своими торцами на две тихие улочки, прежде

пересекавшие и ограничивавшие Безымянную. Ирина вышла из дому на первую из них — она называлась Подобедова,— а вернулась по второй, Залипаловой. Залипалова была пошире. Наш дом встал аккуратно, торец его был вровень с фасадами старых домов, так что не слишком бросался в глаза, несмотря на современную стандартную архитектуру. Смущало лишь то, что не существовало единой линии тротуара, ибо дом наш опустился на проезжую часть. Закругления поребриков, ранее ограничивавшие въезд на Безымянную, теперь нелепо втыкались в основание кооперативного дома в двух шагах от образовавшихся слева и справа проходных щелей.

У входа в щель со стороны Залипаловой улицы дежурил другой постовой. Когда Ирина проходила мимо, он тихо осведомился:

— Вы здесь живете, гражданка? Или просто пройти?

— Живу,— кивнула Ирина.

Она успела заметить, когда подходила, что милиционер регулировал поток прохожих: одних направлял в правую щель, других — в левую. Ирина поняла, что в правую щель допускались жильцы дома, а в левую, со стороны которой подъездов не было, проходили случайные прохожие, которым необходимо было попасть с Залипаловой на Подобедову.

И вот что примечательно: ни удивленных возгласов, ни беспокойства, ни страха, ни обмороков у случайных прохожих не замечалось. Реагировали они на неожиданно возникшее препятствие довольно спокойно. Раз поставили здесь дом — значит, надо. Не нашего ума дело.

Ирина поднялась в лифте на девятый этаж, причем ее попутчицей оказалась косящая одним глазом кооператорша, про которую Ирина знала, что она с пятого этажа. Было ей за пятьдесят, и она тоже, как и Ирина, держала в руках полиэтиленовый пакетик с яйцами.

— Вы на собрание пойдете? — спросила она.

— Да,— кивнула Ирина.

— Сегодня многое решится,— с какой-то надеждой проговорила женщина, но что именно решится — сказать не успела, ибо лифт достиг пятого этажа. Она вышла, сердечно кивнув Ирине, как старой приятельнице.

Когда Ирина Михайловна подошла к двери своей

квартиры, сердце вдруг снова забилось; представилось ей, что Евгений Викторович уже дома, в тапках, играет с Егорушкой... вспомнился он ей почему-то молодым, тридцатилетним, худым и веселым, и обида на обманувшую их обоих жизнь вдруг вспыхнула в душе неимоверной болью — причем именно так и подумалось: жизнь обманула, судьба. Будто ни Евгений, ни она, ни та же пресловутая Жанна — пропади она пропадом! — виноваты ни в чем не были, а играли роль страдательную.

Она секунду постояла перед дверным глазком, вслушиваясь. И правда, из квартиры доносились голоса.

Ирина вошла и заглянула в комнату сына. Егорка сидел на стуле рядом с открытым окном, держа на коленях какую-то плоскую коробочку с откинутой крышкой. Напротив него, у своего окна, сидел Григорий Степанович, держа перед собой такую же коробочку. Вид у обоих был увлеченный.

— Дэ-восемь! — крикнул Егорка.

— Ранен! — отвечал генерал.

— Дэ-девять!

— Убит!

— Крейсер трехтрубный,— констатировал Егор, и тут Ирина Михайловна поняла, что они со стариком играют в «морской бой», причем комплект игры был отнюдь не самодельный, а фабричного изготовления, с кораблями на магнитиках. Такой игры у Егора она не помнила, но предположить, что «морской бой» принадлежит старому генералу... Довольно нелепо.

— А, Ирина Михайловна! — приветствовал ее Николаи.— А мы тут развлекаемся. Ваш сын меня бьет. У меня осталась подводная лодка и эсминец...

— Ка-три! — выкрикнул Егорка.

— Убил! — сокрушенно воскликнул генерал.

Егорка сиял.

— Где же ты взял такую игру, Егор? — спросила Ирина.

— Григорий Степанович дал,— ответил сын.

— У меня замечательная игротека,— кивнул старик.

Ирина присела рядом с сыном. Егорка в два счета закончил уничтожение «кораблей» Григория Степановича, после чего неугомонный генерал кинул ему пару соломинок, и они совместно приступили к изготовлению мыльных пузырей. Егорка, пользуясь указаниями гене-

рала, принес блюдечко с водою, мыло (то же проделывал в своей комнате генерал), развел его в воде, и через минуту они с генералом уже выдували друг другу навстречу радужные пузыри, которые тихо скользили вниз, в темную пропасть щели.

Ирина не могла скрыть улыбку, ушла в другую комнату, там растерянно усмехнулась: вот тебе и еще один член семьи... свято место пусто не бывает. А из детской доносились восторженные возгласы: «Ну и шар! Прямо монгольфьер! Егор, ты опять меня объегориваешь!». Егорка смеялся, как колокольчик.

Ирина принялась готовить обед, а когда пришло время, автоматически позвала:

— Мальчики, идите обедать!

И вспыхнула, прижав ладони к щекам. Ничего себе! Она бросилась в детскую. Николаи и Егорка занимались тем, что выстукивали азбукой Морзе сообщения друг другу, пользуясь детским телеграфным аппаратом, принадлежавшим Егорке. Между окнами квартир тянулся электрический провод.

— Егорка, иди обедать,— сказала Ирина.— Вы извините, Григорий Степанович...

— За что? — поднял брови генерал.

— Вырвалось у меня...— смутилась Ирина.

— «Мальчики»? Ну, что ж. Меня это устраивает. Вполне. К сожалению, на обед прийти не смогу. То есть прилететь не смогу. Пока еще не умею летать. Но не исключено, что научусь, Ирина Михайловна,— улыбнулся Николаи.

Ирина с Егоркой пообедали. За обедом сын был в возбуждении, вызванном играми с генералом, мать же рассеянно подносила ложку ко рту, чувствуя странную заторможенность; думать ни о чем не хотелось, она лишь ощущала, что, находясь в кухоньке за обеденным столом, присутствует одновременно в комнате Григория Степановича, помнит о нем, а также бродит где-то далеко, почему-то на улице Кооперации, вблизи своего дома, там, где Егоркин детский садик, откуда вчера она забрала вещи сына, оставив заявление сторожу. Ее самой, Ирины Михайловны Нестеровой, вроде бы уже не существовало, она никак не могла собрать себя в привычное ей состояние единого целого и с горечью подумала, что это, вероятно, надолго. И если мысли о муже не казались ей удивительными, то неожиданное присутствие в душе чудаковатого старого генерала озадачивало. Но

Ирина чувствовала — он здесь, через комнату, за узким провалом щели. И это не было ей неприятно.

— Папа скоро приедет? — Егорка поинтересовался деловито, без особой озабоченности, точно появление отца было делом решенным, весь вопрос во времени.

— Не знаю. Наверное, нет,— ответила Ирина.

— Я еще с дядей Гришей поиграю. Можно?

— С дедушкой Гришей,— поправила мать.

— С дедушкой? — удивился Егор.— Он разве наш дедушка? Дедушка в Севастополе живет.

Ирина почему-то смутилась. Не дедушка, а дядя. Большая разница. Она со страхом поняла, что и сама с момента знакомства восприняла генерала иначе, чем требовали обстоятельства. «Господи! Ему же шестьдесят пять лет! Он же на тридцать лет меня старше!» — подумала она.

— Егор, я тебя прошу звать его Григорий Степанович. Только так,— требовательно сказала она.

Ирина вымыла посуду, слыша, как Егор в своей комнате о чем-то оживленно беседует с Григорием Степановичем. Потом до нее донесся бархатистый голос:

— Ирина Михайловна? Вы готовы? Без четверти три!

Ирина быстро привела себя в порядок, через несколько минут они с Егоркой спустились вниз и прошли по щели к выходу на Подобедову улицу, где их уже ждал Николаи. Он был в сером макинтоше и велюровой шляпе.

— Знаете, я думаю, что Егору на вашем собрании делать решительно нечего,— мягко сказал генерал.— Мы отведем его ко мне...

— Нет-нет,— быстро воспротивилась Ирина.

— Хорошо. Тогда здесь рядом есть прекрасная детская площадка. Пускай поиграет там. Ты согласен, Егор? — обратился он к мальчику.

Егор пожал плечами.

— А вы скоро? — спросил он.

— Скоро,— сказал генерал.

— Ну, ладно...

— Вот и молодец. Вечером мы тебя поощрим боевыми стрельбами.

— Это как? — у Егорки загорелись глаза.

— Увидишь.

Николаи взял Егорку за руку и повел на детскую площадку. Ирина не противилась. Все происходило как-

то помимо нее. Привычка решать самой свои дела, выработанная годами жизни с Евгением Викторовичем, вдруг пропала куда-то, будто растворилась в обволакивающем голосе старого генерала. Лишь ум вяло сопротивлялся: «Почему он решает? Почему „мы"? На каком основании?»

Но она чувствовала, что слова генерала ей не в тягость. Вот уж не ожидала найти в себе покорность — с Женей же все наперекор, во всех мелочах, прежде всего в мелочах... И что самое удивительное — ей эта покорность нравилась.

На детской площадке сидели мамы с колясками, резвились пацаны. Генерал пристроил Егорку в футбольную команду — его послушались, Егор был принят — и, взяв Ирину под руку, повел к школе.

Шли они неторопливо; их обгоняли кооператоры, спешившие на собрание. Бодрой рысью промчались Светики, разом оглянулись на Ирину с генералом, и ошеломляющая догадка озарила их лица. Конечно, в такой ситуации Светики не могли рассказать Ирине о встрече с ее мужем, но и в любой другой ситуации они хранили бы молчание.

Обогнала их и чета Вероятновых. Инженер Вероятнов сжимал в кармане текст своего выступления на собрании, волновался, посему не обратил внимания на странную пару, зато жена обратила и, толкнув локтем супруга, прошептала:

— Ирина-то с кем! Смотри!.. Она что — с Демилле развелась? Ну, дела!

В коридорах школы была воскресная тишина. Ирина и Григорий Степанович поднялись на четвертый этаж и прошли к дверям актового зала. Слева и справа со стен смотрели на них портреты; Ирина заметила, что среди них нет привычных лиц великих писателей — фотографии явно любительские, но увеличенные; на них запечатлены были люди в военной форме.

— Кто это? — спросила Ирина.

— Почетные пионеры здешней дружины,— ответил он.

Вдруг Ирина увидела на портрете знакомое лицо. Она приостановилась от неожиданности, ибо лицо это — она могла поклясться — было чрезвычайно ей знакомо, но где и когда она встречала его?.. С фотографии смотрел молодой бравый капитан с круглой лысой головой и улыбающимися глазами. Фуражку он держал

в руке, а ногой оперся на лафет небольшой приземистой пушки с длинным стволом.

На гимнастерке капитана блестела Звезда Героя.

Ирина перевела взгляд на генерала, будто желая справиться о незнакомом капитане, и вдруг увидела перед собою то же самое улыбающееся лицо, только в морщинах. Лишь глаза блестели так же молодо, как на фотографии.

— Вы?..— еле слышно выдохнула она.

— Я, Ирина Михайловна. Я...— развел руками Николаи.— А что делать?

Ирина подошла ближе и разглядела под портретом сделанную на машинке подпись: «Герой Советского Союза Григорий Степанович Николаи».

— Пойдемте, пойдемте, Ирина Михайловна,— заторопился Николаи.— Ничего интересного...

— Так вы Герой...— задумчиво произнесла Ирина, не отрывая взгляд от фотографии.

— Ну, какой я герой! Помилуйте! Посмотрите на меня,— рассмеялся Григорий Степанович.

Ирина повернулась и пошла к залу, в двери которого втекала струйка притихших кооператоров.

Глава 16.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

На сцене актового зала стоял стол, покрытый красным куском материи для транспарантов. За столом сидели трое: румяный толстощекий полковник милиции с орденскими планками на кителе, худощавый человек в сером костюме без каких-либо значков, с черными глазами и спадавшей на лоб косой прядью, напоминавшей воронье крыло; третьего Ирина Михайловна хорошо знала — это был ее сосед, председатель Правления кооператива Василий Тихонович Вероятнов.

Ирина и Николаи уселись в задних рядах у прохода. Генерал принялся с любопытством оглядывать публику. Над залом стояло равномерное жужжание голосов.

Прямо перед Ириной уселась незнакомая женщина в панбархатном платье. Полные плечи, распиравшие панбархат, часто вздымались от шумных вздохов, которые женщина издавала. Ирине показалось, что этими вздохами женщина желает привлечь к себе внимание.

Между тем Вероятнов, пошептавшись о чем-то со своими соседями по президиуму, встал и открыл собрание. Он предоставил слово полковнику милиции Федору Ивановичу Коломийцеву.

Зал притих.

— Вы уже знаете, товарищи, что прошлой ночью случился... случилось че-пэ, скажем так,— начал Коломийцев, выйдя из-за стола президиума к краю сцены.

Держался он уверенно, чуть ли не весело. Слегка улыбался, отчего упомянутое ЧП приобретало не совсем серьезный характер.

— Как мы на это дело смотрим?.. Мы смотрим так, что ничего невероятного не произошло. Вы столкнулись с редким явлением природы, верно? Но все живы-здоровы, разрушений нет, чего, как говорится, и другим желаем!

Коломийцев не удержался и подмигнул залу. Кое-где заулыбались.

— Какова моя задача? Моя задача, так сказать, чисто научная. Мы ведем большую работу по выяснению причин происшествия, нам уже многое известно...

При этих словах сидевшая впереди женщина издала вздох такой выразительности, что кооператоры в радиусе нескольких метров оборотились к ней.

— Валентин! — глухо прошептала Завадовская (это была, конечно, она), прикрывая ладонями лицо.

— ...Но работа еще предстоит большая, нам не все до конца ясно. Наверное, вы знаете, что современная наука достигла огромных успехов. Но не все, товарищи, ей известно. Не все тайны раскрыты...

Полковник намеренно уводил разговор от конкретных фактов, в то время как многие из кооператоров еще томились в неведении относительно всего происшедшего. Легко понять: почти все спали той ужасной ночью, в суматохе регистрации и последующих суток ничего достоверного узнать не удалось, да вот и сейчас официальное лицо начинает распространяться о какой-то науке!

Коломийцев был прерван возгласом:

— Товарищ полковник! А все-таки — как мы здесь оказались?

— Очень просто, товарищи! — бодро начал Коломийцев, но осекся. По сути-то он был прав — дом оказался на Безымянной наиболее простым способом из

мыслимых. Но честно сказать об этом массам полковник считал недопустимым.

— Вот, например, в Техасе... в одна тысяча девятьсот двенадцатом году...— полковник достал из кармана записную книжку, взглянул в нее, уточняя дату —...смерч, или по-американски торнадо, поднял в воздух живую корову и перебросил ее за несколько километров от фермы, не повредив...

— Значит, был смерч? — крикнул тот же голос.

— Смерча не было, товарищи. Смерчей у нас не бывает.

— А что? — не унимался голос.

Полковник подошел еще ближе к краю сцены, стараясь отыскать глазами вопрошавшего. Ему это не удалось. Тогда Коломийцев сделал короткий взмах рукою — мол, была не была! — и, понизив голос, сказал:

— Ваш дом подвергся действию телекинеза.

Зал загудел, а Клара Семеновна издала короткий и пронзительный стон, после чего ее плечи обмякли.

— Что с вами? — наклонился к ней генерал.

Завадовская бессильно покачала головой.

А по залу гуляло: телекинез... теле... кино... текеле... келез. Не все кооператоры понимали значение слова — тут и телевидение, и кино... При чем здесь кино?

Федор Иванович сжал губы, давая понять, что распространяться на тему телекинеза не имеет права. Гул нарастал, то там, то тут слышались выкрики:

— Как это? Объясните!

— Кто это сделал?

— Кто двигал?! Зачем?!

— Это не телекинез, а нуль-транспортировка! — выкрикнул юный голос, по-видимому, любителя фантастики, но ему не вняли. Нуль-транспортировка была явлением еще более темным, чем телекинез.

Внезапно Клару Семеновну Завадовскую сорвало со стула, будто она сама подверглась действию телекинеза, и кооператорша панбархатной молнией метнулась по проходу к сцене.

— Разрешите! Разрешите мне сказать!

Противодействовать ей было бессмысленно. Коломийцев лишь развел руками и отступил к столу. А Клара Семеновна взлетела по ступенькам наверх и, обернувшись к залу, сделала решительное и непонятное заявление:

— Валентин Борисович — заслуженный человек! Он не мог! Не верю... Товарищи, со всеми может случиться. Ну, обнаружили у него это... Так что же? Еще ничего не значит!

Она повернулась к полковнику и помахала в воздухе указательным пальцем.

— Ни-че-го! Запомните!

В зале смеялись, негодовали, недоумевали. Слов Клары Семеновны уже не было слышно.

Полковник не растерялся, подскочил к Завадовской и увел ее за кулисы, что-то по пути объясняя. Вскочил с места взволнованный Вероятнов, поднял раскрытую ладонь... Лишь человек с «вороньим крылом» сохранял полное спокойствие. Он смотрел в зал усталым взглядом понимающего все человека.

Повинуясь жесту Вероятнова, зал притих.

— Слово имеет Игорь Сергеевич Рыскаль,— сказал Вероятнов.

Рыскаль встал, опершись костяшками пальцев на стол. Перед ним лежал блокнот. Он дождался полной тишины зала и в этой тишине глухо прочитал следующий текст:

— «В ночь с пятницы на субботу, в три часа пятнадцать минут, кооперативный дом номер одиннадцать по улице Кооперации по неустановленным пока причинам оторвался от земли, взлетел вертикально вверх на высоту примерно ста метров, после чего полетел в направлении Тучкова моста, где приземлился так же вертикально на проезжей части Безымянной улицы вместе со всеми, находящимися в данный момент в доме. Человеческих жертв и повреждения материального имущества не установлено». Таковы факты, товарищи.

Мертвая тишина в зале достигла такой степени концентрации, что стало слышно, как за окнами лопаются весенние почки тополей, вытянувшихся до четвертого этажа школы.

Из-за кулис выглянуло лицо полковника Коломийцева. Он с изумлением посмотрел на майора.

Немая сцена продолжалась несколько секунд. И те, кто знал о перелете дома, и те, кто догадывался, и те, кто не верил,— разом поняли по убедительному усталому тону Рыскаля, что случившееся — натуральный факт, не подлежащий отмене.

А Игорь Сергеевич, дождавшись, пока эта мысль

проникнет в глубины сознания кооператоров, продолжал:

— Научная сторона вопроса нас с вами касается мало. Даст бог, Федор Иванович с этим разберется. Мы должны подумать, что нам делать дальше? Как жить? К этому я вас призываю, товарищи.

Рыскаль сел.

Вероятнов искоса взглянул на него и неуверенно предложил желающим выступать.

Первой, как и следовало ожидать, по проходу к сцене двинулась Светозара Петровна Ментихина. Она шла, глядя прямо перед собой, с решимостью и уверенностью, берущими свое начало в легендарной кимовской молодости. По истертому полу актового зала стучали каблучки ее маленьких, отороченных мехом сапожек, называвшихся когда-то «румынками».

Мех сапожек у щиколоток придавал Светозаре Петровне некую легкость и, я бы сказал, святость, ибо казалось, что она не идет, а летит над полом на маленьких пушистых крылышках.

Светозара Петровна взлетела на этих крылышках по ступенькам, назвала Вероятнову свою фамилию и номер квартиры (он и без того знал), после чего вдруг резко обернулась к залу, отбросив прямую руку назад, насколько это было возможно. Перед изумленными кооператорами предстала уже не знакомая старушка-общественница, а женщина-трибун, нечто вроде комиссара из «Оптимистической трагедии».

— Товарищи! — начала Светозара Петровна, закинув вверх старческое лицо, по которому уже ползли две светлые крошечные слезинки.— Товарищи! — пел ее голос, в котором слышалась музыка Дунаевского из кинофильма «Светлый путь», и задор «Синей блузы», и рабфаковская убежденность. Светозара Петровна отбросила от себя полвека (тем самым решительным движением руки назад) и на глазах превратилась в юную комсомолку.— Нам, комсомольцам тридцатых годов, не стыдно смотреть в лицо товарищам! За нашими плечами пятилетки индустриализации, война, восстановление народного хозяйства. Мы всегда были на самых трудных участках. Трудностями нас не испугаешь! Я хочу, чтобы молодые товарищи прислушались. Вот вам случай показать, на что вы способны!

— Что вы конкретно предлагаете? — донесся насмешливо-ленивый возглас из зала.

— Сплоченность. Решимость. Убежденность,— сказала Ментихина, сопровождая каждое из этих слов энергичным жестом.

Григорий Степанович, как заметила Ирина, слегка поморщился.

— Ну зачем она так...— недовольно прошептал он.— Сейчас она все испортит.

— Дисциплинированность! — выкрикнула Светозара Петровна.

В зале раздались смешки, которые лишь раззадорили старушку. Она выбросила руку вперед и начала рубить ребром ладони воздух, будто отделяя друг от друга фразы, которые падали в зал на головы кооператоров.

— Чистота на лестницах! Прекратить курение в лифте! Не проталкивать в мусоропровод крупные предметы! Покрасить балконные ящики в единый цвет! Создать в каждом подъезде группы взаимопомощи! Участвовать в работе дружины! Не допускать распития в подъездах спиртных напитков. Не допускать пения подростков!..

В зале поднялся невообразимый галдеж, в котором утонули призывы Светозары Петровны. Кооператоры кричали: «Правильно! Неправильно! Так их! Давай, бабуля!» и проч. Среди суматохи возникла благообразная седая головка Светозара Петровича, выпорхнувшая вдруг из водоворота как полоумная птичка. Ментихин к чему-то призывал президиум, но там его не слышали.

Майор Рыскаль был, как и прежде, невозмутим. Он что-то записывал в блокнот. Вероятнов всеми силами пытался успокоить собрание. Федора Ивановича и Завадовской все еще не было видно.

Едва шум затих, как из первого ряда поднялся коренастый широкоплечий человек с черной кудрявой бородой, буйной шевелюрой, в кожаном пиджаке... слегка смахивал на молодого Карла Маркса. Он упер руки в бедра и спросил снизу вверх:

— Вы на каком этаже живете, гражданка?

— На девятом,— простодушно ответила Светозара Петровна.

Бородатый проворно вспрыгнул на сцену, кинул писавшему протокол Вероятнову:

— Файнштейн Рувим Лазаревич, квартира номер семь.

Он встал рядом с Ментихиной, в двух шагах от нее.

— Гражданка живет на девятом этаже и имеет счастье любоваться пейзажем из окна,— сказал Файнштейн, указывая на Светозару Петровну.— А мы живем на первом этаже, и у нас в квартире все время включено электричество! Мы бы рады участвовать в работе дружины и бросить курить, но где гарантия, что мы сможем дышать свежим воздухом и видеть чистое небо из окна? На всех этажах, вплоть до седьмого, тьматьмущая, товарищи! Вопрос следует ставить только так: как скоро горисполком сможет предоставить всем желающим из нашего кооператива равноценные, я подчеркиваю — равноценные квартиры в том районе, из которого мы... гм!.. улетели?

— Тебе бы в Израиль надо лететь,— довольно громко произнес кто-то за спиною генерала.

Файнштейн не расслышал.

— А? Как вы сказали? — наклонился он вперед.

Григорий Степанович оглянулся. Сзади сидел тип с колючими, расположенными у переносицы глазами. Это был гражданин Серенков из квартиры 190.

Генерал поднялся и что-то тихо сказал Серенкову, после чего не спеша пошел к выходу. Серенков, поколебавшись, встал и направился за генералом. Ирина и несколько окружающих кооператоров с беспокойством следили за этой сценой. Генерал вернулся через минуту, несколько порозовевший, и молча уселся рядом с Ириной. Серенкова же более на собрании не видели.

— Что вы с ним сделали? — испуганно улыбаясь, прошептала Ирина.

— Пустяки! — отмахнулся генерал.— Он гнида. Он заполз в щель.

Между тем Файнштейн продолжал настаивать на предоставлении равноценной жилплощади, чем привлек на свою сторону большинство кооператоров, живущих в нижних этажах. В самом деле, что за удовольствие каждодневно видеть в своих окнах стены и окна соседних домов? Файнштейн закончил свою речь предложением писать письмо на имя председателя горисполкома и вернулся в зал.

На сцену ринулись еще несколько ораторов — в основном женщины. Они высказывались одна за другой, однако принципиально ничего нового предложить не сумели. Возникла масса мелких проблем: как быть со школой — переводить детей или ездить на Граждан-

ку? — с детскими садами, с поликлиникой, с родственниками, с работой, наконец... Ворох вопросов. Файнштейн, сидевший в первом ряду, на все вопросы подсказывал один ответ:

— Переезжать!

Кое-кто призывал потерпеть, но таких было немного, их предложения тонули в осуждающих возгласах:

— Сами терпите!

— Вы на каком этаже живете?!

— Давайте с вами меняться: вы поедете на первый, а я на восьмой!

На сцену медленно поднялась женщина средних лет с припухшими веками и свисающей сбоку длинной прядью волос, в поношенном демисезонном пальто. Остановившись на краю сцены, она обвела зал презрительным взглядом.

Это была хозяйка квартиры 116 — та, которая выкидывала с балкона бутылки, а утром кричала: «Допились! Допились!».

— Эх, вы! — наконец выдохнула она.

— Гражданка, ваша фамилия? — перебил ее Вероятнов.

— Вера Малинина, сто шестнадцатая квартира. А что?..— полуобернулась она к столу.

— Ничего,— Вероятнов занес выступающую в тетрадку.

— Вот вы тут развели антимонии. Как получилось? Что делать? Как жить?..— с некоторым усилием выговаривала слова Малинина, но именно эта затрудненность речи заставила кооператоров притихнуть и обратить на женщину внимание. Что-то в ней было надломленное, больное.

— А спросил хоть кто — почему?.. Почему мы? Почему нас?.. За что?.. Э-э...— она поднесла указательный палец к носу и слегка поводила им взад-вперед. — Потому что есть за что... Я в школе председателем совета дружины была. В сельской. Ну, в поселковой, значит. Потом в торговлю подалась. Потом села... Сейчас год не работаю... Так вот. Я знаю — почему... Это неспроста. Так нельзя жить, как мы живем.

— Вы за других не расписывайтесь! — крикнули из зала.

— Думаете — вы лучше? Это нам всем такое предупреждение дано. Не зарывайтесь, мол, милые... Опомнитесь. А вы: горисполком!

Малинина посмотрела вниз, на сидящего прямо под нею Файнштейна.

— Ну, дадут вам квартиру. Что делать-то с нею будете?

— Жить! — вызывающе сказал Файнштейн.

— А как жить? Как?.. Зачем?..— Малинина махнула рукой и, нетвердо ступая, начала спускаться вниз по ступенькам. Теперь стало заметно, что она слегка пьяна. Кто-то в зале хихикнул. Рыскаль что-то записал в блокнот.

— А молодец баба,— наклонился Григорий Степанович к уху Ирины.— Взяла быка за рога. Даром, что пьяненькая.

Возникшую в зале подавленность попытался ликвидировать Вероятнов, который наконец-таки извлек на свет божий измятую бумажку с текстом своего выступления и, расправив ее в ладони, принялся читать. Несмотря на то, что текст был тщательно продуман Василием Тихоновичем и занесен на бумагу, а может быть, именно поэтому он не содержал решительно никаких оригинальных мыслей. Сославшись в первом абзаце на последние решения пленума (кстати, по сельскому хозяйству), он во втором абзаце отметил определенные достижения Правления кооператива под его руководством, но в третьем абзаце перешел к недостаткам, одним из которых и являлся незапланированный перелет дома на Петроградскую. Этот факт в изложении Вероятнова никак не выбивался по значимости из ряда других, как-то: нерегулярной уборки бачков с пищевыми отходами, поломок и безобразий в лифтах, задолженностей по квартплате. Перечислив недостатки, инженер тем не менее выразил твердую уверенность, что они в скором времени непременно будут изжиты, чему порукой решения, упоминавшиеся вначале.

— Обратно, что ли, полетим? — выкрикнул какой-то насмешник.

Вероятнов строго посмотрел в зал и сообщил, что общему собранию в связи с изменившейся ситуацией необходимо избрать новое Правление.

Сам он, да и Рыскаль считали перевыборы формальностью. Им казалось, что кооператоры, скорее всего, подтвердят доверие прежнему Правлению, не станут усугублять положение избранием нового начальства. Но случилось иначе. Казенная речь Вероятнова и достаточно пламенные выступления других ораторов, в

частности Файнштейна, сделали свое дело. Кооператоры наперебой предлагали кандидатуры: их набралось с полтора десятка, когда Рыскаль предложил, вослед Светозаре Петровне, создать в каждом подъезде группы взаимопомощи.

— Зачем? Почему? Объясните!

— Обстановка сложная! Надо помогать милиции. Надо помогать друг другу. Ребенка оставить, в магазин сходить, за стариками присмотреть... По-людски жить. По-соседски,— объяснил Рыскаль.

Часть кандидатур переписали в группы взаимопомощи.

Голосование было открытым. Счетная комиссия, состоявшая из Завадовской, занявшей к тому времени место в зале, и неизвестного решительного молодого человека, приступила к работе, считая вскинутые вверх руки и тут же занося результаты в блокнотик. Кооператоры встречали гулом каждую объявленную цифру; наиболее недоверчивые считали вместе с комиссией.

Результаты были таковы: Вероятнова прокатили с треском, за него было подано лишь двадцать три голоса из числа двухсот восьмидесяти пяти решающих голосов пайщиков (по числу квартир). Как вы заметили, отсутствовали лишь два пайщика — Серенков и я,— но по разным причинам.

Неожиданно большое число голосов набрал Файнштейн (198 голосов), несмотря на явно недостаточную симпатию, которую испытывали к нему некоторые кооператоры (вероятно, за бороду); были избраны, конечно, Светики в полном составе, и Клара Семеновна, возглавившая впоследствии группу взаимопомощи первого подъезда, и даже Вера Малинина, как ни странно. Но страннее всего было избрание гражданина Серенкова, покинувшего собрание при обстоятельствах уже известных. То ли его мрачный возглас оказался кое-кому созвучным (тогда почему Файнштейн получил избрание?), то ли выбрали по принципу «кого нет».

Вошли и другие люди, не очень мне известные: молодежь, инженеры, врачи. Всего было избрано семнадцать человек: пять в Правление и четыре тройки взаимопомощи.

Ирина Михайловна голосовала за всех, кроме Серенкова, поскольку никого, исключая соседей по этажу, не знала.

Обескураженный результатами голосования, Веро-

ятнов вяло подвел итоги и спросил, не хочет ли кто еще выступить.

Кооператоры молчали. Вдруг поднялся Григорий Степанович.

— Разрешите мне?

Ирина сжалась, с ужасом уставившись на генерала. А он не спеша снял макинтош, повесил его на спинку стула и двинулся по проходу к сцене. Когда он взошел по ступенькам и повернулся к залу, Ирина отметила, что на пиджаке генерала не было не только Звезды Героя, но даже орденских планок.

— Вы из какой квартиры, товарищ? — спросил Вероятнов.

— Я из двадцать восьмой...

— Как? — вскинулся из зала молодой человек с усиками.— Я из двадцать восьмой, товарищи!

— Прошу прощения...— успокоил его генерал.— Я из двадцать восьмой, но другого дома. Соседнего...

— Почему же вы... По какому праву,— начал Вероятнов, но генерал обернулся к нему и так же спокойно объяснил:

— Видите ли, я родился здесь, на Безымянной, поэтому мне небезразлично...

И Григорий Степанович довольно обстоятельно и с какой-то внутренней уверенностью, что его необходимо выслушать (и вправду, слушали внимательно!), повел рассказ о той части города, куда попали ныне прилетевшие кооператоры. Он, как гостеприимный хозяин, рассказывал о домах, которые окружают теперь прибывший девятиэтажный дом, об их строителях (одним из них был Штакеншнейдер), о бывших владельцах; о том, что Подобедова и Залипалова улицы получили свои имена по фамилиям живших здесь когда-то купцов; упомянул и о пивной Кнолле, и о находившемся неподалеку родильном доме, носившем ранее имя Шредера; перед глазами притихших кооператоров проплывали картины двадцатых и тридцатых годов, булыжные мостовые, красные петербургские трамваи, лавки и рестораций, старьевщики и дворники...

Все вдруг разом почувствовали, что здесь с незапамятных времен шла разнообразная городская жизнь, что полоска нового асфальта, так разительно отличающаяся от старого, возникла на Залипаловой, скажем, в одна тысяча девятьсот шестидесятом году, когда меняли водопровод, проложенный еще до революции;

что тот брандмауэр, который виден из торцевых окон первого подъезда, когда-то был прикрыт доходным домом Бахметьева, попавшим под фугаску во время блокады; что купцы эти, Залипалов и Подобедов, действительно проживали неподалеку в особняках, причем, как часто водится на Руси, враждовали между собою по-смертному, отчего, кстати, и соединявшая их улица так и не получила собственного имени, осталась Безымянной... Короче говоря, пахну́ло историей, которую в общих чертах знали, но, проживая там, на Гражданке, на бывших болотистых лугах, не ощущали напрочь.

И перелет дома как-то сам собою был включен в круг истории, в ее медленный вихрь, уносящий и приносящий дома, стал вдруг историческим событием этой части города, неподалеку от Тучкова моста.

Генерал закончил. В зале, точно после хорошей лекции, раздались аплодисменты.

— И все же, гражданин... В чем, так сказать, конкретные ваши предложения? — осторожно спросил Вероятнов.

— Конкретные предложения? — генерал лукаво взглянул на бывшего председателя Правления.— Я предлагаю быть потомками. Понимаете? Если есть предки, должны быть и потомки. Правильно я говорю?

Вероятнов растерянно кивнул, а из зала донесся женский вскрик:

— Верно! Очень правильно!

Ирина поискала глазами, но обладательницу этого взволнованного голоса не нашла. Та спряталась, устыдившись эмоций.

...Расходились с достоинством и возникшим ощущением сообщества не только кооперативного, но более широкого — с предками... хотя понимали это смутно, поразному...

А вечером Егор был поощрен боевыми стрельбами, которые происходили так: в комнатах его и генерала расставили мишени, после чего Григорий Степанович и Егорка поочередно поражали мишень противника через окна, пользуясь пружинными пистолетами с патронами в виде стрел с резиновыми присосками. Смеющаяся Ирина подсчитывала очки, а когда из-за трубы генеральского дома выплыла крутобокая луна, игру прекратила и уложила сына спать.

После чего она пожелала генералу доброй ночи и, затворяя уже окно, вдруг спросила:

— А вы почему Звездочку не носите, Григорий Степанович?

— Звездочку?.. Ах, эту... Как вам сказать. Ношу иногда. Она у меня на другой одежде. Доброй ночи!

Глава 17.

БОЛЬШОЙ ПЛОВ

Вторым пристанищем Демилле стало аспирантское общежитие неподалеку от улицы Кооперации — серое четырехэтажное здание из силикатного кирпича, притаившееся в глубине многоэтажного жилого массива.

Встретили его там радушно и уважительно. Математик Тариэль из Баку и кибернетик Мамед из Ташкента действовали по всем канонам восточного гостеприимства. Едва Костя Неволяев представил им Евгения Викторовича (произошло это вечером в воскресенье) и вкратце изложил его историю, воспринятую аспирантами с почтительной невозмутимостью, как Тариэль побежал к комендантше тете Варе с мешочком одуряюще пахнувшей сушеной дыни — лакомством, употреблявшимся аспирантами для улаживания самых пикантных и экстренных дел,— а Мамед, действуя проворно, но без спешки, принялся приводить комнату в порядок.

Мамед был низенького роста, щуплый, с восточной печалью в глазах. Он застелил постели, смел со стола крошки и принялся готовить чай, для чего включил электрический чайник, а на стол выставил синие пиалы и фарфоровый чайничек для заварки, чрезвычайно красиво расписанный.

Демилле присел на стул, огляделся. Комната была просторной, состоящей из двух частей: передней, где стояли обеденный стол, диван, торшер, висели книжные полки и украшения (среди прочих — неизвестный музыкальный инструмент), и закутка, отгороженного платяным шкафом; за ним помещались две койки и письменный стол, заваленный книгами.

Вернулся сияющий Тариэль и сообщил, что за ломтик сушеной дыни тетя Варя готова пустить ночевать не только одинокого мужчину, но и весь кордебалет варьете гостиницы «Советская». Мамед встрепенулся, с надеждой посмотрел на товарища.

— Завтра начинаем отстрел,— деловито распорядился Тариэль.

— Да вы что! — закричал Костя.— Дайте человеку освоиться.

— А мы и Евгению Викторовичу девушку подберем,— учтиво сказал Тариэль.

— Нет-нет, не надо,— сказал Демилле.— Я, знаете, не любитель. У меня жена, сын...

Тариэль подмигнул Косте.

— Да мы жениться не заставляем, Евгений Викторович!

— Для польза здоровья,— с печальной озабоченностью произнес Мамед, и все расхохотались.

...Дух легкомысленного эпикурейства, поселившийся в комнатке, отнюдь не мешал аспирантам заниматься наукой. Как быстро понял Демилле, оба аспиранта всерьез работали над диссертациями — Мамед в области теории чисел, а Тариэль — автоматического регулирования, но за пределами библиотек и кафедр превращались в молодых людей без проблем, со склонностью к легким и озорным увеселениям. Тариэль являл собою современный вариант Ходжи Насреддина — неунывающий, склонный к шуткам и проказам, обаятельный, компанейский. Мамед оттенял его грустным резонерством.

В первый же вечер аспиранты устроили обсуждение методики поисков улетевшего дома.

Расстелив на столе карту города, они принялись разрабатывать математическую модель. Связав воедино исходные данные, полученные от Кости (отрыв дома от фундамента, его полет), и допустив отсутствие человеческих жертв, на что указывала встреча Демилле со Светиками и посещение детсада Ириной, аспиранты пришли к выводу, что дом где-то приземлился в сохранности. Но где? Логика подсказывала: в новых районах. Там много места — в Купчино, на Ржевке, на Комендантском — там однотипные дома, так что приземление дома могло пройти относительно незамеченным, не то что, скажем, на Невском или на Петроградской стороне.

Это была ошибка, но ошибка честная. Далее аспиранты, пользуясь картой, разбили возможные районы приземления на квадраты и начали составлять алгоритм оптимального пути поиска... Демилле тупо смотрел на карту, по которой скользили пальцы Тариэля.

— Мы минимизируем время поиска,— сказал Тариэль.— Понимаете?

— Нет,— честно сказал Демилле.

— Нужно найти оптимальную траекторию по критерию наименьшего времени... Евгений Викторович, почему не понимаете? Я же ясно говорю?

— Трудный решений,— покачал головой Мамед.

— Эх, почему мы не в Баку! — воскликнул Тариэль.— Если бы мы были в Баку, я пошел бы на базар, я обошел бы ряды, я купил бы орехов, изюма, шербета... Я выпил бы чаю в чайхане, я поел бы халвы...

Тариэль вскинул руку, декламируя, точно стихи:

— И через три часа я знал бы не только, куда делся этот несчастный дом, но и что сказал дядюшка Ибрагим тетушке Галиме наутро, когда не обнаружил во дворе зарытого кувшина с вином, потому что двора тоже не обнаружил!.. Северные люди молчаливы и нелюбопытны! Дом взлетел, как орел, а им хоть бы что! Ва!

Мамед скорбно качал головой.

— В Ташкенте землетрясений был — вся страна узнал,— сказал он.

Демилле с грустью и завистью смотрел на новых восточных приятелей. Их оптимизм, энергия молодой крови, бьющая через границы республик, восхищали и одновременно тревожили: сам он был точно парализован несчастьем.

Из этого состояния его вывел телефонный звонок Любаши, последовавший в понедельник на службу Евгению Викторовичу. Сестра сообщила, что в субботу приходили Ирина с Егоркой...

— Как? — вскричал Демилле, испытав мгновенную радость и благодарность к жене.

— Минут через сорок явилась — как ты ушел. Принесла твои вещи. Чемодан и сумка...— Любаша не скрывала осуждения.

— Понятно...— Демилле потух, спросив со слабой надеждой: — Не сказала, где они сейчас?

— А то ты ее не знаешь. Конечно, нет!.. Зайдешь за вещами?

— Мать видела? — спросил Евгений Викторович.

— Ее, слава богу, дома не было. Вещи я спрятала.

— Хорошо, молодец...— вяло похвалил сестру Евгений Викторович, а затем попросил вынести чемодан и сумку в назначенный час из дому, опять-таки незаметно от матери.

Встреча с сестрой состоялась неподалеку от родительского дома, на пустыре, где раньше был сад Ивана Игнатьевича. Здесь еще сохранились три-четыре одичавшие яблони.

Демилле тут же, приткнувшись к камням фундамента, распахнул чемодан. Люба обеспокоенно смотрела на брата: он похудел за два дня, глаза были воспалены, движения порывисты.

— Что она говорила? — глухо спросил Демилле, роясь в вещах.

— Сказала, что хватит. Устала,— пожала плечами Люба.

— Выбрала момент.

Он безотчетно искал письмо, записку, какой-нибудь знак, дающий надежду или объяснение. Ничего не было. Вещи сложены аккуратно, паспорт в карманчике крышки, тапки завернуты в газету.

В сумке точно так же тщательно уложены были чертежные инструменты. Ни «прости», ни «бывай». Сентиментальностью Ирина не страдала.

— Такую тайну изобразила,— говорила Любаша.— Тоже мне цаца! Ты плюнь на нее, Женька. Помучился с нею, и хватит.

Демилле судорожными движениями стал застегивать молнию на сумке — та не поддавалась — вдруг отлетел замочек. Евгений Викторович швырнул его на землю и, оборотившись к сестре, закричал:

— Не смей так говорить! Ты ее не знаешь! Ирина святая женщина!

— Да пошел ты к черту...— несколько даже удивленно, но без обиды произнесла Любаша.— Мне-то что. Можешь на нее молиться... Жалости в ней нету.

— А я не достоин жалости! — вскричал Демилле, подхватил сумку и чемодан — в распахнутом плаще он выглядел, как птица с гирьками на крыльях — и полетел, не разбирая дороги, прочь, между голых яблонь, по прошлогодней траве.

— Чокнутый,— сказала Любаша почти с нежностью и крикнула вслед: — Ты хоть звони! Пропадешь!

— Не боись! — сквозь зубы ответил Евгений Викторович и сам удивился мальчишескому слову, забытому с тех пор, как бегал по саду Ивана Игнатьевича с пацанами и грыз кислые яблоки.

В общежитии его ждали новые друзья. На вечер был назначен Большой плов.

— Что первично — духовное или материальное? — блестя глазами, рассуждал Тариэль, повязывая галстук.— Для нас, как представителей науки, безусловно, первично духовное. Верно, Мамед?.. Потому мы сейчас пойдем на отстрел, а лишь потом — на рынок. Мамед, где будем охотиться?

— Такой официантка в шашлычной видел...— мечтательно сказал Мамед.

— О нет, Мамед! Начинать сезон надо культурно. Официантки твои нажрутся, начнут материться... Тетя Варя будет недовольна.

— Балерина не надо. Не хочу балерина,— сказал вдруг Мамед.

— Ну,-зачем так высоко! Балерин нужно отстреливать заранее, а времени у нас в обрез. Евгений Викторович, что вы предлагаете?

Демилле ничего не предлагал, но, повинуясь охватившему приятелей энтузиазму, а скорее чувству обиды на жену, тоже выгладил лучшую свою сорочку и через десять минут был готов к отстрелу.

Тариэль повел их дворами на проспект Благодарности. Оба аспиранта были одеты с иголочки — кожаные пальто, клетчатые кепки, в руках короткие трубки импортных зонтиков... Демилле в этом проигрывал.

Неподалеку, в новом девятиэтажном доме, смахивавшем на улетевшее жилище Евгения Викторовича, размещалась библиотека. Охотники прошли сквозь стеклянные двери, разделись в гардеробе, затем Тариэль и Мамед проникли туда, где за деревянным барьером томилась молоденькая кудрявая библиотекарша. Демилле остался в холле, наблюдая за отстрелом издали.

Читателей в этот субботний час было в библиотеке мало. Старушка-уборщица неслышно водила шваброй по паркетному полу, другая дремала в гардеробе. Демилле видел, как аспиранты завели тихую беседу с девушкой-библиотекарем, перегнувшись через барьер. Та слушала внимательно, наконец улыбнулась и, поднявшись со стула, принесла какую-то книгу. Затем она придвинула к себе бланк формуляра и принялась старательно писать, в то время как Мамед листал маленький плотный томик и что-то читал вслух. Девушка краснела и улыбалась.

Вскоре девушка снова скрылась и пришла вместе с двумя подругами: одна была черненькая, с косой и чуть раскосыми по-азиатски глазами, а другая — высокая, нескладная, с большим красивым лицом.

Тариэль продолжал что-то говорить, размахивая томиком, девушки слушали слегка настороженно — видно, не решались. Вдруг все трое взглянули в сторону Демилле, и черненькая прыснула. Две другие несмело улыбнулись. Демилле поспешно отвернулся.

Через минуту охотники покидали библиотеку. Вся операция заняла пятнадцать минут.

— Значит, запоминайте,— сказал Тариэль.— Кудрявая— Таня, высокая — Майя, черненькая — Рая. Она наполовину якутка. Главное — не перепутать и не забыть. Девушки этого не любят.

— Таня, Майя, Рая,— повторил Мамед, как заклинание.

— А это что? — спросил Демилле, указывая на томик.

— Омар Хайям,— сказал Тариэль.— Он нам сегодня пригодится. Будет культурная программа. А теперь — на базар!

На рынке алели ряды южных тюльпанов и гвоздик, цокали грецкие орехи, пересыпаемые смуглыми руками, горы влажной зелени дышали весенним ароматом. Аспиранты не спеша двигались в толпе, выискивая среди торговцев своих, с которыми вступали в торг на родном языке, что помогало добиться скидки. Одна за другой из карманов кожаных пальто появлялись тонкие нейлоновые сумки, заполнявшиеся луком, редиской, петрушкой, морковью.

Далее был черед мясного магазина, где у Тариэля имелся знакомый мясник, отваливший три килограмма отличной парной баранины, и, как водится, кончили винным отделом гастронома.

Устроители Большого плова вернулись в общежитие, и на кухне третьего этажа началось священнодействие.

Сняв лишь пиджаки и оставшись в белых рубашках с закатанными рукавами и при галстуках, аспиранты накинули расшитые восточным узором передники, на головы надели тюбетейки. Свой передник с тюбетейкой получил и Евгений Викторович.

На двух больших кухонных столах разложены были острейшие ножи, широкие деревянные доски, тазики с мясом, морковкой и луком, широкие блюда для разде-

ланных продуктов. Появился огромный медный казан с обожженным днищем; в кухню, как на представление, стал стекаться народ из соседних комнат. Молодые аспиранты и аспирантки разных национальностей занимали места, не вмешивались, следили за происходящим. Видно было, что Большой плов принадлежит к числу любимых зрелищ и достопримечательностей общежития.

— Плов, Евгений Викторович,— мужское занятие,— объяснял Тариэль, готовя столы для работы.— Женщина не может приготовить настоящий плов, потому что спешит и думает только о пище. Она озабочена тем, чтобы не пересолить или не сжечь мясо...

Вокруг улыбались, как улыбаются знакомому и родному.

— Мы же займем работой руки, и пусть наш ум отдается достойной беседе, а сердце откроется добру и любви...

— Родителей нужно вспоминать. Сестру, брата,— серьезно сказал Мамед.

Уже шумел голубой огонь горелки, в казане плавился белый курдючный жир.

Тариэль не спеша разделывал мясо, Мамед, тоже не торопясь, но при этом удивительно проворно, резал красную очищенную морковь, которая под его ножом превращалась в тончайшую соломку.

— У нас на востоке говорят: «Тот, кто ни разу не приготовил плова с друзьями, не знает, что такое дружба». Один мужчина может приготовить плов, но лучше, если его сделают двое мужчин, трое мужчин... И это не только ритуал, тут технология! Каждый продукт должен поспеть в нужный момент,— объяснял Тариэль.

Демилле промывал в глубокой кастрюле рис. Тариэль велел добиться, чтобы сливаемая после промывки вода была абсолютно прозрачна. Демилле набирал воду раз, другой, третий, шевеля руками массу зерен, и вода каждый раз мутнела, так что ему стало казаться, что задача невыполнима.

— Плов вырабатывает терпение и ответственность,— продолжал Тариэль.— Один подведет, схалтурит, как у вас говорят,— и пропал плов.

Сам он уже разделал мясо, вымыл руки и спокойно закурил, наблюдая за кипевшим в казане жиром.

— Тариэль, расскажи легенду,— попросила одна из зрительниц.

— Женщина, как смеешь ты вмешиваться, когда мужчины готовят плов?! — вскричал Тариэль, негодуя, и все рассмеялись, ибо и вопрос, и ответ повторялись при каждом приготовлении плова и были рассчитаны на свежего человека, каким являлся в настоящий момент Демилле.

— Я повелеваю тебе покинуть наше общество,— продолжал Тариэль.— Впрочем, оставайся,— величественно взмахнул он рукою с сигаретой, заметив обеспокоенный взгляд Евгения Викторовича.

Проклятый рис никак не желал быть чистым. Лоб под тюбетейкой у Евгения Викторовича взмок.

Тариэль отбросил сигарету и обеими руками поднял с доски пригоршню баранины. Он подошел к казану и важно опустил мясо в кипящий жир; раздалось бульканье, шипенье, скворчанье. За первой пригоршней последовала вторая, третья, пока все мясо, до последнего кусочка, не оказалось в казане. Почти сразу же в кухне возник восхитительный аромат жареной баранины, вызвавший глухой завистливый стон публики.

Тариэль присоединился к Мамеду; из-под ножа сыпалась морковная соломка.

— Лучше на терке, Тариэль! На терке быстрее,— взмолилась та же аспирантка.

— Женщина! — мрачно воскликнул Тариэль.— Я в самом деле удалю тебя отсюда, если ты не перестанешь вмешиваться в дела, недоступные твоему уму! Она воображает, что владение романской филологией дает ей право советовать мужчинам, как варить плов,— пояснил он Демилле.

Аспирантка покраснела, обиделась.

— Я же как лучше...

Демилле, желая спасти несчастную филологиню, показал Тариэлю последний прозрачный слив. Тариэль удовлетворенно кивнул. Евгений Викторович распрямился над раковиной, снял тюбетейку и вытер тыльной стороной ладони лоб.

В кухне было уже человек восемь, не считая поваров. Лица русские, грузинские, казахские... Появились и зарубежные гости: два низеньких вьетнамца в синих пиджаках и немец из ГДР с фотовспышкой, которая время от времени озаряла помещение кухни.

Мамед между тем ссыпал в казан огромный ворох мелко нарезанного лука, отчего аромат в кухне приобрел новый оттенок.

Текли слюнки.

Вслед за луком туда же последовала гора морковной соломки, соль, перец. Из казана валил уже одуряющий запах жареного мяса, лука и специй, приводящий душу в экстаз.

Тариэль зачерпнул варево половником, подул и попробовал. На лице его изобразилось блаженство.

— И нам! И нам попробовать! — раздались возгласы.

Даже у скромных вьетнамцев горели глаза.

Тариэль успокоил толпу взмахом половника.

— Тихо, братья! Всем желающим будет выдана порция плова. Подчеркиваю: плова, а не промежуточного продукта. Прошу зайти в нашу комнату в девять ноль-ноль.

Народ стал расходиться, ибо выносить далее аромат такой концентрации было не под силу.

Тариэль взял кастрюлю с рйсом и выгреб мокрые слипшиеся зерна в казан, поверх аппетитного варева. Рис покрыл мясо и овощи ровным слоем, сквозь который прорывались кое-где гейзеры жира. Тариэль успокоил их, разровняв рис, затем точными движениями воткнул вглубь несколько неочищенных долек чеснока, снова разровнял поверхность шумовкой, осторожно долил кипятком, так чтобы вода прикрыла рис «на фалангу мизинца», как он выразился, и накрыл тяжелой крышкой.

— Вот и все,— сказал он, снимая тюбетейку.— Остается сотворить намаз.

Они с Мамедом скинули передники, расстелили их на полу и встали на колени. Полушутя-полусерьезно они преклонили головы к востоку, беззвучно шевеля губами. Демилле ошеломленно смотрел на них. Через минуту аспиранты поднялись на ноги, отряхнули передники.

— Теперь плов будет — о'кей! — сказал Тариэль.

...Девушки пришли точно в назначенное время, когда плов уже взопрел, впитав в себя воду и ароматы; на столе в комнате аспирантов ждало его огромное, расписанное синими цветами и арабской вязью блюдо, вокруг которого теснились тарелки с зеленью и бутылки вина, а сами аспиранты и Евгений Викторович, отдохнув от трудов, снова приняли праздничный вид.

Девушки тоже сильно отличались от тех, что скучали в библиотеке. Все три были нарядно одеты и еще более нарядно накрашены. Щечки порозовели от румян, рес-

ницы удлинились, благодаря специальной французской туши, веки поголубели, губки вишнево пылали. Мамед лишь вздыхал и качал головой; Тариэль мелькал, как Фигаро, помогая девушкам раздеваться; Демилле натянуто кланялся, представляясь: «Евгений Викторович». Вдруг остро почувствовал свой возраст, он был по крайней мере на десять лет старше любого из присутствующих.

Девушки вежливо кивнули; Демилле запоздало поцеловал руку высокой Майе, которая знакомилась последней, другим не догадался. Это как бы выделило ее, и по мимолетному ободряющему взгляду Тариэля Евгений Викторович понял — все правильно: Майя предназначена ему. Вскоре так же непостижимо, но достоверно выяснилось, что за Раисой ухаживает Мамед, а ставшую еще более кудрявой Таню взял на себя сам Тариэль.

Все логично: Таня выделялась из подруг красотой и бойкостью, Рая была тиха, а Майя — заметно старше других. Тариэль предпочел принцип соответствия принципу дополнительности.

Вожделенный плов торжественно вплыл в комнату и был вывален на синее блюдо. Образовалась дымящаяся гора нежно-розового риса; тут и там выглядывали из-под разбухших, рассыпчатых зерен аппетитные кусочки баранины.

Не привыкшие к такому великолепию девушки притихли; видимо, ожидали чего-то другого, попроще, но вот Таня, расхрабрившись, воткнула широкую ложку в глубину горы и выложила на тарелку первую порцию плова. Тариэль уже разливал вино. Сразу зашевелились, потянулись за зеленью. Тариэль поднял бокал.

— Я хочу выпить за этот город, объединивший нас — жителей юга и севера, запада и востока,— за его гостеприимство, за то, что в нем живут лучшие девушки Советского Союза!

Чокнулись, выпили. Демилле грыз редиску.

Пир набрал высоту круто, как реактивный лайнер. Через полчаса в комнате стоял гам, девушки раскраснелись, рыхлое лицо Майи покрылось пятнами. Демилле поглядывал на него, стараясь (скорее, из вежливости), чтобы девушка ему понравилась. Не получалось. «Глаза как у козы»,— подумал он некстати.

Заглядывали на минутку аспиранты из публики, присутствовавшие на приготовлении плова, получали

порцию, восхищались, понимающе покидали компанию. Снова пришла тетя Варя, оценивающе оглядела девушек, выпила вина, похвалила плов, ушла. Тариэль подмигнул Мамеду: «Все путем!». Вдруг ввалился философ Рустам с двумя бутылками коньяка и двумя девушками, похожими друг на друга, как те же бутылки. Это были двойняшки Валя и Галя из культпросветучилища, им было лет по восемнадцать. Рустам вот уже две недели находился в полной растерянности, ибо двойняшки были неотличимы, и философ не мог понять — какая нравится ему больше. На всякий случай ходил с обеими. Двойняшки получили плов, выпили коньяку и серьезно вытаращили глазки, стараясь соответствовать.

Демилле подобрел, размяк, глядел на молодых людей разных народов, и любезная его сердцу мысль о всемирном братстве вновь затеплилась в душе. Красивы были и Тариэль, и Мамед, и Таня, и Рустам, и двойняшки из культпросветучилища («В чем их там просвещают?»), да и широколицая Майя в шуршащем платье из тонкой блестящей ткани стала казаться не такой неуклюжей. Только вот косточки на локтях раздражали.

Внезапно Тариэль объявил культурную программу. Сделал он это как раз вовремя, ибо еще немного — и вечеринка стала бы неуправляемой.

На стол поставили подсвечник с толстой красной перевитой свечой. Верхний свет потушили, огонек свечи сблизил лица, сделал их значительней и одухотворенней. Мамед снял со стены музыкальный инструмент с длинным грифом, положил деку на колени, прикрыл глаза.

— Мамед исполнит старинные мелодии на национальном инструменте — таре,— объявил Тариэль.

— Мугам,— сказал Мамед.

— Это название,— перевел Тариэль.

Мамед щипнул струну. Резкий высокий звук вырвался из тара, был подхвачен другими звуками — заунывными и протяжными — лицо Мамеда вытянулось, печальные тени легли на веки.

Огонек свечи выжег в красном воске ямку, окрашивая комнату тревожным багровым цветом.

Тариэль начал читать стихи. Их мерный ритм накладывался на прихотливые звуки мугама, создавая завораживающий душу рисунок. Тариэль тоже преобра-

зился. Теперь за столом перед девушками сидел не легкомысленный повеса, а воин и философ, чеканящий гортанные строки.

Дунёнинг тилагй, самарй хам бйз,
Акл кюзйн корасй — жовхарй хам бйз.
Тюгарак жахонни узук дёб билсак,
Шаксиз ўнинг кюзи — гавхарй хам бйз!

Закончив, он сделал паузу, в то время как инструмент продолжал свое заунывное пение, точно муэдзин с минарета. Затем Тариэль раскрыл томик Хайяма и прочитал перевод:

Светоч мысли, сосуд сострадания — мы.
Средоточие высшего знания — мы.
Изреченье на этом божественном перстне,
На бесценном кольце мироздания — мы!

Он прочитал наизусть на фарси еще несколько рубаи, переводы читал по книге. Мамед экстатически сдвинул брови, лицо его выражало страдание, тар тенькал, подвывал, повизгивал... музыка, лишенная на русский слух всяких признаков мелодичности, вызывала в маленьком худом аспиранте сложные чувства.

Демилле слушал, и вместе с восхищением в его душе копилась неясная досада на себя и на других, не помнящих родства, на присущую русским беспечность в сохранении своей культуры. «Почему эти молодые люди помнят, а я — нет? Как дошли до них из глубин эти звуки и слова? Неужели нам достаточно ощущать себя великой нацией, а на все остальное наплевать? Мол, само приложится...»

Едва Мамед кончил, Демилле взмахнул рукой:

— Ну, а теперь нашу. Девочки, подхватывайте!

И он высоким голосом, негромко и протяжно затянул «Степь да степь кругом...» Девушки молчали, в глазах двойняшек отобразилось недоумение, лишь Майя подхватила на второй строчке, но, допев куплет до конца, остановилась — слов дальше не знала.

Демилле выдержал еще два куплета и тоже сбился. Что-то там насчет «слова прощального» — черт его знает, вариантов много... Бог с ним! Он горестно вздохнул, потянулся за вином.

Майя преданно смотрела на него своими козьими глазами. Он заметил у нее на лице тщательно запудрен-

ный прыщик. Ему стало неловко. Она придвинулась к нему ближе, шепнула:

— Можно, я стихи почитаю?

— Конечно,— разрешил Демилле.—Сейчас Майя прочитает стихи. Свои? — спросил он у девушки.

Она кивнула.

Кудрявая Таня со скучающим видом отвернулась. Рая потупила глаза.

— «Милый мой, серебряный, Свет в окне! — начала нараспев Майя.— В кофточке сиреневой Я приду к тебе. До утра замучаю, погублю И слезой горючею окроплю...»

— Врешь ты, Майка. Нету у тебя никакого серебряного,— сказала Таня.

— Ну, зачем ты так! — вскинулась Рая.

Майя сидела неподвижно, будто боялась пошевельнуться, чтобы не расплескать переполнявшие ее слезы. Лицо у нее было, как чаша с водой. И все же не выдержала — расплескала. Из уголков глаз поползли по напудренным щекам две мелкие, блестевшие в свете пламени слезинки. Майя выскочила из-за стола, выбежала из комнаты. За нею следом кинулась Рая.

Двойняшки переглянулись и вдруг с неожиданной бодростью затянули песню, слышанную Демилле, кажется, по радио. Что-то там было про «притяженье Земли», а припев кончался так:

Мы — дети Галактики,
Но, самое главное,
Мы — дети твои,
Дорогая Земля!

И так звонко, старательно и вдохновенно пели они этот текст, что Демилле не знал — плакать ему или смеяться. «Господи, боже мой! Воистину дети Галактики! Не России, а Галактики, вот ведь как! И верно, так оно и есть!» Философ Рустам очумело смотрел на двойняшек, видимо, не предполагая до того наличия у них музыкальных талантов. Надо сказать, что Валя и Галя пели абсолютно слаженно, как и полагается сестрам-двойняшкам.

Дети Галактики были крепкие, тугие, со вздернутыми носиками.

Появился магнитофон, грянула музыка, сдвинули в сторону стол и стулья. Валя с Галей первыми вышли на освободившееся место и так же синхронно, как пели,

принялись танцевать, касаясь друг друга в определенной последовательности плечами, локтями, грудью, бедрами, коленками. Они напоминали идеальный танцевальный механизм, были поразительно серьезны, не профанировали это важное занятие. Рустам подхлопывал, лукаво блестя глазами. В круг вошли и другие девушки. Майя уже вернулась, на нее напало возбуждение, она неумело помахивала своими нескладными, согнутыми в локтях руками.

Демилле откинулся на диване, закурил. Ему вдруг нестерпимо жалко стало и этих упругих, точно мячики, девочек из культпросветучилища, которые сталкивались и отскакивали друг от друга, и раскосую Раю, танцевавшую в обнимку с Мамедом, и Таню со злым и красивым ртом, и мосластую широколицую Майю. Потом он и сам топтался на месте с Майей, которая прикрыла глаза и несмело касалась губами его шеи. Майя была с ним одного роста. Евгений Викторович тоже прикрыл глаза, обхватив широкую плоскую спину Майи.

Первым исчез Рустам с двойняшками. Танцы продолжались, но уже запахло переменами, приближалась полночь. Девушки стали собираться — не очень решительно; аспиранты уговаривали их посидеть еще. «Я вас провожу»,— сказал Демилле Майе, она вяло кивнула, пыл ее угас. Подруги вернулись, вызвали ее в коридор. Через минуту все трое вошли, Майя объявила, что уходит. Демилле стал одеваться.

Пошли молча, через некоторое время Демилле взял ее под руку. Майя была как деревянная. Свернули с проспекта Благодарности, прошли дворами и вышли на знакомую улицу Кооперации. «Вы здесь живете?» — удивился Демилле. Она кивнула. «А вы не знаете... не слышали... здесь был такой дом, я помню. Девятиэтажный».— «Снесли»,— равнодушно сказала она. «Как снесли?» — «Я не в курсе».

Прошли вдоль забора, огораживающего памятную Евгению Викторовичу яму с фундаментом, и остановились возле одного из точечных домов.

— Вот и пришли,— сказала Майя,— спасибо вам, Евгений Викторович.

— Подождите, не уходите,— сказал он.

Она остановилась, глядя на него козьими глазами. «Зачем я это говорю?» — раздраженно подумал он.

Он притянул ее к себе, поцеловал в щеку, будто

жалея. Она почувствовала это, спрятала лицо у него на плече, всхлипнула.

— Ну что вы, что вы...— бормотал он.

— Простите... я замуж хочу, ребенка хочу...— всхлипывала она.— Нету у меня ни серебряного, ни оловянного... не обращайте внимания, истерика... мне двадцать девять лет, я бы так родила, без мужа...

Она подняла голову, прошептала:

— Пойдемте ко мне.

— Не могу,— покачал головой Демилле.

Тут же подумал: «А не сказала бы она всего? Пошел бы?.. Нет... Почему?.. Потому что козьи глаза, потому что прыщик, потому что мослы? Так выходит?»

— Пристала, ребеночка захотелось! — она неестественно засмеялась, губы прыгали.

— Простите меня,— сказал Демилле.

— А-а... Чего вас прощать! — махнула она рукой, повернулась и, покачиваясь, пошла к подъезду.

Демилле взглянул на окна детского сада, поежился. Свет не горел, значит, Костя Неволяев спит. Евгений Викторович медленно побрел к общежитию.

Он постучал в дверь комнаты, толкнул ее. Дверь была заперта. Демилле постучал сильнее. За дверью возник шорох, и на пороге появился Тариэль в одних трусах. Он удивленно посмотрел на Евгения Викторовича.

— А вы разве к Майе не пошли?

— Нет.

— Странно,— сказал Тариэль.— Пожалуйста, заходите. Тут темно.

— Ничего.

Демилле вошел. Тариэль пошлепал босыми ногами в закуток, за шкаф. Послышались шорох, шевеление.

Демилле, не раздеваясь, сел на диван, взял пальцами щепотку холодного плова, начал жевать. Шорох и шевеление усилились. Потом до него донесся еле слышный шепот. Он налил себе вина, выпил. Раздеваться не хотелось. Он привалился на диванную подушку, прикрыл глаза.

— Евгений Викторович, вы спите? — через некоторое время позвал Тариэль.

Демилле не ответил.

Сон уже накрывал его, как вдруг к странным причудливым видениям стали примешиваться посторонние звуки, похожие на мугам — тонкое повизгивание, скрип,

теньканье. Демилле встряхнулся, открыл глаза. В комнате по-прежнему было темно, но за шкафом будто играл оркестр железных пружин. Они пели на разные голоса, ухали, ныли; горячая волна смятого дыхания, пота, щекочущего ноздри запаха выкатилась из-за шкафа и ударила Демилле в нос. «Господи! Зачем же я сюда пришел?» Он вспомнил лицо Майи и тех двойняшек. Ему стало не по себе, он поднялся с дивана. Музыка разом умолкла, будто дирижер оборвал ее взмахом палочки. Демилле выскользнул в коридор.

Через пять минут он уже стоял на трамвайной остановке, соображая, ходят трамваи или нет. Куда податься? Можно разбудить Костю, но нет... не хочется выглядеть идиотом. Куда же? «А что, если к Наталье? — подумал он.— Бывало, приходил и позже».

Наталья жила на улице Радищева. Не дождавшись трамвая, Демилле прыгнул в такси. Через полчаса он был уже на месте.

Он расплатился, зашел в знакомую подворотню. Наталья жила на первом этаже. Знакомое окно еле светилось — удача! Значит, не спит. Он встал на цыпочки и постучался условным стуком. Через минутку занавеска откинулась, выглянуло Натальино лицо. Демилле шутовски поклонился: вот он я! Она не удивилась.

Когда Демилле подошел к двери, та была уже приоткрыта. Наталья, в халате, с усмешкой взглянула на Демилле.

— Ты одна? — спросил он тихо.

— Нет, у меня мужик в постели! — язвительно прошептала она.— Я вижу, ты не поумнел за тот год, что мы не виделись.

Глава 18.

СУББОТНИК

Дел у Игоря Сергеевича Рыскаля было невпроворот.

Первая неделя выдавалась особенно тяжелой. То тут, то там возникали вопросы и вопросики, требующие безотлагательного решения: и доставка почты с улицы Кооперации на Безымянную, и устройство детей в школы и детские сады, и встречи зарегистрированных бегунов, которые возвращались из отпусков и командировок, и разъяснительная работа, и поддержание по-

рядка на лестницах, и поиски кандидатур на места дворников, и...

Одним словом, Рыскаль крутился как белка в колесе. Конечно, у него была группа из десятка сотрудников УВД, от рядовых до лейтенантов, и большие права и возможности, но... доверяй, да проверяй! — непременно где-нибудь напортачат. Майор по своей натуре был человеком, любящим вникать во все тонкости, и неоднократно убеждался в том, что, будь ему поручена та работа, которую проверял, он выполнил бы ее тщательнее и вдумчивей, чем подчиненный.

Однако приходилось терпеть, кое-где поправлять, кое-кого распекать. Не разрываться же на части!

Нечего и говорить, что, начиная с воскресного общего собрания кооператива, майор уже не покидал дома на Безымянной. Он поселился в трехкомнатной квартире, где раньше находилось Правление и куда жена его Клава доставила необходимые вещи, а потом стала носить завтраки и обеды.

Обстановка была походная, живо напоминавшая Рыскалю солдатскую юность и послевоенную молодость: заправленная серым одеялом раскладушка, которую принес Вероятнов, письменный стол, над ним карта (та самая), график дежурств постовых, список подчиненных с адресами и телефонами, городской адресно-телефонный справочник на столе.

Дверь в квартиру была открыта днем и ночью.

Памятуя о том, что наведение порядка в каждом деле следует начинать с головы, Игорь Сергеевич уже вечером в воскресенье принялся за оборудование штаба. Комната председателя Правления, где он пока поселился, после ремонта должна была стать спальней, комнату бухгалтера Игорь Сергеевич предполагал отдать дочерям, а маленькую изолированную комнатку, как войдешь в квартиру — налево, он решил оборудовать под штаб. Слово ему больно понравилось. Собственный штаб! Комнатка использовалась в кооперативе под дворницкую, там валялись лопаты, флаги, разный хозяйственный хлам.

Рыскаль собственноручно перенес его в освободившуюся двухкомнатную квартиру дворничих в том же подъезде (в воскресенье их и духа не было — бежали, как крысы с погибающего корабля), вымел сор, ввинтил новую лампочку и осмотрел помещение.

Комнатка была тесновата, метров десять, но под

штаб годилась. Требовалось провести срочный косметический ремонт. Рыскалю уже мерещился образцовый порядок в штабе, пишущая машинка, заново покрашенный несгораемый шкаф... в углу будет переходящее знамя... стулья нужно купить новые, а стол хорошо бы затянуть зеленым сукном. И для карты место есть. И для портрета.

Чей портрет будет висеть, он еще не решил. Хотелось — Дзержинского.

Рыскаль был воспитан так: сначала общественное, а потом личное. Ему и в голову не пришло начать ремонт квартиры с жилых комнат. Первым делом — штаб! Уже на следующий после собрания день, естественно, в неслужебное время, то есть вечером, Рыскаль с женой взялись за работу. Помогала им Вера Малинина, избранная в новое Правление.

Тут нужно открыть секрет: предложил в Правление Веру Малинину сам Рыскаль с тайной воспитательной целью. Как знать, может быть, общественная деятельность поможет женщине сойти с пагубного пути? Кроме того, прошлая должность товароведа (до отсидки) позволяла использовать Малинину в качестве бухгалтера кооператива. С финансами она была знакома.

Должности в Правлении распределили сразу после собрания. В результате открытого голосования председателем был избран Светозар Петрович Ментихин, общественные его способности не вызывали сомнений. Заместителями к нему, отдав каждому поровну голосов, выбрали срочно разысканного женою Серенкова и Файнштейна. Вера Малинина и Светозара Петровна дополнили правление до необходимого состава в пять человек.

Группы взаимопомощи возглавили:

I подъезд — известная нам Клара Семеновна Завадовская;

II подъезд — Армен Нерсесович Карапетян, начальник цеха электронного завода;

III подъезд — капитан второго ранга в отставке Сутьин;

IV подъезд — Василий Тихонович Вероятнов.

Рыскаль тут же поставил вопрос о штабе, был дружно поддержан, но когда дошло до дела, выяснилось, что оказать практическую помощь в ремонте может только Вера Малинина. Ментихины, увы, были уже не в том возрасте, чтобы самолично белить потолки

и клеить обои: Файнштейн под каким-то предлогом уклонился, а Серенков, заглянув в Правление, обозрел комнату штаба и мрачно изрек: «Сойдет и так. Не свадьбу играть».

...Работали споро. Пока Игорь Сергеевич с Клавой промывали и белили потолок с помощью распылителя (Рыскаль на стремянке, Клава внизу у насоса), Вера обрезала обои и подгоняла куски по рисунку. Сваренный загодя клей остывал в тазу.

Потолок покрыли в три слоя; пока мел просыхал, пили чай. Затем женщины убрали обляпанные газеты с пола, застелили новые и начали оклейку. Рыскаль взялся за кисть и принялся красить белилами раму окна. Был он в старом трикотажном костюме, с газетной треуголкой на голове.

Вдруг его отвлекли посетители. В прихожей топтались два молодых человека — один с усами, в поношенной вельветовой куртке; на плече болталась холщовая торба с вытисненным на ней поблекшим рисунком. Другой — без особых примет, высокий.

— Нам бы майора Рыскаля,— сказал усатый, заглядывая в штаб, где кипел ремонт.

— Слушаю вас,— обернулся к ним Игорь Сергеевич.

Молодые люди замялись. Невзрачный худой человек в заляпанной мелом треуголке не соответствовал их представлениям о майоре милиции.

Рыскаль отложил кисть, вышел в прихожую, снял треуголку.

— Пройдемте,— сказал он, кивнув в сторону жилых комнат.

Только там, увидев на спинке стула милицейский китель с погонами майора, молодые люди уверовали.

— Мы слышали, вам дворники требуются,— сказал один.

Рыскаль оценивающе оглядел их. «Эти? В дворники? Не верится...» Он привык встречать подобный тип молодых людей во время массовых скоплений у концертных залов, когда выступает зарубежная звезда, или же на неуловимом «черном рынке» книжников, с которым Рыскалю пришлось изрядно повозиться в свое время.

— Ваши документы,— сказал он.

Молодые люди выложили на стол паспорта и трудовые книжки. Рыскаль уселся за письменный стол, надел очки.

Та-ак... Оба прошли армию... Это хорошо... Сергей Сергеевич Храбров, 1950, русский, среднее... это хорошо... беспартийный... это плохо... первая специальность после армии — шофер... это хорошо... что же он столько работ поменял? Плоховато.

Второй — Александр Николаевич Соболевский, на два года младше, после армии работал лаборантом, подсобником, стрелком ВОХР, монтажником, грузчиком... Живого места в трудовой книжке нет!

Последняя профессия обоих одинакова: операторы котельных установок. Проще говоря, кочегары.

Что же? Летуны? Не хватало ему летунов здешних, кооперативных! С другой стороны, не за рублем, видно, гонятся. Тогда за чем же?

— Вот что, ребята, выкладывайте,— сняв очки, сказал Рыскаль.— Почему идете в дворники?

— У нас любой труд почетен,— хитровато улыбнувшись в усы, ответил Храбров.

— Я знаю,— кивнул Рыскаль.— И все же. Почему не учиться? Почему не на завод?

— На заводе работать надо! — донесся из соседней комнаты голос Веры Малининой. Рыскаль встал и прикрыл дверь.

— Мы пишем,— покраснев, сказал Соболевский.

Его приятель недовольно взглянул на него.

— Он шутит.

— Ничего не шучу. Он пишет прозу, я — стихи.

— Как-как? — не понял Рыскаль.

— Да не слушайте его, товарищ майор! Мы прирожденные дворники. У нас призвание такое! — заволновался Храбров.

— Не может быть такого призвания,— подумав, сказал Рыскаль.

— А вот тут мы с вами поспорим, товарищ майор! — Храбров освоился, придвинул стул, сел.— А призвание милиционера может быть?

Рыскаль снова подумал, ответил честно:

— Пожалуй, тоже не может.

— Однако вы же милиционер.

— Так сложилось. Я столяром хотел быть. Краснодеревщиком.

— Ну вот! И у нас так сложилось. А вообще мы хотели быть писателями,— вздохнув, признался Храбров.

И тут вдруг перед мысленным взором майора

возникла пустая стена штаба, а на ней, точно волшебный цветок, распустилась всеми красками стенная газета. Ей-богу, это мысль!

— Стенгазету будете делать? — спросил он.

— Какую? — опешил Храбров.

— Здешнюю. Кооперативную.

Писатели переглянулись.

— Будем,— сказал Соболевский.

— Ну вот и хорошо. Нам летописцы свои нужны. Пишите заявления.

Заявления были написаны мигом, на обоих появились резолюции: «Прошу оформить. Рыскаль», молодые люди получили ключ от квартиры дворников и отправились прямо туда — разгребать перенесенный Рыскалем инвентарь.

Так в нашем кооперативе появились сразу два писателя взамен одного, сбежавшего по крышам. Свято место пусто не бывает.

К полуночи комнатка штаба преобразилась. Влажно пахло наклеенными обоями, паркетный пол сиял лаком, плинтусы были аккуратно покрашены, окна и двери ослепительно белы.

У Рыскаля на душе все пело, да и женщины не скрывали радости. Маленький зародыш порядка и счастья в кооперативе, созданный своими собственными руками, словно намекал на перемены к лучшему. Верилось, что этот зародыш вскоре обрастет другими прекрасными помещениями под заботливыми руками кооператоров, как обрастает кристаллами крохотная затравка, опущенная в раствор.

Впрочем, до этого было еще далеко.

А пока перед Рыскалем во весь рост встала главная проблема, требующая незамедлительного решения. Она была трудна и неприятна. Это была проблема антисанитарии.

...О, как хочется писать о Прекрасном! О цветущих лугах, березовых рощах, быстроводных реках; о грибных прогулках и тетеревиных токах; о целомудренной любви, детских ручонках, мудрых стариках и всепрощении; о производственном плане, трудовом энтузиазме, полетах в космос; о человеческом разуме, наконец, о добре и зле. Неужто мне всю жизнь рыться в грязи? Какие слова нашли бы мы с милордом вместе или каждый в отдельности, если бы живописали восходы и закаты, океанские волны, перистые облака и горные гряды!

Но если мы хотим оставаться реалистами — а мы хотим, не так ли? — то нам никуда не деться от того, чтобы хотя бы краем страницы не задеть тех повседневных и — увы! — неаппетитных вещей, с которыми городской человек сталкивается каждый день. Пускай наши прелестные читательницы зажмут пальчиками носы, ибо мы намерены завести разговор о канализации, фановых трубах, мусоропроводах, баках с отходами и помойных ведрах.

Тем не менее, от этого никуда не деться. И те же прелестные читательницы, если они не ханжи, первыми упрекнут меня в отходе от реальности, если я сделаю вид, что такой проблемы не стояло перед жильцами нашего многострадального дома. К несчастью, она была!

Оказалось, что отсутствие электричества, воды, газа и телефонной связи, обнаруженное по пробуждении на новом месте, никак не может сравниться с прекращением удобств, под коими традиционно понимается сами знаете что. И если времянки, то есть временные ответвления от главных сетей электричества, газа, воды и связи, могли быть созданы — и были созданы! — в самое короткое время, то восстановить канализацию оказалось не просто.

Я не буду вдаваться в инженерные подробности. Каждый сам понимает, что такое канализационная труба. Во-первых, она огромного сечения. Во-вторых, связать воедино фановые стояки в каждом подъезде без земляных работ и разрушения кирпичной кладки первых этажей — невозможно. Водопроводную трубу ничего не стоит согнуть, сварить в любом месте, но труба фановая — особая труба. Потому уже к понедельнику требовалось принять срочные меры.

Дело в том, что поданную воду нельзя было направлять в квартиры, ибо ее некуда было сливать. Посему ограничились установлением водоразборных кранов в каждом подъезде, в закуточках первых этажей, что рядом с лифтами. Везде, где можно было — в лифтах, на лестничных площадках, на дверях подъездов — по указанию Рыскаля вывесили объявления о категорическом запрещении пользоваться ваннами, раковинами и унитазами, во избежание полного засорения стояков. Жильцы срочно обзавелись ведрами и дачными умывальниками; вообще, жизнь неожиданно стала напоминать дачную, если иметь в виду неудобства дачной

жизни. Во дворе соседнего дома, что через Подобедову, рядом с загородкой для мусорных баков, соорудили временные деревянные туалеты. Рыскаль выбил экскаватор, который вырыл необходимой глубины яму, а бригада плотников довершила остальное. Тут же поставили в ряд несколько больших резервуаров для помоев и дополнительные баки для сухого мусора. Излишне говорить, что жильцы соседнего дома восприняли это как надругательство и, не мешкая, повели отчаянную войну с новшествами, пользуясь всеми средствами.

Ясно было как божий день, что этот паллиатив проблемы не решает. Рыскаль вызвал инженеров-сантехников и провел совещание в новом штабе. Все уже было на месте, даже портрет Дзержинского. Посовещавшись несколько часов с майором и членами Правления, инженеры предложили решение: создать в подвалах каждого подъезда закрытые резервуары достаточного объема для слива туда жидких нечистот через фановые стояки. По мере заполнения резервуаров их предполагалось очищать по ночам ассенизационными машинами.

Итак, иного выхода, кроме подвальных резервуаров, не существовало. Беда в том, что в доме не было подвалов, он стоял на асфальте Безымянной улицы — значит, надо рыть. Даже при допущении еженощной очистки, объем резервуаров все равно получался большим — 32 кубических метра, по 8 кубов на подъезд.

На заседании Правления Вера Малинина подала идею народной стройки.

— ...А то заелись больно. Лопату в руки — и вперед! — сказала она.

— Но на каком, собственно, основании члены кооператива должны сами заниматься земляными работами? — спросил Файнштейн.

— На том основании, что в дерьме утонем! — отпарировала Малинина.

Серенков кривил рот, будто предвидел что-то нехорошее, но говорить не хотел.

— Ничего страшного, товарищи,— сказала Светозара Петровна.— Помню, мы в двадцать девятом году на строительстве Волховстроя...

Каждое заседание Правления — а заседали ежевечерне, ввиду чрезвычайного положения,— украшено было краткими мемуарами Ментихиных, после чего приходили к общему согласию.

Рыскаль радовался. Он, как и Светозара Петровна, был коллективистом, но более поздней, военной закалки. Трудности его не пугали, а желание сплотить и сплотиться становилось прямо-таки навязчивым. Он знал по опыту, что становление коллектива возможно лишь в общей борьбе с трудностями. Как говорится, нет худа без добра — спасение от нечистот обещало повысить градус общественного темперамента.

Он причесал свое «воронье крыло» и отправился по инстанциям — получать разрешение в городской кабельной сети, а также добыть сварщиков и материал. Согласно решению Правления, его члены и группы взаимопомощи проводили разъяснительную работу в квартирах.

Случилось так, что агитировать Ирину с Егоркой пришла Светозара Петровна Ментихина.

Ирина и Егор сидели в детской и разговаривали с генералом Николаи по телефону. Вечер был прохладен, потому окна не раскрывали. Григорий Степанович с трубкой возле уха находился за стеклом в освещенной комнате; Егор и Ирина прекрасно его видели, как и он их. Это напоминало видеотелефон, который когда-нибудь войдет в наш быт повсеместно, а сейчас возможен лишь в таких экстренных случаях, когда дома стоят окно в окно.

Аппараты были игрушечные, детские. Григорий Степанович с Егоркой купили их в магазине на Большом проспекте тем же днем, пока Ирина была на службе. Никак не могли наиграться новинкой, разговаривали по очереди — то сын, то мать. Тоненький зеленый провод, переброшенный через щель между домами, соединял освещенные окна.

Генерал блаженствовал. Положив ногу на ногу и запахнув полы своего длинного красного халата, он не спеша покачивался в кресле-качалке и говорил в трубку, не спуская глаз со своих абонентов.

Ирина видела, что в комнату генерала уже третий раз входит его дочь Мария Григорьевна и что-то неодобрительно говорит отцу. Генерал только отмахивался: «Потом, потом!» — слышалось в трубке.

Мария Григорьевна в очередной раз сурово поджала губы, бросила холодный взгляд за окно и ушла. Ирина сжалась. Ей было почему-то не по себе от взглядов дочери Николаи, хотя — видит бог! — она не навязыва-

лась. Григорий Степанович сам в любую свободную минуту распахивал окно и затевал разговоры.

— Мам, дай мне послушать! — ныл Егорка.

Ирина дала ему трубку, глаза Егорки загорелись, генерал начал новую историю.

В это время и пришла Светозара Петровна. Она вступила в квартиру несколько официально, не как соседка к соседке, а по долгу службы. Первым делом она проверила раковины и ванну, естественно, извинившись, и нашла их в удовлетворительном состоянии. Затем Светозара Петровна, не переставая весьма тактично обследовать квартиру, завела разговор о предстоящем субботнике.

Она предпочитала пользоваться эвфемизмами. Вопрос был щекотливый, грубый. Светозара Петровна в жизни не употребляла не то что слово «дерьмо», но и «нечистоты». Недопустимы были также «унитаз», «ассенизация» и даже «канализация». Все это дурно пахло.

Надо сказать, что к тому времени, несмотря на героические усилия майора и запрещающие объявления, стояки уже были наглухо засорены, в квартирах и на лестничных площадках стоял довольно-таки мерзкий запах, мусоропроводы тоже переполнены... баки на площадках с верхом завалены очистками и пищевыми отходами... В таких условиях стыдливость Светозары Петровны выглядела забавной.

— Иринушка Михайловна, дорогая, вы понимаете, что... э-э... надо принимать меры...

— Да-да, жутко воняет! — сказала Ирина.

Светозара Петровна вздрогнула.

— В субботу все как один на субботник! Возьмем лопаты, ломы, проявим сознательность!

— А что будем делать? — поинтересовалась Ирина.

— Будем копать ямы.

— Для чего?

— Э-э... понимаете, э-э... туда будут опускаться... эти... В общем, вы понимаете.

Светозара Петровна значительно сжала губы и едва заметным кивком головы указала в сторону туалета.

— Выгребную яму копать? — догадалась Ирина.

Светозара Петровна мучительно улыбнулась, давая понять, что именно так, хотя лучше этого не произносить.

Но Ирина проявила неожиданную дотошность.

— А потом? Когда они переполнятся? Это ж еще хуже будет!

Взгляд Светозары Петровны заметался, ей стало так плохо, что и не передать. Сложной игрой губ и бровей она кое-как намекнула, что дальнейшее — дело ассенизаторов и специальных механизмов.

Светозара Петровна заглянула в детскую и увидела Егорку с телефонной трубкой.

— Ах, у вас телефон! — изумилась она.

Телефонов в нашем доме имелось считанное число: у Инессы Аурини, как уже упоминалось, у кавторанга в отставке Сутьина (поставили еще до отставки) и в Правлении. Неудивительно, что Ментихина поразилась.

— Да это так, игрушка...— сказала Ирина.

— С кем же разговаривает мальчик?

Теперь пришел черед проявлять стыдливость Ирине. Она точно так же кивком указала за окно, где виднелась блестевшая под электрической лампочкой лысина генерала.

— Вот как?..— произнесла Светозара Петровна со сложным подтекстом.

Между тем неугомонный генерал заметил новое лицо в соседней квартире и не преминул поинтересоваться.

Егорка протянул трубку Светозаре Петровне и застенчиво промолвил:

— Вас к телефону...

— Меня?! — еще более изумилась Ментихина и взяла трубку, как гранату с вырванной чекой.

— Добрый вечер, Светозара Петровна! — поклонился в кресле генерал.— Я имел честь слушать ваше темпераментное выступление на собрании и должен сказать...

Ментихина окаменела. Она не знала, как себя вести. Свой? Чужой? Почему этот лысый человек в халате был на собрании?.. Вдруг она вспомнила: он же выступал в конце! От сердца отлегло.

А генерал поделился своими соображениями насчет возникшей ситуации с нечистотами и, в свою очередь, спросил Светозару Петровну, что намерены предпринять.

— У нас будет субботник,— ответила старушка.

— Субботник? Прекрасно! А можно ли мне принять участие?

— Э-э... Я думаю, это допустимо,— помявшись, сказала Ментихина.

Она подала трубку Егорке и, сделав над собой усилие, кивнула генералу за окном. Тот помахал ей раскрытой ладонью.

Уже в прихожей Светозара Петровна шепотом, точно кто-то мог подслушать, осведомилась:

— Иринушка, а ваш муж... э-э... он где сейчас?

— В командировке,— соврала Ирина.

— Ах, вот как! В командировке,— сказала старуха удовлетворенно, и в глазах ее мелькнула искра радости. Попалась, голубушка Ирина Михайловна!

В субботу, в десять часов утра, практически все население дома, исключая больных, маленьких детей и стариков, вышло на место сбора, неподалеку от деревянного туалета на улице Подобедова. Рыскаль произнес краткую напутственную речь.

Светозара Петровна, члены Правления и сам Рыскаль имели на лацканах красные розетки, изготовленные Ментихиной из атласной ленты, купленной на средства Правления. Немного не хватало духового оркестра, но все же настроение было приподнятое, люди улыбались, бодрились, старались отнестись к предстоящему делу с серьезностью, но вместе с тем и юмористически, потому что и вправду в рытье выгребных ям под девятиэтажным домом есть нечто юмористическое.

Уже шипели два компрессора, от которых тянулись шланги к пневматическим отбойным молоткам, с помощью которых двое рабочих взламывали асфальт Безымянной улицы, готовя фронт работ во всех четырех подъездах.

Одновременно в каждом подъезде из-за недостатка места могло работать не более шести человек. Рыскаль разбил мужчин на бригады, по четыре на каждый подъезд — выбрал самых крепких,— и предложил сменный принцип, как в хоккее: одна шестерка играет, то есть работает, не щадя сил, в быстром темпе, потом ее сменяет другая, третья, четвертая, что позволит поддерживать производительность на высоком уровне. Тут же наметилось и соревнование между бригадами, и переходящий вымпел был учрежден, а в помещении штаба новоявленные дворники-писатели спешно готовили первый выпуск стенной газеты, который Рыскаль наказал вывесить к концу субботника.

Газета называлась «Воздухоплаватель». Название предложил поэт Саня Соболевский — история с летающим домом запала ему в душу, как и мне, когда он ее

узнал... Рыскаль хотел проще — «За здоровый быт», но молодые литераторы воспротивились: скукотища! Рыскаль спорить не стал, однако в глубине души сомневался. Пахло разглашением.

Остальные жильцы были брошены на борьбу с мусором. Требовалось очистить мусоропровод, убрать с лестничных клеток переполненные баки, вымыть лестничные площадки.

Специальная бригада во главе с Арменом Карапетяном занималась искусственным освещением ущелий по обе стороны, дома, для чего принялась монтировать гигантскую гирлянду из пятисотваттных аргоновых ламп, которую предполагалось развесить вдоль фасадов на уровне второго этажа с тем, чтобы щель и днем и ночью была залита светом.

Рыскаль ходил по этажам, улыбался, подбадривал, помогал. Убеждался все больше: можем! Можем, если захотим! Первый раз со дня основания кооператива его члены взялись совместно за участие в процессе труда, как написано в «Словаре иностранных слов», если помните, а значит — стали, наконец, истинными кооператорами!

Даже те, кто по привычке воспринял субботник достаточно скептически, как очередное формальное мероприятие, завелись потихоньку, не захотели отставать от коллективистов, а главное — видели плоды своего труда. Мелькали ведра, носилки с землей, которую вытаскивали из подвалов и чуть ли не бегом уносили на пустырь, где группа женщин сооружала клумбы.

У всех четырех входов в щели — со стороны Подобедовой и со стороны Залипаловой — наблюдалось значительное оживление, точно на лотке улья или в муравейнике. Тот катил тележку с сухим мусором, извлеченным из трубы мусоропровода, другой тащил ведро с мыльной грязной водой, третий, победно улыбаясь, тешась силою, нес баки с отходами, из которых осыпались завитки картофельной шелухи. Скапливались, уступали друг другу дорогу, ныряли в щели, выбегали, жмурясь, на солнечный свет...

Генерал, одетый в черный спортивный костюм из синтетики и вязаную шапочку, что делало его похожим на тренера футбольной команды, носил с Ириной землю на носилках. Нагружали им немного, учитывая возраст генерала и хрупкость Ирины Михайловны, и все же холмик под клумбу неуклонно рос, в то время как

шестерки землекопов яростно вгрызались в землю Безымянной улицы.

Под слоем асфальта обнаружился булыжник. Несколько вывороченных камней попали вместе с землею на носилки генерала и Ирины. Григорий Степанович (он был замыкающим), отдуваясь, говорил в спину Ирине:

— А ведь я по этим камешкам бегал, Ирина Михайловна... Лет этак... шестьдесят назад.

К обеду ямы были вырыты, и все кооператоры по очереди спускались в подвалы, чтобы при свете переносных ламп обозреть кубической формы пустоты в земле. Пахло сыростью, культурные слои двух последних веков четко обозначались на стенках ям полосками разной толщины и окраски.

Шестерки землекопов рыли короткие траншеи к каждому из фановых стояков. Работали с осторожностью, чтобы не дорыться до обломанных концов труб, ибо это грозило немедленным затоплением; оставляли небольшие перемычки для последующего вскрытия.

В дело вступили сварщики с железными листами; запахло озоном, в ямах ослепительно брызгала электросварка. Сварщики обшивали стены ям железом и прокладывали в траншеях трубы к стоякам. Перемазанные в земле кооператоры, точно черти выпрыгивали из преисподней, хватали железо, тянули кабели... народная стройка!.. ухали, кричали, матерились... сама пойдет! подернем! подернем!.. Потом уже признавались друг другу с некоей застенчивостью, что такое испытали впервые в жизни. Знали по кинофильмам, из истории, по книгам — Магнитка, Днепрогэс, Павка Корчагин,— но чтобы самим!..

Лестницы уже блестели, оттертые влажными швабрами, стены промыли с мылом, перила протерли. Инесса Ауриня в джинсовом комбинезоне, в котором не стыдно показаться не то что на субботнике, но и в Париже, собственноручно вымыла кабину лифта в своем подъезде, удалила надписи, покрыла стены лаком для волос (другого у нее не было) и в каком-то необъяснимом порыве прикрепила рядом с кнопками этажей таблички с номерами квартир, расположенных на этих этажах.

В четвертом подъезде, где жила Ирина, лифт расписали масляными красками — какой-то студент постарался,— Рыскаль заглянул, покачал головой: роспись на космические темы — вроде красиво, но единообразие нарушилось...

Машины мусорщиков то и дело подкатывали к пустырю, их загружали баками или внавал, под горячую руку очистили и загородку для мусора соседнего, враждующего с кооперативом дома.

И в этот момент, наконец, вспыхнули в обеих щелях десятки аргоновых ламп, развешанных на стенах дома дугами, точно на новогодних елках. И осветили они безукоризненно чистые, выметенные и промытые водой из шлангов узкие тротуары между домами, в которых собрались кооператоры, задравшие головы вверх. Ущелья празднично заполнились светом; ощущение как при первых послевоенных салютах — многие пожилые вдруг вспомнили,— и слезы радости заблестели на ресницах.

Казалось: все по плечу! Дайте любое дело — сделаем! В подвалах уже заканчивали сварку резервуаров. Комиссия Правления во главе с Рыскалем чинно обходила этаж за этажом, принимая у групп взаимопомощи объекты. Рыскаль с удовольствием ставил отметки в специально заведенный журнал дежурств: «Отлично. Отлично. Отлично...»

И вдруг из первого подъезда выплыл в освещенное ущелье зеркальный платяной шкаф. Его несли на широких ремнях четыре грузчика, а впереди, стараясь ни на кого не смотреть, шествовала женщина в сером пальто с беличьим воротничком. Она повторяла: «Посторонитесь, пожалуйста...». Кооператоры, теснясь в узком пространстве, уступали шкафу дорогу.

За этой процессией шел мужчина, неся на голове мягкое кресло.

Первой бросилась к женщине в пальто руководитель группы взаимопомощи первого подъезда Клара Семеновна Завадовская. На ней был черный рабочий халат, перепачканный землею.

— Что такое? Кто разрешил? — вскричала она, обращаясь одновременно к женщине и толпившимся в щели кооператорам.

— Мы переезжаем. Пропустите,— сухо сказала женщина и кивнула грузчикам, чтобы те продолжали свое дело.

— Не-ет! — закричала Клара Семеновна, преграждая шкафу дорогу.— Вы нам объясните. Игорь Сергеевич! Игорь Сергеевич! — завопила она, подняв голову, и ее голос звонким эхом прокатился по ущелью.

Мужчина с креслом надвинул его себе на голову, точно кепку, пытаясь скрыться от взглядов.

Через минуту на место происшествия прибыл Рыскаль. Тут же выяснилось, что переезжает квартира № 17, с третьего этажа. Неужели дали новую площадь? Так быстро? Толпа заволновалась.

Вдруг, после электрического апофеоза, почувствовали себя обманутыми.

— Я не намерена давать вам отчет,— твердо проговорила женщина.

— Ну что ж. Дело хозяйское. Пускай останется на вашей совести,— сказал Рыскаль.

— Только не надо о совести! — воскликнула женщина.

— Пропустите их, товарищи,— сказал Рыскаль.

Процессия прошла сквозь строй кооператоров, провожаемая негодующими взглядами. На улице Залипалова ждал мебельный фургон трансагентства. Пока грузчики и хозяева совершали рейсы туда-сюда, вынося мебель и чемоданы, в толпе кооператоров распространялись слухи. Стало известно, что переезжают Калачевы — муж и жена, бездетные, из двухкомнатной квартиры. Муж — директор ателье, а жена работает в РСУ дачного треста.

— Ну, все понятно! — говорили мстительно.— Этим законы нипочем!

Справедливости ради, следует сказать, что Калачевы переезжали отнюдь не на новую квартиру — никто им не дал, а к матери жены, живущей в двух комнатах коммунальной квартиры. Но дело даже не в этом. Как они смели? Неужели у них не осталось ничего святого? В то время, как весь кооператив, как один человек... и т. д.

Это происшествие омрачило кооператоров, но ненадолго. Сварщики доложили о готовности резервуаров, и четверка добровольцев в охотничьих резиновых сапогах с голенищами до... в общем, с длинными голенищами... устремилась вниз вскрывать перемычки фановых стояков. На них смотрели как на героев.

Через некоторое время поднявшийся из подвалов неприятный запах и глухое бульканье возвестили об успехе. Смельчаки вышли из клоак и наглухо завинтили крышки резервуаров, а двери подвалов прикрыли. После этого мыли сапоги на пустыре струей из шланга.

— Спасибо вам, товарищи! Поздравляю! — сказал

в мегафон голос Рыскаля, донесшийся сверху, из окна четвертого этажа второго подъезда.

Кооператоры поспешили в свои квартиры; вода уже била из кранов, освобожденная водонапорными вентилями, и глухо шумели бачки унитазов, наполняясь этой бесценной водой.

Глава 19.

ПЕРЕПИСКА С СОАВТОРОМ

Милостивый государь!

Чувствуя себя в некотором роде ответственным за судьбу нашего общего сочинения и находясь в полном неведении относительно оного, я предпринимаю попытку связаться с Вами посредством почты.

Нынешний Ваш адрес я разыскал не без труда. Различные справочники и записные книжки литераторов хранят лишь тот, что мне известен и без них, а именно: ул. Кооперации, дом 11, кв. 284. Но я, в отличие от литераторов, знаю обстоятельства Вашего побега и то, что живете Вы нынче совсем в другом месте. Как-то так случилось, что, пребывая вместе с Вами в квартире Ваших друзей, оставивших жилище на Ваше попечение, и обсуждая волнующую нас историю с потерянным домом, я ни разу не удосужился узнать, где, собственно, мы находимся. И вот, попав в странную переделку с литератором Мишусиным, который выкрал мой роман из Вашей библиотеки, я в течение долгого времени не мог найти способ связаться с Вами.

Помог, как всегда, случай. Не так давно Мишусин купил журнал, в коем было напечатано Ваше сочинение. Если бы Вы знали, сударь, сколько желчи и яда было вылито на Вас в беседах Мишусина с собратьями по перу! Но я не желаю распространять сплетни. Короче говоря, я решился написать на адрес журнала в надежде, что письмо Вам передадут. Вы же можете отвечать мне в П., где мы с Мишусиным, вероятно, задержимся до осени. Здесь есть так называемый «Дом творчества» (я уже знаю, что это такое), а в доме имеется специальная касса с буквами алфавита, куда кладут поступающие письма. Пишите смело на мое имя, здесь тьма-тьмущая литераторов и среди них есть такие, которые носят куда более замысловатые фамилии, чем моя.

Кроме того, как я убедился, мои имя и фамилия не вызывают у большинства литераторов ровно никаких ассоциаций. Возможно, ежели бы Вы писали Вильяму Шекспиру или же Ф. М. Достоевскому, некое подозрение зародилось бы в душах Ваших коллег. Впрочем, не уверен.

Итак, меня интересует дальнейший ход нашей истории. Если Вы продолжаете ее записывать и если Вас не очень затруднит, пришлите мне копию черновика. Я изнываю от скуки. С Мишусиным мы не общаемся, несмотря на то, что моя книга у него на видном месте (сначала она лежала у заднего стекла его автомобиля, теперь — на письменном столе). Но клянусь Вам, он лишь однажды раскрыл ее на восемьдесят седьмой странице, прочитал две фразы и больше не открывал. Признаюсь, это меня задело.

Кстати, он тоже сочиняет здесь роман по договору. Я не совсем понимаю, что это такое. Может быть, нечто вроде договора доктора Фауста? Кроме того, меня интересует следующее: стал бы Мишусин сочинять роман без договора? Если нет, то его незачем сочинять и по договору, если же да, то зачем договор? Достаточно романа.

Остаюсь и проч. *Л. С.*

Милорд, миленький!

Простите мне такое обращение.

Как я рад, что Вы объявились! Как я скучал без Вас! Как трудно мне было рассказывать никому!

Подлец Мишусин! Теперь я припоминаю, что однажды рассказывал ему о нашей работе. Он попыхивал трубкой, кивал с видом знатока. Негодяй! Невежда! Теперь он, видно, думает, что Ваш роман, подобно талисману, поможет ему в его бездарной работе. Шиш ему с маслом! Нет, без масла!

Между тем появилось несколько глав. Посылаю их не без трепета. Мне очень не хватало Ваших вопросов и уточнений. Наш Демилле сейчас далеко, на этих страницах он еще только начинает путь блудного сына и мужа. Теперь мне ничего не страшно! Я знаю, что Вы по-прежнему мысленно со мною, а потому поспешу ему вослед, нетерпеливо ожидая Ваших писем.

У Мишусина волосы стекают с лысины на затылок

мелкими жирными волнами. А еще клялся в дружбе, паразит!

Спешу закончить и отправить письмо. Мой адрес на конверте.

С искренним почтением *Ваш ученик.*

Сударь!

Я рад, что надежда не обманула меня. Однако мне показалось, что Ваше негодование больше вызвано ядом и желчью Мишусина, чем похищением моего романа. А что было бы, если бы этот литератор хвалил Вас во всеуслышание?

Теперь о главах. Персонажи появляются у Вас, как посетители нотариальной конторы. Они входят с мороза и вопрошают: «Кто последний?». Попав же к нотариусу, выкладывают паспорт, из коего можно узнать возраст и фамилию, и просят заверить какую-нибудь незначительную справку. Иной раз Вы забываете сообщить и фамилию. Кто такая эта Наталья, к которой ни с того ни с сего умчался ночью Демилле? Насколько я помню, о ней ранее не упоминалось.

Впрочем, давайте по порядку. Меня удивило, что Вы с Вашим научным образованием ни словом не обмолвились о космогонической гипотезе Канта — Лапласа, согласно которой звезды и планеты во Вселенной образовались из газообразных туманностей много миллиардов лет назад. Собственно, это не столь важно само по себе, ведь мы с Вами пишем роман, а не трактат, однако в главе, посвященной космогонии, я хотел бы услышать нечто о божественном происхождении всего сущего и о Вашем отношении к этому. Это вопрос вопросов. Во Вселенной все связано, потому происшествие с Вашим домом нельзя рассматривать изолированно. В сущности, от этого непоставленного вопроса — как автор и герой относятся к идее Бога — зависит разрешение проблемы и даже судьба героя. Демилле, насколько я его понимаю,— человек двойственный. Он воспитан рационально, тогда как судьба его состоит из цепочки иррациональностей, и он это чувствует, хотя и не сознает. Иначе что же спичечный дом и его утрата? И луковка церкви? И влюбленности, за которые он хватался вовсе не для развлечения и отвлечения от проблем, а неосознанно стремясь постигнуть Любовь?

Это равнозначно постижению Бога.

Последнее событие в жизни Демилле, то есть исчезновение родного дома, неминуемо поставило перед ним вопрос более высокого порядка, чем простые розыски адреса и нахождение, как Вы выражаетесь, «алгоритма оптимального пути». Вы об этом умалчиваете, но это так.

Я думаю, что он не поднялся к Майе не только потому, что та ему не понравилась, прыщик и так далее. Он боялся. Он интуитивно чувствует, что его настигло возмездие, и боится переступить последнюю черту. Я не удивлюсь, если он станет праведником и моралистом, в надежде таким благообразным путем вернуть утраченное. Но это не поможет ему, ибо такой путь ведет лишь к ханжеству.

Мишусин приостановил роман и сочиняет заявку на сценарий. На пляже ему рассказали историю. Он очень активен и находится в непрестанном движении. По-моему, Мишусин из тех людей, которые страстно желали бы присутствовать на собственных похоронах, чтобы услышать все, что там говорится.

У меня кончается бумага.

Ваш Л. С.

Дорогой Учитель!

Сначала нотариальная справка. Наталья Горянская — однокурсница Евгения Викторовича и подруга со студенческих лет. Собственно, его ровесница. Она была неудачно замужем, последние лет десять живет в коммунальной квартире на улице Радищева, детей у нее нет. Отношения ее с Евгением Викторовичем складывались своеобразно. Вначале, еще на втором курсе института, был намек на любовь: совместные занятия в читальном зале, разговоры, три-четыре посещения театра, провожания. И вдруг сближение приостановилось без внешних причин. Во всяком случае, ни Евгений, ни Наталья не могли потом припомнить, почему же отношения, развивавшиеся так удачно и обыкновенно, не стали истинно близкими. Сохранились симпатии, приятельство. Потом на несколько лет они пропали из поля зрения друг друга, обзавелись семьями, решали какие-то другие проблемы. Как вдруг в возрасте тридцати лет случайно встретились на банкете, посвященном защите диссертации бывшего однокурсника. Наталья тогда только что развелась и, разменявшись, полу-

чила комнату в коммуналке. Демилле был еще сравнительно примерным мужем, жили они с Ириной около трех лет.

Вслед за этой встречей на банкете, закончившейся уже утром на улице Радищева, когда не столько занимались любовью, сколько разговаривали, вспоминали, удивлялись тому, что не встретились раньше, как бы проигрывая совместно неосуществившийся вариант жизни, как разбирают шахматную партию партнеры после ее завершения — там ошибся один, здесь другой, а тут оба не заметили чрезвычайно красивого и богатого продолжения,— так вот, вслед за встречей последовал бурный полугодовой роман, когда оба увлеклись не на шутку, оба мучились: Наталья укоряла себя, называла даже «дрянью», поскольку со стороны могло показаться, что она перетягивает Демилле к себе от Ирины. Но со стороны никто об этом не думал, потому что не знал; Евгений Викторович страдал меньше, о разводе не помышлял, ибо боялся перемен, и все же угрызения совести не давали покоя. Мало-помалу все утихло само собою, и вот по какой причине. Оба почувствовали, что дружба и общее прошлое — молодость, студенчество, друзья — значат для них больше, нежели близость. Я не скажу, что они вовсе не получали от нее удовольствия, но это было обычно, как бывало с другими. Вся же история их и судьба принадлежали только им, никому больше. Встречи стали реже, акценты их сместились, если можно так выразиться, отношения стали проще и прочнее. Демилле мог, к примеру, помочь по хозяйству, что-то смастерить, принять участие в ремонте. Наталья иногда помогала ему в оформлении проектов, знала обо всех делах и заботах на службе и дома, короче говоря, выполняла роль второй жены-подруги. И это удивительно. Если бы Ирина была женой-любовницей, то все было бы понятно. Там одно, здесь другое. Но и там, и там было одно. Почти одно. Перед Натальей практически не существовало обязательств. Мог позвонить, мог и не позвонить, мог остаться на ночь, мог уехать домой. Она привыкла, не требовала большего, а Демилле это устраивало.

В лице Натальи как бы осуществился идеальный вариант жены, которой можно выложить все, включая увлечения. Многие мужчины об этом мечтают. Так оно и получилось впоследствии, когда они опять несколько отдалились друг от друга — у Демилле родился сын,

а спустя некоторое время последовала полоса влюбленностей, закончившаяся Жанной. Наталья была в курсе, жалела Ирину, выговаривала Демилле, порою высмеивала, сама же как бы не считалась. О ее личной жизни в промежутках между посещениями Евгений Викторович и не догадывался. Много раз пытался узнать, спрашивал с деланной небрежностью: «Кто у тебя сейчас?» или: «У тебя ведь есть любовник?». Она только усмехалась.

Одно время Демилле, почувствовав и перед Натальей некоторую вину, совершенно серьезно пытался выдать ее замуж. Как-то раз приехал вечером с сослуживцем из мастерской, разведенным инженером-строителем, сводничал, болел за Наталью, хотел, чтобы та понравилась. Она, как нарочно, была вялой, неинтересной, как в воду опущенной. Потом, когда гость ушел, сказала: «Женя, больше не надо таких пошлостей. Не бери на себя больше, чем можешь сделать».— «Но я же хотел, как лучше для тебя».— «Я сама знаю, как лучше для меня».

Много раз в ответ на заботы Демилле: «Тебе надо замуж» — отшучивалась: «Я уже была».

Лишь однажды, уж не помню по какому поводу, когда снова зашел разговор об устройстве ее жизни, серьезно призналась: «Я не могу иметь детей. Поэтому замуж не выйду. И кончим раз навсегда эти разговоры».

Но вот Жанну ему почему-то не простила. О других расспрашивала, легко смеялась, поддразнивала, однажды даже дала ключ от комнаты — Демилле потом сгорал от стыда, когда хмель влюбленности прошел и он снова стал появляться чаще, удивляясь, что привычка к Наталье устойчивей и сильнее, чем то, что совсем недавно казалось ему любовью. И еще удивляясь, что с Натальей не чувствует никакого греха, никакой вины перед Ириной. С другими чувствовал остро, особенно с Жанной.

Ирина никогда ничего о Наталье не знала и не догадывалась, в отличие от других случаев.

Так вот, возвращаясь к Жанне, скажу, что, когда Демилле заикнулся о ней Наталье, та почему-то сразу встретила ее в штыки. Уже не поддразнивала и не высмеивала, как раньше, а холодно и почти презрительно назвала «старым дураком», раздраженно морщилась. Когда же однажды увидела Жанну (совершенно случайно встретились в мороженице на улице Дзержинско-

го, неподалеку от места работы Демилле), то стала относиться совсем брезгливо. Демилле это почувствовал и перестал приезжать, да и бурные отношения с Жанной не давали времени.

Звонил примерно раз в месяц, интересовался здоровьем. Наталья с презрительным смешком говорила, что здоровье замечательное. «А у тебя?» — спрашивала она с дьявольским подтекстом. Демилле пытался обратить все в шутку — не получалось.

Потом звонки стали реже, поскольку не приносили никакого удовлетворения, а лишь усиливали терзания души, которых и без них хватало. А дальше, когда и Жанна стала отдаляться, не звонил уже по инерции.

Вот и все пока о Наталье Горянской, милорд. Дальнейшее — в тексте. Если Вас интересует портрет, то могу сказать, хотя портреты — не моя специальность, что Наталья кареглаза, черноволоса, угловата — острые плечи, прямая спина,— с маленьким носом, не очень красива, но умна. Не знаю, относится ли последнее к портрету. Мне кажется — относится.

Работала она последние годы в архитектурно-планировочном управлении, где занимались памятниками старины, которых в городе предостаточно.

Жду Ваших писем.

Покинутый Вами *соавтор.*

Милый ученик!

Вашей справкой о подруге Демилле я вполне удовлетворен. С нетерпением буду ждать следующих глав. Должен сказать, что меня весьма заинтересовали молодые люди, нанявшиеся дворниками. Я бы хотел и о них получить некоторые справки, но это позже, не отвлекайтесь!

В ожидании новых глав я, пожалуй, займусь наблюдениями над Мишусиным. Он снова вернулся к роману, который пишет, если можно так выразиться, жвачным методом. Здесь стоит адская жара, и Мишусин весь день проводит на пляже, питаясь разговорами, слухами и сплетнями. Его лысина приобрела благообразный бронзовый оттенок. Кстати, у Мишусина лоб Сократа, Вы замечали? Вечером, когда жара спадает, Мишусин запирается в номере, раздевается донага и садится за пишущую машинку. Подобно корове, он отрыгивает

разговор за разговором, пережевывает и вставляет в роман. Приходится только удивляться тому искусству, с каким он соединяет в единую цепь обрывки самых разнообразных сообщений и мнений.

Мой друг, как это бездарно! Если бы Вы видели!

Притом он твердит всем на пляже, что его роман чересчур смел, так что, пожалуй, его не напечатают. Насколько я могу судить, вся смелость его романа заключается в том, что он описал любовную связь директора завода с молоденькой секретаршей и вставил в роман постельную сцену между ними, поразительную по своей нелепости и полному отсутствию вкуса. Вообще, как я заметил, он очень любит заглядывать в прозе «за вырез платья», каждый раз обнаруживая там «спелые, налитые груди». На худой конец Мишусин довольствуется «округлостью колен». И то, и другое приводит его в экстаз, а меня в бешенство.

Жду ответа, как соловей лета. N'est ce pas?

Ваш Стерн.

Глава 20.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ

После ассенизационного субботника общественная жизнь кооператива на Безымянной круто набрала высоту; как будто обозначился перелом в сознании, появилось, наконец, чувство локтя и сплоченности. Понятие «наш дом» перестало быть адресно-географическим, сделавшись вдруг для многих кооператоров родным, кровным. Система кооператива, бывшая раньше для его членов чисто внешней и даже умозрительной, если пользоваться нашей классификацией, внезапно оказалась внутренней, определяющей мысли и поступки.

Немалую роль здесь сыграло, как ни странно, название стенгазеты, столь удачно придуманное дворником Сашей Соболевским. Еще тогда, на субботнике, кооператоры, группами и поодиночке забегавшие в штаб, не могли нарадоваться на огромный рисунок взлетающего в небо дома с членами Правления, сгрудившимися на крыше средь телевизионных антенн коллективного пользования, с майором Рыскалем в милицейской форме, возвышавшимся над ними, как наседка над цыплятами (и Рыскаль, и члены Правления были шаржированы

вполне дружески). Из окон дома торчали головы кооператоров, кто-то пытался прыгать с балкона, удерживаемый родственниками, кто-то молился; между прочим, летел вниз министерский портфель Зеленцова (и о нем дошли слухи до художника) — короче говоря, картина заражала весельем. Оказалось, что и так можно взглянуть на разыгравшуюся драму. Более же всего радовало слово «воздухоплаватель» — было в нем нечто иронико-романтическое, так что кооператоры сразу взяли его в обиход, вставляя при случае в привычные словосочетания «мы, как и все воздухоплаватели...», «дорогие товарищи воздухоплаватели!», «ты записался в воздухоплаватели?» и прочее, и прочее, отчего легче было переносить невзгоды.

На майские праздники кооператорам настоятельно было рекомендовано не приглашать в гости друзей и родственников, да и самим по возможности в гости не ходить. Слишком свежа была рана, слишком нелепые слухи циркулировали в городе, чтобы добавлять масла в огонь. Минимум контактов с посторонними! — таков был девиз Рыскаля. Однако сам майор и члены Правления понимали, что указанная рекомендация может омрачить праздник — слишком уж было похоже на интернирование, как выразился Файнштейн. И тут неутомимая Светозара Петровна предложила блестящий выход. Как вы думаете? Не угадаете ни за что! Концерт художественной самодеятельности!

— А потом банкет! — весело отозвалась из кухни жена Рыскаля Клава, которая фактически принимала участие во всех заседаниях Правления, либо находясь на кухне за тонкой стенкой из сухой штукатурки и слыша каждую реплику, либо потчуя членов Правления чаем с плюшками или домашним печеньем.

Светозара Петровна на секунду опешила, а потом, задорно тряхнув седенькой птичьей головкой, воскликнула:

— А почему бы и нет, товарищи?!

И обвела членов Правления озорным, как она считала, взглядом.

В мгновение все оживились, даже Серенков, посыпались предложения — где собираться? по скольку с носа? где найти таланты? меню, спиртное и прочее... Сразу поняли, что идея Ментихиной и Клавы сулит немалые выгоды для воздухоплавателей: еще более объединиться, узнать друг друга, замкнуть разговоры внутри

системы, да и разрядиться же наконец после всех треволнений прошедших недель!

Рыскаль крепко задумался, подперев подбородок маленьким твердым кулаком. Правление притихло, глядя на главного. Наконец Игорь Сергеевич вздохнул, пригладил «воронье крыло» и кивнул коротко:

— Согласен!

Чисто по-человечески он понимал затею, она ему нравилась — конечно, без излишеств,— но как объяснить начальству, если спросят? Хороша картинка — назначенный Управлением комендант дома возглавляет коллективную пьянку (майор хорошо знал термины, бытующие в официальных документах, если надо ударить побольнее: не банкет, не междусобойчик даже, а пьянка). Пустить же на самотек... нет, еще хуже! Принял решение, когда подумал о пресечении слухов. Нашлось слово для официальных бумаг: пресечение. Это соответствовало утвержденному плану и кампании по неразглашению, это выглядело солидно и научно.

И вот буквально за неделю, отделявшую ассенизационный субботник от Первомая, все было организовано в лучшем виде. Снова сняли актовый зал школы для концерта и зал плавучего ресторана «Парус» у Тучкова моста — для банкета. Концерт режиссировали Светозара Петровна и Светозар Петрович, организация банкета пала на Клару Семеновну Завадовскую (Рыскаль сообщил ей по секрету, что на праздники собираются отпустить на побывку Валентина Борисовича, все еще проходившего научное обследование у Коломийцева, поэтому Клара старалась вовсю), прочие помогали как могли — агитировали, собирали деньги, мастерили реквизит.

Неделю жили одной семьей. Не все, конечно,— нашлись и глухие затворники, скептики, брюзги... но таких было явно меньшинство.

Вечером накануне Первомая Правление собралось вновь, чтобы утвердить программу и порядок мероприятий. Первой докладывала Клара Семеновна. Ее вопрос был ясный: в банкете пожелало участвовать двести восемнадцать человек, что составляло большинство взрослого населения дома (разумеется, в их число не входили дети и старики, откололась также часть молодежи). Собирали по десятке с носа — меньше ни в одном ресторане не берут — однако Кларе Семеновне удалось бог весть каким путем уломать метрдотеля ресторана

«Парус» скалькулировать меню из расчета восемь пятьдесят на человека, так что в излишке осталось более трехсот рублей, которые Клара предложила употребить на водку «с собой».

— На триста рублей водки?! Кларочка! — ахнула Светозара Петровна.

— А что вы хотите, Светозара Петровна? Знаете, какие наценки? Я заказала по сто грамм на человека, меньше они не соглашались. Но сто грамм — это же курам на смех!

— Сто граммов! Това-арищи... Меня лично это убьет,— заявила Ментихина.

— Светик, голубушка, успокойся...— попытался встрять Светозар Петрович.

— Вас убьет, вы и не пейте. А мне сто грамм, как слону дробина,— сказала Клара.

Тут Клара Семеновна, безусловно, была права, достаточно было взглянуть на ее могучую фигуру.

Рыскаль поспешил уйти от щекотливой темы.

— Пускай Клара Семеновна делает, как знает,— предложил он.— Но чтобы в меру, вы понимаете?

Завадовская доложила меню, разъяснила, что на оркестр никак не хватает, но в зале имеется музыкальный автомат, который за пятак может сыграть любой танец.

— И краковяк? — спросила Ментихина строго.

— Краковяк? — опешила Клара.— Зачем краковяк?

— Светик! — взмолился Ментихин.

— Ну почему Светик? Почему Светик? Я хочу краковяк! — закапризничала старушка.

— Хорошо. Будет краковяк,— отрубила Клара.

— Товарищи, а может быть, вовсе без водки? — вдруг предложила Вера Малинина.

Все молча переглянулись.

— Видите ли, Вера Кузьминична...— вкрадчиво начал Файнштейн, но Серенков перебил его:

— Веселие на Руси есть питие! Народ сказал.

Понятное дело, с народом не поспоришь. Да и Вера сама смутилась, мол, что я такое говорю, лишь только представила себе банкет на двести с лишним человек — и без водки.

— Ну, не только на Руси...— загадочно протянул Файнштейн, как бы не возражая, а лишь уточняя предыдущего оратора.

— А где же еще? Там? — прогремел Серенков, кивая почему-то не в сторону, а вниз.

— Где — там? — побледнев, спросил Файнштейн.— На что вы намекаете?

— Там! Там! — тыча пальцем себе под ноги, утверждал Серенков.— Нам намекать не к чему!

— Прекратите, товарищи,— поморщился Рыскаль.

Спорщики притихли, отвернувшись один от другого.

Такие микростычки между ними происходили почти на каждом заседании Правления. И тот, и другой были в вечной оппозиции к большинству членов и к майору Рыскалю — один слева, другой справа — вот бы им объединиться! — но ненависть друг к другу оказывалась всегда сильнее. По существу оба часто говорили одно и то же, лишь разными словами: Файнштейн непременно логично и наукообразно, Серенков же рубил сплеча, нарочито по-мужицки, хотя ни крестьянином, ни рабочим не был, а руководил кружком баянистов во Дворце культуры.

Ненависть была не только национальной, о чем догадывались все, но и биологической. Когда Файнштейн вдыхал, Серенков непременно выдыхал; сердца у них бились в противофазе, несовместимость групп крови была полнейшая!

Если Файнштейн всегда носил галстук, то Серенков не носил никогда; гамма цветов у Серенкова была черно-коричневая, у Файнштейна же — зелено-желтая; такое сочетание цветов уместно для предупреждающих дорожных знаков, но в жизни излишне контрастно. Если бы мы с милордом верили в биополя, то могли бы представить себе их полную противоположность, разноименный заряд и яростную схватку друг с другом, когда биополя приходили в соприкосновение.

Всем на минуту стало неловко от вспыхнувшей распри, в основе которой лежало все понимали что.

Клара Семеновна прервала неприятную паузу сообщением о том, что одна из воздухоплавательниц (Завадовская, конечно, сказала «жиличка») просит разрешения пригласить с собою на банкет своего знакомого. Ей одной, видите ли, скучно.

— Кто такая? — спросил Рыскаль.

— Ирина Михайловна Нестерова, квартира двести восемьдесят семь.

— А кого она хочет пригласить?

— Из соседнего дома... Ну, отставной генерал,

помните? Он у нас на собрании выступал,— ответила Клара несколько пренебрежительным тоном.

— Товарищи, у них роман! — воскликнула Светозара Петровна, мгновенно оживляясь и обводя членов Правления восторженно-таинственным взлядом.— Он к ней телефон провел, беседуют часами! Я сама видела! Он мужчина солидный, но со странностями, товарищи.

— Нестерова что, одинокая? — спросил Рыскаль, припоминая.

— Почему одинокая? Совсем не одинокая! — воскликнула Ментихина.— Говорит, что муж в командировке. А он, между прочим, здесь! В городе...— Светозара Петровна понизила голос до шепота.

— А его как фамилия? Нестеров? — снова спросил Рыскаль, не отыскивая в памяти кооператора с такой фамилией.

— Нет! Демилле! Его фамилия Демилле! — вскрикнула Ментихина в упоении от счастья — сообщить важнейшую новость.

— Ах, вот как...

Майор мигом припомнил звонок в Управление по поводу незарегистрированного бегуна, который интересовался адресом улетевшего дома. Слишком уж необычная фамилия! Значит, соседям жена говорит, что муж в командировке, а нам — что не живет с нею совсем... Впрочем, не наше дело. Мало ли какие у нее причины?.. Однако они не разведены. Это уже плохо. Пожалуй, не стоит осложнять обстановку.

Поразмышляв так, Рыскаль ответил Кларе:

— Отсоветуйте ей, Клара Семеновна. Лишние разговоры. Не нужно ей это... А с генералом я сам после поговорю.

Он сделал пометку в перекидном календаре.

— Совершенно правильно, Игорь Сергеевич! А я с Иринушкой поговорю,— сказала Светозара Петровна услужливо. Ее общественный темперамент прямо-таки выплескивался из души и тут же находил себе желанные русла.

Рыскаль чуть поморщился, но возражать не стал.

С вопросом о банкете было покончено, и перешли ко второму пункту: концерт художественной самодеятельности. Светозар Петрович зачитал список выступающих и названия номеров. Дабы подать пример, Правление во главе с Рыскалем тоже в полном составе подалось в ар-

тисты — Рыскаль даже со всем семейством. У него дома было заведено петь, и уже давно существовал вокальный квартет, где запевалой была Клава.

Возражений программа концерта не вызвала, но, как и в предыдущем вопросе, наметилось осложнение. Светозар Петрович, сделав печальную мину, доложил, что вынужден был отстранить от участия в концерте трех самодеятельных авторов: один из них предлагал басню собственного сочинения, а двое других — молодая супружеская чета — сочинили песенку под гитару, которую и намеревались исполнить на концерте.

— И там, и там — о нашем событии,— значительно сказал Светозар Петрович.

— О каком событии? — не понял Рыскаль.

— О перелете.

Светозара Петровна распространила между членами Правления тексты упомянутых сочинений. На листках стояли фамилии авторов и номера квартир.

Басня являла собою пародию на крыловский «Квартет», довольно неумелую и не слишком остроумную. Заслуживала внимания лишь концовка, скорее всего, получившаяся у автора случайно:

...и где-то там, под небесами,
Узнали мы, что мы летим не сами,
А тянет нас вперед
Народ,
Который к коммунизму все идет,
Летит, спешит и не дойдет до цели...
И тут мы у Тучкова сели.
Посадка мягкая была, но все ж, как ни садитесь,
Друзья, вы в космонавты не годитесь!

Песенка была шуточная, по типу студенческой, ложившаяся на любой незамысловатый мотив. О том, как хорошо летать домами, избами и сараями и что, освоив такой способ передвижения, человечество непременно будет счастливо.

— Ну, и почему вы им не разрешили? — напрямик спросила Вера Малинина.

— Разглашение...— печально развел руками Ментихин.

— Да ну вас! Сразу вранье начинается! Я понимаю, что трепаться на улице не надо. Но все же свои. Все и так знают! — обиделась Вера.

— Все знают, что в магазинах нет... скажем, ситца. Но писать об этом не принято,— сказал Файнштейн, по

форме возражая Вере, а по интонации — присоединяясь.

Серенков тут же наискось открыл рот, ища возражения, но пока думал — реплику Файнштейна проехали. Рыскаль, желая, видимо, быть мягким и демократичным правителем, песенку разрешил, а басню отверг, ввиду непонятности позиции автора. То ли он обличает, то ли насмехается неизвестно над кем?

— Как его фамилия?.. Бурлыко? Квартира шестьдесят семь?.. Хорошо.

Глава 21.

У НАТАЛЬИ

...Временами стало казаться, что приплыл, достиг прочной суши, успокоился. Особенно когда выходил по утрам из Натальиной комнаты с полотенцем на шее и раскланивался с соседями: со старухой Елизаветой Карловной, помнившей его еще по первому визиту десятилетней давности, и с новыми, появившимися год назад,— семейством Антоновых. Умывшись, варил кофе, на службу не спешил никогда, ибо приучил начальство и сослуживцев к почти произвольному появлению — ему прощали, вернее, махнули рукой: как же! Демилле у нас талант! Считали талантом по привычке, берущей начало с тех давних великолепных проектов, подрамники от которых частью затерялись, частью засунуты куда-то за шкафы в мастерской или дома.

Дома... Каждый раз это слово укалывало в сердце. Демилле спешил перепрыгнуть мыслями на другое, приучал себя, что теперь здесь — его дом. Эту мысль обосновывал внутри себя тщательно, пока не намекнул Наталье о том, что его проживание может продлиться неограниченно долго. Она насторожилась, задумалась на минуту, потом покачала головой: «Нет, Женя. Так мы не договаривались».— «Почему? — обиделся Демилле.— Ты не хочешь?» — «Не хочу». После паузы проговорила: «Я не хочу терять старого друга. Муж ты никакой, а друг хороший. Менять старого друга на нового мужа не стоит». Демилле надулся, как ребенок, подумал с тоской: «И здесь не нужен...». Стал осторожно интересоваться на службе, нет ли где свободной комнаты или квартиры, чтобы снять. Нет, не себе... родственнику...

Вдруг обнаружились какие-то болезни, которых раньше не замечал. Ныло в животе справа — печень не печень, а что там? — неизвестно. Нашел у Натальи книгу о здоровье, рациональном питании и образе жизни, стал читать, мечтая, как будет по утрам бегать трусцой в Таврическом — здесь близко... Однако не было спортивного костюма. Все чаще наваливалась тоска по Егорке, тогда ныл, жаловался Наталье на судьбу, упрекал Ирину, пил валерьянку...

Желанный душевный покой никак не наступал — да и мог ли наступить? — но и бороться с обстоятельствами Демилле не умел. Он вообще не привык с ними бороться, был баловнем, но тут чувствовал, что надо начинать с какого-то другого конца, а с какого — не знал.

«Тебе надо превратиться,— сказала Наталья.— Но не знаю, сможешь ли ты?»

Евгений Викторович встрепенулся, попытался представить себе превращение — но не смог. Чтобы не выглядеть совсем уж жалким, придумал себе гордость: ежели Ирина его не ищет, не звонит на работу, не приходит к Анастасии Федоровне и Любаше — значит, не хочет. А раз так, то и он не будет навязываться, пускай живут, как знают. Когда придумал гордость, а произошло это дней через десять после бегства из общежития, немного полегчало, стал строить планы новой жизни. По правде сказать, связывать себя с Натальей тоже не хотел, у них все давно установилось, ничего иного быть не может. Думал так: сниму комнату, перееду, непременно сделаю ремонт, пить не буду, начну работать...

Вещи свои забрал из общежития через несколько дней после побега. Между прочим, когда возвращался с вещами к Наталье (было около полудня, пасхальное воскресенье), встретил у решетки того же Преображенского собора знакомого. Это был Борис Каретников. Демилле, проходя по улице Пестеля, увидел, как Каретников выходит из церковного двора, огороженного старинными пушками, а навстречу ему идет человек с гривой седых волос, с тростью, в демисезонном пальто. По лицу Каретникова, расплывшемуся в улыбке, Демилле понял, что они друзья. Каретников и седовласый троекратно облобызались с возгласами: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — чуть более громкими, чем необходимо, и седовласый, взяв Бориса под руку,

повел его не спеша вдоль ограды собора. Они перешли через проезжую часть и остановились, о чем-то разговаривая. Тут случился и Демилле с чемоданом и сумкой. Он попытался пройти мимо незамеченным, но зоркий глаз Каретникова остановился на нем. Сторож автостоянки, прервав беседу, воскликнул:

— Господи! Какая встреча! Евгений!.. Арнольд Валентинович, это же Евгений, помните, я вам рассказывал. Человек из того дома!

Седовласый обернулся, внимательно взглянул на Демилле, Евгению Викторовичу пришлось подойти и поставить вещи на тротуар.

— Безич,— сказал седовласый, пожимая руку.

— Евгений, почему же вы не позвонили Арнольду Валентиновичу? — с легким укором произнес Каретников.— Вашего звонка ждали.

— Да-да... как-то замотался...— оправдывался Демилле.

— Боренька, вы же знаете: время разбрасывать камни и время собирать камни...— значительно произнес Безич.

— Но телефон у вас сохранился? — спросил Каретников.

— Да. Спасибо. Телефон есть,— несколько сухо ответил Демилле.

— Христос воскрес! — вдруг вспомнил Безич.

— Да... м-м.... воистину... я, знаете...— смешался Демилле.

— Вы крещеный? — строго спросил Безич.

— Да, кажется...

— Кому кажется? Вам кажется? Или Ему? — Безич воздел глаза к небу. Демилле безмолвствовал.

Безич печально улыбнулся, покачал головой.

— Вы себя потеряли, молодой человек. Но Бог вас видит, помнит о вас. Помните и вы о нем.

Демилле кивнул; досада поднималась в его душе. Он подхватил вещи и пошел, не оглядываясь, к дому Натальи. Безич и Каретников некоторое время смотрели ему вслед.

Уже когда вернулся к Наталье, досада перешла в злость. Почему все вокруг знают про него, а он сам не знает? Где они берут эту уверенность в жизни? Все к чему-то прислонены: эти к богу, те к науке, другие к семье... а попробовали бы сами по себе, в одиночку!..

Это все и выложил Наталье. Она еще не совсем

верила тому, о чем поведал ей Демилле, то есть истории с домом — такой уж у нее был характер: пока не увидит своими глазами — не поверит. Пыталась найти рациональное объяснение; вплоть до временного помрачения ума. Потому вела себя с Евгением Викторовичем осторожно, ласково, как с ребенком.

— Вот и послушался бы советов. Со стороны виднее.

Но прошла неделя, потом другая, и Наталья увидела, что Демилле никак не может собраться с мыслями, что-то решить. По правде сказать, уже начал ей немного надоедать капризами, неуверенностью, сомнениями. Что за мужик? Втайне сочувствовала Ирине: жить с таким нелегко, неудивительно, что та не ищет.

Как-то раз, не предупредив Демилле, прямо со службы Наталья поехала на улицу Кооперации, обошла забор, поинтересовалась у постового: «Строят, что ли?..» — «Да вроде...» — пожал плечами милиционер. Лишь после этого уверилась в случившемся.

На майские праздники Наталья была приглашена за город, в Солнечное, в компанию старых друзей — еще со школы. Демилле, узнав, нахмурился. Ехать ему туда не хотелось, было не совсем удобно, да никто и не приглашал. Наталья, как само собою разумеющееся, сообщила о том, что уезжает на три дня, принялась собираться... «А я?» — спросил Евгений Викторович. «А что — ты?» — «Что мне здесь прикажешь делать?» — «Ничего не прикажу. Делай что хочешь».

Демилле изобразил надменность, забрался на тахту, накрылся пледом и стал демонстративно читать переписку Достоевских. Наталья упаковывала рюкзак. «Турпоходы — это для двадцатилетних», — не выдержал Евгений. Наталья в сердцах швырнула в рюкзак ком одежды, выпрямилась.

— Знаешь, мне только не хватает семейных сцен. Я уже десять лет без них живу — и ничего!.. Женя, давай раз и навсегда договоримся: ты мне не муж, и даже любовником я тебя не считаю...

— Вот как! А что же тогда мы изредка делаем?

— Не зли меня. Если бы у меня сейчас кто-нибудь был, ты бы мог жить здесь сколько угодно, как домашний кот. И ничего бы между нами не было...

Демилле не на шутку обиделся. Домашний кот... Он чувствовал, насколько точно это сравнение именно сейчас, когда он, свернувшись калачиком, лежит на тахте под пледом, ему тепло и сытно... фу, какая гадость!

— Ты меня уже попрекаешь...— скривил он губы.

— А ты не лезь со своими правами. Прав у тебя на меня не было и нету. И вправду, ты на кота похож...— улыбнулась она примиряюще.— Ну, не куксись! Я тоже кошка! Кошка, которая гуляет сама по себе. Пожрать тебе я оставлю, не волнуйся.

Вечером тридцатого апреля она уехала. Оставшись один, Демилле долго не мог уснуть в широкой Натальиной постели, рассматривал проступавшие в весеннем полумраке ночи стены с книжными полками — библиотека у Натальи была неплохая, на книжки тратила она почти всю зарплату,— думал почему-то о великих писателях, как они жили, мучались, писали свои гениальные книги, из которых все равно ничему нельзя научиться. Почему же так все подло устроено, что каждый должен сам расшибить себе нос, чтобы удостовериться в истине? Где тот неуловимый смысл жизни, над которым бились веками? Как посмотришь вокруг: зачем люди живут? Только о немногих можно догадаться... Вот, например, Наталья... Она ведь хорошая женщина, а семьи нет, детей нет... Что ей там, в АПУ? Ну, йогу читает, фильмы смотрит... Получается, что живет по инерции.

Что же, и ему жить теперь по инерции? Утонуть в мелких радостях жизни? Или же начать сначала, создать новую семью, снова добиваться жилья, потом ребенок... Скучно.

Или же искать Ирину с Егоркой? Не может быть, чтоб не нашлись. Ну, а как найдутся? Что им сказать?

«Нужна перспектива...» Это Жанна однажды изрекла, доложив ему о новом своем любовнике, операторе с документальной студии. Мол, появилась у нее перспектива, которой с Демилле не наблюдалось. Чушь! Перспектива одна: все умрем рано или поздно. А теперь еще лучше перспективка появилась: умрем все сразу, когда ахнут над головой дьявольские боеголовки — перекреститься не успеешь!..

Почему он подумал — «перекреститься»? Это, вероятно, Безич вспомнился, его воздетые к небу глаза.

Демилле услышал во дворе мужские голоса, поднявшись с кровати, отодвинул занавеску. Прямо под окном, пошатываясь, мочились двое. Демилле резко задернул занавеску, повалился в постель, закрылся одеялом. Гнусно, гнусно на душе! Вдруг он вспомнил свой спичечный Коммунистический дом, святую веру и непоколебимые идеалы. Как радостно тогда было

жить! Какая перспектива открывалась впереди! Жизнь казалась широким проспектом, ведущим в счастливое будущее... Теперь же она представляется черной подворотней, где то и дело мочатся пьяницы.

С этими скверными мыслями он уснул.

Проснулся оттого, что где-то далеко на улице праздничнo гудел репродуктор. Тревожное ощущение Первомая, его прохлады и ветра над Невой, полощущего знамена, проникло в душу; захотелось на улицу, к людям, к празднику. Демилле быстро умылся, оделся и вышел в плаще на улицу. Гром репродуктора ударил яснее, обозначились бодрые слова диктора и маршеобразная музыка.

Он вышел на Литейный. Было восемь часов утра. Тут и там по всему проспекту группировались демонстранты разных предприятий и учреждений, каждая под своими знаменами и эмблемами. Люди смеялись, пели под гитару, толкались плечами, согреваясь, что-то глотали из фляжек и термосов.

Над толпой плыло знакомое с детства: «Утро красит нежным цветом...» Между группками сновали деловитые мужчины с красными повязками «распорядитель» — они формировали сводную колонну района. В самих же группках выделялись местные руководители, которые обеспечивали демонстрантов флажками, лозунгами и портретами. Демилле, по неосторожности проходя сквозь одно из людских скоплений, внезапно получил в руки портрет на длинном древке. Молодой человек, распределявший портреты (у него была целая охапка), бросил коротко:

— После демонстрации сдашь в машину.

— Да я не...— попытался возразить Демилле, но парень уже совал следующее древко кому-то другому.

Бросив взгляд вверх, Евгений Викторович убедился, что ему достался портрет Устинова. Таким образом он стал полноправным участником демонстрации и пошел дальше уже с портретом, беззаботно неся его на плече, как винтовку.

Он направился к Невскому, минуя отдельные колонны, которые становились все плотнее и организованнее, пока не слились в один людской поток, впадающий в Невский проспект.

Там, впереди, уже слышались звуки команд распорядителей, разносившиеся радиомегафонами: «Побыстрее, товарищи! Разберитесь по восемь человек!» —

толпа убыстряла шаг, сплачивалась, становилась вязкой... Демилле понял, что он уже не принадлежит себе и вынужден двигаться вместе с колоннами... впрочем, это его не огорчало, хотя и навело на следующую мысль: «Находящийся в толпе может двигаться только в сторону движения толпы... И только со скоростью толпы!» — заключил он эту сентенцию, когда все вокруг вдруг перешли на рысь, догоняя переднюю колонну.

Демилле тоже прибавил шаг, бежать стыдился.

Поток демонстрантов с Литейного свернул на Невский, по которому текла широкая река от Московского вокзала — вся в знаменах и транспарантах,— по кромке тротуара тянулась живая цепь солдат и матросов, между которыми попадались милиционеры... работала схема Рыскаля, в то время как последний впервые за долгие годы был занят совсем другими делами.

Скорость движения менялась: то колонна топталась на месте и поневоле уплотнялась, то вдруг ускоряла шаг, двигаясь короткими перебежками, и тогда, в полном соответствии с законами физики для жидкостей и газов, давление в потоке падало, появлялись разрежения, пользуясь которыми Демилле мог перемещаться вдоль колонны вперед и назад.

Он постоянно менял место в рядах демонстрантов, оказываясь то в шеренге трудящихся галантерейной фабрики, то в коллективе ученых-химиков, то среди геологов, то рядом с учащимися ПТУ и школьниками... И везде почему-то не к месту — так ему казалось — с этим портретом, по-прежнему болтавшимся у него за спиной лицом вниз. Уже на Аничковом мосту ему стало невыносимо от одиночества, охватившего его среди веселой, сплоченной толпы — со своими шуточками, перемигиваниями, окликами, подначками, песенками, разговорчиками — в каждой группе свои собственные, но в целом одни и те же. А он не мог ни поддержать, ни отойти... Был чужим. И это ощущение чуждости как никогда ранило душу, омрачая праздник.

Свернуть нельзя было: мимо плыл уже Гостиный двор, но когда Демилле мысленно прикидывал путь до площади, получалось невообразимо далеко, дальше, чем до Луны. Разрежения встречались все реже, движение замедлялось, Евгений Викторович поневоле надолго прибивался к той или иной группе трудящихся; заметив, что многие демонстранты развернули знамена и подняли транспаранты повыше, он тоже снял портрет с плеча

и понес его, держа обеими руками перед собой. Миновали наконец улицы Герцена и Гоголя, где в народную реку Невского влилось несколько притоков, рассекаемых живыми цепями курсантов на отдельные струи, и вышли, повернув, на простор Дворцовой площади, с противоположной стороны которой шагала навстречу демонстрантам фигура Ленина, изображенная на огромном, прикрывающем трехэтажное здание плакате.

Демилле шел уже в колонне Металлического завода, во главе которой медленно ехала грузовая машина, задрапированная красной материей; на машине громоздилась эмблема предприятия. Микрофонный голос над площадью без передышки выкрикивал лозунги и приветствия, на которые эхом «ура!» отзывались демонстранты. Дошла очередь и до спутников Демилле. «Привет славным труженикам орденоносного Ленинградского Металлического завода!» — разнеслось над площадью, и колонна взорвалась криком «ура!». Евгений Викторович тоже крикнул «ура», но как-то неубедительно, так ему самому показалось, поскольку кричал из вежливости и желания хоть на секунду стать своим. Но не стал: шагавшие рядом покосились на него, а может, ему почудилось... мнительность эта интеллигентская, будь она проклята!

Во всяком случае, «ура» еще больше испортило ему настроение; он насупился, прижал палку портрета к груди, шагал мрачный. «Откуда, черт побери, эта отъединенность? Когда я перестал быть своим? Да и был ли когда-нибудь? В чем причина?» Демилле всегда считал себя демократом, снобизма не терпел, так был воспитан в семье, потому сейчас испытывал растерянность. И происхождением, и образованием, и воспитанием он не слишком выделялся среди массы народа. Всему виной, пожалуй, потеря дома, сделавшая его вдруг одиноким, никому не нужным... Или потеря идеала?

Впрочем, может быть, это одно и то же.

Он глядел на развевающиеся над колоннами разноцветные воздушные шарики, на уверенные улыбающиеся лица... на маленьких детей, взгромоздившихся на плечи отцов... на преданных жен, шагающих бок о бок с мужьями. Это к ним относились приветствия, долетавшие с центральной трибуны, это они, сплотившись вдруг на площади до физического понятия «народ», шествовали к видимой им цели, а он, Евгений Викторович Демилле,

шагал рядом, вцепившись в древко случайно доставшегося ему портрета.

Ощущение было не из приятных.

Повернув голову налево, он заметил в параллельном потоке, через два ряда милиционеров, эмблему электронно-вакуумного завода, на котором работали многие жильцы улетевшего дома. Демилле знал этот завод и его эмблему, поскольку раньше всегда проезжал мимо проходной завода, когда направлялся на работу. Он стал шарить глазами, высматривая знакомых, и действительно увидел неподалеку от головного грузовика инженера Вероятнова с красным розанчиком на лацкане пальто. Евгений Викторович попытался сунуться туда, но его вежливо остановили, направили в свой ряд. Он что-то говорил, пытаясь убедить, милиционеры непреклонно качали фуражками, показывали рукой вперед: дальше, перейдете после площади... Он никак не мог вспомнить, как зовут соседа по этажу, помнил только фамилию. Наконец, собравшись с духом, крикнул тонким голосом: «Товарищ Вероятнов!» — крик был неуместен и фальшив.

Вероятнов не слышал, его голова обращена была к трибуне, то есть в противоположную от Демилле сторону. Евгений Викторович, поминутно теряя инженера из виду, потому как его заслоняли знамена, головы, портреты и все прочее, шел на цыпочках вдоль живой цепочки и, как только Вероятнов выныривал, повторял свой призыв.

Наконец Вероятнов расслышал. Он дернул головой, поискал глазами; Демилле помахивал портретом. Инженер заметил его, на его лице вспыхнуло недоумение и даже испуг, но он все же вскинул руку в приветствии... Демилле показывал: я хочу с вами встретиться. Вероятнов понял и, подобно милиционерам, стал показывать пальцем куда-то вдаль, за площадь — мол, там... После этого снова отвернул голову к трибуне.

Демилле в нетерпении проследовал мимо Александровской колонны, и тут, при выходе с площади, его ждал удар. Поток, с которым он следовал, направили в правую сторону, на набережную Мойки; поток же Вероятнова устремился налево, в улицу Халтурина. Такова была схема. Евгений Викторович, задевая портретом демонстрантов, устремился вдоль набережной, перебежал мостик... налево, по Зимней канавке, было нельзя, стояло заграждение... он побежал дальше, ища

выхода на параллельную улицу, но свернуть удалось только у Конюшенного моста. Он выбежал на улицу Халтурина и увидел удаляющуюся к Марсову полю машину с эмблемой вакуумного завода. Догнав ее, он принялся рыскать в толпе, ища Вероятнова, но того уже не было рядом с грузовиком. То ли затерялся в толпе, то ли нарочно скрылся, не желая встречи...

Демилле добрел до Марсова поля, по которому вольными толпами гуляли демонстранты. На кустах висели обрывки шаров, бумажные цветы, там и тут валялись ненужные уже флажки и портреты. Продавали пиво и бутерброды из крытых машин, люди подкреплялись.

Демилле купил бутылку пива и припал к горлышку. Мужчина, стоявший рядом и занимавшийся тем же, блаженно вздохнул, посмотрел на яркое весеннее небо, расправил грудь... сказал, обращаясь к Демилле:

— Хорошо...

— Что хорошо? — переспросил Евгений Викторович.

— Вообще... И жизнь хороша, и жить хорошо! — подмигнул мужик.

— Почему вы так решили?

— Да ну тебя в баню! — махнул он рукой, впрочем, довольно добродушно. Потом отвернулся и глотнул еще.

Евгений Викторович присел на скамейку, опорожненную бутылку осторожно поставил рядом с урной, а портрет прислонил к спинке. Потом он покурил, постепенно проникаясь светлыми чувствами, оглядел площадь, втянул ноздрями прохладный воздух и, поднявшись, медленно направился к Михайловскому саду.

— Эй! Портрет забыл! — крикнули ему вслед.

— Это не мой,— оглянувшись, ответил Демилле.

Строго говоря, он не соврал: это был не его портрет.

Он пришел пешком на улицу Радищева, нашел что-то в холодильнике на кухне, рассеянно поел, а потом до вечера провалялся на тахте, так же рассеянно читая.

Вечером, однако, его обуяла жажда общения. Одиночество превысило некий допустимый уровень, и Евгений Викторович вышел на коммунальную кухню. Там находилась Елизавета Карловна, которая жарила что-то в чугунке, распространявшем аппетитный запах. В нем Демилле уловил что-то из детства... Пончики? Коврижки?..

— С праздником, Елизавета Карловна,— сказал он.— Чем же это вкусно так пахнет?

— Хворост жарю, Евгений Викторович,— охотно отозвалась старуха.

— К вам гости придут?

— Ну что вы! Какие гости! Некому уже давно приходить.

— В таком случае я предлагаю вам свою компанию,— неожиданно для старухи и для себя сказал Евгений Викторович.— У меня есть бутылка вина, пирожные... Вы не возражаете?

— С радостью! А где же Наташенька?

— Поехала за город. У них там туристический слет... Ну, а я никогда туристом не был...

— Понятно, понятно...

Стол накрыли в комнате Елизаветы Карловны. Гора румяного хвороста на блюде, бутылка «Напареули», пирожные, конфеты... Елизавета Карловна достала из старинного серванта чайные чашечки, расписанные золотом, уже поблекшим от времени, серебряные щипцы для пирожных, ножички... Вообще все здесь было старое или же старинное: мебель, книги, фотографии.

Книги, как разглядел Демилле, были почти сплошь на французском языке: Дидро, Вольтер, Стендаль, Мопассан. С фотографий смотрели явно довоенные лица. Может быть, и дореволюционные. Прошедшие лет тридцать совсем не коснулись комнаты — ни телевизора, ни радиоприемника, ни проигрывателя. Раскрытый сундучок, окованный медными полосами, был доверху заполнен мотками шерсти самых разнообразных расцветок и размеров. Тут же лежали и спицы — деревянные и стальные, и крючки, и какое-то начатое вязанье.

Евгений рассматривал комнату, Елизавета Карловна не мешала. Достала варенье, принесла чай...

Евгений Викторович утонул в мягком кожаном кресле за низким столиком, потекла неторопливая тихая беседа. Она была именно тихой, негромкой, ибо старушка говорила ровным голосом, не повышая его и не понижая, тем не менее Евгений все хорошо слышал, а потому и сам говорил негромко и неторопливо.

Он разлил вино в бокалы. Елизавета Карловна пригубила, похвалила вино, бесшумно разлила чай. Тишина и спокойствие в комнате были такими, что хруст разламываемого хвороста казался непростительно грубым; Евгений Викторович отложил в сторонку взятый

было с блюда, причудливо перевитый, тончайший лепесток, чтобы не нарушать покоя. Он чувствовал, что умиротворение, исходящее от Елизаветы Карловны и ее жилища, где время как бы остановилось,— это то, что требуется ему в настоящий момент.

Он подумал, что на протяжении нескольких последних лет не чувствовал себя человеком. Но тогда кем же? Сухим оторванным листком — хуже! — обрывком газеты на непонятном языке, гонимым по площади.

— Вы у нас долго не появлялись, Евгений Викторович,— сказала Елизавета Карловна.— Что, поссорились с Наташенькой?

— Дело не в том. Другие причины...— раздумывая, отвечал Демилле. Он не знал, стоит ли говорить старухе о потерянном доме, об Ирине и Егорке,— потом решил, что можно. И рассказал.

Елизавета Карловна взяла на колени вязанье, замелькали в руках спицы. Она, не отрываясь, смотрела на Демилле, иногда кивала, а спицы плели сложный и тонкий рисунок, будто изображая рассказ Евгения Викторовича.

— Какое несчастье! — сказала она, а потом добавила: — Я вас понимаю. Я потеряла всех близких в войну. Муж погиб на фронте, сын умер в блокаду двенадцати лет...

— И вы жили в одиночестве?

— Да. С тех пор живу одна. Ни одного родственника у меня нет — ни здесь, ни в других местах.

Демилле растерялся. Перед ним сидела женщина, прожившая последние тридцать восемь лет в полном одиночестве. «Ей было сорок лет, когда она потеряла близких. Как мне,— подумал он.— Чем же она жила? Зачем же она жила?»

Елизавета Карловна, будто догадавшись о мыслях Евгения, а может быть, и вправду, прочитав их на его лице, задумчиво проговорила с извинительной интонацией:

— Знаете, Женя... Можно я вас так буду называть?.. Я видела, что всегда рядом со мною был кто-то, кому тяжелее. Я потеряла сына и мужа, а дети теряли родителей... Представляете, в три-четыре года, в войну, в голод, стать сиротами... Калеки с войны возвращались, физические и духовные, семьи рушились...

— Да как же вы измеряли: кому-то хуже, чем вам? Ведь своя боль ближе, даже маленькая.

— Считать свою боль самой большой — несправедливо. Это эгоистично, если хотите. И потом интеллигентные люди не должны показывать. Это невоспитанно. Так меня учил отец.

Она покачала головой. Полный запрет. В первый раз в облике Елизаветы Карловны мелькнуло что-то немецкое — пуританская твердость моральных устоев. Удивительно, что она ни словом, ни взглядом не осудила его и Натальины отношения. Даже теперь, узнавши достоверно, что у него есть жена, сын...

— Чем же вы занимались после войны?

— Я преподавала. Французский, немецкий... Теперь вяжу, читаю. Пишу письма своим ученикам, изредка получаю от них...

— Но не казалось ли вам, что этого мало для жизни? Что для этого не стоит жить? — допытывался Демилле.

— Это очень много, Женя. Это есть жизнь.

— Но вы могли после войны выйти замуж...

Спицы на секунду замерли в старухиных руках, она точно окаменела.

— Фамилия моего мужа и сына была — Денисовы,— сказала она.

— Простите, Елизавета Карловна,— сказал Демилле.

Он поспешил перевести разговор на другую тему. Она тут же и нашлась в виде ленинградской культуры. Как понял Демилле, последняя была пунктиком Елизаветы Карловны, именно по ленинградской культуре, во многом утраченной за последние десятилетия, болела ее душа — короче говоря, это была та самая общественная идея, которую каждый человек в себе носит. И если Евгений Викторович по большей части неосознанно исповедовал идею всемирного братства, то Елизавета Карловна — и вполне сознательно — печалилась по воспитанности и интеллигентности.

— Вы, конечно, не помните, Женя... не можете этого помнить. Но до войны слова «ленинградец», «ленинградка» имели совершенно особый смысл. Это прежде всего означало не то, где человек живет, а то — чем он живет, как он воспитан... Но нас слишком мало осталось еще до войны, а в блокаду почти все вымерли... Я до войны часто гостила во Пскове. Ничего не хочу сказать худого. Но теперь мне часто кажется, что я живу во Пскове, а не в Ленинграде. Атмосфера была другой. Хамство задыхалось в атмосфере тактичности. Хам натыкался на

стену ледяной вежливости — по отношению к нему, разумеется...

— Слишком велик приток со стороны,— сказал Демилле.

— В Ленинград всегда приезжали. Немцы, шведы, чухонцы... Да те же скобари из Пскова. Но тут они переставали быть скобарями. Нет-нет, что-то другое случилось... Мы перестали уважать свое прошлое. Хамство не имеет роду и племени.

Демилле задумался, медленно помешивая чай серебряной ложечкой. Старуха, увидев, что ее слова вызвали погруженность гостя в себя, тактично замолчала — лишь мелькали тонкими лучиками спицы.

Евгений Викторович чувствовал, что есть между его идеей и словами Елизаветы Карловны какое-то глубинное родство. То ли истинного братства не получается из-за хамства, то ли братства, наоборот, слишком много, да такого качества, что без хамства просто уже не обойтись...

И стало вдруг зябко от сознания, что ни он, ни та же Елизавета Карловна, никто другой ничего не могут поделать со всеми своими интеллигентскими печалями, а жизнь катится валом, куда хочет, по неподвластным законам, вызывая беспокойство и страх.

Он подумал, что пора откланиваться. Уже в дверях Елизавета Карловна чуть задержала его и сказала тихо:

— Не знаю, имею ли я право, Женя... Но если бы у меня была малейшая надежда, что мой муж или сын живы, я отправилась бы искать их хоть на край света. К несчастью, я своими руками похоронила Ваню на Пискаревке.

У Демилле внезапно кровь бросилась к лицу. Он смешался, наклонился к старухиной руке и поцеловал ее. Потом поспешно вышел в коридор.

Последующие два дня до приезда Натальи он провел тихо, почти не выходя из комнаты, листая книги по архитектуре и фотографические альбомы Венеции, Рима, Праги... дышал полузабытым воздухом классики, и снова захватывало дух от готических шпилей и узких стрельчатых окон. Обнаружив у Натальи нетронутую коробку «Кохинора», тщательно очинил все карандаши, добиваясь идеальной остроты и симметрии — потратил час,— после чего начал срисовывать фасады. Увлекся, принялся фантазировать в готическом стиле, извел пачку бумаги.

За этим занятием и застала его Наталья, вернувшаяся бодрой, но несколько рассеянной. Увидела эскизы, похвалила с преувеличенным одушевлением, так что Демилле заподозрил воспитательную цель; впрочем, было приятно.

На ночь Наталья неожиданно постелила ему отдельно, на диване. Демилле не возражал; после разговора с Елизаветой Карловной, устыдясь собственного легкомыслия и распущенности, вдруг решил сохранять верность Ирине, пока не найдет ее и не решит окончательно насчет дальнейшего. Однако молчаливый Натальин демарш породил непонятную ревность и обиду. Поэтому, когда улеглись порознь и потушили свет, Демилле шмыгнул к Наталье. Она подвинулась, да и только. Ласки пресекла сразу, мягко, но решительно. Демилле обиделся еще больше. «А что, собственно, случилось?» — прошептал он, делая попытку поцеловать ее. «Случилось, Женя»,— вздохнула она, отстраняясь. «Переспала, что ли, там с кем-нибудь?» — нарочито грубо, но не без внутреннего волнения спросил он. «Да, Женечка, переспала, отдалась по любви, с тобой больше не буду»,— сказала она насмешливо, и Евгений Викторович почувствовал вдруг сильную горечь. Заставил себя не показывать обиды, наоборот: «Вот и хорошо! Замуж выйдешь...». Она покачала головой, внезапно обняла его, прижалась, поцеловала — он чувствовал, что она дрожит. «Ты хороший, Женя, иди, иди... Я очень хочу сейчас, но не тебя, иди...» И подталкивала его, обнимая и бормоча. У Демилле ком встал в горле, он пересилил себя, выпрыгнул из постели, рывком натянул брюки и сбежал в кухню курить. Успокаивался долго, думал о любви: что она такое? Никогда не мог решить для себя этого вопроса.

Больше к этому разговору не возвращались, но жить стало трудно. Ложились спать в разное время: то Наталья задержится на кухне, стряпая что-нибудь с повышенным тщанием, в то время как Евгений старался побыстрее заснуть, то он придет попозже и застанет ее уже спящей. Наталья предприняла энергичные попытки поисков исчезнувшего дома через АПУ, докопалась до проектных чертежей, которые ей выдали не без помех; она поняла, что интерес к потерянному дому нежелателен. Ничего определенного Наталье узнать не удалось, однако, роясь в рабочих чертежах, она наткнулась на примечательный и даже настораживающий факт: при-

вязку типового проекта осуществляла мастерская проектного института, где трудился Демилле. Более того, на рабочих чертежах Наталья обнаружила подпись Евгения Викторовича!

Когда она сообщила ему об этом, Демилле пришел в сильнейшее волнение. Нелепая мысль ударила в голову: плохо привязал, вот он и улетел! Как он мог забыть о своем участии в привязке типового проекта! Объяснение было простым: когда привязывали, улица называлась Илларионовской, а через пару лет Демилле въехал с Ириной в новый дом по улице Кооперации, да так ни разу и не поинтересовался, как она называлась раньше.

С трудом припомнил он ту работу — сколько их было, привязок! — и не нашел в ней ничего необычного, но факт оставался фактом: привязку осуществлял он, он же и потерпел крушение через много лет. Будто своими руками заложил мину замедленного действия, да и забыл о ней. И вот она сработала! Запоздало коря себя, он валил в кучу все свои грехи, прежде всего профессиональные, и, как бы желая выправиться, попросил у Натальи снять копию плана с того типового проекта. Наталья принесла кальку, и Евгений Викторович увидел на ней схематическое изображение той страшной картины, которая открылась ему памятной апрельской ночью. Фундамент собственного дома... Он горячо взялся за работу (тут уж горячо было почти буквально, точно в горячке — не соображая, зачем) и в течение нескольких дней, почти не выходя из дому, выполнил эскизный проект Дворца пионеров, используя сохранившийся фундамент улетевшего дома. Он рассудил так: не пропадать же добру, все равно рано или поздно на этом месте что-нибудь построят. Словно вину искупал... Не знал только, куда идти с проектом. Да и вряд ли на пустующем месте построят именно Дворец пионеров, это уж как горисполком решит. Но для себя дыру вроде бы залатал, точно пломбу на больной зуб поставил. Так ему теперь и представлялся Дворец пионеров на улице Кооперации, построенный по его проекту.

Однако все это не приблизило встречу с исчезнувшим домом. Наталья все более нервничала, пока он трудился, стараясь не показывать вида, но все же не выдержала и однажды попросила его прийти домой не ранее полуночи. «Сходи в театр, Женя, я билет взяла». Демилле все понял, усмехнулся в душе — смех и грех! — он почувствовал себя школьником, которого

выпроваживает мать-одиночка на то время, когда к ней придет любовник. Тем не менее, разыскав в душе последние капли юмора, договорился с Натальей об условном знаке: если занавеска на окне будет задернута, когда он придет,— значит, еще нельзя. С этим и пошел в театр.

Там он испытал приблизительно то же чувство, что на демонстрации. Странно, когда оставался один, не чувствовал себя таким потерянным и никому не нужным, как в толпе, среди людей. С трудом, почти не вникая, посмотрел комедию Пиранделло со странным названием «Человек, животное и добродетель» — название заинтересовало его больше, чем комедия, и заставило поразмыслить над всеми упомянутыми категориями; соседствовали с ним какие-то курсанты, которые смеялись и неистово хлопали, чем привели Демилле в подавленное состояние. Не до театра было ему сейчас.

Он пошел домой пешком, не спеша, и все равно пришел рано. Занавеска была задернута. «Тоже мне, конспиратор!» — подумал он, закуривая во дворе и не зная, куда бы податься. В это время хлопнула дверь подъезда, где жила Наталья, и оттуда вышел небольшого роста человек, по виду пожилой. Тут же занавеска на окне отодвинулась. Демилле с интересом взглянул на своего преемника. Это действительно был мужчина лет шестидесяти, если не больше, морщинистый и печальный. Он выглядел задумчивым, будто что-то нес в себе, боясь расплескать. Он мельком взглянул на Демилле, вдруг приостановился, похлопал себя по карману плаща и вытащил сигареты. Ни слова не говоря, он потянулся к Демилле за огоньком, улыбкой испросив разрешение. Демилле зажег спичку. Мужчина затянулся, вежливо проговорил: «Извините за беспокойство»,— и скрылся в темной подворотне.

Демилле так и не понял — знал или не знал он о нем? догадался ли? за какое беспокойство просил прощения? Он вошел в подъезд, отпер дверь своим ключом. Настроение было — сквернее не придумаешь. Наталья плескалась в ванной, что-то тихонько напевая. Он вдруг позавидовал ей и тому старичку, остро так позавидовал — любовник... А он в телеге пятое колесо.

Не раздеваясь, принялся собирать чемодан, довольно небрежно, укладывая самое необходимое. Сумку оставил — не выходить же ночью с двумя нагружен-

ными руками, за вора могут принять! В состоянии все той же апатии написал Наталье записку: «Спасибо за все. Позвоню. Не волнуйся. Всего хорошего!» — придавил записку ключом и вышел из квартиры с чемоданом, щелкнув замком.

Глава 22.
ПРАЗДНИК

Впервые в истории кооператива (и не только нашего, а и кооперативов вообще) в первомайской демонстрации участвовала колонна жильцов дома — и многие воздухоплаватели предпочли шагать в ней, игнорировав колонны своих предприятий. Лишь кооператоры, облеченные служебной властью (завотделом Вероятнов, начальник цеха Карапетян и еще несколько), были вынуждены шествовать со своими организациями, прочие же, возглавляемые майором Рыскалем и членами Правления, шли в небольшой, но сплоченной колонне улетевшего дома.

Дворники Храбров и Соболевский несли транспарант с надписью: «Да здравствует воздушный флот!» — вполне безобидно, но с подтекстом (Рыскаль возражал, но молодежь его уговорила), шли рука об руку Ментихины и Вера Малинина, Клара Семеновна и Файнштейн, и кавторанг в отставке Сутьин, и даже Серенков пожаловал, как всегда хмурый и неизвестно почему кривящий рот. Шли и Ирина Михайловна с Егоркой и генералом Николаи. На них бросали осторожные любопытствующие взгляды.

Шагали, пели, кричали «ура!»; на Марсовом поле, объединившись, подкрепились бутербродами и лимонадом (кое-кто и вином, припрятанным за пазухою) и с песнями пошли через Кировский мост домой.

И уже праздничным вечером висел на стене штаба «Воздухоплаватель № 2», в котором центральное место занимал рисунок первомайской демонстрации в том же шаржированном духе.

Рыскаль посмотрел, улыбнулся, сдержанно похвалил... в душу прокралось сомнение: что это они веселятся? все же демонстрация, дело серьезное! Посоветовал шире привлекать актив дома к выпуску стенгазеты

и наметил ряд тем, требующих отражения: дежурства в подъездах, лифтовое хозяйство, неразглашение. Дворники послушно кивали.

Окружавшие центральный рисунок печатные тексты, исполненные на разбитой машинке «Москва», принадлежавшей Храброву, являли собою образцы творчества обоих дворников. Рыскаль прочитал внимательно, но ничего не понял. В просторном рассказе, называвшемся «Синдром черепахи», говорилось о каком-то человеке по фамилии Елбимов (фамилия майору резко не понравилась), который потихоньку затягивался роговым веществом снизу, как ноготь, пока не превращался в твердокожее существо в прозрачном панцире, малоподвижное, с остекленевшим взглядом. Под конец рассказа его неосторожно протыкали вилкой, и он вытекал из панциря, как студень, лишь твердые стеклянные глаза остались в оболочке, закатившись почему-то в пятку левой ноги. Игорь Сергеевич брезгливо поморщился, представив себе эту картину, и перешел к стихам. Стихи были еще более непонятны, но раздражения не вызывали. Что-то, как можно было догадаться, о любви, но уж больно заумно.

— О жизни надо писать, ребята,— сказал Рыскаль.

Дворники понимающе переглянулись, однако снова кивнули. «Дураком считают»,— горько подумалось Игорю Сергеевичу, но он удержался от дальнейших советов, решив поглядеть, как будут разворачиваться события дальше.

А на следующий день празднично одетые кооператоры снова потянулись в школу — концерт был назначен на четыре часа.

Ирина Михайловна и на сей раз шла с генералом. Перед этим к ней забежала Завадовская и вернула деньги на банкет, загодя уплаченные Григорием Степановичем. Завадовская без обиняков объяснила Ирине, как велел Рыскаль: вам же лучше хотим, во избежание... и т. п. Ирина Михайловна почти обрадовалась тому, что отказ исходит не от нее, а от начальства. По правде сказать, она сама чувствовала себя неловко. Вроде бы наплевать на чужие мнения, а вот ведь не наплевать! Что-то мешает. Но на концерт все же взяла.

С одной стороны, Николаи ей уже чуть-чуть поднадоел своею учтивостью и предупредительностью, а главное — постоянным оптимизмом. И это несмотря на то, что Григорий Степанович уже давно висел на волоске;

он пережил два инфаркта, и в любую минуту мог наступить третий.

Ирина недоумевала: чего старик бодрится? хорошего в жизни гораздо меньше в сравнении с плохим! Куда ни глянь — беды и горести, и беспросветный мрак впереди. А улыбка генерала, его звонкий, уверенный голос отвечали ей: это не совсем так, уважаемая Ирина Михайловна! посмотрите вокруг внимательнее! ваши беды не стоят выеденного яйца! вы живы и, слава богу, здоровы, чего же вам еще надо?

С другой стороны, Ирина уже привыкла к генералу. При ее-то консервативности! нелюдимости! Однако Николаи уже вписался в быт, стал не то чтобы членом семьи, а вроде доброго домового. Как бы и нет его, а все же есть. А может, не домовой, а Карлсон, который живет на крыше, правда, без моторчика за спиной и кнопки на животе. Стоило Егорке распахнуть окно, как генерал тут как тут! И рассказы, и стрельбы, и бумажные голубки, и мыльные пузыри...

Теперь, торопясь на концерт с Егоркой и генералом, Ирина опасалась лишь одного: как бы генерал не вышел на сцену с каким-нибудь номером художественной самодеятельности. Мысль эта, сначала показавшаяся ей фантастической, по мере приближения к школе становилась все более правдоподобной. Ирина не выдержала и спросила вроде бы в шутку:

— А сегодня вы не собираетесь выступать, Григорий Степанович?

— Ах, черт! — воскликнул Николаи.— Как же я не подумал! Можно было фокусы показать. Знаете, Ирина Михайловна, я недурно показываю карточные фокусы. Но колоду не захватил. Жаль!

Он вдруг рассмеялся и заглянул ей в глаза — поверила или нет? Ирина смутилась.

Актовый зал встретил их возбужденной предпраздничной суетой — рассаживались по рядам, занимали места соседям, переговаривались... По проходу промчалась Клара Семеновна с пышной прической, в драгоценностях, на высоких каблуках... кто-то в углу настраивал гитару; провели, придерживая за худенькие плечи, двух детей в молдавских национальных костюмах... На сцене взъерошенный молодой человек пробовал микрофон, время от времени над рядами разносился его хриплый, с потрескиваниями голос: «Раз, два, три, проба, проба, проба...»

Вся обстановка и тревожное томительное ожидание напомнили Ирине Михайловне что-то давнее, из детства... вдруг она вспомнила: пионерский сбор! Это ощущение родилось не у нее одной, многие истосковавшиеся по коллективизму кооператоры с наслаждением обнаруживали в себе прочно забытые, казалось, желания. Хотелось скандировать и рапортовать.

Потому, когда на сцене появилась Светозара Петровна с красным бантом на лацкане костюма и подняла руку, обратив ее раскрытой ладонью к залу, кооператоры разом смолкли.

— Внимание, товарищи! Торжественное собрание кооператива объявляю открытым! — звонким приподнятым голосом возвестила Ментихина, и тут же за сценой ударили в барабан и заиграли марш на баяне.

Открылась противоположная сцене дверь, и по проходу через весь зал под звуки марша быстро и четко прошел майор Рыскаль в парадной форме. Его сопровождали Светозар Петрович и Вера Малинина. В руках у Рыскаля была тоненькая стопка почетных грамот.

Это напоминало вынос пионерского знамени дружины.

Кооператоры встали со своих мест и овацией в такт маршу сопроводили майора к сцене.

В этот миг на сцене появился знакомый уже кооператорам транспарант «Да здравствует воздушный флот!», который вынесли из-за кулис дворники. Овация перешла в беспорядочные рукоплескания.

Рыскаль не без молодцеватости взбежал по ступенькам на сцену и занял место рядом с Ментихиной. Старушка не могла скрыть счастливой улыбки. Дожила-таки до торжества тех, правильных, идей! Рыскаль зачем-то пожал ей руку, что не предусматривалось сценарием, и жестом усадил кооператоров.

Речи, а тем более доклада, не планировалось. Тем не менее, оказавшись лицом к лицу со внимающим залом, майор почувствовал ее необходимость. Слова нашлись легко — и не казенные, а свои, от сердца, давно забытые, оставшиеся там, в туманной дали пятидесятых.

И те из кооператоров, кто помнил иные, еще более туманные времена, и сорокалетние, и молодежь, родившаяся после войны, сидя в этом обыкновенном зале обыкновенной школы, украшенном обыкновенными пла-

катами, чувствовали, что происходит нечто такое, чего уже давно ждали, о чем неосознанно грезили, страдая от разъедающих общество язв, когда на словах человек человеку был «друг, товарищ и брат», а на деле оборачивался волком, когда... но что об этом говорить!

У тех, кто постарше, это смутно с чем-то ассоциировалось; молодые же внимали с чувством, поскольку дух коллективизма, вспыхнувший в кооперативе, благодаря беде и общей борьбе, был, что ни говори, весьма притягателен.

И вот что удивительно — формы единения были те же, казенные: собрание, субботник, демонстрация, художественная самодеятельность, а чувства рождали истинные. Должно быть, потому происходило так, что беда коснулась самого сокровенного — собственного дома — и стало вдруг понятно, что справиться с нею можно только самим.

Со сцены уже лились взвизгивающие звуки молдаванески, а те самые дети в костюмчиках потешно и не в такт топтались на месте, взявшись за руки и высоко вскидывая голые коленки. Аккомпанировал на баяне Серенков, его застывшее лицо ничего не выражало, в то время как пальцы с удивительным проворством бегали по клавиатуре.

Детям щедро похлопали, и Светозара Петровна объявила следующий номер: художественное чтение. На сцену вышла Вера Малинина — она сильно изменилась в последнее время, стала увереннее, помолодела и похорошела. «Лермонтов. Мцыри»,— сказала она и принялась читать хрестоматийный отрывок из поэмы — поединок с барсом... «Но в горло он успел воткнуть и там два раза повернуть свое оружье. Зверь завыл...» — читала уверенно и с выражением.

Затем Армен Карапетян без сопровождения спел армянскую народную песню, а Файнштейн прочитал свою юмореску о сантехниках.

На сцену вышел квартет Рыскалей — майор при параде, Клава и Марина с Наташей, вполне оформившиеся уже девицы, очень похожие на мать. Серенков склонил голову, прикрыл глаза и заиграл «Ромашки спрятались, поникли лютики...». Клава повела чисто, дочки подхватили: «Зачем вы, девочки, красивых любите...», Рыскаль тихо и печально вторил.

Женщины в зале прослезились, а мужчины сурово нахмурили брови, кроме генерала Николаи, который,

наоборот, распахнул глаза и с удивлением взирал на сцену.

— Надо же, какие молодцы! — шепнул он Ирине, тоже против воли растроганной.

Рукоплескали Рыскалям еще добротнее, а они, смущенно покланявшись, затянули есенинское «Не жалею, не зову, не плачу...» — да еще лучше прежнего! Девочки порозовели, голос Клавы дрожал от волнения, а майор усердно помогал себе бровями, оставаясь в целом вполне статуарным.

На «бис» исполнили «Вечерний звон» — коронный номер. Рыскаль глубоко и неторопливо подавал свои «бом-бом», пока жена и дочки, точно ангелы на небесах, выводили мелодию. Зал рыдал в буквальном смысле слова.

Кроме удовольствия, доставляемого пением, еще одна причина заставляла кооператоров радоваться, возможно, и неосознанно, а именно — простота и душевность руководителя, которые демонстрировались с полной убедительностью.

Выступавший после Рыскалей вокальный дуэт с самодеятельной песенкой на тему летающих домов не имел и половины того успеха. И тут нравственное чутье не подвело кооператоров. Может быть, это и грубое сравнение, но... «в доме повешенного не говорят о веревке».

Молодожены-студенты, занимающиеся в кружке бального танца, показали бразильскую самбу — он в черном смокинге, она в пышной кружевной юбочке... Серенков аккомпанировал всем весьма квалифицированно, а затем исполнил свою «коронку» — «Полет шмеля» композитора Римского-Корсакова, блеснув виртуозной техникой. Старики Ментихины порадовали юмористической миниатюрой, ими же и сочиненной,— Светозара Петровна изображала кассиршу «Универсама», а Светозар Петрович воришку-покупателя, припрятавшего под полою банку сардин. При этом брат и сестра обнаружили бездну юмора и артистического дара — кооператоры покатывались, глядя, как Светозара Петровна, оставив кассовый аппарат, производит детальный обыск покупателя и извлекает на свет божий содержимое карманов...

Вообще раскованность на сцене и в зале была полнейшая. Будто рухнули разделявшие кооператоров перегородки — никто не боялся показаться таким, как

есть, и принимал другого со всеми его достоинствами и слабостями.

Ирина заметила, что генерал достал из кармана носовой платок и как-то странно комкает его в руках, теребит, прячет в кулаке... Он бросил на нее взгляд и смутился.

— Не могу вспомнить один фокус... Очень забавный фокус. Исчезновение носового платка. Хотелось бы показать...

Не успела Ирина придумать какое-нибудь возражение, как Светозара Петровна, вновь появившаяся на сцене в качестве ведущей, объявила:

— А сейчас, товарищи, гвоздь нашего вечера! Валентин Борисович Завадовский! Опыты с телекинезом!

Зал загудел. Несколько мужчин, не проживающих в нашем доме и сидевших в первом ряду, подобрались и вскинули головы, уставившись на сцену с повышенным вниманием.

Из-за кулис вышел Валентин Борисович, сопровождаемый Кларой. Она осталась стоять у задника, не спуская глаз с мужа, а Завадовский вышел на авансцену и едва заметно поклонился. Публика по инерции приветствовала его аплодисментами.

— Это тот, который дом угнал! — возбужденно проговорил кто-то, объясняя соседу.

С Валентином Борисовичем произошли изменения. Он прибавил достоинства, почувствовал себе цену. Куда девался робкий кооператор, которого привыкли видеть с собачкой на спортивной площадке, куда девалась его заискивающая улыбка! Перед зрителями предстал маленький, изящный, хорошо одетый мужчина аристократического вида, с несколько усталым и надменным лицом. Он подчеркнуто медленно потер одна о другую руки и проговорил чуть слышно:

— Ну что ж... Начнем.

По сигналу Клары дворники вынесли на сцену стол, а Светозара Петровна — графин с водой и пустой стакан. Все это поставили перед Завадовским на самом краю сцены. Валентин Борисович отступил на шаг, прикрыл ладонью лицо и несколько мгновений сосредоточивался. В зале наступила гробовая тишина. Завадовский жестом, исполненным артистизма, приподнял руку и плавно взмахнул ею снизу вверх.

И тут кооператоры увидели, как графин, дотоле мирно занимавший свое место на столе, медленно взле-

тел в воздух и, повинуясь движениям руки Завадовского, сделал небольшой круг над стаканом. Затем графин наклонился, и из него в стакан полилась вода. Бульканье воды с ужасающей отчетливостью слышалось в помертвевшем зале.

— Да, здесь мне делать нечего...— восторженно выдохнул генерал.

Завадовский опустил руку, и графин занял свое место на столе. Зал, пришедший в себя от шока, взорвался аплодисментами. Не аплодировала только Клара, впервые лицезревшая новый талант мужа. Она застыла на фоне разрисованного под пионерский лагерь с горнами и барабанами задника, сцепила на груди пальцы и вглядывалась в затылок Валентина Борисовича с болью и нежностью.

А муж, дождавшись, когда стихнут рукоплескания, поднял обе руки перед собой и обратил их ладонями назад, к Кларе. Затем он закрыл глаза и согнул сомкнутые на обеих руках пальцы. Лицо его исказилось нечеловеческой мукой, в то время как пальцы стали медленно возвращаться в вертикальное положение. И тогда Клара, точно привязанная к кончикам этих пальцев невидимой ниточкой, поползла вверх, как пионерский флаг на веревке, что был изображен на заднике. Несколько мгновений она не соображала, что с нею происходит, но потом вдруг с ужасом заболтала ногами в воздухе и завизжала на весь зал:

— Валентин, опомнись!

Валентин Борисович, не открывая глаз, улыбнулся самодовольной улыбкой и переломился в поклоне, бросив обе руки книзу. Клара за его спиной опустилась на пол с завидной быстротою, то есть почти упала с метровой высоты, встряхнулась всем телом, точно собака после купания, и убежала за кулисы, не посмев даже подойти к дерзкому мужу.

Случись такое пару месяцев назад, от Валентина Борисовича остались бы лишь рожки да ножки!

Нечего и говорить, что зал неистовствовал: хохотал, рыдал, топотал ногами.

— Еще! Еще! — скандировали кооператоры, словно не догадываясь, что в любую минуту каждый из них может повторить трюк Клары Семеновны.

И Завадовский дал понять свою власть над зрительным залом. Бывший забитый циркач, угождавший публике, наслаждался сейчас своей силой. Он выпрямился

и, придав взгляду гипнотизм, принялся шарить по рядам глазами, словно выискивая очередную жертву. Кооператоры притихли и вдавились в стулья. Завадовский будто кружил над залом — горный орел, кондор, стервятник,— сейчас он отплатит им за годы унижения, сейчас он взметнет эти ряды, закрутит их в спираль и вышвырнет в чистое майское небо, которое пока еще ничего не подозревало, раскинувшись за широкими окнами актового зала во всей своей голубизне.

Валентин Борисович сверкал очами, пальцы его хищно шевелились. Похоже было, что он слегка помрачился рассудком. Но минута триумфа и помрачения длилась недолго. В переднем ряду встал мужчина в штатском и тихо, но внятно произнес:

— Прекратите, Завадовский!

И Валентин Борисович мгновенно сник, осунулся, помельчал...

— Простите, Роберт Павлович...— прошептал он, поклонился и быстрыми шагами ушел со сцены за кулисы.

Зрители, облегченно вздохнув, проводили его хлопками.

На сцену выпорхнула Светозара Петровна с лицом чуть бледнее обычного и крикнула в зал:

— Концерт окончен!

Последний номер, несмотря на его безусловную сенсационность, несколько испортил праздничное настроение кооператоров. Опять повеяло страхами и загадками памятной ночи, о которых хотелось бы забыть навсегда. Кооператоры расходились встревоженные, потому как нельзя кстати маячил впереди банкет, где можно будет забыться и залить тревоги вином.

Генерал проводил Ирину до щели и, уже прощаясь, вдруг сказал:

— Ирина Михайловна, я давно хотел спросить: какие у вас планы на лето?

Ирина замялась. Планов никаких у нее еще не было. По правде сказать, все эти дни на новом месте проскочили впопыхах; ее не покидало вокзальное ощущение временности, а потому строить какие-либо планы она просто боялась.

Генерал, не дождавшись определенного ответа, продолжал:

— Я хочу предложить вам с Егором провести лето у меня на даче. Это в семидесяти километрах от города

в сторону Приозерска. Там немного запущено после смерти моей супруги, но вполне сносно...

— Спасибо, Григорий Степанович, я как-то не знаю...

— После будете «спасибо» говорить. Когда у вас отпуск?

— В июле. Впрочем, я не знаю — отпустят ли. Я всего третий месяц на этом месте. Отпуск мне еще не положен.

— Это в училище-то? Отпустят! — сказал генерал.— Начальник училища — бывший мой подчиненный.

Ирина не знала — благодарить генерала или нет. Настолько неожиданным было его предложение, что она не успела взвесить, удобно ли, что скажут посторонние... впрочем, что за ерунда! Какие посторонние?

— Ну, вы подумайте, потом скажете. Я настоятельно советую и приглашаю. Мальчику будет хорошо,— сказал Григорий Степанович, обратив взгляд на Егорку и потрепав того по плечу.— И вам, надеюсь, тоже... И мне...— добавил он после паузы неожиданно дрогнувшим голосом.— Всего доброго! Желаю весело провести вечер! — закончил он бодрым опять голосом, повернулся и пошел к своему дому.

— Ну что, Егор? Поедем к Григорию Степановичу? — растерянно спросила Ирина.

— Поедем! — обрадовался Егорка, но тут же вспомнил: — А папа?

— Папа...— упавшим голосом повторила Ирина.— В общем, это еще не скоро, посмотрим...

На банкет к семи часам вечера она пошла с неохотой, чуть ли не по обязанности: не любила выделяться. В ресторане ей указали, куда садиться; столики компоновались по лестничным клеткам, и Ирина обнаружила за своим Ментихиных и чету Вероятновых, остальные соседи по этажу отсутствовали: Сарра Моисеевна по возрасту, я — по занятости совсем другими делами, прочие — по неизвестным причинам.

Здесь уже торжественная часть прошла мигом — в виде тоста Светозара Петровича «за дружбу и взаимопонимание», после чего торжество рассыпалось на отдельные застолья — где скучнее, где веселее, официанты работали спустя рукава, посетитель был больно уж беден — восемь пятьдесят на человека! — они почти не скрывали презрения... а когда по рукам пошли бутылки

водки, принесенной «с собой» в двух сумках Клары Семеновны, то все стало знакомо и неинтересно...

Разговор за столиком Ирины не вязался. Вероятнов отмалчивался; все еще таил обиду на кооператоров, сместивших его с поста, хотя — видит бог! — нужен он ему был как собаке пятая нога, да и новый председатель чувствовал себя в соседстве с предшественником неуютно. Ментихина придвинулась к Ирине и слово за слово начала целенаправленный разговор о жизни: хватает ли денег? скоро ли вернется муж из командировки? что будет летом делать мальчик? неужели в городе останется?.. вы простите, Иринушка, что я вторгаюсь, но с мужем у вас все, так сказать, в порядке?.. извините, бога ради!

— Я видел его,— вдруг брякнул Вероятнов после рюмки.

— Кого? — удивилась Ирина, ибо Вероятнов обращался к ней.

— Мужа вашего.

— Где? — вскинулась Ирина, будто Демилле был потерянным в городе, хотя достаточно было позвонить мужу на работу, чтобы он отыскался.

— На демонстрации,— ответил Вероятнов.

Он перестал жевать и удивленно уставился на Ирину — больно уж она переменилась в лице! Ментихина обратилась в слух.

— На демонстрации...— повторила Ирина.— Он никогда на демонстрации не ходил.

— А тут пошел. Да еще с портретом,— Вероятнов хохотнул, вспомнив нелепый вид Демилле.

Пришлось ему рассказать подробнее об их встрече. Ирина пришла в себя («В самом деле, чего я волнуюсь? не маленький! ему, видно, все равно, раз на демонстрации ходит!»), но старушка успела все же определить для себя, что дела в семействе Демилле обстоят неважно.

По мере того как содержимое бутылок вливалось в единый организм кооператива, шум в зале нарастал, вот уже полетели пятаки в музыкальный ящик и первые пары закружились между столиков. Идейное воодушевление, охватившее кооператоров на концерте, незаметно переходило в алкогольную эйфорию с горьким осадком на дне. И официанты с постными ухмылочками, и бутылки водки, тайком передаваемые под столами, и закуски, один вид которых навевал мысли об ОБХСС,— все, буквально все разрушало с таким трудом созданное

единство, намекало на тщетность коллективистских отношений. Будто из нарисованного на заднике пионерлагеря вернулись в реальную жизнь...

И уже текли пьяные речи, и струились пьяные слезы, а поток брудершафтов и лобызаний достиг опасной силы. Тянулись с бокалами к Рыскалю, высказывали ему слова признательности и любви, которые, будь они сказаны в трезвом состоянии, безусловно, имели бы больше веса, чем теперь. Рыскаль хмурился, вертел фужер с «пепси-колой» за тонкую ножку. Не позволил себе выпить ни грамма, хотя абсолютным трезвенником не был, употреблял — но лишь в семье или с друзьями по праздникам. Никак не на работе. А здесь была работа.

Инесса Ауриня, сверкая глазами и размахивая пышной копной волос, вдруг пустилась в пляс под зажигательные звуки цыганочки. Кооператоры-мужчины хлопали в такт, не жалея ладоней, официанты смеялись в кулак, сгрудившись у дверей зала.

И уже Файнштейн с Серенковым, заложив большие пальцы рук под мышки, синхронно танцевали «семь сорок», точно родные братья, Клара Семеновна вертелась перед ними колбасой, подзуживала, подкрикивала...

В разгар веселья у дверей в зал произошло движение. Официанты преграждали кому-то дорогу, разводили руками: мол, мест нет, но потом расступились и пропустили в ресторан незнакомую женщину. Она поискала кого-то глазами, затем подошла к столику моих соседей и уселась рядом с Ириной. Только тут Ирина ее узнала. Это была дочь генерала Николаи.

Рыскаль, конечно, заметил появление женщины и не спускал с нее глаз. Не хватало ему, кроме людей Коломийцева, еще и неизвестных посторонних! Мало ли откуда? Вдруг Управление прислало проверить?.. Он несколько успокоился, увидев, что женщина завела какую-то беседу с Ириной Нестеровой. Заметил Рыскаль, что к разговору женщин внимательно прислушивается и Светозара Петровна. Значит, и ему будет известно... Не прошло и минуты, как Ирина, покраснев, вскочила с места и бросилась к выходу. Незнакомка, как ни в чем не бывало, налила себе водки в фужер и залпом выпила. Ну и гости!.. После чего она встала и с пугающей развязностью пригласила на танец Вероятнова. Тут Рыскаль окончательно убедился, что незнакомка (кста-

ти, одетая довольно скромно) изрядно пьяна. Ее качнуло и бросило в объятия к бедному растерянному гиганту Вероятнову. Еще минута, и вспыхнул бы скандал, ибо жена Вероятнова уже готовилась ринуться в бой, но тут неожиданно вернулась Ирина, схватила незнакомку за руку и потащила ее к выходу.

Никто из кооператоров по-настоящему не обратил внимания на этот инцидент, поскольку забав хватало.

Дело близилось к концу, гром победы раздавался, официанты убирали грязную посуду... Кооператоры гурьбой двинулись на улицу. Домой пошли почти тою же колонной, что вчера на демонстрацию. Затянули песню, с нею вступили на проспект Щорса («Широка страна моя родная...») и пошли прямиком на Безымянную. При подходе к дому случился еще инцидент. Несколько молодых кооператоров и среди них, как потом выяснилось, баснописец Бурлыко, подступили к Завадовскому, не без труда сопровождавшему веселую Клару, и потребовали от Валентина Борисовича, чтобы он тут же, не сходя с места, вернул дом на улицу Кооперации. Сначала вежливо и почти в шутку: «Ну, что вам стоит? Раздва — и в дамки!». Потом чуть ли не с угрозами: «Старик, давай по-хорошему! Нам здесь уже н-надоелло!» — они схватили Завадовского за локотки, оторвали от ничего не понимающей Клары и потащили на пустырь, где стояли ненужные уже деревянные туалеты.

Отсюда хорошо был виден один из торцов дома с освещенными окнами. Разбойники поставили Валентина Борисовича лицом к родному жилищу и приказали уже грозно: «Валяй, отрывай!».

— Как, «отрывай»? — спросил испугавшийся циркач.

— От асфальта. Двигай, двигай!

Завадовский с испугу, и вправду, решил попробовать, хотя в успехе уверен не был (Клара в это время, очухавшись, догоняла Рыскаля, который уже просочился в щель и подходил к своему подъезду). Валентин Борисович зажмурился, зажал голову между ладоней, скорчил страшное лицо и... Где-то высоко раздался треск, кооператоры задрали головы и увидели в сероватом небе наступавшей белой ночи улетающие вверх телевизионные антенны коллективного пользования — всего восемь штук. Антенны летели параллельно, как стая фантастических птиц.

Это все, что удалось Завадовскому.

Не успел несчастный кооператор повторить попытку, как на пустыре показался майор Рыскаль.

— Прекратить! — кричал он на бегу.

Группа злоумышленников рассыпалась, майору удалось схватить лишь одного из них, а именно Бурлыко. Рыскаль проворным проверенным приемом заломил руку баснописца назад и пригнул его к земле.

В это время антенны со страшным грохотом, разбудившим полмикрорайона, обрушились обратно на крышу дома. Майор вздрогнул, но нарушителя не выпустил. Клара Семеновна, наконец-то завладев мужем, повела его домой на египетскую перину.

Глава 23.

МЕЦЕНАТ

...По воле судьбы, а скорее — благодаря собственному самолюбию, Евгений Викторович снова оказался в бегах.

На этот раз Демилле, почти не раздумывая, направился на такси к Каретникову. Он ощущал перед ним некоторую неловкость: человек от чистого сердца вызвался помочь ему, дал телефон, а он...

Каретников не удивился позднему появлению знакомца, будто ждал его все эти ночи. Ни о чем не расспрашивая, он оставил Демилле в будочке присматривать за стоянкой, а сам побежал к ближайшему телефону-автомату. Вернулся через две минуты запыхавшийся, быстро написал на бумажке адрес и вручил его Евгению Викторовичу со словами:

— Арнольд Валентинович вас ждет.

— Но... ведь уже поздно,— в нерешительности проговорил Демилле.

— Ничего, ничего. Он не спит. Торопитесь, вот-вот разведут мосты. Ехать вам на Васильевский.

Демилле поблагодарил и снова пустился в путь. Через полчаса, благополучно миновав Тучков мост, он входил в парадную старого дома на 7-й линии.

Едва он поднялся на третий этаж и приблизился к черной, обитой кожей двери, на которой сиял старинный надраенный латунный номер, как та приоткрылась и за нею обнаружился сам Арнольд Валентинович. Он кивнул гостю и сделал приглашающий жест.

Демилле вошел в прихожую и поставил чемодан на

пол. Арнольд Валентинович помог ему снять плащ, все так же храня молчание.

Несмотря на поздний час, хозяин квартиры выглядел изысканно. На нем был мягкий вельветовый костюм, под пиджаком виднелась тонкая шерстяная клетчатая рубашка, но более всего поражал галстук-бабочка — коричневый, в горошек, весьма внушительного размера. Безич был аккуратнейшим образом причесан и, как показалось Демилле, даже надушен. Во всяком случае, от него исходил явственный приятный запах.

Роста он был маленького, сухой, с вдавленной в плечи большой головой, украшенной львиной гривой седых волос.

Так же молча они прошли по коридору в гостиную — хозяин впереди, гость сзади. Демилле отметил походя резную деревянную, покрытую черным лаком корзину для тростей и зонтов, из которой торчало их штук двадцать — тонких и толстых, с набалдашниками на ручках и без. Не успев как следует удивиться такому обилию тростей и зонтов, Евгений Викторович вступил в гостиную, тут у него перехватило дыхание.

Все стены просторной комнаты с овальным столом посредине были увешаны разного размера картинами. С первого взгляда становилось ясно, что живопись эта — подлинная, старая и, вероятно, необыкновенно дорогая.

— Неужели... Пиросмани? — спросил Демилле, указывая на картину, написанную в манере, которую трудно спутать с другой.

— Именно,— кивнул Безич.— И это тоже... Однако давайте все же познакомимся окончательно. Арнольд Валентинович...

И он протянул маленькую узкую ладонь Демилле. Евгений Викторович тоже назвал свои имя и отчество, уже известные Безичу, и хозяин усадил гостя на старинный стул, обитый сафьяном.

— Тут есть, на что посмотреть, вы еще успеете...— говорил Арнольд Валентинович, не спеша доставая из буфета маленькие, с золотым ободочком рюмочки, фарфоровые расписные блюдца, пару бутылок нестандартной формы и расставляя все это на скатерти стола.

— Это Машков, там Кузнецов, Ларионов...— кивал он на полотна.— Простите, бога ради, вам что-нибудь говорят эти фамилии?

— Да,— коротко отвечал Демилле.

— Очень хорошо. Многие ведь не знают... Вы что предпочитаете — виски или ментоловый ликер?

Демилле пожал плечами. Виски ему пробовать доводилось, ментоловый ликер — никогда.

— Ликер, если можно,— сказал он.

Безич налил в рюмку прозрачной изумрудно-зеленой жидкости. Появился в его руках и огромный апельсин, который хозяин принялся надрезать специальной конфигурации ножичком. Демилле смотрел, как отпадают от апельсина толстые, будто подбитые изнутри белым войлоком, дольки кожуры.

— Значит, вы по-прежнему бездомны, и власти отказываются вам помочь? — спросил Безич, разламывая очищенный апельсин и выкладывая половинки на блюдечко перед гостем.

— Да. Это так,— ответил Евгений Викторович, с неудовольствием отмечая про себя, что старается говорить с несвойственным ему аристократизмом.

Безич горестно покачал головой, при этом мягкая коричневая бабочка у него на груди затрепетала крыльями. Он принялся за другой апельсин, что-то обдумывая.

— К сожалению, мы немного упустили время,— наконец сказал он.— Вам следовало обратиться ко мне сразу. Сейчас уже шум утих... Вы до сих пор не имеете никаких сведений относительно исчезнувшего дома?

— Имею.

— Какие же?

Безич покончил со вторым апельсином и только тут налил виски в свою рюмочку и приподнял ее, кивком приглашая гостя выпить. Они выпили, не чокаясь, предупредительно глядя друг другу в глаза.

— Он улетел,— сказал Демилле довольно небрежно, ощущая ментоловый холодок во рту.

— Как вы сказали?

— Ну... улетел куда-то в другое место. Моя жена и сын живы-здоровы, об этом мне известно, но пока не объявились,— пояснил Демилле со скрытой горечью.

— Так-так-так... Им запрещают. Очевидно, им запрещают.

— Вы думаете?

— Тут и думать нечего! — воскликнул Безич.— Значит, не снесли, а перенесли на другое место...— задумчиво продолжал он.

— Кто перенес? — нерешительно спросил Демилле.

Безич взглянул на него с печалью и шумно вздохнул, отчего бабочка взмахнула крылами.

— Вы, должно быть, совсем не представляете себе могущества нынешней военной техники. Не думаете же вы, в самом деле, что дом перелетел самостоятельно? Так сказать, по своему желанию!

— М-м...— сомневаясь, промычал Демилле.

— Но как ловко сработано! И мировая общественность об этом не знает! Ловко, очень ловко!.. Я думал — слухи... Почему-то было связано с пивом. Скажите, в вашем доме не было пивной?

— Ну что вы! Кооперативный жилой дом!

— Странно... При чем здесь пиво? Ну да бог с ним! Чего не придумают! Вы завтра же должны написать письмо.

— Кому? — удивился Демилле.

— Мадридскому совещанию.

Демилле опешил.

— Ну зачем же сразу Мадридскому...— забормотал он.— Может быть, лучше в горисполком?

— Ну-ну! Пишите! Пишите! Уповайте на горисполком! Вы меня просто удивляете! — заволновался Арнольд Валентинович.

Он засопел, обиделся, отвернулся от Демилле. Тому стало неловко.

— А что писать? — робко спросил он.

— Вот это другое дело! — оживился Безич.— Мы придумаем, что писать. Это мы придумаем... Напишите о ваших мытарствах, о произволе властей, о правах человека...

Он снова налил ликер гостю и виски себе.

— Меня с работы выгонят,— подумав, сказал Демилле.

— Конечно, выгонят! — обрадовался Арнольд Валентинович.— А мы еще напишем! Пусть знают! Главное — не сдаваться, друг мой!

Эта перспектива пришлась не по нутру Евгению Викторовичу. Он и представить себе не мог, чтобы его личные несчастья могли заинтересовать кого-то в Мадриде.

Они опять выпили, и хозяин предложил укладываться спать. Он принес из другой комнаты сложенную постель и расстелил ее на диване с высокой спинкой, обитой тем же сафьяном. Церемонно пожелав Евгению

Викторовичу спокойной ночи, Безич исчез за дверями соседней комнаты.

Демилле остался наедине с картинами и долго разглядывал их, прежде чем погасить свет. Живописные фрагменты чужих судеб, уложенные перед ним на стене в пеструю мозаику, как нельзя лучше отображали нынешнее его состояние. Он перебегал взглядом с картины на картину, а сам чувствовал, что физически переходит из пространства в пространство — это были пространства человеческих душ. Сколько таких пространств вокруг него! Не погружаясь ни в одно из них полностью, он убегал к новому — так и в любви он искал свое пространство, так и в архитектуре когда-то... Существует ли оно вообще?

То пространство, которое начало открываться ему здесь, у Безича, интриговало и настораживало. Кто этот борец за права человека? Альтруист, правдоискатель, сноб?..

Он потянул за шелковый шнурок настольной лампы под абажуром с кистями и погрузился в темноту.

Не успел Демилле заснуть, как услыхал скрип двери, и, приоткрыв глаза, увидел женскую фигуру в роскошном ночном халате. Как можно было определить в рассеянном свете, падавшем из высоких окон, женщина была молода и красива. Она зевнула и окинула взглядом диванчик с Демилле, поджавшим под одеялом ноги (диванчик был короток).

— Нолик, опять у тебя диссидент лежит! — капризно произнесла она, отвернув голову к приоткрытой двери.— Когда это кончится?

— Зиночка, не волнуйся, дорогуша! — проворковал откуда-то голос Безича.

Зиночка, шаркая ночными туфлями, поплелась через комнату в прихожую. Вскоре с той стороны донеслось рычание бачка, и Зиночка прошествовала обратно. Демилле обдумывал ее фразу. Он — диссидент? Неужто это так? Нет уж, увольте!.. К диссидентам Евгений Викторович относился со смешанным чувством брезгливости и страха.

Он все-таки заснул, и ему приснился сон, будто они с Ириной чистят столовое серебро у Елизаветы Карловны. Чистили они, как и положено, подушечками пальцев. Демилле взглянул на них и увидел, что они черны, будто выпачканы в саже. «Как же я их отмою?» — забеспокоился он и, взяв жену за руку, проверил пальцы у нее.

Они светились спокойным серебряным светом. «Мы же серебро чистим, Женя,— сказала жена.— Чему ты удивляешься?..»

Проснулся он рано, быстро оделся и сполоснул лицо в просторной ванной, после чего убрал постель и сел на диванчике рядом с горкой белья, сложив перед собою руки и ожидая пробуждения хозяев. Вскоре он услышал, как заплескались в ванной, заскрипели полы в соседней комнате, из нее имелся отдельный выход в коридор. Демилле терпеливо ждал. «Бедный родственник!» — с неудовольствием подумал он.

На этот раз, глядя на картины, он заметил, что они разделены лабиринтом узких полос однотонных серовато-зеленых обоев. Лабиринт был весьма прихотлив по рисунку. «Может быть, это и есть мое пространство? — подумал Демилле.— Узкие однотонные проходы между чужими жизнями». Ему понравилась эта мысль, он нашел ее нетривиальной, но продолжить философические размышления помешал Безич, вышедший из дверей спальни в том же самом виде, что ночью, будто он и не ложился спать.

Последовала процедура приготовления утреннего кофе и сервировки стола. Зиночка выплыла, когда кофейный аромат разнесся по квартире и Безич вернулся из кухни с серебряной джезвой в руках. Демилле встал и с достоинством поклонился. Зиночка кивнула рассеянно.

Ночное освещение обмануло Евгения Викторовича на несколько лет: ночью ему показалось, что Зиночке двадцать пять, утром она выглядела на все тридцать. Безич представил их друг другу, назвав обоих по имени-отчеству. Зиночка официально именовалась Зинаидой Прохоровной.

На покрытом утренними кремами блестящем лице Зиночки читались равнодушие и легкое презрение ко всему происходящему.

Только они уселись за стол и Арнольд Валентинович затеял светский разговор об архитектуре модерна в Петербурге, узнав, что Демилле архитектор, как раздался звонок. Безич извинился и пошел открывать.

— Еще один диссидент явился. Как я их ненавижу, если бы вы знали! — пожаловалась Зиночка со вздохом, будто не замечая, что сказанным относит к ненавидимым своего собеседника. Демилле на всякий случай придал лицу выражение надменности.

В прихожей раздавались церемонные приветствия. Через минуту хозяин ввел в гостиную бородатого человека лет сорока со впалой грудью, в свитере. Шея бородатого была обмотана тонким шарфом, брюки пузырились на коленках.

Демилле вгляделся в лицо вошедшего и понял вдруг, что хорошо с ним знаком, встречал неоднократно, но очень давно. Где же могло это быть? В Доме архитекторов? В институте? На конкурсных выставках?.. Может быть, они вместе работали когда-то? Убей бог, субъект не припоминался! Внезапно из темного уголка памяти вынырнула фамилия: Кравчук. Почему Кравчук? Откуда Кравчук? А может быть, и не Кравчук вовсе!..

— Знакомьтесь! Первый поэт Петербурга Аркадий Кравчук! — приподнятым голосом представил нового гостя Арнольд Валентинович.

Но прежде чем хозяин успел назвать Евгения Викторовича, Кравчук как-то странно сморщил лицо, что, по всей вероятности, означало улыбку, и шагнул к Демилле.

— Женька, черт! Вот не ожидал! Да ты, что же, не помнишь меня! Я тебя сразу узнал! — воскликнул он, суя руку и чуть ли не намереваясь обняться, на что Демилле, неуверенно улыбаясь, инстинктивно отступил назад.

— Мы же в школе вместе учились! — объявил Кравчук, оглядывая хозяев.

Господи, как он мог забыть! Кравчук! Аркаша Кравчук, несусветный лодырь и душа парень, отсидевший в одном классе с Демилле последние три года средней школы! Демилле, помнится, еще занимался с ним по математике — без особого успеха. Принадлежали они к разным компаниям, Демилле всегда входил, что называется, в «ядро» класса, где группировались активисты и отличники, Кравчук же пребывал на отшибе. Но все равно! Как он мог забыть!..

Демилле пожал Аркадию руку, растроганно полуобнял, быстро припоминая, что после десятого класса знал о нем следующее: Аркаша завалил в мореходку и попал в армию. Дальнейший его жизненный путь совсем был неизвестен, даже на традиционном сборе выпускников, посвященном двадцатилетию окончания школы, Аркадий не присутствовал, и никто о нем не вспомнил.

— Вот как бывает! Вот ведь как бывает! — удовлет-

воренно повторял Безич, глядя на встречу однокашников, в то время как Зиночка, подхватив чашку с недопитым кофе, молча удалилась в спальню. Безич, скривившись, махнул рукою ей вслед: мол, оно и лучше!

— А вы, Евгений Викторович, и не догадывались, что известный всей России поэт Аркадий Кравчук — ваш одноклассник! — укоризненно-ласково проговорил Безич, направляя Аркадия за стол.

Демилле устыдился: он никогда не слышал о поэте с такой фамилией. Аркадий же, на удивление, воспринял слова Безича как должное, лишь улыбнулся — то ли скромно, то ли снисходительно: ну, будет, будет!

Стали пить кофе, причем Безич тут же принялся рассказывать историю Демилле, напирая на произвол. Аркадий слушал сосредоточенно, уткнувшись в чашку с кофе, потом вдруг достал из кармана брюк потертую записную книжицу с вложенным в нее простым карандашом, привязанным к корешку веревочкой, и черкнул в книжице пару строк, не переставая слушать. Демилле ежился: его история в пересказе Арнольда Валентиновича приобретала явный политический оттенок, чего ему не хотелось.

— И вот перед нами пример советского блудного сына,— эффектно закончил Безич, указывая на Демилле золоченой ложечкой.— Вы теперь классический «бомж», Евгений Викторович!

— «Бомж»? — вздрогнул Демилле.— Что это такое?

Хозяин снисходительно улыбнулся:

— Словцо обязано своим происхождением милицейским протоколам. Так называют людей без определенного местожительства. Аббревиатура, вы понимаете...

— А-а...— догадался Демилле.

«Господи! Я еще, к тому же, и «бомж»!» — что-то похожее на панику взметнулось в его душе, и он быстро отхлебнул кофе, стараясь справиться с волнением.

— Тебе, значит, жить негде? — подал голос Аркадий.— Могу предложить свою конуру.

— Превосходно, Аркадий! — обрадовался Безич.— Я, знаете, как-то... затруднялся. Зиночка, знаете... К сожалению, она не одобряет нашего образа мыслей...

Демилле почувствовал протест: его явно куда-то пристегивали, к какой-то упряжке, а это всегда было ему не по нутру. Политика вызывала в нем смутное

недоумение — никогда он не мог понять людей, имеющих четкие политические взгляды, как не мог понять и того, что на это можно тратить драгоценную человеческую жизнь. Иными словами, Демилле был аполитичен — наихудший вариант в мире, раздираемом противоречиями, ибо аполитичному человеку достается с обеих сторон.

Выяснилось, что Кравчук живет в Комарове на старой даче, принадлежавшей покойному ныне академику. Зимой Аркадий присматривает за нею в одиночестве, на лето туда переезжает старуха, вдова академика. Жилье бесплатное, минимальные средства на жизнь дает Аркадию работа сторожа в РСУ дачного треста. Сутки дежурства — трое свободных.

— В Комарове...— протянул Демилле.— Это же очень далеко.

— Пятьдесят минут на электричке,— пожал плечами Аркадий.— В городе концы и поболее.

«Почему бы и нет? — подумал тогда Евгений.— На службе сейчас затишье, близятся летние отпуска. Можно бывать один-два раза в неделю, а работу взять на дом. Решмин разрешит, я ему и так глаза мозолю...»

Арнольд Валентинович, видя, что Демилле колеблется, повернул разговор на другое, чтобы дать мыслям новообращенного созреть.

Он положил свою маленькую ладонь на записную книжку, все еще лежавшую на столе, тем мягким движением, каким кладут руку на колено возлюбленной, и искательно проговорил:

— Там ведь новые стихи, Аркадий? Не томите нас в безвестности, почитайте!

Аркадий промычал что-то, еще более сутулясь, но отставил в сторону кофе и принялся листать книжку. Страницы сплошь были покрыты мелкими карандашными строчками, в нижних углах они позатерлись от частоты перелистывания или прижатия большим пальцем при чтении. Наконец, Аркадий остановил свой выбор на одной из страниц и начал читать глухим монотонным голосом, глядя на дно кофейной чашечки, в блестевшую, как мазут, кофейную гущу.

Демилле сосредоточился, стараясь не пропустить ничего из красот лучшего поэта города. Прежде всего от стихов этих рождалось впечатление тесноты и неустроенности, в них трудно было дышать, они напоминали кашель чахоточного больного. Слова, из которых состо-

яли стихи, были общеупотребительны, но поставлены в такие сочетания, что казались давно изжитыми, архаичными, как дедушкины галоши, забытые в прихожей. Веяло от них началом нынешнего века или концом прошлого.

Аркадий замолчал, не поднимая головы.

— Гениально...— прошептал Арнольд Валентинович.— Если можно, еще...

Аркадий прочитал еще — так же размеренно и глухо. Своими стихами он будто сам загонял себя в угол и погибал там чуть ли не с упоением.

Чтение продолжалось около получаса, изредка прерываемое краткими и, как правило, восторженными комментариями Безича.

Прикрыв книжицу, Аркадий наконец-то оторвал взгляд от гущи, поднял голову и покосился на Демилле. Евгений Викторович понял, что от него ждут оценки, реакции.

— Да... Не ожидал...— протянул он, так что трудно было понять — чего именно он не ожидал. Безич истолковал благоприятно.

— Вот видите! Вы и не знали, что учитесь с будущим классиком!

Дальше разговор неизвестно как свернул на Олимпиаду, от которой Безич ожидал ужасных бедствий и опять-таки произвола, однако энтузиазм хозяина постепенно стал гаснуть, а когда Зиночка демонстративно прошла в кухню и обратно, то Арнольд Валентинович и вовсе увял.

Аркадий сидел, хмурясь каким-то своим мыслям. Демилле сообразил, что пора уходить.

— Ну, мы пойдем, Аркаша... Благодарим вас, Арнольд Валентинович.

— Не стоит благодарности, что вы! Телефон у вас есть, звоните мне, я постараюсь получить нужную информацию, потом мы начнем действовать!

Последние слова сказаны были с решительностью и даже некоторой угрозой.

Когда прощались в прихожей, Аркадий, уже одетый в поношенную синтетическую куртку, отвел Безича в сторонку и что-то тихо ему сказал. Арнольд Валентинович засуетился, исчез в комнате и через несколько секунд вернулся с чем-то, зажатым в кулаке. Он сунул кулак в карман куртки Аркадия и тотчас вынул разжатым. «Деньги положил»,— догадался Демилле.

Выйдя во двор, они договорились о дальнейшем. Аркадий с чемоданом однокашника поехал домой в Комарово, а Демилле налегке поспешил на службу отметиться и захватить нужные материалы для работы. Аркадий обещал встретить его на платформе поселка Комарово в четыре часа дня.

...Когда Евгений Викторович, потрудившись первую половину рабочего дня и испросив разрешения у руководителей мастерской работать дома, ехал на электричке за город, имея под мышкой папку с материалами по очередной привязке, за грязноватыми окнами вагона сиял и переливался красками яркий майский денек. Ветер шевелил бледно-зеленые листочки на ветках деревьев, земля просыхала, на огородах копошились люди, по распаханным полям неуклюже бродили черные птицы. Евгений Викторович чувствовал, что какая-то неукротимая сила, подобная электропоезду, влечет его все дальше от собственного дома по широкой спирали, витки которой расходятся с опасной свободой, будто он был малой планетой, внезапно потерявшей устойчивую орбиту и теперь спешащей в неведомое. Он вспомнил Костю Неволяева с его «черными дырами» и представил себя пропадающим в такой дыре, где ни света, ни надежды. И в то же время весенняя погода и теплый ветерок, врывающийся в открытые сверху окна электрички, против воли рождали радостные ожидания — он вырвался из осточертевшего уже города, в котором, как иголка в стогу, затерялась его семья...

Глава 24.

НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Не без трепета приступаю я к этой главе, стараясь оживить в памяти тусклый блеск ушедших белых ночей, вслушиваясь в шорох шагов на пустынных, видимых насквозь улицах. Робкие тени прохожих быстро скользят вдоль каменных стен и пропадают в мрачных парадных, точно проваливаются в преисподнюю — только что был человек и нет его, прямая улица зияет, как прореха в кармане, и окна домов подернуты синеватой мертвенной пленкой.

Кто из писавших о нашем городе прошел мимо гибельного очарования белой ночи, мимо ее ирреального блеска? Имен называть не надо, они известны всем. Что

же нового сможем внести мы в эту картину, кроме желтых светофорных огней, тревожно мигающих на перекрестках?

Окинем мысленным взором знакомый городской пейзаж, восстановим в душе образ белой ночи. Не правда ли, он, по крайней мере, наполовину обязан своим происхождением любимым стихам, повестям и романам? Едва промелькнули май и июнь, как мы уже забыли о прошедших белых ночах, а вернее, присоединили их мимолетный облик к бессмертному литературному образу.

Да разве одних белых ночей это касается? Весь наш город наполовину из камня и железа, наполовину же — из хрупких словесных сочетаний. «Спящие громады пустынных улиц» — что это? Четыре слова, которые заменяют сотни домов на Невском и Измайловском, на бывшей Гороховой и Моховой. Ленинград насквозь литературен. Время переплавляет его грубую плоть в неосязаемый, но не менее прекрасный поэтический эквивалент — плоть постепенно умирает, и душа города в виде бессмертных творений возносится над ним, образуя легкое сияние в небесах, наподобие полярного.

Ни один город в мире не имеет такого литературного ореола, как наш. Если бы, по несчастью, город вдруг исчез с лица Земли, его можно было бы восстановить по одним литературным произведениям. Конечно, дай бог ему долгих лет жизни и, кроме прочего, новых штрихов его духовному облику, и все же такое исключительное положение бывшей нашей столицы чревато опасностями для пишущего...

Слишком тяжел груз традиций, а литературный ореол в дождливую погоду превращается в низкую свинцовую облачность, которую не прошибить пушкой. Образ города держит литератора за глотку, навязывая ему классичность стиля и обязательный набор реминисценций. Ореол в этом случае подобен смогу, надышавшись которым пишущий уже не в силах уклониться от канонов и будет вечно дудеть в дудку «петербургской» школы, увеличивая и без того плотную литературную облачность.

Все это я говорю к тому, мистер Стерн, что далее речь моя пойдет о поэте.

...Аркадий встретил Демилле на перроне. Он щурился на солнце, подставив ему обросшее лицо, а рядом стояла рыжая гладкая собака с искательным взглядом

печальных глаз. Они были чем-то похожи — Аркадий и собака, в бороде Аркадия на солнце пробивалась рыжина, да и куртка песочного цвета была под масть собаке.

Аркадий повел его в глубь поселка, собака поплелась следом.

— Твоя? — спросил Демилле, оглядываясь на нее.

— Нет, бездомная. Мы с нею дружим.

Прошли мимо железных ворот РСУ дачного треста — Аркадий перекинулся двумя словами с дежурной бабкой — и через пять минут были на месте. Голубая, давно не крашенная дача с мезонином стояла посреди заросшего кустами сирени участка, обихоженного на небольшом клочке возле дома. Оставшаяся часть участка была занята сосновым редким лесом.

Было тепло, тихо, умиротворенно. Дачный сезон еще не начался. От канав, выложенных по дну черными прошлогодними листьями, струился теплый пар; на участках жгли подсохший на солнце мусор; сизоватый дымок нехотя выползал на свет, разливался прозрачными озерцами в воздухе, запахом своим напоминая Демилле что-то давнее, из детства, а может быть, из темной дали времен до него... «Дым отечества» — как точно сказано! Демилле против воли испытал растроганность.

И старуха, встретившая их на участке, тоже натолкнула на литературную ассоциацию: Васса Железнова. Демилле пьесы Горького не читал, не довелось, но помнил откуда-то образ властной женщины гренадерского роста с лязгающей фамилией. Аркадий поздоровался со старухой довольно подобострастно и тут же представил Евгения Викторовича, испросив разрешения для него пожить на даче. Старуха, выпрямившись, стояла средь взрыхленных грядок, руки у нее были в земле. Выслушав Аркадия и бросив пронизывающий взгляд на Демилле, она кивнула: разрешаю! Бывшие одноклассники взошли на высокое крыльцо и очутились в доме, где пахло еще зимним нежилым духом.

Впрочем, печка топилась; в мансарде, куда поднялись приятели, было почти по-летнему тепло и солнечно.

Демилле оглядел свое новое пристанище, и оно понравилось ему больше, чем прежние,— простором, беспорядком, рассеянной пылью, толпившейся в снопах солнечного света, бившего из высоких круглых люнетов под скошенным потолком. В мансарде было две комна-

ты, отделенных друг от друга беленой стеной, где пряталась печная труба. Из обеих комнат вели двери на балконы, выходившие один на фасадную сторону, а другой — на зады, в частокол прямых сосновых стволов.

В комнатах все кричало о бедности, вольнодумстве, безалаберности. Книги лежали стопками на полу, на старых диванах и матрасах валялось какое-то тряпье, по стенам висели акварели, графика, вырезки из журналов. Массивный стол был весь уставлен посудой, пустыми бутылочками, баночками с краской... по всему видно, он никогда не убирался, лишь в нужный момент расчищалось место для нужного дела.

Аркадий определил Демилле в комнату, выходившую балконом на участок. Евгений Викторович разложил свои бумаги на полках, тянувшихся вдоль стен, для чего ему тоже пришлось расчистить место от книг, коробочек, бутылок, машинописных листков и сушек, валявшихся повсюду в больших количествах. После этого Евгений взялся за сооружение стола, необходимого ему для работы. Они спустились с Аркадием вниз и обследовали дом. Оказалось, что здесь можно найти любую обиходную вещь, какую только можно себе представить,— правда, либо старую, либо изломанную, а чаще то и другое вместе. Им удалось откопать растрескавшуюся столешницу, а в другой комнате найти плоский сундук, забитый почему-то серым свалявшимся ватином; то и другое (естественно, с разрешения старухи) было перенесено наверх, и Евгений получил прекрасный рабочий стол, на котором и расстелил привезенный с собою чертеж.

Аркадий был сосредоточен и немногословен. Сразу после сооружения рабочей плоскости для Евгения он отправился к себе, расчистил место на своем столе и выставил туда плоскую пишущую машинку, на которой принялся что-то стучать — медленно и упорно, пользуясь одним лишь пальцем.

Евгений Викторович не стал ему мешать, а спустился вниз в одной рубашке и, засунув руки в карманы, отправился гулять по участку. За сараем нашел он место для пилки и колки дров с топором, вогнанным в иссеченный чурбан. Тут же валялся и колун, и свежераспиленные березовые чурки. Евгений Викторович поставил одну на чурбан, взмахнул колуном и легко, удивляясь своей ловкости и сноровистости, вонзил острие в чурку. Она со звоном раскололась. Демилле обрадовался победе, хотя

чурки, по правде сказать, были невелики по толщине.

Стук топора разносился далеко окрест, ему еле слышно вторила пишущая машинка Аркадия, звуки которой вылетали из мезонина. Прилетевший дятел устроился на сосне и пустил длинную руладу барабанной дроби... Хорошо! Вольно!

...Они с Аркадием не заснули до утра, рассказывая друг другу все двадцать с лишним лет жизни, что промелькнули после выпускного школьного вечера. И хотя в школе не были даже приятелями, почувствовали, что сдружились за этот разговор. Им даже показалось обоим, что и тогда, в юности, стремились один к другому, имели потребность высказаться, да как-то не получилось... придумали, наверное. На балконе, выходящем в рассветный сосновый участок, дымился сизой струйкой самовар — настоящий, медный, с продавленным боком,— куда Аркадий пригоршнями засыпал запасенные с прошлого лета сухие сосновые шишки. Сухари да соленые сушки — вот и вся еда. Спиртного не пили, Аркадий не употреблял по состоянию здоровья — да и не хотелось.

История Аркадия неотделима была от его страсти к стихотворчеству. Он начал писать стихи в армии, куда попал после неудачного поступления в мореходное училище. Рухнула детская мечта о море, вместо нее возникла вдруг казарма, строй и старшина Пилипенко, который с первого дня стал Аркадию злейший враг. Аркадий по натуре был вял, меланхоличен, а меланхолия в армии недопустима. Что угодно, только не меланхолия! Потому товарищи по казарме над ним посмеивались, а старшина издевался. Аркадий и в солдатах оказался одиноким; от одиночества и бессилия начал писать стихи, меланхолический строй которых уводил его от нарядов и дежурств, строевой подготовки и ночных учебных тревог. Стихов этих он никому не показывал и в стенгазету части не предлагал, как иные. Знал — опять будут смеяться. Так и явился он из армии в Ленинград с вещмешком и тремя общими тетрадками стихов.

Одноклассники к тому времени уже почти все были студентами со стажем — не подступись! — учиться его не тянуло, и Аркадий от растерянности женился, сам не помнит как. В армии он получил специальность электромеханика и устроился в комбинат бытового обслуживания, в ателье по ремонту электроприборов. Но внешнее — и работа в ателье, и женитьба, и даже появивша-

яся через год дочка, и безденежье — все было ничто перед заветными тетрадками, которые накапливались у него в ящике стола, пока он не решился, испросив разрешения у машинистки комбината, перепечатать наиболее удачные, по его мнению, строки, чтобы показать их кому-нибудь. (Жена Аркадия ни до замужества, ни после о пристрастии его не догадывалась.)

Случилось так, что папка со стихами попала к Арнольду Валентиновичу Безичу. Аркадий теперь уже и не знал — хорошо это или плохо. Произошло это чисто случайно: Аркадий попал к Безичу, выполняя рабочий наряд. Арнольду Валентиновичу вздумалось тогда оборудовать электрическими лампочками приобретенные бронзовые настенные канделябры, для чего и был вызван на дом электромеханик Кравчук. При любви Арнольда Валентиновича к беседам, да при его обходительности, интеллигентности немудрено, что Аркадий был очарован, сразу и безоговорочно признал над собою духовную власть. Чтобы хоть как-то возвыситься в глазах Безича, признался в сочинительстве. Разумеется, Безич потребовал папку. Папка была принесена, а за нею и все тетрадки. И вот, пока электромеханик Кравчук возился с канделябрами, привинчивая к ним патроны «миньон» и проводя скрытую проводку, Арнольд Валентинович в другой комнате читал стихи, и Аркадий, конечно же, кожей чувствовал каждое перелистывание страницы, повторяя про себя строки, возникающие перед взором Арнольда Валентиновича. Он обливался потом и обмирал от страха, когда Безич, подчеркнуто холодный и неприступный, выходил из комнаты в кухню, возвращался обратно с чаем, даже не удостоив поэта взглядом... Аркадий сверлил проклятую бронзу, прятал в металлических лепестках «миньоны» и уже не мог перенести этой пытки, как вдруг...

Безич вышел из комнаты на этот раз с тетрадками и папкой. Он церемонно подошел к замершему, как застигнутый зверек, Аркадию и произнес:

— Друг мой, я склоняю перед вами голову. Вы — гений!

И действительно наклонил голову и стоял так несколько секунд, пока Аркадий приходил в себя. Сначала он подумал было, что Арнольд Валентинович шутит, издевается, как старшина Пилипенко, но Арнольд Валентинович не шутил. Надо сказать, что вышел он с папкой не раньше, чем Аркадий закончил работу —

так совпало,— и теперь молодой поэт и новоявленный меценат могли вдоволь насладиться беседой.

Арнольд Валентинович листал тетради, смакуя строчки, и не только не скупился на похвалы, но и такие слова произносил, каких не мог сказать себе сам Аркадий Кравчук в самые звездные часы сочинительства. Тут же проводились блестящие параллели с поэтами, о существовании которых Аркадий тогда не подозревал... Кузмин, Мандельштам, Волошин... и цитировалось немало... Аркадий был сражен, покорен навсегда. Немудрено, что, начиная с того дня, вот уже семнадцать лет, он носил стихи Арнольду Валентиновичу и каждый раз получал свою порцию похвал и анализа, причем ни то ни другое почти не повторялось, благодаря исключительному поэтическому кругозору мецената и его обходительности. Поначалу Аркаша смутно надеялся, что подобные оценки вкупе со связями Безича приведут к тому, что стихи получат права гражданства, попадут на журнальные страницы... Ничего подобного! Безич довольно скоро дал понять, что стихи Аркадия настолько хороши, так сильно опережают время, что думать об их публикации — наивно. Кравчук подавил в себе робкое сожаление — очень все-таки хотелось! — но радость от похвал, которая постепенно переходила в уверенность в собственном таланте, была сильнее жажды печататься. Ему в то время, да и после — лет до тридцати пяти,— вполне достаточно было кулуарных разговоров, переплетенных тетрадочек с машинописным текстом стихов, которыми обзаводились друзья и знакомые Арнольда Валентиновича... Грели авторское самолюбие и глухие упоминания о том, что «там» его знают, а потом пришло и подтверждение в виде напечатанной в Париже подборки в каком-то альманахе... Кравчук своими глазами альманаха не видел, как и не знал — каким путем попали в Париж его странички,— но это происшествие окончательно поставило его в своих собственных глазах вне официальной печати. Безич по-прежнему хвалил, подкармливал, ссужал небольшими суммами... Аркадий и не заметил, как развелся, ушел из комбината и с тех пор, вот уже двенадцать лет, влачил ослепительно жалкое существование непризнанного страною гения...

Одно его тревожило — он был не единственным. В других кружках, у других Арнольдов Валентиновичей, существовали свои непризнанные гении, которые не так

высоко ставили Аркашу Кравчука, придерживались иных традиций. Если Аркадий, расширив уже свой поэтический кругозор, остановился на акмеистической традиции, то у других были — Хлебников, обериуты... Благо, направлений в русской поэзии хватало, выбирай на любой вкус!

Чем дольше Демилле слушал Аркадия, тем больше овладевало им смутное беспокойство за товарища. Лишь только отвлекались от литературы, вспоминали школу, заваривали чаек или осторожно, чтобы не разбудить хозяйку, спускались на участок набрать сухих шишек для самовара, как Аркадий становился прежним — добрым и медлительным увальнем, каким помнился Демилле по школьным годам. Но стоило беседе возвратиться к стихам, как Аркадий преображался, что-то болезненное мелькало во взоре, поднималась со дна души застойная обида на всех — на издательства и редакции, на признанных и непризнанных коллег, на Безича и его компанию, наконец... даже на себя почувствовал Евгений Викторович обиду — почему до сей поры неизвестны были ему стихи первого петербургского поэта?

— Хотели в «Юности» печатать... Сейчас покажу,— Аркадий подошел к полкам, суетливо нашел папку, откуда вынул несколько листков с гранками журнала.

— Почитай,— предложил Евгений.

— Не хочу. У меня лучше есть,— сказал Аркадий, засовывая листки обратно в папку.

— Ну, почитай другие...

— Потом...

Он вернулся к столу, глотнул чаю, задумался, потерял интерес к разговору. Демилле не мешал ему, тоже думал о своем.

Когда укладывались спать, Демилле заметил, что Аркадий достал из кармана пачечку лекарств и, отлив из самовара остывшей уже воды, проглотил две таблетки и запил. В это мгновение он показался Евгению стариком — руки у Кравчука слегка дрожали, движения были мелки...

С той долгой беседы началась у Евгения Викторовича странная полуночная жизнь, в которую он погрузился вместе с Аркадием, открывая для себя мир «ночных бабочек», как он полупоэтично-полуиронически окрестил его для себя.

Обычно они поднимались за полдень, часов около двух и, умывшись, пили чай со старухой. Это был ритуал: самовар, пять-шесть сортов варенья, розеточки из хрусталя, позлащенные ложечки. Старуху звали Анна Сергеевна, в свои семьдесят шесть лет она не утратила ни ума, ни любознательности, ни живости. Разговор за чаем касался политики и культуры, причем и в том, и в другом вопросе бывшим одноклассникам было трудно угнаться за старухой, ибо та регулярно смотрела телевизор и читала газеты, а Кравчук с Демилле получали политические и культурные новости лишь урывками, так что чаепитие превращалось в своего рода ликбез, что несомненно было приятно старухе. Она для виду ворчала, но сама так и таяла, когда Аркадий или Демилле подбрасывали ей вопросы, зачастую подыгрывая. Острыми проблемами были Афганистан и бойкот Олимпийских игр — и там, и там Анна Сергеевна обнаруживала полную осведомленность и трезвость суждений. Аркадий уверял, что старуха слушает по вечерам «Голос Америки» по транзистору, дабы иметь двустороннюю информацию.

Во всяком случае беседы эти для приятелей были небесполезны. После чая они обычно работали на участке — пилили и кололи дрова, запасали воду на сутки, обрабатывали грядки, окучивали картошку, Аркадий бегал в ближайший магазин за продуктами. Отработав таким образом собственное проживание, они переодевались и шли на станцию, где плотно обедали в «стекляшке», как они называли домовую кухню, а потом ехали в город, имея, как правило, определенные планы на вечер и ночь.

Их ждали культурные мероприятия, не отмеченные ни в одной из афиш города: читки стихов, прозы и статей, доклады, маленькие концерты, прослушивания музыкальных записей, диспуты. Собирались, как правило, на квартирах, но случались встречи и в других местах — в котельных, уже, как правило, не работающих по причине окончания отопительного сезона, или в вахтерских «дежурках» каких-то институтов, или в мастерских художников. Демилле с интересом обнаруживал для себя изнанку культурной жизни, вернее сказать, оборотную сторону медали, где имелись свои знаменитости и звезды, шли споры, выпускались альманахи и журналы. Интенсивность и серьезность проблем этой культурной жизни не уступали официальной, хотя имели

несколько иную окраску. Здесь, как и в публичной культуре, чрезвычайно сильны были людские амбиции, с тою лишь разницей, что «там» они могли быть подкреплены званиями и наградами, а «тут» опирались исключительно на мнения кружков. Таланты и здесь были редки, и здесь, как и «там», держались несколько обособленно, а кипучей деятельностью и оформлением идеологии занимались люди энергичные, но неталантливые, отчего по сути обе стороны культурной медали оказывались похожими, так что непонятно иной раз было — почему представители одной культуры проводят встречи в концертных залах и Домах творчества, а другие довольствуются котельными и дворницкими.

Засиживались на встречах допоздна, пили мало, исключительно сухое вино, иногда ели торт. Нищенствовали подчеркнуто, с несомненным достоинством. Потом расходились по набережным и проспектам, рассеивались в зыбких полутенях белых ночей, чтобы назавтра вновь слететься на огонек тлеющей подпольной культуры.

Кроме чисто познавательного интереса, Демилле имел вполне реальную цель, отчего и сопровождал Аркадия постоянно. Поиски дома затягивались, он понял, что может рассчитывать только на себя, и потому как нельзя кстати оказались эти беспрестанные поездки и прогулки по ночному городу, встречи с незнакомыми людьми, от которых он надеялся получить хоть какие-нибудь сведения.

Служба совсем перестала его занимать. Он знал, что до отпуска ему надлежит сдать чертеж — и только. В мастерской наступил период летних отпусков. Когда Демилле изредка забредал туда в конце рабочего дня, то обычно заставал лишь «дежурную» чертежницу, которая сообщала ему, что все разошлись еще с обеда, руководитель уже отбыл на юг, а премию дадут в конце месяца.

Что касается Аркадия, то неожиданная встреча с товарищем юности словно подхлестнула его, зажгла неким азартом. Он увидел, что привычная для него среда оказалась в диковинку Евгению, а посему, чтобы не ударить в грязь лицом, водил его по избранным людям, зачастую действительно интересным. Были тут и религиозный философ, человек весьма эрудированный и далекий от всякой суеты, и несколько художников, и историк литературы, занимавшийся наследием Олей-

никова, Введенского и Хармса. Однажды попали на концерт молодого барда (Демилле внес при входе по три рубля за себя и за Аркадия — из входных пожертвований складывался гонорар барда). Певец и композитор проявил себя, на взгляд Демилле, лишь невежеством, а также отсутствием всякой культуры слова. Аркадий смущенно согласился.

Но была еще одна, более глубокая причина вновь вспыхнувшего у Аркадия интереса к «теневой» ленинградской культуре. На читках и обсуждениях, в разговорах он надеялся, может быть, неосознанно показать и свою роль в этой культуре, дать понять школьному товарищу, что двадцать лет не прошли даром, не вычеркнуты из жизни; что бывший двоечник Аркаша Кравчук действительно стал одним из виднейших поэтов Ленинграда, пусть и не признанным официальной печатью. Но получалось неубедительно. И здесь, как и в видимой миру литературе, происходила переоценка былых кумиров, и здесь нарождались новые поколения, для которых Кравчук был уже неинтересен, скучен, отдавал эпигонством. Эти новые молодые люди были, к тому же, общественно активны: они издавали свои рукописные журналы и альманахи, причем вели себя как настоящие издатели, пускай и не платили гонорар. Дело дошло до того, что во время одного сборища на новой квартире в Купчине Аркадию на глазах Евгения Викторовича вернули подборку стихов из такого рукописного альманаха, издававшегося тиражом в 12 экземпляров. Его главный редактор, румяненький и гладкий молодой человек лет двадцати семи, нигде не работающий, но только что получивший тем не менее двухкомнатную квартиру, отдавая Аркадию рукопись, заметил, что он не понимает, почему бы Кравчуку не предложить эти стихи в «Неву» или «Звезду». «Здесь же ничего нет, Аркадий, понимаете?» — «А что должно быть?» — окрысился Аркадий. Тот только пожал плечами, усмехаясь.

Этот случай резко испортил Кравчуку настроение, на следующий же день он кинулся к Безичу за утешением и новой ссудой. Демилле к меценату не пошел: боялся новых разговоров про Мадридское совещание. К тому моменту он успел уже достаточно побродить по городу, порасспрашивать людей в компаниях, куда водил его Аркадий (расспрашивал осторожно, не выкладывая своей истории), но, может быть, именно поэтому и отвечали ему осторожно — вероятно, опасались нового че-

ловека, принимали за стукача. Демилле, однажды догадавшись об этом, расспросы прекратил и лишь ловил в разговорах намеки на интересующие его обстоятельства. Пока безуспешно.

В тот вечер, не пойдя к Безичу, он отправился в котельную им. Хлебникова, как ее называли работавшие там молодые литераторы. Они с Кравчуком уже бывали там, и Демилле кстати вспомнил, что на сегодня назначена читка новой повести одного из кочегаров. Кравчук скривился, сказал: «Он мистик», на том они и расстались, договорившись наутро встретиться в Комарове. Демилле прихватил бутылку сухого и к десяти часам вечера прибыл в котельную, помещавшуюся на Васильевском.

Народу на чтение собралось немного — человек семь, среди них две девушки скромного вида, одетые подчеркнуто небрежно. В тесной служебке, откуда вела в котельную железная дверь, стояли диван, письменный стол и несколько стульев. Хозяин помещения, он же автор повести, усадив гостей куда придется, открыл вино и разлил в чашки. Демилле определил, что народ собрался не очень знакомый друг с другом — разговаривали мало, девушки перешептывались со своими соседями, на лицах у них было отсутствующее выражение. Обстановка была несколько чопорная, что мало подходило для котельной, и Демилле попытался неосторожно разрядить ее, приподняв свою чашку с вином и провозгласив тост за встречу. Его не поддержали, каждый выпил как бы сам по себе, и Евгений Викторович почувствовал неловкость. «Позвольте мне начать, господа»,— сказал со смешком хозяин. Он явно нервничал и пытался скрыть это усмешкой. Вслед за тем он выложил на стол рукопись, прошитую на полях тесьмой, по виду — нечитанную.

Девушки откинулись на спинку дивана, держа перед собою чашки с вином. Хозяин прокашлялся и начал.

Повесть называлась «Silentium», ее название полатыни было начертано на титульном листе фломастером. Автор читал хорошо, тщательно выговаривая слова и несколько ритмизуя прозу. Демилле прикрыл глаза, постарался вникнуть в текст, но вскоре, к удивлению своему, обнаружил, что по-прежнему слышит лишь слова и их сочетания — вроде бы вполне понятные, но тем не менее не образующие никакого для него смысла.

Демилле не на шутку встревожился. Прошло несколько минут, прочитаны были первые страницы, и Евгений Викторович, так и не найдя нити, стал думать лишь о том, что и какими словами он будет говорить автору по окончании. Рукопись была не толста, страниц на тридцать, так что к обсуждению следовало бы приготовиться уже сейчас, но он, безуспешно стараясь связать имена и фразы, мелькавшие в сочинении, все более приходил в недоумение и растерянность, тем более позволительные, что на лицах остальных слушателей читалась лишь спокойная сосредоточенность.

Что-то там было про Марфу... «Образ Марфы...— мучительно вспоминал Демилле, но здесь это не годилось.— Экзистенциальность... нет, тоже не то!». Марфа, черт ее дери, по ночам была белой мышью, так он понял, а днем — актрисой, боявшейся мышей, причем, пребывая мышью, она ухитрялась оставаться актрисой и таким образом сама себя боялась. Дело происходило в семнадцатом веке, в городе Ростове Великом.

К концу повествования Демилле возненавидел и эту Марфу, и белую мышь, и почему-то девушек на диване, которые продолжали отрешенно глядеть на стену котельной, вертя в руках чашки с вином. «Лучше бы пошел к Безичу!» — подумал Демилле, и в этот момент автор дочитал последнюю и неимоверно длинную фразу, отхлебнул вина и устало прикрыл глаза.

Воцарилось долгое молчание. Потом усатый парень у стены, на которой висели правила противопожарной безопасности, неопределенно хмыкнул и спросил:

— Олег, значит, вы серьезно относитесь к Ремизову?

Все оживились, был дан ключ — «Ремизов», но для Демилле положение не улучшилось, ибо он Ремизова не читал, лишь слышал о таком писателе. Возник спор, но тоже весьма странный, ибо Демилле показалось, что каждый старается произнести свои слова так, чтобы, не дай бог, каким-то боком не задеть того непроявленного смысла прочитанной повести, который все более его мучил. Демилле отпил еще вина, набрался храбрости и сказал:

— Простите, я человек новый... Может быть, я не понял. Что вы хотели сказать этой вещью?

Еще не договорив, он понял, что задал запрещенный вопрос. Девушки переглянулись с едва заметным сожалением, остальные изобразили скуку. Автор сразу стал

агрессивен, он в упор посмотрел на Демилле и спросил в свою очередь:

— Вы Бердяева читали?

— Простите, при чем здесь Бердяев? — вскричал усатый молодой человек.

— Нет, я хочу знать ответ,— настаивал автор.

— Я не читал,— пожал плечами Демилле.— Но я про вашу повесть...

— А собственно, почему вы сюда пришли? — вдруг вскипел автор.— Вас приглашали?

— Да... я...— растерялся Демилле.— Мы были здесь с Аркадием.

— Ах, вы друг Аркадия! Вот как!

— Аркадий — графоман,— произнесла одна из девушек.

— Подождите, при чем здесь это! — защищался Демилле.— Я услышал повесть. Я хочу понять! Вы задумываетесь о тех, для кого пишете?

Опять воцарилась тишина. Демилле понял, что этот вопрос еще более неуместен. Он перестал существовать для собравшихся, вечер был скомкан, гости стали раскланиваться, не обращая на Демилле внимания. Они жали хозяину руку, девушки благодарили. «Это надо прочитать у Михаила»,— сказала одна. Демилле чувствовал себя в глупейшем положении.

— Прошу прощения. До свидания,— выдавил он из себя и попытался уйти. Он уже открывал дверь, как вдруг хозяин сорвался с места и догнал его.

— Подождите! Если вы... так настаиваете... Я вам дам почитать свою другую повесть. Вот! — у него в руках откуда ни возьмись оказалась другая рукопись — засаленная до невозможности.

— Олег! — предостерегающе воскликнула девушка, приглашавшая к Михаилу.

— Я ничего не боюсь! Пусть знают! — выкрикнул автор почти истерично.— Читайте, читайте, внимательнее! Только вернуть не позабудьте!

Демилле вышел на улицу с рукописью и в испорченном настроении. Не успел он пройти нескольких шагов по направлению к Большому проспекту, как его нагнали двое молодых людей из числа слушавших повесть. Они были значительно моложе его. Демилле заметил, что они не участвовали в споре о повести.

— Вы не расстраивайтесь. Нам тоже повесть не понравилась,— миролюбиво сказал тот, что повыше.

— Я разве сказал, что мне не понравилось? Я просто не понял,— пожал плечами Евгений Викторович.

— Там и понимать нечего! — хмыкнул второй.

— Давайте познакомимся. А то как-то неудобно,— сказал высокий.— Меня зовут Саша.

— Сергей,— представился второй.

— Евгений Викторович,— назвался полностью Демилле, учитывая возраст молодых людей.

— А вы что пишете, Евгений Викторович? — спросил Саша.

— Я? Ничего. А почему я должен что-либо писать?

— Ну... здесь все что-то пишут. Я — стихи, Сережа — прозу...

— И вы тоже считаете, что незачем принимать в расчет читателя? — язвительно промолвил Демилле. Он все еще не мог отойти, отыгрывался на ни в чем не виноватых юношах.

— Ну, зачем же так?..— протянул Сергей, не обидевшись.— Это слишком упрощенно. Конечно, хочется, чтобы дошло. Только не любой ценой. Есть же новизна формы...

— Ты это Рыскалю скажи,— усмехнулся Саша.

— Что? — не понял Демилле.

— Нет, это я так...

— Значит, вы считаете, что история про Марфу — новое слово в литературе? — продолжал наступать Демилле.

— История про Марфу — бред. Высосано из пальца.

— Ну, вот и я про то же говорю.

— Бред она не потому, что непонятна! Вы не за то ухватились,— завелся Сергей.— Сколько раз уже под предлогом непонятности для простого народа отвергались вещи действительно прекрасные. Нельзя судить по принципу «понятно — непонятно»!

— А по какому вы предлагаете? — спросил заинтересованно Демилле.

— Много принципов. «Интересно — неинтересно», «убедительно — неубедительно», «ново — не ново». Марфа — это не ново, не интересно и не убедительно.

Они вышли на пустой Средний проспект, словно продутый ночным сквозняком, и повернули к Тучкову мосту. Проспект казался у́же, чем днем, а дома выше. Плотной стеной они тянулись по обе стороны, отчего

Демилле показалось, что он находится на дне ущелья, прорезанного в каменном монолите города. Вдруг где-то впереди замаячило белое пятно, потом еще... Точно рой белых бабочек вылетел на проспект сбоку, с одной из линий.

— Сегодня же «Алые паруса»! — догадался Саша.

— Что? — не понял Демилле.

— Праздник выпускников.

— А-а...— протянул Евгений Викторович, с усилием вспоминая, что и вправду слышал о таком празднике, даже читал в газетах, но никогда не соотносил его ни с собою, ни с собственной юностью, ни с любимым некогда Грином.

Впереди, в группе выпускников, забренчала гитара, и послышались поющие голоса. Пели юноши — то хрипло, то срываясь на фальцет, немелодично, на взгляд Демилле, и немузыкально. «Как драные коты»,— подумал он.

Компания молодежи свернула по Первой линии к Большому, а Демилле со спутниками вышел к Тучкову мосту.

— Слава богу, успели! — сказал Саша, взглянув на часы.— Через пять минут разведут.

— Вы где живете, Евгений Викторович? — спросил Сергей.

— Я? — Демилле вздрогнул.— Нигде. В Комарове.

— Электричек до утра не будет. Пойдемте к нам, мы здесь недалеко,— предложил Саша, в то время как Сергей посмотрел на товарища чуть ли не испуганно.

— Инструкцию нарушаешь,— сказал он тихо.

— А! Рыскаль спит без задних ног,— ответил Саша.

— Вы в общежитии? — Демилле пытался понять.

— Да. Практически. Ну, пойдете? Решайте быстрей! — сказал Саша, глядя, как рабочий устанавливает поперек моста заграждение для автомобилей.

— Нет, спасибо. Я лучше погуляю,— ответил Демилле.

— Ну, тогда пока! — молодые люди наскоро пожали Евгению Викторовичу руку и рысцой устремились через мост.

Демилле свернул на набережную и побрел к Стрелке.

Он прошел мимо Пушкинского дома и вышел к Ростральным колоннам. Здесь полно было народу —

белых и розовых платьев, рубах, джинсов, гитар, смеха. Юноши и девушки толпились на полукруглом спуске к воде, кто-то купался под смех товарищей, звенели бутылки и стаканы, над простором площади разносились трели: две тетки-сторожихи со свистками бегали вокруг огромных клумб, отгоняя молодежь от цветущих тюльпанов. Демилле подошел к парапету, нашел свободное местечко, облокотился. Слева и справа торчали разведенные мосты — Дворцовый и мост Строителей. Он вспомнил ту злосчастную ночь и взглянул на шпиль Петропавловки, будто надеясь снова увидеть прямоугольник окна летящего дома (он давно уже догадался, сопоставив события,— чем был тот светящийся объект в ночном небе)... но ничего не увидел. И ангела самого на шпиле не было. Демилле мгновенно испугался — куда пропал ангел? — но тут же понял, что флюгер-ангел просто-напросто повернулся к нему ребром, повинуясь ветру.

Толпа заволновалась, зашумела. По Неве плыла флотилия лодок и яхт, подсвеченных фонариками. Они двигались бесшумно, отражая огоньки в спокойной воде, и среди них выделялась яхта с алыми парусами.

У Демилле горло сжало — до того эта яхта была ненатуральна и красива, так напомнила она игрушечные притязания юности, отозвавшиеся потом обманом и разочарованием.

Демилле пошел к Бирже, взобрался на ступеньки и сел, подперев голову, в позе роденовского Мыслителя. Просидев так с полчаса, он вновь побрел куда-то, описал круг мимо Академии наук и института Отта и вновь вышел к мосту Строителей. Народу на набережной поубавилось. Демилле посмотрел на часы: мост должны были свести через пятнадцать минут.

Он принялся ждать, ни о чем не размышляя и праздно рассматривая людей на том берегу Малой Невы, на Петроградской. По набережной чинно прогуливались пары. Внезапно у Демилле перехватило дыхание: походка одной из женщин показалась ему знакомой. И платье, и прическа... Демилле впился глазами в показавшуюся ему знакомой женскую фигуру. Неужели Ирина?! Но было далеко, не разобрать. Походка ее, несомненно. Но мало ли похожих? И ведь она не одна! Рядом с женщиной шел мужчина с абсолютно лысой головой, в летнем костюме, поступь выдавала в нем

человека пожилого. Мужчина и женщина удалялись к Петропавловской крепости.

Демилле побежал по набережной на своей стороне в том же направлении, будто стараясь догнать уходящих. Теперь оба были видны со спины, но все хуже и хуже, ибо расстояние неумолимо увеличивалось. О, если бы бинокль! Демилле нещадно тер глаза.

Он сбежал вниз по наклонному пандусу и остановился у самой воды, провожая глазами пару. Не может быть, чтобы Ирина! Не может она сейчас с кем-то гулять по набережным!

На какой-то миг мелькнула мысль — броситься за ними вплавь, но... За пьяного посчитают. Да и догонит ли?

— Ири...— попытался крикнуть он, но осекся. Не услышит.

Он побрел обратно к мосту и стал терпеливо ждать, пока тот сведут. Минут через десять разводная часть медленно опустилась, и Демилле первым рысцой перебежал на Петроградскую и помчался к Петропавловке. Точно собака, потерявшая след, перебежал деревянный мостик, ведущий в крепость, покружил там, потом побежал к зоопарку, тяжело дыша и оглядывая редких прохожих так, что те пугались. Но все напрасно! Женщины и след простыл.

Уговаривая себя, что померещилось, Демилле пошел к Финляндскому вокзалу, где дождался в зале ожидания первой электрички и поехал в Комарово. Он чувствовал себя разбитым и больным.

Утренний поселок встретил его запахом сосны, птичьим свистом, прохладой. Пока Демилле шел от станции к даче, он успокоился и окончательно доказал себе, что Ирина никак не могла быть ночью на набережной да еще с каким-то стариком. Во-первых, Егорка... а во-вторых... «Ну да, я же еще существую, нельзя так быстро забыть!».

Он взобрался по скрипучей лестнице в мезонин и обнаружил спящего на своей койке Аркадия. В мезонине было прибрано, стол расчищен, на столе сиял самовар, торчали из молочной бутылки ромашки. Демилле удивился. На полках тоже царил порядок. Здесь Демилле обнаружил аккуратно разложенные общие тетради, папки со стихами, книжки в самодельных переплетах, в которых тоже были стихи, афишу поэтиче-

ского вечера во Дворце культуры им. Капранова, где среди прочих фамилий значилась и фамилия Аркадия (афиша была десятилетней давности), пожелтевший листок многотиражной газеты фабрики трикотажных изделий с подборкой стихов Аркадия Кравчука и его фотографией и, наконец, ксерокопию нескольких страничек парижского альманаха с той самой публикацией Аркадия, которая, как он считал, навсегда отделила его от официальной литературы.

Демилле решил, что все приготовлено для него и, выпив холодного крепкого чаю, приступил к чтению. Он устроился в своей половине мезонина — отсюда ему через открытую дверь виден был спящий Аркадий. Евгений Викторович открыл наугад одну из папок и не без волнения погрузился в ее содержимое. Он хотел, чтобы ему понравилось, не то чтобы ожидал чего-то неслыханного, но настроился вполне доброжелательно, с полным пониманием нелегкого пути товарища.

Но чем больше он читал стихов, тем явственнее подступало ощущение, что Аркаша (он так и думал ласково — Аркаша) занимается не своим делом. Те хорошие строки, которые встречались в стихах, были словно помечены чужим авторством, дыхание стиха было натужным, несвободным, и вообще начисто отсутствовали легкость и естественность речи, которая только и делает стихи стихами. Демилле скоро устал и точно так же, как в котельной им. Хлебникова, принялся между строк обдумывать фразы, какими он передаст Аркадию свое впечатление.

Но и эти вежливые формулировки складывались с трудом, так что наконец Демилле решил сделать вид, что он вообще не притронулся к стихам. Он осторожно положил папку на место и только хотел растянуться на тахте, как заметил, что Аркадий уже не спит, а внимательно смотрит на него, высунув голову из-под одеяла. Демилле смутился.

— Привет, Аркаша! — сказал он.

Аркадий ничего не ответил, но с тем же пристальным странным взглядом встал с постели и вошел к Демилле.

— Поздравь меня,— сказал он отсутствующим голосом.— Мне сегодня сорок лет.

Демилле с преувеличенной порывистостью бросился к нему, обнял, бормоча поздравления и извинения,

восклицал что-то. Аркадий стоял безучастно. Он скользнул взглядом по полкам со стихами и неопределенно сказал:

— Здесь все, что я сделал за двадцать лет.

— Это же здорово, Аркаша! Я уже успел кое-что прочесть. Мне понравилось,— приподнято отвечал Демилле, но Аркадий оборвал его:

— Не надо, Женя. Я видел.

— Да что ты видел! — обиделся Демилле.— Это превосходно! Замечательная школа, культура, звукопись...

— А стихов нет,— констатировал Кравчук, словно бы говорил не про себя.— Оставим это. Давай готовиться к приему. Сегодня будут гости.

Выпив со старухою чаю и дождавшись одиннадцати часов, они пошли в магазин на станцию, где купили водки, вина и закуски. По пути Аркадий рассказывал о визите к Безичу. В первый раз он говорил о нем зло.

— Буржуй, сволочь! Наплевать ему на все, я понял вчера... Знаешь, прихожу, а у него мальчик сидит. Лет восемнадцати. Краснеет, тетрадку теребит... Ну, и Арнольд ему поет — слово в слово, что мне двадцать лет назад. Даже меня не постеснялся, сука!.. «Вы опередили, не вздумайте только предлагать в редакции, этот путь порочен...» Этот идиотик сидит, кивает!.. Когда мы с ним вышли, я ему сказал: «Дуй,— говорю, отсюда, пока не поздно, и забудь этот адрес. Иначе пропадешь!».

Из рассказа Кравчука Евгений Викторович уловил, что Безич встретил одноклассника прохладнее обычного, хотя и дал пятьдесят рублей, памятуя о дне рождения. Сам приехать в Комарово наотрез отказался, сославшись на радикулит (в этом месте Аркадий ввернул матерный неологизм, рифмовавшийся с «радикулитом»). Потом Кравчук перешел на жену Арнольда Валентиновича — Зиночку, которая, по его словам, последние лет семь полностью содержала мужа, работая официанткой в ресторане, почему и позволяла себе нелицеприятные высказывания о гостях Арнольда. Коллекция картин и фарфора досталась Безичу от деда. Безич, имея диплом искусствоведа, раньше работал на полставки, умел находить синекуру или покупал ее... Факт остается фактом — у Кравчука вдруг открылись глаза на мецената, и он изливал свою злобу.

— Что же ты — раньше не знал? Зачем к нему ходил? — спросил Демилле.

— А к кому ходить?! — вдруг заорал Аркадий, останавливаясь.— Ты же меня не принимал!.. Прости,— тут же сник он.

В середине дня приехала поклонница Кравчука — увядшая женщина лет пятидесяти в нелепом громоздком платье. Она привезла Аркадию букетик иммортелей и серебряный царский рубль. Пробыв совсем недолго, она уехала, к видимому облегчению Кравчука. Новых стихов он ей не дал, отговорился тем, что не писал последнее время по болезни.

Вечером же не пришел никто. Лишь почтальон принес телеграмму от Безича: «Кланяюсь первому поэту города. Арнольд»,— что выглядело почти насмешкой. Просидев у накрытого стола около двух часов, Демилле и Аркадий, старательно делая вид, что ничего не случилось, что так даже лучше и бесхлопотнее, принялись за ужин. Аркадий скоро напился и стал читать стихи сначала громко, будто угрожая кому-то, а затем все тише и тише. Под конец он расплакался и стал целоваться с Демилле, причем Евгений Викторович по нежности натуры тоже растрогался и, уже совсем поверив в гениальность приятеля, расточал ему комплименты.

Как и когда заснули — не заметили. Демилле, не спавший уже более суток, проснулся к полудню и увидел за столом Аркадия перед ополовиненной бутылкой водки. Кравчук был мрачен и молчалив. Наливал себе и пил, медленно раскачиваясь и что-то бормоча.

Демилле выпил рюмку и поспешил на станцию к поезду, ибо в тот день должен был сдать последний чертеж, получить премию и отпускные и со спокойной душой (насколько она могла быть спокойной в таких обстоятельствах) уйти в отпуск.

Прощаясь, он хлопнул Аркадия по плечу, шутливо предупредил, чтобы тот не напивался. Аркадий, уже пьяный, отмахнулся, скривившись. Демилле ступил на лесенку, но Кравчук остановил его.

— Постой... Женька... черт! Вот, возьми...— он протянул серебряный рубль, привезенный поклонницей.

— Зачем мне? Это же тебе подарили...

— Возьми, говорю! Я так хочу...— Аркадий под-

нялся из-за стола и, подойдя к Демилле, засунул тому рубль в нагрудный карман пиджака.— Тсс... Так надо...

Демилле пожал плечами и удалился.

Оставшись один, Аркадий растопил самовар на балконе, надеясь крепким чаем унять тяжкое похмелье. Пламя вырвалось из трубы, самовар ожил, запыхтел... Аркадий бродил по комнате, тупо повторяя: «Надо что-то делать, надо что-то делать...». Такого отчаяния он не испытывал никогда. Взгляд его упал на ксерокопию парижской публикации, и мгновенно злоба переполнила его душу, он схватил несчастные листки и, свернув их в трубку, сунул в самоварную трубу. Язык пламени хищно взметнулся оттуда, будто требуя новой пищи. «Рукописи горят»,— пробормотал Аркадий и, уже не раздумывая, скомкал и сунул в самовар полосу многотиражки, затем афишу, затем машинописные листки... «Горят рукописи, горят!» —в исступлении повторял он в то время как самовар зловеще гудел, наливаясь жаром. Аркадий распушил общую тетрадку над бьющим из трубы пламенем, и она занялась, как порох. Он бросил горящую тетрадь на клумбу под балконом и поджег вторую...

Через пять минут все было кончено. Снизу поднимался дым от сгоревших рукописей, самовар клокотал. К несчастью, старуха-хозяйка ничего не заметила, ибо прилежно смотрела телевизор в дальней комнате.

Аркадий уселся на тахту, обвел мезонин взглядом. «Вот и все...» — успокоенно сказал он, и тут ему в голову пришла мысль о том, что он своими руками за пять минут уничтожил полжизни — именно ту половину, которая казалась ему исполненной смысла и значения. Нужно ли сохранять то, что осталось? Да и осталось ли оно? Аркадий усмехнулся недобро и вдруг понял, что разрушение надо довести до конца и что он это сделает. Он осмотрелся и наткнулся взглядом на люнет — высокое круглое окно, одна половина которого отворялась наружу в виде форточки. Аркадий сразу сообразил, что форточка может ему понадобиться. Он подтащил к стене под люнетом старый расшатанный стул и, взобравшись на него, вытянул из брюк ремень.

Мысль о том, что брюки могут сползти с его висящего тела (он так отрешенно и подумал о себе, будто

увидел со стороны), остановила его; он слез со стула и подпоясался подвернувшимся бумажным шпагатом, который завязал на животе бантиком. Снова вскарабкавшись на стул, он забросил пряжку ремня в открытую форточку люнета, а затем прикрыл ее, наглухо защемив ремень между рамами. Не останавливаясь ни на мгновение, он соорудил петлю. Она оказалась высоко, так что ему пришлось вытянуться на цыпочках, чтобы просунуть в нее голову. Ему удалось это не без труда, и он почувствовал радость — последнюю в этой жизни. Он сделал резкое движение пальцами разутых ног, будто хотел подпрыгнуть, и успел услышать, как стул с шумом повалился набок...

Хозяйка поднялась к нему через час, чтобы пригласить на программу «Время», но времени уже не существовало для Аркадия. Он висел на стене, как кукла на вытянувшемся ремне, почти касаясь ногами пола.

...Демилле вернулся в Комарово около десяти часов вечера. Уже в электричке, подъезжая к станции, вдруг почувствовал смутную тревогу. Вынул зачем-то серебряный рубль и вертел его вспотевшими пальцами. От платформы пошел быстрым шагом, а потом побежал — и бежал так, пока не увидел вдалеке у голубой дачи странное скопление народа и две машины — милицейскую и «скорую помощь».

Демилле остановился, глотнул воздух и пошел к даче медленно, уже уверенный в беде.

Группа людей — дачников и местных жителей — стояла в сторонке, наблюдая за тем, как лейтенант милиции что-то ищет на участке под балконом мезонина. Руки у лейтенанта были в саже, он наклонялся и подбирал с земли обожженные листы бумаги, рассматривал их, стряхивал пепел и прятал в папку. На балкон вышел старшина милиции с чемоданом, в котором Демилле узнал свой чемодан, громко спросил:

— Товарищ лейтенант, чемодан брать?

— Бери, бери...— ответил лейтенант.

Демилле с похолодевшим сердцем подошел к группе и прислушался.

— Говорят, стихи писал...

— А жег что?

— Ну, стихи и жег. Студент...

— Простите...— мертвыми губами произнес Демилле.— Что тут произошло?

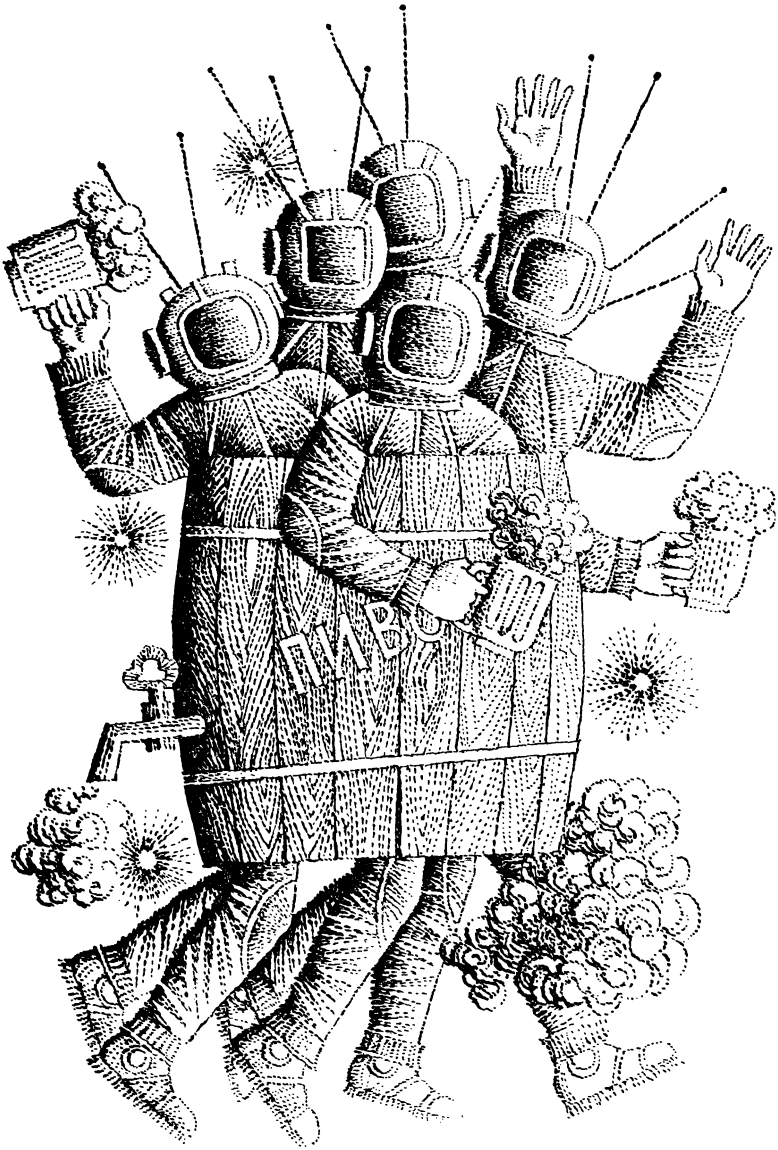
— Да повесился чудик один,— вздохнув, пояснил маленький мужичонка.

— Стихи до добра не доводят,— наставительно произнесла старуха интеллигентного вида.

На крыльцо дачи неловко выдвинулись изнутри два санитара с носилками, на которых лежало что-то длинное, накрытое белой простыней. Демилле сделал шаг назад, сердце вдруг бешено забилось — ему почудилось, что все слышат, как оно стучит,— он сделал второй шаг и, повернувшись наконец, пошел прочь, не оглядываясь. Так он дошел до ближайшего перекрестка, где свернул, и только тут, когда его никто уже не видел, побежал куда глаза глядят. Он бежал долго, не разбирая дороги, пока не упал в сырую траву, зарывшись в нее лицом.

ЧАСТЬ III

Крах



В некоторых семействах создаются положения, до того соответствующие предстоящим событиям,— что лучше не придумала бы самая богатая фантазия драматурга — старого времени, разумеется...

Л. С.

Глава 25.

КОНТАКТ

Подфартило тете Зое на старости лет, попала тетя Зоя в космос!

Случилось это, как мы помним, благодаря пиву. Кто же мог знать, что пиво, наряду с другими бесценными свойствами, обладает и всеми качествами горючего для ракетного двигателя? А вот оказалось, что обладает. Узнай этот факт наука раньше, освоение космического пространства наверняка бы упростилось, а главное, приобрело бы совершенно демократический характер. Этак каждый любитель пива, зарядившись дюжиной бутылок и составив их по многоступенчатой схеме, мог бы двинуть туда, где никакая жена, никакое начальство его не достанет!.. Хотя, скорее, раскрытие сего факта привело бы к тому, что пиво превратилось бы в продукт стратегический, и тут конец всем мечтаниям.

Однако я хотел только сказать, что пиво — это тот пробный камень, на котором всю свою жизнь испытывала духовные качества тетя Зоя, доливая продукт до черты, и ни разу не отступилась. Посему и была, вероятно, публично причислена к лику святых с последующим незамедлительным вознесением.

Перегрузки при взлете, да неожиданность, да испуг привели к тому, что она на какое-то время потеряла сознание и очнулась уже на орбите с апогеем в пятьсот километров, а перигеем — километров в двести семьдесят. Орбита, как мы видим, имела явственный эллиптический характер, но тете Зое это было как-то все равно. Гораздо большее впечатление на нее произвел беспорядок в кабине, то есть в ларьке, обнаруженный тотчас, как тетя Зоя пришла в чувство.

Все, что было незакрепленного внутри ларька, а именно: табурет, пивные кружки, тарелка для мелочи,

мелочь и сама тетя Зоя,— плавно и хаотично перемещалось в воздухе, а точнее, в пространстве, ибо воздухом там и не пахло. Тетя Зоя ухватилась за медный краник и подтянулась к нему, другою же рукой принялась поспешно вылавливать из объема медные и серебряные монетки, кружащиеся вокруг нее, точно рой пчел. Деньги были государственными, подотчетными, и именно об этом первым делом подумала тетя Зоя, ловя пятаки, гривенники и копеечные монеты и засовывая их в карман белого фартука. Они норовили вылететь и оттуда, так что тете Зое пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы справиться с этим роем денег. Пивные кружки, причудливо вращаясь, сталкивались друг с другом, отчего ларек был наполнен мелодичным стеклянным звоном.

Управившись с мелочью, тетя Зоя сняла фартук и завязала его узлом, чтобы деньги более не рассредоточивались. Для этого ей пришлось оторвать руку от краника и пуститься в свободное плавание, так что узел она завязала, находясь уже под потолком головою вниз, если считать низом пол пивного ларька. Тетя Зоя мягко оттолкнулась ногою от пластикового покрытия потолка и спикировала к спасительному кранику. На этот раз она ухватилась за ручку и неосторожно повернула ее. Из краника вдруг стала выдуваться круглая янтарно-желтая капля, которая на глазах набухала, превращаясь в зыбкий колеблющийся шар, будто надуваемый изнутри. Еще мгновение — и шар рассыпался на мелкие желтые шарики, разлетевшиеся по кабине, а из краника начала расти следующая капля.

Тетя Зоя в ужасе повернула рукоятку назад. Капля прекратила рост. «Это же пиво!» — изумленно подумала тетя Зоя, глядя на колыхавшуюся каплю. Подтянувшись к ней, тетя Зоя осторожно коснулась капли губами и втянула ее в себя, ощутив горечь. «Фу, гадость! Как его мужики пьют!» — скривившись, подумала она, но делать нечего, иного способа уничтожения пива не было. Тетя Зоя, поминутно сталкиваясь с пивными кружками, принялась охотиться за мелкими каплями. Она глотала их, как рыба приманку, а попутно училась управлять своим телом в невесомости, используя различного рода выступы, стойку, цилиндры баков, от которых она отталкивалась руками и ногами или же, наоборот, притягивалась к ним. Погоня за пивными каплями утомила тетю Зою. Справившись с последней,

она раскинула руки и некоторое время отдыхала, плавая между полом и потолком.

С непривычки пиво ударило в голову. Может быть, поэтому проблема летающих пивных кружек была решена с несвойственной тете Зое удалью: она их просто-напросто повыбрасывала в окошко, после чего окошко закрыла прозрачной плексигласовой шторкой. «Пускай вычитают из зарплаты»,— решила она. Двенадцать больших полулитровых кружек и четыре маленьких в четверть литра поплыли рядом с ларьком на фоне округлой Земли, блистая на солнце гранями, точно кристаллики льда. Тетя Зоя поневоле залюбовалась.

А любоваться было чем. Земля поворачивалась под нею в голубом ореоле, расписанная белыми размашистыми мазками циклонов, закрученными в немыслимые спирали. Заворачивался за край Земли синий океан, отражавший солнечный лик, на краю же происходили волшебные переливы всех цветов от голубого к розовому, багровому, черному, а чуть дальше уже горели злые и яркие звезды.

Тетя Зоя не узнавала Земли. Всю жизнь на ней прожила, а сверху не признала. Земля была непонятна. Во-первых, тетю Зою чрезвычайно удивило отсутствие границ. Она привыкла, просматривая программу «Время», видеть всегда за спиною диктора очертания государств и многие из них помнила. Она легко бы могла по контуру отличить Японию от Канады. Соединенные Штаты всегда были нарезаны аккуратными кусочками, как огороды в коллективном садоводстве, где тетя Зоя лет уже двадцать имела участок и летнюю времянку. Очертания своей страны были ей знакомы более всего, хотя и не вызывали четких ассоциаций — уж больно сложна конфигурация! — однако в них тетя Зоя неизменно находила какую-то особую основательность и красоту. Эти-то родные очертания она бессознательно и ожидала увидеть, взглянувши за стекло пивного ларька на Землю, но, к удивлению и огорчению, не увидела. Она узнала только Крым и Черное море, благодаря их особой форме. Относительно других мест оставалось только гадать: что это? чье это? наше или басурманское?

С непреложной очевидностью вдруг обнаружилось, что Земля — общая, а может быть, и ничья, что все эти желтые пустыни, зеленые леса, синие воды и снеговые шапки гор существуют сами по себе, принадлежа только

себе, и не имеют к человеку ни малейшего касательства, тем более, что с такой высоты человека не было видно, да и следы его деятельности проступали на Земле лишь местами. Это было второе открытие, удивившее тетю Зою.

Конечно, она не поднялась до философских обобщений — образование не позволило, да и не до того ей было сейчас — однако чувство, испытанное ею на орбите, похоже было на растерянность. Земля, всегда ранее представлявшаяся плоской и разделенной на принадлежащие кому-то участки — будь то огороды садоводства или же целые государства,— на деле оказалась нераздельной, а все межи, ограды, частоколы, границы, возведенные между собственниками, сверху были попросту незаметны, их не существовало. Низменности плавно переходили в возвышенности, реки втекали в моря, леса обрамляли степи. Линии и границы были чисто естественного происхождения, другие были бы просто абсурдны, и тетя Зоя, глядя на красоту развернувшейся перед нею планеты, впервые ощутила, что видимая ею картина и есть картина истинная, а раскрашенные в разные цвета плоские фигурки неправильной формы, которые она привыкла считать государствами, не имеют к планете ни малейшего отношения.

Тетя Зоя почувствовала прилив нежности к этому гигантскому теплому живому шару, населенному миллиардами жизней и вместившему в себя миллиарды смертей. Она знала, что там, на покинутой ею планете, нет у нее ни единого родного человека, только могилка мужа и сына на Смоленском кладбище; все желания тети Зои сосредоточивались на мысли, чтобы соседи и собес выполнили ее последнюю волю и похоронили там же, других желаний у нее в жизни не осталось. Сама жизнь, пахнувшая пивом, казалось, протекла в одночасье однообразной струйкой, наполняющей кружку,— и все же сейчас, паря над Землею, тетя Зоя испытывала благодарность и отчасти восторг.

Она ни секунды не сомневалась, что вернется обратно, лишь только выполнит программу, ибо все космические полеты проходят по программе, это она прекрасно знала. Собственное же неведение относительно программы объяснила себе кратко: «Значит, так надо».

Тетя Зоя не исключала возможности, что программу ей сообщат дополнительно каким-нибудь хитрым способом, а пока она принялась обживаться, насколько это

было в ее силах, то есть подконопатила с помощью старых халатов щели в пивном ларьке, чтобы не слишком задувало космическим холодом; подлезла она и под баки и кое-как залатала прорванные днища, пользуясь пластиковой обшивкой, отодранной от стенки, огарком свечи и лоскутами тех же халатов. Питаться тетя Зоя порешила пивом — более нечем, справедливо рассудив, что одной большой капли размером с кулак ей на сутки хватит. Много ли нужно святой? Ну, а многочисленные мелкие неудобства вроде невесомости, низкой температуры и отсутствия атмосферы тетю Зою не очень пугали. «Блокаду пережили, и это переживем!» — решила она.

Несколько суток она провела в кропотливом труде, прерываемом наблюдениями за Землей и околоземным пространством, в котором обнаружила уже довольно много летающих предметов, кроме пивных кружек: шарообразных, цилиндрических, сложной формы — с металлическими штырями, плоскими сетками, наподобие крыльев, круглыми иллюминаторами. То были спутники Земли и орбитальные станции, сверкавшие на солнце, как елочные игрушки. Благодаря им наша планета выглядела принаряженной, в серьгах и кулонах, вполне благодушной и мирной. По временам, правда, замечала тетя Зоя на Земле какие-то вспышки, но и они выглядели безобидно и даже красиво.

Примерно через неделю метрах в трехстах от себя тетя Зоя заметила слабое свечение. Оно не меняло положения относительно ларька, следовательно, обращалось вокруг Земли с тою же скоростью и по той же траектории, что тетин Зоин корабль. Свечение постепенно усиливалось и уже через сутки стало обретать форму огромной чечевицы с размытыми краями. Еще через сутки края стали четкими, будто чечевицу сфокусировали в подзорной трубе, и перед тетей Зоей предстал неизвестный космический корабль синевато-стального цвета, абсолютно гладкий, не имеющий ни выступов, ни иллюминаторов и похожий на обкатанный морем голыш правильной формы с размерами в поперечнике не менее ста метров. Пока этот корабль концентрировался неподалеку от ларька, тетя Зоя опасливо на него поглядывала и даже пару раз осеняла себя крестом на всякий случай.

Наконец, в гладком боку корабля образовалась круглая дыра, будто его проткнули иглой, и из дыры выплыл наружу какой-то мелкий предмет, который

сразу взял курс к ларьку. Не прошло и нескольких секунд, как тетя Зоя узнала в нем космонавта в скафандре — с двумя руками, двумя ногами и головою, скрытой под прозрачным колпаком. Довольно скоро она разглядела и его лицо — довольно странное, неземное. Оно было зеленого цвета и без носа, а глаза желтые. «Как у Тишки»,— вспомнила тетя Зоя своего кота, поневоле испытывая к незнакомцу теплые чувства. А он подлетел к ларьку и постучал в окошко.

— Хау ду ю ду? — донесся снаружи его усиленный радиорупором голос.

— Пива нет! Пива нет! — крикнула тетя Зоя, приблизив лицо к окошку, на что незнакомец кивнул и сказал уже по-русски:

— Рад вас приветствовать. Вы меня не допустите внутрь?

— Посторонним не положено...— проворчала тетя Зоя, но тем не менее распахнула дверь и впустила гостя в ларек.

Космический незнакомец влетел внутрь, как скворец в скворечник, и уцепился щупальцами за фонтанчик для мойки кружек. Оказался он небольшого роста, с десятилетнего ребенка.

— Значит, вы из России? — спросил он.

— Из Ленинграда,— охотно подтвердила тетя Зоя, с жалостью разглядывая неказистое существо.

— Странный у вас корабль...— заметил пришелец.

— Чего ж странного? — слегка обиделась тетя Зоя.— Таких ларьков у нас почитай на каждом углу. Сами-то вы откуда?

— Созвездие Лебедь,— коротко ответил пришелец.

— А по-нашему откуда знаете?

— Обучились,— пришелец изобразил на лице нечто, похожее на улыбку.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что экспедиция из звездной системы Лебедя была направлена для контроля за этой частью Вселенной, после того как разведка донесла, что на планете Земля обострилась конфликтная ситуация.

— Конфронтация у вас,— объяснил пришелец.

— Чего? — не поняла тетя Зоя.

— Противостояние систем, угроза ядерного конфликта...

— Что есть — то есть,— согласилась тетя Зоя.

— Вот мы и прилетели,— развел он щупальцами.

— Это все американцы,— начала объяснять тетя Зоя.— И чего им неймется! Все стращают и стращают...

— Американцы говорят по-иному,— заметил он.

— А вы их слушайте больше. Они наговорят!

— Мы должны слушать всех,— сказал он мягко.

— Так вы вроде как помочь нам приехали? — спросила тетя Зоя.

Пришелец вздохнул, посмотрел куда-то вверх с тоскою.

— Они там думают, что мы боги! Прилетели бы и посмотрели сами, прежде чем командовать. Они думают — здесь дикари живут! — все более и более распаляясь, продолжал он.— А у этих дикарей на каждый нос по пятнадцать тонн тротила. Что мы можем сделать? Это раньше наши спускались, совершали пару чудес, которые потом помнили две тысячи лет... Нынче эти номера не проходят.

— Но что-то ведь делать надо...— вставила тетя Зоя.

— Раньше надо было думать! — окрысился пришелец.

— Чего орешь? Я, что ли, виновата? Ты с тех спроси, кто главный,— сказала тетя Зоя.

— Да они у вас тут меняются чуть не каждый день,— отвечал он.— То ли дело у нас. Как зарядит на тысячу лет. Мы, понимаете ли, бессмертны...

— Ох, бедные...— вздохнула тетя Зоя.

— Почему? — удивился он.

— Так ведь сколько мучаться!

— Ну...— неопределенно протянул пришелец.— У нас ритм иной, понимаете? А тут не успеешь оглянуться — в Штатах новый президент. И каждый со своим гонором. Вот опять осенью начнут избирать. Как пить дать, будет Рейган. Следовательно, мы опять на боевом дежурстве. А прибавьте бойкот Олимпиады, «Солидарность», Ближний Восток... Хлопотная планета, вы уж извините... А случись что — отвечать нам,— вздохнул пришелец.

— Перед кем? — удивилась тетя Зоя.

— Перед Верховным... Ну, вы его называете Богом. Не совсем правильно. Никакой он не Бог. Бога нет.

— Это еще бабка надвое сказала,— поджала губы тетя Зоя.

— Я вам точно говорю.

— У нас свобода вероисповедания,— стояла на своем она.

— Питаетесь вы чем? — переменил он тему.

Тетя Зоя молча повернула рукоятку краника и извлекла на свет божий увесистую каплю пива. Незнакомец удивленно склонил голову набок.

— Это что?

— Пиво.

— Любопытно. Можно попробовать?

— Мне не жалко.

Пришелец достал откуда-то мягкий пакет из блестящего материала и накинул его на каплю. После чего, откланявшись, поспешил с пакетом к себе на корабль. Через некоторое время из корабля вынырнули уже две фигурки. Они быстро направились к ларьку, волоча с собою нечто вроде туго набитого рюкзака.

В рюкзаке оказались различные космические съестные припасы в тюбиках и банках. Пришельцы приволокли их в обмен на пиво, которое, видать, им очень понравилось, так что они решили вступить с тетей Зоей в переговоры. Тетя Зоя выслушала их, перебрала консервы, попробовала на язык содержимое одного тюбика...

— Много не дам,— сказала она.— Это у меня горючее.

Пришельцы дружно изумились смекалке землян, додумавшихся наконец до одинакового горючего для ракеты и космонавта, но все же стояли на своем: десять капель пива. Тетя Зоя доторговалась до семи, предупредив, что иначе у нее не останется на мягкую посадку. При этом она стучала согнутым пальцем по стеклянной трубке измерителя уровня в баках и приговаривала:

— Сами посмотрите! Пятьдесят литров. Это же курам на смех!

Пришельцы удалились, предварительно упрятав капли в герметичный мешок. Тетя Зоя крикнула вслед:

— На Земле этого пива навалом! Вы бы туда слетали!

И, как видно, подала неплохую идею. Во всяком случае, через некоторое время корабль пришельцев стал терять очертания, истаивать на глазах, превратился в сгусток света, метнулся в сторону, как солнечный зайчик, и пропал из вида.

— Слава Богу...— вздохнула тетя Зоя.

Однако на следующий день корабль был тут как тут,

поутру уже сгущался, а к полудню принял прежние четкие формы. Никто из него не выходил, только время от времени то там, то здесь на боку появлялись круглые отверстия, из которых в пространство стремительно вылетала какая-то блестящая пыльца, после чего отверстие закрывалось. Пыльца постепенно рассеивалась вокруг корабля, некоторые частички стали приближаться к ларьку, увеличиваясь в размерах, пока тетя Зоя не обнаружила, что это — металлические банки. Одна из них стукнулась о ларек, тетя Зоя ловко ее поймала и принялась исследовать. Банка была продолговатая, вроде как из-под растворимого кофе, но чуть короче. В верхней крышке имелось правильное треугольное отверстие с округлыми углами. В банке ничего не было, но она пахла знакомым запахом пива. Надпись на банке тетя Зоя прочитать не смогла: написано было не по-нашему.

Вскоре среди роя блестящих предметов, выбрасываемых с корабля гостей, стали попадаться и бутылки. Одну из них, проплывшую мимо ларька на некотором удалении, тетя Зоя без труда опознала по этикетке. Это была пустая бутылка «Мартовского».

— Гудят...— понимающе покачала головой тетя Зоя.

Пришельцы истребляли полученный на Земле запас пива в течение недели, а потом, не без труда превратившись в сгусток света, снова куда-то улетели. На этот раз их не было долго. Тетя Зоя стала снова привыкать к одиночеству, как вдруг корабль сгустился опять. На этот раз он был какого-то бурого цвета, а из отверстий вылетали в космос бутылки виски, «Столичной» и коньяка. Тетя Зоя с горечью поняла: пришельцы спиваются.

Корабль подрагивал, однажды перевернулся, как поплавок, да так и остался. Космос вокруг него пропах спиртным. Наконец, бутылки перестали исторгаться изнутри, корабль затих, но через несколько часов люки вновь открылись, и все пришельцы в количестве десяти особей ринулись к ларьку тети Зои.

— Опохмеляться бегут,— безошибочно определила она.

И действительно, пришельцы с пятнистыми, зеленовато-багровыми лицами выстроились в очередь, слезно прося пива. Как объяснил давний знакомец, без этого им было никак не обратиться в лучистую энергию, чтобы передвигаться в пространстве.

Тетя Зоя сжалилась, отцедила им по капле, но взамен потребовала Атлас Земли, который и был незамедлительно доставлен к ней с корабля. Пришельцы после пива повеселели, роились вокруг ларька, точно алкаши на Петроградской. Потом кто-то предложил добавить. Они помчались к кораблю, мигом превратились в прозрачное облако и смылись с быстротою света.

— Планету пропили, теперь и космос пропьют,— строго сказала тетя Зоя, открывая Атлас.

Теперь у нее появилось занятие — давать названия рекам, пустыням, горам и морям, над которыми она пролетала, то есть как бы приводить свое хозяйство — а тетя Зоя уже бессознательно считала земной шар своим хозяйством — в порядок, чтобы ни одна речушка, ни одно озерцо, ни одна горная гряда не остались без имени, неучтенными.

Сильно мешали циклоны, скрывавшие иной раз по пол-Европы; приходилось терпеливо ждать, когда рассеются, перейдут на другое место, но тетя Зоя не спешила. Она поняла, что это и есть ее программа — осмотреть Землю и отождествить с нею Атлас — вроде как навести ревизию на предмет выявления недостачи.

Пришельцы между тем вели себя все более и более разнузданно. Надо сказать, что они, как и пьяницы Петроградской, тетю Зою уважали и ни разу не посягнули на ее авторитет. В остальном же вели себя не лучше земных алкоголиков. Старый знакомец, первым вступивший в контакт и испробовавший пива, стал делать в ларьке заначки спиртного — то маленькую припрячет, то бутылку пива. Напрасно тетя Зоя выговаривала ему: когда бывал трезвый, мрачно соглашался, что алкоголизм губителен для Вселенной, пьяному же космос был по колено.

В пространстве между кораблем и ларьком трудно было пролететь теперь, не натолкнувшись на пустую бутылку или банку из-под пива.

Тетя Зоя безуспешно пыталась обратить внимание гостей на горячие точки планеты и напомнить об их миссии; пришельцы, болтаясь в невесомости у ларька, лишь рассказывали друг другу политические анекдоты, почерпнутые на Земле вместе с запасами спиртного, одним словом, деградировали.

По Северному полушарию прокатывалось зеленою волною лето, в Южном шла зима, а лебедяне исправно гоняли на своем корабле за водкой, чачей, аракой, сакэ,

самогоном, спиртом-ректификатом... Кажется, они задались целью перепробовать все возможные напитки, пока, наконец, не случилось непоправимое.

На яблочный Спас пришельцы приурочили празднование какой-то своей даты, связанной с историей лебедянской космонавтики. Знакомец тети Зои объяснил, что когда-то давно в этот день удалось впервые перевести массу в лучистую энергию и обратно. «Между прочим, это произошло на Земле»,— сказал лебедянин, как всегда, покачиваясь в невесомости с похмелья.

...Проснувшись, тетя Зоя увидела страшную картину. Вокруг корабля в окружении синих прозрачных капель плавали безжизненные тела лебедянских космонавтов. Сначала тете Зое показалось, что они пьяны и спят, но вот один из них проплыл совсем рядом с ларьком, и тетя Зоя увидела его синее мертвое лицо с распахнутыми желтыми глазами... Вся экспедиция бессмертных лебедян была мертва. Синяя капля разбилась о стекло пивного ларька; и в нос тете Зое ударил резкий запах денатурата. «Господи Иисусе...» — прошептала она, глядя на безжизненные тела в скафандрах, напоминавшие мертвых мух. Мысль о том, что Земля осталась без защиты, лицом к лицу со своими грозными проблемами, еще больше опечалила тетю Зою. «И то сказать, какие из них защитники? С водкой совладать не смогли...» — рассуждала она, а потухший корабль, потерявший управление, кувыркался сам по себе в трехстах метрах от нее.

Впрочем, через некоторое время и корабль, и космонавты стали таять, точно крупинки сахара в воде. На этот раз они не превращались в свет, а просто исчезали, обращались в ничто, навеки оставляя тетю Зою и Землю нашу в одиночестве перед своими бедами.

Глава 26.

СЕМЕЙСТВО НЕСТЕРОВЫХ

Историю человеческую можно представить себе поразному. В учебниках мы находим имена государей и полководцев, мыслителей и бунтовщиков, столбики памятных дат; мы видим на картах, как дышат на протяжении веков границы государств — то одно, то другое расползается вдруг вширь, как масляное пятно на воде,

потом дробится либо же скукоживается до размеров фасоли, а то и вовсе исчезает с лица Земли.

Но смотрел ли кто и когда на историю как на движение и переплетение родов и фамилий, причем не только царственных или геральдических, прослеживающих свою генеалогию на десятки колен, но и простых, холопских, не помнящих своего родства?

Движение родовых кланов от поколения к поколению, их переплетение вследствие брачных союзов можно сравнить с потоком, низвергающимся с огромной горы времени, от Адама и Евы, дробящимся на струйки и ручейки, которые сливаются, распадаются, набирают силу и чахнут, производя на своем пути разрушительную и созидательную работу истории. Стоит лишь перевернуть вниз головою безмятежное генеалогическое древо человечества, чтобы получить эту лавину огромной энергии, которая либо сольется у подножия горы в величавую реку, объединяющую все расы и народы, либо же распылится в мириады брызг, враждующих друг с другом и бессильных в злобе из-за собственной малости.

Один такой ручеек, вернее, малую его часть, называемую фамилией Демилле, мы уже исследовали в свое время. Перепрыгнувший с французского склона горы на русский через низкий водораздел, образовавшийся после того, как царь Петр «прорубил окно в Европу», наш ручеек не затерялся, не провалился в расщелину, а продолжал свой скромный путь, пополняемый русскими ручейками, сохранив, как мы видели, французское наименование. Различные препятствия, ложбинки, уклоны, камни, кустарники, обусловленные историческим ландшафтом, по которому он протекал, преодолевались не без потерь и ветвлений вплоть до середины нашего века, когда ручеек раздробился на три части по числу детей Виктора Евгеньевича Демилле.

Нас интересует сейчас тот узел, помеченный 1967 годом, когда род Демилле пересекся с родом Нестеровых.

Подобные пересечения, как мы знаем из истории, приводили к международным союзам или, наоборот, войнам, когда происходили на уровне царствующих фамилий. Но в нашем случае никаких исторических катаклизмов не произошло, исключая перелет кооперативного дома из одной части города в другую.

По отцу Ирина принадлежала к потомственному крестьянскому роду, который лишь три поколения назад

выбился из крепостной зависимости. Жили Нестеровы в Ярославской губернии, в небольшой деревеньке Ковшово, и судьбы всех предков Ирины различались большим или меньшим количеством неурожаев, выпавших на их долю, да числом ртов в семье, пока, наконец, первый из Нестеровых — Михаил Лукич — не шагнул в город в тридцатом году, в возрасте шестнадцати лет, где поступил на завод, а потом, окончив фабзавуч,— на рабфак кораблестроительного института.

Здесь он встретился с будущей своей женой — Серафимой Яковлевной Кожеватовой, а тогда еще просто Симой, которая тоже была горожанкой в первом поколении, но вышла, в отличие от Михаила, из южных крестьян России, с Дона, из казаков да еще с примесью цыганской крови — крепких, статных, работящих и удалых. Этой статью и удалью Сима смутила сердце Михаила Лукича. Сам он был крепок, коренаст, с круглой белобрысой головой и небесной сини глазами; некоторая неуклюжесть и медлительность происходили более от застенчивости перед городскими, работал же споро, основательно. Сима была выше его на полголовы — стройная, широкоплечая, чернобровая, с прямым, прожигающим насквозь взглядом карих глаз, с толстой, в руку, черной косой. За словом в карман не лезла.

Сима была на три года младше Михаила и точь-в-точь ровесницей Советской власти: родилась она 25 октября 1917 года; однако на рабфаке они оказались вместе, поскольку Михаил пришел из деревни с шестью классами и наверстывал упущенное в фабзавуче.

Это поколение ровесников Октября, вырванное из далеких и глухих мест России ветром революции, очень скоро почувствовало себя хозяевами жизни. Оно лишено было истории, лишено было возможности сравнивать свою жизнь с чем-либо. Прошлого не существовало, поскольку оно было раз и навсегда отвергнуто как неудавшееся, теперь только от них зависело, какова будет новая жизнь. Их детство прошло под гром раскулачивания и коллективизации, юность же начиналась победными фанфарами первых пятилеток, стахановским движением, перелетами Чкалова и Марины Расковой, папанинцами, «Челюскиным»... Блестящая эпоха выпала им на долю, и они не наблюдали ее со стороны, а создавали своими руками.

Шагай вперед, комсомольское племя!
Шути и пой, чтоб улыбки цвели!
Мы покоряем пространство и время,
Мы — молодые хозяева Земли!

Так пели они и действительно шутили и покоряли пространство. С покорением времени, как выяснилось через несколько десятилетий, оказалось не столь просто.

Сима, кроме учебы на рабфаке, работала машинисткой на полставки и занималась парашютным спортом. Два раза в неделю, нацепив на спину ранец с парашютом, она взлетала в небо на «утенке», как называли самолет У-2, и бесстрашно выбрасывалась в пустоту. Миша Нестеров, которому учеба давалась туго, стал председателем студсовета и на заседаниях парткома института допекал ректора хозяйственными вопросами общежития. В партию Сима и Михаил вступили одновременно, в 1938 году.

Они поженились в мае тридцать девятого, в те дни, когда газеты печатали фотографии Молотова и Риббентропа, приехавшего подписывать пакт о ненападении. На скромной «комсомольской» свадьбе радовались: «Войны не будет!» — впрочем, оптимизм этого поколения вообще не поддается измерению.

На следующую осень у молодых, только что окончивших институт и направленных на Балтийский завод, родилась дочь Лиля, старшая сестра Ирины, а еще через несколько месяцев началась война.

Они недаром пели в той же песне: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». Они пошли воевать, ни секунды не сомневаясь в том, что победят. И они победили! Минуты сомнений и неуверенности в исходе войны случались у более старших по возрасту, у них — никогда. Михаила взяли в морскую авиацию, в технический состав, воевал он в одном из соединений Балтийского флота, готовил машины к боевым вылетам, залечивал им раны. Сима записалась добровольцем в женский батальон МПВО, ее зенитное орудие стояло на Марсовом поле. За маленькой Лилей присматривала старшая сестра Симы, перед самой войной приехавшая из Ростова да так и не успевшая уехать из Ленинграда домой.

Блокаду пережили, как и все пережившие блокаду,— неизвестно как, чудом, усилием духа и отчасти молодой уверенностью, что смерть — это для кого-то другого, не для них. Михаилу удавалось время от вре-

мени передавать семье свой офицерский паек. Весной, после страшной зимы сорок первого — сорок второго годов, разбили огород рядом со своею зениткой. Сима выставляла на солнышко коляску с Лилей — тоненькой и бледной, как свеча, до двух лет не научившейся ходить — и рылась в огороде, подоткнув зеленый подол форменной юбки. Была она младшим лейтенантом войск ПВО.

За сбитый самолет Сима получила орден Красной Звезды, а после прорыва блокады — еще и Отечественной войны, не считая медалей, так что к концу войны превзошла мужа по количеству наград, хотя в звании отстала на одну звездочку. Михаил Лукич встретил мирное время инженер-капитаном да так и остался в кадрах — крестьянская его душа быстро прикипала к какому-то одному делу и не любила перемен.

Сима в этом смысле была полною противоположностью Михаилу. Ее темперамент требовал нового — и не просто перемены мест, а захватывающих дух целей, порою казавшихся фантастическими. Так, Сима решила стать академиком; с этой целью уже в первый послевоенный год, будучи на сносях, поступила в аспирантуру того же кораблестроительного института (фронтовикам были льготы), осенью родила Ирину и пристроила обеих девочек с сестрою, которая так в Ростов и не уехала (не к кому оказалось ехать — всю ее семью выжгло войной). Тогда же Михаил Лукич получил хорошую квартиру на Петроградской; быт устраивался, Сима работала как одержимая, вгрызаясь в науку, получая полставки в лаборатории и успевая прирабатывать машинописью. Одно время взяли даже домработницу — это было принято, а к общепринятым вещам Серафима Яковлевна относилась с почтением. В доме последовательно появились холодильник, телевизор с линзой, стиральная машина. Но домработница вскоре ушла: соперничать с Симой никто не мог, все равно получалось, что она делала по хозяйству больше, чем домработница, а старшая сестра Лида вовсе оказалась не у дел.

Характерно, что Серафима свою девичью фамилию на мужнину не поменяла — еще тогда, до войны, имела насчет себя самостоятельные планы, среди которых один из главных был — зарабатывать не меньше мужа. Забегая вперед, скажу, что это ей вполне удавалось, даже с превышением. Двинул же Симу в академики один

разговор, случившийся еще в блокаду, вернее даже, одно слово, брошенное сестрой. По соседству с ними жил одинокий старик — собственно, он казался им стариком, было ему не больше шестидесяти. В суровые декабрьские дни сорок первого года он слег от болезни и голода. Лида бегала ему помогать, брала для него по карточке хлеб, однажды вернулась потрясенная. «Ты знаешь, кто Эрнест Теодорович? Сима!» — «Ну, кто?» — «Академик!» — чуть ли не обмирая, произнесла сестра; для нее академик был где-то рядом с господом богом, если не выше. «Подумаешь, академик! Я, может, тоже академиком буду!» — без всякого почтения, наобум ответила Сима. «Ты?! Господь с тобою! Шо ты буровишь, Симка!» — «А вот и буду!» — уже набычившись, твердо произнесла Серафима. С тех пор до конца войны жила с этой мыслью, повторяла вслух и сама уверилась, что будет. Это было вполне в ее характере — обронить слово, не подумав, а потом из упрямства держаться за него до последнего.

Академик умер в марте, Лида с Симой его похоронили. Перед смертью отдал им свою библиотеку. Так в семье Нестеровых впервые появились книги — да не просто книги, а ценные, старые, в золоченых переплетах. Впрочем, Сима к книгам почтения тоже не испытывала, не раз потом говорила, особенно когда к книгам потянулись дочери, что пора «выкинуть эту макулатуру к чертовой матери», пока однажды не пересмотрела свои взгляды. К ним в гости зашел профессор с кафедры, где Сима устроилась, защитив кандидатскую, и был поражен количеством и качеством книг. На следующий день в доме появились застекленные шкафы с замочками, книги стали выдаваться дочерям по одной, со строгим наказом не испачкать и не повредить... правда, и это продлилось недолго, ибо следовать какому-либо принципу Серафима Яковлевна не умела, ей это было неинтересно. Добившись какой-то цели, она тут же о ней забывала и перекидывалась на другую.

С Лилей и Ириной произошло то, что обычно происходило с детьми интеллигентов в первом поколении, вернее, полуинтеллигентов, получивших лишь образование, но не сумевших (не только по своей вине) овладеть культурой. В детстве Лилю и Ирину пичкали фортепьяно и иностранными языками, билетами на культурные мероприятия (сами родители по занятости не ходили, посылали сестру Лиду), выбирались также и подобаю-

щие знакомства. В доме на Петроградской, где жили Нестеровы, и в школе, где учились девочки, было достаточно много детей из семей потомственных интеллигентов — литераторов, врачей, ученых. Весьма скоро Лиля и Ирина обзавелись подружками и стали бывать в иных квартирах и иных семьях. Более всего поражал там стиль жизни — негромкий, предупредительный и деликатный. Лиля и Ирина с удивлением обнаружили, что, оказывается, взрослые могут быть вежливы с детьми — ужасно подумать! — они могут их уважать. Это было неслыханно!

У Нестеровых все строилось на крике — кто кого перекричит. Отец, правда, в этом не участвовал, чаще отмалчивался, но иногда прорывало и его, причем выражения были не самые подходящие для ушей девочек. Нет, не мат, упаси боже, но и не совсем литературно. Перекрикивала же всех обычно Серафима Яковлевна. По мере того, как она продвигалась в академики, то есть защитила кандидатскую диссертацию по стальным конструкциям, получила должность доцента на кафедре, стала работать над докторской — упорства ей было не занимать! — Серафима Яковлевна приобретала все более властности, непримиримости и категоричности. Только те ценности, которые признавала она, были ценностями истинными. Беда была в том, что собственных критериев она при этом не имела, а подбирала либо расхожие мнения, либо суждения признаваемых ею за авторитеты людей (как в том случае с книгами), либо же на худой конец почерпнутые из газет установки.

Серафима Яковлевна скоро увлеклась новой идеей. Вернее, идея-то была старая — стать академиком, но путь открылся новый. Тогда она работала в одном НИИ в должности начальника отдела. Материалы по докторской копились в кожаной папке, но требовали осмысления и научной концепции. Талант же Серафимы Яковлевны был сугубо практическим. Она, как никто в институте, умела решать организационные вопросы на уровне министерства и даже Госплана. «Выбивание» новых ставок, добыча оборудования и фондов, открытие новых разработок, увеличение финансов на капремонт — это была ее стихия, здесь Серафима Яковлевна Кожеватова чувствовала себя в своей тарелке. Директор института был за ней как за каменной стеной. Ей первой пришло в голову организовать филиал института, то есть добиться разрешения, получить необходимые средства,

заказать проект, утвердить смету... Открывалось огромное поле деятельности! Серафима Яковлевна не скрывала, что собирается возглавить филиал, а при случае и отделиться от головного института. Имея свой институт и ученое звание доктора технических наук, можно было шагнуть и в академики. Все, кто знал Серафиму, не сомневались в реальности этого проекта.

Для разгона Серафима Яковлевна построила дачу. Дочерям была дана длительная передышка. О них забыли. Теперь в голове и на устах матери был фундамент, бетон, кровля, перекрытия, шифер, олифа, цемент. Михаил Лукич сумел получить участок в строящемся дачном кооперативе, и вот, буквально из ничего за два лета там были построены дача, летняя кухня и баня. Здесь Серафима Яковлевна овладевала строительной премудростью, заводила связи с нужными людьми, не забывая тем временем «пробивать» в Москве разрешение на открытие филиала.

Когда получила разрешение, посмотрели на смету и проект штатного расписания — ахнули! Филиал в три раза превосходил головной институт по штатам; его здание, судя по проекту, могло вместить в себя чуть ли не десяток головных, то есть по площадям у Серафимы имелся громадный резерв, который намекал каждому понимающему человеку на дальнейшее расширение.

Директор института слег с предынфарктным состоянием, дабы хоть как-то сохранить достоинство, сделав вид, что все происходит помимо него. Через неделю строительная площадка под новое здание была огорожена забором, еще через два дня там уже торчал кран. Вскоре на стройплощадку, наряду с кирпичами и перекрытиями, стали завозить приборы и оборудование для нового института. Чего тут только не было! Станки для механической мастерской, микроскопы, в том числе один электронный, вольтметры и динамометры, селектор, лазерные установки и даже один электрокардиограф, выписанный Серафимой Яковлевной под горячую руку, по ошибке. В самом деле, зачем институту, занимающемуся сварными конструкциями, электрокардиограф? Однако Серафима ошибок своих никогда не признавала, не признала и тут: наоборот, измыслила какую-то тему, связанную с инженерной психологией, и определила кардиограф туда.

Серафима сама испробовала все строительные специальности: укладывала кирпич, штукатурку, красила,

клеила... «И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник!» — однажды иронически процитировала Лиля, когда мать явилась домой вся в мелких крапинках белил. Серафима Яковлевна обиделась. Другая была бы польщена, улыбнулась, но... Серафима стихов Пушкина не знала, да и с юмором у нее обстояло неважно.

Впрочем, юмор был, но совсем другого рода.

Однажды Ирина приехала на дачу после очередного экзамена на аттестат зрелости и застала там следующую сцену. В просторной летней кухне за столом сидели Серафима Яковлевна в синем олимпийском костюме с надписью «СССР» на спине и незнакомый человек, лицом важный, но почему-то в одних белых трусах и в соломенной шляпе. Они играли в подкидного «на раздевание». Серафима Яковлевна непрерывно выигрывала — в карты ей везло феноменально! — и мужчина вынужден был раздеться почти донага. Его безукоризненный костюм и галстук, сорочка, майка уже висели на стуле, дело было за шляпой, надетой специально для увеличения шансов, и за трусами. Серафима хохотала до колик, мужчина тоже смеялся, но несколько нервно. Он в два счета проиграл шляпу, бросил ее на стул и снова принялся сдавать. Огромная фигура Серафимы, обтянутая шерстяным трикотажем, колыхалась от хохота. И эту игру мужчина проиграл без отбоя, оставшись с полной колодой в руках. «Уговор дороже денег, Сергей Панкратович! Скидывайте трусики!» — плача от смеха, проговорила Серафима, в то время как проигравший судорожно вцепился в резинку трусов, будто опасаясь, что их сейчас сдернут. «Мама!» — взмолилась Ирина. «Замолкни! — величественно оборвала ее мать и, перестав смеяться, махнула рукой.— Ладно. Прощаю... Так что, Сергей Панкратович, будем модернизировать проект или как?»

Сергей Панкратович оказался директором проектного института, разрабатывающего проект филиала. Теперь Серафима Яковлевна требовала модернизации проекта, то есть надстройки еще двух этажей, что было сопряжено с трудностями. Разбитый подкидным в пух и прах, директор, одеваясь, дал согласие на модернизацию. Потом, после бани и обильного ужина, выпив с Серафимой Яковлевной и Михаилом Лукичом водки, окончательно размякший директор пел «Чорнии брови, карии очи...».

Как раз в то лето Ирина задумала совершить первый

серьезный самостоятельный поступок. Она решила стать летчицей. Мать велела ей подавать в кораблестроительный, позвонила ректору и сочла свою миссию законченной. Ирина же тем временем обивала пороги училища ГВФ, летного факультета, но без всякой надежды. «Идите в стюардессы!» — вот и весь разговор. Ирине сама мысль о работе стюардессой была оскорбительна.

В результате она пропустила время и вообще никуда не подала. Разразился очередной скандал. Надо было коротать год, и Серафима Яковлевна пристроила Ирину в проектный институт, к Сергею Панкратовичу, чертежницей. Незадолго до того в этот институт по распределению пришел молодой специалист Евгений Демилле.

Впрочем, в то время между Ириной и ее будущим мужем возникло лишь поверхностное знакомство: слишком юна была девушка; Евгению она показалась совсем ребенком, соответственно и он для нее был слишком взрослый и недоступен. Вокруг имени Демилле тогда было много разговоров, на него смотрели как на будущую архитектурную звезду первой величины, обсуждали его проекты, выставленные на институтских конкурсах; неудивительно, что рядом с Евгением находились совсем иные женщины — тридцатилетние интеллектуалки, как правило, разведенные. Конечно, ему льстило их внимание, куда было до них восемнадцатилетней чертежнице, не слишком красивой и отличавшейся от других разве что прямым, будто прожигающим насквозь взглядом темных глаз. Вскоре у Демилле случился первый бурный роман с одной из покровительствующих интеллектуалок, которая была старше его на девять лет. О романе узнал весь институт (вообще о личной жизни Евгения Викторовича всегда знали многие — он не умел скрывать своих чувств); Ирина слышала пересуды сотрудниц по этому поводу. Поскольку «аморалка» отсутствовала — Демилле был холост, его покровительница разведена,— то сплетни не отличались особой злобностью, муссировался лишь один пункт: разница в возрасте. У Евгения Викторовича хватило ума не жениться, что было поставлено одними в плюс ему, другими — в минус. Ирину это нисколько не занимало.

Однажды она помогала оформлять очередную выставку проектов и вдруг увидела где-то в углу склонившегося над подрамником Евгения. Он спешно исправлял что-то в своем проекте, вид у него был сосредоточенный, расхристанный, он громко сопел и некрасиво

оттопыривал нижнюю губу, водя стирательной резинкой по ватману. Ирина остановилась на мгновение, вглядываясь в него, и вдруг чей-то спокойный и посторонний голос изнутри сказал: «Он будет моим мужем». Она удивилась — настолько уверенным было это чувство, но ничего, кроме удивления,— ни желания приблизиться, ни волнения, ни смущения,— она тогда не испытала. Спокойно зафиксировала в сознании и стала жить дальше, как бы забыв о случившемся.

Именно в то время началась роковая история, закончившаяся своего рода крахом семьи Нестеровых.

Дело в том, что старшая сестра была распределена в институт, где работала Серафима Яковлевна, и именно в ее филиал, который уже начал функционировать, хотя и не был достроен. Серафима пока исполняла обязанности директора, но всем было ясно, что с получением докторской степени ее утвердят окончательно.

Направление Лили в филиал, конечно, не было случайным. Сработало одно из знакомств, которых у Серафимы было пруд пруди, так что старшая дочь и не догадывалась о планах матери, пока не получила направления.

Филиал в то время являл собою странную картину, напоминавшую генеральную уборку в доме, охваченном пожаром. Верхние этажи еще отделывались, на нижних уже кипела научная деятельность. Серафима пробивала новую модернизацию проекта, намереваясь пристроить к зданию одно крыло, так что наиболее дальновидные сотрудники начали понимать, что это состояние — навсегда. Оно в наибольшей степени соответствовало характеру руководительницы. И действительно, последующие события показали, что филиалу суждено находиться в состоянии непрерывного строительства. Когда крыло было пристроено, в помещениях, введенных в строй первыми, уже начался ремонт, который стал распространяться по филиалу волной, повторяющей первичную волну строительства.

Однако этот процесс затягивал работу над диссертацией Серафимы. Злые языки поговаривали, что Серафима Яковлевна спряталась за строительство, как за ширму, ибо не осилила докторской. Возможно, в этом был резон, но организационная деятельность, и вправду, занимала Серафиму полностью, так что на науку не хватало времени.

Для этого у Серафимы Яковлевны имелся заместитель, кандидат технических наук Олег Александрович Спицын, который совершенно не касался оргвопросов, а разрабатывал научную линию филиала. Было ему немногим более сорока, к докторской он, по всей видимости, не рвался, ибо не был честолюбив. Имел жену и двух сыновей. Серафима Яковлевна в Спицыне души не чаяла, называла его «мой Олежка», хотя те же злые языки посмеивались над Спицыным, утверждая, что он тюфяк и рохля.

Придя в филиал, Лиля как биолог попала в ту самую группу инженерной психологии, которая возникла благодаря ненужному электрокардиографу. Несмотря на совершенно случайное происхождение группы, народ там подобрался молодой и творческий. Лиля несколько раз встречалась со Спицыным, обсуждая направления работы и постановку задач. Они понравились друг другу и незаметно для себя стали искать новых научных поводов для разговора, пока вдруг каждый по отдельности не обнаружил, что серьезно увлечен. Первой поняла это Лиля, когда уже поздно было что-либо поделать. Они стали встречаться помимо службы, отношения развивались медленно, но верно; они понимали, что идут навстречу собственной гибели, но ничего не могли изменить.

Ирина узнала первая. К этому времени она ушла из проектного института и училась в финансово-экономическом институте. Мать направила ее туда, потому что в тот момент как раз испытывала недостаток в финансистах у себя в филиале.

Когда Лиля рассказала свою страшную тайну, Ирина смертельно испугалась — она хорошо знала мать. Ирина как могла помогала влюбленным: летом, когда родители жили на даче, тоже находилась там, чтобы в нужный момент позвонить и предупредить, если мать или отец возвращались в город. Иногда они втроем выезжали за город просто погулять, и обедали где-нибудь в дешевом кафе. Олег смеялся, говорил, что «Иринка у нас на атасе» — вообще хохотали и были возбуждены более обычного, как будто чувствовали, что крах близок.

Олег уже был готов уйти из семьи, но Лиля не принимала такого шага. Не говоря о научной карьере Спицына (Лиля была убеждена, что мать не оставит его в институте, если узнает), ей не давала покоя мысль

о младшем сыне Олега, которого тот нежно любил. Словно сговорившись, Лиля и Олег ждали, когда пройдет, кончится само собой, иной раз предпринимали робкие попытки порвать, то есть не встречались более недели, но тем острей и неизгладимее была следующая встреча.

Открылось все весною шестьдесят седьмого года. По институту вдруг поползли слухи и сплетни: «Что вы говорите! Надо же!» — «Я давно замечала!» — «Какой ужас! Дочь директорши! Вы подумайте!» — «Спицын полетит, как пить дать!» — неизвестен был их источник, непонятно, какую промашку совершили влюбленные. Матери донесли тут же. Она вызвала обоих в свой кабинет и, тяжело глядя из-за директорского стола, спросила: «Правда?» Оба молчали. «Ну, спасибо, Олежка... Спасибо, доча...» — только и сказала Серафима Яковлевна.

Следствие и судилище были проведены с огромным размахом. Тут же было создано персональное дело на обоих. Серафима добилась, чтобы Лилю исключили из комсомола, а Олега — из партии. Она словно хотела показать свою принципиальность и то, что стоит выше родственных чувств. Даже жена Олега склонна была простить, но Серафима убедила ее подать на развод, обещала всячески помогать детям. Спицын ушел из института с соответствующей характеристикой, Лиля, конечно, тоже. Постельное белье ворошилось на всех этажах института. Слава богу, следствию осталась неизвестной роль младшей сестры, иначе Ирине тоже пришлось бы худо.

Михаил Лукич нашел в себе жалость, сказал как-то неуверенно: «Сима, ты бы того... помягче...» — «Ты мне изменял, Нестеров?» — спросила Серафима холодно. «Да что ты говоришь такое! Будто не знаешь!» — «Тогда замолкни!»

Несчастье усугублялось тем, что Лиля была беременна. Когда шло судилище, еще не поздно было сделать аборт, но Лиля не захотела. Чем хуже, тем лучше. О беременности знала пока только Ирина, мать узнала уже летом, когда скрыть было нельзя. Спицын сделал попытку предложить руку — Серафима не пустила его на порог. Она заперла Лилю на даче и каждый день методично сверлила ей душу попреками, пересказом сплетен и воспоминаниями о своей чистой молодости. Лиля страдала молча, даже с Ириной не

разговаривала — слишком было тяжело. Она почернела и упрямо носила будущего ребенка.

В филиале между тем надвигался пятидесятилетний юбилей Серафимы Яковлевны. Происшедший инцидент не подмочил ее репутации — наоборот, Кожеватова предстала в блеске принципиальности и исключительных моральных качеств. Уже шло в Москву представление на орден Трудового Красного Знамени, уже сочинялись стенгазетные оды и сценарий юбилейного вечера; поговаривали, что к юбилею Серафима лишится наконец двух буковок в наименовании своей должности — «и. о.» — и без всякой докторской диссертации.

В начале октября Лиля родила мертвого ребенка и через две недели прямо из роддома ее увезли в психиатрическую лечебницу Бехтерева.

Юбилей между тем остановить было нельзя. Он совпал со всенародным юбилеем и от этого приобрел еще большую значимость. Все свершилось по плану: подоспел указ с орденом, и грамоты, и оды, и утверждение в должности. Однако атмосфера на торжественном вечере была тягостной. Произносились речи, перечислялись заслуги, но за всем этим стояла тень мертвого Лилиного ребенка, и этот неживший младенец упрямо тянул чашу весов в другую сторону. Серафима Яковлевна, сидевшая на сцене в парадном костюме, в окружении букетов, чувствовала, что смотрят на нее с неприязнью и ненавистью.

На следующий день после юбилея Серафима поехала в райком партии и попросила разрешения уйти из института. Ее пытались отговорить, но она была тверда. Ей мало было страха и уважения, она добивалась любви своих подчиненных. Общественное мнение, которое всегда было для нее руководящим, отвернулось от нее. Она не раскаялась в содеянном, но желала теперь лишь одного — уйти, исчезнуть, уехать из этого города туда, где ничего о ней не знают.

Как всегда, этот план она претворила в жизнь немедля. Была продана дача, а квартиру обменяли на особняк в Севастополе. Этот город был выбран потому, что там Серафиму ждала работа в одном из смежных институтов, выполнявших заказы флота.

Михаил Лукич к тому времени уже два года был в отставке. Уволили его из кадров в звании подполковника, дальше он без военного образования не продвинулся. И ему обещали работу в Севастополе. В ноябре

Лилю выписали из больницы с диагнозом «стойкий невроз». Лиля была апатична, окружающее мало интересовало ее. «Иришка, беги, пока не поздно»,— сказала она сестре. Ирина объявила, что остается в Ленинграде. «Где?» — спросила мать. «Я замуж выхожу»,— вырвалось у Ирины почти непроизвольно. «За кого?» — зловеще спросила мать. «Не ваше дело! За кого надо!» — выкрикнула Ирина.

Слово было сказано.

Глава 27.

СУПРУГИ

Историю своих взаимоотношений с Евгением Викторовичем Ирина вспоминала часто, стараясь найти звено в цепочке, начиная с которого брак стал непрочным. И не находила. Рассуждая одним способом, можно было прийти к заключению, что он никогда не был прочным. Рассуждая же по-другому, она убеждалась, что он и остался прочным, в другом только смысле, в смысле их предопределенности друг другу, и тогда выходка, которую учинил дом, служила лишь испытанием этой предопределенности, требующим преодоления.

Каждое утро Ирина спешила на работу, отсиживала положенные часы и затем возвращалась обратно. Она не стала записывать Егорку в детский сад по новому месту жительства и оставляла дома под присмотром генерала или отправляла гулять на Петровский остров. В обеденный перерыв прибегала из своего училища на полчаса, кормила сына и снова убегала обратно. Она и раньше не отличалась особой общительностью, теперь же жила в полном уединении, не считая разговоров с Григорием Степановичем. Он один стал ее постоянным собеседником и поверенным. На службе, в окружении галантных майоров и подполковников, многие из которых норовили слегка приударить за нею, а некоторые так и вовсе были настроены решительно, Ирина была подчеркнуто суха и деловита. Не хватало ей приключений! С Григорием Степановичем же не знала — что делать.

Появление пьяной дочери генерала на кооперативном банкете испугало Ирину. Между ними было сказано всего несколько слов. Мария Григорьевна вежливо, но твердо попросила Ирину оставить ее отца в покое. «Вы

считаете, что я... что я его соблазняю?» — шепотом, чтобы не услышали сидящие за столиком кооператоры, вымолвила Ирина. «Вот именно».— «Я вас уверяю... нет, вы ошибаетесь!» — пыталась защититься Ирина, но поняла, что это бесполезно. Она встала и ушла.

После этого в течение нескольких дней Ирина боялась подойти к окну, боялась встретиться с Григорием Степановичем, пока наконец он, не на шутку встревожившись, не пригласил ее к телефону через Егорку. Надо было оборвать телефон! Но она не смогла бы объяснить этого Егорке.

«Иринушка Михайловна, дорогая, вы не заболели?» — раздался в трубке участливый голос генерала. Ирина против воли взглянула в окно и увидела генерала с трубкой, прильнувшего к самому стеклу и вглядывающегося в их комнату. «Нет»,— сказала Ирина безжизненным голосом. «Почему же вы не подходите к окну? Я очень скучаю».— «Извините, Григорий Степанович, мне некогда»,— сказала Ирина, пытаясь разжечь в себе гнев против генерала. Он помолчал мгновение, потом горячо произнес: «Я вас умоляю, спуститесь в сквер. Мне надо с вами поговорить». Ирина не смогла отказать.

В сквере, у детской площадки, генерал буквально вытянул у нее слово за словом все обстоятельства ресторанного разговора. Поняв причину, генерал потемнел, и вечером Мария Григорьевна извинилась по тому же телефону перед Ириной. Была она на сей раз трезва и, по всей видимости, раскаивалась в своем поступке.

Отношения с генералом наладились, хотя теперь Ирина старалась соблюдать дистанцию. Она со страхом думала о предстоящем отпуске, который Григорий Степанович уже успел организовать ей через самого начальника училища, что вызвало определенное смятение среди майоров и подполковников. Ехать в Севастополь к родителям и сестре, куда они с Евгением Викторовичем обычно ездили в последние годы, ей не хотелось — ни Лиля, ни мать с отцом не знали о последних новостях. Ирина, правда, написала им пару писем после перелета, но ни словом не обмолвилась о происшествии и обратный адрес указала прежний. Ехать куда-то одной с Егором — боязно. Оставаться в городе — совсем нелепо. Она уже успела согласиться на предложение генерала пожить у него на даче, но теперь ругала себя за простодушие, и вообще стала смотреть на свои отношения

с Григорием Степановичем чужими глазами, приходя от этого в ужас, ибо находила их двусмысленными.

Все чаще приходила мысль о муже: не пора ли вернуть его, простить? Может быть, полученная встряска образумит его, заставит посмотреть на их отношения по-другому? Гордость не позволяла, но жалость потихоньку брала свое, а кроме того проблема генерала, если можно так выразиться, требовала решения. Возврат мужа был самым простым и естественным выходом из создавшегося положения.

Белые ночи уже клонились к закату; Ирина спала плохо, как всегда с нею бывало в период белых ночей. Ее душа маялась в такие ночи; хотелось на улицу, к разведенным мостам, в таинственный сумрак арок. Хотелось вдохнуть теплый воздух ночи и запах сирени.

Детский телефон, перенесенный в кухню, зазвонил после полуночи. Ирина еще не спала, варила суп на воскресенье и, ожидая, пока он поспеет, читала роман, предложенный одним из подполковников, который вот уже месяц (как только его семья уехала на юг) подъезжал к Ирине с разговорами о литературе. Книга ей не нравилась, казалась ненастоящей. Она оторвалась от страницы и взглянула в окно. Над крышей соседнего дома была видна полоска чистого темного неба, по которому в невообразимой вышине плыло легкое облачко, золотисто подсвеченное ушедшим за горизонт солнцем.

Ирина подняла трубку, удивившись позднему звонку. После полуночи генерал прежде не звонил.

«Иринушка Михайловна, ради бога, простите! Я вижу, у вас свет выбивается — значит, не спите... А что, если нам пойти погулять? Как вы на это смотрите? Великолепная ночь! Такой ночи давно не было, нельзя пропускать!»

«Егорка...» — попыталась возразить Ирина, но генерал стал убеждать, что ничего страшного, Егорка спит, а погуляют они всего часок-другой,— и столько юношеской взволнованности и настойчивости было в его голосе, что Ирина согласилась.

Гуляли они более трех часов, не покидая Петроградской стороны, чтобы не быть застигнутыми разведенными мостами. С плоского берега у Петропавловки смотрели на простор Невы и проплывающую по ней флотилию. Яхта с алыми парусами взволновала обоих, у генерала увлажнились глаза. Они дошли до «Авроры»

и повернули назад. Генерал читал стихи: «Пускай остыла в жилах кровь, но в сердце не остыла нежность. О ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность!». Ирина почувствовала к нему жалость, как к ребенку. Незаметно для себя стала рассказывать ему историю своего замужества...

Надо сказать, что в характере Ирины было некоторое сходство с материнским. Вылетевшее слово обретало силу закона. Вот и тогда, сгоряча объявив матери, что выходит замуж, она решила действовать. Самым простым выходом был фиктивный брак, подходящую кандидатуру можно было найти среди школьных товарищей, но это было унизительно. Брак для Ирины накрепко был связан с любовью, даже в таких обстоятельствах она не могла пойти на компромисс.

И вдруг она подумала: «О чем это я? У меня ведь есть муж. Его зовут Женя Демилле. Надо пойти и сказать ему об этом». Как ни была Ирина выбита из колеи всем происходящим, но тут она тихо засмеялась, остановившись посреди улицы. Было холодно, моросил дождь, над Марсовым полем гулял ветер, колебля Вечный огонь. Ирина перестала смеяться, но странная растерянная улыбка осталась у нее на устах. Она пошла с нею дальше и вскоре была уже у входа в институт, где когда-то работала. Она посмотрела на часы: до конца рабочего дня оставалось пять минут.

Ее уже ничто не удивляло, тем более такое совпадение во времени. Она точно знала, что сейчас увидит Евгения Викторовича, хотя последний раз встречала его более двух лет назад, когда зашла в институт к бывшей сослуживице по ее просьбе и принесла ей выкройку модной юбки. Тогда, помнится, Евгений Викторович поздоровался с нею и они перекинулись несколькими незначащими фразами — как дела? что новенького? где теперь?

В половине шестого из дверей института хлынул поток сотрудников. Ирина боялась лишь одного — что к ней подойдет кто-нибудь из старых подружек по мастерской, тогда Женя может пройти мимо... Но он вышел одним из первых и сразу увидел ее. Он улыбнулся, махнул рукой и устремился к ней, будто ожидал увидеть. «Привет, Иришка! Ты кого ждешь?» — спросил он, улыбаясь и по старой памяти называя ее на «ты». «Вас»,— сказала она, тоже привычно обращаясь к нему на «вы». «Меня? Прекрасно! Чем могу служить?» —

рассмеялся он. У него было, по всей вероятности, отличное настроение. Она хотела сказать: «Вы должны на мне жениться», но сказала: «Вы мне нужны». Ей показалось, что она произнесла это излишне сухо, поделовому. Евгений Викторович мгновенно посерьезнел и наклонился к ней: «Что-нибудь случилось?» — «Нет, ничего...» — «Ну, пошли...»

Они пошли по Невскому молча, дошли до Пассажа, и Демилле предложил зайти в кафе «Север». Там они уселись на полукруглый диванчик у стены, заказали шампанское, пирожные и кофе. Евгений был предупредителен; казалось, он забыл о ее словах и о том, что хотел выяснить, зачем она пришла. Он разглядывал ее и находил новой, повзрослевшей, даже какой-то усталой от жизни и оттого загадочной. Она нравилась ему, и с нею было просто — не надо было изображать кого-то, соответствовать мнению о себе... Демилле незаметно влюблялся, он в ту пору, может быть, неосознанно хотел влюбиться, ему надоели любовные игры с покровительницами, рядом с которыми он чувствовал себя всего лишь способным мальчиком.

Они выпили шампанского, и Ирина начала понемногу рассказывать о себе и о той истории, которая привела ее к нему. Демилле слушал внимательно, хмурился. Ирина все более нравилась ему — так просто рассказывала она о Лиле, так беспомощна была перед матерью. Чужая любовь превратила ее из девочки в женщину, но совсем не в такую, с какими привык иметь дело Евгений Викторович. Когда она дошла до финала и рассказала, что семья переезжает в Севастополь, Демилле как само собой разумеющееся сказал: «Но ты туда не поедешь».— «А куда же я денусь?» — грустно улыбнулась Ирина, опять-таки будто забыв о цели, с какой шла к нему. «Ты останешься со мной. Я на тебе женюсь»,— произнес он без малейшей паузы и даже подмигнул ей — мол, держи хвост пистолетом. «Не шутите так, Женя».— «Я? Шучу?! У тебя с собой паспорт?» — воскликнул Демилле, уже зная наперед, что он действительно женится и будет жить с этой почти незнакомой молодой женщиной.

«Зачем паспорт?» — не поняла она, а Демилле с удивительной внешней беспечностью, будто разыгрывая ее, объяснил, что они сейчас пойдут подавать заявление в загс. «Нам дадут месяц на обдумывание, вот и подумаем».— «Хорошо, я согласна»,— спокойно сказала она,

доставая из сумочки паспорт и выкладывая его на столик. Демилле уверенным движением сунул его во внутренний карман пиджака. «Пошли!» — «А кофе, Женя? Вы же не расплатились!» — «Ерунда!» — Демилле бросил на столик десятку и встал, требовательно глядя на Ирину.

Если бы она сейчас рассмеялась, обратив все в шутку, или же, напротив, стала ломаться и говорить банальности о том, что нужно узнать друг друга и прочее, или же рассердилась, или расплакалась — словом, если бы она не сделала то единственное, чего ждал он от нее в этот момент, все бы расстроилось непоправимо. Но Ирина отпила глоток шампанского и поднялась. «Пошли»,— сказала она.

Со стороны могло показаться, что молодые люди, внезапно покинувшие столик с недопитой бутылкой шампанского и нетронутыми пирожными, вспомнили о каком-то важном деле, требующем безотлагательного решения, и поспешили к нему. В сущности, так оно и было.

Они вышли на Невский, и Ирина взяла Евгения под руку. Тут оба почувствовали, что их начинает колотить дрожь. Они не разговаривали, шли быстрым шагом, будто спешили к больному. В полном молчании они дошли до Дворца бракосочетаний на набережной Красного Флота. В тот день им фатально везло. Могло оказаться, что приема заявлений в эти часы нет, что требуются какие-нибудь справки, что Дворец вообще закрыт, и тогда наваждение бы прошло, они бы задумались и нашли сотню причин для отсрочки. У них было бы время испугаться... но как назло даже очереди к делопроизводительнице, принимающей заявления, не было никакой. Они получили бланк и пристроились его заполнять тут же, за соседним столиком.

— Слушай, Иринка, я же не знаю, как твоя фамилия,— вдруг сказал Демилле, отрываясь от бланка.

— Нестерова,— сказала Ирина, и тут обоих разобрал такой хохот, что делопроизводительница возмутилась и пристукнула ладонью по столу.

— Прекратите, молодые люди! Это вам не бирюльки! Что за молодежь пошла!

Ирина и Евгений притихли и дописали заявление до конца. Делопроизводительница придирчиво рассмотрела бумагу, долго изучала паспорта, желая, по всей видимости, найти какую-нибудь причину для отказа. Ей

было ясно, что брак этих молодых людей к добру не приведет... Была ли она права тогда? Ведь через тринадцать с небольшим лет семья разлетелась в буквальном смысле слова.

Безусловно, если мы признаем идеалом брака совместную жизнь до гробовой доски, а все остальные браки будем считать неудавшимися, то придется взять сторону делопроизводительницы. Но ведь можно посмотреть и иначе. Тринадцать лет, которые им предстояли, вместили в себя все — дальнейшее стало ненужным. Тогда же ни Ирина, ни Евгений не заглядывали так далеко; срок был — месяц, данный им законом для того, чтобы проверить свои чувства.

Вечером того же дня Ирина показала матери приглашение в магазин для новобрачных. «Кто он?» — спросила Серафима Яковлевна. Узнав, что будущий зять работает в институте Сергея Панкратовича, она уединилась в своей комнате и оттуда позвонила директору. Разговор был долгий. Директор характеризовал Демилле осторожно: «способный», «знающий», «обаятельный», но «как бы вам сказать, легкомысленный», «э-э.. без царя в голове», «какой-то он ненадежный». В известной мере он был прав. Характеристика нового родственника не обрадовала Серафиму, более всего ее смутила фамилия Демилле. Что за странная такая фамилия?

«Делай, как знаешь»,— наконец сказала мать.

Бракосочетание состоялось под Новый год, когда родители Ирины и Лиля уже были в Севастополе. Во Дворце присутствовала семья Демилле в полном составе, во главе с Виктором Евгеньевичем, да пара свидетелей из сослуживцев Евгения Викторовича. Свадьбы как таковой не справляли...

Ирина рассказывала генералу, как бы недоумевая: неужели это произошло со мною? Неужто со мною произошло это?

Образ Евгения Викторовича всплыл в ее рассказе: минуты счастья и радости в первые годы, несмотря на омрачивший их жизнь несчастный случай с выкидышем у Ирины, отодвинувший рождение Егорки на целых шесть лет; и долгие ночные выяснения отношений на тему «любишь — не любишь» — это было камнем преткновения в их семье. «Ты не веришь в любовь»,— упрекала мужа Ирина, а он, дойдя до бешенства, кричал ей: «Да! да! да! не верю! я верю в добрые отношения,

в понимание, в привязанность! тебе мало?! я не могу верить в то, что происходит инстинктивно, помимо сознания! я мыслящий человек! я не могу соединить животные потребности с любовью, которую испытываю к тебе...» — короче говоря, Евгений Викторович никак не мог соединить духовное с чувственным.

Ирина не могла взять в толк, что такое возможно: любить одну женщину и при этом быть близким с другими. Конечно, Евгений Викторович последнего не афишировал, но есть же у нее глаза, в конце концов?!

Ирина не испытывала смущения, рассказывая об интимных вещах Григорию Степановичу, он так чутко реагировал на рассказ, что Ирина чувствовала к нему полное доверие и только хотела спросить совета — разыскивать мужа или нет, как Григорий Степанович, взволнованный ее повестью, остановился и, блестя глазами, горячо проговорил:

— Он недостоин вас, Ирина Михайловна! Он обладал таким сокровищем — и потерял его!

Они в тот момент опять подходили к разведенному еще мосту Строителей со стороны проспекта Добролюбова, не зная, что на другом берегу всматривается в них Евгений Викторович. Ирина вдруг заторопилась домой; они с генералом молча прошли мимо «Кронверка» и свернули в пустую улицу Блохина. Здесь уже до Безымянной было рукой подать.

Весь воскресный день Ирина провела в терзаниях. Неужели Григорий Степанович увлечен ею? Всерьез?.. Что делать? Как себя вести?.. Если бы Женя был здесь, это превратилось бы в дружбу, но теперь...

Утром в понедельник она попыталась позвонить со службы на работу Демилле. Допек ее подполковник литературными разговорами и намеками на возможную встречу после работы. «Нет, меня будет ждать муж»,— ответила она и сейчас же пошла к телефону. Но, набирая цифру за цифрой — первые весьма уверенно и быстро, последние — с паузами, она никак не могла придумать слова, какими начнет разговор. «Здравствуй?» — «Как поживаешь?» — «Где ты живешь?» — «Что делаешь вечером?» — все это казалось ей достаточно нелепым, а пересилить себя, сказать единственное: «Женя, приходи домой» — она не могла. Когда в трубке раздались гудки, она решила не разговаривать, если подойдет сам Евгений Викторович. Послушать его голос и положить трубку. Но ответила женщина.

«Будьте добры, Демилле»,— стараясь говорить деловым тоном, произнесла Ирина. «Его еще нет»,— ответила женщина. «А когда он будет?» — «Кто его знает? Он мне не докладывает»,— сказала она уже с легким раздражением, и Ирина, поблагодарив, повесила трубку.

«Значит, жив-здоров...» — подумала она почти разочарованно. В глубине души ждала услышать о каких-то переменах в его судьбе, неприятностях, невзгодах — тогда легче было бы сломить себя. Но, судя по голосу незнакомой женщины, у Демилле, по крайней мере на работе, ничего не изменилось. Привыкши доводить дело до конца, Ирина позвонила на службу Любе Демилле, но уже с прохладным чувством, скорее, чтобы подтвердить свою догадку. «Ее нет. Она в декретном отпуске»,— сказал мужской голос; в его тоне был некий намек и игривость. Ирина почему-то разозлилась на себя, но проклятое мамашино упорство не давало бросить задуманное на полпути. Она набрала номер Анастасии Федоровны.

Трубку подняла Любаша. «А... это ты...— сказала она довольно холодно, узнав голос Ирины.— Ну, как поживаешь?» — «Нормально»,— подобравшись, ответила Ирина. «Я так и думала...» — сказала Любаша. Разговор с самого начала принял враждебный характер.

Никто не хотел уступать. Чем более неприязни слышалось Ирине в голосе золовки, тем злее она становилась. Ну зачем она позвонила?! Дура! Так ей и надо! «У Жени тоже все нормально, если тебя интересует. Он у Натальи жил, сейчас в Комарово...» — «У какой Натальи?» — чуть не вырвалось у Ирины, но она сдержалась и ответила: «Я рада за него».— «Как Егор? Что Жене сказать?» — сжалилась наконец Любаша, но Ирина уже закусила удила. «Прекрасно. Мы с ним едем отдыхать...» — «Так тебе деньги нужны? Я ему скажу. Куда прислать?» — поинтересовалась Любаша. «Нет, спасибо. Обойдемся»,— задыхаясь, собрав последние силы, ответила Ирина и тут же припечатала трубку к рычажкам. Ее колотила дрожь.

Через два дня заказанная Григорием Степановичем машина перевезла Ирину с Егоркой и необходимыми вещами на дачу.

Глава 28.

КОМАНДИРОВАННЫЙ

Узнав о звонке жены, Евгений Викторович излил на Любашу всю досаду и горечь прошедших месяцев. Как можно было разговаривать подобным образом? Неужели Любаша не знает ее гордости? Почему, черт побери, она решает за него? Но Любаша была тверда. «Ничего я не решаю. Она сама трубку швырнула. Цаца!.. Вам нужно разойтись и забыть. Для вас же лучше».

Единственное, что удалось узнать достоверно: Ирина и Егор едут отдыхать. Куда? Конечно, в Севастополь, решил Евгений Викторович. Сам бог велел Ирине укрыться под жестким, но надежным крылом Серафимы Яковлевны.

Рассудив так, Демилле бросился доставать билет на поезд. Самолетов он не любил, кроме того, была опасность прилететь раньше Ирины. Как тогда объяснишь? Нет, пускай объясняет сама.

Он выстоял одуряющую очередь в кассах и купил билет в общем вагоне без плацкарты — единственное, что смогли предложить ему на ближайшее время в разгар отпускного сезона.

Вот уже несколько суток Евгений Викторович ночевал у Безича, которому он пришел сообщить о смерти Аркадия. Безича известие потрясло, он непрестанно заводил разговор о жертвах системы, вызывая у Демилле чувство, похожее на зубную боль. Поэтому поездка в Севастополь оказалась весьма кстати.

Через несколько дней Демилле мчался на юг в раскаленном душном поезде, пропахшем соляркой и потом. При нем был только что купленный портфель с самым необходимым: электробритва, пара сорочек, плавки.

Дорога тянулась долго; Демилле курил в тамбуре, глядя на проплывающие кукурузные поля, перемежающиеся с подсолнечниками, долго валялся на жесткой полке, вспоминая студенческую молодость, когда ездил на целину. Окружающие раздражали непрерывными едой и питьем, бессмысленной карточной игрой, глупыми, пустыми разговорами. Демилле вообще чрезвычайно страдал от глупости, она казалась ему невыносимой. Находясь во взвинченном состоянии, он замечал каждую мелочь.

С трудом приходилось удерживаться, чтобы не всту-

пить в спор, не просветить эти темные головы, не оборвать пошлость. Он понимал, что это лишь унизило бы его, никак не рассеяв глупость.

Поезд пришел в Севастополь утром. Несмотря на ранний час, было жарко. Демилле обмыл лицо у питьевого фонтанчика, сел в троллейбус и поехал к центру города. Чистые улицы, лица отдыхающих, белые форменки матросов успокаивающе действовали на него. Он любил Севастополь с тех пор, как впервые приехал сюда с Ириной через полтора года после свадьбы, когда страсти, вызванные историей с Лилей и замужеством Ирины, несколько улеглись. Первым делом Евгений Викторович посетил городской пляж, где разделся и с упоением рухнул в соленую воду. Море и солнце опьянили его; искупавшись, он зашел в пивной зал в виде грота и выпил кружку ледяного пива. Как мало нужно для счастья! Демилле неосознанно старался оттянуть визит к теще. На это имелись две причины — его волновала предстоящая встреча с семьей, и он все пытался найти нужный тон первых хотя бы фраз, перебирая их все — от небрежных, в стиле «ничего не случилось», до холодновато-замкнутых, корректных — «я сам по себе». Второю причиною была взаимная нелюбовь Демилле и тещи, что вовсе не редкость.

Наконец он собрался с мыслями и пошел к Нахимовской пристани. Дом тестя и тещи находился на Северной стороне. Демилле устроился на корме катера с загадочным наименованием «Терренкур». Оставляя пенный след, катер не спеша пересек бухту.

Евгений Викторович вскарабкался в гору по крутой лесенке, начинавшейся прямо у пристани на Северной стороне, прошел мимо памятника Славы и начал спускаться вниз по улочкам, по обе стороны которых стояли утопавшие в зелени виноградников особняки. И чем ближе он подходил к дому родителей жены, тем сильнее билось его сердце, тем более ненужной оказывалась подготовка к встрече. Едва показалась крытая шифером крыша, торчавшая из виноградника, он принялся выискивать там, под сенью лоз, фигурку сына. Во дворе было пусто, только из-за дома, где находилась летняя кухня, доносились звуки: там, по всей видимости, мыли посуду. Демилле отворил калитку, поднялся на две бетонные ступеньки и пошел к дому по выложенной плитками дорожке. Не успел он сделать двух шагов, как из дверей особняка выплыла массивная фигура Сера-

фимы Яковлевны в цветастом сарафане. Теща приложила ладонь ко лбу козырьком, вглядываясь в гостя.

— Любимый зять пожаловал! Вот так радость! — воскликнула она громко, чтобы было слышно окрест, и двинулась к нему зперевалку, расставив красные окорока рук.

Для торжественной встречи не хватало зрителей, поэтому Серафима не особенно спешила. Но вот появились и зрители в виде вынырнувших вдруг в соседних дворах по обе стороны особняка улыбающихся лиц соседей. Публика была на месте, можно было начинать.

Теща подошла к Евгению Викторовичу и трижды облобызалась с ним, отчего он сразу начал страдать.

— Подставляй макушку! — провозгласила Серафима, выказывая тем наивысшую форму любви, ибо с таким возгласом обращалась обычно к внуку. Демилле, страдая еще больше, склонил голову, и теща, обхватив его уши, с силою чмокнула зятя в темя.

Когда-то подобные изъявления любви могли ввести Евгения Викторовича в заблуждение, но давно, давно это было! Вот уже лет десять взаимная антипатия тещи и зятя не вызывала никаких сомнений и была известна всей Северной стороне. Тем сильнее раздражало Евгения Викторовича это фарисейство.

— А где же мои зайцы? Где доча? Где Егор? — произнесла теща, и Демилле мгновенно сообразил, что Ирины и Егорки в Севастополе нет. Мало того, родители наверняка не в курсе произошедших в Ленинграде событий. На этот маловероятный, как ему представлялось, случай у него был уже ответ, своего рода домашняя заготовка.

— Я один,— развел руками Демилле, изображая вздохом уныние.— Служебная командировка.

— Надолго?

— Как сложится,— уклончиво отвечал он.— Авторский надзор, такая вещь...

— Сейчас варениками накормлю. Годится? — теща пошла к летней кухне, Демилле двинулся в кильватере.

Публика рассеялась, довольная увиденным и заряженная этой сценой на долгие разговоры.

Евгений Викторович был не на шутку расстроен. Мало того, что он не нашел здесь семью, он еще и ошибся в расчетах и потому чувствовал себя, как шахматист, сдавший партию. Он был уверен, что Ирина здесь,— и вот поди же! Где же она в таком случае? Неужели

обманула Любашу, сказав, что едет отдыхать? Нет, на нее не похоже, она никогда не врет. Что делать ему в такой ситуации?

Следовало немного обождать и осмотреться. Может быть, что-нибудь известно Лиле — с нею Ирина всегда делилась... Тут кстати выбежала из-за дома Лиля в кухонном переднике, на ходу вытирая об него мокрые руки. Она вскрикнула: «Женя!» — и обняла его. Евгению Викторовичу на мгновение полегчало: Лиля, искренняя душа, обрадовалась ему по-настоящему.

— А Иришка? Егорка?.. Ну, да... ну, да... ты один... ничего... вот поговорим! наговоримся.— Она сияла, будто солнышко встретила из-за тучи.

Лиля заметно постарела, голова была почти совсем седой; гладкая прическа на пробор еще больше старила ее. Демилле не видел молодой Лили, той бесстрашной и влюбленной в своего Спицына, летевшей, словно на крыльях, к гибели. Когда он впервые увидел ее перед своей женитьбой, крылышки уже были обломаны, но еще оставалась молодость. Сейчас ушла и она.

Они обогнули дом и оказались у входа в кухню, где под широким полотняным навесом стоял длинный деревянный стол, на котором красовалось блюдо вареников с вишнями. Теща ставила на стол тарелки, вытащила откуда-то бутыль собственного домашнего вина.

— Заяц, ты где? — раздался голос Михаила Лукича, и сам он вышел из задних дверей дома, одетый в одни шорты.

— Здесь я, заяц,— откликнулась Серафима Яковлевна.— Погляди, кто приехал!

Михаил Лукич основательно расцеловался с зятем.

Родители Ирины с молодости называли друг друга «зайцами», иной раз этой кличкой награждались дочери и внук, перепадало даже и Демилле, но в исключительных случаях. Вероятно, в молодости это было более уместно, но сейчас трудно было представить что-либо более далекое от зайца, чем Серафима Яковлевна. Тем не менее глаза Михаила Лукича неизменно вспыхивали любовью, когда он обращался к жене с ласковым прозвищем.

— Ну, рассказывай, Женя, рассказывай! — торопливала Лиля, когда Демилле уселся за стол, скинув пиджак, и выпил с тестем вина.

— Дай поесть человеку,— оборвала мать.

— Ну что рассказывать...— степенно начал Де-

милле (он всегда не нравился себе здесь, ибо против воли постоянно играл какую-то роль; сейчас — роль солидного мужчины, мужа).— Все, в общем, по-старому... Работаем. Живем хорошо...— а в голове опять же против воли нарисовалась та жуткая ночная картина с пылающими газовыми факелами и темной громадой фундамента с зиявшими щелями подвалов.— Ириша работу поменяла. Она вам писала или нет? — задал он наводящий вопрос.

— Как же матери не написать. Мать — самый родной человек,— изрекла Серафима Яковлевна, доведя до зубовного скрежета Евгения Викторовича, прекрасно знавшего об отношениях матери и дочерей.

— Когда ж письмо было, заяц? Да недели две,— сказал Михаил Лукич.

Серафима кивком подтвердила.

«Посмотреть бы это письмо»,— подумал между строк Демилле и продолжал живописать картину счастливой семейной жизни. Михаил Лукич слушал удовлетворенно — именно так и должна складываться жизнь! — он любил порядок. Теща кивала снисходительно: она не верила в чужое счастье, признавая лишь то, что рождалось благодаря ее деятельности. Лиля, примостившаяся на дальнем краю стола, сначала слушала с жадностью, даже румянцем покрылась от возбуждения, но довольно скоро взгляд ее потух, она отвела глаза, румянец исчез со щек. Воспользовавшись паузой во вдохновенном вранье Евгения Викторовича, она выскользнула из-за стола как бы по делу и скрылась.

После завтрака теща провела Демилле по саду и дому, демонстрируя новшества, появившиеся за два года со времени их последнего приезда. Среди прочих была финская баня с бетонным небольшим бассейном перед нею; впрочем, вода в бассейне отсутствовала, а вместо нее навалена была всякая хозяйственная рухлядь. В углу сада, в больших ящиках, обтянутых проволочной сеткой, жили кролики. Участок был устроен следующим образом: фасадная часть перед домом, выходившая на улицу, отдана была под виноградник, расположившийся в двух метрах над землей на деревянных рейках и покрывавший переднюю часть участка сплошным зеленым навесом; позади двухэтажного каменного беленого дома находился сад с персиковыми, грушевыми и сливовыми деревьями. Тут же по бокам

расположились хозяйственные постройки, крольчатник, новая баня и старый душ с приспособленным наверху и окрашенным в черный цвет бензобаком гидросамолета. Обитая цинком дверь вела в погреб.

Серафима Яковлевна провела Демилле во второй этаж, где обычно он жил с семьей в летние приезды. Здесь ничего не изменилось. Теща, тяжело переваливаясь и скрипя ступеньками, спустилась вниз и вскоре вернулась со стопкой крахмального белья. Белье было слабостью Серафимы, она его лелеяла, прачечных не признавала, стирала и гладила всегда сама, развешивая после стирки в саду.

Демилле остался один, уселся в кресло, ноги положил на стул. «Все-таки надо отдать ей должное,— размягченно подумал он о теще.— Если бы не ее фанаберия, цены бы ей не было!»

Эти мысли были прерваны Лилей, поднимавшейся к нему по лесенке.

— Женя, к тебе можно? — спросила она, появляясь с каким-то конвертом в руках. Демилле поразился перемене, произошедшей с Лилей за час. Взгляд был потухший, безвольный, щеки словно ввалились; теперь во всем облике ее проступали болезненность и вялость. Она уселась на стул, с которого Демилле поспешно убрал ноги, и положила надорванные конверты перед Евгением Викторовичем на столик.

— Вот, прочти,— сказала она.

Демилле взял в руки письма. Их было три. Он сразу узнал почерк Ирины и первым делом проверил даты по штемпелю. Первое письмо датировано было концом апреля, второе написано в середине мая, а третье — в самом конце июня, около двух недель назад. Обратный адрес на всех трех был старый: ул. Кооперации, д. 11, кв. 287. По ободочку штемпелей Евгению Викторовичу удалось прочитать: «Петроградский узел связи». Впрочем, это ничего не значит — где-то там Ирина теперь работает. Какой же он идиот! Не удосужился узнать хотя бы место ее работы. Знал лишь, что раньше ездила к Финляндскому вокзалу, а в марте стала ездить на Петроградскую.

С волнением вынул он последнее письмо из конверта и принялся читать. Лиля выжидающе смотрела на него. Письмо было всем: «Здравствуйте, мама, папа и Лиля!» Далее шли обычные домашние новости, в основном, про Егорку — что он читает и мастерит, немного о своей

новой службе («сижу у закрытого решеткой окна и переписываю продуктовые счета»), совсем коротко о Евгении Викторовиче («у Жени все в порядке») — Демилле даже крутанул головой — в порядке! — письмо было написано в те дни, когда он с покойным Аркашей ночами слонялся по котельным. Остальные два письма почти не отличались от первого. В том, что было написано в мае, говорилось о нем — «у Жени много работы, приходит домой поздно», а в апрельском, отосланном через неделю после перелета дома, сказано: «Женя уехал в командировку, сидим одни». Это хоть чуть-чуть было похоже на правду.

В сущности, во всех трех письмах была та же обтекаемая и утешительная ложь, которую он только что преподнес родственникам. Но почему тогда Лиля принесла ему эти письма? Он взглянул на нее.

— Женя, что у вас произошло? — спросила она тихо.

— Ну, что ты, Лиля! — бодро произнес он, называя ее так, как когда-то, в первые годы их брака с Ириной, было принято у них. Поводом была французская фамилия Евгения Викторовича, тогда они все называли друг друга с шутливой подчеркнутой галантностью — Эжен, Лили, Ирэн — им это очень нравилось.

— Я чувствую. Расскажи мне...

— Да все в порядке! Иришка же пишет. Вот...— он указал на письма.

— Не обманывайте меня. Зачем вам меня обманывать? Вы же с нею не вместе. Я знаю.

— Откуда ты можешь знать?

— Я чувствую,— повторила Лиля.

Евгений Викторович нахмурился. Рассказывать или нет? С одной стороны, секретов у них от Лили не существовало, несмотря на то, что виделись не каждый год. Но с другой — как она это воспримет?

— В общем, ты права... Мы разошлись...— нехотя признался он.

— Нет-нет. Это не так,— быстро сказала она.— Разойтись вы не могли. Неужели несчастье?

— Да. Несчастье,— решился он, в первый раз называя этим словом то, что случилось.— Несчастье,— повторил уже уверенно.

— Господи...— прошептала она.

— Не волнуйся, все живы-здоровы,— опять указал

он на письма.— Формально все нормально,— вспомнил он услышанную где-то поговорку.

Она терпеливо ждала.

Демилле закурил, поднялся с кресла, подошел к окну. Поверх крыш и садов виден был кусочек бухты со стоящими на рейде военными судами. Раскаленный воздух колебался за окном, но в комнате было прохладно. Он распахнул окно. Его обдало теплом.

— Будет жарко,— сказала Лиля.

— В общем, так... Ты только не переживай и постарайся понять. История фантастическая... Поверь, что такое бывает...

И он, в который уже раз, рассказал историю улетевшего дома, причем заметил про себя, что в его рассказе появились уже постоянные детали, казавшиеся ему наиболее удачными — те же факелы в ночи, и мигалки милицейских машин, и труба, в которой он стоял скрюченный, и аккуратно сложенные вещи в чемодане, принесенном Ириной в дом Анастасии Федоровны.

Лиля слушала, не шелохнувшись, ее лицо снова покрывалось румянцем. Когда Демилле закончил, рассказав напоследок о том, что видел, кажется, Ирину белой ночью на противоположном берегу, и о разговоре ее с Любашей, он заметил, что Лиля мелко дрожит.

— Не слабо, верно? — попытался улыбнуться он.— Клянусь, все так... Что с тобой, Лиля?!

Она несколько раз судорожно хватила ртом воздух, всхлипнув при этом, глаза ее остекленели, и вдруг Лилю стало колотить. Она билась всем телом, точно рыба, выброшенная на берег. Демилле подбежал к ней, схватил за плечи... будто взялся за провод под напряжением. Лиля выгибалась, ее трясло, дергающейся рукою она пыталась вытащить что-то из кармана передника. Демилле помог ей. Там оказалась пачечка таблеток. Он понял, что она хочет выпить лекарство, кубарем скатился по лесенке за водой и мигом принес стакан. Он помог Лиле развернуть пачечку и запить две таблетки водой. Дрожь не проходила. Демилле поднял Лилю на руки — она была легкая, сухая — и перенес на кровать. Укрыв ее одеялом, он уселся рядом, ожидая. Дрожь становилась крупнее, реже... превратилась в конвульсии, стала затихать...

— Господи...— наконец прошептала она.— Только бы мать не узнала!

— Это конечно... Хотя, я думаю, Серафима Яковлев-

на — единственный человек, который мог бы вернуть дом на прежнее место,— невесело пошутил Демилле.

— Женя, что же теперь будет? Почему ты ей не написал?

— Куда? — удивился Демилле.— Адреса же я не знаю.

— Пиши по старому адресу. Письма доходят. Я же писала Ирише, она получила...

Вот так номер! Евгений Викторович остолбенел. Эта простая мысль не приходила ему в голову. Действительно, как он не обратил внимания! Во втором письме жены черным по белому было написано: «Получила от вас весточку. Рада, что все у вас хорошо» — это в мае месяце, когда дом уже несколько недель находился на новом месте! Он взволновался, вскочил, зашагал по комнате. Потеряно три месяца! Столько волнений, неудобств, скитаний — и все из-за того, что он не догадался написать письмо, объясниться, покаяться...

— Честное слово, никак не мог предположить...— пробормотал он.

Как только Лиля ушла, он сел за письмо. В комнате стало жарко от открытого окна, и Евгений Викторович разделся до трусов. Посидев с шариковой ручкой над чистой страницей и написав: «Ириша!» — он спустился вниз и выпил домашнего кваса. Посидел еще пять минут и снова спустился к Лиле за конвертом. По пути ему встретилась тетка Лида — седая обрюзгшая старуха, в вечных войлочных пинетках. Она его не узнала, прошла мимо, что-то бормоча. Демилле взял авиаконверт и вернулся наверх.

Письмо не писалось. Требовались какие-то объяснения — но какие, он не знал. Он не мог найти в памяти момент, начиная с которого все пошло наперекосяк. Он начинал, комкал бумагу, начинал снова... Наконец решил написать коротко: «Я в Севастополе, приезжай». Тогда достаточно телеграммы. Если доходят письма, то телеграммы — и подавно. Правда, Ирина могла действительно уехать в отпуск. Ну что ж, проверим!

Демилле оделся и пошел на почту. Там он составил короткую телеграмму: «Ириша я Севастополе Лиля волнуется твоем приезде ответь до востребования Женя» и отправил ее «молнией» с оплаченным ответом. После этого пошел на рынок и накупил овощей, которые и принес теще. По пути радовался хитрости: как ловко он ввернул в телеграмму «Лиля волнуется»! Он пре-

красно знал, что Ирина не сможет не ответить — не ему, так сестре. И ответ до востребования хорошо придумал! Незачем зря беспокоить тещу телеграммами, она и так достаточно подозрительна по натуре.

Однако следовало играть роль командированного. Уже на следующее утро, якобы собираясь на объект, он с неудовольствием подумал, что давно не жил естественной жизнью; уже, пожалуй, и не помнит, каким он был на самом деле — добрым? открытым? простодушным? наивным? Все время приходилось хитрить, выдавать себя за кого-то другого — то за гордеца, обиженного на жену, то за субъекта, преследуемого властями. Теперь вот — за комадированного мужа, испытывающего тоску по семье.

Он положил в портфель плавки и ушел на Учкуевский пляж, находившийся километрах в трех. Там было относительно безлюдно. Демилле переоделся и растянулся на песке, наблюдая за отдыхающими.

Он заметил невдалеке странную фигуру, ковыляющую по пляжу от одной группы отдыхающих к другой. Худой бородатый человек в плавках и рубахе навыпуск, прихрамывая, нес под мышкой штатив фотоаппарата, а сам аппарат болтался на длинном ремешке у него на груди. Через некоторое время бородатый подошел к Евгению Викторовичу.

— Запечатлеться не желаете на память? — спросил он без особой надежды, но Демилле неожиданно согласился. Хоть какое-то развлечение.

Фотограф щелкнул его на фоне моря, потом на фоне крутого обрыва, тянувшегося вдоль берега на некотором удалении от пляжа.

Они разговорились. Фотографа звали Вениамином, на вид он был чуть старше Демилле. Осмотревшись вокруг и убедившись, что с работой сегодня плохо, Вениамин присел на песке рядом с Евгением Викторовичем. После нескольких вступительных фраз о том о сем Демилле обмолвился, что остановился на Северной стороне.

— У меня здесь теща живет. Может, слыхали? Серафима Яковлевна...

— Серафима — гордость Крыма. Как не слыхать...— отозвался фотограф, и едва заметная усмешка мелькнула в его бороде.— Теща у вас — женщина знаменитая. Вам-то лучше знать... Хотя, если наезжаете нечасто, может, что и пропустили из ее деяний. Деяния

у нас каждый месяц. Особенно, когда она на пенсию ушла...

Демилле знал эту историю, под большим секретом рассказанную Лилей еще в прошлый приезд. Серафиму выпроводили на пенсию в шестьдесят лет, устроив очередной юбилей и осыпав подарками. На этот раз обошлось без ордена — должность все же не та и от центра далеко. Но в подарках преобладали вещи пенсионного характера, предназначенные для заслуженного отдыха: шезлонг, хозяйственная сумка на колесиках, самовар, махровые полотенца. Даже моряки-черноморцы вместо традиционного сувенира в виде модели крейсера или подлодки с выгравированной надписью подарили кухонный набор — кастрюльки, ложечки, вилочки... Серафима, когда привезла подарки домой, была мрачнее тучи. Она поняла намек.

Попытки выпроводить ее на пенсию начались, как только она достигла пятидесяти пяти лет. Слишком крупна была ее фигура для сравнительно небольшого института, где она трудилась, слишком обширны замыслы, слишком заметны мероприятия. Например, Серафима сумела заполучить для своих нужд списанный тральщик и наряду с научной деятельностью на его борту использовала судно для коллективных прогулок, выращивала там рассаду для огорода, иногда и стирку устраивала на тральщике (Михаил Лукич в шлюпке доставлял стиральную машину) — очень удобно было сушить белье, бороздя под ветром просторы Черного моря; тральщик, увешанный простынями и наволочками, приобретал фантастический вид и получил даже прозвище «Летучего голландца».

Говорили также, что Серафима, будучи несколько лет депутатом горсовета, носилась с идеей строительства метрополитена, долженствовавшего связать Северную сторону с центром и проложенного в полой бетонной трубе по дну бухты. Очевидно, слух этот был сильно преувеличен, но соответствовал масштабу Серафимы.

Новый директор института, из молодых, чувствовал себя крайне неуютно в соседстве с такой сотрудницей. Поэтому, когда после юбилея Серафима явилась к нему и прямо спросила, следует ли понимать подарки как приглашение на пенсию, пряча глаза, ответил утвердительно. Это была его роковая ошибка.

— Института такого теперь нет. Она стерла его

с лица Земли,— сказал Вениамин, блаженно улыбаясь.— Там сейчас нотариальная контора.

— Каким образом?

— Сначала она распустила слух, что директор — гомосексуалист,— фотограф уже понял, что зять не в восторге от тещи, а потому выкладывал все как есть.— Знаете, такие слухи труднее всего опровергнуть. Никто прямо не говорит... Директор бежал, Серафима напустила на институт три комиссии по письмам трудящихся, и все! Финита ля комедия!

Вениамин все больше нравился Демилле. Они побрели к далекой закусочной по пляжу, а там выпили по стакану сухого вина. Вениамин начал рассказывать про «деяния».

Первым деянием Серафимы на пенсии стала кампания по борьбе с аморальностью. Теща взяла под свое начало добровольную народную дружину и каждый вечер, возглавляя группу пенсионеров с красными повязками, прочесывала скверы и бульвары Северной стороны. Зазевавшиеся матросики, коротавшие увольнения на скамейках со своими подружками в темных уголках, извлекались на свет божий и сдавались патрулю. Девицы подвергались публичному осуждению с сообщением на работу. Очень скоро район очистился от сомнительных парочек, и Серафима начала второе свое деяние — кампанию по борьбе с курением.

Чистота нравов насаждалась последовательно. Курить, конечно, не перестали, но стали делать это скрытно, опасаясь штрафа. Естественно было после такой подготовки взяться за главный бич общества — алкоголизм.

— Тут уж даже я участвовал,— сказал Вениамин, цедя сухое вино.— Помогал оформлять стенды. Фотографировал алкоголиков. У меня прекрасная коллекция подобралась... Но пока искореняли пьянство, снова выросла аморальность, возродилось курение. Начали сначала. Про мелкие кампании я не говорю. Проверяли рынок, репертуар на танцплощадках... Это все семечки...

Опытный глаз Вениамина определил, что пора выходить на заработки. Он поблагодарил Демилле и отправился туда, где раскинулись на песке тела отдыхающих. Демилле в плавках и с портфелем в руках побрел куда глаза глядят, пока не пристроился в тени чахлого деревца.

На следующий день он наведался на почту справиться о телеграмме; потом повторил визит. На третий раз понял: телеграммы от Ирины не будет.

Дни сначала тянулись, потом побежали один за одним, похожие друг на друга, как тещины вареники, которыми она неизменно потчевала зятя: с вишнями, с творогом, с абрикосами. Пару раз он встречался с Вениамином за бутылкой сухого вина в той же закусочной, причем узнал несколько новых историй про Серафиму и даже про себя с Ириной. Фотограф проникся к Евгению Викторовичу полным доверием и на третий раз решился рассказать о том, что известно общественности о родственниках Серафимы, опять-таки с ее слов.

Переполняясь сначала изумлением, а потом негодованием, Демилле слушал из уст практически незнакомого ему человека историю своей женитьбы, искаженную до неузнаваемости. Он узнал о том, что добился Ирины хитростью, обманув доверчивую девушку, и не женился бы на ней, если бы теща сама не привела его в загс; что он бездельник, пьяница и потаскун (отчасти верные, но очень уж гиперболические определения); что Ирина проклинает тот день, когда вышла за него замуж; что он диссидент, да-да! — и что он, наконец, спит и видит, когда станет хозяином особняка на Северной стороне после смерти тещи и тестя. Вениамин излагал это, сардонически улыбаясь.

— Будете опровергать? — спросил он.

— Попробуй опровергни! — Демилле нервно рассмеялся.

По словам Вениамина, сведения, сообщенные им о Демилле, знал каждый второй житель Северной стороны. Фотограф советовал выбросить все из головы, поскольку бороться с инсинуациями не представлялось возможным.

И Лилина история, оказывается, была известна, правда, вывернутая наизнанку. В частности, переезд семьи в Севастополь трактовался как единственная мера по спасению чести дочери. Убивши любовь и ребенка, мать спасала Лилину честь! Каково? Слушая фотографа за бутылкой вина, Демилле шепотом матерился.

— Вы не думайте. Некоторые люди Серафиме Яковлевне не верят,— успокаивал Вениамин.

— Некоторые! А большинство?

— А что вам большинство? Вы же тоже из «некоторых».

Это тонкое замечание фотографа заставило их выпить еще одну бутылку. Здесь Демилле дал промашку, ибо бдительное антиалкогольное око Серафимы мигом засекло, что зять слегка под мухой, когда Евгений Викторович вернулся домой. Это послужило сигналом к наступлению.

Через пару дней Демилле стал ощущать внимание соседей и незнакомых людей. Его провожали взглядами, перешептывались. Однажды удалось расслышать: «Бесстыжие глаза...» Демилле нервничал. Серафима Яковлевна по-прежнему кормила варениками и расточала гостеприимство, особенно на людях.

Лиля разъяснила ситуацию в одной из вечерних бесед, которым они предавались наверху, в гостевой комнате, когда прохлада опускалась на раскаленный город.

— Женя, пойми меня правильно. Тебе лучше уехать.

Демилле и сам это чувствовал, но все же спросил: почему?

Оказывается, он бросил жену с ребенком в Ленинграде, а сам под видом командировки пьет и валяется на пляже (донесли доброхоты); теща, надрываясь, как ломовая лошадь, тащит хозяйство, а он палец о палец не ударит. Вот в таком разрезе. Лиля сказала, что об этом твердит уже вся улица.

Демилле расстроился. Уезжать надо было немедля, но куда? В Ленинграде все в отпусках, придется снова искать пристанище... Кроме того, удерживала начавшаяся уже Олимпиада и тещин цветной телевизор, перед которым он просиживал вечерами, наблюдая за соревнованиями.

— Как ты можешь с нею жить? Как ты можешь с нею жить, Лиля? — сочувственно повторял Демилле.

— Привыкла... Почему-то у меня нет на нее зла. Я сама удивляюсь.

Вскоре стемнело, над бухтой зажглись крупные, величиною с кулак, звезды. Под окном возник шум — вернулся пьяненький тесть. Михаил Лукич последнее время стал попивать; он и раньше не чурался, но с тех пор, как Серафима вышла на пенсию и усилила размах хозяйственной деятельности и общественной работы, Михаил Лукич стал прикладываться чаще, несмотря на антиалкогольные устремления жены. Его страждущая

порядка душа не могла выносить безалаберности и показухи, когда стряпанье обедов, кулинарные заготовки, хозяйственные нововведения делались больше для того, чтобы поразить воображение соседей, чем для дела; причем Серафима обычно лишь начинала очередную кампанию, а доводить дело до ума приходилось тому же Михаилу Лукичу. Он поневоле топил протест в вине: начинал шуметь, но не конкретно, а вообще производил разного рода крики, среди которых излюбленным был: «От винта!!!» Обычно Серафима легко его утихомиривала, и бедному Михаилу Лукичу приходилось в течение двух-трех дней зарабатывать горбом прощение.

Вот и сейчас, как только Серафима вернулась из дружины с повязкой на голой руке, она сразу задала мужу перцу, и он сдался на удивление быстро, так что Серафима даже не размялась как следует. «Да перестань, заяц!.. Ну что ты, заяц...» — бормотал Михаил Лукич примиряюще. А она кричала (опять-таки с расчетом на соседей): «Я тебе покажу „заяц"! Ты думаешь, раз ты мой муж, я тебе прощу?! Я и в своем доме пьянства не потерплю!» И тому подобное. Через пятнадцать минут разбитый наголову заяц Михаил Лукич уже храпел в постели.

Но заяц Серафима только-только вошла во вкус. Демилле знал по опыту, что это — надолго. Устроившись под навесом с теткой Лидой, Серафима до поздней ночи выпускала пар и перемывала мужу косточки.

Демилле еле дождался, когда они утихомирятся и уйдут в дом, после чего спустился покурить. Он вышел к ограде, нашел какой-то ящик и уселся на нем в черной тени виноградника. Луна стояла высоко, заливая светом пустую улицу; бухта вдалеке сияла огнями кораблей...

Вдруг он услышал топот ног: по улице бежали двое парней. У одного в руках была пустая трехлитровая банка. Парни добежали до калитки тещиного дома и остановились. «Звони!» — тяжело дыша, сказал один. «Перебужу народ».— «Звони, не бойся! К ней отдельно». Парень с банкой нажал на кнопку. Через некоторое время из дверей дома показалась Серафима в махровом халате. Она не спеша пошла к калитке.

Демилле затаил дыхание и прижался к ограде, совсем утонув в ночной тени. «Тетя Сима, нам как всег-

да! Вы уж простите, что поздно!» — «Фу, алкоголики несчастные!» — добродушно фыркнула она, взяла пустую банку и отправилась за дом. Демилле слышал, как лязгнул засов погреба. Через несколько минут Серафима вернулась с полной банкой вина. Парень принял ее через калитку и сунул Серафиме деньги. «Спасибо!» — «Пейте на здоровье. Только днем мне не попадайтесь — заберу!» — «Да мы знаем».

Серафима вернулась в дом, а парни, отойдя несколько шагов от калитки, по очереди приложились к банке. «Крепленое! Я тебе говорил!» И исчезли.

На следующее утро Демилле демонстративно никуда не пошел, не спустился и к завтраку. Тетка Лида зудела под окном, как муха: «Спять, как баре. Подай-принеси, без прислуги не могуть...» — конечно, это относилось к нему. Он сходил на пристань, рядом с которой была железнодорожная касса, и узнал, что с билетами плохо. Собственно, это надо было предполагать. С большим трудом, пользуясь обаянием и жалобами на безвыходные обстоятельства, ему удалось уговорить кассиршу принять заказ. Ближайший срок был — через неделю. «Продержаться бы эту неделю»,— подумал он.

Но продержаться не удалось. Вечером Демилле, прихватив транзисторный приемник тестя, ушел гулять на холм Славы, чтобы не мозолить глаза. Здесь продувал теплый ветерок, внизу ползали по бухте катера; от причала Нахимовской пристани отваливал белый теплоход.

Неподалеку на составленных одна к другой скамейках сгрудилась компания молодежи с магнитофоном и гитарой. Демилле вытянул из транзистора прутик антенны и принялся крутить ручку настройки. Сквозь вой и скрежет помех доносились музыка, иностранная речь, заунывное восточное пение... Он услышал вдруг русскую речь с той характерной интонацией, которую не спутаешь с другой. Женский голос с металлической окраской и почти неуловимым акцентом передавал новости. Голос то замирал, то усиливался, на его фоне пульсировала морзянка. «Сегодня в Москве скончался известный актер театра и кино, исполнитель популярных песен Владимир Высоцкий»,— тем же равнодушным, констатирующим голосом сказала дикторша, а дальше было не разобрать, свист, скрежет...

Демилле сидел оглушенный. Неужели правда? Да, в таких вещах они не врут. Это не какой-нибудь коммен-

тарий, а факт. Смерть. Господи, как нелепо!.. Его охватила горечь, он понял внезапно, что произошло нечто важное не только для него, но для русской жизни вообще. Чувство это было не похоже на то, что он пережил со смертью Аркадия. Там было сожаление по поводу незадавшейся жизни, здесь — боль, горечь и почти мгновенное осознание масштаба потери не для искусства даже, а именно для нации. И не в популярности тут дело, а в том — каким путем и почему пришла эта популярность. И даже не в этом, а в чем — объяснить нелегко.

Словно в подтверждение его мыслей, из магнитофона на соседней скамейке вырвалась песня Высоцкого. «Я стою, как перед древнею загадкою, пред великою и сказочной страною. Перед солоно да горько-кисло-сладкою, ключевою, родниковою, ржаною...» Он поднялся со скамейки и пошел к тещиному особняку. Какое-то неудобство было в мыслях, некая неловкость, пробивавшиеся сквозь раздумья о Высоцком. Уже подходя к дому, он понял: стыд! Этим чувством был стыд. Ему, русскому человеку, сообщил эту горестную весть чужой, иностранный голос! Да разве могут они понять — чем он был для нас?!

За ужином Демилле был мрачен, безмолвствовал. Теща тоже была не в духе, что выражалось в зловещем звоне посуды. Лиля сидела, не поднимая глаз: она слишком хорошо знала эти признаки надвигающейся бури.

— Ты знаешь, Лиля, Высоцкий умер,— наконец обратился к ней Демилле, чувствуя, что затевать любой разговор опасно.

Серафима Яковлевна ждала лишь повода, чтобы ринуться в бой.

— Это какой Высоцкий? — встрепенулась она.

— Актер,— коротко ответил Демилле.

— Это который хрипит? Таких актеров на базаре пучок — пятачок.

— Он очень популярен,— примиряюще заметила Лиля.

— Популярен среди алкоголиков. И сам алкоголик. Оттого и подох! Полудурок!

Мгновенное бешенство закипело в Демилле. Он побледнел, чувствуя, как начинает предательски дергаться нижняя губа. Стараясь унять дрожь, произнес с расстановкой:

— Вы не смеете так говорить. Этот человек сказал о русской жизни...

— О русской жизни?! — перебивая его, загремела теща.— Да ты-то что понимаешь в русской жизни?! Русский нашелся!

— Ну, заяц...— попытался успокоить ее Михаил Лукич, но Серафиму было уже не остановить.

— А что, неправда? Наплодили бездельников! Один бездельник орет, другие подхватывают! А сами палец о палец не ударят! Интеллигенты вшивые! Вы, что ли, страну защищали? Вы ее строили? А туда же — орать! Обличать! Диссиденты вы, антисоветчики, а не русские! И Высоцкий ваш — антисоветчик! Русские — мы!

Серафима и Демилле смотрели друг на друга ненавидящими глазами. Приступ бешенства у Демилле прошел, дрожь внезапно унялась.

— Да... Вы — русские...— медленно начал он.— Вы из тех русских, которые во все времена были сытым самодовольным стадом. Вы — русские, которым не нужна русская культура. Вам никакая не нужна! — выкрикнул он, чувствуя, что губа снова начинает прыгать.— Я ненавижу вас!

Теща улыбнулась, глядя на Демилле. Казалось, ей были приятны его слова.

— Вот и договорился, зятек... Вот и показал себя,— покачивая головой, произнесла она и оглянулась, точно ища поддержки. За изгородью, отделяющей сад от соседнего участка, уже торчали головы соседей.

— Мы его варениками кормим, а он советскую власть хает,— возвысила голос теща.

— Вы — не советская власть! Не путайте! — закричал Демилле, вскакивая с места.

— Я-то не путаю, я никогда не путала. Учить меня вздумал, сопля несчастная. Барчук! Мало мы вас душили!

— Мама...— простонала Лиля.

— Ну, заяц...— убитым голосом поддержал Михаил Лукич.

Демилле бросился наверх, сопровождаемый криками тещи. Слава богу, собираться недолго! Он затолкал в портфель вещи, огляделся — не забыл ли чего? На глаза ему попалась гипсовая статуэтка, изображавшая Венеру Милосскую,— грубая рыночная поделка, которыми полон был дом. Не помня себя, он схватил ее за талию и грохнул на пол. Она вдребезги разлете-

лась, что несколько успокоило Евгения Викторовича. На ходу застегивая портфель, он сбежал вниз.

У выхода из дома его ждала Лиля. Поодаль, за столом, еще бушевала буря.

— Женя... Ну зачем? Куда ты? — шептала Лиля.

— Прости. Не могу больше,— Евгений Викторович поспешил к калитке.

Последнее, что он увидел, затворяя калитку со стороны улицы, были страдающие, полные слез Лилины глаза. И потом, когда взбирался на кручу, долго слышал позади выкрики тещи: «Катись! Катись!» — сопровождаемые ее бурным хохотом.

Глава 29.

ДАЧНАЯ ХРОНИКА

Участок зарос высокой, в Егоркин рост, травой — крепкой, высушенной солнцем, с метелочками соцветий, над которыми, ворча, нависали пчелы. Длинные жилистые стебли делали траву похожей на деревья, и Егорке легко было представить себя крохотным в дремучем лесу трав, когда он, присев на корточки, утонув в зелени, следил внимательным взглядом за трудолюбивой жизнью муравьев и божьих коровок.

Серый некрашеный забор вокруг участка обветшал, покосился, зиял дырами в частоколе, сквозь которые Егорка выбирался наружу — в чистый сосновый лес с подстилкой из мха и пружинящими кустиками черники. Здесь хорошо было притулиться спиною к дряхлому пню и аккуратно, по одной обрывать фиолетово-черные ягодки, от которых синели пальцы.

Просторный участок с запущенным садом, летняя кухня с высокой печной трубой, торчавшей из крыши, точно труба парохода, сараи, колодец, приземистая баня, сам бревенчатый дом стали для Егорки неведомой страною, требующей исследования. В дровяном сарае висело серое, как валенок, осиное гнездо, вокруг которого угрожающе вились осы. Затаив дыхание, Егорка следил за ними снизу, стараясь не шелохнуться, чтобы избежать нападения. Под сараем изредка слышалось шуршанье. Там жил еж, которого Григорий Степанович называл Гавриком. В крыше сарая были дыры, будто голубые заплатки неба на угольном с блестками слюды рубероиде.

Все было ветхим, с прорехами; ржавые гвозди болтались в трухлявом дереве, скрипели дверные петли, стучал ворот колодца, сбрасывая ведро в длинную бетонную трубу, на дне которой блестело глазом пятнышко воды.

Тем более странной среди этого запустения казалась искусственная страна, огороженная низеньким забором и находившаяся посреди двора. Она имела размеры шесть на шесть метров и представляла собою миниатюру паркового искусства: постриженные кусты туи, две скамеечки оригинальной формы, аллейки, посыпанные гравием, искусственный ландшафт, по которому были проложены рельсы электрической железной дороги с многочисленными стрелками, ответвлениями, мостами, туннелями, семафорами, домиками стрелочников. Григорий Степанович называл ее «Швейцарией»; первым делом по прибытии на дачу он восстановил железную дорогу, находившуюся в доме на зимнем хранении. Егорка помогал ему с горящими от восторга глазами.

На торжественное открытие «Швейцарии» были приглашены Мария Григорьевна и Ирина Михайловна. Генерал усадил их рядом на одной скамеечке, сам сел с Егоркой на другую, держа в руках пульт управления. Составчик в пять вагонов уже стоял на рельсах у маленькой платформы.

— Ну, с богом! — провозгласил генерал.— Давай, Егор!

И Егорка осторожно повернул ручку регулятора. Состав дрогнул и с жужжанием покатился по рельсам, нырнул в туннель, пересек по мосту ручеек, свернул на стрелке и покатил дальше, объезжая скамейки. Обе женщины, генерал и Егорка следили за ним, как за чудом. Генерал управлял стрелками. Они еле слышно щелкали, заставляя вагончики с электровозом причудливо изменять путь.

— Ну вот. «Швейцария» заработала,— удовлетворенно сказал генерал.

Ирина кинула обеспокоенный взгляд на кухню, откуда доносилось шипение и скворчание.

— Григорий Степанович, я пойду. У меня там картошка на плите...

— Одну секундочку, Ирина Михайловна! Сейчас только пройдем тоннель. Егор, прибавь скорость!

Егор подкрутил регулятор. Поезд нырнул в отрезок бетонной трубы, торчавшей обоими концами из живо-

писного холма с игрушечным замком на вершине, и через несколько секунд деловито появился с другой стороны.

Ирина покинула «Швейцарию» по аллейке, шурша гравием.

— В «Швейцарии» хорошо... а дома лучше! — резюмировал генерал.

Снялась со скамеечки и Мария Григорьевна, не проронив ни слова. Генерал вздохнул. Лицо его погрустнело.

С первого дня на даче почувствовалось напряжение между Марией Григорьевной и Ириной. Они были корректны друг с другом, но не больше. Все попытки Григория Степановича шуткою ли, разговором сгладить острые углы кончались неудачей. Ирина сразу взяла на себя хозяйство. Генерал настоял, чтобы стол был общим, сам приносил продукты из местного магазинчика, иной раз ездил за ними в город. Кроме хозяйственных забот, заставляли ездить дела: Григорий Степанович проникся заботами кооператива и стал как бы посредником между Правлением и жильцами соседних домов, которые по-прежнему писали жалобы и требовали убрать с Безымянной нежданных гостей. Приходилось участвовать в работе различных комиссий, разбирать заявления, уговаривать, обещать... Генерал возвращался на дачу хмурый и, свалив в кухне рюкзак, набитый продуктами, «эмигрировал» в «Швейцарию», как он выражался, и гонял там с Егоркой игрушечные составы по рельсам, мурлыча одну и ту же песню: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я...»

Кроме продуктов Григорий Степанович привозил из города цветы. Букетик гвоздик всегда торчал из рюкзачного кармана, точно флажок; по нему можно было безошибочно узнать издали фигуру генерала, шагающего с рюкзаком на плечах со станции в пестрой толпе дачников. Гвоздики вручались церемонно, что приводило Ирину в замешательство, а у Марии Григорьевны вызывало плохо скрываемую усмешку.

Уже через неделю после переезда на дачу Ирина почувствовала, что совершила ошибку. Не говоря об отношениях с дочерью генерала, не давали покоя соседские пересуды. По дачному поселку тут же поползли разного рода слухи — генерал был фигурой заметной. Муссировались две версии: «прислуга» и «любовница»;

обе одинаково неприятны были Ирине, сумевшей легко распознать их в прозрачных расспросах дачников, происходивших, как правило, во время долгого стояния в очереди за молоком. Окончательно лишила Ирину покоя профессорская вдова, жившая по соседству. До поры до времени она лишь обдавала Ирину презрительным взглядом при встрече, но наконец не удержалась и вывалила все, что думает по этому поводу, прямо у калитки, на ходу, ни с того ни с сего. Память о жене Григория Степановича, многолетняя дружба... незабвенная... мой долг сказать... это бесчестно, я удивляюсь нынешним молодым женщинам...— и прочее в том же духе. Ирина поняла, что ее считают уже не любовницей даже, а претенденткой во вдовы и наследницы, сумевшей окрутить несчастного генерала, который «совсем потерял голову». Ирина слушала покорно, опустив руки, нагруженные продуктовыми сумками, и говоря себе, что нужно немедленно уйти — но не уходила. Она действительно чувствовала себя виноватой.

Ирина понимала, что поведение генерала трудно истолковать иначе. Слишком заметны были гвоздики, торчавшие из рюкзака, слишком весело разносился по окрестностям его красивый, помолодевший голос. Она также догадывалась, что бесполезно просить генерала изменить свое поведение. Он просто не поймет, скажет: «Пустяки!» Вот уж кому совершенно было наплевать на чужие мнения.

Посему Ирина решила: немедленно уезжать! Но легко сказать, да трудно сделать. Бежать тайно с Егоркой и вещами почти невозможно, да и некрасиво после всего того, что она наделала; объясняться не менее трудно... Необходимо было придумать причину отъезда. Ее мысли естественно обратились к исчезнувшему мужу. Нельзя сказать, что она о нем совсем забыла, напротив — думала постоянно, но эти думы не побуждали ее к действиям, она с удивлением замечала, что отсутствующий муж ей вроде бы удобнее. Иногда ночами находили тоска и желание, но она справлялась с ними несколькими таблеточками пипольфена. И все же она была номинально замужней женщиной, что позволяло спрятаться за эту вывеску. Теперь, как и в том случае с назойливым подполковником, Ирина прибегла к ее помощи.

Изобретя повод, она оставила Егорку на генерала и съездила в город. Там было жарко, пыльно, безлюдно.

Она с трудом разыскала родной дом: за прошедшие дни его успели закамуфлировать, то есть оштукатурить с торцов, выходящих на Залипалову и Подобедову, и выкрасить в тон прилегающим зданиям, так что теперь его было почти не отличить от домов старой постройки. И еще одно новшество отметила Ирина, подойдя к щели: несколько объявлений об обмене, наклеенных на свежевыкрашенной стене. Все они начинались словами: «Меняю квартиру в этом доме...», причем за трехкомнатные просили квартиры из двух комнат, а за двухкомнатные — из одной. «Бегут»,— подумала она с горечью и сама же ей удивилась: казалось бы, вполне естественное решение в сложившейся ситуации. Однако объявления ее покоробили, задели гражданское чувство, если можно так выразиться.

В ущелье ей встретился Рыскаль — похудевший и почерневший, в летней форменной рубахе с закатанными рукавами и фуражкой на затылке. Осветительная арматура сияла всеми ваттами своих ламп, в проходе между домами было чисто — ни соринки. Рыскаль обрадовался живому человеку, принялся рассказывать о достижениях. Во всех квартирах нижних этажей, наиболее страдавших от темноты, поставили лампы дневного света, от проспекта Щорса тянут ветку канализации. «И ваши дела устроятся»,— сказал он со значением. «А что, уезжают, Игорь Сергеевич?» — поинтересовалась Ирина, пропустив мимо ушей реплику майора. «Уезжают,— вздохнул майор.— Четверым уже подписал документы на обмен. А что я могу сделать? Конституцию нарушать нельзя».

Ирина поднялась к себе на девятый этаж, в квартиру, носившую следы поспешного переезда на дачу, и принялась убираться, мысленно готовя себя к разговору с генералом. Ее смущал обман, который она замыслила, а именно: она намеревалась объявить Григорию Степановичу о возвращении мужа и тем мотивировать свой отъезд с дачи. Но... во-первых, генерал мог легко проверить, для этого ему не пришлось бы даже справляться у соседей — достаточно взглянуть в собственное окно; во-вторых, Ирина опасалась решительного характера генерала. Вполне возможно, он станет оборонять ее от Жени. Ирина рассердилась: едва получив покой и свободу, она тут же попала в новую зависимость! Надо же ухитриться! С какой, собственно, стати? Она ничем не обязана Григорию Степановичу, платить

за его участие рабством — унизительно. Подумала она и о самом естественном выходе из создавшегося положения, то есть о действительном возвращении мужа, для чего достаточно было снова позвонить Любаше, покаяться и попросить связать ее с Женей. Все было бы хорошо, но вот «покаяться»... Этого она не терпела. Добро бы покаяться перед Женей — в чем? в чем? — нет, она чувствовала, что каяться нужно перед Любашей, иначе та просто не начнет разговора. О том, чтобы разыскать Демилле через его службу — институт, отдел кадров,— она не думала вовсе. Тут хоть ножом режь: сама мысль о жене, пытающейся вернуть супруга через служебные инстанции, была ей глубоко противна.

Оставался обман. Она тешила себя мыслью, что генерал, даст бог, обидится — так, неглубоко — и не станет проверять. А там, глядишь, и Женя объявится. Каким образом он это сделает, она старалась пока не думать.

Вернувшись на дачу, она долго не могла улучить момент для разговора с генералом и лишь часов в десять вечера, когда Мария Григорьевна поднялась к себе в мансарду и затворилась, нашла случай подходящим. Они остались вдвоем на кухне перед телевизором, по которому показывали Сопотский фестиваль. Ирина сидя перетирала вымытую посуду, а Григорий Степанович в шерстяном трикотажном костюме тихонько раскачивался в кресле-качалке — любимом месте отдыха, причем надо заметить, что на даче имелась особая плетеная качалка, отличная от деревянной городской.

Едва Ирина собралась с духом, как генерал, оттолкнувшись ногами от пола, резко повернул кресло к ней и начал разговор первым.

— Иринушка Михайловна, я давно хотел с вами поговорить. Предмет весьма щекотливый, вы только поймите меня правильно...

У Ирины все оборвалось внутри: опоздала! Она продолжала механически водить полотенцем по блюдцу, уже догадываясь о «предмете» разговора.

Генерал волновался, стараясь скрыть волнение благодушным убаюкивающим покачиванием, но кресло против его воли заскрипело сильней, точно жалуясь на что-то. На лысине генерала выступили мельчайшие капельки пота. Ирине хотелось вытереть эти капельки полотенцем. «Он ведь чужой мне человек,— подумала она.— Как все нелепо!»

— Меж нами тридцать лет разницы,— сказал генерал и издал короткий сдавленный смешок.— Я старше вас на революцию, эпоху социалистического строительства и Великую Отечественную войну. Итого, я старше вас на три эпохи...

Ирина попыталась что-то сказать, но он остановил ее жестом.

— Погодите... Быть может, вам покажется странным, быть может, и смешным, хотя последнего, видит бог, мне очень бы не хотелось, но поверьте, что я глубоко благодарен судьбе, Ирина Михайловна, за то, что получил от нее неслыханный подарок...

Ирина протестующе подняла руки с полотенцем, стараясь защититься от его красивого бархатного голоса, от плавных и старомодных оборотов речи.

— Я говорю не о вас, такой подарок был бы мною не заслужен, хотя и желанен, но сие от меня мало зависит. Я говорю о том чувстве, давно и навсегда, казалось, забытом, которое я сейчас испытываю. Я говорю о любви. Я абсолютно уверен в глубине и силе моего чувства. Я люблю вас, Ирина Михайловна, и благодарен вам за то, что вы осенили мою старость лучшим из чувств, которыми наделила нас природа...

Григорий Степанович перегнулся в поясе и не без труда выбрался из соломенной качалки. Подойдя к Ирине, он мягко вынул из одной ее руки блюдце, из другой полотенце, положил их на стол и лишь после этого, приняв в свои ладони обе руки Ирины, наклонился и прикоснулся к ним губами.

Ирина не могла оторвать глаз от капелек пота на его лысине, с ужасом припоминая слова отказа, которые были бы уместны в этом случае.

Генерал отошел от нее, но в кресло не сел. Он с недоумением взглянул на экран телевизора, будто только что заметил там молоденькую лохматую певицу, которая, казалось, грызла микрофон белыми зубами, точно капустную кочерыжку. Генерал нахмурил брови и выключил телевизор. Она поняла, что он ждет каких-то ее слов, но молчала.

— Я не осмеливаюсь предложить вам руку, хотя это было бы для меня истинным счастьем, но сердце мое я отдаю вам без вашего согласия, ибо оно принадлежит мне, и я вправе им распоряжаться...— Григорий Степанович усмехнулся.— Я хотел бы только смиренно попросить вас об одном: быть рядом. Я сделаю для вас и Егора

все, что в моих силах, только будьте со мною, чтобы я мог видеть вас, разговаривать, целовать ваши руки...

Он опять сделал к ней шаг. Ирина порывисто поднялась со стула, отвернулась к плите и, схватив подвернувшуюся под руки тряпку, принялась тереть ею по белой эмали.

— Не надо, Григорий Степанович, я вас прошу...— мучительно выговорила она.— У меня муж есть.

Последняя фраза сорвалась совсем по-глупому, помимо ее воли. Генерал остолбенел, и вдруг бурно расхохотался, так что Ирина испуганно обернулась.

— Ах, вы в некотором роде замужем? Простите великодушно! Как это я не подумал? Старый дурак!..

Он с размаху плюхнулся в кресло, отчего оно взвизгнуло и откачнулось с такою силой, что едва не выбросило генерала назад. Смех генерала оборвался так же внезапно, как начался. С минуту он молча и быстро раскачивался в кресле, вцепившись пальцами в подлокотники.

— Мужа вашего я презирал. Теперь ненавижу,— сказал он.— Простите, что я, так сказать, вторгаюсь в вашу личную жизнь, но со стороны виднее. Он жалкий человек, ему не хватило воли проявить себя в деле, и он отыгрался на вас. Он лишил вас своего «я». Не спорьте! — поднял руку генерал, увидев, что Ирина собирается протестовать.— Вы несли на плечах не только груз своих забот, но и все его несчастья. Но он даже этого не ценил. Вам нужно развестись с ним, Ирина Михайловна, и как можно скорее. Если бы я не был в этом абсолютно уверен, я так не сказал бы... Я уже говорил с Игорем Сергеевичем. Он сказал, что ввиду особых обстоятельств суд мог бы развести вас по вашему заявлению, не спрашивая его согласия.

Вот так новость! У Ирины руки упали. Оказывается, за нее все уже решили. Только сейчас до нее дошел смысл оброненной Рыскалем фразы: «И ваши дела устроятся». Вот какое устройство он имел в виду!

Ирина покраснела и уже готова была возмутиться, как вдруг в кухне появилась Мария Григорьевна. Она двигалась медленно и плавно, как сомнамбула. Не говоря ни слова, она приблизилась к шкафчику и достала оттуда начатую бутылку вина, оставшуюся с воскресного обеда.

— Маша! — воскликнул генерал.

— Прошу прощения,— сказала она нетвердыми гу-

бами.— А вы тут секретничаете...— она медленно погрозила им пальцем, потом приложила его к губам и удалилась.

— Это меня бог наказал,— серьезно проговорил генерал.

Гнев Ирины улетучился, она выскользнула из кухни и закрылась в своей комнате. Долго не могла заснуть, слушая, как мерно поскрипывает в кухне генеральская качалка. Потом услышала, как Григорий Степанович, осторожно ступая, прошел мимо ее двери на свою половину.

Утром Григорий Степанович долго не появлялся к завтраку. Мария Григорьевна тоже не показывалась. Ирина не знала, что ей делать: стучаться? помогать генеральской дочери? вызывать врача? Григорий Степанович наконец показался, сказал тихо: «Я сам ею займусь. Я знаю, что ей нужно».

Он поднялся к дочери, а через минуту спустился вниз и пошел к магазину. Когда он вернулся, Ирина заметила у него в сумке бутылку. Вечером он снова пошел в магазин и опять принес дочери выпить. Так продолжалось три дня. На все вопросительные взгляды Ирины генерал спокойно кивал: «Я знаю, что я делаю. Я всегда так вывожу ее из запоя». На четвертый день генерал принес лишь одну бутылку сухого вина и три литра молока. Несколько часов он не выходил из мансарды. Ирина прислушивалась, там было тихо. На пятый день Мария Григорьевна выздоровела. Она сошла вниз с серым лицом, на котором выделялись обведенные синими кругами глаза, и жалко улыбнулась Ирине. Отец поддерживал ее за локоть. Он тоже выглядел плохо, подавленно, глаза были как у побитой собаки.

Ирине нестерпимо жаль стало обоих.

После этого случая отношение Марии Григорьевны к Ирине переменилось. Она стала мягче, потихоньку начала разговаривать, сначала очень коротко, бросая в пространство предназначенную Ирине фразу, как бы размышляя вслух и не требуя ответа. Через неделю между ними стали завязываться короткие беседы: о книгах, об увиденном по телевизору, о детях, причем Мария Григорьевна всегда сама начинала разговор и сама же его прекращала внезапно, будто решив, что на сегодня хватит. Ирина не навязывалась, была ровна и спокойна. Она чувствовала, что Мария Григорьевна наконец заинтересовалась ею, разглядела в ней человека или

начинает разглядывать, а раньше не видела ничего, кроме мнимых шашней с отцом.

Григорий Степанович в этот период находился больше в городе: то ли так совпало, то ли намеренно не хотел мешать наметившемуся сближению дочери и Ирины.

Вскоре состоялся разговор. Начался он неожиданным выпадом Марии Григорьевны. Весь день она была кроткой, задумчивой, но вечером вдруг преобразилась. Дождавшись, когда Ирина уложит Егорку, она встретила ее в кухне со странной усмешкой на губах и тут же спросила вызывающе:

— Ну так что, вы собираетесь выходить за отца?

Ирина вспыхнула, с трудом подавив в себе ответ в том же тоне.

— Нет,— сказала она.

— Почему же? Выгодная партия. Я бы на вашем месте подумала.

— Я уже подумала,— ответила Ирина.— Вам чаю налить?

— Спасибо.

С минуту, пока Ирина наливала чай и выставляла на стол конфеты и сушки, Мария Григорьевна молчала, потом придвинула к себе чашку и начала медленно помешивать чай ложечкой.

— Почему вы не кричите на меня? Почему терпите? Я же вас оскорбила,— задумчиво проговорила она.— Неужели вы святая? Не верю!

Она швырнула ложечку на стол.

— Я догадалась, что вы специально,— пожала плечами Ирина.— Зачем же кричать?

— Простите меня, я не буду так больше. Я вас по-хорошему теперь спрашиваю: вы не собираетесь замуж за папу?

— Я же сказала — нет.

— Ирина Михайловна, он вас любит. Может быть, вы будете счастливы. Он-то — точно. Я не помню его таким. Теперь я вижу, что вы тут ни при чем, вы не провоцировали это чувство. Останьтесь с ним и... избавьте его от меня,— неожиданно закончила она.

— Избавить от вас?

— Все про него говорят: «Какой милый человек ваш отец!». Пожили бы с ним! Я нехорошо говорю про него, но я очень устала. Бедная мама! Одни его игры чего стоят! Это все совсем не так безобидно, особенно после

того, как он ушел в отставку. Чудаки украшают жизнь, очень может быть, но только чужую. Чудачества близких стоят крови,— говорила Мария Григорьевна.— Мы мучаем друг друга, вы мучить не будете. Ему стыдно за меня, он же надоел мне своей мелочной опекой. Мне тридцать пять лет! Он считает, что виноват в моей... болезни, пагубной привычке — называйте как хотите! Поэтому все терпит...

— Он? Виноват? — Ирина не понимала.

— Ах, ни в чем он не виноват! Глупая мнительность. Он считает, что приучил меня к шампанскому. Он пьет только шампанское, в нашем доме оно рекой лилось... Мне тоже давали с шестнадцати лет, отец полагал, что в этом нет ничего страшного... Но начала пить я в замужестве. Мой муж не хотел иметь детей. Сначала говорил, что рано. Я пила все больше. Потом он стал говорить, что мне нельзя рожать, что я алкоголичка. А я еще больше пить стала. Мы разошлись... Ирина Михайловна, выходите за него, отпустите меня. Я с ним никогда не брошу, я знаю. Одна — может быть.

...Они просидели чуть не до утра, пока на дворе начало светать и в поселке запели петухи. Ирина тоже рассказывала — больше о семье родителей, меньше о муже. Происходило сближение, но кто знал, на каком расстоянии нужно остановиться?

Через несколько дней генерал привез из города письмо Ирине, переданное ему Рыскалем. Письмо было от Лили. Ирина прочитала его и всполошилась. Женя был в Севастополе! Лиля все знает! Она-то думала, что он живет припеваючи, а он разыскивает их, страдает, он взвинчен. Разве мог он в других обстоятельствах пойти на такой скандал с матерью? Куда он теперь поехал? Ирина готова была все простить и даже покаяться. А тут еще Егорка, вертевшийся вокруг генеральского рюкзака с яблоками, помидорами, клубникой, обратил внимание на письмо и задал невинный вопрос: «Это от папы?»

Ирина покачала головой. Григорий Степанович, внимательно следивший за выражением ее лица, когда она читала письмо, подоспел тут же, усадил: «Что вас так взволновало, Ирина Михайловна?» Ирина покосилась на Егора, генерал понял и отвел мальчика в «Швейцарию». Запустив состав и передав Егорке пульт управления, он вернулся в кухню.

— Кто-нибудь приезжает? — спросил он.

— Почему вы так думаете?

— Я так не думаю. Игорь Сергеевич просил меня задать вам этот вопрос. Если кто-нибудь приезжает, он должен знать.

— Никто не приезжает,— сказала Ирина со вздохом.— Мой муж был у матери в Севастополе. Он нас ищет.

— Ага! А вы и разнюнились! Бедняжка! Съездил на юг, покупался, поел тещиных разносолов. Страдалец! — саркастически начал генерал.

— Григорий Степанович! — укоризненно проговорила Ирина.

— Я шестьдесят пять лет Григорий Степанович... Впрочем, нет. Наврал. Григорий Степанович я всего-то лет тридцать. Раньше был Гришей...

Генерал старался развеселить Ирину. Она заметила, что он чем-то доволен, будто знает какую-то тайну. Ей это было неприятно. Она попыталась закончить разговор.

— Вы его совсем не знаете. Он хороший человек, но... слабый.

— Да перестаньте вы его жалеть! — воскликнул генерал.— Мало его секли.

— Он уже достаточно пострадал,— сказала она.

— Ах, бросьте! — генерал махнул рукой, схватил яблоко и с хрустом откусил. С аппетитом пережевывая кусок, он продолжал: — Я о нем все прекрасно знаю. Итак, гражданин Демилле Евгений Викторович официально обращался в соответствующие инстанции с просьбой помочь ему в розысках его семьи один раз. Один раз! — вскричал генерал.— Было это на второй или третий день после вашего перелета. Надеюсь, сообщению Игоря Сергеевича вы поверите? Далее...

Генерал остановился, любуясь произведенным эффектом. Снова надкусил яблоко, прожевал и продолжал уже спокойнее:

— Далее. В проектном институте, с парторганизацией которого я связался, считают вашего мужа откровенным балластом. Я ничего не выдумываю. Надо хоть раз в жизни посмотреть правде в глаза. Когда-то был способным, но сломался. Бабы, вино, лень. Изнежен и инфантилен... Это еще не все. Последнее время ведет странный образ жизни, прогуливает, по слухам не живет с семьей, а проживает где-то за городом. В настоящее время находится в отпуске. Секретарь парткома сказал, что у администрации созрело решение применить к ва-

шему мужу меры общественного воздействия. Жаль, что он не член партии, они бы его пропесочили! Почему, кстати, он не член партии? — прокурорски обратился генерал к Ирине.

— Он считает...— Ирина покраснела, ее разбирала злость на генерала за его неожиданное расследование.— Он считает, что в партию лезет слишком много проходимцев и карьеристов. Он не хотел быть в их числе.

— Ага, я так и думал! — генерал удовлетворенно рассмеялся.— Интеллигентский слюнтяйский бред. Боимся замараться, дерьмо пусть вывозят другие... Слушайте дальше. Последнее время перед отпуском ваш муж проживал, по всей вероятности, в поселке Комарово, ибо там найдены его вещи и некоторые документы...

— Кем найдены? — ужаснулась Ирина.

— Милицией. Об этом тоже сообщил майор Рыскаль. Дело о самоубийстве некоего Аркадия Кравчука, лица без определенных занятий, недоучившегося бездельника, самозваного поэта, близкого к диссидентским кругам. Вот куда скатился ваш муж, уважаемая Ирина Михайловна! А на юг к вашей маме он поехал отнюдь не за вами, а чтобы замести следы. На дачу, где повесился Кравчук, ваш муж больше не являлся. Его мать и сестра тоже не знают, где он скрывается.

— Господи...— Ирина не могла прийти в себя.

— Теперь-то вы понимаете, Иринушка Михайловна? — мягко сказал генерал и положил ладонь ей на запястье.— Вы не нужны ему.

Однако, вопреки всякой логике, усилия генерала возымели как раз обратное действие. Прямолинейный натиск даже в военных операциях не всегда приводит к успеху, здесь же Григорий Степанович явно просчитался. Ирина сама могла бы легко дополнить неприглядную картину морального облика Демилле, нарисованную генералом, так что ничего нового, исключая сведения о его местопребывании последние месяцы, генерал ей не сообщил. Но именно эти факты разбудили воображение Ирины, заставили ее нарисовать мысленную картину неприкаянности Жени... где-то за городом, в компании с ужасными людьми... самоубийство! — зная чувствительную натуру мужа, она легко могла представить, какое впечатление на него все это произведет. Если раньше она успокаивала себя мыслью, что он тихо-мирно живет у матери, пережидая дурные времена, а затем почти смирилась с известием, что он нашел

какую-то другую женщину, то теперь стало ясно, что это все не так. Он мечется. Он ищет их с Егоркой. Никакой женщины нет, это миф. Значит, ему нужно помочь!

На счастье, отпуск ее подошел к концу. Через несколько дней Ирина вышла на работу, но все ее попытки перевезти в город Егорку натолкнулись на сопротивление генерала и Марии Григорьевны. Надо признать, что тут здравый смысл был на их стороне. Везти ребенка в город, чтобы он томился один, пока мать на работе, было жестоко. Посему Ирина каждый день возвращалась на дачу, а утром спешила на электричке обратно в город. Ей удавалось выкроить лишь полтора-два часа после работы, и она посвятила их поискам мужа.

Поразмыслив немного, Ирина выбрала себе в союзники Рыскаля — и не ошиблась. Ему она покаялась не без труда, но искренно, смывая старый грех, благодаря которому Демилле попал в списки «незарегистрированных бегунов». У Рыскаля гора с плеч упала. Положение Ирины Михайловны давно не давало ему покоя, досаждало, как заноза. При его любви к ясности и порядку он никак не мог признать нормальными отношения ее с генералом. Он уважал обоих, давно уже убедился, что Ирина Михайловна — женщина серьезная, не какая-нибудь вертихвостка, а генерал не похож на старого ловеласа, но... Что-то мешало ему признать их отношения моральными. Штамп в ее паспорте? Отчасти. Но не только это. Игорь Сергеевич не мог допустить естественности любви старого генерала к сравнительно молодой женщине и уж конечно совсем не допускал ее любви к старику. Так что намечавшийся развод Ирины и брак ее с генералом сильно смущали душу Рыскаля, заставляя его делать усилие над собой, чтобы по-прежнему относиться к обоим с симпатией.

— Что же вы мне раньше не сказали, Ирина Михайловна! — с укором и облегчением вымолвил майор, когда Ирина призналась ему во всем.

И он показал ей телеграмму от Демилле из Севастополя, о существовании которой почему-то не сказал ни Ирине, ни генералу.

Однако отвечать на телеграмму было уже поздно. Демилле из Севастополя, во всяком случае, из дома Серафимы Яковлевны, убыл. Оставалось ждать его возвращения на работу, а заодно попытаться восстановить связи.

Анастасию Федоровну и Любашу решили не тревожить. Любаша на сносях, а мать ничего не знает не только о сыне, но и о перелете дома. Ирина попросила майора даже не звонить туда, но Рыскаль сделал хитрее. Он просто поручил участковому того микрорайона, где жили Анастасия Федоровна с Любашей, взять под наблюдение их квартиру и, в случае, если там появится Демилле, известить Управление.

Срок возвращения Демилле из отпуска был девятнадцатого августа. Так сообщили на работе. По мере приближения этого дня волнение Ирины усиливалось. Григорий Степанович был чуток, он улавливал какую-то перемену в ней, но не догадывался, чем она вызвана. Рыскаль не помог ему внести ясность, ибо прекрасно понимал ситуацию. Теперь он был заодно со своею кооператоршей, желающей вернуть законного мужа, а Григорий Степанович, как ни верти, все же посторонний. Сочувствующий, но посторонний. Рыскаль посоветовал генералу «не давить». Пускай женщина сама разберется.

Игорь Сергеевич с присущей ему тщательностью повел новое следствие по делу Демилле. Оно было не чета генеральскому. Во-первых, он предупредил «треугольник» института и мастерской, где работал Евгений Викторович, чтобы о его появлении в институте немедленно сообщили в Управление. Он попросил также собрать все возможные сведения о жительстве Демилле в последние три месяца и о его связях. Сведения оказались скудными. Чертежница Жанна Прохорова сообщила, что Евгений Викторович Демилле в апреле — мае проживал у своей бывшей однокурсницы, где-то на улице Радищева. Однокурсницу звать Наталья. На улицу Радищева натолкнул и Борис Каретников, который наряду с Безичем проходил по делу о самоубийстве Кравчука. Вызванный в Управление Каретников с перепугу выложил все, что было ему известно: первый разговор в памятную ночь, второй ночной визит Демилле, когда тот попросил связать его с Безичем, встречу у Преображенской церкви в день Христова воскресения... Каретникова отпустили.

Перебрав всех однокурсниц Евгения Викторовича и выделив из них девять женщин с именем Наталья, Рыскаль не поленился проверить каждую. Под пятым номером он обнаружил Наталью Горянскую, благодаря чему узнал о кратковременном житье Евгения Викторо-

вича на улице Радищева. Часть вещей Демилле, оставленная у Натальи, вернулась в дом. Разумеется, Рыскаль ни словом не обмолвился о любовнице мужа, сказал, что вещи обнаружены на даче в Комарово. Кстати, и те последние тоже возвратились домой. Ирина воспрянула духом: муж постепенно, частями возвращался в родное гнездо.

Рыскаль радовался, как ребенок, каждой новой удаче этого маленького расследования, утоляя в себе многолетнюю жажду сыска и вырастая в собственных глазах до профессионального детектива: втайне он всегда был уверен, что для успеха в следовательской работе вполне достаточно логики и здравого смысла, так что зря Коломийцев и компания считают себя выше рангом. Этот тезис внезапно подтвердила Ирина, выявив недостающее звено в наметившейся цепочке скитаний Демилле. Именно, было пока неизвестно, где Евгений Викторович провел первые дни после события. Рыскаль уже зашел в тупик, как вдруг Ирина привела к нему Костю Неволяева. Не в Правление — упаси бог! — посторонним вход туда ограничивался — а на уличное свидание, происшедшее неподалеку от дома, у плавучего ресторана «Парус», что рядом со стадионом имени Ленина.

Познакомившись с Костей и выслушав его рассказ, Рыскаль удивился сметке Ирины и профессионально ей позавидовал. Завидовать было нечему, да и удивляться тоже. Ирина просто поставила себя на место мужа — слава богу, жили тринадцать лет! — и попыталась определить, куда бы кинулся он после того, как ему было отказано в помощи властями. Ну, конечно — в Егоркин детсад! И она пошла туда же, а там разыскала Костю Неволяева — тоже не без труда, ибо детсад в полном составе находился на даче в Лисьем Носу, и ей пришлось поехать туда — но это пустяки в сравнении с результатом. Белое пятно было стерто. Теперь следствие располагало полной картиной скитаний Демилле от середины апреля до конца июля. Но — увы! — знание истории, конечно, помогает понять современность, однако мало пригодно, чтобы предсказать будущее. Куда направился Евгений Викторович из Севастополя? На этот вопрос можно было ответить лишь с возвращением Демилле на работу.

Но вот наступило девятнадцатое августа, а Евгений Викторович из отпуска не вышел. Не появился он в ин-

ституте и на следующий день, не заглядывал и на квартиру матери, о чем доложил местный участковый. Прошло еще три дня, и стало ясно, что случилось что-то непредвиденное. Ирина измучилась. Каждый день после работы она спешила в Правление, где Рыскаль встречал ее неизменным: «Ничего нового». Она казнила себя, воображение рисовало ей всевозможные несчастные случаи: на море, на железной дороге, в городе. Были опрошены отделения милиции, больницы, станции «Скорой помощи» на всем пути следования из Севастополя в Ленинград, но безрезультатно. Человек как сквозь землю провалился.

Ирина почувствовала: произошла беда. Она ругала себя последними словами: ишь, гордячка, воспитательница, припугнуть хотела! Ведь она ни разу по-настоящему не допускала мысли о том, что Женя может не вернуться. Ей казалось, что он всегда рядом, в пределах досягаемости — стоит протянуть руку, и он появится.

Как назло, подвернулся фильм по телевидению, виденный уже не раз, но будто впервые услышала в нем стихи: «С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь...» Как заклинание. Плакала тайком на даче, обнимая спящего Егорку. Впервые за тринадцать лет поняла: одна.

Единственное не давало потеряться самой — Егор, предстоящее первое сентября — первое в его жизни... За неделю до начала занятий она переехала с дачи в город. Генерал вернулся вместе с ней. Он тоже потух, виновато взглядывал на Ирину, считая причиною перемены в ее настроении неудавшееся свое признание. Мария Григорьевна опять замкнулась в себе. Возвратились в город отчужденными друг от друга.

В день приезда органами внутренних дел был объявлен всесоюзный розыск на гражданина Демилле Евгения Викторовича.

Глава 30.

ПОСЛАНИЕ СОАВТОРУ

Милорд!

Представляя Вашему благосклонному вниманию очередные главы нашей истории, я считаю себя обязанным сопроводить их кратким комментарием.

Вам может показаться, что я нарушил литературную

этику, поместив описание «Швейцарии» как места развлечения и отдыха генерала Николаи. Слишком уж это похоже на «конек» дяди Тоби, описанный Вами в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена». Бастионы и контрфорсы, сооружаемые капралом Тримом в усадьбе дяди Тоби, полностью соответствуют генеральской «Швейцарии» — и не только по способу выполнения, но и тем, что подчеркивают неординарный, чудаковатый характер персонажей. Налицо явное заимствование.

Каюсь, я сделал это бессознательно и заметил оплошность, когда электрический паровозик уже бежал по миниатюрной стране, а Егорка, держа в руках пульт управления, следил за ним с затаенным дыханием.

Конечно, я сразу же представил себе упреки литературоведов на страницах печати: автор не постеснялся обокрасть своего соавтора, невзирая на то, что тот — классик! Ах, как нехорошо... Да и читатели могут заметить, хотя чаще всего читатели этого не замечают.

Что мне было делать? Путь первый: сесть в электричку, добраться до дачного поселка, где стоит дача генерала, а там, пользуясь знакомством с моей соседкой Ириной Михайловной, уговорить Григория Степановича ликвидировать «Швейцарию», снести ее с лица земли. Но на каком основании? Только лишь потому, что когда-то в старой Англии некий джентльмен упражнялся в фортификационном искусстве в своей усадьбе? А скорее, даже не было никакого джентльмена, а все это придумано автором (простите, милорд!).

Согласитесь, основания для ликвидации любимой забавы не просто шаткие. Они бредовые. Генерал мог сдать меня в психлечебницу.

Путь второй: пользуясь ночной темнотою, пробраться на участок генерала и разрушить «Швейцарию» самому. Уничтожить, так сказать, плоды своей фантазии посредством лопаты. Но у нас недаром есть поговорка, милорд: «Что написано пером, не вырубишь топором» — да и в милицию можно попасть, а кто тогда будет сочинять роман дальше?

Путь третий: вымарать «Швейцарию» из романа, то есть сделать вид, что ничего на даче такого нет, там просто висит гамак. Но это уже будет явный обман читателя, а этим я заниматься ни при каких обстоятельствах не намерен!

Таким образом положение представляется безвы-

ходным, и мне придется терпеть упреки в плагиате. Меня успокаивает лишь то, что таких осознанных и неосознанных заимствований и ассоциаций в нашем романе — бездна, что входит в наш метод, не так ли, мистер Стерн? Честнее отдавать себе в этом отчет, а не создавать у читателя впечатление, будто ты первым взялся за перо и до тебя не существовало никаких сочинителей. Кроме всего прочего, Вы, милорд,— мой официальный соавтор, так что пускай в этом видят наше духовное родство, на худой конец,— Ваше творческое влияние.

Но есть вопрос гораздо более серьезный, чем литературная этика. Я имею в виду кооператив «Воздухоплаватель».

Как Вы заметите, прочитав присланные главы, я углубился в семейные дела Демилле и Ирины, будто забыв, что у меня есть еще дом на Безымянной улице. Вам и читателям может показаться, что тут налицо композиционный просчет. Если бы это было так! Все гораздо хуже.

Если Вы помните, мы расстались с кооперативом в тот счастливый момент, когда общая беда наконец отворила души и двери квартир, заставила кооператоров сплотиться, почувствовать единение и давно забытый дух коллективизма. Общее собрание, субботник, первомайская демонстрация, торжественный концерт и банкет создали предпосылки для превращения разрозненных жильцов в коллектив единомышленников. Тому же способствовала и газета «Воздухоплаватель» и даже то, что комендант дома поселился в бывшем помещении Правления. Кооператив на глазах превращался в семью, и мне как автору было это приятно. Уже мерещились главы, посвященные совместным турпоходам, и даже рисовался в воображении коллективный отпуск, проведенный воздухоплавателями в семейном лагере где-нибудь на Валдае... Но не тут-то было! Жизнь не желала следовать фантазиям сочинителя.

Эйфория первых успехов и достижений, связанных с восстановлением электроснабжения, водопровода, газа и канализации, быстро прошла. Жить стало сносно, и тут обнаружились вещи, которые нельзя было устранить в столь короткие сроки, или же принципиально неустранимые. Не говоря о мелких бытовых неудобствах, связанных, в основном, с детьми, коих нужно было срочно переводить в местные детские учреждения, и с необходимостью тратить больше времени на дорогу

к службе,— так вот, не говоря об этих мелочах, обозначились два пункта, представлявшие действительную угрозу построению счастливой жизни в кооперативе. Я говорю о подписках о неразглашении и темноте в окнах.

Необходимость постоянно держать язык за зубами в разговорах со знакомыми и родственниками, невозможность приглашать к себе гостей, требование сообщать о своих выездах майору Рыскалю и прочее сильно нервировали кооператоров. В первые недели, когда кооператоры осознавали исключительность своего положения, такое отчуждение от внешнего мира казалось вполне разумным и вызывало даже некоторую гордость, как вызывает гордость всякая осознанная исключительность. Но очень скоро гордость сменилась унынием. Незаметно стали ощущать себя заложниками, удручала также постоянная необходимость врать и выкручиваться.

Однако еще хуже действовало на кооператоров электрическое освещение квартир, работающее с утра до ночи. Лампы дневного света, поставленные везде по решению правления, лишь подчеркнули отсутствие солнечного света. Город вступал в пору белых ночей, на улицах было светло днем и ночью, а в жилищах кооператоров мертвенно синели люминесцентные лампы, издававшие монотонное, выматывающее душу жужжание. Кооператив жил как бы с повязкой на глазах, благодаря тесному соседству со старыми домами на Безымянной. Воздействие было чисто физиологическое.

Самое печальное, что отсутствие света было неустранимо. Если режим неразглашения со временем можно было ослабить, по крайней мере, можно было на это надеяться, то говорить всерьез о сносе старых домов и расчистке места вокруг кооператива никто не решался.

Я хочу подчеркнуть маленький нюанс, милорд. От неразглашения в равной мере страдали все кооператоры, однако отсутствие солнечного света коснулось их неравномерно. Квартиры, выходящие окнами в торцы здания, не испытывали никаких неудобств. Почти так же обстояло с верхними этажами, имевшими обзор из окон в виде однообразного ландшафта крыш Петроградской стороны. Но таких квартир было меньшинство. Подавляющее большинство кооператоров жило окнами в щели по обеим сторонам здания и могло лицезреть

лишь старые стены соседних домов, освещаемые ртутными лампами.

Немудрено, что в таких условиях наметилось некоторое различие в настроениях и подходу к проблеме среди разных слоев кооператоров, что подрывало дух коллективизма. Одни бодрились, призывали к единству и борьбе с трудностями, напирали также на местный патриотизм, другие же смотрели в будущее с меньшим оптимизмом и переключили свою энергию на индивидуальные поиски выхода. Эта часть воздухоплавателей уже летом, пользуясь отпусками, деятельно занялась обменом квартир, используя разные способы: личные контакты в местах скоплений желающих обменяться, бюро обменов, приложение к газете «Вечерний Ленинград» и объявления — как официальные, расклеиваемые специальными службами, так и самодеятельные, которые лепятся где попало, на любом удобном месте.

Естественно, варианты были неравноценны. Понимая, что обменщиков трудно привлечь экзотикой расположения дома и постоянным отсутствием дневного света в квартирах, кооператоры пускались на всяческие хитрости, предлагая ряд льгот при обмене. Квартиры обменивались с уменьшением количества комнат и общей площади, предлагались деньги по договоренности и иные услуги, вроде бесплатного ремонта обмениваемой квартиры или гаража в придачу. Однако охотников находилось мало. Стоило желающему обменяться с выгодою приехать на Безымянную, чтобы посмотреть квартиру собственными глазами, как наступало быстрое разочарование. Никакие прибавочные метры и суммы по договоренности не могли компенсировать пугающего вида ущелий по обеим сторонам дома и придвинутых вплотную к окнам чужих домов. «Что же так неудачно построили?» — качали головами обменщики, но кооператоры, связанные подпиской о неразглашении, даже тут не могли отвести душу и пожаловаться на космические причины беспорядка, чтобы получить хотя бы моральную компенсацию, а вынуждены были глухо бормотать про ошибку в проекте, халатность, безмозглость... Коротко говоря, врали.

В таких случаях соглашались на обмен либо отпетые, опустившиеся люди, как правило, алкоголики, коим нужны были деньги, либо одинокие старики и старухи — по той же причине. Другим, более редким вариантом была сдача кооперативной квартиры внаем. В этом

случае кооператоры подыскивали себе другую, тоже сдающуюся внаем, и поселялись в ней, свою же сдавали за полцены либо отчаянно нуждавшимся студентам, либо вполне солидным мужчинам, якобы для работы, что на деле означало превращение квартиры в место свиданий.

Таким образом уже к осени наметилась тревожащая тенденция в демографии кооператива: трудоспособное и в целом морально устойчивое население нашего ЖСК стало разбавляться нерабочим и антиобщественным элементом, что повлекло за собою ухудшение морального климата. Тут и там на разных этажах возникали сборища; сомнительного вида граждане попадались на лестницах и в ущельях — они двигались бесшумно, как тени, крепко сжимая в руках бутылки; по временам лестничные площадки оглашались песнями и воплями; вскоре был зафиксирован первый пожар, случившийся из-за неосторожности обращения с огнем в состоянии опьянения (между прочим, горело над Рыскалями, в трехкомнатной квартире, где поселилась семья из трех человек — отец, мать и взрослая дочь — постоянно пьяные). Пожар удалось быстро ликвидировать и даже завести дело на алкоголиков в надежде их выселить, но Рыскаль сознавал, что дело будет затяжным, между тем как устои расшатывались быстро.

Новоприбывшие, получившие обменные ордера, не были воздухоплавателями, они не летели той памятной апрельской ночью над городом, не пережили страшных утренних минут, не ощутили вдохновения демонстрации и субботника. Словом, были чужими. Изредка наведываясь в Правление, они лишь удивлялись стенной газете со странным названием да обстановке штаба с картой и портретом Дзержинского на стене, под которыми сидел худощавый майор милиции, чего в других кооперативах не наблюдалось. Но подписка о неразглашении, а паче нелюбопытство новоприбывших не позволяли ввести их в истинный курс дела, а посему они так и оставались отторгнутыми от редеющего коллектива воздухоплавателей. Группы взаимопомощи каждого подъезда проводили воспитательную работу с новичками, но больше по обязанности, формально, считая их в глубине души чужаками. Неудивительно, что те еще больше обособлялись, знать не хотели моральных обязательств перед соседями, более того — досаждали им умышленно, пользуясь для этого различного рода шумами и анти-

санитарными акциями. В мусоропроводы спускалось все, что ни попадет под руку, отчего происходили постоянные засоры, стены лестничных площадок и пролетов покрывались постепенно вязью рисунков и словосочетаний, далеко не все из которых были пристойны, в лифтах мочились.

Но еще хуже было с пустующими квартирами, которых становилось все больше, так что к августу насчитывалось уже четырнадцать. Рыскаль с ними замучался. Это была жилплощадь кооператоров, формально оставшихся членами кооператива, то есть прописанных в нем, на деле же — не проживающих и не сдающих свои квартиры внаем. Первыми из этой группы были, как вы помните, супруги Калачевы, покинувшие кооператив в день субботника. Беглецы поселялись у родственников в ожидании лучших времен, иные нанялись на работу в районы Крайнего Севера, другие сняли квартиры — в основном, неподалеку от улицы Кооперации, чтобы не переводить детей в другие школы...— для Рыскаля все было едино: в доме оставалась пустующая квартира, за которой надобно было присматривать, ибо антиобщественный элемент в момент разузнавал о ее появлении и начинал пользоваться ею для своих надобностей. Учитывая примитивность дверных замков и крайнюю хлипкость самих дверей, это было несложно. Правда, соседи-кооператоры доносили в Правление, заслышав за стеною пьяные звуки, и тогда Рыскаль во главе оперотряда совершал набег на притон, результатом чего были арестования нарушителей. Те отделывались легко: более крупного уголовно-наказуемого деяния, чем хулиганство, в их поступках нельзя было отыскать. В итоге на этажах нашего дома, кроме новоприбывших, которые сами были не подарок, постоянно — в особенности же, по ночам — хозяйничали пришлые люди с темной биографией. Летучие притоны возникали то там, то тут, пока наконец не грянул гром: в одной из пустующих квартир был обнаружен труп изнасилованной молодой женщины. Слухи об этом разнеслись по кооперативу молниеносно. Насильников и убийц нашли через три дня, тут же — на Подобедовой,— а майор Рыскаль получил предупреждение о несоответствии занимаемой должности.

Но самым печальным и удручающим было то, что в результате всего вышеописанного среди воздухоплавателей пышным цветом расцвело доносительство. При-

чем доносили не только на уголовный элемент, но и на тех соседей, которые вели себя непатриотично, то есть намеревались обменяться, покинуть родной дом. Рыскаль каждое утро обнаруживал в своем почтовом ящике анонимку или подписанное письмо, где сообщалось, что кооператор имярек из квартиры такой-то поместил объявление об обмене или же принимал у себя обменщиков. Предлагалось принять срочные меры: осудить, запретить обмен и даже передать дело в суд по обвинению в нетрудовых доходах (намекалось на деньги «по договоренности»). Рыскаль мрачнел, он не любил анонимщиков, однако приходилось знакомить с доносами членов Правления, это становилось известным и группам взаимопомощи, а те начинали действовать, охваченные благородным негодованием. Особенно усердствовала Клара Семеновна Завадовская. Мысль о том, что кто-то может ее обмануть, смыться из кооператива, оставив ее с темнотою в окнах, не давала Кларе покою. Страдать — так всем вместе! Поэтому Клара в одиночку или поддерживаемая Ментихиной врывалась к соседям, стыдила, произносила высокие слова о долге, ответственности и том же патриотизме, что лишь усугубляло раскол. Она же писала заметки в газету «Воздухоплаватель», где публично объявляла изменников «врагами» и грозила всякими карами. В приватных разговорах Клара Семеновна подкапывалась и под Рыскаля, обвиняя его в мягкотелости, в неумении навести порядок твердой рукой. Рыскаль пытался уговаривать обменщиков не торопиться, но, исчерпав аргументы, вынужден был подписывать обменные заявления, ибо не мог нарушать закон.

Надо сказать, что супруг Клары Семеновны, отпущенный органами милиции, в это же самое время пытался решить проблему своим путем. Но об этом я расскажу после.

Таким образом кратковременный расцвет сменился упадком. Пробудившаяся сознательность обернулась враждой коллективистов и индивидуалистов, безобразиями и пьянством. Мне очень не хотелось описывать эти явления, я надеялся на их случайность, теперь же вижу, что ошибался. Особенно неудобно было перед Вами, милорд. Как-никак Вы иностранец, а обнаруживать перед иностранцами свои слабости и пороки мы не любим. Стыдно, знаете... Я и сейчас сообщаю Вам об этом конфиденциально, не решаясь вынести наши проблемы

на страницы романа. Однако молчать далее нельзя. Мы так привыкли считать наши неудачи и промахи случайными, а достижения — закономерными, что лишь трезвый объективный взгляд, горькое сознание того, что пороки столь же органично присущи нашему кооперативу воздухоплавателей, сколь и добродетели, помогут нам выжить.

Заканчиваю свое послание. Я сбросил камень с плеч. Далее умалчивать ни о чем не намерен. А вообще, я скучаю по Вам, милорд. Боюсь также, что Ваше общение с Мишусиным может отвратить Вас от нашей литературы, а она, ей-богу, не так ужасающе продажна, как может показаться.

Примите, милорд, уверения в совершеннейшей моей преданности и почтении.

Ваш соавтор.

Глава 31.

ФЕДОР ШУРЫГИН

В середине лета приехал из Ливии на родину младший брат Евгения Викторовича Федор с семьею. Его контракт истекал не скоро — через два года — и теперь ему полагался лишь двухмесячный отпуск: месяц за текущий год и месяц, припасенный с прошлого.

Федор Викторович был мужчиной выше среднего роста, с наметившимся брюшком, аккуратными залысинами и чуть шаркающей осторожной походкой. Внешне он производил впечатление усталого чиновника министерства, дожидающегося положенной персональной пенсии. Его гладко выбритое унылое лицо и постоянная покорность в глазах никак не соответствовали семейному темпераменту Демилле; странно было и подумать, что когда-то этот человек тоже был обуреваем страстями, искал себя, ходил в храм причащаться, шептал на ночь молитвы. Но давно это было, лет пятнадцать назад. Сейчас если кто и напоминал ему по неделикатности о грехах молодости, то Федор Викторович терпеливо улыбался и объяснял кратко: «Дурак был». Однако вряд ли это простое объяснение соответствовало истине, ибо глупость не так легко поправима, а Федор Викторович был отнюдь не глуп.

Объяснение резкой метаморфозе, произошедшей с Федором Демилле на двадцать пятом году жизни, мно-

гие связывали с женитьбой. И действительно, все свершилось быстро, в один год. Федор закончил строительный институт, пошел прорабом на стройку, женился, сбрил бороду и сменил фамилию. Жена его — Алла Шурыгина, выпускница филфака, в университете тоже производила впечатление ищущей натуры, диплом писала по раннему творчеству Ахматовой, вообще увлекалась стихами, но работать по специальности не пошла. От ее филологического образования сохранилась лишь привычка надменно судить о новинках советской литературы да выписывать журнал «Вопросы филологии», комплекты которого по прошествии времени обменивались на макулатурный талон, дающий право приобрести книгу Стефана Цвейга или Мориса Дрюона.

Казалось, оба нашли то, что искали. Демилле — прочную фамилию, а Шурыгина — солидного мужа. Впрочем, Федор Викторович обрел окончательную солидность еще через год, когда вступил у себя на стройке кандидатом в партию.

Именно тогда вместе с самоуважением он получил моральный авторитет в семье, позволивший ему принять на себя функции старшего сына, а впоследствии и главы семейства. Правда, функции эти выражались более в сентенциях, чем в реальных делах, ибо Федор Викторович не любил волноваться. Покой он ценил превыше всего, находя в нем истинную гармонию, умиротворение, решение всех проблем. Зачеркнув и осудив свое прошлое, он перенес неприязнь к разного рода исканиям на всех людей, паче же всего — на родственников. Он решительно не понимал действий своей сестры и поступков брата, которые вместо того, чтобы успокоиться, выкидывали бог знает что (Федор Викторович всегда был в курсе через Анастасию Федоровну, принимавшую близко к сердцу все перипетии судьбы своих детей и делавшую их достоянием гласности). Поначалу он старался воздействовать, то есть писал сестре и брату пространные письма морализаторского толка. У Любаши сохранилось два: после рождения Николь и Шандора; появление Хуана показало, что глас брата остается гласом вопиющего в пустыне, и Федор прекратил связь с сестрой. У Евгения Викторовича писем накопилось куда больше. Тут были послания, знаменующие каждое новое увлечение Демилле, особливо шумные выпивки, отказ переделывать конкурсный проект по требованию руководителя мастерской, идеологические

разногласия с отцом, когда Виктор Евгеньевич и Женя ругательски ругались по поводу какого-нибудь постановления... Все это, по мнению Федора, не имело ни малейшего смысла, ибо нарушало покой, не приводя к каким-либо результатам. «Женя! Ты опять волнуешь меня...» — такой фразой начинались почти все письма, отчего выходило, что главной неприятностью, произошедшей от поступка Евгения Викторовича, было нарушение душевного спокойствия брата.

Характерно отношение Ирины к письмам Федора. Она, будучи сама в волнении от поступков мужа (особенно это касалось любовных увлечений и дружеских застолий), от души смеялась, читая каждое новое письмо, и в этом находила успокоение. Таким образом, письма отчасти достигали своей цели, хотя бы в отношении Ирины. Демилле же злился, звонил брату, начинал ругаться по телефону, чувствуя, что не прав по всем статьям, а оттого заводясь еще больше. Дело обычно кончалось тем, что трубку перехватывала Алла и сообщала Евгению Викторовичу ледяным тоном: «Евгений, Шурыгин из-за тебя живет на валидоле»,— она в глаза и за глаза называла мужа Шурыгиным.

Федор действительно не расставался с валидолом с молодых лет, был мнителен и постоянно следил за пульсом. Он знал свой пульс, как таблицу умножения; каждый лишний удар приводил его в глубочайшее раздумье. Он искал причину этого лишнего удара, и лишь добившись нормы, которая составляла у него шестьдесят семь ударов в минуту, мог чувствовать себя относительно спокойным.

Во время похорон отца пульс его достиг восьмидесяти четырех ударов в минуту и с тех пор, вот уже несколько лет, никогда не поднимался выше этой отметки. Отчасти этому способствовало и то, что со смертью отца Федор почти вовсе перестал бывать в родительском доме, ограничиваясь разговорами с матерью по телефону, обязательными поздравительными открытками на Восьмое марта и Новый год и письмами к Евгению. А последние два года пульс, несмотря на жару в Ливии, никогда не превышал семидесяти, потому что связь с семьей осуществлялась исключительно с помощью поздравительных открыток, а производственные проблемы уже давно перестали влиять на кровообращение Федора Викторовича.

К моменту заключения контракта на строительство

цементного завода в Ливии Федор Шурыгин занимал должность ведущего инженера строительного треста с окладом в сто семьдесят рублей, прогрессивкой и премиальными, имел трехкомнатную кооперативную квартиру и небольшой счет на сберкнижке. У Шурыгиных была дочь Виктория, девяти лет.

Если бы Федор Викторович знал, какой сюрприз готовит ему старший брат в далеком от Ливии Ленинграде, то он, весьма вероятно, отложил бы отпуск еще на год или же направился, скажем, на южный берег Крыма. Однако он ничего не подозревал о переполохе в родном городе, потому как не подозревала о нем и Анастасия Федоровна, которая продолжала писать младшему сыну пространные письма с новостями, невзирая на его молчание. Кроме того, у Федора был прямой повод побывать на родине: он обзавелся автомобилем и, отправив его малой скоростью через Средиземное море, должен был самолично встретить ценный груз в Ленинграде и устроить его надежно. Надо сказать, что покупка автомобиля входила в программу установления окончательного покоя в жизни; на эту тему было много сомнений, много доводов «про и контра» — увеличит ли автомобиль жизненные хлопоты или же уменьшит? Подсчитав все плюсы и минусы, Федор и Алла решили: уменьшит. Ожидалось лишь небольшое усиление волнений, связанное с покупкой и переправкой автомобиля домой, а дальше расчеты показывали почти полный штиль.

Федор так увлекся получением контейнера с «Жигулями» в экспортном варианте, что не сразу позвонил матери по приезде. Не то чтобы забыл и замотался, а просто два таких волнения, как устройство такелажных работ при погрузке и общение с Анастасией Федоровной, хотя бы по телефону, наступившие одновременно, могли загнать пульс в неисследованные частотные дебри. Потому Федор Викторович решил действовать последовательно: сначала «Жигули» и гараж, а потом встреча с родней. Только когда сверкающий автомобиль цвета волны в Средиземном море занял место в новеньком гараже и прошли сутки, требуемые на релаксацию пульса, Федор набрал номер матери.

— Мама, здравствуй, это я,— сказал он.

— Господи, Жеша, где ты пропадаешь? Я кручусь, как белка в колесе. Любу положили в дородовое, дети

на мне... Совсем забыли мать! — сразу же накинулась на него Анастасия Федоровна.

Федор не удивился: голоса братьев Демилле были так похожи, особенно по телефону, что мать всегда их путала. Неприятно поразила его новость о Любаше, и он, держа левою рукой трубку у уха, правой взялся за запястье и нащупал пульс.

— Мама, это я, Федя...— сказал он, считая удары.

— Боже мой, Феденька...— Анастасия Федоровна сразу заплакала и продолжала дальше сквозь плач: — Наконец-то! Я тут одна разрываюсь, Женя куда-то пропал, не звонит совсем, Ирка тоже... Люба в больнице, я совсем одна,— Анастасия Федоровна зарыдала.— Если бы видел папочка, слава богу, что он этого не видит...

Федор Викторович отодвинул трубку от уха, так что причитания матери слились в однообразное, еле слышное журчание, и вновь придвинул, когда журчание оборвалось.

— Что, Люба вышла замуж? — строго спросил он.

— Да что ты! Кто ж ее возьмет с тремя детьми? Я тебе удивляюсь!

— Значит, опять!

— Опять! — и Анастасия Федоровна вдруг весело рассмеялась. Переход от слез к смеху у нее совершался мгновенно, как у младенца.

Федор Викторович помолчал, соображая, способны ли дальнейшие расспросы ухудшить его состояние, и все-таки решился:

— А как твое здоровье? — спросил он и тут же вновь отдернул трубку от уха, ибо зажурчало опять. Дождавшись перерыва, он сказал в трубку, держа ее на отлете:

— А у нас все в порядке. Приехали, здоровы, привезли тебе подарок. Мы машину купили.

По донесшимся из верхней мембраны отрывистым звукам Федор Викторович понял, что мать обрадовалась. Он снова осторожно приблизил трубку к уху.

— Я навещу тебя,— сказал он.

— Федя, навести Любу. Ей будет приятно.

— Ты же знаешь, как я к этому отношусь,— сказал он спокойно.

— Феденька, узнай, что с Женей. Мне не выбраться, да и не хочу к Ирке ехать. Она последнее время совсем нас знать не хочет.

— Хорошо, мама. Тебе привет от Аллы.

При этих словах Алла, находившаяся в той же комнате, воздела глаза к потолку. Она считала, что разговор слишком затянулся.

— Да-да, целую,— сказал Федор и повесил трубку.

— Ну что? У Демилле опять все вверх тормашками? — презрительно спросила жена.

Федор Викторович пожал плечами.

— Люба рожает.

— Идиотка,— коротко заключила Алла и ушла в другую комнату.

Федор Викторович сделал несколько дыхательных упражнений по системе йогов, после чего сел за стол и придвинул к себе лист бумаги.

«Здравствуй, брат! — вывел он.— Мой отпуск начался с волнений...»

И далее на трех страницах Федор развернул огорчительную картину семейных безобразий, ожидавшую его в Ленинграде. Невнимание к матери... подтвердившаяся законченная аморальность сестры... есть и моя вина... однако Ливия, ожидающая цементный завод, не позволяет каждодневно опекать расстроившийся семейный клан, так что он надеется, что брат внемлет голосу разума и совести...

И прочее в том же духе.

Федор запечатал конверт, открыл записную книжку и переписал адрес брата: «Улица Кооперации, дом 11, кв. 287». Он позвал Вику и велел ей опустить письмо в ящик.

Прошло несколько дней, в течение которых Федор и Алла почти не выходили из дому, посещали только рынок неподалеку, откуда приносили овощи и фрукты, недоступные в Ливии: редиску, репу, свеклу, картошку, кабачки, огурцы. За два года им осточертели бананы, апельсины, и теперь Федор каждый день занимался консервированием овощей, готовил великолепные соусы и потчевал семью. Он любил кулинарное искусство.

Алла без перерыва смотрела телевизор, впитывая отечественную информацию — начиная с «Утренней почты» и кончая вторым выпуском «Сегодня в мире». Одна Вика с утра отправлялась гулять и, вернувшись, рассказывала родителям о родине. Многое ее удивляло. Временами она требовала, чтобы отец и мать отправились с нею в город, чтобы на месте объяснить то или иное явление, однако Федор Викторович неизменно отвергал

эти предложения, боясь увидеть что-нибудь такое, что вывело бы его из равновесия.

Разумеется, не поехал он и к брату на улицу Кооперации, ограничившись письмом. И правильно сделал — это могло кончиться резким учащением пульса при виде огороженного фундамента. Отправив письмо, Федор принялся ждать ответа, впрочем, без лишнего нетерпения.

Анастасия Федоровна звонила каждый вечер и рассказывала о домашних делах, избегая говорить о Любаше, но все же не выдерживала, кое-что сообщала. Любаша лежала пока в дородовом, возбуждая всеобщее любопытство. Дело было даже не в ней, а в Нике, регулярно приносившей матери передачи. Ее негритянское личико вызывало толки рожениц и медперсонала.

Прошла неделя, но ответа от брата не последовало. «Мог бы и позвонить»,— ворчал Федор. На что Алла лишь надменно вскидывала плечи: «Будто ты не знаешь их безответственную породу!». Получалось, что Федор к породе уже не принадлежал. Огорчало его не столько отсутствие звонка от брата, сколько необходимость что-то предпринимать.

И вдруг вечером на восьмой день Евгений Викторович явился сам.

Федор открыл дверь — и не узнал брата. Перед ним стоял исхудавший человек с ввалившимися глазами, в которых читались беспокойство и тоска... Волосы были длиннее обычного, почти спадали на плечи, над губой пробивались непривычные жесткие усы. Но еще страннее была одежда. На Демилле-старшем была синтетическая куртка, украшенная звездно-полосатой эмблемой, вельветовые джинсы и кроссовки. В руках Евгений Викторович держал вместительный «дипломат» с блестящими замками.

Если бы не тревожный взгляд, Федор решил бы, что брат, дотоле никогда не следивший за модой, резко изменил привычки. Чего доброго, втрескался в какую-нибудь «фирменную» девицу и старается внешне омолодиться. Но глаза говорили о другом. Человек с такими глазами не мог быть не то что влюблен — он не мог даже думать о женщинах.

Братья обнялись. Федор испытал мгновенный прилив детской любви к Евгению, точно окунулся во времена юности, когда он не был еще Шурыгиным,

а Женя вызывал его неизменный восторг своим умом, блеском, талантом. И Евгений Викторович растрогался, уронил слезу, ибо давненько не видал близкого человека.

— Алла! Женя пришел, будем ужинать! — крикнул Федор.

Алла появилась в прихожей, подставила Демилле щеку для поцелуя.

— Однако ты изменился,— сказала она с усмешкой.

— А, ерунда! — Демилле махнул рукой.

Он щелкнул замками «дипломата» и извлек из него бутылку коньяка и шампанское.

— Шурыгину нельзя,— предупредила Алла.

— Ничего, Алюн! Ради встречи...— сказал Федор.

— Вам мать не звонила? Правильно, я не велел звонить. Любка родила! Мальчика! — объявил Демилле и направился с бутылками в кухню.

— Фу-ты, господи! — вздохнула Алла.

— Кого? — Федор поспешил за братом.

— Мальчика! Знаешь, как назвала? Иван! — Демилле звонко рассмеялся.— Наконец взялась за ум! Иван Иванович Демилле! Каково?

— Фу-ты, господи! — повторила Алла.

Они расположились в маленькой кухоньке за столом, появились закуски, бокалы. Алла, выпив шампанского за рождение племянника, удалилась, сославшись на головную боль. Братья остались одни.

Демилле внешне повеселел, но тревога в глазах не исчезла. Федор с самого начала заметил, что у брата что-то не в порядке, но не спрашивал, опасаясь задеть за живое, огорчить и самому огорчиться. Разговор поначалу вертелся вокруг Любаши, но довольно вяло: Федор дал понять, что по-прежнему считает поведение сестры предосудительным, несмотря на русское происхождение племянника. В результате свернули на «Жигули» цвета морской волны. Тема была безопасной, но неинтересной Евгению Викторовичу.

— Как там, в Ливии? — спросил он.

— Жарко,— ответил Федор.

— А в политическом смысле?

— Тоже.

Разговор о Ливии был таким образом исчерпан, и Демилле с беспокойством отметил про себя, что напряженно ищет тему для разговора. Ему стало досадно: не виделись с братом два года — и на тебе! — поговорить

не о чем. Он мучительно размышлял: сказать или не сказать Федору о своей беде?

— Ты часом ко мне не заезжал? — спросил он.

— Куда? — удивился Федор.

— На улицу Кооперации.

— Не успел. Знаешь, установка гаража... Присматривал, глаз да глаз нужен. Надеюсь, у тебя дома все в порядке?

Демилле хватил коньяку. Федор лишь пригубил. В глазах Евгения Викторовича появились злые огоньки.

— Дома все в порядке,— сказал он.— Только его нет.

— Как это — нет? — насторожился Федор, предчувствуя нечто опасное для пульса.

— На улице Кооперации моего дома нет.

— Ты развелся?! — ахнул Федор, непроизвольным движением дотрагиваясь до левого запястья.

— Нет,— поморщился Демилле.— Он улетел куда-то. Четыре месяца ищу — не могу найти.

За столом воцарилось молчание. Демилле не без злорадства наблюдал за физиономией брата. «Это тебе не Ливия!» — промелькнуло у него в голове. Наконец Федор спросил:

— Ты мое письмо получил?

— Откуда?

— Отсюда.

— Куда ты его отправил?

— На улицу Кооперации. По твоему адресу.

— Адреса больше нет, Федя. И дома нет. Я же говорю: четыре месяца я там не живу.

— А Ирина? Почему мать мне не сказала? — Федор растерялся окончательно.

— Мать не знает. А Ирина... Живет где-то в другом месте.

— Она тоже переехала?

— Федя, дом улетел! Ночью, со всеми жильцами. Снялся с места и перелетел куда-то. Я не знаю — куда.

— Перестань паясничать! — вскричал Федор, вскакивая с места и нащупывая в кармане валидол.

Он вытряхнул из стеклянного цилиндрика таблетку и точным движением положил ее под язык.

— Я не паясничаю. Я правду говорю,— как можно более проникновенно сказал Евгений Викторович.

Федор молча замахал рукой, занятый растворением таблетки под языком. Наконец ему показалось, что

валидол расширил сосуды, суженные заявлением брата.

— Я не хочу даже говорить об этом,— сказал он.

— Хорошо,— сразу согласился Демилле.— Давай завтра пойдем к Любаше, поздравим.

— С чем?

— У тебя племянник родился, балда!! — заорал Демилле.

— Я не считаю его своим племянником.

На крик в кухню вернулась Алла. Она метнула взгляд на бутылку коньяка, опорожненную уже наполовину, потом — на Демилле.

— Что вы тут орете? — спросила она.

— Вы там совсем чокнулись в своей Ливии! — Демилле почему-то разбирал смех.

— Нет, это вы здесь совсем чокнулись, дорогой мой! — отвечал Федор.

Алла заметила на столе раскрытую скляночку с валидолом.

— Шурыгин, тебе плохо? — строго спросила она.

— Будет плохо! Ты послушай, что он говорит!

— Нет-нет, я больше не буду. Давай лучше про Ливию. Там негров много? — спросил Демилле.

— Там нет негров,— сказала Алла.— Там арабы.

— А арабов много?

— Два с половиной миллиона,— сказал Федор хмуро.

— Да-а-а...— протянул Демилле.— Это много.

Он налил себе коньяку и сразу выпил. Опять воцарилось молчание.

— Ты переночуешь у нас? — спросил Федор.

— С удовольствием. Последнее время мне приходится ночевать в коктейль-баре.

Федор оставил эту реплику без внимания. Расспросы могли завести неизвестно куда.

Евгению Викторовичу постелили в столовой на диване. Улеглись спать рано, в половине одиннадцатого. Демилле развесил на спинке стула джинсы, поставил под стул кроссовки, снял рубашку и повалился на чистую постель. Долго с наслаждением вдыхал запах свежей крахмальной наволочки. За стеною, в спальне Шурыгиных, слышались приглушенные голоса Федора и Аллы: бу-бу-бу...

Проснулся он рано. Стенные часы показывали без десяти семь. Демилле сунул ноги в кроссовки и отправился в одних трусах на кухню попить воды.

Он вышел в прихожую и свернул в боковой коридорчик, ведущий к кухне. Застекленная дверь была приоткрыта. За дверью Демилле увидел фигуру брата. Федор, тоже в одних трусах, стоял перед иконкой, стоявшей на столе и прислоненной к сахарнице. Федор размеренно осенял себя крестным знамением.

Серый свет утра, падавший из окна, придавал картине почти кинематографическую рельефность.

Демилле инстинктивно шагнул назад, и тут Федор обернулся. Глаза братьев встретились. Федор смотрел на него жалобным взглядом, точно птенец, выпавший из гнезда. Евгений Викторович ощутил, что по его щекам катятся слезы. Он распахнул дверь, Федор поспешно шагнул к нему, и братья молча заключили друг друга в объятия, не стыдясь слез. Они всхлипывали, шмыгали носами, тычась в голые плечи друг друга — два мужчины не первой уже молодости, потерявшие один — свой дом, а другой — фамилию. Им обоим показалось, что необходимо что-то предпринять, чтобы не разрушить это вернувшееся ощущение братства. Возвращаться в свои постели было просто абсурдно.

— Поедем к Любке...— глухо пробормотал Федор.

Демилле молча стиснул брата в объятиях, повернулся и, пряча лицо, поспешил к своей одежде. Он натянул ее с такой быстротой, будто от этого зависело спасение человеческой жизни. Однако, когда Евгений снова показался в прихожей, Федор уже был там. Решимость преобразила его вялое лицо, оно вдруг показалось Евгению Викторовичу истинно прекрасным. Ни слова не говоря, Федор повлек брата в кухню, выплеснул в стаканы остатки вчерашнего коньяка, и они молча выпили, как бы связанные тайным обетом. Демилле, подхватив «дипломат», устремился к выходу, Федор за ним, но тут путь им преградила Алла Шурыгина в ночной рубашке — растрепанная и грозная.

— Шурыгин, не смей! Что вы задумали?!

— Иди ты в ж...! — Федор выругался с яростью и наслаждением, будто выпалил из ракетницы в небо.

Алла охнула и провалилась в спальню. Братья выбежали из подъезда и, крупно шагая, устремились через двор к проспекту, по которому вереницей, точно танки, медленно двигались поливальные машины.

Было свежее августовское утро. Первые желтые листья светились в крепкой еще зелени кленов и тополей. По газонам просторного двора выгуливали собак

зябнущие хозяева. Черный пудель с палкой в зубах большими прыжками, точно в замедленном кино, передвигался по траве. Демилле видел все рельефно и остро. Казалось, эта картина навсегда запечатлеется в памяти.

По-прежнему не говоря ни слова, они вышли на проспект и повернули к стоянке такси, где ожидали пассажиров несколько машин. Федор рванул ручку, пропустил брата в машину, упал на сиденье сам и выдохнул:

— Торжковский рынок, потом... Женя, куда потом?

— Первый медицинский,— сказал Демилле.

На рынке они купили огромный букет алых роз и через несколько минут были уже под окнами родильного отделения больницы Эрисмана. Во дворе росли большие деревья. Братья, задрав головы, скользили глазами по пустым окнам больницы.

— На дерево бы влезть,— сказал Федор.

— Точно! — Демилле оценивающе взглянул на тополь. Нижние ветки росли довольно высоко. Он оглянулся по сторонам и вдруг, прислонив «дипломат» к стволу, побежал куда-то.

— Ты куда? — окликнул Федор.

— Сейчас! — Демилле свернул за угол, почему-то уверенный в успехе. Двор института был перерыт, везде валялись трубы, доски, кирпичи. Демилле перепрыгнул канаву и, рыская по сторонам взглядом, побежал дальше, где кучи песка и свежевырытой земли сулили удачу.

И действительно, пробежав метров двадцать, он увидел на дне глубокого рва с обнаженными внизу трубами в теплоизоляции деревянную, грубо сколоченную лестницу. Не раздумывая, Евгений Викторович прыгнул в ров, быстренько приставил лестницу к стене, выбрался наружу и вытянул лестницу за собой.

Смеясь и подбадривая друг друга, братья вскарабкались на тополь и устроились на толстой ветке, протянувшейся к окнам родильного отделения.

— Три-четыре! — скомандовал Федор.

И двор огласился согласованными криками:

— Лю-ба! Лю-ба! Лю-ба!

Мгновенно в окнах второго, третьего и четвертого этажей появились женские фигуры в больничных халатах. Кое-кто распахнул створки окон. Братьев увидели; женщины заулыбались, показывая на них друг другу.

— Люба Демилле у вас? Позовите Любу! — просили братья.

...Любаша подошла к распахнутому окну и окинула взглядом двор. Он был пуст, лишь к стволу тополя была прислонена лесенка, да стоял рядом черный «дипломат» с блестящими замками.

— Где? — спросила Люба у позвавшей ее подружки.

— Да вот они, красавцы!

Любаша подняла взгляд и увидела прямо перед собою, метрах в десяти, в густой листве тополя улыбающихся братьев, сидящих на ветке, как птицы. Федор держал перед собою букет.

— С ума сошли...— прошептала она растерянно, чувствуя, что к горлу подступает комок.

— Который муж? — спросила подружка.

— Это братья,— объяснила Люба.

— А-а, братья...— кивнула подружка и отошла.

— Любаша, поздравляем! Молодец! — крикнул Демилле.

— Люба, я... Ты...— Федор смешался.

Он размахнулся и метнул цветы в окно. Букет алых роз, точно горящая комета, пересек короткое пространство и влетел в палату. Его тут же подхватили женщины — ахали, охали, вдыхали аромат цветов. А Любаша все смотрела на братьев, не могла насмотреться. Казались они ей молодыми, вспоминалось время, когда жили все вместе, и отец был жив... Словно угадав ее мысли, Евгений Викторович спросил:

— Помнишь, как я твоих ухажеров выслеживал на дереве?

Все трое счастливо засмеялись.

— Сейчас Ваню на кормление принесут,— сказала Любаша.— Хотите, покажу?

— Давай! — сказал Демилле.

Внезапно внизу, из дверей больницы выскочила пожилая медсестра в белом халате и, производя отчаянные крики, принялась бегать под деревом, как лайка, выследившая белку.

— Ах вы, безобразники! И не стыдно! Взрослые люди! Слазьте сей же час!

Несмотря на грозный тон, старушка не могла скрыть восхищения братьями — кричала по долгу службы, а не от души. Евгений и Федор не спеша слезли с дерева и отнесли лестницу на место. Удовлетворенная старушка покинула поле боя.

Когда они возвратились под окно, Любаша была

уже не одна. На руках она держала туго спеленатый сверток, откуда выглядывала крошечная смуглая головка с закрытыми глазками. Братья оценивающе поглядели на новоявленного племянника.

— Нормальный пацан! — крикнул Федор.

— Везет тебе на мальчишек! — крикнул Демилле.

— Стараюсь! Женя, Федя, позвоните маме, скажите, чтобы Ника принесла сливок и орехов. У меня молока мало... Ну, я пошла кормить! — Любаша помахала рукой и скрылась.

Братья несмело переглянулись. Оба одновременно почувствовали, что внутри опустело, завод кончился. То был порыв, не больше. Теперь каждому нужно было возвращаться на свою дорогу.

Они сели на скамейку и закурили.

— Пять лет не курил,— усмехнулся Федор.

Он выглядел виноватым. Знал, что все возвращается на круги своя, помочь Любаше и Евгению он ничем не может, да они и не нуждаются. Мысли вернулись к дому, к жене, и Федор впервые ужаснулся, вспомнив, как обругал ее. Предстоял неприятный разговор. Тут же его поразила более страшная мысль: он вспомнил, что оставил на кухонном столе иконку. Положим, Алла знает о его тайне, но вдруг увидит Вика? Это катастрофа. Единственная надежда, что жена догадается спрятать.

Евгений Викторович заметил перемену в брате, но не осуждал. Скорее, был благодарен ему, ибо не ожидал и этого порыва. Впрочем, от себя он тоже не ожидал подобного. Он уже прикидывал — куда идти, вспомнил о новой своей службе, поморщился...

Братья поднялись одновременно.

— Ну, бывай,— сказал Евгений, обнимая брата.

— Женя, если что нужно...— неуверенно пробормотал Федор.

— Ничего, Федя. Все путем.

По его объятию Федор понял, что брат больше не придет и звонить не будет. Он с горечью отметил, что эта мысль принесла ему облегчение. «Не склеить... Ничего не склеить»,— констатировал он уже почти без сожаления. Что ж, значит, так тому и быть. Каждому свое.

И тут же он вспомнил о пульсе. Как он мог забыть? Непростительно. Проводив глазами Демилле, Федор положил пальцы на запястье. Пульс был семьдесят де-

вять ударов. Федор Викторович похолодел и принялся искать валидол. Скляночки не было! Очевидно, впопыхах он забыл ее дома, чего не случалось с ним уже много лет. Лоб его покрылся испариной, он беспомощно огляделся по сторонам и шаркающей стариковской походкой осторожно направился к телефону-автомату, находившемуся у ворот медицинского института.

Он набрал номер, чувствуя, что пульс от волнения полез вверх.

— Алла? Я забыл валидол. Что делать?

— Купи в аптеке! — Алла швырнула трубку.

И правда, как он не догадался! Ему стало чуточку легче. Он сел в трамвай и доехал до площади Льва Толстого. Здесь его ждал новый удар: аптека была закрыта. Федор Викторович почувствовал, как сжалось сердце, схватился за левый бок и прислонился к стене. Проходивший мимо старик остановился.

— Вам плохо? Хотите валидол?

— Да-да! Если можно...

Старик вытряхнул на ладонь Федора две таблетки, и тот засунул их в рот. Во рту похолодело. Ему показалось, что боль отступает. Поблагодарив старика, Федор направился к остановке троллейбуса.

Когда он вернулся домой, серый от переживаний, то застал на кухне жену, беседующую с небольшого роста майором милиции. На лоб майора падала жесткая прядь волос, похожая на воронье крыло. На столе стояла чашка чая.

В голове Федора пронеслось несколько мыслей, не успевших сформироваться из-за быстроты передвижения. Он в растерянности остановился в дверях кухни. Майор шагнул ему навстречу, четким движением вынул из кармана удостоверение и, ловко раскрыв его указательным пальцем, подержал пару секунд перед носом Федора Викторовича.

— Майор Рыскаль.

Федор от волнения не смог прочесть фамилию в удостоверении, и оно исчезло в кармане майоровской тужурки. Мысли Федора все прыгали в разного рода предположениях: почему-то они были связаны с «Жигулями» цвета морской волны, с установкой гаража, хотя противозаконных действий совершено было не более, чем обычно.

Они уселись за стол, и Федор, слегка устремившись

вперед, искательно поглядел на майора. Тот вынул из кармана конверт.

— Это вы писали?

Федор взял конверт, недоуменно повертел его в руках. Это было его письмо к брату, как ни странно, нераспечатанное.

— Я,— сказал он грустно.

— Вы виделись со своим братом, Евгением Викторовичем Демилле?

— Да, только что.

— Знаете ли вы, что на него объявлен всесоюзный розыск?

Федор похолодел. На миг перед его внутренним взором выпрыгнул увиденный недавно на аэровокзале плакат «Их разыскивает милиция» с уголовными физиономиями разыскиваемых.

— Нет, я не в курсе.

— Значит, вам он не говорил. А как вам показалось — знает ли он об этом?

Федор, ободренный сравнительно безопасным для него течением следствия, напряг память. Действительно, что-то в действиях брата показалось ему подозрительным. Не успел он высказать свое предположение, как в разговор вмешалась Алла.

— Наверняка знает! — отрезала она.

— Почему вы так думаете? — обратился к ней Рыскаль.

— Он внешность изменил. Никогда у него усов не было и таких длинных волос. Одежда тоже нехарактерная.

Рыскаль подробно выспросил, как был одет Демилле, сведения записал в книжечку. Потом спросил:

— А где сейчас живет, он не говорил?

— Нет,— покачал головой Федор.

— Говорил, неправда! — Алла инстинктивно дернулась вперед, как собака, взявшая след.— Он сказал, что ночует в коктейль-баре!

— В коктейль-баре? — удивился Рыскаль.— В каком?

— Мы не спросили.

Рыскаль недовольно хмыкнул, уставился в книжечку. Когда он поднял на супругов глаза, в них блеснула неприязнь.

— Он ничего не рассказывал о себе? Какие-нибудь странные события? — продолжал допрос Рыскаль.

— Ах, нес какую-то ахинею,— вздохнула Алла.

— Говорил, что его дом куда-то улетел. Ну, сами понимаете...— Федор развел руками, словно извиняясь.

— Это правда. Дом улетел еще весной,— отрубил Рыскаль.

Супруги покосились друг на друга, не смея возразить.

— Что он еще рассказывал про себя? О жене вспоминал?

Федор пожал плечами.

— Ну и семейка! — зло сказал Рыскаль.— Когда вы его снова увидите? Он придет к вам?

— Не знаю... Может быть, и нет.

Рыскаль только крякнул и поднялся со стула. В прихожей он надел фуражку, повернулся на каблуках к Федору и Алле:

— Настоятельная просьба: если Демилле появится у вас или вы узнаете о его местонахождении, сообщите по телефону ноль-два дежурному УВД для майора Рыскаля.

— Да-да, непременно...— испуганно сказал Федор.

Рыскаль холодно откозырял и покинул квартиру Шурыгиных, не сказав более ни слова.

Федор и Алла поглядели друг на друга. Им обоим вдруг вспомнилась их квартира с кондиционером в Триполи с видом на ослепительной синевы бухту, обрамленную пальмами... Федор набрал номер Аэрофлота и в ответ на приятный женский голос «Международный отдел слушает» сказал:

— Девушка, по каким числам рейсы на Триполи?

Глава 32.

РЕЙД

В середине августа, дождавшись возвращения из Ессентуков обоих Светиков, Рыскаль созвал чрезвычайное заседание Правления в расширенном составе. На нем, кроме членов Правления, присутствовали руководители групп взаимопомощи каждого подъезда, генерал Николаи как представитель общественности микрорайона, жена Рыскаля и оба дворника.

В штабе висела газета «Воздухоплаватель № 5», оформленная Храбровым и Соболевским в подчеркнуто тревожных тонах. Центральное место занимал рисунок

дома в разрезе: множество квартир, среди которых бросались в глаза своею отвратительностью многочисленные притоны с нагромождением бутылок, замусоренные лестничные клетки, языки пожара в одной из квартир, бандитизм в другой...— тогда как в соседних изображена была тихая обывательская жизнь с телевизором, кошками и электрическими самоварчиками. Дворники, вконец измученные мусором и алкоголиками, дали волю своей мрачной фантазии. Рисунок получился пугающим. Рыскаль решил не цензуровать: пусть посмотрят, во что мы превратились. Сам он написал передовицу в тоне спокойном, но решительном, с перечислением всех фактов антиобщественных и уголовных деяний, случившихся во вверенном ему доме за лето. Остальные тексты принадлежали дворникам. Надо сказать, что практическая борьба с хулиганами и тунеядцами решительно преобразила творчество прозаика и поэта. Стихи и проза лишены были заумности и следов нарочитого формотворчества — они стали крепче, злее, действеннее.

Майор открыл заседание.

— Я не буду повторяться, товарищи. Факты изложены в моей заметке. Нам нужно выработать практические решения по недопущению впредь подобных фактов. Кто хочет выступить?

— Разрешите мне! — сразу вскинула руку Светозара Петровна.

Она поднялась со стула и обвела членов Правления долгим укоряющим взглядом.

— Товарищи, как могло такое случиться? Вспомните, как хорошо все начиналось!

— Вы имеете в виду наш перелет? — спросил Файнштейн.

— Перестаньте, Рувим Лазаревич! Вам все шуточки! Я имею в виду Первомай, субботник... Как мы могли докатиться до такого?! — она указала на газету.— Я предлагаю выбрать ответственного за воспитательную работу. Надо чаще собираться, товарищи. Назрела необходимость общего собрания...

— С алкоголиками,— вставил Карапетян.

— Я призываю вас к порядку! Если мы здесь, в Правлении, не можем навести порядок, потеряли веру в наши идеалы...

— Эк вы хватили! — крякнул Серенков.

— Да! Потеряли! Почему пишут на стенах? Почему

в лифт невозможно войти? Распустились! Надо воспитывать и воспитывать!

— Светик...— промолвил Светозар Петрович.

— Я сказала. Корень в воспитательной работе,— Светозара Петровна села с оскорбленным видом.

Встал Файнштейн.

— Светозара Петровна в своем, как всегда, темпераментном выступлении поменяла местами причину со следствием. Будем жить по Марксу, товарищи...

— Я живу по Марксу! — воскликнула Светозара Петровна.

— ...А Карл Маркс учит нас, что бытие определяет сознание, а не наоборот. Дайте людям сносные условия существования, и они перестанут мочиться в лифтах. Я опять ставлю вопрос о предоставлении членам кооператива равноценной жилплощади в другом районе. Иначе может случиться непоправимое...

— Что? Что — непоправимое? — вскинулся Серенков.

— Убийство и изнасилование у нас уже были. Вы хотите дождаться похищения детей? Растления малолетних? — парировал Файнштейн.

Все притихли. Угроза была, может быть, и преувеличена, но ненамного.

— Порядок нужен. Твердая рука,— сказала Клара Семеновна.

Все посмотрели на Рыскаля. Он в задумчивости поглаживал свое «воронье крыло». Клара волновалась, ожидая его ответа. Но Рыскаль молчал.

— Можно мне? — поднялся дворник Саша Соболевский.— Раньше в каждом подъезде был постовой, и на углах дома тоже. Был порядок. Потом поставили шифрованные замки в дверях, а постовых убрали. Замки сломали через неделю. А постовых не вернули. Надо добиться от Управления, чтобы снова были постовые...

— Правильно! Дело говорит! — раздались возгласы.

— Разрешите? — встал со своего места Николаи.

Члены Правления обратили взоры на активного генерала, который удивил их еще на первом собрании. Глаза Серенкова вспыхнули недобрым огнем; он слишком хорошо помнил выволочку, устроенную ему генералом за дверями собрания.

— Можно, конечно, поставить постовых в каждом подъезде. Но почему только в вашем доме, товарищи?

Давайте быть последовательными. Поставим по милиционеру в каждом ленинградском подъезде. И на каждом углу тоже. Почему бы не поставить?

— Милиционеров не хватит,— сказала Малинина.

— Совершенно верно. Сотрудников милиции может не хватить. Что же делать?

— Всем записаться в милицию! — воскликнула Клара Семеновна, вызвав общий смех.

— В этом есть резон,— продолжал генерал, переждав смех.— Только незачем нам надевать мундир. Есть проверенная форма участия населения в охране общественного порядка. Я говорю о добровольной народной дружине...

Присутствующие как-то поскучнели. Думали, генерал предложит что-нибудь необычное, а тут — опять дружина!

— Вы отставник? — с вызовом спросил Серенков.

— Да. Именно так,— кивнул генерал.

— А мы работаем! Мы дружинники по месту работы. Между прочим, дежурим регулярно. Вы предлагаете и по месту жительства эту лямку тянуть?

— Где вы дежурите? — спросил генерал.

Серенков на секунду смешался, ибо членом никакой дружины не был, но тут же взял себя в руки.

— Это не важно.

— Мы — на проспекте Благодарности. Возле завода,— ответил Карапетян.

— То есть довольно далеко от родного дома,— подхватил генерал.— Вы знаете, от кого вам охранять граждан. От хулиганов. Но вы, к сожалению, не знаете, кого охраняете. Вы бережете покой неких абстрактных земляков. И только. Здесь же вы будете охранять своих близких, знакомых, соседей... Каждому живому существу свойствен инстинкт защиты своего гнезда.

— Значит, все-таки «своя рубашка ближе к телу»? — насторожилась Ментихина.

— Естественно, дорогая Светозара Петровна. И это обстоятельство надо использовать в общественных интересах. Добровольная народная дружина должна создаваться при каждом доме и охранять порядок вокруг своего дома. Тогда ее члены будут знать, кого они охраняют. Своих жен, матерей, детей, соседей... Это ведь так просто.

— А что? Верно товарищ говорит,— вступила Малинина.— Формально дежурим на производстве. Поша-

таемся с повязками по людным местам и бегом домой. А здесь — все свои. В случае чего — только крикни!

— Управление, надеюсь, не будет возражать? — обратился генерал к Рыскалю.

Тот развел руками.

— Какие могут быть возражения...

— Вы думаете, так просто будет собрать на дежурство членов дружины? — возразил Файнштейн.— На работе нас обязывает начальство.

— А здесь — совесть! — воскликнула Светозара Петровна, на что Файнштейн только страдальчески поморщился.

— А пустующие квартиры немедля сдать под охрану милиции. Поставить сигнализацию — и все дела,— генерал сел.

Собрание оживилось. Предложения генерала показались простыми и разумными, а главное — возвращали кооператив к единению, к незабываемым майским дням сплоченности и доверия. Тут же стали обсуждать: кто и как будет дежурить, все ли члены кооператива должны быть членами ДНД или же только мужчины, какова периодичность дежурств, часы и тому подобное. Ответственность за создание дружины возложили на начальников групп взаимопомощи каждого подъезда. Настроение собрания поднялось. Забрезжил выход.

— Алкашей будем принимать? — спросила Малинина.

— Вот еще!

— А что они — не люди? — обиделась Вера.

— Мы с ними бороться будем,— объяснила Светозара Петровна.

— И они тоже будут. С собой будут бороться. Вы не знаете! Алкаши ужасно с собою борются, только в одиночку. Ответственность возрастет,— серьезно убеждала Вера.

Решили дружно — препятствий алкоголикам при записи в дружину не чинить.

Рыскаль подвел итоги заседания. Во время дебатов он отмалчивался, будто размышлял о чем-то. Наконец, выслушав всех и не вставая со своего председательского места под портретом Дзержинского, майор начал негромко:

— Я вот тут думал, товарищи... Последний месяц тяжелый был. Не налаживается у нас коммунистический быт. Огорчительно. Все ждем, когда на тарелочке подне-

сут. А надо самим строить. Товарищ генерал справедливо указал. Поймите меня правильно: я власть не хочу применять. И постовых в каждом подъезде могу вернуть, это не проблема, учитывая наше положение... Но хочется-то — без постовых! — воскликнул вдруг Рыскаль с такой болью, что присутствующие потупили глаза. Не ожидали от майора эмоций: всегда он был ровен и спокоен. Видно, сильно его допекли обстоятельства и горькие думы.— Дружина — это хорошо. Мы ее создадим. Но не только в надзоре дело. Я думал: устроим маленькую показательную ячейку. Как можно жить. Чтобы другие видели... Ан нет. Не получается. Снова попрятались в свои ракушки...

— Я же говорю, нужно чаще встречаться,— сказала Ментихина.

— Собраниями не поможешь...— вздохнул Рыскаль.

— Что же вы предлагаете, Игорь Сергеевич? — спросил Файнштейн.

— Если б я знал... Понимаете, я в деревне вырос. Семья большая. Все друг про друга известно: кто синяк набил, у кого штаны прохудились, кому мамка выволочку сделала... И про другие семьи всем известно, про соседские, потому что все на виду. А на виду жить лучше стараешься. Стыдно перед другими... Или вот в коммуналке, помнишь, Клава?..

— Я так вас понял, что вы хотите, чтоб весь наш дом был одной большой коммунальной квартирой? — опять спросил Файнштейн.

— Коммуналка — ведь она от слова «коммуна»,— сказал Рыскаль.

— Простите. Всем известно, что партией и правительством взят курс на обеспечение трудящихся отдельными квартирами,— возразил Файнштейн.

— Курс-то взят...— снова вздохнул Рыскаль.

— Я не понимаю,— развел руками Файнштейн.

Вот на этой недоумевающей ноте заседание и закончилось. Разошлись тихо, каждый про себя обдумывая зароненную майором озабоченность. В самом деле, и так плохо, и сяк. Залезли в отдельные квартиры, знать ничего не хотим о ближних — какой же это коммунизм? Но неужто лучше коммуналка с постоянной нервотрепкой и неугасающим стыдом оттого, что приходится интимные стороны жизни выставлять напоказ? Куда податься?..

Тем не менее, запись в дружину провели организованно и дружно. Возглавил дружинников богатырь Вероятнов, которому это было зачтено как партийное поручение на заводе, где он работал. (Об этом позаботился Рыскаль.) Не мешкая, решили провести первый противоалкогольный рейд, причем решение это и дату рейда Правление держало в строжайшей тайне, дабы застать нарушителей врасплох.

Григорий Степанович принимал в подготовке к рейду живейшее участие, так что баснописец Бурлыко предложил даже в шутку назвать дружину именем генерала Николаи. Рыскаль воспринял серьезно.

— Посоветуюсь в Управлении. Поскольку вы — Герой, могут разрешить.

— Оставьте, Игорь Сергеевич! — рассердился генерал.

К назначенному дню инженер Карапетян при помощи дворников обновил гирлянду освещения в щели, куда выходили двери парадных: заменил перегоревшие лампочки, над каждым подъездом установил мощные ртутные светильники. Вечерами щель светилась, как раскаленная добела проволока.

В двадцать один час в штабе собрались дружинники с красными повязками на рукавах. Все были сосредоточены, переговаривались вполголоса. Саша Соболевский мерцал фотовспышкой. Было нервно.

Рыскаль позвонил в медвытрезвитель и вызвал фургон.

— Начнем, товарищи,— сказал он, положив трубку и обведя собравшихся строгим взглядом.

Группы одна за другой принялись покидать штаб. Разработанный Рыскалем план состоял в следующем: сначала прочесать все лестничные марши и площадки от первого этажа до последнего, потом приступить к досмотру подозрительных квартир.

В штабе у телефона остались дежурить Светозар Петрович и генерал Николаи. Клава и обе дочери Рыскалей кипятили чай и готовили перевязочные средства.

...Потом уже, работая над спецвыпуском «Воздухоплавателя», баснописец Бурлыко пустит очередную шутку, назвав эту ночь «Варфоломеевской», но тогда было не до шуток. Отряды дружинников, бесшумно проскользнув по щели к дверям подъездов, устремлялись на верхние этажи, обшаривая кулуары площадок

и закутки у мусоропроводов. Попутно специальные разведчики-слухачи, приникая ушами к дверям, прослушивали, не раздаются ли из квартир подозрительные шумы: ругань, крики, звяканье бутылок. При обнаружении оных дверь помечали мелом, однако пока в квартиры не входили. Работали на площадках. Зазевавшихся алкашей, распивающих парами и на троих свои бормотушные бутылки, брали быстро и бесшумно. Как правило, алкоголики располагались у мусоропроводов, поставив бутылку на крышку люка. Их моментально сталкивали в лифт и спускали на первый этаж, где они попадали в руки дворников, поддержанных Бурлыко, Завадовским и гигантом Вероятновым. Точно карающая молния, прорезала темноту фотовспышка в руках Соболевского, и ослепленные ею алкоголики попадали в щель, где на них наваливался мертвенно-синеватый свет ртутных ламп. Конвоируемые, а иногда и ускоряемые дружинниками, несчастные следовали быстрой пробежкой к выходу на Подобедову, где их, урча мотором, ждал фургон «Спецмедслужба» с гостеприимно распахнутой задней дверцей. Не замедляя скорости, чему способствовали три сержанта милиции, нарушители порядка влетали туда, как в черную дыру, и исчезали из глаз. Тем, кто не мог двигаться исправно, помогали это делать. Фургон постепенно наполнялся пьяными слезами, криками и угрозами.

Кроме распивающих на площадках, хватали так называемых «гонцов», устремлявшихся из квартир за бутылками, случалось, в одной рубашке на голое тело, и сжимавших в кулаке мятые рубли, а также возвращавшихся обратно с добычей, найденной поблизости у водителей такси. Квартира тут же помечалась мелом, а «гонцы» пополняли компанию в фургоне.

Курящих на лестницах кооператоров и их гостей сортировали: смирных отцов семейств, оберегающих свои квартиры от табачного дыма, вежливо направляли домой, людей же из пьяных компаний отводили в штаб для последующего разбирательства, если они вели себя тихо. Буйствующих ждал фургон; квартира, естественно, помечалась.

Не обходилось без конфликтов: то тут, то там на лестничных площадках слышалась глухая возня с отзвуками мата, дрожали перила, гремели дверцы лифта, сотрясаемые борющимися в них телами. Вскоре полоска ущелья, выметенная метлою Храброва, обагрилась

кровью — кому-то разбили нос. Тропка алых капель на сером асфальте уводила к фургону. В штабе Клава обрабатывала перекисью водорода Валентина Борисовича Завадовского, получившего ссадину при падении с крыльца.

Рыскаль поспевал там и тут. Только его видели у фургона, где он производил ревизию нарушителей и договаривался с милиционерами о повторном рейсе, ибо улов пьяниц оказался значительнее, чем предполагалось, как Игорь Сергеевич оказывался на девятом этаже, чтобы разобраться с компанией студентов, курящих на площадке; покончив с ними, спешил в штаб, где Клава подносила ему стакан горячего чая, а Светозар Петрович сообщал текущую статистику рейда: столько-то человек в фургоне, такие-то квартиры помечены.

Игорь Сергеевич был мрачен: масштабы явления превзошли самые страшные прогнозы. Становилось ясно, что одним рейдом тут не обойдешься, нужна постоянная работа.

Как вдруг в штабе показались инженер Вероятнов и Файнштейн, которые вели под руки щуплого гражданина маленького роста, мертвецки пьяного. Одет он был в глухой комбинезон из блестящей ткани цвета алюминия и в такую же шапочку.

Однако невменяемое состояние гражданина и его странный наряд как-то отступили перед ужасом, охватившим майора при взгляде на лицо незнакомца. Оно было желтого с просинью цвета, огромными блеклыми остановившимися глазами — и без носа! Когда же Игорь Сергеевич обратил взгляд на руки странного гражданина, то обнаружил на месте пальцев довольнотаки мерзкие щупальца.

— Кто это? — спросил Рыскаль с тревогой.

— Вышел из квартиры двести восемьдесят четыре с двумя алкашами,— доложил Вероятнов.— Тех мы в фургон, а этого... Решили вам показать.

— Правильно,— одобрил Рыскаль, приходя в себя после шока, вызванного видом незнакомца.— Такого в вытрезвитель нельзя, он там всех перепугает...

Он обошел пьяного, поддерживаемого за локотки Файнштейном и Вероятновым и никак не отозвавшегося на происходящее.

— Что же это за явление? — озадаченно спросил Рыскаль.

— Я думаю, алкогольный мутант, Игорь Сергеевич,— сказал Файнштейн.— Как врач могу подтвердить, что такое возможно.

— А вдруг иностранец? Из какой квартиры вышел, вы говорите? Кто там живет?

— Квартира пустует с апреля. Там писатель прописан,— доложил Вероятнов.

— А-а... Зарегистрированный бегун...— вспомнил Рыскаль.

Он поводил указательным пальцем перед отсутствующим носом желтолицего мутанта. Блеклые глаза мутанта не выразили ни малейшего интереса.

— Вы кто? Вы меня видите?! — крикнул Рыскаль в лицо мутанту.

Тот на секунду оживился, задвигал щупальцами. Изо рта его вырвался шипящий звук, после чего он попытался произнести какое-то слово.

— Что он сказал? — не понял Рыскаль.

— Кажется, «лебедь»,— сказал Вероятнов.

— При чем тут лебедь? — пожал плечами Файнштейн.

— Вот что. Запрем этого «лебедя» в штабе и вызовем «скорую»,— распорядился Рыскаль.

Бесчувственного мутанта опустили на стул, Рыскаль набрал номер «Скорой» и объяснил, что нужно приехать к гражданину с ярко выраженными физическими недостатками. К тому же — пьяному. Диспетчер «Скорой» отказывалась, так что Рыскалю пришлось назвать свой чин и должность.

Мутант неловко сидел на стуле, свесив набок желтое безжизненное лицо.

Клава поднесла ему ко рту (за неимением носа) скляночку с нашатырем, мутант дернулся и вдруг, вырвав из рук Клавы пузырек, опрокинул содержимое себе в рот. После чего снова впал в прострацию.

Его заперли в помещении штаба и отправились по этажам — наводить порядок в помеченных квартирах. Клава осталась у двери, внимательно прислушиваясь к звукам изнутри. Слава богу, мутант вел себя мирно.

«Скорая» приехала через час. За это время рейд подошел к концу, и его участники вновь собрались в квартире Рыскаля, однако штаб пока не открывали — пили чай на кухне, обмениваясь впечатлениями и подробностями операции.

Молоденькая женщина-врач в белом халате вошла

в квартиру и, выслушав короткое объяснение майора, попросила показать больного. Майор повернул ключ в двери штаба и распахнул дверь.

В штабе никого не было. Только обивка стула, где сидел мутант, была слегка обожжена, да в оконном стекле удалось после тщательного осмотра обнаружить мельчайшие, не более миллиметра в поперечнике, дырочки с гладкими оплавленными краями.

Глава 33.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Однако вернемся к нашему герою, успевшему задать нам новые загадки. Мы уже давно потеряли его из вида.

Демилле прибыл в Ленинград поездом в середине августа. Трудности с билетами и ночевками на время отвлекли его от мыслей о будущем: куда он спешит? что будет делать дальше? где ему жить? — но они встали во весь рост, как только Евгений Викторович с портфельчиком вышел из здания Московского вокзала.

Куда ехать? Где провести хотя бы первую ночь?

Все прежние пристанища отпадали. Аспиранты наверняка в отпуске, лакомятся дынями в Баку и Ташкенте и рассказывают о чудаке, потерявшем собственный дом; детский сад — на даче, Неволяев уже не дежурит по ночам; Наталья?.. Бог его знает, что там у Натальи? Может, замуж вышла... О Безиче и Каретникове даже не вспоминал, вычеркнул их из памяти.

Как ни крути, оставались матушка и Любаша. Но сначала заехать на службу, нет ли там каких новостей?

Демилле вышел на Лиговку и прошелся вдоль длинной очереди на такси. Хотелось проехаться по родному городу с комфортом. У Евгения Викторовича бывали такие капризы. Однако стоять в очереди было выше сил. Демилле остановился в задумчивости.

— Куда вам ехать? — раздался сзади приятный голос.

Демилле оглянулся и увидел модного, по-летнему одетого мужчину среднего роста, спортивной наружности, с открытым стандартно-непримечательным лицом, какие встречаются на рекламах. Мужчина поигрывал ключами «Жигулей».

— Недалеко. На Мойку,— ответил Демилле.

— Три рубля,— сказал мужчина, слегка улыбаясь и глядя Демилле прямо в глаза.

— Поехали,— пожал плечами Евгений Викторович.

Мужчина отвел его на стоянку, отпер «Жигули» вишневого цвета, предложил сесть. Демилле уселся спереди и пристегнулся ремнем безопасности.

— Правильно,— похвалил водитель.— Приходится напоминать, знаете...

По дороге разговорились. Начал водитель: откуда приехали? какая погода в Крыму?..— говорил законченными, правильно построенными фразами. Демилле отвечал корректно, но сухо, поскольку, с одной стороны, презирал в душе эту породу частников, с другой же — не хотел обижать.

Впрочем, водитель, похоже, не обращал на интонацию пассажира внимания, довольствовался фактами. Когда Демилле назвал адрес института, куда нужно подъехать, водитель взглянул на него с интересом.

— Вы кем там работаете, если не секрет?

— Архитектором.

— Интерьеры оформлять умеете?

— Да... Зачем вам это?

— Вопросы потом. Подработать хотите? Оплата наличными и сразу. Работа по специальности.

— М-м...— Демилле замялся.

Предложение было как нельзя кстати, учитывая неопределенность его положения, отсутствие жилья и денег. Возможно, придется снимать комнату, вообще деньги всегда нужны. Но и соглашаться не хотелось, ибо он чувствовал, что дело нечисто.

Водитель между тем притормозил у подъезда проектного института, где работал Демилле, и, вынув из кармана визитную карточку, черкнул что-то на обороте.

— Если надумаете, приезжайте по этому адресу. Работаем с пяти до полуночи. Жду вас два вечера, в противном случае обращаюсь к другому специалисту.

Демилле отсчитал деньги и вышел, поблагодарив кивком. «Жигули» умчались. Демилле взглянул на визитку. На лицевой стороне типографским шрифтом было вытиснено: «Зеленцов Валерий Павлович. Диск-жокей», стояли домашний адрес и телефон. На оборотной стороне рукою Зеленцова было написано: «Дискотека „Ассоль"» и адрес на проспекте Обуховской обороны.

Евгений Викторович спрятал визитку в карман и вошел в здание института.

В коридорах было пустынно, пора отпусков еще не кончилась. Демилле почувствовал странное отчуждение: его институт с потерей дома не стал ближе, а, наоборот, отдалился от него, стал чужим. Не встретив никого из знакомых, он дошел до мастерской на третьем этаже и, с неудовольствием предвкушая предстоящее вранье, открыл дверь.

В мастерской сидела Жанна, листая журнал «Англия».

— О! Демилле явился. Ты чего так рано? У тебя же еще отпуск?

— Так... Забрел по пути,— ответил Евгений Викторович, озирая глазами мастерскую.

За кульманами никого не видно. Стол начальника пуст. Он подошел к своему рабочему месту и увидел прикрепленную к чертежной доске записку: «Евгений Викторович! Прошу Вас срочно зайти в партком. Решмин».

— Тебя тут ищут,— сказала Жанна, не переставая листать журнал.— Ты что-нибудь натворил?

— Кто? — вздрогнул Демилле, а в голове промелькнуло: «Неужто Ириша?»

— Майор милиции приходил. Интересовался.

Демилле похолодел. Сразу вспомнились комаровская дача и два санитара, спускающие с крыльца длинные носилки, накрытые простыней. Невидящими глазами он продолжал смотреть на записку, мысли его заметались и среди них выделилась вдруг одна: «Бежать!».

— С женой-то помирился? — равнодушно поинтересовалась Жанна.

Она знала о кратковременном пребывании Демилле у Натальи; Евгений Викторович как-то весною проговорился, тем более, что с Натальей его бывшая возлюбленная была шапочно знакома — виделись однажды в кафе; однако причину своего проживания вне семьи Демилле утаил. Жанна решила просто — в очередной раз поругался с Ириной. Это ей было понятно. Сама не раз удивлялась еще в пору их романа: «Как тебя терпят? Я бы никогда не стала, выгнала бы тут же!»

Евгений Викторович с недоумением посмотрел на Жанну, потом сообразил, что она имеет в виду. Жанна была ему сейчас неприятна. Как он мог связаться с нею, бродить часами по улицам, говорить, говорить, искать возможности для интимных свиданий?..

— Помирился,— сказал он и тут же, сменив тон, продолжал: — Жанночка, я тебя очень прошу, обо мне ни слова. Хорошо?

— О чем? — удивилась она.

— Ну, что я... В общем, заходил, говорил... Очень тебя прошу.

— Хорошо,— пожала плечами она.

— Даже если будут разыскивать,— подчеркнул Демилле.

— Да что ты наделал-то? — наконец всерьез заинтересовалась она, отложила журнал и вышла из-за стола. По ее странной улыбке Демилле понял, что Жанна вспомнила. Она иногда любила так вспоминать былые увлечения, на один миг возвращая прошлое и снова купаясь в нем. Жанна приблизилась к Демилле, положила руку на плечо, заглянула в глаза.

— Ты уже все забыл? — прошептала она и слегка откинула голову, ожидая поцелуя.

Однако Евгений Викторович заерзал, отодвинулся, освобождаясь от руки и взгляда.

— Почему же... Сейчас не время...

— Пойдем посидим где-нибудь,— предложила Жанна, мгновенно отрезвев и переходя на приятельский тон.

— Нет-нет, не могу,— извиняющимся голосом, который всегда был ему противен, запротестовал Демилле, все более отодвигаясь.

— Как хочешь,— снова пожала она плечами и возвратилась на место.

— Я тебе позвоню,— зачем-то сказал он.

— Для чего? Не волнуйся, никому ничего не скажу.

Демилле стыдливо пошел между кульманов к двери. Уже в дверях его догнала холодная фраза Жанны:

— Все-таки ты не мужчина.

С этим и ушел.

По коридору продвигался быстро, испуганно озираясь, как вражеский разведчик в неумелом фильме. Боялся, что заметят, поведут в партком, начнут выяснять, откуда знает Безича и Кравчука, позвонят в милицию... Слава богу, никого из начальства не встретил.

Он вышел на улицу, почти бегом кинулся к Невскому и смешался там с толпой.

Мысли вертелись вокруг милиции. Почему ищут? Что могут ему инкриминировать? Припоминались разго-

воры с Безичем и Аркадием: Олимпиада, Мадридское совещание... Письмо хотел написать! А что, если подозревают в убийстве Кравчука? Неизвестно, как там все вышло, какую записку оставил Аркадий перед смертью. Вряд ли стали бы так настойчиво разыскивать, если бы не подозревали. Майор приходил. Не сержант, не лейтенант даже, а майор. Чин в милиции немалый...

Демилле зашел в телефонную будку, отдышался и набрал номер Анастасии Федоровны.

— Мама, здравствуй. Это я.

— Федя?

— Почему Федя? Это я, Женя...

Анастасия Федоровна сразу же накинулась на него, выливая все свалившиеся на голову заботы: Любаша в роддоме, она одна с Никой и Хуанчиком, Шандор в лагере, как вам не стыдно, ни одного письма из Севастополя, хотя бы позвонили... Да! Самое главное. Федя приехал.

— Зачем? — тупо спросил Демилле.

— Как зачем?! Как зачем?! — закричала бабушка Анастасия.— Я тебе удивляюсь. В отпуск приехал.

— Вы виделись?

— Нет еще. Звонил. Ты же его знаешь, для него к матери выбраться — целое дело. Все вы хороши...— Анастасия Федоровна внезапно заплакала.

— Мама, не надо. Не волнуйся,— безнадежно бормотал Демилле.

— Женечка, я совсем забыла. К нам участковый приходил,— так же внезапно переставая плакать, сообщила Анастасия Федоровна.— Тебя спрашивал. Что случилось? Я жутко переволновалась.

— Все в порядке. Это ошибка,— стараясь придать голосу уверенность, ответил Евгений Викторович, в то время как сердце опять провалилось.— А что он говорил? Зачем я ему?

— Не знаю. Просто хотел знать, где ты. Я сказала, что в отпуске, с семьей. Как Егорка? Так давно его не видела.

Демилле скучным голосом принялся врать про Севастополь, Егора, Ирину, купания...

— Когда же вы зайдете? Любу надо навестить.

— Мамочка, прости, сейчас некогда. Егорку в школу устраиваем. Потом как-нибудь заскочу. К Любаше заеду. Где она?

— В Эрисмана. Ты к Федьке зайди, к Федьке...

Евгений Викторович вышел из будки разбитым. Более всего расстроила его собственная фраза — «Егорку в школу устраиваем». Сердце так и защемило. В какую школу?.. Значит, и у матери его искали. Дело серьезное. Выходит, туда нельзя. Остановиться у Федора — устанешь объяснять. Этого им не понять после Ливии. Да и вообще, у родственников жить невозможно. Найдут в два счета. Надо затихариться...

Демилле сам не заметил, как перешел на уголовную терминологию, будто был закоренелым рецидивистом.

Обстоятельства толкали его на неизведанную дорогу. В душе поселился страх. Демилле стал сторониться милиционеров, свернул с шумного Невского и пошел дальше по Садовой, пока не дошел до Летнего сада. Там он укрылся в тенистой аллее и присел на скамейку. Горько было на душе. Совсем пропащий в таком огромном городе. Пойти не к кому: либо опасно, либо некстати, требуются повод, приглашение.

Собственно, приглашение есть. Демилле нашел визитку Зеленцова, еще раз осмотрел ее и прикинул в уме, как добираться до нужного адреса. Времени оставалось как раз, чтобы не спеша доехать туда к началу работы, то есть к пяти часам.

Подъезжая к «стекляшке» на проспекте Обуховской обороны, заметил из окна трамвая знакомые «Жигули» вишневого цвета. Демилле зашел в здание и поднялся на второй этаж.

Здесь кипела работа: тянули проводку, красили. В длинном зале, уставленном белыми круглыми столиками на гнутых ножках и такого же цвета стульями с кружевными прорезными спинками, находились человек пять. В дальнем конце, у пульта со сверкающей никелем аппаратурой, Демилле увидел Зеленцова, помахал ему. Зеленцов сделал жест рукой: подходите...

— Надумали? — спросил он, когда Демилле приблизился.

В этот момент из громадных звуковых колонок по бокам небольшой низкой сцены вырвались оглушительные звуки музыки. Демилле присел от неожиданности, а Зеленцов весело расхохотался. Музыка оборвалась так же внезапно, как грянула.

— Давайте знакомиться,— Зеленцов вышел из-за пульта, позвал еще двоих. Подошли невысокий толстый армянин с большой круглой головой и такого же роста человек с бородкой. Демилле назвал себя; обменялись

рукопожатием. Армянина звали Алик Серопян, человека с бородкой — Алексей Христофорович Малыгин. Первый, как вскоре выяснилось, был барменом дискобара «Ассоль», второй, как и Зеленцов,— диск-жокеем. Обоим было лет по тридцать пять.

После первых незначащих фраз, во время которых Демилле, однако, успел понять, что главный в этой компании — Серопян, приступили к делу. Перед Евгением Викторовичем была поставлена конкретная задача: оформить помещение дискотеки, исходя из имеющихся в наличии материалов — краски, цветной бумаги, фольги, прессованных древесно-стружечных плит и прочего,— и разместить в интерьере световое оформление, которое также имелось в изобилии — от гирлянд цветомузыки до лазеров и милицейских мигалок. В помощь ему приставлялись два подсобника, совсем молоденькие Шурик и Вадик. Всю работу нужно было непременно завершить к первому сентября — дню открытия дискотеки.

— Сколько возьмете за работу? — спросил Серопян.

— А сколько вы можете предложить? — ответил Демилле, стараясь выглядеть опытным «шабашником» и не имея ни малейшего понятия, сколько же в действительности может стоить эта работа.

— Пятьсот,— быстро ответил Серопян.

— Семьсот,— в тон ему парировал Демилле, успев удивиться собственной наглости.

Вместо ответа Алик протянул ему короткую волосатую руку и широко улыбнулся, как бы говоря: «Ты же знаешь, что это стоит меньше, но я спорить не стану...»

Демилле скинул пиджак и сразу же приступил к работе, начав ее с осмотра помещения и сваленных где попало материалов.

...Дискотека «Ассоль» готовилась к открытию своего второго сезона. Еще два года назад здесь, на втором этаже «стекляшки», размещался вечерний ресторан, попросту говоря, столовая, которая в вечерние часы начинала работать по ресторанным ценам и торговать спиртным. Ресторан пользовался крайне сомнительной репутацией; дня не проходило, чтобы в нем не возникало пьяной драки, стремительно разворачивающейся в узком зале под звуки уникального по своему составу ансамбля: аккордеон, кларнет, электрогитара и барабаны.

И тут появился Алик Серопян — профессиональный бармен и оборотистый человек. До этого он работал в крохотном гриль-баре на Московском проспекте: кофейный аппарат, гриль, пять столиков, но его деятельная натура требовала иных масштабов.

Серопян сумел убедить руководство общепита открыть в помещении печально известного ресторана коктейль-бар с легкими закусками и организовать при нем дискотеку. Предложение было принято с некоторым сомнением, ибо те же финансы не позволяли иметь по штату в таком заведении больше, чем бармена, официантку и посудомойку, а уж про деньги на аппаратуру и говорить нечего. Алик, широко улыбаясь, предложил довериться ему.

Буквально через месяц представители руководства, производящие проверку, с изумлением обнаружили в бывшем занюханном и грязном зале чистоту и порядок, очередь у дверей, дружинников в повязках, пляшущую тесную толпу прекрасно одетых молодых людей, среди которых, кстати, не было ни одного пьяного, а на низкой эстраде, где когда-то уныло выводил звуки танго аккордеонист, стояли современный пульт, звуковые колонки, над которыми мигали огни цветомузыки, и приплясывал у микрофона молодой человек, называвшийся диск-жокеем.

Когда у Серопяна спросили, откуда этот юноша, не числящийся в штате, он с улыбкой развел руками и ответил:

— Нравится ему. Хобби.

И точно: юноша был студентом института культуры, а по вечерам исполнял обязанности диск-жокея дискотеки «Ассоль». Название придумали в тресте ресторанов и кафе. Серопян не возражал.

Про аппаратуру спрашивать не стали, было неудобно, поскольку трест выделил деньги лишь на косметический ремонт помещения.

За сезон дискотека «Ассоль» стала заметна, о ней написала молодежная газета; Алик Серопян добился к весне расширения штатов на две единицы и выделения некоторых средств на модернизацию дискотеки, которую планировали провести летом. Еще зимой он заключил договор на шефскую помощь с НПО по производству металлоконструкций, где заместителем директора был небезызвестный нам Валерий Павлович Зеленцов, давний знакомец Алика по торгово-сервисной сфере, с кото-

рой Зеленцов поддерживал постоянные связи, а когда Валерия Павловича турнули с должности и исключили из партии за утерю документов для служебного пользования и аморалку, Серопян предложил ему место диск-жокея, ни секунды не сомневаясь, что Валерий Павлович справится с этим делом, благодаря главному своему таланту — умению говорить.

Зеленцов мог бы остаться в родном объединении на месте старшего инженера, которое ему предложили, но... двойная потеря в окладе плюс необходимость работать от звонка до звонка не вдохновили Валерия Павловича, и он предпочел поменять специальность, которой у него, по сути, не было, на перспективную работу в дискотеке, тем более что виды на карьеру в министерстве рухнули безвозвратно, а партийная дисциплина была теперь над ним не властна.

Уже в июне, пережив персональное дело и утрату партбилета, Валерий Павлович активно посещал дискотеки, учился правильно танцевать, обнаружив к этому несомненные способности, консультировался на курсах диск-жокеев во Дворце молодежи, регулярно прослушивал современную музыку и запоминал названия зарубежных ансамблей: «Пинк Флойд», «Энимелз», «Лед Зеппелин», «Дип Пёпл», «Ху», «Чингисхан»...— это было, пожалуй, самым трудным. Участвовал он в модернизации, доставая через многочисленных знакомых материалы, краски, аппаратуру, причем занимался новым делом с поразительным увлечением, удивлявшим его самого, так что временами являлась мысль: а вдруг это призвание?

К моменту появления в дискотеке Демилле все было закуплено, оставалось навести внешний лоск. Серопян уважал профессиональный подход. Оформлением должен был заняться специалист. Не успела созреть эта мысль, как Зеленцов нашел Евгения Викторовича, еще раз доказав свою преданность делу. Алик был им вполне доволен.

Евгений Викторович тоже включился сразу, работа ему понравилась своею новизною и тем, что могла отвлечь его от тревожных мыслей. Не имея ни малейшего опыта в оформлении дискотек, но будучи профессионалом достаточно высокого класса, он решил не тратить время на знакомство с чужим опытом, а сразу предложил несколько идей, которые оказались вполне свежими и были восторженно встречены Серопяном и компанией.

Алик хотел одного — чтобы его дискотека стала лучшей в городе.

Демилле предложил оформить помещение в стиле большого современного западного города — с небоскребами, контуры которых надлежало вырезать из древесно-стружечных плит, со светящимися окнами, огнями реклам и автомобильных фар. Все это должно было мигать, переливаться цветами, создавая натуральную атмосферу Бродвея, скажем, посреди которого развертываются молодежные танцы. Евгений Викторович уже через два часа после знакомства набросал Серопяну эскиз. Алик слушал внимательно, кивая большой круглой головой.

— Годится. В окнах телевизоры поставим.

— Какие телевизоры?

— Цветные. Завтра привезут десять штук.

Демилле учел и телевизоры.

Получив одобрение эскизного проекта, он взялся за рабочие чертежи, бегая с рулеткой, обмеряя простенки,— Шурик и Вадик едва за ним поспевали. Уже к полуночи первого дня чертеж одного небоскреба был готов, а подручные, вооружившись ножовками, принялись осуществлять задуманное.

Местом обитания Евгения Викторовича стало помещение дискотеки. Это решилось в первый же вечер, когда Алик, дав команду о прекращении работы и отпустив подсобных рабочих, выставил на белый столик бутылку коньяка и положил четыре шоколадных батончика.

— Надо выпить за знакомство,— сказал он, жестом приглашая к столу Демилле.

Подошли Зеленцов и Малыгин. Алик неторопливо направился к стойке за бокалами. Евгений Викторович улучил момент и шепнул Зеленцову:

— Валерий Павлович, я хотел спросить, нельзя ли мне переночевать здесь?

— Что такое? — Зеленцов удивленно вскинул светлые брови.

— Понимаете, мне ночевать негде.

— Конфликт с женой? — понимающе улыбнулся Зеленцов.

Демилле замялся. Врать не хотелось, не столько из-за неудобства перед новыми знакомыми, сколько из-за того, чтобы не возводить напраслину на Ирину.

Алик принес бокалы и бутылку боржоми.

— Есть проблемы? — спросил он.

Малыгин молча теребил бороду, ожидая, когда нальют.

— Алик, тут, понимаешь...— начал Зеленцов, улыбаясь с едва уловимым заискиванием, но Демилле прервал его:

— Мне ночевать негде.

— Ты приезжий? Почему сразу не сказал?

— Нет, я ленинградец. Здесь живу, но...

— Развелся? — Алик сел, неуловимым движением пальцев откупорил коньяк, разлил собеседникам.

— Не совсем так... Я прописан...— Демилле путался, не зная, как лучше сказать.

Алик насторожился, внимательно взглянул на Евгения Викторовича.

— Говори все. Мы теперь в одной команде. Я знать должен.

— У меня дом улетел. Может, слыхали? Еще весной,— сказал Демилле, с надеждой обводя взглядом лица соседей по столику.

Серопян и Малыгин одновременно повернулись к Зеленцову. А тот, наклонившись вперед и глядя прямо в глаза Евгению Викторовичу, тихо спросил:

— Улица Кооперации, дом одиннадцать?

— Да. Откуда вы знаете?

Вместо ответа Зеленцов хлопнул ладонями по столику и от души, с каким-то облегчением, расхохотался.

— А? Что я вам говорил? Вот! Вот, пожалуйста! Какие вам еще доказательства?! Инессу знаете? — вдруг спросил он у Демилле.

— Какую Инессу?

— Латышку, модельершу. Из третьего подъезда?

— Красивая такая? Знаю, почему же не знать,— пожал плечами Евгений Викторович.

Зеленцов был счастлив.

Как выяснилось, его коллеги по дискотеке, давно зная и об утрате им служебных документов, и об Инессе, никак не могли поверить в причину такого прокола, повлекшего за собой исключение из партии и понижение в должности. Рассказы Зеленцова о летающем доме отвергали начисто, считая, что Валерий Павлович просто скрывает истинные обстоятельства. И вот нашелся свидетель! Все были довольны. На радостях выпили, а потом потребовали рассказа. Демилле поведал о своих мытарствах, причем был предельно краток, ибо ему

больше хотелось выслушать исповедь Зеленцова. Рассказ Валерия Павловича, последовавший немедля, был гораздо более красочен: Инесса, коньяк, вид ночного города с высоты птичьего полета, страх, портфель, едва пролезший в форточку, так что Валерию Павловичу пришлось забраться ногами на кресло и, стоя в одних трусах, выпихивать его обеими руками наружу... Одного не знал Валерий Павлович: места приземления дома. Помнил только серое утро, пугающее узкое ущелье между домами да милицейский «воронок». Кажется, везли из старой части города... Помнил еще фамилию майора, проявившего дурацкую принципиальность, повлекшую за собою беды,— Рыскаль.

Демилле обмяк. Опять удалось схватить руками за хвост птицу надежды, но она упорхнула, оставив в руке легкое перышко.

— Женя, деньги нужны? Дам аванс,— сказал Алик.

И, не дожидаясь ответа, вынул из портмоне двести рублей. Демилле принял, неумело благодаря.

Демилле устроился на ночь в дискотеке на листе толстого белого пенопласта, приготовленного для оформления. Под голову подложил портфель.

— Красиво жить не запретишь,— улыбнулся Алик, увидев постель своего работника.

Впрочем, на следующий день Зеленцов привез раскладушку и тонкий матрас, Малыгин — одеяло, а Серопян вручил Евгению Викторовичу целлофановый пакет с комплектом индийского постельного белья в счет будущей зарплаты. Через Шурика и Вадика удалось приобрести джинсы, куртку и кроссовки — все ношеное, но еще имеющее вид. На это ушли двести рублей аванса. Через несколько дней Демилле попросил у Алика еще, и тот, знакомо улыбнувшись, отсчитал сотню. К этому времени целый квартал Бродвея выстроился у одной из стен дискотеки.

Сразу по приезде Демилле начал отращивать усы.

В первую неделю он почти не покидал помещения дискотеки, много работал — пилил, строгал, красил... Незаметно прошло девятнадцатое число — дата выхода его из отпуска. Евгений Викторович, не колеблясь, решил на работу не выходить. Рвать так рвать. Чем хуже, тем лучше. Когда усы достигли приличествующей своему названию кондиции, Демилле отважился выходить в город, прикрывая глаза светозащитными импортными очками. Однажды увидел свое отражение в

стекле витрины — и не узнал. Показался себе чужим, гадким, отвратительным.

Свидание с братом и посещение родильного дома оставили в душе смутный осадок безвозвратно потерянного родства. К Федору больше не заходил, не звонил и матери с сестрой.

По мере приближения дня открытия дискотеки суматоха на втором этаже «стекляшки» нарастала: привозили оборудование, посуду, холодильники, начали завоз продуктов и напитков. Серопян не выходил из-за стойки, Демилле руководил строительством Бродвея, а Зеленцов тренировался у микрофона. Под его конферанс и бодрящую музыку работалось легко.

К полуночи Евгений Викторович валился с ног. Последним, как капитан с корабля, уходил Алик; Демилле запирал за ним дверь дискотеки и брел на свою лежанку, размещенную в пустующей пока моечной. И там, среди оцинкованных баков и медных, с зеленью, кранов, наваливалась тоска.

А утром все начиналось сначала. Первым приходил Алик, всегда энергичный и улыбающийся. Звенела посуда, визжала электродрель, шелестели купюры, извлекаемые Серопяном из пухлого портмоне.

— Почему он платит наличными? — как-то спросил Демилле у Зеленцова.

— Потому что это его личные наличные,— сострил Зеленцов.

— Но ведь дискотека государственная?

— Вы неплохо сохранились, Евгений Викторович! — Зеленцов хлопнул его по плечу и рассмеялся.— Государственного здесь — только древесно-стружечные плиты. Остальное — личная собственность Алика. Вам он тоже платит из своего кармана, между нами говоря.

— И вам?

— Естественно. Мой оклад от треста — сто двадцать. В два раза больше доплачивает Алик.

— Откуда же берутся деньги? Значит, он химичит? Он, что, продает с наценкой магазинный коньяк?

— Нет, это грубо. Все дело в искусстве разливания коктейлей. Серопян — мастер. Я бы назвал его художником.

— Значит, недоливает,— заключил Демилле.

— Алик учит интеллигентно пить, вот и все. В результате нет драк, правонарушений... Разве не к этому

призывают нас партия и правительство? — подмигнул Зеленцов.

— Конечно, это так...— засомневался Демилле.

— Разумная частная инициатива должна поощряться,— наставительно сказал Зеленцов.— Выгода обоюдная. Государство получает план, общественность — культурное место отдыха, а мы — небольшие дивиденды...

Вечером тридцать первого августа все было готово к открытию.

Бродвей сиял, колонки изрыгали звуки с немыслимым уровнем децибел, белые столики были расставлены по порядку, освободив у эстрады танцевальную площадку с пластиковым полом, подсвеченным снизу лампами.

Алик оценил работу на «отлично» и произвел окончательный расчет.

Появились еще две штатные работницы дискобара: сухопарая официантка Лидия и посудомойка Варвара Никифоровна. Они деятельно перетирали посуду, убирались на кухне и в моечной. Демилле пришлось свернуть свою постель и переехать в тесную кладовку, где стояли два финских холодильника и громоздились друг на друга ящики с коньяком.

Отпустив всех работников в начале первого ночи, Алик остался наедине с Евгением Викторовичем. Он ходил вдоль Бродвея, цокал языком, гладил стены небоскребов, заглядывал в пропиленные окна и время от времени включал различные световые эффекты. Насладившись, сел за столик с Демилле.

Евгений Викторович понял, что предстоит итоговый разговор, и, чтобы предупредить возможную неловкость, начал первым.

— Я уже ищу комнату,— сказал он.— Еще две-три ночи...

— Я не гоню,— Алик с улыбкой поднял ладони.

— Нет, ну все-таки... Не совсем удобно.

— Где работать будешь? — испытующе глядя на Демилле, поинтересовался Серопян.

— Найду.

— Найти трудно. На тебя всесоюзный розыск объявлен. Почему мне не сказал? Ай-ай-ай...— Алик покачал головой.

— Что?! — выдохнул Демилле.

У него сжало горло, а Серопян, щелкнув замочками

«дипломата», извлек сложенный вчетверо большой лист бумаги, напоминающий афишу. Не спеша развернув его, все с тою же улыбкой он положил лист на столик. Это был информационный листок «Их разыскивает милиция». В среднем ряду фотографий Демилле увидел свое лицо и текст под ним, где сообщалось, что последний раз его видели в июле месяце в городе Севастополе, а также были перечислены приметы.

— Я не знал. Честное слово...— прошептал Демилле, с ужасом глядя на свою фотографию, окруженную физиономиями опасных преступников.

— Теперь знай,— сказал Алик, складывая лист.

— Откуда это у тебя?

— В милиции свои люди,— улыбнулся Алик.

— Ты им не сказал?

— Зачем? Их дело искать, пускай ищут...

— Что же мне делать? — спросил Демилле, с надеждой глядя на Алика.

— Ничего. Оставайся. Узнать тебя теперь невозможно. Будешь работать.

— Кем? Мы же закончили оформление.

— Будешь помогать Лидии,— спокойно сказал Алик и слегка прищурился, наблюдая, какое это произвело впечатление на собеседника.

— Официантом?! — Демилле вскочил на ноги.

— Сто пятьдесят. Больше не могу. Остальное чаевыми. Лидия одна не справляется, слишком много посетителей...— Алик будто не заметил его возмущения.

— Нет, никогда! — Евгений Викторович нервно заходил по Бродвею.

— Зря. Такой работы нигде не найдешь. Без паспорта, в розыске... Зря,— вздохнул Алик.

— Я подумаю...— Демилле снова уселся за столик.

— Подумай,— кивнул Алик.

Демилле закурил. Помолчали. Алик с наслаждением осматривал зал.

— А тебе не жалко денег — всем платить? — спросил Демилле с ехидцей.

— Деньгам оборот нужен.

— Не боишься?

— Чего? — Алик улыбнулся в высшей степени безмятежно.

— Прокуратуры,— резко сказал Демилле.

— Думаешь, жулик, да? — улыбка Алика стала печальной.— А ты подумал — на фига мне это нуж-

но? — он обвел рукой помещение.— Я без этого свою тысячу в месяц имел, ни с кем не делился. Мне дело нужно, без дела не могу, пропадаю... Чтобы по высшему классу. Фирма. Не хуже, чем на Западе, понял? Что мы, не можем? За страну обидно.

Алик, и вправду, обиженно засопел, стал похож на ребенка с большой круглой головой.

— Я же тебя не обвиняю,— мягко сказал Демилле.

— Обвиняешь. Но я не обижаюсь. Как раньше было, уже прошло. Так уже не будет. Обществом движут деньги, а не идеи. Попробовали идеями двигать — жрать стало нечего. Я делец, да. Только лучше, если больше дельцов. Делец — от слова «дело».

— Значит, идеи уже не нужны?

— Почему не нужны? Нужны. На своем месте. Идеи нужны, творцы нужны. А толпе нужно хлеба и зрелищ. Как в Риме. У меня профессия — обеспечивать им зрелища. А ты двигай идеи. Я тебе не мешаю, но и ты мне не мешай...

— А ты философ...— улыбнулся Демилле.

— Почему нет? Философский кончал,— улыбнулся Алик.

Спал Демилле в кладовке. Снился ему белый пароход в синем море, который летел над волнами, не касаясь их килем и опасно лавируя между скалами, живописно торчавшими из воды.

Глава 34.
ПРОЩАНИЕ

Сентябрь подполз в дождевых тучах и пролился на город мелкими тягостными дождями, вызывающими тоску и уныние. Первый школьный звонок глухо прозвенел в сыром воздухе, отдаваясь печалью. Черные зонты укрыли нарядную толпу детей и родителей перед школой.

Григорий Степанович тоже стоял под зонтом рядом с Ириной, а неподалеку, в низеньком строю первоклашек, с букетом гладиолусов в руках стоял Егорка, обернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку с каплями на ней. За спиною у него висел новенький ранец, подаренный генералом.

Григорию Степановичу стоило большого труда уго-

ворить Ирину принять подарок. После переезда с дачи Ирина отдалилась, как бы напоминая генералу, что они находятся в добрых отношениях, но не более. Егорка все чаще вспоминал отца, в особенности, когда шли приготовления к школе. «Почему он не едет из командировки? Он знает, что я пойду в школу? Знает?» Григорий Степанович пытался развлечь мальчика по телефону, но Ирина не давала вести долгих разговоров, все время торопила куда-то: то в парикмахерскую, то в поликлинику, то в магазин за тетрадками.

Григорий Степанович знал от Рыскаля о розысках Демилле и в глубине души надеялся на их неуспех. Последнее могло означать лишь смерть разыскиваемого, но генерал не терзался угрызениями совести, поскольку Демилле не существовал для него в качестве живого человека, был неким отрицательным полюсом, притягивавшим к себе Ирину. После дачного объяснения Григорий Степанович уже не лелеял мечту о браке, вернее, упрятал так далеко, что не решался обнаруживать. Однако он не видел препятствий к тому, чтобы остаться для Ирины старшим другом... А там посмотрим. Лишь бы не появился этот прохвост!

Генерал осторожно расспросил Рыскаля о подробностях, и майор с неохотой признался, что есть сведения: Демилле побывал у брата, звонил матери и снова как в воду канул. Говорят, выглядит преотлично. Скрывается... Григорий Степанович виду не подал, только сердце сжалось, пришлось принять нитроглицерин.

В первые же дни учебного года генерал предложил Ирине помощь: пусть Егор приходит после школы к нему, зачем ему сидеть на продленке? Брался даже кормить обедом. Ирина мягко отклонила предложение. Тогда Григорий Степанович, испытывая неудобство, попросил дочь следить в школе за Егором, оказывать мальчику внимание. Маша пожала плечами, но согласилась.

Душа требовала заботы, но забота отвергалась. Остались лишь общественные дела, которым и предался Григорий Степанович: хождения на прием к депутату (Рыскаль попросил генерала добиться разрешения о передаче одной из пустующих квартир в первом этаже под подростковый клуб); улаживание конфликтной ситуации между больницей водников и кооператорами по поводу музыки, доносящейся из раскрытых окон и ме-

шающей покою больных; сочинение статей в газету «Воздухоплаватель».

Григорий Степанович зашел в штаб с очередной заметкой о преимуществах социалистического общежития, когда там, кроме майора Рыскаля, находился незнакомый мужчина высокого роста, с крепкими жилистыми руками и суровым лицом, изборожденным морщинами. На вид ему было лет за пятьдесят.

— Присаживайтесь, Григорий Степанович,— указал на стул Рыскаль.— Тут у нас интересный разговор с товарищем Спиридоновым.

Мужчина поднялся, пожал руку генералу:

— Спиридонов.

— Николаи,— кивнул Григорий Степанович.

Он уселся на стул, Спиридонов тоже занял свое место.

— Видите ли, Игорь Сергеевич, из истории нельзя произвольно вычеркивать страницы, которые нам не нравятся. Мы проходим историю русского освободительного движения, начиная с декабристов. Восстание на Сенатской, казнь петрашевцев, покушение Каракозова, процесс «ста девяноста трех», где выступал Ипполит Мышкин... Недавно посвятили занятие выстрелу Веры Засулич и суду над нею. Я провожу их сквозь все этапы, объясняю тенденции и ошибки. Скоро мы дойдем до «Союза борьбы», далее Девятое января... Событий хватает!

Григорий Степанович слушал, не понимая.

— И Зимний будете брать? — спросил Рыскаль озабоченно.

— Непременно.

— Ну, а зачем вам это? — спросил Рыскаль.

— На словах не доходит. Обкормились словами,— объяснил Спиридонов.

— Кого же вы готовите? Историков?

— Честных граждан своей страны. Патриотов,— отчеканил Спиридонов.

— Понимаете, Григорий Степанович, товарищ Спиридонов будет вести в нашем подростковом клубе исторический кружок,— объяснил майор.— Въехал в наш дом по обмену.

— Любопытно,— кивнул генерал.

— Если хотите, я стараюсь воспитать следующее поколение русских революционеров,— спокойно сказал Спиридонов.

В штабе повисла пауза.

— Эк вы хватили...— майор погладил «воронье крыло».

— Не пугайтесь. Революции бывают без крови. Но без идеи революции не бывает. Первые три поколения мы знаем из работ Владимира Ильича. Но на этом они не кончились. Было поколение русских революционеров, истребленное в лагерях в тридцатые годы. Было поколение, взявшее на себя тяжесть войны. Тоже русские революционеры, не удивляйтесь. Они социализм защищали... Сейчас есть потребность в новом поколении — чистом, честном, трезвом. Его надо подготовить к борьбе...

— С кем же? — спросил Григорий Степанович.

— С демагогами. С карьеристами. С циниками. С националистами всех мастей. С хамами... Иными словами, с непрерывно возрождающейся, как говорил Ленин, мелкобуржуазной стихией. Я так понимаю, что вы ее на своем горбу чувствуете, гражданин майор,— сказал Спиридонов.

— Товарищ майор,— поправил Рыскаль.

— Простите, лагерная привычка,— улыбнулся в первый раз Спиридонов.

— Чувствую, это вы верно сказали...— задумался майор.— Кстати, как у нас с клубом, Григорий Степанович? — обратился он к генералу.

— Депутат твердо обещал. Дело нужное,— сказал генерал.

— Нужное...— протянул майор.

Его взгляд упал на конверт, лежавший перед ним на столе.

— Григорий Степанович, вы к Нестеровой не будете заходить? — спросил он озабоченно.

— А что такое?

— Ей письмо. Не передадите?

— Мне не трудно,— генерал взял конверт, радуясь поводу, чтобы зайти к Ирине.

— И расспросите... только осторожно. Нет ли там сведений об интересующем нас человеке.

— Понял,— генерал взглянул на конверт. Письмо было без обратного адреса.

Григорий Степанович положил на стол майору заметку, вновь пожал руку Спиридонову и Рыскалю и вышел из штаба.

Ирина встретила его приветливо, но несколько

смущенно. В руках у нее была тряпка, внешний вид не оставлял сомнений, что в доме происходит уборка. Генерал не сразу понял причину смущения: на даче Ирина появлялась перед ним и не в таком затрапезном виде, это ее обычно не волновало. И лишь войдя в комнату, он понял, почему его так встретили: на полу стоял таз с разведенным клейстером, вокруг разбросаны были длинные ленты бумаги. Ирина заклеивала окна.

— Холодно уже, Григорий Степанович,— как бы оправдываясь, начала она.— Вот решила... Дует. Егор может простудиться.

Егор вертелся тут же, мазал клеем полоски, прилеплял к рамам.

— Да-да, это вы правильно решили...— механически проговорил генерал, присаживаясь. Сразу заныло в левом боку. Вот ведь знал, что так оно и будет, а все равно — горько невыносимо! Он нащупал стекляшку с нитроглицерином. Только не волноваться! Сейчас пройдет.

— Вам письмо, Ирина Михайловна,— сказал он, вытаскивая из кармана макинтоша конверт.

Ирина переменилась в лице, насторожился и Егорка. Она взяла конверт, пробежала глазами адрес. Генерал понял: от него... Ирина нетерпеливо взглянула на Григория Степановича, не зная, что делать. Распечатывать при нем или нет? Потом решилась, надорвала конверт и дрожащими руками извлекла оттуда небольшой листок бумаги. Впилась в него глазами.

— Егор... Это тебе. От папы,— проговорила она.

Егорка натянулся, как струнка.

— Читай! — потребовал он.

Ирина вновь бросила взгляд на генерала. Он понял, что она не хочет читать письмо при нем, но какая-то сила держала его в кресле. Ирина вздохнула, тряхнула головой и начала.

— «Егорушка!..— голос у нее сразу сел.— Поздравляю тебя с началом первого в твоей жизни учебного года. Как мне хотелось бы быть с тобою в этот день, вести тебя в школу вместе с мамой, но... не получилось...»

Ирина сделала паузу, с трудом сглотнула слюну.

— «Ты уж прости...» Нет, я не могу, Григорий Степанович! — на глазах у нее появились слезы.

— Читайте! — сурово произнес генерал.

— «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что не все

наши желания исполняются и не все поступки зависят от нас. Это очень бессовестно, но это так. Есть такое слово — „судьба", мой малыш! Оно обозначает слишком много, чтобы понять его, и слишком мало, чтобы прислушаться. Судьба — это то, что неотвратимо, от чего нельзя уклониться...»

— Мама, что такое «неотвратимо»? — спросил Егорка.

— Неотвратимо... Это, это...— Ирина не могла объяснить.

Генерал почувствовал, что тупая боль разливается по телу со стороны левого плеча.

— Неизбежно, Егор. Неизбежно,— сказал он.

Ирина дочитала письмо. Последние слова были: «Мы встретимся, малыш, жди меня...». Она положила листок на стол.

Григорий Степанович одними пальцами откупорил в кармане стеклянную трубочку с нитроглицерином, но вытащить таблетку на свет не мог решиться.

— Все! Продолжаем уборку! — встряхнувшись, объявила Ирина и быстро направилась в детскую. За нею вышел Егор.

Поколебавшись, Григорий Степанович последовал за ними, преодолевая боль в боку. Ирина держала в руках телефонный аппарат.

— Григорий Степанович, я уберу провод, ладно? Потом протянем, если понадобится...— сказала она.

«Если понадобится...» — эхом отозвалось в нем. Он принял из ее рук аппарат, смотал провод в клубочек и метнул через окно в свою квартиру. «Собственными руками...» — подумал он. Обидно, что Егор воспринял это как должное — не возмутился, не огорчился даже; его сейчас занимала расклейка полосок. И это усилило тоску Григория Степановича.

Он дождался, когда Егорка отправился в кухню за какой-то надобностью, и тихо проговорил:

— Послушайте, Ирина Михайловна, может быть, вы его еще любите?

Ирина села с тряпкой, задумалась:

— Он родной мне. Ничего не могу сделать. Не знаю.

— Это привычка,— отмахнулся генерал.— Любовь — другое... Любовь — это когда дня не можешь прожить, чтобы не увидеть, не услышать голос... Вот так-то, Иринушка...

Последние слова были сказаны генералом столь

мягко и проникновенно, что Ирина взволновалась, но тут же разозлилась на себя, на генерала, на этот дурацкий разговор о любви за расклейкой бумажных полос...

— Мы всегда лишь свои чувства считаем истинными и высокими,— против воли язвительно начала она.— У чужих — все не то. Называйте, как хотите: любовь, привычка...

— Не смею больше вам мешать. Извините,— проговорил Николаи внезапно осевшим голосом и двинулся к двери.

Ирина пошла за ним, опустив руки. Жалость вдруг охватила ее при виде покорной фигуры генерала и его печальной лысины, как тогда, на даче; захотелось погладить по голове, успокоить, как ребенка. «Зачем я его расстроила? Он ведь хороший...» Но тут же, будто строгая мать, погасила жалость: «Так будет лучше для него. И для меня. Нечестно давать ему надежду».

Григорий Степанович остановился в дверях.

— Прощайте, Ирина Михайловна,— он попытался поцеловать руку, но Ирина отдернула: что вы, грязная! с тряпкой!

— До свидания, Григорий Степанович. Заходите,— сказала она, стараясь придать голосу обыденность, чтобы не превращать эту сцену в прощание навсегда, в разрыв. Генерал понял это, обиделся еще больше. С ним, как с ребенком, обращаются!

— Нет. Спасибо,— сказал он сухо и вышел.

И все равно по-детски получилось. Да что же это такое, господи?! Он наконец кинул в рот таблеточку нитроглицерина и, насупленный, поспешил к лифту. Нажал кнопку первого этажа, и кабина с завыванием провалилась вниз, будто в преисподнюю.

Стенокардия не унималась, сжимала грудь. Генерал мелкими шажками миновал ущелье и, отдыхая на каждой ступеньке, добрался до лифта в своем подъезде. Машина вознесла его к небесам, будто в рай. «Куда же я в самом деле попаду?» — невесело подумал он. И уже выходя из лифта на своем этаже, с непреложностью понял: жизнь кончена. Он удивился спокойствию, с каким осознал эту мысль. Ничто не держало его тут больше: ни Маша, ни игры и забавы, ни дачная «Швейцария», ни добровольная народная дружина воздухоплавателей, созданная по его рецепту... Оказалось, что все это ничего не стоит в сравнении с потерянной любовью. Он уди-

вился тому, что еще несколько месяцев назад жил себе припеваючи, не помышляя ни о какой любви и довольствуясь забавами, пока не свалилось ему на голову это чувство, заставившее испытать острое до боли счастье и такое же поражение.

Он вошел в свою комнату, подошел к раскрытому окну и увидел наглухо затворенные рамы окна Егоркиной комнаты. За отливающими свинцом стеклами он различил фигурку мальчика. Свет в его комнате не горел. Егор готовился ко сну. Генерал подошел к письменному столу и зажег настольную лампу. Полированная поверхность стола была покрыта легчайшим слоем пыли. Генерал провел пальцем — остался след. Он уселся за стол и, положив перед собою лист бумаги, твердо написал сверху: «Завещание».

Завещание было кратким. Все свои сбережения, имущество и архив генерал отписывал Марии Григорьевне и лишь «Швейцарию» со всеми ее холмами и долинами, тоннелями и мостами, стрелками и вагонами он оставлял Егору Евгеньевичу Нестерову, сыну Ирины Михайловны. А посему Ирина Михайловна со своею семьею получала право безвозмездно и в любое время пользоваться дачей, на территории которой находилась «Швейцария». Рука дернулась было написать фразу о том, что это право не распространяется на Евгения Викторовича, но генерал устыдился столь мелких мыслей, размашисто подписал завещание и поставил дату.

Листок с завещанием он оставил в ящике письменного стола. После этого он отправился к дочери, пожелал ей спокойной ночи и оставил денег на коммунальные платежи: свет, газ, квартиру... Вернувшись к себе, разделся и лег в постель, не закрывая окна.

Проснулся он среди ночи от сильной давящей боли в груди. Из распахнутого окна веяло прохладой и сыростью. По карнизу барабанил мелкий дождь. Генерала на мгновение охватил страх. Он потянулся было к телефонному аппарату, чтобы вызвать «скорую», но опустил руку. Чему быть, того не миновать...

Боль становилась нестерпимой. Генерал почувствовал, что покрывается холодной испариной. В груди будто пробили дыру, и туда устремился влажный холодный воздух. Григорий Степанович кинул прощальный взгляд на раскрытое окно, откуда весною снизошли на него благодать и беда, сделал попытку глубоко вздохнуть всею грудью — и захлебнулся на вдохе.

Глава 35.
ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ

Генерала хоронила Артиллерийская академия. Украшенный цветами гроб с множеством венков, орденами и медалями на бархатных подушечках был выставлен в актовом зале. Григорий Степанович лежал в гробу в генеральском мундире, два молодых курсанта стояли в головах, прижав к плечам узкие штыки. Под звуки траурной музыки сменяли друг друга военные и штатские в почетном карауле. На скамье родственников сидели трое в черных одеждах: Мария Григорьевна, Ирина Михайловна и Егорка. Дочь генерала настояла на этом. «Ближе вас у него никого не было последние месяцы». Ирина покорилась, еще раз взвалив на плечи груз пересудов и косых взглядов. Женой генералу не стала, но стала вдовой...

Казнила себя, не переставая, за последний разговор и проклятые окна и чувствовала, что осиротела. Странно, весною, после того как улетела от Жени, такого чувства не было.

На Серафимовском кладбище, куда прибыла процессия автобусов и машин, выстроились в колонну и под музыку вошли в ворота. Стоял теплый солнечный день. На крышку гроба падали сухие листья. У свежей могилы гроб открыли, и Григорий Степанович последний раз обратился лицом к бледному осеннему небу.

Когда наступила минута прощания, обе женщины подошли к гробу и прикоснулись губами ко лбу генерала — сначала дочь, потом Ирина. Лоб был холодным и твердым, как мрамор. Через минуту гроб на белых полотенцах опустили в могилу под выстрелы ружейного салюта, от которых с криком взметнулись с деревьев кладбища галки и вороны.

По главной аллее прошла торжественным маршем курсантская рота.

На поминки, устроенные дочерью для фронтовых друзей и бывших сослуживцев, Ирина не пошла. Слишком суровое испытание. И так догадывалась, что много будет разговоров о ней и ее отношениях с генералом. Боялась только, что Мария Григорьевна опять сорвется, как летом, но была удивлена вечером, увидев ее в окне трезвой, рассеянной и печальной. Они обменялись кив-

ками, сердечно и просто, как родные: крепитесь, жизнь есть жизнь...

Завещание генерала Ирину не удивило, но озадачило: отказываться от «Швейцарии» неудобно, последняя воля покойного, но и вступать во владение как-то не с руки; с собою не унесешь, придется там бывать, опять возбуждая внимание соседей. Ладно, до следующего лета далеко, нечего ломать голову.

Однако то, что не помянула, сидело в душе, как заноза. Вроде бы пустая формальность, а поди ж ты... Посему решила на девятый день пригласить к себе Марию Григорьевну, посидеть вдвоем, о чем и сообщила дочери генерала через окно. Та приняла приглашение, впрочем, довольно сдержанно. Ирина засуетилась, принялась готовиться, хлопотать — но что нужно к поминкам? кажется, кутью! а как ее готовить? убей бог, неизвестно. Ограничилась киселем, вспомнив, что на поминках свекра Анастасия Федоровна подала на стол черносмородиновый кисель, немало удивив Ирину. Потом та же Анастасия Федоровна объяснила: так положено.

Поколебавшись, Ирина купила бутылку водки. Опять-таки боялась за Марию Григорьевну, за ее болезнь, но какие же поминки без водки? Стол накрыла в своей комнате, аккуратно все расставила и принялась ждать. Договорено было на восемь вечера. Но прошел этот час, началась программа «Время», а дочь генерала не появлялась. И в окнах ее было темно.

Ирина накормила и уложила спать Егора, подождала еще полчаса, нервничая и поминутно выглядывая из окна, не появилась ли дома Мария Григорьевна? В десять она решилась: откупорила бутылку, разлила в рюмки — себе, гостье и Григорию Степановичу — все по ритуалу. Последнюю рюмку накрыла ломтиком черного хлеба. Телевизор выключила. Еще раз подойдя к окну и убедившись, что в квартире генерала изменений не произошло, Ирина вернулась за стол, приподняла свою рюмку, глядя на черный ломтик, и выпила.

Водка обожгла рот, Ирина поспешно закусила салатом. «Надо вспоминать»,— подумала она, но ничего не вспоминалось, кроме твердого холодного лба генерала в гробу. Она почувствовала себя странно. Тишина в доме была необычайная, будто все притихли, отдавая дань памяти покойному генералу. Ирина выпила еще и через минуту ощутила тепло, разлившееся по телу.

Она перестала думать о ритуале и вдруг всплакнула, промокая слезы бумажной салфеткой. Вспомнился ей красивый голос Григория Степановича, и сам он — бодрый, веселый, впервые появившийся в окне в то странное утро. Вспомнился и другой — жалкий, растерянный — на летней кухне, и сухие его руки, и капли пота, бегущие по лысине...

Она выпила третью рюмку и почувствовала, что слегка опьянела. «Вот и стану теперь, как Маша,— подумала она.— Какая все же она противная! Почему не пришла?» Ирина зажгла свечу и погасила верхний свет. Горящая в подсвечнике свеча напомнила ей апрельскую ночь, когда она жгла письма мужа, а дом в это время летел над городом. Как быстро промелькнуло время! Уже осень... Ирина подошла к старому пианино — подарку Виктора Евгеньевича, на этом пианино учили мальчика Демилле,— открыла крышку и уселась за клавиши. Не садилась давно — больше года. Пальцы сами собой взяли первый тихий аккорд «Осенней песни» Чайковского. Ирина играла медленно, вспоминая, изредка сбивалась, проигрывала место сначала. Слезы снова закапали у нее из глаз. Любимая вещь Виктора Евгеньевича. Как хорошо ее играл Женя! Как давно это было...

Вдруг она услышала посторонний шум, исходивший от окна. Ирина встала, взяла свечу и подошла к задернутой тюлевой занавеске.

В комнате Марии Григорьевны горел торшер в дальнем углу, двигались какие-то фигуры. Она разглядела нескольких человек за столом, уставленным бутылками портвейна: две женщины и двое мужчин... Их движения не оставляли сомнений в том, что они пьяны. В одной из женщин Ирина узнала Марию Григорьевну. Свет торшера отбрасывал на пол длинные острые тени.

Внезапно откуда-то сбоку, из-за стены выдвинулась еще одна мужская фигура, она была совсем близко от окна. Ирине показалось, что лицо знакомо. Она всматривалась в окно, приподняв свечу. Лицо внезапно исказилось гримасой ужаса — и в этот миг Ирина узнала мужа. Он стоял прямо перед нею, вцепившись руками в подоконник,— небритый, с непривычными усами, исхудавший — и смотрел на нее, оцепенев от страха. Пьяные, остановившиеся на ней глаза Евгения Викторовича были белы. Вдруг он закрыл лицо руками, издав короткий хриплый звук, и провалился в темноту. Тени за

столиком качнулись, судя по всему, они звали Демилле к себе. Потом одна из фигур пьяно махнула рукой: бог с ним...

Ирина, похолодев, нашла в себе силы загасить свечу пальцами — ожога не почувствовала. Еще несколько секунд, словно каменная, она стояла у окна, слыша редкие и крупные удары сердца. Она уже ничего не видела перед собой, кроме мелких ячеек занавески. Как? Ее муж? У Марии? Она ничего не могла понять.

Бежать туда? Вот он, нашелся! Нет, только не это.

Она вернулась на диван, села. Потом налила себе еще водки, выпила одним глотком.

Померещилось?

Ирина заставила себя вновь подойти к окну. У Марии Григорьевны уже никого не было. Лишь горел торшер, да тени от бутылок наискось пересекали комнату.

Нет, не померещилось... Было.

Глава 36.

ОФИЦИАНТ

За мгновение до пробуждения Демилле вспомнил: сегодня первое сентября. Шлепая босыми ногами по полу, прошел вдоль Бродвея, который в утреннем свете выглядел грубо и жалко, вышел на лестничную площадку и взглянул в широкое, от пола, окно. По мокрой улице шли нарядные дети под зонтиками — белые переднички, отглаженные синие костюмчики — с цветами, с мамашами... Отчетливо представил себе Ирину с Егоркой, которые тоже сейчас впервые идут в школу по какой-то улице в этом городе дождливым сентябрьским утром. Город вдруг представился ему бесконечным, как Вселенная; он чуть не заплакал от злости и бессилия, вернулся к смятой постели и с отвращением принялся одеваться.

Настроение было испорчено с утра. Чтобы как-то его поправить, Евгений Викторович, не забыв нацепить темные очки, вышел из «стекляшки» и побрел по проспекту. У метро внезапно купил букет длинных, как пики, гладиолусов и, чувствуя себя с букетом уже увереннее, зашагал к ближайшей школе, откуда доносилась бодрящая музыка.

Смешавшись с толпой родителей, он прослушал торжественную церемонию первого звонка и, когда первоклашки, взявшись за руки, стали входить в здание школы, преподнес букет пожилой учительнице, которую выбрал заранее в толпе педагогов. Старуха растроганно поблагодарила.

Он пошел наугад, свернул с проспекта и попал на тихую зеленую улочку, окруженную невысокими домами. Дождь прекратился. Пройдя несколько домов, Демилле оказался у металлической решетки высотою метра два, ограждавшей заросший кустами сирени двор с песочницами, грибками и качающимися лошадками из железных прутьев. Двор полон был ребятишек двух-, трехлетнего возраста; в стороне на скамейке сидела тучная воспитательница, подставив солнцу рыхлое лицо. По виду — обычный детсад, но что-то в детях показалось Демилле странным. Он приостановился и стал глядеть на них сквозь решетку. Внезапно понял: пальтишки на детях одинаковые, точнее, двух сортов — зеленые, чем-то напоминавшие солдатские шинели, и в желтую крупную клетку. Заметив стоящего у забора человека, дети один за другим выпрямились и стали смотреть на Демилле, будто чего-то ожидая. Евгений Викторович смутился и потупил глаза. Воспитательница тоже заметила Демилле и подошла вперевалку.

— Вам кого нужно?

— Нет, мне никого... Просто я остановился... Почему они так одеты? — смешался Демилле.

— Дом малютки у нас,— строго сказала женщина.

— Что это? — вздрогнул Демилле, как от предчувствия.

— Брошенные. Мамаши от них отказались,— объяснила она равнодушно.

Дети уже все оторвались от игр и застыли во дворе, как солдатики, подняв лица. Евгений Викторович в растерянности обвел их глазами и, не выдержав, отступил на шаг, повернулся и побежал прочь, будто преследуемый их взглядами. В горле стоял комок, мысли прыгали. Он увидел гастроном, вбежал в него и, обведя невидящим взглядом витрины, остановился на кондитерском отделе. Уже предчувствуя прекраснодушную никчемность своего поступка, выбил в кассе килограмм шоколадных конфет, самых дорогих, и с большим кульком в руках вышел из магазина.

Обратно к решетке продвигался медленно, заставляя

себя проглотить проклятый комок в горле. Дети снова играли. Демилле подошел близко и притиснул лицо к решетке. Мешали очки. Он с досадою сдернул их. Воспитательница недовольно взглянула на него и подошла, уже с раздражением.

— Ну? Чего вам?

— Вот... я хотел... тут конфеты...— шептал Демилле, протягивая ей кулек сквозь решетку.

— Запрещено нам,— чуть более мягким тоном сказала она и взяла пакет.— Детдомовский сами? — уже уважительно спросила она, на что Демилле только закивал головою, стукаясь лбом о холодные прутья.— Ладно уж. У нас им хорошо, вы не подумайте...

Она обернулась к детям и позвала их. Они, дотоле стоявшие неподвижно, как застигнутые врасплох зверьки, потянулись к решетке, с надеждою взглядывая на Демилле.

— Дядя вас угощает,— сказала воспитательница, принимаясь выдавать «Трюфели» по одному.— Скажите спасибо дяде.

Детская толпа затянула тонкими голосами «спасибо», и вдруг сквозь этот нестройный хор кто-то сказал: «папа». Теперь они стояли с конфетами в руках, не разворачивая их, и повторяли: «папа».

— Это не папа. Это дядя,— наставительно произнесла воспитательница и, оглянувшись на Демилле, шепнула с неудовольствием: — Идите же. Чего стоять? — но Демилле и сам уже, резко повернувшись, пошел назад с бешено колотящимся сердцем.

Стиснув зубы, с колом в горле, он дошел до дискотеки, забрался в кладовку и только тут разрыдался, как ребенок.

День провел в апатии, питаясь припасенным кефиром с булкой и не покидая дискотеки. В глазах стояли брошенные дети на полянке, как грибки. Сел писать письмо Егору: «Егорушка! Поздравляю тебя с началом первого в твоей жизни учебного года...»

К вечеру начался большой сбор. Пришел Серопян, переоделся в смокинг с бабочкой, явились Зеленцов и Малыгин в одинаковых, с блестками вечерних костюмах, начали прибывать гости. Алик кинул Евгению Викторовичу сверток:

— Переоденься.

Там оказался костюм официанта: бежевые брюки,

зеленая куртка, бабочка. Демилле вяло запротестовал, но Алик только руками развел:

— Мы же договорились...

Демилле с отвращением надел костюм.

Среди гостей были все, кто помогал,— доставал материалы, устраивал запись музыки,— а также официальные лица из треста, райкома комсомола и милиции. Демилле снова нацепил темные очки.

Программа началась в семь часов при полном стечении публики и внушительной толпе у входа, сдерживаемой дружинниками. Специально записанная Зеленцовым заставка, состоящая из шумов большого города, началась в полной темноте, и вдруг вспыхнул огнями Бродвей, вызвав шквал аплодисментов. Прожектор высветил лицо Серопяна за стойкой бара.

— Добро пожаловать, дорогие гости! Дискотека «Ассоль» начинает свой новый сезон!

И сразу вступил Зеленцов у микрофона, полилась музыка...

Лидия толкнула Евгения Викторовича острым локтем в бок:

— Пошевеливайся! Твой ряд у стены.

Демилле на негнущихся ногах направился к крайнему столику, принял заказ, перешел к следующему. Молодые люди кивали на него: «Новенький!». Девица лет семнадцати спросила:

— Как тебя зовут?

— Евгений Викторович,— ответил Демилле, стараясь сохранять достоинство.

— Ой! — прыснула она.— Женечка, значит?

По столикам пошло гулять: «Женечка... Женечка...». Когда Демилле вернулся к своему ряду с подносом, уставленным закусками, его уже иначе не называли.

— Женечка, к нам, к нам!

— Я же просил помидорчики, Женечка!

— Женечка, квикли!

Лидия на ходу обучала Демилле тонкостям официантского искусства, кои состояли в умении так распределить порцию закуски на тарелке, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в честности официанта. Демилле науку не усвоил, продолжая носить полновесные порции, что вскоре было отмечено посетителями. Этим старался заглушить упреки совести: буду, мол, работать официантом, но честно! Любой честный труд почетен.

Уже гремели танцы, трясся пол; Зеленцов трещал у микрофона:

— А сейчас немного отдохнем под медленный танец композитора Космa в исполнении оркестра Поля Мориа. Танец посвящается нашей постоянной посетительнице Светлане, отмечающей сегодня свое совершеннолетие... Но что это примешивается к звукам волшебной музыки Космa? Что я слышу? Да, это звуки поцелуев. Два поцелуя в левом углу, кто больше? Три поцелуя справа, а вот наконец засос в центре зала! Красиво жить не запретишь, не так ли, как говорят французы!

Демилле мутило.

В девять часов был объявлен перерыв для коллективного просмотра программы «Время». Представители райкома одобрительно закивали. В окнах небоскребов возникли дикторы Центрального телевидения, молодежь потянулась к стойке, где хозяйничал Серопян, разливая коктейли и кофе. Лидия зазвала Евгения Викторовича на кухню, плеснула в стакан коньяка:

— С почином!

— Ты, Лидия, обхаживай его, обхаживай,— одобрительно кивнула Варвара Никифоровна.— Мужчина в цвете. И неженатый.

— Почему вы так решили? — спросил Демилле.

— Да разве женатый мужик станет в кладовке ночевать?

Лидия выпила, взглянула заинтересованно. Демилле поспешил ретироваться.

Снова загремела музыка и гремела, не переставая, до закрытия. У Демилле с непривычки заложило уши. Он двигался в полном отупении, неловко обходя прыгающих возле столиков молодых людей. Очередной раз вернувшись на кухню, получил от Лидии:

— Вот что, милок. Хватит комедию ломать. Носи столько, сколько я. Понял?

— Буду носить, сколько положено,— сквозь зубы отвечал Демилле.

— Алик! Алик! — закричала она, призывая хозяина.

Серопян благодушно выслушал претензии Лидии.

— Женя, что за мелочевка? Кусочком больше, кусочком меньше... Ей же трудно работать.

— Пускай носит правильные порции.

— Что?! — вскинулась Лидия.

— Оставь его. Первый день. Хочет честно, пусть

носит честно,— успокоил ее Серопян.— Всякому овощу свое время.

При расчете Демилле сдал до копейки сдачу каждому столику, вызвав легкую растерянность публики. Когда это повторилось на второй и на третий вечер, у Демилле сама собою возникла ласковая кличка, которую он услышал случайно, проходя мимо кучки молодых людей в гардеробе:

— Мы сегодня у Женечки-придурка сидели.

...Потянулись вечера, похожие друг на друга, как удары барабана: бум, бум, бум... По утрам Евгений Викторович отлеживался в кладовке, пытаясь собраться с мыслями и представить себе дальнейшее существование, но не получалось. В первый же выходной понедельник отправился к Львиному мостику на канале Грибоедова, где собирались желающие сдать или снять жилплощадь. Потолкался там безуспешно, отказавшись от отдельной квартиры где-то неподалеку от Тучкова моста — это было ему не по карману.

Растерянность молодой публики при виде честного официанта быстро сменилась пренебрежением, а затем и враждебностью тех, кто понял, что Демилле делает это не по дурости, а из принципа. Теперь старались унизить, кидали десятку, добавляя: «Сдачи не надо»,— а когда Евгений Викторович, побелев, все-таки выкладывал рубли и мелочь на столик, демонстративно оставляли. Эти чаевые Демилле сдавал Серопяну, неизменно наталкиваясь на сочувственно-ироническую улыбку. Цеплялся за честность, понимая, что все равно получает чаевые в виде зарплаты от хозяина.

У Демилле появился враг — молодой круглолицый парень с мощными бицепсами и запорожскими усами. Он методично доводил Евгения Викторовича мелочными заказами, насмешками, чаевыми, демонстрируя свое превосходство многочисленным девицам, обычно сидевшим с ним за столиком. Назревала стычка. Демилле едва сдерживался, попробовал даже ускользнуть от него, меняясь с Лидией рядами, но парень специально пересаживался. Взрыв произошел на девятый день, в самом начале вечера, когда Демилле, подойдя к столику, где сидел обидчик, и вынув блокнотик для заказа, услышал:

— Чего торопишься, халдей? Еще не вечер.

Рука Демилле сама собою распрямилась. Звук пощечины, точно выстрел, разнесся по залу. Парень вскочил,

опрокинул Демилле и уже готов был навалиться на него, как подоспевший из-за стойки Серопян и дружинники оттащили парня от Евгения Викторовича и вытурили из зала.

Серопян сказал:

— Все, Женя. Не прижился. Гонору много. Бери расчет.

Евгений Викторович получил причитавшиеся за отработанные дни деньги, собрал «дипломат» и с чувством облегчения унесся в метро по направлению к центру города.

Он вышел на Невском у Гостиного и побродил по магазину, купив пару распашонок новорожденному племяннику. В пакет сунул поздравительную открытку Любаше. Потом он побрел по направлению к Адмиралтейству, тускло блестевшему шпилем в отдалении. Перейдя Дворцовый и мост Строителей, он углубился в улочки Петроградской стороны, пока не добрел до пивного бара неподалеку от Большого проспекта, где и осел, чтобы скоротать время. Он придвинул к себе кружку с пивом и наклонился к ней, опустив губы в пушистую пену. Им овладело оцепенение.

Только тут он увидел напротив женщину в черном, которая так же оцепенело тянула пиво из кружки. Взгляды их встретились. Женщина сказала хрипло:

— Кажется, вам тоже не хочется жить сегодня?

— Как вы догадались? — невесело усмехнулся Демилле.

— Я догадливая,— в тон ему ответила она.

Скоро подошли приятели женщины, по всей видимости, ходившие за вином,— два человека алкогольной наружности; один из них — с черной бородкой, большим носом и проваленными щеками,— почему-то именовавшийся Поэтом. Женщину они почтительно называли Марией Григорьевной. Демилле оказался втянутым в компанию. Его никто ни о чем не спрашивал; он больше молчал, потом дал денег на выпивку.

Появилась еще одна женщина: худая и страшная, с глазами навыкате, как при болезни щитовидной железы. Она была пьяна, стала читать стихи Асадова. Демилле все больше мрачнел, водил пальцем по залитому вином и пивом дубовому столу, наконец, чтобы забыть обо всем, хватил полстакана принесенной водки, запил пивом. Через несколько минут пришло отупение.

Пивная закрылась в одиннадцать. Евгений Викторо-

вич безвольно отдался в руки судьбе. Искали всей компанией вино и, конечно, нашли; укрывшись от начавшегося дождя в парадной, распили бутылку, было уже невтерпеж, а с остальными пошли куда-то по темным улицам молча и угрюмо.

Поднялись без лифта на последний этаж. Мария Григорьевна открыла дверь ключом. Компания по длинному коридору прошла в комнату Марии Григорьевны, расположилась за столом. В свете торшера Демилле заметил, что зеркала трельяжа в углу завешаны черной материей. Мария Григорьевна, перехватив его взгляд, тяжело проговорила:

— Отец умер. Сегодня девятый день...

Евгений Викторович вздрогнул и, приподняв край материи, взглянул на себя в зеркало. Проваленные глаза, потрескавшиеся губы, кадык выпирает... Мокрая импортная куртка... чужак. Везде чужак.

И вдруг вспомнился Аркаша Кравчук, его глаза в день самоубийства и неловкие повороты носилок с длинным телом, накрытым простыней. «Как он это сделал?» — отрешенно подумал Евгений Викторович и обвел взглядом потолок. «Смог бы я?» — спросил он себя и вдруг почувствовал, что эта мысль принесла ему облегчение. Вот и выход, так ведь просто, нужно лишь собраться.

Он скользнул взглядом к окну и увидел над ним трубу отопления. Это было то, что нужно. Теперь оставалось дождаться, когда утихомирятся или разойдутся собутыльники. Демилле пощупал пряжку ремня и шагнул к окну, чтобы в последний раз взглянуть на город.

И тут прямо перед собою, в трех шагах, он увидел Ирину. Она стояла в окне за прозрачной вуалью с горящей свечою в руках и смотрела на него. Демилле ухватился руками за подоконник, затем закрыл лицо ладонями и отпрянул от окна. Кто-то сзади рассмеялся, позвал: «Иди сюда!» — но Евгений Викторович опрометью кинулся вон из комнаты и побежал по коридору, опрокидывая какие-то предметы. Сзади слышались крики и топот... Демилле уже ничего не соображал, нажал на собачку замка и крупными скачками, путая ступеньки, устремился вниз.

Он выбежал на мокрую улицу и сразу свернул направо; побежал вдоль стены, увидел сбоку какую-то щель, юркнул в нее... Там он остановился, перевел дух.

С улицы слышались крики собутыльников: «Эй! Ты где?! Давай назад!»

«Она пришла, чтобы спасти меня»,— вдруг ясно и отчетливо подумал Евгений Викторович и устремил глаза к небу, как бы посылая благодарность господу богу за это видение.

И тут ужас объял его. Он увидел, что стоит на дне глубочайшей пропасти с острыми, как лезвия ножниц, краями. На мгновение его помутившемуся сознанию показалось, что стенки пропасти надвигаются на него, стремясь раздавить, и он сломя голову бросился по узкому дну ущелья, слыша десятикратно отдающийся в ушах шум своих прыжков.

Евгений Викторович вылетел из щели как пуля, выпущенная из дула ружья, и побежал дальше, осыпаемый мелкими уколами капель. На улицах не было ни души. Он увидел мелькнувший вдали огонек такси, устремился к нему, но поздно. Внезапно из-за поворота вылетел на него дребезжащий трамвай, подсвеченный изнутри, точно елочная игрушка. Качаясь влево и вправо, трамвай бежал прямо на Демилле, сладко пели тормоза, летели из-под дуги искры... Евгений Викторович распростер руки, будто хотел обнять катящийся на него вагон, и рухнул на рельсы, потеряв память.

ЧАСТЬ IV

Превращение



Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, никогда не убедят меня в противном...

Л. С.

Глава 37.

ВСТРЕЧА СОАВТОРОВ

С ним случилось самое худшее из того, что может произойти с сочинителем. Он потерял героя.

Все произошло с ужасающей закономерностью: герой потерял дом, дом потерял сочинителя, сочинитель потерял героя. Цепочка замкнулась. Теперь автор в полном недоумении сидел перед пустым листом бумаги, припоминая дождливую ночь накануне, когда он, сидя в тепле и уюте чужой квартиры, живописал похождения Евгения Викторовича, пока не привел его на незнакомую ночную улицу в смятении разума и не бросил на рельсы под моросящим дождем.

Поставив в тот миг точку, сочинитель заснул спокойным сном выполнившего долг человека, и лишь кот его Филарет, предчувствуя новые катаклизмы, всю ночь бродил по кухне, запертый туда хозяином, и производил тревожные пронзительные звуки.

Утром автор, как всегда, сел за письменный стол, занес руку над клавиатурой пишущей машинки и... понял вдруг, что произошло непоправимое.

В этот момент раздался звонок в дверь.

Сочинитель вздрогнул и пошел открывать. Среди беспорядочных мыслей, набежавших на него удивленной стайкой, была и совсем нелепая: «Это пришел Демилле».

Однако на пороге стоял литератор Мишусин в черном кожаном пиджаке, поигрывая ключами от автомобиля. За его спиной, в полумраке лестничной площадки, сочинитель разглядел пожилого господина с темным от загара лицом. Он был одет в летний парусиновый костюм.

Мишусин без церемоний вступил в прихожую и полуобнял сочинителя за плечи.

— Рад тебя видеть, старина! Все корпишь? Как твой роман? О нем только и говорят на пляже в Пицунде.

Седой старик, вызвавший у автора смутное беспокойство, похожее на предчувствие, тоже вошел в квартиру и молча смотрел на хозяина с интересом и участием. Лицо у него было явно симпатичным и умным, чего не скажешь о Мишусине, в серых глазах таился чертик насмешки, готовый выскочить в ответ на любую глупость или бестактность. Мучительная догадка пронзила сочинителя, он раскрыл рот...

— Знакомься, господин Лоренс Стерн,— произнес Мишусин.— Впрочем, вы знакомы.

— Милорд! — воскликнул автор, бросаясь старику на шею, и слезы радости сами собою брызнули у него из глаз.

— Думал, не поверишь...— досадливо пробормотал Мишусин.

Милорд тем временем мягко поглаживал соавтора по плечу, приговаривая:

— Ну, будет, будет...

— Понимаешь, он материализовался! — наигранно бодрым тоном принялся объяснять Мишусин.

Он без приглашения направился в кухню и распахнул холодильник.

— У тебя нет пепси? Чертовски хочется пить... Мало того, что материализовался, так еще наговорил мне кучу гадостей!

Соавторы понимающе смотрели друг другу в глаза. Мишусин в кухне шумно пустил воду из крана, выпил крупными глотками.

— Собственно, никакого права он на это не имел...— продолжал он, утирая рот.— У меня путевка на одно лицо. Администрация подняла хай... Мой сценарий горит. Короче, забирай старика, он мне надоел...

Мишусин вернулся в прихожую. Наглая самодовольная улыбка пыталась устроиться у него на лице, но как бы соскальзывала.

И тут сочинитель, долго не раздумывая, влепил коллеге пощечину. Одновременно в прихожую из комнаты, как боевой конь, заслышавший звук трубы, выскочил Филарет и с шипением выгнул спину.

— Ах, вот как?! — по-бабьи закричал Мишусин.

— Вон! — указал на дверь автор.

— Нет-нет, только не в дверь,— покачал головою милорд.— В окно, я вас умоляю!

Автор ринулся в комнату и мигом распахнул створки окна. Мистер Стерн весьма ловко ухватил литератора — одной рукою за шиворот, а другою — за штаны на заднице, и с большим проворством буквально поднес его к распахнутому окну. Мишусин верещал, дрыгая ногами в воздухе. Однако соавторы, не снижая скорости движения и даже не раскачав грузное тело, с маху выбросили его головою в окошко под радостный вопль кота Филарета.

Мистер Стерн вытащил из кармана носовой платок и тщательно вытер руки.

— Какой у вас этаж? — поинтересовался он.

— Первый,— ответил сочинитель.

— Жаль. Он так и не смог испытать радость полета.

За окном раздавались крики Мишусина и его угрозы. Хлопнула дверца «Жигулей», и мотор унес литератора к горящему сценарию.

Соавторы остались одни. Сочинитель внезапно испытал робость. Как-никак судьба и собственная фантазия оставили его наедине с классиком мировой литературы!

— К делу, сударь,— начал мистер Стерн.— Как видите, мне пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы спасти наш роман. По-моему, ему грозит большая опасность.

— Вы правы, милорд...— сокрушенно ответил автор.

— Наш герой вызывает глубокие опасения. Он неудержимо катится вниз, теряет себя...

— Уже потерял,— вставил сочинитель.

— Как так?

— То есть я его потерял.

— Не понимаю. Объясните.

— Ах, милорд, в этом-то все и дело. Евгения Викторовича уже нет в моем романе.

— Как нет? Он погиб? Вы убили его? — милорд был не на шутку взволнован.

— Не знаю,— пожал плечами сочинитель.

— Несерьезно, сударь! Отвечайте, куда вы дели Демилле?

— Понимаете... Герой догнал автора во времени.

— Не понимаю.

— Садитесь, я объясню вам,— сказал сочинитель, указывая соавтору на кресло и устраиваясь напротив

в таком же.— Вы знаете, что я начал сочинять это произведение чуть позже, чем произошло событие, давшее толчок роману. Таким образом, мое реальное время, в котором я жил и сочинял, все время находилось впереди романного. Я разглядывал события с высоты небольшой исторической перспективы в несколько месяцев. Однако вскоре романное время потекло быстрее — кстати, благодаря вашему отсутствию, милорд! Я уже не тратил страниц на описание наших разговоров, не имеющих касательства к сюжету, герои неудержимо настигали меня, и вот вчера произошло непоправимое — романное и реальное время совпали!.. Я закончил главу о Демилле в тот самый миг, когда Евгений Викторович рухнул на рельсы перед приближающимся трамваем. Дальше я ничего не знаю о герое. Что он делает сейчас — для меня загадка. Я в полном отчаянии!

— Кажется, я прибыл вовремя,— заметил милорд, внимательно разглядывая соавтора.

— Подскажите, что мне делать? — попросил он.

— Дорогой ученик, но у вас есть, помимо Демилле, целый кооперативный дом со всеми жильцами. Пишите о них. Там хватит материала, уверяю вас...

— По правде сказать, увлекшись героем, я выпустил из внимания кооператоров. Не знаю, право, не знаю, что у них там происходит сегодня...

— Но у вас есть возможность узнать.

— Каким образом? — не понял сочинитель.

— Вернуться туда, осел вы эдакий! — вскричал мистер Стерн, вскакивая с кресла и начиная напоминать автору того темпераментного собеседника, с которым у него частенько возникали перепалки.

Признаться, автору не приходил в голову этот естественный путь. В самом деле, что мешает ему возвратиться в собственную квартиру, где он прописан? По всей видимости, он страшился встречи с майором Рыскалем, который непременно узнает о романе и может счесть его за разглашение...

К сожалению, летописцы нынешних времен редко удостаиваются почестей. Рисуемые ими правдивые картины почему-то отказываются признать правдивыми, и лишь по прошествии времени свидетельство летописца может быть признано истинным. Кроме литературной дерзости, от автора требовалось немалое гражданское мужество, чтобы окунуться в гущу описываемых собы-

тий, стать полноправным персонажем собственного романа.

Но не только эти соображения занимали сочинителя.

— А что мне прикажете делать с вами? — спросил он соавтора не совсем учтиво.

— Я поеду тоже. Мне крайне любопытно.

— А прописка?! — вскричал автор.— Держу пари, милорд, что ни одному из моих соотечественников никогда не доводилось прописывать у себя иностранных классиков, прекративших бытие два века назад!

— В чем же сложность? — спросил милорд.

— В отсутствии паспорта и полной невозможности его получить.

— Почему?

— Кроме меня, некому удостоверить вашу личность.

— А Мишусин?

— После того, как мы с ним обошлись?

— А Свифт, Смоллет, Филдинг?

— Для нашего паспортного стола свидетели эти столь же ненадежны, сколь и эфемерны.

— Что же делать? — растерялся милорд.

— Понадеемся на случай,— ответил сочинитель, и забавная мысль мелькнула у него в голове.— Кстати, как звали вашего папу?

— Сэр Роджер.

— Значит, русский эквивалент... Родион? Вы не возражаете?

Милорд лишь пожал плечами, давая понять, что он не желает участвовать в обсуждении никчемных вопросов.

Через час соавторы уже ехали в трамвае, приближаясь к дому на Безымянной. Автор держал на коленях пишущую машинку и портфель с черновиком, сидевший рядом милорд не выпускал из рук корзину с Филаретом. Пушистый хвост кота торчал из корзины, как диковинный цветок.

Понятно волнение, с каким подходил сочинитель к своему брошенному жилищу. Со времени его бегства дом так удачно был вписан в систему старых домов, что найти его оказалось делом нелегким. Автор невольно вспомнил о Демилле, втайне ему посочувствовав, ибо теперь, без поддержки сочинителя, Евгению Викторовичу трудненько будет отыскать этот подштукатуренный и подкрашенный под старые здания фасад. Впрочем, бог

с ним, с Евгением Викторовичем! Теперь надо было думать о себе.

Автор повернул ключ в замке, толкнул дверь и... застыл на пороге своей квартиры, пораженный разгромом внутри. Повсюду валялись пустые бутылки, постель была грязна и всклочена, мебель перевернута... По счастью, не были разворованы книги, по крайней мере, на первый взгляд. Сочинитель испытал досаду на себя: живописуя ужасы кооперативной жизни последних месяцев, он не пощадил и своей квартирки, заселив ее преступным элементом, и вот теперь вынужден был расплачиваться за халатность воображения. Что стоило заселить собственную квартиру хотя бы нуждающимися студентами! Но нет, не догадался.

— Гиперболы и метафоры мстят сочинителю,— заметил милорд, осматривая интерьер.

Они принялись за уборку, и уже через час квартира вновь обрела жилой вид; на кухне стояло блюдечко с молоком для Филарета, а соавторы пили чай, готовясь к ответственному делу — разговору с собственным персонажем.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Игорь Сергеевич Рыскаль, выдуманный сочинителем от подметок сапог до козырька фуражки, являлся, тем не менее, комендантом дома со всеми вытекающими отсюда полномочиями. Он зависел от сочинителя как персонаж, автор же зависел от него как гражданин. Получающаяся путаница напомнила сочинителю один из рассказов Марк Твена, где герой оказывается собственным дедушкой, и он попытался мысленно набросать сюжет предстоящего разговора, чтобы избежать неожиданностей.

Майор Рыскаль встретил соавторов в Правлении за столом под портретом Дзержинского. Сочинитель не без удовольствия обозрел материализовавшиеся плоды своей фантазии: несгораемый шкаф в углу, карту города на стене, утыканную флажками и фишками. Заметил он и несколько деталей, не учтенных его авторским воображением, среди них бронзовый бюстик Ленина, коим придавлены были бумаги, лежавшие с краю стола.

Рыскаль поднял голову («воронье крыло» на месте!) и внимательно оглядел посетителей.

— Здравствуйте, Игорь Сергеевич,— сказал автор проникновенно.

— Добрый день. Садитесь, пожалуйста... Чем могу служить? — майор указал на стулья.

Соавторы чинно заняли места напротив майора по краям письменного стола.

— Игорь Сергеевич, я пришел исправить ошибку,— начал сочинитель.— Дело в том, что в ваших документах я значусь зарегистрированным бегуном, в то время как я — прописанный летун.

Он назвал свою фамилию и номер квартиры, и майор, нимало не удивившись, полез в сейф, откуда вынул амбарную книгу. Там в алфавитном порядке были записаны все кооператоры с указанием необходимых данных: возраста, профессии, места работы.

— Ну, и где же вы были раньше? — спросил майор, ознакомившись с записью.

— В творческой командировке,— не моргнув глазом, соврал автор. Впрочем, не совсем и соврал.

— Странно получается...— скучным голосом начал майор.— Ваш дом подвергается такому, можно сказать, катаклизму... (При этих словах Рыскаль покосился на милорда.) А вы где-то в бегах, вместо того чтобы своим пером, можно сказать, помогать в беде. Не понимаю... Мы тут вынуждены охранять вашу квартиру, следить, чтобы ее не обворовали. Ее не обворовали, кстати?

— Нет,— сказал автор.

— Ну, и какое у вас дело? — спросил майор.

— Во-первых, я пришел известить вас, что вернулся. С порядками в кооперативе я знаком...

— Откуда? — подозрительно спросил Рыскаль.

Знал бы он, что сочинитель потратил немало восхитительных минут на разработку этих самых порядков! Но ведь не поймет Игорь Сергеевич, и правильно сделает. Это соавторам — баловство и роман, а ему — служба.

В этот миг, спасая автора, отворилась дверь штаба, и на пороге возник бравый дворник Храбров в синем комбинезоне и сапогах — бородатый и пышущий здоровьем.

— Игорь Сергеевич, бак номер три переполнен, надо ускорить очистку,— с ходу доложил Храбров.

— Хорошо, я позвоню,— кивнул Рыскаль.

— И еще — Завадовский бузит...

— Погоди, Сережа,— Рыскаль указал глазами на посетителей, давая понять, что разговор о Завадовском неуместен.

Дворник уселся в углу.

— А во-вторых,— без паузы вступил сочинитель, желая как можно дальше увести майора от выяснения своей осведомленности,— я хотел бы, чтобы у меня временно пожил мой родственник.

Он указал на милорда. Мистер Стерн учтиво поклонился.

— Знакомьтесь. Лаврентий Родионович,— представил соавтора сочинитель.

— Очень приятно. Рыскаль,— сказал майор.

— Он приехал из... Житомира,— продолжал сочинитель, некстати вспоминая, что какой-то литературный герой уже приезжал к кому-то из Житомира.

— Трудный вопрос,— замялся майор, поглаживая «воронье крыло».— Условия у нас больно... У вас ведь однокомнатная?

Майор выразительно посмотрел на автора, как бы говоря: разве вы не понимаете? пустить постороннего! это же разглашение!

— Вы имеете в виду бытовые неудобства или способность вашего дома к перелетам? Ни то, ни другое меня абсолютно не волнует...— рассмеялся милорд.— У одного моего друга летало целое государство!

Майор помрачнел и, не говоря ни слова, полез в ящик письменного стола. Оттуда он вытащил две одинаковые бумажки и протянул одну автору, другую — милорду. Это были бланки подписки о неразглашении.

— Заполните,— сказал он.

Соавторы синхронно заполнили бланки, будто занимались этим с рождения.

— Прописывать официально вас не будем, Лаврентий Родионович,— понизив голос, сказал майор.— Думаю, вы вникните в наше...

— Да я и паспорт не захватил из этого...— охотно подхватил милорд.

— Из Житомира,— подсказал соавтор.

Рыскаль придвинул к себе общую тетрадь, на обложке которой крупными буквами было написано: «Пустые». Он перелистнул ее и нашел страничку с номером 284. Там было написано: «Хозяин отсутствует по неизвестной причине». Рыскаль зачеркнул эту запись и сделал новую: «Квартира занята хозяином».

— Кстати, о птичках,— подал голос из угла Храбров.— Тридцать третья уехала, Игорь Сергеевич. Пометьте... Ключи сдала.

Он вытащил из кармана связку ключей, позвенел ими.

— Опять двадцать пять,— огорчился майор.— Кто там?

— Андреева Элла Романовна, дизайнер.

— Как?

— Художник-оформитель,— поправился Храбров.

— Причина? — Рыскаль нашел страничку с номером 33, принялся заполнять.

— Завербовалась в Воркуту на два года. Мебель вывезла к матери. Против временного заселения не возражает. С условием последующего ремонта...

Рыскаль записал все эти сведения в тетрадь, тяжело вздохнул.

— Видите, товарищ писатель... Не хотят люди понять. В Воркуте строить коммунизм они согласны. А в доме своем...— проговорил он с упреком.

— Ну, а я-то...— растерялся сочинитель.

— Вы, именно вы! — с неожиданной болью воскликнул майор.— Инженеры человеческих душ! О чем вы пишете?

— Лично я работаю над романом,— с некоторой надменностью произнес автор.

— Над романом...— горько усмехнулся майор.— А у нас люди разбегаются, в пустых квартирах притоны. Остальные граждане железные двери ставят с запорами и сидят тихо, как мыши!.. Над романом... Им коммунизм на тарелочке принеси и положь. Не могут даже присмотреть за соседской пустой квартирой.

— Почему же? Я могу,— сказал автор.

— А вот возьмите хоть эту, тридцать третью,— оживился майор.— Можете даже там жить. Или работать. Только пишите, бога ради, что-нибудь про жизнь! Чтобы помогало людей воспитывать!

— Я постараюсь,— кивнул автор.

— Сережа, дай товарищу ключи,— распорядился майор.

...Вот так получилось, что автор неожиданно для себя получил, в придачу к своему жилищу, где он поселил милорда, еще и пустую однокомнатную квартиру в первом подъезде, по соседству с Завадовскими. Квартирка сочинителю понравилась — она была в точности такой же по планировке, как его собственная, а следы уехавшей хозяйки присутствовали лишь в виде легкого запаха французских духов. Запах этот слегка смутил

воображение сочинителя, напомнил ему о прелестях жизни, вызвал в памяти иные образы, нежели образы персонажей... Почему, за какие грехи обречен он на эту сладкую каторгу — тратить драгоценные секунды жизни на то, чтобы изобрести жизнь другим, наполнить ее смыслом или доказать бессмысленность, наградить любовью или уничтожить презрением, самому оставаясь, по существу, вне жизни? Ведь не назовешь ею холодное одиночество в пустой комнате над клавишами механизма, способного оставлять на бумаге следы в виде букв, из которых слагаются слова, слова, слова...

Ничего, кроме слов.

Храбров помог сочинителю перенести кое-какие вещи из его квартиры: стул, столик, чайные принадлежности, бумагу и пишущую машинку. Откуда-то появилась раскладушка вместе с матрасом, а комплект чистого постельного белья принесла неизвестная молоденькая девушка — ее звали Саша. Автор подумал, что это жена Храброва, но потом понял, что ошибся.

Милорд во время переезда хранил олимпийское спокойствие, наблюдая по телевизору за состязаниями борцов вольного стиля, а позже вникая в тонкости бригадного подряда. Телевизор сразу привлек к себе внимание пожилого джентльмена, и он даже заметил, что роман в качестве информатора о современной жизни — это, конечно, славно, но телевизор объективнее. Сочинитель слегка обиделся на Учителя.

Но еще больше обидел его любимый кот, не пожелавший находиться в квартире с запахом французских духов. Приведенный туда, он сразу же начал скрестись в дверь и мяукать, так что пришлось вновь водворить его в квартиру к мистеру Стерну, где кот успокоился.

Сочинитель остался один, с ненавистью глядя на стопку листов черновика, лежавшую на подстеленной газете прямо на полу. Как вдруг появилась Сашенька с большой деревянной клеткой в виде круглого купола, где не сразу была заметна невзрачная птичка.

«Разве дверь была открыта?..» — рассеянно подумал сочинитель.

— Это щегол,— застенчиво произнесла она.

— М-мм?..— сочинитель несколько растерялся.

Девушка поставила клетку на пол рядом со стопкой листов черновика. Птичка скакнула с жердочки на жердочку и, наклонив головку, уставилась на автора бусинкой глаза.

— Я подумала... Вы ведь пишете роман. Надо, чтобы кто-то всегда был рядом,— проговорила Сашенька с несомненной убедительностью.

— Спасибо,— догадался сказать автор, дивясь тонкому пониманию сути литературного процесса. «Надо, чтобы кто-то всегда был рядом». Не милорд, так щегол.

И тут же он с изумлением подумал, что эта молоденькая девушка — первый посторонний персонаж романа, к которому он, автор, не имеет ни малейшего отношения. Он ничего не знал о ней: откуда она взялась? жила ли в кооперативе раньше? чем занимается? сколько ей лет? кто ее родители? Все эти сведения он не имел права выдумывать, то есть не был властен над нею как автор. Между тем игнорировать тоже не мог. Вот она пришла со щеглом, живая, небольшого роста, с короткой стрижкой... Смотрит.

— Щегла зовут Вася,— сказала она.

— Что вы говорите! — с преувеличенной бодростью воскликнул автор.

Он засуетился, предлагая ей чаю, усадил на единственный стул, включил электрический самовар, а сам продолжал разглядывать с какой-то жадностью, ибо давно не встречал живых людей.

На вид ей было чуть больше двадцати, над верхней губою слева была маленькая черная родинка, придававшая лицу некоторую пикантность... Девушка, несомненно, симпатичная. По всей вероятности, она случайно забрела в его роман. Но тем лучше!

— Сашенька, вы живете в этом доме? — спросил он.

— Да, уже второй месяц.

— А вы работаете или учитесь?

— Работаю. Медсестрой в родильном доме. Здесь рядом... А живу с родителями...

И вдруг нить разговора как-то странно оборвалась, возникла пауза. Автор мучительно искал вопросы, но все они казались глупыми, плоскими...

— Вы мне не дадите... почитать? — несмело спросила она, указывая на листки черновика.

Самый благоприятный поворот беседы для автора! Во-первых, этим высказывается заинтересованность в творчестве; во-вторых, обещание продолжительности отношений, ибо не прочтет же она пятьсот страниц в одночасье!

— Это пока черновик...— явно кокетничая, промолвил автор.

— Ничего, я разберу.

«Конечно, разберет! — ликуя, думал он.— Чего ж не разобрать, тем более, что мои черновики не отличаются от беловиков!»

— А я тоже пишу... стихи,— призналась она.

«Ну, вот!..» — сердце у него упало. Конечно, разве нельзя было догадаться! Она пишет стихи и хочет получить консультацию. Настроение сразу испортилось.

— Игорь Сергеевич предложил мне вести литературное объединение при клубе,— сказал он.— Будете ко мне ходить?

— Я уже пришла,— сказала она, взглянув автору в глаза так просто и ясно, что у него похолодело внутри.

Он вскочил с раскладушки, визгнув пружинами, отчего щегол затрепетал крылышками и взвился на мгновение под купол клетки.

— Я дам вам первую часть... Там подступы... не обращайте внимания,— бормотал он, отделяя от стопки листов часть и завертывая ее в газету.— Никому только не показывайте. Там про нас всех... И про вас... Никакой философии, уверяю вас, но может быть, смешно... Или грустно. И очень длинно.

— Я люблю, если интересно,— сказала она.— Спасибо.

Она поднялась со стула, приняла пачку и направилась к двери.

— Заходите, Сашенька, не стесняйтесь...— автор проводил ее и прикрыл дверь.

Несколько ошарашенный, он вернулся в комнату. Щегол деловито ковырял клювом деревянные прутья клетки.

Бесцеремонность, с которой авторское сочинение распоряжалось собою и своим автором, начинала его пугать. Сочинитель еще не добрался до конца, а роман уже дал себя читать посторонней молодой женщине... «Может быть, он так и пойдет своим ходом, без меня?» — с надеждой подумал сочинитель, глядя на желтую пишущую машинку.

— Как ты думаешь, Вася? — вслух спросил он.

Щегол остановил работу, тряхнул головкой и задумался.

Глава 38.

СПИЧЕЧНЫЙ ДОМ

Я искал смерти, но не нашел ее.

Помню страшную осеннюю ночь, сумеречное состояние души, мысль о веревке и фигуру жены в окне незнакомой квартиры. Я никогда не думал, что галлюцинации могут быть столь ярки и осязаемы. Как она смотрела на меня! Как дрожало пламя свечи!.. Не помню, как я оказался на улице. Она была почему-то узкой, как клинок шпаги. Я мчался по ней, оглушенный топотом своих шагов, пока наваждение не кончилось. Стены раздвинулись, дождь омыл мне лицо, блестели холодные рельсы.

И тут из-за поворота показался трамвай. Откуда он взялся в ночном городе? Положительно, кто-то заботился обо мне, посылая знаки спасения. Но я еще был во власти страха, и смерть пряталась где-то рядом, в темных парадных. Вагон спешил ко мне, раскачиваясь и звеня; я упал перед ним, и щека моя коснулась холодной стали.

Мгновение длилось целую вечность. Целую вечность пели тормоза, дрожал рельс, впаянный в асфальт, трамвайный звонок заливался в истерике. Как вдруг все стихло. Я поднял голову. Вагон, сиявший огнями, стоял в метре от меня, а с передней площадки не спеша спускался высокий плечистый человек с железной рукояткой в руке. Мысль о том, что он идет убивать меня этой рукояткой, обожгла мое пьяное сознание. Он дотронулся до меня, словно проверяя — жив я или нет, потом подсунул руки мне под мышки. Я почувствовал огромную физическую силу этого человека, ибо он легко, как перышко, оторвал меня от земли и поставил на ноги. «Ну, зачем ты так?..» — с досадою проговорил он, вглядываясь мне в лицо. Я молчал, мне было все равно. «Куда тебе нужно?» — спросил он. «Никуда»,— помотал я головой. «Где твой дом?» — «Нигде».— «Откуда ты?» — «Не знаю».

Я отвечал чистую правду, и мой нечаянный спаситель понял это. Он помог мне взобраться в вагон и усадил на сиденье. В вагоне не было ни души. Водитель сел на свое место, установил железную рукоять на четырехгранный выступ и повернул ее. Вагон побежал дальше.

Кажется, мы приехали в трамвайный парк, что

находится у самой оконечности Аптекарского острова. Помню какие-то лица, они смеялись, пренебрежительно и с неприязнью рассматривая меня, кто-то предложил позвонить в милицию. Но мой спаситель повлек меня дальше. Мы оказались в стареньком автобусе, развозившем водителей после вечерней смены. Через некоторое время я уже стоял рядом с вагоновожатым у дверей его квартиры.

Я по-прежнему пребывал в полнейшей апатии, мой спутник не пытался со мной разговаривать. Помню еще маленький деловитый переполох, связанный с моим появлением: носили подушки, одеяла, кто-то был разбужен и перемещен в другую комнату... Все это было как во сне. Хозяин провел меня в ванную, помог раздеться. Я покорялся безропотно, как тряпичная кукла. Через пять минут я лежал в чистой мягкой постели. Хозяин погасил свет, пожелав мне доброй ночи, и оставил одного. Сон накрыл меня мгновенно.

Проснулся я рано и, лежа под одеялом, принялся восстанавливать события вчерашнего вечера. Я вспомнил неизвестного плечистого вагоновожатого, который вытащил меня из-под колес, и привел к себе, и умыл, и уложил в чистую теплую постель. Я оцепенел от стыда. Появилось нестерпимое желание выскользнуть из комнаты и, пользуясь сном хозяев, покинуть гостеприимный дом. Но я не сдвинулся с места.

Осмотр комнаты, насколько позволял сумеречный свет за окнами, навел меня на предположение, что в ней проживает молодая девушка; настолько удобно и аккуратно были расположены все предметы, так чистенько и мило было за стеклами стандартной мебельной стенки с книгами, безделушками и фотографиями, среди которых я приметил портрет Высоцкого с гитарой и фотографию длинноволосого молодого человека иностранного вида. Я скользнул взглядом далее и увидел нечто вроде аквариума — стеклянный прямоугольный ящик, в котором виднелись очертания какого-то странного сооружения. Непонятное волнение охватило меня, ибо предмет под стеклянным колпаком был несомненно знаком мне, более того, он обозначал для меня нечто чрезвычайно важное.

Не отрывая от него взгляда, я нащупал выключатель светильника над тахтою и щелкнул им. Я ожидал лучше разглядеть предмет под колпаком, но возникший световой отблеск на прозрачной стенке совершенно скрыл его

от глаз, так что пришлось подняться на ноги. Я сделал несколько шагов по комнате, как магнитом притягиваемый непонятным сооруженьицем, хранящимся в чужом доме, как музейный экспонат. Световой отблеск исчез, будто его смахнули ладонью, и передо мною в двух шагах, равно как и во мне, в неизъяснимых глубинах памяти, возникло...

Это было оно, мое юношеское строение, мой отроческий шедевр, потерянная во времени игрушка, определившая призвание: вязь крытых галереек, система башенок с флажками и луковка церкви, вписанная в ансамбль вроде случайно, но на самом деле служащая центром архитектурной композиции. Я смотрел и не мог насмотреться. Мой спичечный дом, чудом возникший в чужом времени и пространстве, породил странное и горькое ощущение, будто я встретился с самим собой — живой с мертвым, точнее, мертвый с живым. Я отошел от него, пятясь, вновь забрался в постель и натянул одеяло до подбородка, продолжая смотреть на стеклянный ящик, где покоилась моя юная душа, как царевна в хрустальном гробу.

Вдруг я резко отбросил одеяло и принялся торопливо одеваться, потому что черные мысли подобрались к самому сердцу. Бороться с ними можно было только действием. Одевшись, я собрал постель. Это отвлекло меня на несколько минут, но лишь только я, засунув белье в ящик под тахтой, уселся на нее, как отчаяние навалилось на меня с новой силой. Я оцепенел, уставившись на спичечный дом, будто ждал от него помощи, и сидел так долго, пока не раздался тихий стук в дверь.

Я не в силах был вымолвить ни слова.

В комнату заглянул хозяин. Он был в брюках и в майке, давшей мне возможность разглядеть его крепкую фигуру с широким плечами и рельефной мускулатурой, что не так часто встречается в пятьдесят лет — на этот возраст он выглядел. В руках у него был стакан с чем-то белым.

— С добрым утром,— сказал он.— Меня зовут Николай Иванович.

— Евгений Викторович,— кивнул я, испытывая жесточайший стыд.

— Выпейте. Это кефир. Помогает,— он протянул мне стакан.

Я принял стакан и втянул в себя освежающий глоток

кислого кефира. Николай Иванович смотрел на меня изучающе.

— Извините. Я сейчас уйду. Мне действительно некуда было вчера идти,— чужим голосом произнес я.

— А сегодня уже есть? — прищурился он.

— Есть.

— А то погодите. У меня сегодня выходной. Глядишь, познакомимся,— он улыбнулся одним ртом.

Мне не понравилась его самоуверенная доброта, будто он заранее был убежден, что я не принесу ему никаких хлопот, лишь увеличу капитал гуманности, который, судя по всему, этот человек копит. Так нет же! Я испорчу ему торжество! Пусть знает, что подбирать на улице опустившихся людей опасно.

— Что? Радуетесь, христосик?..— хрипло сказал я.— Не нужно меня спасать! Не нуждаюсь и подаяний не принимаю!

— Евгений Викторович, а ведь хамить команды не было,— спокойно ответил он.— Если бы я был профессиональным спасателем, то работал бы в ОСВОДе. А я трамвайщик. Вы поперек рельсов легли, надо было с вами что-то делать...

— Бросить надо было,— отвернувшись, сказал я.

— Извините, не могу. Вы бы бросили?

Вопрос застал меня врасплох. Я на минуту смешался.

— К несчастью, я испытал в свое время — что это такое...— продолжал он.— Я вам поверил, что у вас дома нет. У вас его и сегодня нет, и долго еще не будет. Я же вижу.

— Как? — не понял я.

— По глазам. У бездомного человека глаза, как у бродячей собаки. У цепной собаки другие глаза, вы замечали?

Я взглянул на него с интересом, ибо не ожидал услышать подобных речей от первого попавшегося водителя трамвая.

—Мне нечем отплатить вам за добрый поступок,— сказал я.

— Я не считаю этот поступок добрым,— он стал серьезен.— Он лишь естествен для меня.

— Что же тогда добрый поступок? — усмехнулся я.

— Добрый поступок?.. Это вот, например,— он оглядел комнату и указал на стеклянный ящик, в котором покоился мой спичечный дом.

— Что это? — спросил я сдавленным голосом, потому что дыхание перехватило.

— Это вы не знаете. Это работа одного мальчика,— в голосе Николая Ивановича появились родительские нотки.— Выполнена она давно, более двадцати лет назад. На мой взгляд, это и есть прекрасный, а следовательно, добрый поступок. Посмотрите, как он просто и убедительно выразил волновавшую его идею.

— Какую же идею?..— спросил я, мучительно краснея.

— Идею братства, разве не видите? Да вы подойдите поближе, подойдите! Эта вещь стоит того, чтобы ее рассмотреть... Несомненный талант.

— А что с ним... сейчас? — спросил я, подойдя к полке и склонившись над своим творением.

— Ничего о нем не знаю, кроме того, что звали его Женя. Ваш тезка,— улыбнулся Николай Иванович.— Мне даже увидеть его не довелось. Есть только старенькая фотография.

— Вот как? Не покажете? — сказал я, стараясь скрыть волнение.

— Отчего же,— Николай Иванович удалился из комнаты и вернулся уже с альбомом, который положил на стол, накрытый кружевной скатертью.

Он торжественно распахнул его, и я невольно вздрогнул: с первой страницы глянул на меня большой портрет Ивана Игнатьевича, моего незабвенного старика, владельца особняка с мезонином, где я клеил спичечный дом.

— Это мой отец,— сказал Николай Иванович, переворачивая страницу.

Он сразу последовал к концу альбома и где-то страницы за три до конца указал на снимок, в котором я узнал себя в возрасте примерно четырнадцати лет рядом с братом Федором. Мы оба в одинаковых курточках-«москвичках» стояли в обнимку у крыльца нашего дома — веселые, стриженные наголо... Как эта фотография попала к Ивану Игнатьевичу? Вероятно, я сам же ему и подарил, да забыл об этом.

— Вот Женя,— Николай Иванович указал на моего брата.

— Ну уж нет! — вырвалось у меня.

— Простите?

— Женя тот, который выше,— сказал я.

Николай Иванович недоверчиво и с опаской взглянул на меня.

— Откуда вы знаете?

— Потому что это я,— проговорил я как-то неловко, отчего хозяин отодвинулся, пристально глядя на меня. Он перевел взгляд на фотографию, снова на меня, хмыкнул.

— А вы... не шутите, Евгений Викторович?

— Вашего отца звали Иваном Игнатьевичем. Он жил в особняке на...— я назвал точный адрес.— Умер в пятьдесят седьмом году. Я видел, как его хоронили. И вас помню,— у меня во рту почему-то пересохло.— А до того я три года ходил к нему в мезонин, клеил этот дворец. Это все правда.

Николай Иванович молча слушал мой рассказ, глаза его увлажнялись. Вдруг он крепко обнял меня, и я вновь почувствовал его силу.

— Родной вы мой!.. Простите, но вы... этот мальчик значит для нашей семьи слишком много! — объяснял он глухо, не выпуская меня из объятий.— Это наш добрый гений, ангел-хранитель. Отец перед смертью... это так не расскажешь. Я знал, что встречу вас...

Николай Иванович отодвинулся, взглянул мне в глаза, но тут же отвел их — слишком разительна была перемена, произошедшая с мальчиком за четверть века.

— Я ведь и фамилию вашу знал, но забыл. Отец называл как-то. Помню, необычная какая-то фамилия...— замялся он.

— Демилле,— сказал я против воли холодно.

— Вот-вот! — он облегченно вздохнул.— Женя Демилле. Вот вы какой стали...

Я молча переминался с ноги на ногу. Николай Иванович выглянул из комнаты и громко позвал:

— Надя, иди сюда!

На его зов пришла небольшого роста худенькая женщина с седой головой, но глазами ясными и молодыми. Она на ходу вытирала о передник руки.

— Это Женя! — объявил ей Николай Иванович.— Тот самый, что сделал дворец!

— Да ты что...— охнула она.

По ее лицу я видел, что она не верит. Она присела перед альбомом и, быстро взглянув на фотографию, перевела взгляд на меня, стремясь отыскать в нынешнем моем облике черты того мальчика.

— А не похож вроде...— неуверенно сказала она.

— Да ведь не тот, Надюша, не тот! Вот он! — Николай Иванович ткнул в фотографию пальцем.— Вот это Женя. А то его брат.

— Да... Этот похож...— неохотно признала она.— В глазах что-то есть.

— Помнишь, отец про него рассказывал? Про вас, простите...— Николай Иванович невольно обратился ко мне с почтением.— Пока есть такие мальчики, так он говорил, я за революцию спокоен...

И тут, наконец, прорвалось напряжение, долго сдерживаемое мною. Я отвернулся к окну, смахивая ладонью слезы с глаз. Жена Николая Ивановича выскользнула из комнаты, а хозяин обнял меня сзади за плечи и прижал к себе.

— Ничего, бывает... Бывает...— повторял он.

Я присел на тахту. Николай Иванович устроился напротив меня на стуле, продолжая разглядывать с жалостью и нежностью, как блудного сына, вернувшегося в дом.

— Как видите, Николай Иванович, я нынче не совсем тот... Совсем не тот,— сказал я сухо, разводя руками.— Так что, пожалуй, мне лучше уйти.

Он поглядел на меня суровее.

— Желаю вам сохранить наилучшую память о вашем Жене,— продолжал я с горькой усмешкой.— Домик я у вас оставлю. Он вам по праву принадлежит за давностью лет...— я поднялся с тахты.

— Здорово тебя прижало,— наконец сказал Николай Иванович.

Его трезвое «ты» остудило меня, я угрюмо замолчал, раздумывая только о том, как бы побыстрее покинуть этот дом, где слишком любили меня, чтобы можно было это вынести.

— Значит, так...— негромко, с затаенной угрозой произнес Николай Иванович.— Останешься ты здесь, никуда не пойдешь, потому что идти тебе некуда. Считай себя членом нашей семьи, поэтому церемониться друг с другом не будем. Буду держать тебя под домашним арестом...

— Вот как? — я постарался придать голосу независимость, но вид Николая Ивановича был столь грозен, что получилось испуганно.

— ...Минимум две недели,— закончил он.

— Почему?

— Пьешь,— коротко ответил он.

— Кажется, это мое дело? Личное...

— Ошибаешься. Дело это общественное. Тебе остановка нужна, иначе расшибешься.

— Что же вы меня — запрете и свяжете?

— Ты сам себя свяжешь. Собственным словом,— его речь становилась все жестче.

Он снял с полки футляр со спичечным домом, поставил на стол и убрал стеклянный колпак. Мое творение предстало в первозданном виде: стали различимы швы между спичками с мелкими закаменевшими капельками клея, стала видна огромная кропотливая работа, дни и месяцы моей юной жизни, вложенные когда-то в это сооружение без всякой видимой цели, с одним лишь желанием организовать кусочек пространства в соответствии со своим неосознанным идеалом.

— Давай обещание, что не выйдешь из этого дома, пока я тебе не разрешу,— Николай Иванович занес огромную свою ладонь над луковкой спичечной церкви.— Иначе раздавлю я твою игрушку, и сам ты понимаешь, что ходу назад тебе в этом случае не будет. Только туда, в пропасть...

— ...Хорошо. Я согласен. Даю слово,— сказал я, кривясь.

Он водрузил колпак на прежнее место, убрал дворец со стола.

— Вы уж извините, Евгений Викторович, что пришлось прибегнуть к сему. Вы сейчас здраво судить не можете. Вам передышка нужна, возвращение в ясное сознание. Тогда и решите сами. А сегодня я за вас решаю.

...Вот так я неожиданно для себя оказался под домашним арестом в чужом доме, то есть не совсем в чужом, в каком-то смысле даже в родном. Вечером меня познакомили с остальными членами семьи Николая Ивановича — сыновьями Алексеем и Юрием, старшеклассниками, и дочерью двадцати трех лет — той самой девочкой, которую я встречал в коляске у своего дома давным-давно. Звали ее Аля, о полном имени я не спросил. Вероятнее всего — Алевтина. Она была такого же невысокого роста, как и мать, но черты лица жестче, в этом было больше сходства с отцом, а глаза жгучие и вопрошающие.

Это ее комнатку с тахтою я занял вчера ночью, явившись нежданным гостем.

Я сразу же почувствовал в ней скрытую враждеб-

ность к себе. Когда она узнала от отца, что это я построил Дворец Коммунизма, ее глазки блеснули, прожигая меня насквозь, и она выпалила:

— Вот еще! Не могли же вы так измениться!

— Аля у нас с характером,— сказал Николай Иванович со скрытой гордостью.

Он куда-то сходил на полчаса, а вернувшись, сказал, что ему удалось решить проблему моего «карцера», как он выразился. В этом же подъезде, двумя этажами ниже, обнаружилась однокомнатная квартира без хозяев, которую я мог временно занять.

— Как это — занять? — не понял я.

— Хозяева в отъезде, просили присмотреть,— объяснил он.

— Но я не могу сейчас платить...— замялся я.

— Платить не нужно. Вы будете как бы сторожить.

— Что ж...— я пожал плечами.

— Столоваться будете у нас. И без всяких церемоний,— сказал Николай Иванович.

— Право, мне неловко,— я действительно почувствовал неудобство.

— Неловко штаны через голову надевать,— парировал Николай Иванович.— А между людьми все ловко, когда по-людски.

Переезд совершился быстро и деловито. Меня проводили вниз, в пустую однокомнатную квартиру. Юноши несли раскладушку с матрасом, столик и стул. Аля шествовала с пачкой чистого белья. Я нес выданные мне женою Николая Ивановича мыло и мочалку, а также кипятильник со стаканом, ложечкой и пачкою чая.

Николай Иванович заглянул ко мне, осмотрел помещение.

— Нормальная тюремная обстановка,— сказал он и ушел.

Вслед за ним снова явилась Аля. В руках у нее был футляр со спичечным домом, на котором сверху громоздились коробки спичек и баночка клея. Она поставила футляр на столик, неприязненно поглядев на меня.

— Докажите,— сказала она.— Пока не докажете — не поверю.

— Что именно? — растерялся я.

— Что это вы построили. Не могли вы такого построить! Вы же ханыга. У вас вид ханыги,— презрительно говорила она.

— Когда вы станете старше...— с горечью начал я.

— Старше?! Выйду замуж, да?.. Хлебну вашего пойла... У вас дети есть? — неожиданно спросила она.

— Сын в первом классе,— ответил я.

— Где он?

— Не знаю.

— Э-эх вы! — она резко повернулась и быстро пошла к дверям.— Если не достроите, я его своими руками спалю! Там у вас не достроено! — заявила она, выходя.

Напоминание о Егорке окончательно добило меня. Я с ненавистью смотрел на спичечный дом. Надо же, заметила, что он не достроен... Однако почему такая зловещая темнота в окнах? В самом деле — тюрьма!

Я подошел к окну и увидел прямо перед собою невыразительную кирпичную стену, тускло освещенную откуда-то снизу. Она располагалась буквально в двух метрах от окна.

Это было похуже тюремной решетки.

Глава 39.
ЕГОРКА

Мальчик проснулся, как от толчка, увидев во сне отца. Они вдвоем находились в Швейцарии — сказочной горной стране, где на каждой горе стоял замок с разноцветным флагом над ним, а в скалистых ущельях, похожих на здешнее, как выйдешь из подъезда, пыхтя дымами, ездили паровозы с черными трубами.

Егорка управлял их движением, держа в руках игрушечный пультик с рукояткой, а отец стоял рядом и звонко смеялся, когда паровоз с шумом останавливался, окутывал себя белым паром и, повинуясь повороту рукоятки на Егоркином пульте, начинал шевелить колесами в обратную сторону с чуханьем и шипением.

Егорке было радостно, что отец смеется, давно уже он не слышал его смеха; поэтому он нарочно путал движение паровозов, пока вдруг один из них не свернул на стрелке на другой путь, по которому навстречу ему мчался другой паровоз.

Пока Егорка сообразил, чем это грозит, отец успел непонятным образом вскочить на подножку паровоза и оттуда что-то прокричал Егорке, окутываясь белым паром из трубы. Егорка в отчаянии до упора повернул рукоятку пульта назад, но машина с отцом продолжала набирать скорость. Раздался страшный двойной гудок,

издаваемый обоими паровозами, мчащимися навстречу друг другу. Егорка в ужасе тряс легкую пластмассовую коробочку, как вдруг увидел, что один проводок отсоединился. Дрожащими пальцами он схватился за него и стал прилаживать к пульту, понимая, что не успевает. Дрожали и звенели стальные рельсы, гудок рассекал небо, вырываясь из узкого ущелья, а отец стоял на подножке и прощально махал рукой... За мгновение до удара Егорка проснулся.

Он почему-то сразу вспомнил то пробуждение весною, с которого началась новая странная жизнь. Ощущение было похожим, словно из одного сна он перескочил в другой. На кухне с характерным щелчком выскочила из часов кукушка и начала свои «ку-ку». Егорка по привычке считал удары — отец когда-то научил его считать по кукушке — один, два, три... Он насчитал двенадцать ударов.

Егорка отправился в туалет, стараясь не разбудить мать, а потом заглянул в кухню. Часы показывали три. Мальчик не удивился, ибо кукушка иногда сбивалась со счета и куковала тогда что-то несусветное. Проходя обратно в свою комнату через прихожую, он услышал голоса на лестничной площадке за дверью. Егорка припал глазом к застекленной дырочке.

Дверь напротив была распахнута, проем ярко горел, подсвеченный изнутри соседской квартиры. В этом проеме четко рисовалась человеческая фигура в странном одеянии — расшитый камзол и короткие штаны с застежками ниже колен, продолжавшиеся белыми чулками. Но еще страннее была прическа человека — длинные волосы, спадавшие на плечи и завитые в аккуратные кольца, отчего голова была похожа на барашка. Егорка с трудом узнал в этом человеке нового соседа.

Перед ним на лестничной площадке стояли двое — тоже в необычных старинных одеждах: один в длинной накидке без рукавов, а другой — в строгом пальто с бархатным воротником, отливавшим синим цветом. Судя по всему, они прощались с хозяином, церемонно кланяясь. Вдруг за спиною соседа показался из квартиры рыжий кот, опушенный электрическим светом. Старик в буклях наклонился к коту и взял его на руки. Егорка узнал кота, тот принадлежал бывшему соседу, помоложе. Гости удалились, причем Егорка успел заметить, что человек в длинной накидке обладает весьма приметным острым носом.

Утром, когда Егорка выбежал с мусорным ведром к люку мусоропровода, сосед тоже вышел из своей квартиры, направляясь к лифту. На этот раз он был в шляпе, из-под которой виднелся легкий пушок коротких седых волос, и в длинном прямом пальто черного цвета. В руках старик держал тросточку.

Он остановился на площадке, с интересом наблюдая, как Егорка вываливает в люк мусор, проваливающийся вниз с глухим шуршанием.

— Егор Демилле, если не ошибаюсь? — наконец спросил он.

Егорка вздрогнул, оглянулся на незнакомца.

— Так как же вас зовут, сударь? — переспросил старик насмешливо.

— Егор Нестеров,— потупившись отвечал Егорка.

— Странно. Сын должен носить фамилию отца,— сказал старик, входя в распахнувшиеся перед ним с шипением двери лифта.— А подглядывать нехорошо! — с улыбкой закончил он и провалился вниз.

Егорка вернулся к матери с затаенным вопросом и долго терся вокруг нее на кухне, не решаясь спросить. Мать вяло мыла оставшуюся с вечера посуду. Над крышами Петроградской стороны, видимыми из окна, вставало пустое воскресное утро.

После смерти Григория Степановича мать стала рассеянной, скучной, в особенности после того вечера неделю назад, когда в комнате был накрыт стол с закусками и киселем, оставившим у Егорки горьковатый черничный привкус.

Наконец Егорка решился.

— Мам, а почему у меня такая фамилия? — спросил он.

— Какая, Егорушка? — не отрываясь от своих мыслей, спросила она.

— Нестеров.

— Потому что это мамина фамилия,— сказала мать.

— А почему не как у папы?

Мать оторвалась от посуды и взглянула на сына почти с мольбой: зачем тебе это? Не успела она придумать объяснение, как в квартиру позвонили.

Мать, по привычке не спрашивая и не заглядывая в «глазок», отворила дверь. Егорка увидел Марию Григорьевну: она была бледна, как полотно, под глазами синие круги. Мария Григорьевна заметно волнова-

лась; двумя руками перед собою она неловко держала черный «дипломат» с никелированными замочками.

— Ирина Михайловна, ради бога! Мне нужно вам что-то сказать,— быстро проговорила дочь генерала.

— Заходите,— сухо пригласила мать.

Мария Григорьевна шагнула в прихожую и, явно торопясь, не снимая плаща, щелкнула замочками «дипломата». Неловко откинув крышку и держа чемоданчик одною рукою на весу, она порылась в нем другой и извлекла малюсенькую прямоугольную бумажку.

— Простите меня, я вас очень прошу, я пропащая... Но я не за этим,— сбивчиво говорила она.— Вот, возьмите... Это ваш муж... Это его вещи... Я не могла знать, только сейчас обнаружила. Простите, ради всего святого!

Мать деревянными пальцами взяла бумажку. Это была телеграфная квитанция из Севастополя, удостоверявшая отправку телеграммы на имя гражданки Нестеровой.

— Мам, это от папы, да? — встрепенулся Егорка в надежде.

— Егорушка, посиди у себя! Посиди! — мать несколько суматошно подтолкнула его к детской комнате, а сама с Марией Григорьевной закрылась в гостиной.

Егорка остался стоять в коридоре у закрытой двери, жадно прислушиваясь к тому, что происходило в комнате.

А оттуда доносились обрывки сумбурного, прерываемого плачем рассказа Марии Григорьевны. Егорка напрягся, чувствуя какую-то страшную, скрываемую от него тайну и пытаясь соединить бессвязные фразы генеральской дочери. «Встретились случайно... у него вид ужасный... я сорвалась... ничего не рассказывал, молчал... Он чего-то боится... я стала искать и нашла это в бумажнике и еще тридцать рублей... Не понимаю, какие-то распашонки. Он убежал сломя голову. Честное слово, вы не подумайте!.. Я такая несчастная...»

Всхлипывания прекратились, Егорка услышал тихий голос матери. Слов нельзя было разобрать, он лишь понял по интонации, что мать смягчилась.

— Да-да, вы совершенно правы! — вдруг с жаром воскликнула Мария Григорьевна.— Это одно может меня спасти. Но мне же никто не даст, я узнавала. Одинокая женщина. Я еще весной справлялась в Доме малютки...

Мать снова что-то тихо проговорила.

— Я бы на это согласилась, конечно!.. Игорь Сергеевич может, как я не подумала! Спасибо вам, Ирина Михайловна, я так вам благодарна...

Не переставая благодарить, Мария Григорьевна вышла из комнаты, так что Егорка едва успел спрятаться в детской. Мать проводила гостью и вернулась к сыну.

— Егорушка, собирайся. Поедем к бабушке,— сказала она.

— К бабушке? — Егорка удивился, потому что у бабушки не гостили очень давно, с зимы.

— У тети Любы сын родился! Твой двоюродный брат! — объявила мать.

Егорка обрадовался перемене, произошедшей с нею: мать вдруг стала деятельна, распахнула платяной шкаф и вытащила оттуда свое нарядное синее платье, в котором Егорка не видел ее с отцовского дня рождения.

Бросив широким жестом платье на спинку стула, мать вдруг ни с того ни с сего чмокнула Егорку в затылок и удалилась в ванную, а Егорка мигом пробрался в комнату родителей. Любопытство его одолевало.

На диване лежал распахнутый «дипломат». В нем Егорка увидел две мужские сорочки, складной зонтик, темные очки, электробритву. Все было незнакомым. В хрустящем целлофановом пакете он обнаружил кружевные распашонки и поздравительную открытку, на которой было крупно написано: «Любаше и Ванечке! Поздравляю вас со встречей! Брат и дядюшка». Егорка догадался, что это писал отец. Где же он сам? Почему так таинственно попадают в дом его вещи? Мальчика охватила непонятная тревога.

Мать вышла из ванной с красивым подкрашенным лицом, так что у Егорки дух перехватило. Он смотрел на нее восторженно. Мать рассмеялась, снова поцеловала его и погнала одеваться. Через несколько минут сын и мать с пакетом вышли из дома.

Первым делом они зашли во второй подъезд, где помещалось Правление. Дверь была приоткрыта. Они вошли в коридор, где висела газета «Воздухоплаватель». За дверью с надписью «Штаб» слышались голоса. Из кухни выглянула женщина в переднике, приветливо кивнула.

— Подождите немного. Игорь Сергеевич сейчас освободится.

Мать принялась читать газету на стене. Егорка втянул носом воздух: из кухни аппетитно пахло пирогами.

Наконец открылась дверь штаба, и оттуда вышел небольшого роста человек с длинным повисшим носом. Он был чем-то недоволен. Вслед за ним выглянул майор милиции в голубоватой форменной рубашке с погонами.

— Я вас предупредил, Валентин Борисович. Будем принимать меры,— строго сказал майор вслед уходящему посетителю.

— Не имеете права мешать моей научной деятельности! — парировал гражданин.

— Но не в ущерб людям,— уточнил майор, и гражданин покинул Правление.

— Вы ко мне? — обратился майор к матери.

Она кивнула, и майор пригласил ее в штаб. Егорку мать оставила в коридоре. Ему снова стало обидно: почему взрослые имеют столько тайн? Он прислушался к тихому голосу матери, но опять ничего не разобрал. Зато ответ майора уловил четко. «Это вы мудро решили, Ирина Михайловна. Я позвоню, а вы мне перезвоните в течение дня. Думаю, ответ будет положительный, учитывая обстоятельства».

Далее мать с сыном заехали на Торжковский рынок, где купили букет белых хризантем в виде трех шарообразных цветков на длинных ножках. Еще через полчаса они подходили к бабушкиному дому по тихой осенней улочке с невысокими желтыми домиками странной архитектуры.

Дверь открыла сама бабушка Анастасия в кухонном фартуке. Увидев невестку, она поджала губы, но тут же взгляд ее упал на Егора, и бабушка, подобрев лицом, склонилась к нему с поцелуями.

— Люба! Иди сюда, смотри, кто пришел! — позвала она, выпрямляясь, после чего поцеловалась и с Ириной.— Господи, боже мой! Как Егорушка вырос! Уже школьник, надо же!.. Совсем вы нас забыли... А где Женя?

Егорка насторожился.

— Он в командировке,— ответила мать спокойно.

На крик выбежала Любаша с марлевой повязкой на лице. Она торопливо сдернула ее, бросаясь к Ирине целоваться. Они обнялись, смеясь и плача, и Егорка понял, что у матери камень упал с души.

Любашка, ты уж не обижайся, что мы так... Ты

же знаешь... То одно, то другое...— говорила мать, утирая слезы.

— Да ладно тебе! Кто старое помянет... Не до обид сейчас. Из меня Ванька все соки высасывает. Уже четыре восемьсот! — засмеялась Любаша.— Пойдем, покажу. Тяжело рожать на старости-то лет!

— Мыть руки! Вы что, к ребенку! — заволновалась бабушка Анастасия.

Они вымыли руки и, притихнув, осторожно ступая, прошли в Любашину комнату, где в деревянной кроватке лежал животиком вверх пухленький белокурый мальчик, болтая в воздухе ручками и ножками. Мать вытащила из пакета распашонки.

— Вот тут... приданое... И поздравление от Жени.

Бабушка Анастасия перехватила открытку, внимательно прочитала надпись на ней.

— С какой встречей поздравляет? Вечно его не поймешь! — недовольно сказала она.

— Ну, с нашей, мама! Мы же с Ванечкой встретились, правда, мое ты солнышко?..— обратилась Люба к малышу, склоняясь над кроваткой.

— На отца похож...— со значением, поджав губы, проговорила бабушка и зашептала сзади Ирине: — Звонит каждый день, подарков накупил, руки просит... Так эта дура...

— Мама, он младше меня на десять лет,— сказала Любаша.

— Ну и что! Ну и что! Живут, сколько угодно! — рассердилась бабушка.

Набежала в спальню интернациональная стайка Егоркиных братьев и сестер, сразу затискали Егорку. Бабушка Анастасия взяла на руки Ванечку, развернула личиком к публике.

— Зюк-зюк-закардель! Зюк-зюк-закардель! — пропела она, покачивая малыша на руках.

Егорка смутно, с непонятной радостью вспомнил эту загадочную бабушкину припевку, с которой она баюкала всех внуков. Малыш смешно задергал ручонками и улыбнулся беззубым ртом.

Ребенок был вновь водворен в кроватку, и ватага детей вместе с Егоркой убежала в детскую. Егор был тут же включен в работу: шили латиноамериканский костюм Хуанчику и клеили ему сомбреро из бумаги для детсадовского праздника, посвященного освободительной борьбе народов. Егорке досталось красить черной

тушью широкие поля сомбреро, Ника строчила на машинке, а Шандор, сопя, обметывал нитками края курточки, надетой на Хуанчика.

Егорка заметил, что мать с Любашей, выйдя из спальни, уединились в дедовом кабинете и прикрыли за собою дверь. Бабушка Анастасия с обеспокоенным лицом вошла в детскую.

— Егорушка, пойдем, я тебя оладушками угощу,— сказала она.

— И нам! — закричали Шандор с Хуаном.

— Вы уже ели. Сидите! — бабушка увела Егорку на кухню.

Там она усадила его за стол, придвинула оладьи с вареньем, а сама уселась напротив, наблюдая, как Егорка ест.

— Егорушка, ты мне скажи: где папа? — вдруг строго спросила она, глядя на внука сквозь очки увеличенными глазами.

— В командировке,— нехотя ответил Егорка.

— Что это за командировка такая! Нет, я чувствую, что-то у вас неладно... Как вы летом отдохнули?

— Хорошо.

— Бабушка как себя чувствует? — продолжала допрос Анастасия Федоровна.

— Какая? — удивился Егорка.

— Бабушка Серафима, какая же! Вы же у нее отдыхали!

— Не-е...— протянул Егорка.— Мы на даче были у Григория Степановича.

Бабушка Анастасия подобралась и вдруг, уперев в стол руки, громко позвала:

— Ирина! Люба! Идите сюда!

На зов появились из кабинета мать с Любашей, слегка встревоженные бабушкиным тоном.

— Что случилось, мама? — спросила Любаша.

— Идите сюда. Садитесь,— приказала бабушка.— Ириша, вы где отдыхали летом? — обратилась она к матери.

Егорка заволновался, он понял, что допустил какую-то ошибку. Но мать не почуяла опасности, она лишь взглянула на сына, как бы говоря: я тебе потом объясню! — сама же ответила:

— У мамы были. Вам привет.

— А почему Егорушка говорит, что вы были на даче? Кто такой этот Григорий Степанович? Женя был

с вами? — перешла в наступление Анастасия Федоровна.

Мать поняла, с досадой взглянула на Егорку.

— Нашла кого слушать. Ребенка! — сказала Любаша.

— Егор...— обратилась бабушка к внуку.

Но мать, словно защищая, прервала ее.

— Егор правду сказал. Не были мы в Севастополе. Женя с весны с нами не живет.

Егорка перестал жевать, глаза его наполнились слезами, но на него не обратили внимания, поскольку слезы и упреки бабушки Анастасии, сопровождаемые сердечным приступом, надолго отвлекли Любашу и мать от детей. Напрасно мать уговаривала Анастасию Федоровну, что ничего страшного не произошло, такое бывает в семьях, напрасно убеждала Любаша, что старший сын жив-здоров, звонил недавно, приходил навестить в роддом, а что про отпуск врал, так это не хотел волновать... Все напрасно! Бабушка Анастасия упрекала всех в невнимании и неблагодарности, а также в том, какой дурной пример подают ее дети своим детям.

— У одного Федечки все в порядке, а вы... Он что — совсем к вам не заходит? — вдруг спросила она, переставая плакать.

— Он боится. Его милиция ищет. Помнишь, участковый приходил? — брякнула Любаша.

— Что?! — и снова начались жалобы и крики.

Егорка притих. Непонятно и страшно все это было — исчезновение отца, его розыски, милиция... Мать показалась в детской со злым, нервным лицом.

— Пошли, Егор. Сейчас я только позвоню.

Она быстро позвонила кому-то из дедовского кабинета, мигом собралась, и они с Егоркой покинули бабушкин дом, провожаемые успокаивающими словами Любаши:

— Ничего, пройдет. Я ей потом все объясню...

Но домой мать с сыном не поехали, а направились на другой конец города. Ехали долго, с пересадками. Егорка старался представить себе — почему милиция разыскивает отца. Неужели он хулиган или вор? Почему он боится вернуться домой?

Наконец они добрались до двухэтажного кирпичного здания, окруженного участком с детскими качелями и горками. Участок был обнесен железным забором. У ворот с надписью «Дом малютки» ожидала их Мария

Григорьевна с большим игрушечным грузовиком в руках, завернутым в пленку.

— Спасибо вам, Ирина Михайловна...— начала она жалким голосом, но мать оборвала:

— Перестаньте, Маша.

Они вошли в вестибюль здания. Здесь на длинной деревянной скамье у детских шкафчиков сидела девушка в свитере и клетчатой юбке. Рядом с нею находился рыженький конопатый мальчишка лет четырех, одетый в скучный серый костюмчик, но при галстуке.

Увидев вошедших, девушка поднялась со скамьи и направилась к ним. Мальчишка остался на месте, он лишь застыл, как испуганный зверек перед отчаянным прыжком, оборотив лицо к дверям. Казалось, что его рыженькие патлы шевелятся от волнения.

— Мария Григорьевна? — спросила девушка, подойдя и оглядывая женщин.

— Это я, здравствуйте,— ответила Мария Григорьевна.

— Меня зовут Шура. Директорша поручила мне познакомить вас с Митей, она сейчас в райисполкоме. Игрушку зря принесли, не надо начинать с подарков...— Шура говорила ровным, чуть усталым голосом.

— Простите, я не знала...— сказала Мария Григорьевна.

Егорка смотрел на мальчика. Тот не решался двинуться с места.

— Вас включили в список друзей Дома по ходатайству у-вэ-дэ,— продолжала Шура.— Это значит, что вам разрешается забирать ребенка домой на выходные. Я против этой формы, детям нужен постоянный дом, но раз директорша сказала... Может быть, вы добьетесь усыновления? — Шура вдруг с мольбою посмотрела на Марию Григорьевну.— Мальчик хороший, очень музыкальный. Ставьте ему пластинки, его надо развивать. Из сластей любит вафли и соевые батончики. Не перекармливайте сладким,— Шура вновь перешла на деловой тон.— Сейчас я его позову,— тихо закончила она.

Шура обернулась к мальчику.

— Митя! Иди сюда.

Мальчик встрепенулся и вдруг припустился к ним бегом по каменному полу вестибюля, звонко стуча металлическими подковками на ботинках.

— Мама! — крикнул он, подбегая и распахивая объятия, так что Мария Григорьевна от растерянности заметалась, не зная — куда деть грузовик.

Не успел Егорка опомниться от этого пронзительного крика, как мать присела и тоже распахнула руки навстречу мальчику. Она схватила его в объятия и подняла на руки. Мария Григорьевна неумело совала мальчишке грузовик.

— Митенька, это тетя Маша. Ты будешь к ней ходить в гости, хорошо? — обратилась к нему Шура. — Возьмите его! — шепнула она Марии Григорьевне.

Та приняла мальчишку вместе с грузовиком на руки, и лицо у нее сделалось некрасивым, счастливым и детским. Мальчишка тыкался носом ей в воротник, а Мария Григорьевна смотрела куда-то далеко широко раскрытыми глазами, в которых стояли слезы.

Мать отвернулась. Шура гладила Митю по затылку.

— Митенька, пойдем покажем машину детям. Теперь ты знаешь тетю Машу. В следующую субботу пойдешь к ней...— ласково говорила она.

Шура приняла мальчика к себе на руки, поцеловала, опустила на пол. Мария Григорьевна поспешно наклонилась, тоже поцеловала Митю.

— До свидания...— сказала Шура.— Идите! Идите! — шепотом добавила она и повела Митю по коридору.

Гулко цокали в вестибюле железные подковки ботинок.

Всю долгую дорогу домой мать и Мария Григорьевна сидели молча.

Вечером в доме опять повисла пустота печали. Мать лежала на диване и смотрела на экран выключенного телевизора.

Егорка закрылся у себя в комнате. Он вырвал из тетради несколько листов бумаги в линеечку и разрезал их ножницами на двенадцать прямоугольных кусочков. На каждом он крупными и неровными печатными буквами написал одно и то же объявление: «Папа, не бойся. Приходи. Не бойся. Егор».

Эти листочки он вложил в букварь, а букварь засунул в ранец.

Глава 40.
ИСПОВЕДЬ ЗАБЛУДШЕГО

«...Наши достоинства и недостатки имеют определенный радиус действия. Чтобы узнать человека, мы сходимся с ним и обнаруживаем, что вблизи он лучше и милее нам. Мы делаем еще шаг и очаровываемся снова. Но сближение это нельзя продолжать до бесконечности, иначе достоинства обернутся недостатками. Нужно уметь остановиться в сближении, соблюсти дистанцию, тогда дружба не рискует превратиться во вражду, а любовь — в муку. Дистанция эта различна у разных людей. Есть такие, которые могут быть нам приятны или попросту сносны на значительном удалении, но есть и те, кого нам хочется приближать к себе все больше и больше. И тут надо помнить об оптимальном радиусе наших достоинств.

Это же справедливо при сближении с самим собою. Человек всю жизнь идет к себе, приближает к себе себя, испытывая этот переход собственных достоинств в собственные недостатки. Разница в том, что это сближение нельзя остановить. Надо слиться с собою, каким бы мучительным ни было это слияние.

То вдруг мелькнет в руке Ювеналов бич в грозном приступе самобичевания, то проточится слеза жалости к себе, то возникнет ореол мученика, а за ним и терновый венец святого в спасительном порыве оправдания. Причина же в том, что ищу виноватого, вместо того чтобы озадачиться простым вопросом: как?

Как случилось, что я — нестарый, здоровый, умный, небесталанный человек — столь быстро и непоправимо превратился в изгоя? Почему это произошло?

Кто бы ни прочел мои записи — жена, сын, посторонний читатель,— знайте, что здесь я старался быть максимально честным перед собою. Это невыносимо трудно. Чтобы каждому убедиться в правоте моих слов, достаточно написать собственную исповедь.

Я знаю немало людей, которые без стыда и совести напишут в качестве исповеди характеристику, подобную той, что требуется для выезда за границу или получения

жилплощади. Очень трудно жить среди людей, искренне убежденных в том, что они — прекрасные и достойные люди. Они подобны слепым, точнее — полуслепым, ибо их зрение обладает весьма ценным качеством, подмеченным одним человеком, который не считал себя идеалом, хотя имел на то больше оснований, чем все другие, вместе взятые: „Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?..".

Скопища фарисеев и лицемеров делают почти невозможной любую исповедь. Покажи им всего себя, и они заметят лишь то, что безобразно. Им неведомо, что прекрасное в душе должно отталкиваться от своего же — не от чужого! — пошлого и гадкого. Не это ли есть то самое борение духа, о котором мы знаем по великим жизням? Но великим давно простили их слабости, вперед же вытащили то прекрасное, что они создали в попытке отгородиться от дурного в себе.

„Толпа жадно читает испóведи, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы,— иначе.— Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно."

Может показаться, что мысль Пушкина выбивает почву у меня из-под ног, ибо пороки великих — суть другие пороки, недоступные обывателю. Во всяком случае, ими нельзя оправдывать собственные несовершенства, потому как обывателю нечего положить на другую чашу весов. Но я о другом говорю. Да, мне нечем оплачивать собственные несовершенства, кроме скитаний духа, а значит, в глазах совершенных людей я всегда буду порочен. Но я не верю в совершенных людей, более того, наличие в человеке крайних полюсов добра и зла считаю необходимым условием его духовной жизни.

Однако, что же делать с крайними полюсами зла, обнаружение которых чревато неприятностями для ближних? Как прикажете поступать с предательством, завистью, гордыней, сладострастием, властолюбием, трусостью? Как переносить эти качества у ближних и общаться с ними, не презирая и не превращая жизнь в пытку?

Есть один способ, найденный мною из опыта.

Обнаружив в другом человеке порок, следует немедля отыскать его и в себе. Если его мало у тебя (скорее всего, так кажется), нужно преувеличить его, мысленно поставив себя в такие обстоятельства, при которых он мог бы проявиться во всей своей отталкивающей мерзости. Ежели и при таком рассмотрении результат окажется мизерным, следует обратиться к другим своим порокам, которые ничуть не лучше. В ответ на хитрость нужно найти в себе глупость, обнаружив зависть, следует докопаться до собственного тщеславия, почуяв корысть, разыскать властолюбие... Насколько легче тогда уживаться с недостатками ближнего, если, конечно, с ними необходимо уживаться, то есть если у него есть достоинства, делающие его человеком, а собственный порок вызывает в нем те же муки, что у тебя.

Поиски бревна в собственном глазу помогают пережить сучок в глазу ближнего.

К сожалению, мало кто пользуется этим методом. Наоборот, обнаружив у ближнего недостаток, коего мы лишены (или полагаем, что лишены), мы обрушиваем на него всю мощь наших упреков. Но лицемерны эти упреки, ибо свидетельствуют лишь о нерадивости поисков в глубинах собственной души. Если же ты, перебрав все до последней соломинки, не обнаружишь в себе недостатков — тогда плохо дело! Нужно срочно повышать уровень правдивости.

Описанный метод — надежный путь к братству.

Три понятия определяют духовный мир человека. Это вера, надежда и любовь.

Надо ли говорить, что вера в традиционном смысле не нашла себе места в душе юноши, вступившего в жизнь в середине нашего века. Несмотря на то, что я был крещен — скорее, по традиции, чем из идейных

соображений,— мысль о боге являлась мне лишь в качестве заблуждения, которым морочили головы людей на протяжении девятнадцати веков до моего рождения. Слава богу, теперь с этой нелепостью было покончено, и я в гордом сознании своего превосходства перед предками ни разу не подумал, что среди них были практически все мыслители и художники прошлого, как бы потом их ни выгораживали перед историей.

Самонадеянность нашего атеизма не поддается описанию.

Думаю, что он должен воспитываться в душе гораздо более трудолюбивым и мучительным способом, чем тот, что был мне предложен. Мне было просто объявлено, что „бога нет", и я поверил этому, как верил всему, что говорили взрослые: человек произошел от обезьяны, Земля вертится, детей приносят аисты. Со временем многие из таких утверждений были подкреплены научно или опровергнуты, только не то, от которого зависел вопрос веры.

Любое из утверждений — „бог есть" или „бога нет" — является ложным. Истинны лишь поиски бога, которые могут привести либо к его отрицанию, либо к вере.

Мне была предложена другая вера — и тоже как утверждение. До шестнадцати лет я исповедовал ее истово, пока по ней не был нанесен чувствительный удар. И даже тогда она не умерла сразу; потрясение заставило меня подумать, что наконец-то вера очистится от тех грязных наслоений, о коих было торжественно и прямо заявлено. Именно тогда я научился думать сам, не принимая на веру никаких утверждений. И тогда начали обнаруживаться, а к нынешнему моменту обозначились с несомненной ясностью страшные расхождения между словом и делом, которых я не мог не видеть без того, чтобы не потерять к себе уважения.

На моих глазах за четверть века произошло практическое перерождение общественных идеалов, когда людей перестали ценить за дела, а стали ценить за связи; когда ум спасовал перед хитростью, а совесть перед корыстью; когда демагогия смеялась над правдой, а страх за свое место стал сильнее чувства долга; когда на всех этажах власти появились услужливые хамы с пустыми глазами; когда, наконец, думать серьезно и

свято о своей стране стало признаком умственного расстройства.

Каждый год приносил успехи цинизму. Его чудище росло, как на дрожжах, символом чего стали Звезды Героев, за которые раньше платили жизнью, а теперь стали выдавать в подарок ко дню рождения.

Это было больно. Оставалось пить водку и слушать политические анекдоты, цинизм которых был точным отражением цинизма, царящего в обществе.

Вера в добро, в красоту, в справедливость, в людей — огромное количество частных вер, за которыми укрываются мои донкихотствующие сограждане, по сути дела — лишь проявления общей веры в светлое будущее, о коем даже упоминать полагается нынче с иронической усмешкой на устах. Ибо что же такое вера в добро, например? Это вовсе не в то вера, что добро существует,— отрицать его не могут и закоренелые циники. Это вера в победительные свойства добра, в его конечную силу. Когда же видишь, что добро попирается ежечасно и способно существовать лишь в качестве мысленной увядающей альтернативы злу — верить в него невозможно.

На что ж надеяться?

Я не надеюсь уже на то, что человеку удастся разорвать эгоистические путы, преодолеть национальную рознь, отнестись к ближнему, исповедующему иные идеалы, как к брату. Я не надеюсь, что красота спасет мир,— слишком долго она его спасает! Красоты все меньше вокруг, безобразное выпирает из всех щелей.

Я не надеюсь, что мне удастся выжить, когда вижу на экране телевизора груды организованного металла, предназначенного к убийству.

Я не надеюсь уже на разум, я не надеюсь уже ни на что.

Кого же мне любить: таких же слепцов, как я? Таких же глупцов? Таких же трусов и себялюбцев?

Я не люблю мужчин, потому что они самцы. Я не люблю женщин, потому что они продажны. Я не люблю

детей, потому что из них вырастают мужчины и женщины.

Я не люблю природу, потому что она равнодушна ко мне. Я не люблю Землю, потому что она породила эту странную плесень, именуемую человечеством. Я не люблю Солнце, потому что оно когда-нибудь взорвется и уничтожит все, что я не люблю.

Я люблю только одного человека на Земле — своего сына; люблю его животной, инстинктивной любовью. Пламенеющая в глубоком мраке, эта любовь поддерживает меня своими ответными токами — и это единственное, что связывает меня с жизнью...»

Глава 41.

ЛИТО ИМЕНИ ЛОРЕНСА СТЕРНА

Общественная нагрузка автора отвлекла его от романа, заставив впасть в распространенную среди писателей ошибку — считать себя нужным в иных сферах, нежели сочинительство. Автор взялся за создание литературного объединения кооператоров.

Идея возникла у Рыскаля еще во время первого разговора в Правлении, когда майор рассказал о семейно-подростковом клубе «Полет», возглавляемом новым жильцом Спиридоновым, и предложил автору принять в этом деле участие. Узнав о том, что Лаврентий Родионович владеет английским, майор и ему предложил применить в клубе свои знания, но милорд вежливо уклонился.

Автор счел все же нужным предложить милорду руководство объединением по праву старшего.

— Бога ради, не втягивайте меня в это дело! — категорически заявил Учитель.

— Почему? — спросил автор с некоторым облегчением.

— У меня хватит работы.

— Какой? — удивился автор.— Уж не собираетесь ли вы продолжать наш роман в одиночку?

— Успокойтесь! — милорд посмотрел на соавтора уничтожающе.— Я сделал все, что мог, чтобы заставить вас продолжить работу. Увы, это не помогло. Теперь я умываю руки. Делайте, что хотите, я же буду знакомиться с творениями ваших коллег.

И он указал на книжные стеллажи от пола до потолка.

Разговор происходил в квартире автора, то есть теперь в квартире Лаврентия Родионовича. Филарет валялся на диване и, как показалось сочинителю, тоже поглядывал на него неприязненно. На спинке рабочего кресла висел белый парик с завитыми, падающими вниз буклями. Откуда он здесь взялся? И зачем он милорду?

— В таком случае, милорд, не разрешите ли вы присвоить литературному объединению ваше имя? — спросил автор.

Милорд лишь пожал плечами, давая понять, что ему все равно.

Расстались соавторы прохладно.

Объявления о приеме в литобъединение вывесили в каждом подъезде на досках, где обычно появлялись сообщения о заседаниях Правления, призывы и приказы. Записалось девять человек. Количество пишущих удивило автора. Простой подсчет показывал, что ежели в доме с населением в тысячу человек проживает одиннадцать литераторов, включая соавторов, то в городе с четырехмиллионным населением их должно быть примерно сорок четыре тысячи!

Кроме уже известных дворников и Сашеньки, в литобъединение записались баснописец Бурлыко, автор юморесок Рувим Файнштейн, его коллега по Правлению и вечный оппонент Всеволод Серенков, сочиняющий этюды о природе, и — неожиданно — Валентин Борисович Завадовский, работающий над книгой «Как я был телепатом». Поколебавшись, изъявил желание участвовать сам председатель Правления, пишущий мемуары о строительстве Волховской электростанции, а последней записалась дочка Рыскаля Марина, сочиняющая сказки. Все они, по просьбе автора, принесли ему свои рукописи, и он углубился в чтение.

По мере освоения материала автор испытывал все большую растерянность, ибо в стихах, юморесках, рассказах, зарисовках, написанных кооператорами за последнее время, за исключением одной-единственной басни Бурлыко, не присутствовало и намека на главное событие в жизни кооператива — перелет на новое местожительство и последовавшие за тем перемены. Автора охватил страх. Может быть, его роман, правдиво и подробно повествующий о собственном доме, никому не нужен, если даже потерпевшие не склонны вникать

в собственную историю? Скорее все же, кооператоров останавливал внутренний цензор: происшествие с домом было безошибочно причислено к разряду событий, которые не следует описывать, а в таком случае — зачем зря марать бумагу?

Такое объяснение не польстило автору. Получалось, что они с милордом — единственные, кто по глупости решился пролить свет на происшествие, но, судя по всему, совершенно напрасно.

Автор отложил рукопись (это была юмореска Файнштейна о сантехнике) и взглянул на черновик первой части романа, возвращенный Сашенькой, а потом на щегла Васю, который сидел на жердочке — нахохлившийся, серьезный, боевитый — и сверлил автора бусинкой глаза, словно побуждая не терять веры и надежды. Автор еще раз мысленно поблагодарил Сашеньку, которая, сама того не ведая, спасала его в минуты уныния посредством маленькой птахи — символа литературного мужества.

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! — вспомнилось сочинителю.— Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак...»

— Нельзя никак, Вася? — серьезно спросил автор.

— Никак нельзя! — прощелкал щегол на птичьем языке и, обрадовавшись разговору, запорхал в клетке, напоминая самого автора, поющего и размахивающего крылышками под колпаком из прутьев.

Более внимательное изучение рукописей подопечных показало, что намеки на неблагополучие в кооперативе все же имелись. И рассказы Храброва, и стихи Соболевского, и басни Бурлыки, и даже Сашенькины стихи несли на себе печать усталости и неустроенности. Настроение, господствовавшее в этих немудреных сочинениях, можно было бы обозначить одним словом: кооперативное. У автора даже родилась мысль ввести в литературный обиход понятие «кооперативной литературы», обозначающее мелкость проблем и тем, описание бытовых неурядиц и безыдеальность, если можно так выразиться. Утраченный кооператорами идеал общности и доверия, что когда-то заставил их объединиться и выстроить себе новое здание на Илларионовской улице, витал где-то далеко. Никто не вспоминал о нем, не звал к нему, изверившись в тяжкой борьбе с ворами, хапу-

гами и пьяницами, расплодившимися в кооперативе. Молодежь не видела выхода из печальных настроений, что касается семинаристов постарше — Ментихина, Завадовского, Серенкова, Файнштейна,— то они и вовсе не знали проблем, довольствуясь готовыми литературными клише.

Файнштейн сочинял юморески по образцу шестнадцатой полосы «Литгазеты», где бичевал сантехников, книжных «жучков» и неверных жен. Это было ни смешно, ни грустно, ни глупо, ни умно... Напоминало также вечера «Вокруг смеха» из Останкино.

Серенков поэтизировал природу. Любой куст, веточка или бабочка могли остановить его в благоговении и заставить философствовать о красоте, вечности, так что скулы сводило от банальностей. Кусты, веточки и бабочки у него были непременно русскими, несли национальную идею, так что непонятно было, что стал бы говорить Серенков, окажись он во французском лесу или в индийских джунглях. Простой стог сена вызывал у него дежурную ассоциацию с шеломом древнерусского воина, а лесное озерцо — с глазами Ярославны. Когда он добирался до грибов, то с национальностью было благополучно у боровичков и груздей, мухоморы же именовались «броской иностранной поганью».

Начало книги Завадовского «Как я был телепатом» автор прочитал не без интереса, дивясь перемене, произошедшей с забитым кооператором. Открыв в себе клапан, о существовании которого он ранее не подозревал, Завадовский глубокомысленно рассуждал об экстрасенсорных делах, йоге и хилерах, намекая, кстати, на явно тенденциозное освещение этих проблем в официальной прессе.

Мемуары же Ментихина были написаны так, будто Волховская гидроэлектростанция была первой и последней стройкой нашего века — ни до, ни после нее ничего не существовало.

Таков был улов.

Грустно стало автору за кооператоров, прописанных и непрописанных летунов, когда он прочитал их литературную продукцию. Складывалось впечатление, что литература наша, призванная когда-то «глаголом жечь» и еще что-то там про «колокол на башне вечевой во дни...» — довольствуется ныне положением скромной жалобщицы, а то и прислужницы у барского стола, за которым по-хозяйски расселись сытые демагоги.

И вновь волна уныния накатилась на автора, когда он бросил взгляд на исписанные им страницы, пытаясь мысленно предъявить им строгий счет гражданственности. Увы, не выдерживали они этого высокого счета, не хватало им священного огня, испепеляющего сердца читателей, а печальной иронией сыты мы уже по горло.

С этими мыслями он и пришел на первое заседание литературного объединения, которое состоялось в помещении клуба «Полет» — трехкомнатной квартире в первом этаже того же первого подъезда, где жил сочинитель. Бывшие ее хозяева уехали в длительную командировку за границу, уступив Правлению свою жилплощадь для устройства клуба.

Открыв заседание, автор посчитал себя обязанным произнести программную речь.

— Всякий пишущий,— начал он, оглядывая обращенные к нему лица,— должен понимать, берясь за перо, для чего он это делает. Существует несколько распространенных заблуждений на сей счет, которыми удобно прикрывать собственное бессилие. Например, формулировка «я пишу для себя». Это решительная чепуха! Все равно, что дышать для других. Вы меня понимаете?.. Нет, дышать следует для себя, писать же — для других, с непременной мыслью о том, что ваш текст смогут прочесть чужие глаза, даже если вы не помышляете показывать его кому-либо. Точно так же я отвергаю писание для так называемой «вечности», ибо это то же самое, что «для себя», но с бóльшими претензиями.

Браться за перо следует только для того, чтобы донести свои мысли и чувства до другого человека, сделать их понятными и близкими ему. Но с какой целью? Так ли уж важно, чтобы мои мысли и чувства стали понятны другому? Я отвечаю: важнее этого нет ничего на свете, иначе я обречен на одиночество. Мне непременно нужно знать, что меня услышат и поймут, а это побуждает меня тратить годы труда и кипы бумаги на совершенствование своего письма, поскольку неточно сказанное слово не объединяет, а разъединяет пишущего с читающим. Другой цели, кроме объединения людей, слияния их духовных миров в одно общее явление духа,— у литературы нет!

— А разве отражать жизнь — не главная цель? — спросил Ментихин.

— Позвольте, я считал, что литература призвана

вскрывать недостатки,— вкрадчиво уточнил Файнштейн.

— Воспитывать нужно! — отрубил Серенков.

Сочинитель с тоскою посмотрел на своих персонажей. Уж больно умны они стали! Сидели бы сейчас на улице Кооперации, стригли бы пуделей, растягивали меха баяна, решали кроссворды — и никто никогда не узнал бы об их существовании! Знали бы они, что для внедрения их фамилий, портретов, характеров, образа жизни в сознание читателей автору пришлось исписать несколько сотен страниц! Совершил же он это только затем, чтобы освободить душу от теснившейся там толпы кооператоров, от громады родного дома, нависшей над ним всею своею непоправимой тяжестью. И он сделал их общим достоянием, ввел в духовный обиход, а значит, объединил с самою жизнью, да так прочно, что сейчас вынужден выслушивать их замечания в свой адрес.

Автор вздохнул и продолжал далее.

— Литературные сочинения постоянно путают с инструментами, которые должны бить, вскрывать, поднимать, протягивать, указывать, сигнализировать, вдалбливать, пронзать и тому подобное. Или же считают их зеркалом и одновременно — осветительным прибором. Между тем, все перечисленные вами цели — суть частные следствия общей объединительной роли, которую призвана играть литература... Установите контакт с читателем, а потом можете его учить, воспитывать, показывать ему картины жизни и даже забавлять! Но сначала, умоляю вас, создайте общность между собою и другим. Превратитесь в него. Для этого вам сначала придется превратиться в себя. Это неимоверно трудно. Почти никому не удается взять этот барьер, обычно сразу начинают отображать, бичевать, воспитывать...

— Как же это... превратиться в себя? — вымолвил Храбров.

— Не знаю,— признался автор.— Думаю, что надо писать на пределе искренности, не утаивая ничего от себя.

— От себя? — удивилась Сашенька.

— Именно. Мы так устроены, что стараемся утаить от себя правду, чтобы обезопасить. Мы выгораживаем в своей душе огромные заповедники, куда запрещено заглядывать не то что постороннему, но самому себе! Вот туда нужно допустить читателя.

— Но как? Как?! — вскричал Храбров.— А если не получается? Чувств много, а на бумаге не выходит.

— Вот тут мы и подходим ко второй стороне вопроса,— сказал автор, осаживая семинариста жестом руки.— Допустим, мы решились на полную искренность, мы хотим вывернуть себя наизнанку, исчерпать до донышка. Как нам заставить читателя поверить? Как превратиться в него на бумаге? Я думаю, это можно сделать с помощью особого рода игры, правила которой мы сочиняем и заносим на бумагу в виде текста. Как ни странно, игра способна потрясти больше, чем сама жизнь. Это давно знают на театре...

— Не пойму что-то, куда вы клоните...— хмуро сказал Серенков.

Он сидел, подавшись вперед и глядя на автора исподлобья. Файнштейн, наоборот, откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу, как бы говоря окружающим, что он давно уже все понял, но нервное покачивание ноги выдавало его. Он тоже не знал, куда клонит автор, ибо сам автор не знал этого, ибо прелесть сочинительства в том и состоит, что мысль рождается не загодя, а выскакивает, как чертик из табакерки, с пылу, с жару.

— Я клоню к тому,— продолжал автор,— что литература есть игра, она сродни актерскому ремеслу, между тем как ее обычно поверяют не законами игры, выдуманными автором, а законами самой жизни. В этом и состоит мое литературное кредо. Литература — игра, не более, но и не менее, и относиться к ней следует как к игре — не менее, но и не более. Великая это игра или мелочная, трагическая или пародийная — она всегда остается игрой, ибо дает читателю возможность проиграть в душе тысячи ситуаций, поступков, характеров, лежа при этом на диване и перелистывая страницы.

— И Толстой... игра? — мрачно выдохнул Серенков, сверля автора глубоко посаженными глазами.

— И Толстой,— милостиво подтвердил автор.

— Не согласен,— загудел Серенков.

— Пушкин за эту игру жизнью заплатил. И Маяковский, между прочим...— недовольно произнес Ментихин.

— А вы не находите странным, что люди иногда платят жизнью за игру в карты? — парировал автор.— Игра может потребовать жизни. Она сто́ит жизни.

— Ну, вот, стало быть, вы тут и играйтесь,— Серенков поднялся с места, забрал со стола свою папку

с рассказами и пошел к дверям.— А у меня про жизнь написано.

С этими словами он покинул комнату.

— А посему...— автор уже понял, что его литературное кредо не получило единодушной поддержки, но решил гнуть свою линию до конца.— Я предлагаю присвоить нашему литературному объединению имя Лоренса Стерна — великого Игрока литературы!

Недоуменное молчание семинаристов было ответом руководителю. Лишь Светозар Петрович, как ни странно, обнаружил знакомство с этим именем.

— Уж больно далек от нас...— осторожно возразил он.

— Ну почему же...— («Знал бы он, что мистер Стерн живет с ним на одной лестничной площадке!» — подумал автор.) — А вы читали, извините?

— Приходилось прорабатывать,— кивнул Ментихин.— У меня подписка на Всемирную. Я каждый том прорабатывал.

— И что же дала ваша проработка? — раздраженно спросил автор.

— Игры там, конечно, много, а вот классового анализа... Кроме того, он ведь идеалист, извините... Почему Стерн? — пожал плечами старик.— Почему не Пушкин? Не Гоголь?

— Потому что они не давали подписки о неразглашении! А Стерн давал! — вскричал автор.

Как ни странно, этот аргумент подействовал. Светозар Петрович взглянул на автора испуганно и что-то забормотал о Волховстрое... Имя милорда было спасено, и уже на следующий день автор вывесил на двери комнаты в клубе, где происходило заседание, новую табличку: «ЛИТО имени Лоренса Стерна». Она была третьей на двери, после табличек «Кружок кройки и шитья» и «Историко-патриотическое общество „Седьмое поколение“».

А тогда, после первого заседания, оставившего на душе у автора чувство неудовлетворенности, его проводила домой Сашенька, захватившая с собою зерен и цветок традесканции, чтобы покормить щегла.

— А почему ваш роман — без любви? — вдруг спросила она.

— Разве? — автор наморщил лоб, припоминая.

— Там нет любви,— покачала она головой.

— Может быть, время такое...— начал вслух раз-

мышлять он.— Действительно, странно... Но до любви ли сейчас! Кому прикажете любить? Демилле? Ирине? Кооператорам? Кто в такой обстановке способен полюбить?!

— Вы,— спокойно заявила Сашенька.

— Я???

— А мы вчера приняли трех мальчиков и четырех девочек,— сказала Сашенька без всякой связи с предыдущим.

— Поздравляю,— буркнул автор.

— От одной опять мать отказалась...— Сашенька помрачнела.

— Нет любви! — автор никак не мог успокоиться.— У нас темнота в окнах и в лифтах мочатся, извините! Любви захотели!..

Автор был зол — скорее, на себя, чем на юную семинаристку. Он понимал, что роман без любви невозможен. Где Демилле? Где этот сукин сын?! Уж он заставил бы его полюбить!

— Вас надо познакомить с папенькой,— сказала Сашенька.— Он тоже за общественную полезность. Знаете, почему мы переехали в этот дом? Папенька на демонстрации увидел, что идет странная колонна. Жильцы дома... Оказалось, что обменяться легко. Но папенька не из-за жилплощади. У него идея...

— Какая? — заинтересовался автор.

— Он уверен, что нужен сейчас этому дому. Клуб — это он организовал.

— Так какая же идея?

— Воспитывать революционеров,— сказала Сашенька так просто, будто разговор шел о выращивании рассады для огурцов.

Глава 42.

ВАГОНОВОЖАТЫЙ

Какое мучительное занятие — вспоминать пальцами собственную юность! Я уже испытал его однажды, когда после двадцатилетнего перерыва уселся за фортепиано. Это случилось лет семь назад, после покупки пианино фабрики «Красный Октябрь». Я прикоснулся пальцами к клавишам и начал играть этюды Черни по мышечной памяти. Странное и горькое чувство! Будто играешь не ты, а кто-то другой внутри тебя, проснувшийся вдруг

и вспоминающий мимолетный сон. Каждый звук неожидан, каждый аккорд удивителен! Пальцы сами выстраиваются в нужную комбинацию и нажимают на клавиши с ужасом, готовые отпрянуть, услышав фальшь. Но аккорд взят правильно, он совпадает с оттиском, оставшимся в памяти, и ты играешь дальше онемевшими пальцами, пока не наткнешься вдруг на провал. Приходится начинать сначала и снова подкрадываться к выпавшему из памяти месту, пока на пути не обнаруживается новый провал, и тут пальцы отказываются вспоминать — пробудившийся навык умирает навеки.

Больше я не садился за фортепиано.

Точно такое же ощущение я испытал, приступая к достройке спичечного дома. Спички выпадали из огрубевших пальцев, не желали вставать на нужное место... Вскоре руки были в клею, первая опора для задуманной когда-то террасы поехала вбок... Я оторвал ее и начал сначала.

Навык возвращался постепенно, и все равно мне не нравилась моя работа: она была грубее и суше юношеских опытов. Она была фальшива.

Очень раздражал электрический свет, которым приходилось пользоваться с утра до вечера из-за постоянной темноты в окнах. Я не переставал клясть в душе архитекторов и строителей, установивших дом в столь неудобном месте. Судя по планировке квартир и лестничных клеток, дом принадлежал к тому же типовому проекту, что и наш кооперативный дом на улице Кооперации, следовательно, был выстроен лет десять-двенадцать назад. Вероятно, имели в виду, что старый дом, впритык к которому поставили этот, будет снесен, чтобы построенное здание получило доступ к свету. Но... признаков сноса соседнего дома пока не видно. Могло произойти все, что угодно, у нас это не редкость: урезали фонды на капремонт, перенесли в план следующих пятилеток или же попросту забыли.

Николая Ивановича и его дочь, с которыми я регулярно общался, этот вопрос почему-то не занимал.

— У нас в Петербурге, как ни крути, светло не будет,— сказал Николай Иванович.

Аля осуществляла надзор за строительством спичечного дома. Она уже уверилась в том, что романтический отрок, задумавший Дворец Коммунизма, и опустившийся тип, подобранный отцом на улице,— одно и то же лицо. Тем строже и ревностнее стала она отно-

ситься к моему занятию и даже помогала мне временами, обрезая серу со спичек на железный противень, вынутый из газовой плиты. Там уже вырос рассыпчатый коричневый холмик.

Обычно Аля была молчалива и деятельна. Она появлялась всегда неожиданно, наводила порядок в кухне, ставила чайник, придирчиво рассматривала то, что успел я сделать в ее отсутствие, и принималась за спички. Время от времени она поднимала голову и замирала, как бы прислушиваясь к чему-то. Потом она заставляла себя вернуться к работе, но порой, будто вспомнив о неотложном деле, быстро собиралась и исчезала. Когда она находилась рядом, я постоянно чувствовал некое напряжение, исходившее от нее, смутное беспокойство, нервность.

По утрам я пил чай, обед мне доставляли в судках Аля или кто-нибудь из братьев, ужинать я приходил в семью Николая Ивановича. Разумеется, я испытывал крайнюю неловкость. Мысль о том, что я взгромоздился на шею этой работящей семье, не давала мне покою. Я попытался поговорить с Николаем Ивановичем с глазу на глаз. Я сказал ему, что у меня сейчас нет денег и возможности заработать их, потому возможны только два варианта: либо я живу в долг, если Николай Иванович настаивает на моем пленении, и возвращаю ему прожитую мною сумму, как только смогу это сделать, либо я вынужден покинуть дом, нарушив данное мною слово.

— Оставьте интеллигентскую щепетильность,— сказал он.

— Это не щепетильность, Николай Иванович.

— А что же?

— Если хотите, попытка сохранить достоинство.

— Вы бы раньше о достоинстве думали,— упрекнул он.

— Но я привык зарабатывать себе на жизнь.

— О заработке подумаем. Но потом. Сначала оклемайтесь... Я прошел через черное пьянство после лагерей и знаю — ясное сознание возвращается не сразу.

Я уже немного знал о прошлом Николая Ивановича, но больше меня занимало настоящее. Чувствовалось, что поступками и речами его руководит какая-то высшая идея. Уже в первые дни я понял, что не я один хожу у него в подопечных. Правда, другие были значительно моложе. По вечерам в квартире Николая Ивано-

вича часто появлялись юноши того же возраста, что его сыновья. Это были члены исторического кружка, который вел Николай Иванович в подростковом клубе, находившемся, как я понял, в этом же доме. Мой спаситель имел незаконченное историческое образование.

Но не только история интересовала юношей. Обычно они приходили по одному, по два вечерами и уединялись с хозяином минут на десять. Я в это время смотрел телевизор в компании жены Николая Ивановича. Затем юноши исчезали, а Николай Иванович возвращался к нам, чем-то довольный.

Наконец, я не выдержал и спросил:

— Ваши юноши так увлечены историей?

Николай Иванович внимательно взглянул на меня, помолчал, затем поднялся с места и принес толстую тетрадь большого формата, на обложке которой красными печатными буквами было выведено всего лишь одно слово: «Несправедливости».

— Они увлечены будущим. Поглядите,— сказал он.

Я раскрыл тетрадь. Она была заполнена короткими записями, сделанными неустоявшимися, корявыми, юношескими почерками. Огромный реестр несправедливостей жизни, подмеченных молодыми глазами.

«Комитет комсомола нашей школы отрапортовал райкому о проведении дня ударного труда на стройке. Мы туда пошли, но нас прогнали, сказали, что работы сегодня нет. Крылов».

«Мой одноклассник Фомин хвалился, что мать даст взятку в университете, чтобы его приняли. Он знает — кому, но фамилии не говорит. Братушкин».

«Наш военрук сказал, что „Битлз“ и „Роллинг стоунз“ — это гадость и что они — агенты ЦРУ. А он их не слышал никогда! Тюлень, он же Самойлов Гена».

«Продавец в овощном на Большом проспекте вчера грузил в свои „Жигули“ японский видеомагнитофон. Я сам видел. Крылов».

«Нашего соседа побили в милиции. Он стоял со своим корешем, тот был выпивши. Подъехала машина и забрала их обоих. Он стал говорить, что он не пьяный, чтобы отпустили. Тогда они стали его бить в отделении. Тюлень».

«Отец сказал, что можно отвертеться, чтобы не послали в Афганистан. Нужно дать на лапу в военкомате. А кто не может дать на лапу — тому как?! Братушкин».

«К отцу на завод приезжало начальство из Москвы. Они за день покрасили все заборы, а в столовую навезли сосисок и копченой колбасы. Потом они их возили в сауну и там пили водку. Одного в „Стрелу" тащили на руках. Олег Карапетян».

— Зачем вы это делаете? — спросил я, закрывая тетрадь.

— Когда-нибудь мы предъявим этот счет,— сказал Николай Иванович.

— Кто — «мы»?

— Мы все. И вы тоже, если...— он не договорил.

Я понял, что он опять намекает на мое перевоспитание. Поздно, Николай Иванович! И потом — мне не надо духовных пастырей. Довольно я на них насмотрелся.

— А что касается собственно истории, то она интересует этих мальчиков постольку, поскольку служит руководством к действию. Вы Лаврова читали? — вдруг спросил он.

— Нет. Кто это?

— Петр Лаврович Лавров, социалист, философ...— Николай Иванович вновь удалился и вернулся с книгой в руках.

— В сорок девятом году, в университете, я занимался историей кружка «лавристов», куда входил мой дед. Ну, и дозанимался... Получил десять лет. Почитайте «Исторические письма». Весьма актуальное чтение! — он протянул мне книгу.— Почитайте о действии личностей. Или о цене прогресса...

— Цена прогресса? — меня это заинтересовало.

Беседуя с Николаем Ивановичем, я временами изумлялся тому, что этот человек не занимает университетской кафедры, а водит трамвай тридцать седьмого маршрута из Новой Деревни на Васильевский остров, объявляет остановки и ругается в депо со слесарями по поводу неисправностей вагона.

— В этой книге,— Николай Иванович указал на том в моих руках,— Петр Лаврович говорит, что человечество платит огромную цену в виде жизненных тягот и лишений за то, чтобы отдельные редкие его представители могли стать цивилизованными людьми, то есть овладеть наукой и культурой. За что же такая цена заплачена? Только ли за то, чтобы избранные могли наслаждаться духовными богатствами? Нет, дорогой мой, на этих людях лежит ответственность за прогресс

общества. И на вас, в частности, тоже лежит эта ответственность...

— Ах, вот вы к чему? Я думал, вы отвлеченно...

— Извините, отвлеченно не умею. Вы человек образованный, культурный, умный, если не ошибаюсь... Не так ли?

— Допустим,— кивнул я.

— Тогда прямой вопрос по Лаврову: как вы участвуете в историческом прогрессе нашего общества?

— Ого, куда хватили! — воскликнул я.— Разве я депутат Верховного Совета?

— Петр Лаврович ни слова не говорит о должностях или званиях человека, призванного осуществлять прогресс.

— Но давайте реально, Николай Иванович! Что от меня зависит?

— Позвольте,— он остановил меня жестом.— Вы всем довольны, что у нас творится?

— Вы же назвали меня умным человеком...

— Значит, не всем. Желаете ли вы общественного прогресса?

— Очевидно, желаю,— пожал плечами я.

— Следовательно, вы критически относитесь к действительности и желаете ее улучшения, но уверены, что сделать ничего не в силах?

— Да, примерно так.

— Значит, вы и вправду — умный человек. Всего лишь умный человек,— подчеркнул он.

— Что вы имеете в виду? — не понял я.

— Мне слова Лаврова вспомнились: «Хороший критик существующего — умный человек; но лишь тот, кто решается действовать на основании своей критики,— человек нравственный...»

— Знаете, я не слишком высокого мнения о своей нравственности,— сказал я, чувствуя себя уязвленным.— Так что Петр Лаврович, по-видимому, прав, царство ему небесное.

— Зато я высокого мнения о вашей нравственности,— спокойно заметил Николай Иванович.— В потенции, так сказать... Однако вы бездействуете.

— А что прикажете делать? — я не на шутку обозлился.— Писать в газеты? Морду бить? Своими руками душить хапуг, бездарей и всякую сволочь?

— Никого душить не нужно. Вам как талантливому

архитектору достаточно строить дома, соответствующие вашему таланту. Это и будет ваш вклад в прогресс.

— Нет, вы идеалист, Николай Иванович! — засмеялся я.

Он как-то поскучнел, ушел в себя. Несколько секунд сидел молча, потом глаза его блеснули, он обратился ко мне с неожиданной энергией.

— У вас талант! Стыдно! Вы цвет нации, ее надежда! Я не только о вас, я и о других — писателях, физиках, врачах, актерах! Под угрозой национальная культура, экономика в развале. Нация спивается, бездарные чиновники обнаглели... Я идеалист, видели! У нас в депо я — рабочий человек, даю слесарю рубль, чтобы он починил вагон. А это прямая его обязанность!.. И в такой момент вы можете себе позволить устраниться? Вы когда-нибудь думали, что ваш талант — это достояние нации?

— Нет,— сказал я.

— Неужели у вас сердце не болит за Россию? Скажите, когда у нас была революция? — вдруг спросил он.

— В семнадцатом году...— неуверенно сказал я.

— А вот и ошибаетесь! Революция в России, имеется в виду — социалистическая,— началась в середине прошлого века и продолжается по сей день! По сей день, запомните это! У нее были свои победы и поражения, был пик Октября, был провал культа. Сейчас ей снова грозит большая опасность. Может быть, самая большая за всю историю.

— Какая же?

— В основе социализма, как его понимал еще Лавров, лежит справедливость. Не уравниловка, подчеркиваю, а справедливость. Именно она сформулирована в принципе: «от каждого по способностям, каждому — по труду». Что же получилось на практике?

— Вот-вот. Что же получилось на практике? — переспросил я с иронией.

Николай Иванович строго посмотрел на меня. По-видимому, он считал, что шутки здесь неуместны.

— Знаю, вы скажете, что принцип этот нарушается и что виноваты в этом законы, власти, бюрократы, карьеристы и прочая шушера. А я вам скажу — виноваты мы сами. Труженики... Ведь для того, чтобы получать по труду, нужно сначала научиться отдавать по способностям. А мы этого как раз не умеем. Способностей

человека никто, кроме него самого, не знает. Значит, и потребовать с него не может. Человек должен сам научиться отдавать обществу по своим способностям, а потом уже требовать, чтобы общество воздавало ему по труду. Индивидуалистическая же психология требует как раз обратного: отдать минимум того, что требуют, а получить максимум того, что могут дать. Ленин еще подчеркивал, что перестройка сознания гораздо труднее и дольше длится, чем перестройка экономики... И не у всех оно способно перестроиться, прямо скажем. Но вот странный факт, как вы считаете? Лучшие представители русской интеллигенции прошлого века все поголовно становились деятелями революции или сочувствовали ей. Все поголовно! А что теперь?.. Талантливейшие представители интеллигенции нашего времени либо разочаровались в социалистическом идеале, либо устранились от борьбы. То бишь устранились от революции. Я о вас говорю, Евгений Викторович...

— А вы не подумали, чем это вызвано? — спросил я резко.

— Давайте вместе поразмыслим — чем это вызвано.

— Временем, Николай Иванович.

— Поясните, пожалуйста.

— Сто лет назад полагали, что социалистический переворот исключит из управления государством нечистых, корыстных людей. Думали, что свобода и демократичность избрания в народные органы власти избавит общество и от опасности тоталитарного правления, и от безалаберщины некомпетентного руководства. А потом мы подряд вляпались и в то, и в другое. Разве не так?

— Значит, власть виновата? Дайте-ка книгу...— Николай Иванович раскрыл том Лаврова.— Послушайте. «Если личность, сознающая условия прогресса, ждет, сложа руки, чтобы он осуществился сам собой, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса, самое гадкое препятствие на пути к нему. Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожности людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а вы сами, зрячие среди слепых, здоровые среди больных, что вы сделали, чтобы содействовать прогрессу?» Что скажете на это?

— То же, что и говорил. Что я могу сделать один?

— Почему вы считаете, что вы один? У вас самомне-

ние, Евгений Викторович... Я вам скажу, в каждом честном русском доме идут такие разговоры, как у нас. Быть может, без теоретической подкладки. Но по сути такие.

— А толку?! — с горечью воскликнул я.

— Ага... Вам не все равно. Хотите, чтобы был толк,— удовлетворенно констатировал он.

— Конечно, хочу.

— И я хочу. И тысячи, миллионы наших сограждан. Это только кажется, что большинство народа морально переродилось. Просто дерьмо наверху плавает, вы уж извините. Масса у нас здоровая, и веру в наши идеалы не потеряла. Но она устала ждать и разуверилась в собственных силах. Я по своему парку сужу: откровенных ловчил, карьеристов, рвачей — немного. Остальные просто опустили руки и работают спустя рукава. Вот это-то и преступно. Руки опускать нельзя. Нужно исполнять свой долг, делать свою работу высокопрофессионально...

— А вы знаете, что значит работать профессионально, когда рядом откровенно халтурят?! Это художник может сделать талантливое полотно, он один работает. А каково мне делать проработку эскизного проекта, выполненного не мною — и тяп-ляп! Рядом с вами тоже ведь такие есть?

— Согласен. Трудно. Мерзко. Жизнь на это кладешь и нервы. Иной раз все проклянешь. Но иначе нельзя. Понимаете? Нет другого пути,— сказал Николай Иванович с тяжким вздохом.

— Скажите честно, Николай Иванович, на вас ведь как на белую ворону смотрят в вашем парке? — спросил я.

— Хуже. Как на красную ворону,— рассмеялся он.

— Вот вам и результат. Я много раз убеждался, что хорошая работа не служит примером. Скорее, вызывает зависть и неприязнь. Чего, говорят, тебе больше всех надо?

— Не скажите. Люди видят, когда человек старается для корысти, а когда — по глубокому внутреннему принципу. Впрочем, совесть не у всех есть, вы правы... Нужно сделать так, чтобы мастерская работа была выгодна. Чтобы мастер получал больше халтурщика не на десятку, как я,— а вдвое, втрое! И, кстати, за счет халтурщика, а не от государства.

— «А судьи кто?» — спросил я.

— Не понял,— Николай Иванович сдвинул брови.

— Кто будет определять — мастер вы или халтурщик?

— Думал я и над этим...— кивнул он.— Кажется мне, что при социализме с его общественным производством и потреблением работу трудящегося должна оценивать тоже общественность. Знаете, как в старину — судили да рядили всем миром!

— Интересно...— с ехидцей протянул я.— Значит, о моей квалификации и моем старании должны судить жильцы дома, который я спроектировал? А как это реально вы представляете?

— Я не знаю, как. Знаю только, чтобы воспитать ответственность перед обществом, надо отвечать перед общественностью. Всем — от рабочего до генерального секретаря! — Николай Иванович поднялся с места, давая понять, что беседа закончена.

Я вернулся к себе почему-то расстроенный. Клеить игрушечный дом не хотелось, казалось пустой забавой. Я расстелил простыню и улегся на раскладушку с «Историческими письмами».

Где-то за стеною нестройно затянули «Не уезжай ты, мой голубчик...» визгливыми женскими голосами, к которым невпопад примешивались пьяные мужские. Звякали бутылки. Донеслась ругань.

Я читал «Исторические письма» Петра Лавровича, чувствуя, как во мне накапливается раздражение — на этот дом, на голоса за стенкой, на жесткую раскладушку, на Петра Лавровича, наконец, который занудно толковал о «критически мыслящих и энергически желающих» личностях. Где они, эти личности? Где прогресс?

Бессильное чувство, похожее на то, что я испытал когда-то весною перед разверстой ямой, на месте которой еще утром стоял мой дом, завладело мною под аккомпанемент пьяного хора. Вспоминались слова Николая Ивановича об интеллигентах, отдавших себя революции... А мы устранились, видите ли... Но позвольте, Николай Иванович, сто лет назад интеллигенты, дворяне, разночинцы видели вокруг себя действительно обездоленную и забитую народную массу. А что видим мы? За кого и за что можно бороться нам, если обездоленными остались мы сами — в духовном смысле?

За стеной грянули «По Дону гуляет...».

Я погасил лампу.

Кирпичная стена за окном, подсвеченная снизу дале-

ким светом, бугрилась тенями и щербинами, приближалась к стеклу, наваливалась на меня, грозя раздавить, а рядом на столике нежным хрупким сиянием светился спичечный Дворец Коммунизма.

Глава 43.

РЕФЕРЕНДУМ

За час до заседания Правления в расширенном составе Игорь Сергеевич Рыскаль зашел к Завадовским.

Повод был мелкий — напомнить Кларе Семеновне о заседании и попросить ее вести протокол. Причина же коренилась глубже. Рыскаль хотел своими глазами поглядеть, что происходит в квартире Завадовских по вечерам, ибо поток заявлений от соседей не иссякал. Соседи дружно утверждали, что Завадовский продолжает свои противозаконные опыты с телекинезом, результатом чего являются шумы, колебания стен и потолков, а также поломка мебели в квартирах соседей.

Подходя к квартире № 34, Рыскаль ощутил под ногами вибрацию, будто где-то рядом работал мощный трансформатор. Майор глянул под ноги и увидел, что резиновый коврик перед дверями Завадовских парит в воздухе сантиметрах в десяти от пола, подобно маленькому ковру-самолету. Майору это не понравилось. Он наступил на коврик ногой, и тот со шлепком упал на каменный пол. Игорь Сергеевич нажал кнопку звонка.

Открыла Клара. При виде Рыскаля лицо ее сделалось испуганным, она инстинктивно попыталась прикрыть дверь, но тут же взяла себя в руки и растянула рот в улыбке.

— Проходите, Игорь Сергеевич...

Майор зашел в прихожую. Дверь в спальню Завадовских была притворена, оттуда исходил явственный низкий гул. Пальто и плащи, висевшие на вешалке в прихожей, топорщились, будто были заряжены электричеством.

— Клара Семеновна, вы не забыли, что у нас заседание? — спросил майор, косясь на задранные полы плащей.

— Ну как можно, Игорь Сергеевич! Обязательно приду.

— И захватите бумагу и авторучку. Я попрошу вас вести протокол.

— Да-да, конечно! Конечно! — торопливо отвечала Клара.

— А Валентин Борисович дома? — спросил Рыскаль.

— Да... То есть нет. Он занят...— смешалась Клара.

— Простите, мне необходимо с ним поговорить,— решительно сказал майор и шагнул к двери, ведущей в спальню.

Клара дернулась, пытаясь загородить дорогу, но сразу же обмякла, отступила.

— Он там... Я к этому не причастна, Игорь Сергеевич, поймите меня...— жалобно прошептала она.

Майор распахнул дверь.

В центре комнаты, на ковре, поджав под себя по-турецки ноги и положив ладони на колени, сидели трое — Валентин Борисович Завадовский, баснописец Бурлыко и Инесса Ауриня. Они сидели лицом друг к другу, причем их фигуры обозначали вершины равностороннего треугольника. Мужчины были раздеты до пояса, на Инессе была легкая свободная накидка, волосы свободно падали на плечи. Все трое сидели с прикрытыми глазами, совершенно неподвижно.

Все мелкие и крупные предметы, что находились в комнате,— трельяж с пуфиком, шкаф-стенка с телевизором, два кресла, журнальный столик и огромная двуспальная кровать — висели под потолком, упираясь в него и слегка вибрируя. Майор поневоле отшатнулся. Слишком нелеп был вид этой комнаты с тремя неподвижными фигурами на пустом полу и колыхающимися над ними предметами спального гарнитура.

— Валентин Борисович! — решившись, позвал Рыскаль.

Кооператор и бровью не повел, зато Инесса вздрогнула и покосилась на Рыскаля, открыв глаза. И сразу же угол двуспальной кровати угрожающе накренился, и она стала медленно, но неотвратимо сползать вниз, словно катилась по наклонной горке.

— Держать! Держать! — прошипел Завадовский, не размыкая век.

Инесса зажмурилась и, собрав волю в кулак, восстановила положение кровати.

— Опускаем! Осторожнее! — скомандовал Завадовский.

Мебель медленно поехала вниз, однако присутствие майора явно мешало экспериментаторам, поэтому вещи

приземлялись вразнобой, с перекосами и грохотом. На журнальный столик не хватило внимания, и он буквально упал на пол, сломав тонкую ножку.

Клара в ужасе прикрыла лицо руками.

Завадовский наконец открыл глаза, расслабился.

— В чем дело, Игорь Сергеевич? — тихо и недовольно спросил он с видом крайней усталости.

— Нет, я ничего...— смутился майор.— Но народ жалуется.

— Ах, народ? — покачал головой Завадовский.— А вы его полномочный представитель?

Он не спеша поднялся на ноги и облачился в халат. Его ассистенты сменили позы и занялись дыхательными упражнениями.

— Знаете, Валентин Борисович,— Рыскаль старался говорить доброжелательно,— по мне вы тут хоть на голове ходите. Но людей беспокоить нельзя. У них тарелки в шкафах летают.

— Побочные эффекты,— пожал плечами Завадовский.

— Зачем это вам? Не понимаю я такого хобби.

— Это не хобби, Игорь Сергеевич. Если хотите, это общественный долг,— несколько напыщенно произнес Завадовский.

— Не понял...— насторожился майор.

— У вас свои методы, а у нас — свои. Мы тоже хотим помочь кооперативу. И поможем, будьте покойны! К Новому году наш дом будет на старом месте,— сказал кооператор.

— Да вы что, рехнулись! — вскричал Рыскаль.— Мы тут такую работу провели! И опять все рвать? Мы вам запретим!

— Не имеете права,— подала реплику Инесса.

— А вот это мы посмотрим — имеем право или нет,— обозлился Рыскаль.— Я вас предупредил, товарищи.

— О'кей,— сказал Бурлыко, явно издеваясь.

Рыскаль покинул квартиру с тяжелым сердцем. А ну как опять придется перелетать? Что скажут в Управлении?.. Впрочем, что ему теперь Управление? Душа болит, это гораздо важнее.

Вот уже неделя прошла, как Игорь Сергеевич Рыскаль подал рапорт, в котором просил начальство освободить его от обязанностей коменданта кооперативного дома на Безымянной улице и уволить из органов

милиции в связи с достижением им пенсионного возраста. Рапорт был подписан, хотя и без удовольствия. В разговоре с начальством Рыскаль выразил убеждение, что такая мера, как назначение Управлением особого коменданта на данный объект, более не является необходимой. В кооперативе существует крепкое Правление, организован семейно-подростковый клуб, начала действовать добровольная народная дружина, работает литературное объединение. Доводы веские, что и говорить, поэтому начальство решило: быть по сему. Игорю Сергеевичу задали лишь один вопрос личного свойства:

— Вы сами собираетесь переезжать из дома, Игорь Сергеевич?

— Нет,— ответил Рыскаль.

В этом его ответе и крылась разгадка внезапного и, как многим показалось в Управлении, поспешного решения Игоря Сергеевича. Связывали рапорт с обидой, усталостью, бессилием, неудобствами жилья — только не с тем, что руководило Рыскалем на самом деле. А руководило им искреннее и хорошо обдуманное желание дать кооперативу гражданское правление, избавить от опеки со стороны органов милиции. После длительных раздумий Игорь Сергеевич пришел к выводу, что этот шаг на пути преобразования вверенного ему объекта в дом коммунистического быта является совершенно необходимым.

Рыскаль понял, что кооперативу надо предоставить самоуправление на демократической основе, тогда, может статься, исчезнут те зловещие явления злоупотреблений, пассивности и прямого хулиганства, что обнаружились в нем за последние полтора месяца. И он решил пожертвовать своей должностью и окладом, постановив, однако, что останется членом кооператива и будет бороться за коммунистический быт.

Прошедшие несколько месяцев основательно изменили взгляды майора на руководимых им граждан и вообще на способы руководства, когда имеешь дело с коллективом. Если раньше сограждане, шествующие куда-нибудь плотной толпою — будь то футбольное состязание или похороны популярного артиста,— воспринимались как безликая масса, сплошной поток, к которому можно было применять законы физики для жидкостей и газов, то теперь каждый член кооператива, шагающий под его руководством к здоровому быту,

имел свое лицо и характер, требовал индивидуального внимания.

Майор обнаружил, что излюбленные им когда-то заграждения, барьеры, турникеты и указательные знаки, которые исправно работали применительно к толпе, в кооперативе потеряли свою действенность, порождая лишь пассивность и безволие. На первых порах еще куда ни шло: четкие приказы майора, военная дисциплина и твердость решений помогли преодолеть ужасные последствия перелета, но лишь только кооператоры получили мало-мальски сносные условия для житья, как тут же расползлись по своим квартирам, стали уклоняться от постановлений, игнорировать приказы, а сам майор Рыскаль превратился в постоянную мишень для анекдотов и шуток не совсем приятного свойства.

Майор не мог забыть анонимный подарок, обнаруженный им однажды на рабочем столе в штабе. Это был кубик Рубика, все элементы которого имели одинаковые красные нашлепки — куда ни вращай, никаких перемен! Намек был более чем прозрачен. Дарственная надпись на одной из граней гласила с издевательской почтительностью: «Игорю Сергеевичу с любовью от учащихся кооператива „Воздухоплаватель“ для решения интеллектуальных задач».

Майор кубик не выбросил, с тяжестью на душе спрятал в сейф.

Очень докучали меры по предупреждению разглашения: доставка почты с улицы Кооперации, куда по-прежнему приходила корреспонденция кооператива, разговоры с кооператорами по поводу приехавших родственников и знакомых, постоянные устные напоминания о необходимости хранить тайну, взятие подписок. Меры эти, представлявшиеся разумными в первые дни после перелета, ныне утратили свою актуальность, но инструкция продолжала действовать, а Рыскаль, скрепя сердце, продолжал ее выполнять. Давно уже затихли разговоры в городе о странном происшествии, горожане занялись другими слухами и делами, но майор по-прежнему вынужден был проявлять бдительность, впрочем, не приводящую к результатам. Далеко не все кооператоры обращали внимание на предостережения майора; многие давно уже под большим секретом или без оного разболтали о случившемся родственникам и приятелям, убедившись, что утечка информации не привела к разрушению основ. Неудивительно, что в этих условиях

постоянная бдительность Рыскаля вызывала неудовольствие и насмешки. Баснописец Бурлыко, имевший зуб на майора со времен знаменитого банкета, пустил по кооперативу каламбур, назвав тщательно оберегаемую тайну «секретом Милишинеля». Рыскаль каламбура не понял, пока не растолковал Файнштейн: ассоциация с «секретом Полишинеля», Игорь Сергеевич, и намек на ваши милицейские погоны. Впрочем, каламбур большого успеха не имел, ввиду необразованности кооператоров.

Более всего Игоря Сергеевича поражала безынициативность и какая-то тупая школярская покорность большинства кооператоров. Если можно уклониться — с удовольствием, ежели нельзя — что поделаешь, придется подчиниться, но без малейшего проблеска мысли, без любви и творческой жилки. Люди выходили на субботники, являлись на собрания, отбывали положенное — минута в минуту — и вяло расползались по домам. Словом, вели себя в точности так же, как толпа во время массовых скоплений, управляемая барьерами и живыми цепями. Однако то, что когда-то нравилось Рыскалю, здесь стало удручать. Покорность толпы радовала, покорность же коллектива приводила в уныние.

Обдумывая причины этого явления, Игорь Сергеевич пришел к выводу, что его подопечные привыкли ждать готовенького, надеясь на чужого дядю (в данном случае, на него), лишены ответственности и проч.— то есть стал думать о кооператорах, как о детях, слишком опекаемых заботливыми родителями и потому растущих оболтусами. Игорь Сергеевич, и вправду, относился к кооператорам по-отечески, любил их, заботился, хотя и обижался по временам, ощущая недостаточное понимание его забот. Кооператив стал кровным делом Рыскаля, потому он и смог принять трудное решение.

Посоветовался он, как всегда, только с Клавой. Жена выслушала его с покорностью — не с той безразличной, что огорчала Рыскаля в кооператорах, а с покорностью любви и преданности. Раз тебе надо — значит, надо. Какие могут быть разговоры.

— Но останемся жить здесь, Клава,— сказал Рыскаль.

— Я понимаю, Игореша. Хорошо бы только поменяться повыше. Есть же пустые наверху,— робко попросила она.— А здесь Правление останется.

Рыскаль помолчал. Клава поняла, что он не хочет бросать даже малейшей тени на свое решение.

— Вообще, можно и здесь. В штабе спальню устроим, а эту комнату под гостиную,— рассудила Клава.

Игорь Сергеевич по-прежнему хранил насупленное молчание.

— Хочешь штаб оставить? — вздохнув, догадалась она.

— Хочу,— кивнул майор.

— Зачем он тебе? Без должности? Пускай Светозар Петрович суетится. Он председатель...

— Надо так, Клава. Поглядим, как оно будет.

Рыскаль не хотел признаваться даже жене, что, отказываясь от официальной должности милицейского начальника кооператива, он лелеет в мыслях остаться его главой. Несмотря на разброд среди кооператоров, многочисленные отъезды, пьянство в притонах, он никак не мог отказаться от мечты об устройстве порядка и воцарении счастья в кооперативе. Он желал быть избранным демократично, чтобы его решения перестали восприниматься массой как милицейские меры, чтобы люди, наконец, поняли, что движет им не служебное рвение, а искренняя вера в них же самих.

К чести Игоря Сергеевича, следует сказать, что он не пытался разжалобить членов Правления и никак не намекал им на свое сокровенное желание, а вынес вопрос на заседание расширенного состава, уже имея в кармане пенсионные документы.

В своей всегдашней манере, делово и буднично, ровным глуховатым голосом Рыскаль объявил, что отныне он перестает быть должностным лицом и становится рядовым кооператором, для чего необходимо выполнить соответствующие формальности.

Сообщение майора было как гром среди ясного неба. Все вдруг почувствовали, что рухнула опора — нечто похожее на отрыв дома от фундамента,— и принялись бурно выражать чувства.

— Как вы могли не посоветоваться с нами, Игорь Сергеевич?! — возмущенно воскликнула Светозара Петровна.

— Зачем же так...— растерянно пробормотал Светик.

— Дисциплина упадет, я вас предупреждаю,— заявил Файнштейн.

— А канализация? Кто нам канализацию доделает?! — напирал Серенков.

— Товарищи, решение принято. От должности я ос-

вобожден. Давайте думать о будущем,— сказал Рыскаль.

Все на минуту притихли, прикидывая варианты.

— Товарищи, а как же быть со служебной площадью? Я имею в виду квартиру Правления,— вкрадчиво вступила Клара Семеновна.

Головы повернулись к ней. Вопрос показался актуальным.

— Мы вас не гоним, Игорь Сергеевич,— зарделась Завадовская.— Но поймите сами...

— Помещение штаба останется за Правлением,— стараясь не выдать волнения, произнес Рыскаль.

— В вашей квартире?! Но... вы же не член Правления! — мягко, с сочувствием нанес укол Файнштейн.

В штабе наступила неловкая тишина. Члены Правления избегали смотреть на майора. Игорю Сергеевичу стало горько. Он сидел под портретом Дзержинского, поглаживая свое «воронье крыло», и мысли о людской неблагодарности невольно закрадывались ему в душу. Томительную паузу прервал Ментихин.

— Я думаю, мы можем себе позволить... э-э... расширить состав Правления. Кооптируем в него еще двух человек, скажем, Игоря Сергеевича и Спиридонова. Ему давно пора быть с ними как воспитателю молодежи.

— Правильно! — воскликнула Светозара Петровна.

— Вы согласны, Игорь Сергеевич? — обратился Ментихин к майору.

Игорь Сергеевич молча кивнул. Комок обиды застрял в груди.

— Вот и прекрасно, товарищи! — просияла Светозара Петровна.— Штаб остается за нами, введем график дежурств, чтобы не обременять товарища Рыскаля...

— Ну, вы даете...— изумленно и тихо протянула Вера Малинина, дотоле молча сидевшая в углу.— Выходит, здрасьте — до свиданья, товарищ майор? Не полюдски!

— Что вы предлагаете? — тут же возник Файнштейн.

— Ничего не предлагаю. Для нас-то что изменилось? Должность упразднили? — начала горячиться Вера.— Так они ее у себя в милиции упразднили. А мы оставим! Кто нас из дерьма вытащил? Забыли?

— Но у нас есть председатель Правления,— Зава-

довская указала на Ментихина.— Кем же будет Игорь Сергеевич?

— Кем был, тем и будет! — отрезала Вера.— Хозяином!

— Ну, это не формулировка...— протянул Файнштейн.

— Товарищи, я ставлю вопрос на голосование,— поспешно произнес Светозар Петрович.— Кто за то, чтобы кооптировать в состав Правления товарищей Рыскаля и Спиридонова?

Все, кроме Веры и майора, подняли руки.

— Кто против?

— Я против! — Вера встала.— Я на общее собрание вопрос вынесу! Рыскаль должен быть главным! Называйте его должность как хотите. Пускай председателем будет. Вот и все.

— Несерьезно, Верочка,— обернулась к ней Ментихина.— Общее собрание у нас по плану только после Нового года...

— Тогда проведем опрос жильцов,— не сдавалась Вера.

— Вы хотите сказать — референдум? — тонко поправил Файнштейн.

— Не надо, товарищи...— поморщился Рыскаль.

— А чего? Давайте опрос! — оживился Серенков.

— Голосовать надо,— твердо сказала Вера.

— Ну что ж...— Ментихин всем своим видом показал, что бессилен бороться с формализмом.— Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы провести среди членов кооператива опрос о... о чем бишь? Как сформулировать?

— О переизбрании председателя Правления. И выставить две кандидатуры — вас и Рыскаля,— спокойно сформулировала Вера.

— Что ж... Пусть так...— упавшим голосом произнес Ментихин.

— Голосуют только члены Правления,— предупредила Вера, заметив блеск в глазах Клары Семеновны.

Ментихин лишь воздел глаза к потолку. Вера и Серенков подняли руки.

— Кто против?

Поднялось тоже две руки — Ментихиной и Файнштейна. Игорь Сергеевич и Светозар Петрович, естественно, от голосования воздержались.

— Как видите, голоса разделились. Что будем делать? — спросил председатель.

— А Спиридонов? Мы же его кооптировали? — Вера гнула свою линию с неожиданным упорством.

— Где же мы возьмем Спиридонова? — развел руками Файнштейн.

— А вы сходите за ним. Он наверняка в клубе.

Файнштейн надменно дернул бородой, но все же вышел. В штабе опять наступила мертвая тишина. Члены Правления сидели красные, разгоряченные неожиданной битвой за власть.

Файнштейн вернулся через пять минут. За ним в штаб вдвинулась высокая статная фигура Николая Ивановича.

— Вы в курсе того...— начал Ментихин, но Спиридонов прервал его движением руки.

— Знаю. Я за опрос.

— В таком случае я попрошу руководителей групп взаимопомощи подготовить бюллетени и урны для голосования,— сухо закончил заседание Светозар Петрович.

Голосование провели тем же вечером. Руководители групп взаимопомощи с импровизированными урнами, которыми служили баночки из-под растворимого кофе, обошли квартиры своих подъездов. В каждой ответственному квартиросъемщику предлагалось написать на бумажке одну из двух фамилий и опустить в урну. Заняло это около двух часов.

К полуночи в штабе вновь собралось Правление. Баночки были поставлены на стол Игоря Сергеевича. Рыскаль старался скрыть волнение. Когда же он посмотрел на старика Ментихина, то увидел, как резко обозначились склеротические жилки у того на щеках, как мелко дрожат пальцы. «Что же это? Стоит ли того?» — с тоской подумал майор, но отступать было поздно. Файнштейн открыл первую баночку и вынул бумажку.

— Ментихин,— прочитал он.

Завадовская, выполнявшая обязанности секретаря, поставила палочку на листе с фамилией председателя.

— Рыскаль... Рыскаль... Ментихин...— читал Файнштейн бесстрастным голосом.

Клара Семеновна исправно ставила палочки.

— «Нам, татарам, один...» — прочел Файнштейн, поперхнувшись.

— Что? — вскинулась Завадовская.

— Бюллетень недействителен,— поправился Файнштейн.

Подсчет голосов показал: Рыскаль получил голоса ста семидесяти пайщиков, Ментихин — восьмидесяти трех; двадцать семь бюллетеней оказались недействительными, в семи квартирах голосование не проводилось, ввиду отсутствия жильцов.

Файнштейн подчеркнуто официально зачитал итоги и повернулся к Рыскалю.

— Поздравляю вас, Игорь Сергеевич...

Майор отвернулся к углу, где стоял несгораемый шкаф. Члены Правления услышали странные звуки, похожие на кашель.

— Народ — он знает...— удовлетворенно проговорила Вера.

Минута слабости длилась недолго. Игорь Сергеевич обернулся к столу, где высоким ворохом навалены были мятые бюллетени, и, оперевшись костяшками пальцев на край, сказал:

— Благодарю за доверие. Заседание Правления назначаю на завтра, в девятнадцать ноль-ноль.

Таким образом в нашем кооперативе произошла смена власти с военной на гражданскую при том, что власть не изменилась.

Не успели члены Правления осознать происшедшее, как на пороге штаба показалась взлохмаченная старуха с блуждающими глазами. Это была соседка Ментихиных — Сарра Моисеевна.

— Товарищи, у моего соседа притон...— скорбно сообщила она.— Ви не поверите, но каждую ночь после двенадцати там собирается компания.

— Что за квартира? — спросил Рыскаль.

— Ви не поверите, но это квартира нашего уважаемого писателя,— сказала старуха.

Рыскаль нахмурился.

— Там ведь этот сейчас... родственник из Житомира. Пошли! — кивнул он мужчинам — Серенкову и Файнштейну.

В распахнутом дождевике он поспешил к четвертому подъезду. За ним браво шагали смертельные враги, а сзади ковыляла старушка-доносительница.

Рыскаль оставил сопровождающих у лифта и, подойдя к двери, прислушался. В квартире было тихо. Игорь Сергеевич несмело позвонил.

Ему открыл Лаврентий Родионович. Был он в белоснежном парике с буклями, парчовом камзоле, панталонах с застежками ниже колен и в изящных золоченых туфлях.

Майор окаменел.

— Лаврентий Родионович... Вы?

— Я,— кивнул тот, нимало не смущаясь.

— Простите, что я так поздно...

— Да, я ждал другого гостя,— подтвердил милорд.

— У вас прием? — майор насторожился.

— Ну, если хотите, можно назвать это так... Пожалуйста,— милорд жестом пригласил Игоря Сергеевича в комнату.

Майор вошел и остановился в дверях. Перед ним в комнате за круглым дубовым столом с бронзовым канделябром о семи свечах сидела компания из четырех человек. Блистали гранями тяжелые хрустальные бокалы с шампанским; бутылка темного стекла отбрасывала длинную тень по столу, рядом лежала пузатенькая разбухшая пробка — настоящая, из пробкового дерева.

При виде майора сидящие за столом полуобернулись к нему, едва заметно изменив позы. Тени их на стенах и стеллажах замерли в четком графическом рисунке, будто наведенные углем. Более всего смутила майора нездешняя изысканность поз, на одежду он поначалу не обратил внимания. Спокойствие, достоинство, благородство читались в их осанках, в их точеных профилях на обоях. Другими словами, вид их никак не напоминал ни одно из застолий, с которым пришлось майору повстречаться на своем веку.

— Господа, разрешите представить. Игорь Сергеевич Рыскаль, комендант дома, в стенах которого мы имеем честь пребывать,— с легким полупоклоном в сторону Рыскаля произнес Лаврентий Родионович.

Рыскаль подобрался; ему вдруг неудержимо захотелось стать во фрунт, говоря по-старинному.

Он несмело обвел взглядом общество, на что собравшиеся отвечали ему сдержанными кивками, и отметил, наконец, что гости Лаврентия Родионовича одеты под стать хозяину. Один был в таких же буклях и зеленом камзоле, другой — в сюртуке со стоячим воротником и небрежно завязанным черным бантом, третий — в тройке из серой мягкой шерсти и при галстуке с рубиновой булавкой, четвертый — во фраке. Лицо этого четвертого показалось майору мучительно знакомым, он

готов был поклясться, что где-то видел это некрасивое смуглое лицо, обрамленное курчавыми черными бакенбардами, тонкий нос с чуткими крыльями ноздрей, чуть припухлые губы и неожиданно голубые глаза.

— Игорь Сергеевич, чему, так сказать, обязаны? — мягко спросил хозяин.

— Нет... все в порядке... простите,— пробормотал майор, пятясь назад в прихожую.

И вдруг господин во фраке прыснул, в глазах его блеснули чертики, и он заразительно захохотал, запрокинув голову. Гости поддержали его веселым смехом, да и сам майор, растерянно улыбнувшись, неловко, отрывисто засмеялся.

— Извините. Ошибочка,— поклонился он, направляясь к дверям.

Лаврентий Родионович, не переставая посмеиваться, вышел за ним в прихожую.

— И все же, что случилось? — доверительно наклонился он к майору.

— С алкоголиками... боремся,— майор не мог справиться со смехом.— На вас... заявление...

— Прелестный анекдот! — вскричал милорд.— Мои друзья посмеются от души. Но мы не алкоголики, уверяю вас, хотя и отдаем дань Бахусу. Не волнуйтесь, мои друзья здесь только до полуночи по Гринвичу.

— Гринвичу? — майор посерьезнел.

— Заходите, Игорь Сергеевич, всегда рад! — напутствовал его милорд.

Майор, несколько ошеломленный случившимся, вернулся к своим попутчикам.

— Ви все узнали? Таки они пьют? — вынырнула из-за спины Файнштейна старуха.

— Им можно,— хмуро ответил майор.— По Гринвичу,— загадочно добавил он и пошел к лифту, оставив старуху и членов Правления в полнейшем недоумении.

Поздно ночью, затворившись один в штабе, Рыскаль вынул из письменного стола ученическую тетрадку, в которую намеревался занести отчет о сегодняшнем референдуме и несколько мыслей на дальнейшее. Он положил тетрадку перед собой, взглянул на нее и... обмер. С обложки глядело на него лицо господина с бакенбардами, который так заразительно смеялся полчаса назад в квартире Лаврентия Родионовича.

Глава 44.
ПОКУШЕНИЕ

Часы перед приходом Али всегда тянулись томительно. Я часто подходил к окну и упирался взглядом в кирпичную кладку, будто хотел разглядеть за нею спешащую с дежурства Алю в вельветовых брючках и светлой, будто надутой воздухом курточке. Из чайника, поставленного на газовую плиту, вырывалась струя пара, но я не замечал этого, прислушиваясь к шагам на лестничной площадке и ожидая звонка в дверь.

Наконец, она приходила — с влажными волосами, когда шел дождь,— и мне всякий раз хотелось поцеловать ее в мокрую холодную щеку. Я начинал хлопотать, готовил чаепитие, расспрашивал ее — кто сегодня родился, сколько мальчиков и девочек, и печалился вместе с нею, когда слышал, что какая-то молодая мать опять отказалась от ребенка. В эти дни Аля была сумрачна и резка.

Потихоньку она оттаивала и начинала рассматривать мою работу. Потом мы освобождали стол от чашек, застилали газетами и начинали трудиться. По ходу дела я часто рассказывал Але о своем первоначальном замысле, фантазировал, показывая ей башенки и переходы дворца, вспоминал — кем я собирался заселить его и какой быт должен был установиться в этом восхитительном доме.

Всякий раз при этом я вспоминал о своем, улетевшем, поиски которого решил твердо возобновить, лишь только утихнут страсти вокруг моей фамилии и милиция перестанет мною интересоваться. Остро скучал по Егорке. Будущее представлялось достаточно туманным; временами я мечтал о том, чтобы уехать в другой город и начать там новую жизнь под новым именем. Но как только я начинал размышлять о том, каким же образом мне обзавестись паспортом и работой, как впадал в отчаяние. Я готов был выйти из подполья и сдаться властям, но удерживал страх.

Николай Иванович тоже был озабочен моей персоной.

— А почему вы не сказали, что вас разыскивает милиция? — однажды спросил он.

Я вздрогнул от неожиданности, метнув испуганный взгляд на моего благодетеля. А он продолжал:

— Вы знаете, почему вас разыскивают?

Пришлось рассказать о летней истории с Аркадием, его самоубийстве и сомнительных связях.

— Клянусь, я ни в чем не виноват,— я прижал руки к груди.

— Вас разыскивает через милицию ваша жена Ирина Михайловна,— отчеканил он.

Это был новый удар.

— Откуда... вы знаете? — побледнев, пролепетал я.

— Это неважно.

— А где... она?

Николай Иванович помолчал, испытующе глядя на меня, но ничего не ответил. Я продолжал настаивать. Наконец, он нехотя спросил:

— А зачем вам жена, Евгений Викторович?

— Как... зачем? Я люблю ее, сына... У меня семья!

— Неправда это,— поморщился мой воспитатель.— Извините, что я вынужден лезть не в свои дела. Не любите вы ее, и семья вам не нужна.

— Я лучше знаю — кого я люблю, а кого нет! — воскликнул я запальчиво.

Короче говоря, мы с вагоновожатым поссорились. Я ушел к себе и долго ходил из конца в конец комнаты, мысленно доругиваясь с Николаем Ивановичем. Вот ведь оказывается что! Я не люблю Ирину! Мне не нужен Егорка! Ненавижу, когда лезут в душу с эталонами своих чувств. Любовей на свете столько же, сколько людей. Это чувство неповторимо. Лишь закоренелые догматики могут судить о чувствах другого человека — истинны они или нет. И всегда при этом ошибаться! Ошибаться!

Вскоре пришла Аля. Почему-то у нее был веселый вид. Сделав книксен, она провозгласила:

— Папенька имеет честь пригласить вас на экскурсию в воскресенье.

— Какую экскурсию? — недовольно вымолвил я.

— Он проводит экскурсию со своими подопечными по историческим местам революционного Петербурга.

— Опять будет воспитывать...— капризно проворчал я.

— Нет-нет, это очень интересно, Евгений Викторович!

— Ну, если ты так считаешь...— сдался я.

С некоторых пор у нас с Алей установились отношения, когда я звал ее на «ты», она же меня — на «вы» и по имени-отчеству. Мне казалось это естественным,

учитывая разницу в возрасте, кроме того, создавало оттенок отцовского чувства, при котором амуры невозможны.

В воскресенье Аля зашла за мною в семь утра, когда я допивал чай, кляня столь ранний час начала экскурсии, о чем я был предупрежден накануне. Внешний вид Али меня удивил: на ней были старомодные ботики на каблуке, длинная суконная юбка и черный бархатный жакет, слишком короткий, чтобы можно было принять его за полупальто. На голове — маленькая черная шляпка с вуалью. Короче говоря, Аля была одета в стиле «ретро», как теперь принято выражаться. На сей раз ее книксен в прихожей выглядел вполне в стиле.

— Вас уже дожидаются, Евгений Викторович.

Я накинул куртку, сунул ноги в кроссовки, надвинул на лоб вязаную шапочку и поспешил за Алей.

Выйдя из подъезда, я был ослеплен электрическим светом, горевшим в тесном проулке между домами. Проулок напомнил мне узкие улочки старого Таллина шириною метра три. Щурясь от света, я последовал за Алей по чисто выметенному асфальту и вскоре оказался на углу проулка. Там было темно. Под облетевшим тополем стояла группа людей. Я заметил, что идет снег — мокрый и редкий. Под ногами хлюпало.

Мы приблизились к группе. Я поздоровался, но Николай Иванович, кивнув, приложил к губам палец. Я оглядел его подопечных. Среди них были оба его сына. Одежда юношей удивила меня не меньше, чем Алина. Все были в широкополых шляпах, с длинными шарфами, обмотанными поверх воротников вокруг шеи, в удлиненных плащах и пальто. Один из подростков был в очках с синими стеклами.

Подростки стояли молча, засунув руки в карманы. Аля о чем-то пошепталась с отцом. Николай Иванович — он тоже был в пальто и в шапке — достал из внутреннего кармана листки и роздал их подросткам.

— Евгений Викторович, это ваш провожатый,— он указал на парня в синих очках.

Вслед за тем вся группа мгновенно рассыпалась: сыновья Николая Ивановича провалились в освещенный проулок, двое других, резко повернувшись, пошли налево; Николай Иванович с Алей пересекли улицу и скрылись в подворотне напротив; еще трое последовали за ними, но в подворотню не вошли, а исчезли в парадном по соседству; один побежал вдоль торца

нашего дома и юркнул за угол, а мой провожатый, не говоря ни слова, зашагал по улице направо. Я поторопился за ним.

Мы молча прошли по темным улицам до Большого проспекта Петроградской стороны. Снег стал густым, на асфальте образовалась снежная студенистая каша, в которой выпечатывались следы моего провожатого. Он свернул к Тучкову мосту, но через несколько шагов скрылся в подъезде дома. Я повернул следом.

Мы оказались на освещенной лестничной площадке между вторым и третьим этажами, отгороженные от квартир сеткой встроенного в старый дом лифта. Здесь молодой человек остановился и взглянул на меня сквозь синие стекла в тонкой металлической оправе.

— Меня зовут Петр. Фамилия — Братушкин,— таинственно произнес он.

— Евгений Викторович,— шепотом представился я.

Внизу на лестнице пронзительно закричала кошка. Мы оба вздрогнули. Мой провожатый снял очки, и я наконец разглядел его лицо. На вид Петру было лет пятнадцать; пушок едва пробивался над пухлой губой; глаза с длинными белесыми ресницами смотрели на меня серьезно; из-под шляпы выбивались буйные русые космы.

Петр развернул листок, полученный от Николая Ивановича. Он был покрыт цифрами. Подросток достал карандаш и, сосредоточенно шевеля губами, принялся рисовать над цифрами буквы.

— Что это? — шепнул я, глазами указывая на листок.

— Шифр «гранит»,— шепнул он.— Применялся народовольцами при секретной переписке.

Постепенно, буква за буквой, на листке возникал следующий текст: «В девять утра надлежит собраться на углу Литейного и Фурштадтской, вход со двора. Условный знак в окне второго этажа слева: два кирпича, составленные в виде буквы „Т". В первой подворотне слева на Бассейной, считая от Литейного, надлежит оставить условный знак — обведенную кружком цифру „7". Помнить о конспирации. Дворник».

Петр чиркнул спичкой и поджег листок. Мы с ним выглядели столь подозрительно на этой незнакомой площадке, что мне стало не по себе. Листок догорел на каменном полу. Петр тщательно растер пепел подошвой.

Наверху хлопнула дверь. Петр быстро нацепил очки

и побежал вниз по лестнице. Я потрусил за ним, стараясь двигаться бесшумно.

Мы выскользнули на проспект и молча пошли рядом. Утренний мрак стал рассеиваться. Люди шли по проспекту, меся ботинками грязную снежную кашу. Внезапно взгляд мой упал на водосточную трубу, облепленную прямоугольничками объявлений. Проходя мимо, я автоматически, не задумываясь, скользнул взглядом по ним: «2 на 3... по договоренности... две студентки снимут...» Как вдруг меня обожгло. Я увидел мокрое, с размытыми буквами объявление, на котором детской рукою было начертано: «Папа, не бойся. Приходи. Не бойся. Егор». Я сразу понял, что это писал мой сын, почувствовал это нутром. Он зовет меня! Он ищет!.. Я остановился и осторожно отклеил объявление от водосточной трубы. Оно было приклеено пластилином. Я расправил его и сунул во внутренний карман куртки.

Оглядевшись, я увидел, что Петра и след простыл. Егоркино объявление на груди жгло меня сквозь рубашку. Куда идти и что делать?

Снег повалил сильнее, струйки воды стекали у меня по лицу. Я надвинул на глаза капюшон куртки. Кроссовка на левой ноге промокла. Возвратиться домой? Но где дом? Я не был уверен, что найду его: мой провожатый успел меня достаточно запутать. Оставалось действовать по шифрованной инструкции. Слава богу, я помнил, что Бассейная — это улица Некрасова, а Фурштадтская ныне носит имя Петра Лаврова. Опять Петр Лаврович!.. Я попытался собрать все свое чувство юмора, чтобы не прийти в бешенство. В моем возрасте участвовать в нелепой игре? Только этого не хватало!

Тем не менее, я дошел до Большой Пушкарской и сел в первый номер троллейбуса, который благополучно доставил меня на Невский. Оттуда я прошел по Литейному до угла улицы Некрасова — у меня уже промокли обе ноги — и свернул вправо. Вот она, первая подворотня! Я зашел в нее, скользнул взглядом по грязным стенам. Чем подать условный знак?.. Оглядевшись, я увидел кусок штукатурки и выцарапал им на стене семерку, обведя ее кругом. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким идиотом! Могут подумать бог знает что. К счастью, никого в подворотне не случилось. Я вышел на улицу и лицом к лицу столкнулся с Петром.

— За нами «хвост»! — прошептал он и, резко повернувшись, бросился бежать по направлению к Литей-

ному. Я помчался за ним, хлюпая по снежной каше и поминутно скользя. Петр свернул направо, добежал до остановки трамвая, где как раз с шипением открывал двери тридцать второй номер, и прыгнул в вагон. Я едва поспел за ним.

Мы плюхнулись на заднее сиденье. Петр оглянулся и приник лбом к стеклу. За отъезжавшим трамваем бежал человек средних лет в теплой куртке на «молнии». Петр показал ему язык.

— Отцепили,— сказал он.

К удивлению своему, я заметил, что мною овладевает некая конспиративная нервозность. Я чувствовал опасность, я озирался. Все вокруг стало казаться подозрительным.

Внезапно Петр сжался, надвинул на глаза шляпу.

— Спрячьте лицо,— шепнул он.

Я послушно надвинул капюшон на глаза. Петр кивнул на женщину — одну из немногих пассажиров вагона. Она сидела впереди спиною к нам.

— Из охранки,— еле слышно, одними губами прошептал мой провожатый.

Трамвай подошел к остановке на углу улицы Петра Лаврова. Я дернулся к двери, но Петр схватил меня за руку и прижал ее к себе. Я повиновался. С бьющимся сердцем в груди я едва дождался следующей остановки за мостом. Там женщина сошла, мельком взглянув на нас. Мы оба инстинктивно опустили головы чуть не до колен.

Петр разрешил выйти лишь на следующей остановке, и обратно мы воротились через мост пешком.

Черная вода Невы глотала крупные хлопья снега. Мост был абсолютно пуст; на чугунных перилах лежал тяжелый снежный вал, отделявший нас от страшного пространства за ним, где кружились в пустоте белые хлопья, затягиваемые в реку.

Меня колотила дрожь. Ноги оледенели.

Мы дошли до угла бывшей Фурштадтской. Здание на углу было опоясано деревянным забором, окна зияли дырами разбитых стекол. Судя по всему, дом был на капитальном ремонте.

Мой провожатый нашел в заборе дыру и, осмотревшись, юркнул в нее. Мне пришлось последовать за ним. Мы миновали мрачную замусоренную подворотню и оказались во внутреннем дворе, заваленном ржавыми трубами, битым кирпичом, поломанной мебелью. Окна

с выломанными рамами, смотревшие во двор, дополняли зловещую картину.

К одному из парадных тянулась тропка свежих следов. Я взглянул вверх. В окне второго этажа, на подоконнике, стояла буква «Т» из двух красных кирпичей. Мы с Петром вошли в парадное.

Здесь было еще гаже. В нос ударил запах нечистот, на лестнице валялся полуразложившийся труп кошки. Двери квартир были выдраны с коробками; осыпавшаяся штукатурка толстым слоем покрывала полы; обнажилась кирпичная кладка стен. В доме было тихо. Непонятное чувство страха, смешанного с брезгливостью, овладело мною.

Мы поднялись на третий этаж. В комнате с продранными и сорванными со стен обоями на поломанных табуретках и ящиках сидели Николай Иванович и подростки, Али среди них не было. Николай Иванович взглянул на часы, молча кивнул нам.

Петр удалился в глубь разрушенной квартиры и принес два старых стула, оба о трех ножках. Мы кое-как уселись на них.

Минут пять прошло в полном молчании. Я исподтишка разглядывал лица юношей. Все заметно волновались: резче обозначились скулы, нахмурились брови, глаза потемнели.

Наконец внизу послышались легкие шаги, и через несколько мгновений в разрушенную комнату вошла Аля. Меня поразил ее облик: лицо осунулось, щеки пылали нездоровым румянцем, под глазами обозначились тени. От Али исходили токи решимости.

— Я принесла заряды,— сказала она.

— Раздай,— распорядился Николай Иванович.

Она открыла сумочку и вынула оттуда три серых теннисных мячика. Никто не улыбнулся. Аля отдала их Петру и обоим братьям.

Николай Иванович встал, вслед за ним и мы все. Он оглядел собравшихся, вынул из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и не спеша развернул.

— Приговор Исполнительного комитета партии «Народная воля»,— начал читать он.

Тут только я понял — в какой игре участвую. Кружок Николая Ивановича, по всему судя, проводил экскурсию-инсценировку казни Александра Второго. Аля исполняла роль Софьи Перовской, остальные были метальщиками. Серьезность, с какою подростки относи-

лись к игре, показывала, что они не шутя вошли в роли народовольцев.

Николай Иванович зачитал приговор, после чего Аля ровным, бесстрастным голосом изложила план покушения. Метальщики с зарядами должны были рассредоточиться по углам Малой Садовой, где приготовлен подкоп с минным устройством, ведущий к середине проезжей части из сырной лавки супругов Кобызевых, под чьими документами скрываются члены ИК Якимова и Богданович. Лишь только экипаж императора, следуя на разъезд войск в Михайловский манеж, достигнет места подкопа, мина будет взорвана, а подоспевшие метальщики довершат дело бомбами. Аля сказала, что недостающие заряды она принесет через час от Кибальчича.

Не скрою, игра показалась мне несколько сомнительной, но захватывающее внимание, с каким подростки слушали Алю, делало инсценировку почти реальной.

Выслушав наставление, метальщики принялись по одному покидать разрушенный дом. Последними вышли мы с Николаем Ивановичем и его дочерью.

— Забавная игра,— усмехнулся я, пытаясь освободить себя от напряжения. Но не вышло — смешок получился нервным.

На углу Литейного Аля покинула нас, растворившись в толпе по всем правилам конспирации. Мы с Николаем Ивановичем пошли пешком по направлению к Зимнему стадиону. Вагоновожатый молчал.

Метальщики начали попадаться нам на углу Малой Садовой и бывшей Итальянской. Они прогуливались с явно конспиративным видом, что бросалось в глаза, так что я побоялся, как бы они не стали объектом внимания милиции. Мы дошли до Невского. Здесь дежурили братья Али. Они приветствовали нас легкими кивками.

И снова меня охватило волнение. Мне казалось, что подростки-метальщики слишком заметны в воскресной толпе, фланирующей по Невскому. От них исходили волны опасности, желание взорвать эту беспечную мелкобуржуазную массу, затопившую центральные улицы города. Похожие на «хиппи» мальчики торчали из толпы, как занозы, а на глубине полутора метров под землей таилась бочка с динамитом.

Николай Иванович куда-то пропал. Я купил газету и встал на углу за киоском «Союзпечати», делая вид, что

изучаю новости. Буквы прыгали перед глазами, я с минуты на минуту ожидал взрыва.

Как вдруг быстрая тень прошелестела мимо, дернув меня за рукав. Я разглядел под вуалью темные Алины глаза, горевшие лихорадочным блеском.

Быстрым шагом, на расстоянии трех метров друг от друга, будто связанные невидимой нитью, мы проследовали в молочное кафе неподалеку. Там уже находились Николай Иванович и все метальщики, сгрудившиеся за столиком с булочками и кофе.

— Царь изменил маршрут. Он боится,— проговорила Аля.— Карета проследовала по Екатерининскому и Итальянской. Обратно он поедет тем же путем. Вот план расстановки,— она выложила на стол почтовый конверт, на оборотной стороне которого была нарисована схема улиц и крестики, обозначающие места метальщиков. Подростки склонились над схемой.

— Я дам знак платком,— сказала Аля.

И снова юноши тихо и бесшумно исчезли. На столике остался недопитый кофе.

— Хотите быть метальщиком? — Аля вынула из сумочки мячик, протянула мне.

Я неуверенно пожал плечами.

— Боитесь? — выдохнула она, сверля меня жгучими глазами.

— Почему боюсь? — передернулся я.

Я сунул мячик в карман, посмотрел на схеме свое место. Оно было неподалеку от Спаса-на-крови.

Николай Иванович хладнокровно пил кофе.

— Удачи вам! — шепнула Аля, поднимаясь.

— С богом! — сказал Николай Иванович.— После исполнения приговора собираемся на конспиративной явке. Угол Малого проспекта Петроградской стороны и Широкой улицы.

— Где это? — спросил я.

— Угол Ленина и Щорса.

В одиночестве я дошел до Екатерининского канала и повернул направо, к Конюшенной площади. Храм Спаса-на-крови, заштрихованный летящими хлопьями снега, завершал перспективу канала. Я не чувствовал собственных ног, меня била крупная дрожь. Кроссовки совершенно размокли и чавкали при каждом шаге.

Слева, за каналом, я увидел Алю. Она стояла на продолжении линии Итальянской улицы и всматривалась вдаль. Метальщики прогуливались по эту сторону,

то и дело оглядываясь на фигурку Али. Я вытащил мячик из бокового кармана и спрятал его за пазуху.

Мимо меня прошел Петр в надвинутой на очки шляпе. Я взглянул на Алю. Она вытянулась как струнка, не сводя глаз с какой-то точки вдали. Потом она выхватила из сумки белый платок и взмахнула им в воздухе.

И тотчас метальщики, находившиеся ближе к Невскому, оборотились и направились в мою сторону. Сердце мое забилось громко: оно ходило ходуном в груди, дыхание прервалось. Я уже готов был увидеть императорскую карету с четверкой лошадей и казаками, скачущими впереди и сзади нее, как вдруг на набережную канала вырулило такси с зеленым огоньком и направилось в сторону Конюшенной. Не успел я ничего сообразить, как Петр, находившийся метров на пятьдесят ближе к углу, выскочил на проезжую часть и, взмахнув рукою, швырнул мячик на мостовую. Мячик высоко подпрыгнул и упал в канал. Машина шарахнулась в сторону. Я успел увидеть, как Петр и остальные метальщики перебегают пешеходный мостик по направлению к улице Софьи Перовской.

Машина резко затормозила, из нее выскочил водитель. Я узнал его. Это был тот самый таксист, который привез меня к фундаменту моего дома злополучной апрельской ночью. Он послал крепкое ругательство вслед убежавшим злоумышленникам, потом перевел взгляд на меня.

— Здравствуйте. Вы меня узнаете? — заискивающе спросил я, чтобы не быть заподозренным в соучастии.

— А-а... Это ты...— протянул он хмуро.— Вот сволочи, скажи! Своими бы руками удавил!.. Что он там швырнул? — водитель подошел к парапету, поглядел на воду.— Мячик, что ли? Я перепугался, думал — бомба!

Я стоял возле такси, не зная — уходить или нет. Водитель, сплюнув, вернулся к машине.

— Дом-то нашел свой? — лениво поинтересовался он.

— В общем, да,— мне не хотелось об этом говорить.

— Бывают заскоки по пьянке. Сколько хочешь... Вчера вез мужика, тот тоже не мог адреса вспомнить... Подвезти? — он уселся на свое место.

— У меня денег нет,— сказал я.

— А куда тебе?

— На Петроградскую.

— Садись, по пути. Я в парк еду,— он распахнул переднюю дверцу.

Усаживаясь в машину, я успел увидеть на другом берегу канала Алю. Она стояла у парапета, сцепив пальцы, и смотрела в мою сторону.

На конспиративную явку я прибыл раньше других заговорщиков. Дом на углу Широкой и Малого тоже находился на капитальном ремонте, в той именно стадии, когда успели сломать, но строить еще не начинали. Здесь окна, выходящие на улицу, были закрыты ржавыми железными листами, двери парадных заколочены досками, а единственная подворотня загорожена сломанными чугунными воротами, снятыми с петель и скрученными посредством толстой проволоки. Я обогнул дом и зашел в следующую подворотню, откуда мне удалось проникнуть во внутренний двор ремонтируемого дома.

Он являл собою еще более печальное зрелище, чем дом на углу Фурштадтской. Огромные кучи строительного мусора громоздились тут и там; часть дома была вынута изнутри вместе с перекрытиями, остались лишь наружные стены; другая часть сохранила перекрытия, но лишилась наружной стены, так что во двор выходили пустые ниши комнат с разномастными обоями. На четвертом этаже, у самого края пропасти, стоял шкаф с зеркальной дверцей, которая медленно поворачивалась на ветру с едва слышным скрипом. Зеркало было разбито.

Я уселся в углу двора на железный остов скамейки. Вскоре во двор зашли двое подростков из команды Николая Ивановича. Не обратив на меня ни малейшего внимания, они исчезли в зияющем провале парадного и через несколько секунд вынырнули на втором этаже в комнате с голубыми обоями. Один из них установил у края пропасти два кирпича в виде буквы «Т», после чего подростки укрылись в доме.

Прошел еще один, затем появился мой напарник в синих очках, скользнул по мне взглядом.

— Петр! — окликнул я его.

Он сделал вид, что не слышит, и тоже исчез в доме. Наконец, во дворе появился Николай Иванович с дочерью.

Я поднялся со скамейки и направился к ним. Они остановились.

— Я пораньше приехал. На такси,— объяснил я, чувствуя какую-то непонятную вину.

— Почему вы не метнули заряд? — строго спросила Аля.

— Аленька...— опешил я.

— Погоди. Это нам тоже пригодится,— сказал дочери Николай Иванович, направляясь к парадному.

— Вы что... серьезно? — упавшим голосом произнес я вслед, но делать нечего — приходилось доигрывать нелепую постановку до конца.

Внутри дома было омерзительно. Как видно, пьяницы Петроградской стороны использовали пустующую коробку дома для своих нужд. Приходилось то и дело переступать через нечистоты, остатки еды, следы рвоты. В воздухе стоял отвратительный запах мочи.

Стараясь не дышать, я поднялся на второй этаж. Заговорщики собрались в одной из внутренних комнат, где тоже хватало грязи и вони. Они стояли в кружке, центром которого был Николай Иванович. Я подошел и встал сзади.

— Акция не удалась,— сказал Николай Иванович.— Произошло это по вине вашего товарища. После бомбы Рысакова, как вы знаете, должен был последовать еще один взрыв. Но его не было.

Молодые люди обернулись ко мне без тени улыбки или снисходительности. Я почувствовал себя весьма неуютно. Дурацкая история! Неужели я должен оправдываться перед этими юнцами в том, что не швырнул мячик на мостовую?! Полная чушь.

— Вы нарушили уговор и поставили под удар организацию,— жестко произнес Петр, глядя на меня сквозь синие стекла.

— Я не уговаривался, позвольте! — воскликнул я.

— Вы взяли заряд. Мы на вас рассчитывали, — сказал младший сын Николая Ивановича Леша.

— Ну, виноват... Мне не нужно было,— пробормотал я.

Николай Иванович еле заметно улыбался.

— Что решит Исполнительный комитет? — спросил он.

Подростки потупились, размышляя. Слово взял старший из сыновей Николая Ивановича.

— Это нельзя расценивать как предательство.

— Это малодушие,— сказал Петр.

— Мы не можем судить за трусость. Пусть он сам

себя судит. Честь революционера требует, чтобы он сам покарал себя смертью,— заключил брат Али.

Я похолодел. Мне предлагали самоубийство.

— Он должен искупить вину жизнью, правильно, Николай Иванович? — раздался голос сбоку.

Я повернул голову. Рядом стоял тщедушный паренек с унылым взглядом и с прыщавым лицом.

— Я не член Исполнительного комитета. Решать должны вы,— ответил Николай Иванович.

Наступила тишина. Подростки мялись. Тогда Петр взял на себя функции судьи, опрашивающего присяжных. Он называл каждого по имени, и в ответ я слышал:

— Смерть.

— Смерть.

— Смерть...

Я был приговорен к самоубийству единогласно. Юноши побледнели, дышали порывисто. В холодном смрадном воздухе вспыхивали облачка пара у губ. Да и мне, признаться, было не по себе. Молчание прервал Николай Иванович.

— Занятие окончено. В следующий раз мы разберем акцию первого марта и процесс Желябова и Перовской. Спасибо, можете быть свободны.

Юноши разошлись, не глядя друг на друга. Поколебавшись, ушла и Аля. Мы остались вдвоем с Николаем Ивановичем в пустом загаженном помещении, которое когда-то было человеческим жильем. Здесь, в этих стенах, любили друг друга, рождались и умирали, теперь же все покрыто дерьмом...

— Ну, как вам понравилось?..— усмехнулся Николай Иванович.

И тут я взорвался. Я кричал, что это бесчеловечно, что он калечит юные души, что нельзя приговаривать к смерти за малодушие...

— Завтра вы предъявите свой реестр несправедливостей и снова зальете все кровью! Надоела кровь! Сколько можно крови?! — кричал я.

Николай Иванович слушал меня угрюмо, но спокойно.

— История — жестокая вещь,— сказал он только и, повернувшись, пошел к лестнице, переступая через кучи дерьма.

Глава 45.

ТЕАТР ДЕДУШКИ ЙОРИКА

Выходя из лифта на своем этаже, Ирина столкнулась со стариком-соседом, что поселился напротив. Он был в черном демисезонном пальто и котелке, с зонтом-тростью, висевшем на сгибе левой руки. Ирина поздоровалась.

— Здравствуйте, Ирина Михайловна,— ответил старик.

Он впервые назвал ее по имени. Это заставило Ирину остановиться.

— Вы знаете, как меня зовут? Откуда? — спросила она.

— Я про вас многое знаю, Ирина Михайловна,— спокойно проговорил старик.

Ей не понравилось это. Она не знала, что ответить. А старик вошел в кабину лифта и уже оттуда, повернувшись к Ирине лицом и нажимая кнопку первого этажа, сказал с улыбкой:

— Зашли бы как-нибудь в гости по-соседски...

Створки скрыли его, как занавес актера, и лифт провалился вниз.

Это еще больше озадачило Ирину. Она пришла домой, поцеловала кинувшегося ей навстречу Егора, принялась выгружать из сумки продукты.

— Егор, ты не знаешь, как зовут соседа напротив? — спросила она.

— Не,— мотнул головой Егор, заглядывая в сумки.

— А кто он? Пенсионер?

— Он с котом живет,— ответил Егорка.

— С котом? Как писатель?

— Это тот же самый кот. Филарет.

— Филарет? — удивилась Ирина.

Любопытство, смешанное с беспокойством, разбирало ее. Какой странный старик! А вдруг он знает что-нибудь о Жене? «Зашли бы в гости...». Интересно, как? Он же не пригласил, не сказал — когда... Весь вечер она промаялась, поминутно прислушиваясь к звуку лифта — не едет ли сосед? Временами подбегала к глазку и, кляня себя в душе, подглядывала за соседской дверью. Старик не появлялся.

Явился он только в полночь — и не один. Вместе с ним в квартиру вошел человек в накидке до полу и с

длинными гладкими волосами, подвитыми снизу. Ей показалось, что они переговаривались не по-русски.

Весь следующий день она обдумывала предлог, чтобы пойти к соседу, и нашла!

Вечером она сварила куриный бульон, покормила Егорку вареной курицей с пюре, после чего завернула куриные косточки в полиэтиленовый пакет и, сказав Егорке, что сейчас вернется, храбро вышла за дверь. Она нарочно не оделась для визита, была по-домашнему, чтобы показать, что она на минуточку.

Сосед открыл дверь и взглянул на нее проницательно, с понимающей улыбкой.

— Добрый вечер, простите...— сказала она.— У меня тут куриные потрошки, косточки. Для вашего кота. Жалко выбрасывать...

— Весьма любезно с вашей стороны. Проходите, Ирина Михайловна,— старик посторонился.

Она несмело вошла, держа на весу мешочек.

— Заходите в комнату, пожалуйста.

— Простите,— сказала она, краснея.— Я не знаю, как вас зовут.

— Можете называть меня Лаврентий Родионович,— ответил он.

— Очень приятно,— Ирина, не зная, что делать, переложила мешочек из правой руки в левую и протянула старику ладошку.

Он поцеловал ее в кончики пальцев.

Она зашла в комнату, посреди которой стоял круглый дубовый стол, а стены были уставлены книгами. В кресле на боку, вытянув лапы, лежал большой рыжий кот с белым брюшком. Он открыл один глаз и взглянул на Ирину с ленивым любопытством.

— Присаживайтесь,— старик указал на стул.

Она села боком к столу, а Лаврентий Родионович занял место в рабочем вращающемся кресле у письменного стола, развернувшись к ней. Стол был завален бумагами и книгами с закладками. На старике был черный синтетический спортивный костюм на «молниях». Ирине показалось, что она уже видела где-то этот костюм. Точно! Сосед-писатель выбегал в нем к мусоропроводу опорожнять ведро.

Лаврентий Родионович молчал, разглядывая Ирину внимательно, но без назойливости.

— Вы говорили, что знаете меня,— начала она,

собравшись с духом, когда пауза затянулась до опасного предела.

— Нет, вас я не знаю, но о вас наслышан.

— От кого же? — удивилась она.

— От одного моего ученика. Он рассказывал мне о вас долго и подробно,— отвечал старик, наблюдая за ее лицом.

— А он откуда знает? Мы с ним учились? — спросила она первое, что пришло в голову.

— Вряд ли... Боюсь даже, что он все это сочинил.

— Вот как? — Ирина нервно рассмеялась.— Что же он вам говорил?

— Он говорил, что вы разошлись с мужем. Точнее — разлетелись...

— Ну...— она утвердительно кивнула.

— ...Что вы решили отделаться от него, а потому солгали милиции. Сказали, что он с вами не живет, а потом передали чемодан через золовку...

Ирина сидела, не шелохнувшись, будто парализованная его словами, а Лаврентий Родионович продолжал рассказывать, глядя на нее с какой-то непонятной улыбкой не то сочувствия, не то укоризны. Шаг за шагом он описывал ее поступки и слова, в том числе и такие, о каких не мог знать никто, кроме нее... И сожженные на свече письма, и разорванная фотография, клочки которой она засунула между томами Тургенева, и телефонный звонок на службу мужа, и дачное объяснение с Григорием Степановичем...— все до мельчайшей, интимнейшей детали знал этот старик с негромким голосом и мягкими обходительными манерами.

Ирине стало жутко. Она почувствовала, что с нее часть за частью снимают одежды, и она остается обнаженной под внимательным взглядом Лаврентия Родионовича. Чувство это было невыносимо, но она не могла остановить старика, лишь смотрела на него с мольбою, ощущая, как пылает ее лицо и трепещет жилка на виске.

Только когда он подошел к тому вечеру с несостоявшимися поминками и начал рассказывать, как она со свечою в руках подошла к окну, Ирина, будто защищаясь, загородилась руками.

— Нет... не надо,— прошептала она.

— Этого не было? — спросил старик с удивлением.— Впрочем, я же говорил, что мой ученик — изрядный сочинитель.

— Он не может этого знать! Он же не господь бог! — воскликнула она.

— О нет, уверяю вас! — улыбнулся Лаврентий Родионович.

— Но кто же?

— Человек, который вас хорошо знает.

— Меня никто так не знает!

— Вот здесь вы ошибаетесь. Все наши поступки и даже мысли рано или поздно становятся известны,— сказал старик.

— Но не до такой же степени!

— Более, чем до такой... Но почему вы волнуетесь? Кажется, вы не совершили ничего дурного?

— Неприятно, знаете...— поежилась Ирина.— Как голая. Вы про меня все знаете, а я про вас — ничего.

— Справедливо заметили. Это не совсем честно. Я не хочу быть в положении подглядывающего (при этом слове Ирина вздрогнула) и непременно расскажу вам о себе. Только сначала ответьте мне на один вопрос. Вы верующая?

— Нет... то есть... я не знаю,— смешавшись, ответила она.

— Весьма характерный ответ,— кивнул старик.— Дело в том, Ирина Михайловна, что я когда-то был пастором...

И Лаврентий Родионович повел рассказ о себе, из которого Ирина узнала, что старик долгое время жил в другой стране, с иными порядками и обычаями, и лишь недавно переехал сюда, к своему ученику, в его квартиру...

— Ах, так ваш ученик — писатель? — догадалась она.

— Именно так. Сочинитель.

— Значит... вы тоже пишете?

— Увы, Ирина Михайловна.

— Почему — «увы»?

— Слишком много знать о людях — печально,— серьезно проговорил Лаврентий Родионович.

— Значит, вы — не русский? — спросила она.

— Я англичанин. Но это по секрету...— улыбнулся он.— Иначе майор перепугается. Лаврентий Родионович — мой здешний псевдоним.

— А как же...— она смутилась,— ваше настоящее имя?

— Йорик,— сказал он.

Она порылась в памяти, припоминая английского писателя с таким именем, но никого не нашла, кроме шекспировского шута, про которого было известно, что он «бедный». И это гамлетовское восклицание в сочетании с печальной улыбкой старика и его «увы» вдруг породили у нее жалость и нежность к Йорику. Она подумала, что ему очень одиноко здесь, в чужой стране, на старости лет.

— Вы очень хорошо говорите по-русски,— сказала она.

— Так же, как на любом языке. Когда писатель доживает до моего возраста, он свободно говорит на всех языках.

— А сколько вам лет? — полюбопытствовала Ирина с неожиданным кокетством.

— Двести шестьдесят семь.

Она оторопела, но, взглянув в смеющиеся глаза Йорика, поняла, что тот шутит, и рассмеялась. Некоторое время они сидели, смеясь и глядя друг на друга с тем доверием и пониманием, что иногда сами собою возникают меж людьми.

— Лаврентий Родионович, то есть, простите...— начала она.

— Сэр Йорик,— невозмутимо подсказал старик.

— Сэр Йорик, как вам у нас здесь нравится? — спросила Ирина, обращаясь к старику уже как к иностранному гостю, с затаенным ревнивым чувством.

— Видите ли, я по-настоящему знаком лишь с вашим домом... Правда, удалось прочитать немало книг,— он кивнул на письменный стол, заваленный книгами.— Но там много вранья, вы уж простите. В книжках правду от лжи отличаешь по запаху. Эти книжки пахнут елеем, поверьте мне как бывшему священнику. Что же касается вашего дома, то он... забавен. Но он без основания.

— Без фундамента? — переспросила она.— Так это потому, что мы сюда прилетели. Он раньше был с фундаментом. Все-таки довольно странная история, я никак не могу понять. Почему мы улетели? Вы об этом тоже знаете?

Йорик сухо рассмеялся.

— Как вы думаете, Ирина Михайловна, на свете есть любовь? — спросил он неожиданно.

— Любовь?.. Да,— опешила Ирина.— А при чем здесь любовь?

— Обычно это понятие связывают с ощущением полета. На крыльях любви, знаете... Любовь вольна, как птица. И прочая романтическая чепуха. Любовь — это связь. Связанный человек не летает. Дом — тем более.

— Ну... любовь — не только связь,— обиженно возразила она.

— Я не в вульгарном смысле. Связь сердца с сердцем, души с душой. Связь с прошлым и будущим. Связь с Родиной, если хотите. Как же вашему дому не улететь, если он ничем не связан? И как же не улететь вашему мужу?

— Я любила его,— сказала она, потемнев.

— Вы ведь давно хотите расспросить о нем, не так ли?

— Да-да, конечно! — вскинулась она, радуясь, что он угадал ее мысли.

Йорик пожевал губами и прищурился, припоминая, а затем начал свой рассказ все с той же апрельской ночи, когда Евгений Викторович приехал домой на такси...

Ирина слушала завороженно. Скитания ее мужа, как вехами обозначенные местами временных пристанищ, которые ей были, в общем, известны: аспирантское общежитие, квартира Натальи, дача в Комарове, Севастополь,— обретали плоть, наполнялись живыми подробностями, вроде узбекского плова, Первомайской демонстрации или котельных, где собираются подпольные дарования. Она не удивлялась поразительной осведомленности старика, внимая ему с безоговорочным доверием, ибо он уже доказал свою причастность к истине. Потому все размышления, все чувства Ирины стягивались к Евгению Викторовичу, к его жалкой и жестокой судьбе, столь наглядно и безукоризненно наказавшей его за потерю дома. Она почувствовала себя виноватой, жестокосердной и холодной; ведь у нее все эти месяцы был свой дом — какой-никакой, причудливо-странный, нелюбимый — с родным сыном в нем, генералом под боком, привычными лицами кооператоров. У него же не было ничего. Ей впервые показалось, что плата, которую она назначила мужу,— непомерно высока, а когда старый Йорик дошел до диско-бара, Ирина прикрыла глаза ладонью, ощутив на ней капельки слез. Но старик будто не замечал ее состояния, а продолжал рассказывать о последних днях пребывания мужа в дискотеке, письме к сыну, кульке конфет для сирот и той драке, что вымела

Евгения Викторовича из танцевального зала и привела пьяного к родному окну с мыслью о веревке...

Йорик замолчал.

— Что же дальше? Что с ним? Где он сейчас? — волнуясь, воскликнула она, поспешно утирая пальцами глаза.

— Не знаю,— сказал старик.

— Как? Вы знаете все! Скажите мне, бога ради! Он жив?

— Будем надеяться,— пожал плечами Йорик.— Все зависит от ученика.

— Почему? Какого ученика? — не поняла она.— Ах, от бывшего соседа? Он знает больше вас?

Йорик загадочно молчал. Свет в окнах померк, фигура старика выделялась на фоне книжных полок, тихо урчал кот Филарет.

— Никто ничего не знает,— сказал наконец Йорик.— Но иные способны видеть.

Ирина прикусила губу: ей почудился укор в словах старика. Она не могла отделаться от мысли, что в пересказе Йорика частная история ее разрыва с Евгением Викторовичем приобрела некое символическое значение. Ей вдруг непереносимо горько сделалось за себя, за Евгения Викторовича, за всех кооператоров, наконец, и к горечи этой примешался стыд перед чужеземным Йориком, забредшим в потерянный дом, дом без любви. Захотелось доказать, что это не так, но перед ее мысленным взором предстало узкое ущелье, освещенное синевато-мертвенным светом ртутных ламп, и кровавая дорожка на асфальте, которую она увидела как-то утром, когда спешила на работу, а в щель задувал свирепый сквозняк, прогоняющий сквозь нее сухие листья.

Она вспомнила о сыне. Как же она могла так засидеться? Егорушка волнуется.

— Знаете, что? — вдруг обратился к ней Йорик.— Скоро праздник вашего государства. Мне было бы приятно собрать гостей. Приходите с сыном. И Машу можете позвать с мальчиком...

— Вы и про Машу знаете...— растерянно произнесла Ирина.

Сэр Йорик только руками развел: что поделаешь, работа такая...

Перед самыми Ноябрьскими Ирине на службу позвонила Любаша и принялась тоже звать в гости с Егоркой.

Чего вы будете одни скучать и так далее. Ирина не знала, как выпутаться, и вдруг нашлась:

— Приходите лучше к нам! Вы у нас давно не были.

— А тебе не попадет?

— От кого?

— От начальства. Дом-то ваш засекречен.

— Глупости. Дом как дом,— храбро сказала Ирина.

— Ну, смотри. Я со всем кагалом приду.

Пусть будет сюрприз сэру Йорику, весело решила Ирина и принялась готовиться к празднику: купила всем детям по сувениру — дешевенькие игрушки, блокнотики, авторучки; каждый завязала ленточкой, обернув в цветную бумагу и вложив внутрь открытку с поздравлением. Подарки сложила в сумку. «Пусть сэр Йорик раздает,— подумала она.— Как Дед Мороз».

Мария Григорьевна отнеслась к идее общего празднества с сомнением, но в конце концов поддалась уговорам Ирины. В самом конце телефонного разговора по восстановленному не так давно каналу окно в окно Ирина уловила нотку ревности; ее так и обдало жаром: в самом деле, не успели, как говорится, увянуть цветы на могиле, как она нашла себе нового друга! И все же согласие было получено.

Накануне праздника Ирина достала с книжной полки обрывки семейной фотографии с годовалым Егоркой, разложила их на столе и принялась складывать, подгоняя один к другому, пока перед нею не появилась вся семья, обезображенная косыми рваными линиями. Она нашла кусок картона, клей и до глубокой ночи восстанавливала семейный портрет, стараясь, чтобы разрывы были незаметны. Закончив работу, Ирина повесила фотографию на прежнее место и отошла подальше. Издали она выглядела цельной, но стоило подойти поближе, как разрывы вновь напоминали о себе, рассекая лица уродливыми шрамами.

Любаша прибыла «со всем кагалом» рано утром седьмого ноября. Ника катила коляску с Ванечкой, Шандор и Хуанчик чинно шли, взявшись за руки, сама Любаша несла сумки с продуктами. Тотчас в квартире стало шумно, а когда подошли Маша с Митей, образовался жизнерадостный сумасшедший дом. Гремел телевизор, на экране которого ползли по Красной площади ракеты, Хуанчик с Митей гоняли шайбу в прихожей, Ника играла на фортепьяно песни Аллы Пугачевой, а Шандор с Егоркой показывали друг другу приемы

карате. Женщины хлопотали на кухне. Узнав, что предстоит визит к англичанину, Любаша предложила соорудить королевский пудинг и тут же приступила к реализации замысла. Иван Иванович Демилле с соской во рту лежал тут же в коляске и вращал ножками.

Визит был назначен на пять. «Файв о'клок»,— пояснила Ирина. Время пролетело быстро: кормили обедом детей, укладывали младших спать, старших развели по углам и заняли делом, чтобы не шумели, а потом уже женщины наскоро перекусили в кухне и не без волнения принялись прихорашиваться перед приемом у иностранца.

Узнав, что сосед — писатель, Любаша вскинулась:

— Что ж ты раньше не сказала? Я бы книжку принесла подписать.

— Я не знаю, как его фамилия. Неудобно было спрашивать,— оправдывалась Ирина.

— В отцовской библиотеке наверняка есть,— заявила Любаша.— Кто там сейчас в Англии писатели? Олдридж?

— А он не умер? — спросила Маша.

— Скажешь — Олдридж! — засмеялась Ирина.— Олдриджа как-то по-другому зовут.

— Джеймс,— вспомнила Маша.

— Может, нашего Йорика и на русский не переводили,— предположила Ирина.

— Чего ж тогда он приехал? Сидел бы дома,— сказала Люба.

— Политическое убежище? — с сомнением предположила Ирина.

Женщины помолчали. Созревший пудинг остывал на столе, источая аромат корицы. Младший из рода Демилле посапывал в коляске, прикрыв тоненькие веки. В окне темнела мокрая кирпичная стена с грубыми швами кладки. В кухне было сумрачно.

Ровно в пять, памятуя об английской пунктуальности, женщины собрали принаряженных детей в прихожей, и Ирина распахнула дверь. Первой с пудингом на блюде вышла Любаша, за нею — Ника, катящая коляску с Ваней, следом, парами,— мальчики, а последними — Маша с Ириной.

Егорка нажал кнопку звонка.

Открыла им молоденькая девушка, в которой Ирина и Маша, не без удивления, узнали Шуру, встречавшую их в Доме малютки. Митя расцвел в улыбке и потянулся

к ней. На Шуре было белое свободное платье до полу, лоб обтягивала белоснежная атласная косынка с маленьким красным крестиком сестры милосердия. Не успели женщины обменяться взглядами, как к ним вышел сэр Йорик в костюме вельможи елизаветинских времен с напудренным париком, отчего в рядах гостей произошло определенное замешательство. Дети заулыбались, женщины же настороженно притихли, подобрались, на лицах изобразился плохо скрытый испуг.

— Прошу вас,— Йорик сделал широкий приглашающий жест, отступая в глубь квартиры.

Пока входили дети, Любаша успела шепнуть Ирине:

— Слушай, может, он чокнутый?

— Не должно быть...— неуверенно отвечала Ирина.

Как бы там ни было, отступать было поздно. Дети занимали места за круглым столом, руководствуясь указаниями Шуры. Там уже сидели несколько маленьких мальчиков и девочек, среди которых Ирина узнала Танечку Вероятнову из соседней квартиры. На столе стоял канделябр о семи свечах, огромный фарфоровый чайник и молочник с дымящимися сливками. По кругу располагались фарфоровые чашечки. Серебряные ложки, щипцы для сахара, конфеты в нарядных коробках, пирожные — все выглядело красиво и даже изысканно. Сэр Йорик в парчовом камзоле ожидал, пока усядутся гости и займет на столе место королевский пудинг.

— Прошу наливать чай... Нет-нет, сначала сливки, потом чай,— сказал он, заметив, что Шура перепутала последовательность.

Она исправила оплошность. Первому налила хозяину, потом принялась обносить гостей. Сэр Йорик уселся в кресло.

Детишки не забывали говорить «спасибо», вообще вели себя по-английски воспитанно. Маша сидела с бледным постным лицом, Любаша прятала глаза — ей попала смешинка. Шурочка плавно двигалась по кругу с чайником и молочником в руках.

— Леди и джентльмены! — начал сэр Йорик, когда Шурочка, закончив обносить, уселась с ним рядом.— Я хочу поздравить вас с национальным праздником вашего государства, чья историческая роль в мире неоспорима и весьма велика. Благодарение Богу, ниспославшему мир и благодать на вашу землю, любовь и покой в ваши сердца...

Леди и джентльмены слушали старого писателя со

вниманием, следя за его благородными жестами, оборками кружевных манжет, белоснежным жабо, золотыми нитями парчи, мерно колыхавшимися буклями. Лишь Любаша со свойственной ей живостью никак не могла справиться со смешинкой, едва удерживалась от смеха. Она кусала губы, но в глазах прыгали искры веселья.

Рыжий кот Филарет лежал на письменном столе, как сфинкс, полуприкрыв глаза и подогнув под себя лапы.

— Дети мои! Разрешите мне по старой привычке произнести воскресную проповедь,— сэр Йорик потянулся к полке и взял в руки толстую черную книгу. Он раскрыл ее на закладке, водрузил на нос очки и, оглядев поверх стекол гостей, начал чтение.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика наша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.

И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного...»

Тихо стало за столом. Сэр Йорик поднялся и, чиркнув спичкой, зажег семь свечей на подсвечнике. Пламя разбросало по стенам зыбкие тени, как бы расширило их круг и в то же время сблизило. Дети сидели, тараща глазенки на пламя, и блеск его в этих глазах был радостен.

Сэр Йорик с улыбкой поклонился.

— От имени королевы и ее правительства разрешите заверить вас в искреннем уважении, которое питает моя нация к вашей, и пожелать нашим народам спокойствия, мира и процветания!

Дети оживились. Упоминание королевы наконец-то прояснило картину. Это была сказка, игра, домашний театр, который устроил здесь славный старичок со странным именем Йорик. Руки потянулись к конфетам, Шурочка взялась за нож, чтобы разрезать пудинг.

— Спасибо вам, сэр Йорик, за добрые пожелания нашей стране и нашему народу,— тщательно подбирая слова, с достоинством ответила Ирина.

Сэр Йорик еще раз поклонился, прижав руки к жабо.

— А вы хохотушка, Любовь Викторовна! — вдруг воскликнул он, грозя Любаше пальцем, на что она, наконец, залилась смехом в голос, окончательно разрядив обстановку.

Потекла оживленная беседа, в которой непостижимым образом участвовали дети, включая Хуанчика. Лишь Ванечка спал в коляске да Митя не проронил ни слова; он быстро поедал пирожные, будто боялся, что их сейчас отберут.

Егорка осмелился напомнить о ночных гостях старика. Ему хотелось узнать, точно ли они артисты.

— О да, это большие артисты! — воскликнул сэр Йорик, поднимая указательный палец.

Чаепитие продолжалось; пудинг удостоился похвал англичанина; женщины были на седьмом небе.

Вдруг заплакал Ванечка. Первой к нему поспела Шура. Быстро и ловко она вынула младенца из коляски, уложила на диван, распеленала и снова запеленала, найдя запас пеленок к той же коляске.

— Кормить пора,— сказала Любаша, усаживаясь в тени и расстегивая на груди платье.

Шура поднесла к ней младенца, и Любаша, выпростав грудь, принялась его кормить. И это не показалось никому неуместным, потому что семья была в сборе и старый дедушка Йорик уже готовился запустить руку в кружевных манжетах в сумку, где лежали надписанные пакетики с подарками для детей.

Глава 46.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

«...Славно, что мы догадались выпустить щегла. Пусть полетает по квартире. Он зачах в клетке... Даст бог, дождемся весны, отпустим его на волю. А клетку сожжем. Ненавижу клетки!»

«Я люблю тебя».

«Я не верю тебе, но все равно приятно. Ты все придумал, признайся. Ты выдумщик, сочинитель, обманщик, сам веришь в свои фантазии. И меня ты сочинил, я вовсе не такая, я обыкновенная и немножко глупая...»

«Я люблю тебя».

«Ты просто соскучился по женщине. Ты долго трудился, долго сомневался в одиночестве и принял меня за награду. Ты насладишься мною и забудешь. Новая мысль поразит тебя и заставит трудиться...»

«У тебя холодный нос».

«Как у собаки... Ты впустил меня в дом, и я буду преданно служить, пока ты не выгонишь меня на улицу. Только будь ласков со мною. Я хочу умереть у твоих ног».

«Ты никогда не умрешь».

«Почему?»

«Потому что теперь ты бессмертна».

«Ах, я забыла... Все, к чему ты прикасаешься, становится бессмертным. Бедный ты мой! Твое творение отняло у тебя рассудок. Но я все равно люблю тебя и буду любить вечно».

«Мы теперь вечно будем жить в этой темной комнате со щеглом, и рог молодой луны будет выглядывать из-за трубы, и пружинки раскладушки будут петь и пощипывать нас за бока...»

«У тебя было много женщин?»

«Не помню... Но все они были прекрасны и любили меня, а я любил их, хотя, в сущности, это была одна женщина, менявшая облик, чтобы мне интересно было ее разглядывать. Потом я уходил от нее или она покидала меня, чтобы встретиться снова в другом обличье и начать сначала...»

«Значит, мы тоже расстанемся?»

«Мы не расстанемся никогда».

«Почему?»

«Потому что на этот раз я сотворил тебя из своего ребра».

«Я ничего не знаю о тебе».

«Ты знаешь все. С тех пор, как я начал сочинять, житейское отпадало от меня. Теперь у меня нет ничего, кроме щегла и машинки, на которой я играю свою музыку. Остальное я могу выдумать».

«А можешь ли ты выдумать любовь?»

«Нет, увы... Мне удалось сочинить тебя, а любовь — это уже твоя заслуга... Признаться, мне стало скучно в своем романе, когда даже кот отказался от меня, и я решил создать юную ученицу, чуткое и милое существо, чтобы оно прочитало то, что я сочинил, и одобрило бы автора. Но сам не заметил, как влюбился».

«Это уже было».

«Ты права, все уже было — и Пигмалион, и Галатея, но что же поделать, если наши творения обладают для нас такой притягательной силой?»

«Ты придумал меня такой, как тебе хочется, но я вовсе не такая. Я обыкновенная женщина, а в этом доме, кстати, оказалась не по твоей воле, а по обменному ордеру. Сейчас я боюсь — отец догадается, что у нас происходит, тогда придется врать и отпираться. Ты ведь не женишься на мне, тебе не нужен дом, тебе нужны лишь исписанные листы бумаги. Мне жаль тебя...»

«Почему?»

«Потому что ты не способен любить».

«Смотри, щегол приуныл. Ему хочется обратно в клетку».

«Ты сказал, что всегда любил одну женщину — ту, которую вообразил... Но ведь у каждой был свой характер, каждая хотела стать для тебя неповторимой, у каждой был свой щегол. Они не понимали только, что любят не тебя, а твое воображение...»

«Но неужели ты это понимаешь?»

«Приходится».

«Я люблю тебя».

«А я — тебя. Мы оба любим одного человека».

«По-моему, это верх одиночества: выдумать возлюбленную и привести ее к себе домой, в свой роман...»

«В дом или в роман?»

«Это одно и то же. Ты заметила, что я строю его, как дом? Он и есть мой дом. Почему я раньше не придумал

тебя? Все лето сидел один-одинешенек в чужой квартире, с Филаретом...»

«А любительница изящной словесности и котов?»

«Это не считается... Все лето я убегал от героя, а он настигал меня. Я чувствовал себя измученным, затравленным реалистом. Не мог вообразить себе молоденькой девушки! Только здесь, на Безымянной, увидел тебя и понял — чего мне не хватало в романе! Ты не представляешь, как я рад!»

«Хочешь серьезно? Ты ужасный трус. Ты говорил нам, что литература для тебя — игра. Но ведь и любовь для тебя — игра! Ты боишься обнаружить за выдуманной женщиной настоящую. Тебе не нужна медсестра родильного дома, которая возит каталку с орущими младенцами. Вот здесь у меня родинка, смотри! Тебе не нужна эта родинка. А вот здесь — смотри! — шрам от аппендицита. Абсолютно ненужная деталь в твоем романе, но она — моя!..»

«Ты не замерзла? Давай я тебя укрою».

«Не трогай меня».

«Сашенька, неужели и ты будешь повторять избитые истины литературоведов? В мою игру помещается вся жизнь и еще остается немного места для грустной улыбки. И любовь к тебе помещается туда, и щегол Вася — видишь, он встрепенулся и взлетел под потолок? Нет иной игры, кроме игры в слова. Мы с тобой существуем только на бумаге, но не делаемся от этого хуже. Наоборот, здесь мы свободны от случайностей, здесь даже несущественные детали, вроде щегла, играют роль — угадай какую?.. И все это отобрано мною, названо и поставлено в ряд, потому что я люблю тебя!».

«Тебе не поверят. Так не привыкли. За словами ищут реальную картину. Никто не поймет — есть я или меня нет?»

«Первого, кто усомнится в твоей абсолютной, неправдоподобной реальности, я пригвозжу к стене нашего дома убийственным словом!»

«Каким?»

«Дурак».

«Это грубо».

«Осел».

«Осел — хорошо. Вот осел — это хорошо».

«Вот видишь, ты совершенно живая. Можно, я поцелую тебя в... Вот сюда».

«Милый, поцелуй свое многоточие».

«Ты иронична. Не пойму только — сама по себе или мне так хочется?.. В самом деле, я почти ничего о тебе не знаю. Я знаю лишь — зачем ты нужна мне. Но зачем ты нужна себе?»

«Мне сон приснился семь лет назад... Ко мне подошел мальчик и повел куда-то. Мы шли долго по сухой траве, потом увидели на холме светлый дом с башенками. Мы вошли туда и поднялись в башенку. Оттуда было хорошо видно вокруг — деревья в поле и какие-то железные колеса. Они быстро вращались, совершенно бесшумно... А когда я оглянулась, мальчика уже не было, рядом стояли две женщины. У одной был сверток с грудным ребенком, а на другой была черная широкополая шляпа с пером. „Нас трое, ты не знала?“ — сказала она мне, и тут я поняла, что это тоже я, и замарашка с ребеночком — тоже я... Наверное, это все из-за имени. Меня в семье звали Алей, а в школе — Сашей, но я знала про себя, что я — Шурка. Это же все разные имена, значит и люди разные! Аля с гонором, строгая, резкая... Саша — прилежная, как ученица, рассудительная... А Шура... Меня так детишки только зовут».

«Какие детишки? Грудные?»

«Нет, в Доме малютки. Я туда езжу, присматриваю за нашими „отказными“. Сейчас многие отказываются от детей. Родит — и отказывается... Не нужны им дети, потому что они сами себе не нужны. Теперь много ненужных себе людей».

«Может быть, они другим нужны?»

«Если себе не нужен, то другим — и подавно. Потому и любви нет, я думаю. Сироты рождаются. Я ему пупок перевязываю и плачу: „Еще один сирота появился, бедный ты мой!“ Сиротливо жить стало, ты чувствуешь? Вот и дом твой — сиротливый... У тебя дети есть?»

«Есть».

«Значит, и они сироты. А без них и ты сирота... Я тебе сон не досказала. В том светлом дворце, где я оказалась со своими сестрицами, было много детей. Они плакали все и тянулись ко мне. Их чем-то обидели. Построили дом и бросили. Дом без любви — это стены одни и крыша. Я потому сестрой милосердия стала...»

«У тебя милое сердце...»

«Что?»

«Детство вспомнил. Летний сад...»

«Наверное, в каждом из нас — трое. Любовь их

соединяет, получается один человек. Я соединиться хочу с собою, превратиться в себя, понимаешь?»

«Отец, сын, дух святой...»

«О чем ты?»

«Сейчас только понял. Ты молодец, Александра».

«Ты опять о словах? Ты столько написал слов...»

«Я строил дом».

«Ты уверен, что построил его правильно?»

«Я старался построить его честно».

«Он тебе нравится?»

«Это сложный вопрос... Когда я начинал его строить, я почти ненавидел его. Мне казалось, что нет такой силы, которая заставила бы моих соседей вспомнить — ради чего они объединились и стали кооператорами. Я полагал, что требуется мировой катаклизм, чтобы их проняло. Если бы мы жили где-нибудь в Мексике! Я описал бы землетрясение, лишил бы их крова, провел через горе и страдания и, быть может, высек бы искру любви из их сердец. Но в нашей равнинной местности не бывает землетрясений, а наводнениями моих сограждан уже не проймешь... И я швырнул дом в небо вместе с собою, потому что тоже был кооператором...»

«Постой! Значит, дом, где мы находимся, и дом, описанный в твоем сочинении,— одно и то же?!»

«А ты разве не знала?»

«Нет... Когда отец получил обменный ордер, мы, конечно, удивились. Очень уж странный дом. Но нам никто ничего не сказал. Я думала, ты выдумал эту историю...»

«Здравствуйте! Я сам летел в нем!»

«Родной мой, но так же не бывает. Разве летают дома?»

«Все! Нам не о чем больше разговаривать».

«Ты обиделся?»

«Спи».

«Нет-нет! Прости меня! Рассказывай дальше!.. Вася, скажи ему!»

«Ты материалистка».

«А кем же я должна быть, по-твоему? Я каждый день вижу, как рожают! Ты бы посмотрел хоть раз, сразу стал бы материалистом!»

«Спи».

«И пожалуйста... Что я такого сказала? Дома, и вправду, никогда не летали. Во всяком случае, я не наблюдала».

«И Маргарита тоже не летала? И майор Ковалев не терял носа? И Медный всадник не скакал за Евгением? И Данте не спускался в ад? И Дон Кихот не воевал с мельницами? И Гулливер не был в плену у лилипутов? И кот Мурр не писал своих мемуаров?..».

«Да погоди ты! Какой кот Мурр? Я ничего не понимаю».

«Читать надо больше».

«А читателей ты за меня будешь принимать?»

«Каких?»

«Новорожденных, вот каких!»

«Это довод. Сдаюсь. Твоя работа важнее... Не обижайся, я ведь люблю тебя. Вот скажи, ты веришь, что мы лежим на этой раскладушке...»

«...Нам тесно...»

«Щегол сидит на подоконнике, чай остывает на столе... Веришь?»

«В это не нужно верить. Это есть».

«Значит, есть все, о чем я написал. Я люблю тебя, и это не менее удивительно, чем летающие дома. Это самое удивительное, что есть на свете...»

«Если приставить нос к носу, у тебя получается один большой глаз».

«И у тебя».

«Ты знал это раньше?»

«Знал».

«А я только сейчас узнала».

«Поэтому я тебя люблю».

«...Кто это лает?»

«Чапка, соседская собачка».

«Фоксик желтовато-серой масти?»

«Ну, да. Мы ее разбудили».

«Как интересно! У тебя Завадовские за стенкой?»

«Угу. Слышимость прекрасная».

«А ты раньше знал Завадовских? До перелета?»

«Нет, я их придумал».

«А за стенкой кто? Прототипы?»

«Какие к черту прототипы! Самые настоящие типы! Вчера Клара приходила, просила, чтобы я после одиннадцати не стучал на машинке... Если бы Валентин Борисович не ходил ко мне в объединение, небось уже подала бы в товарищеский суд!»

«Зря ты устроил им эту встряску. Люди какие были, такие и остались...»

«А по-моему, они стали добрее...»

«Как же! Добрее!.. Если хочешь знать, они — никакие, не злые и не добрые, потому что живут в доме без света, потому что за окнами одни стены! Ты сам засунул наш дом в расщелину и хочешь, чтобы мы были в нем счастливы, довольны, обходительны друг с другом! Бытие определяет сознание, Файнштейн правильно сказал».

«Положим, это сказал Маркс. Однако мне представляется, что это относится не ко всем. Есть и другой закон».

«Какой?»

«Бытие определяет небытие».

«Не понимаю».

«Потом поймешь...»

«Жизнь все-таки ужасна».

«Нет, жизнь прекрасна, Сашенька».

«Ты оптимист».

«Увы, наоборот. Оптимист — это ты. Ты уверена, что жизнь обязана быть прекрасной, и все время огорчаешься ее несовершенством. Я же не жду от нее ничего хорошего, я глубокий пессимист, потому даже незаметные крупицы добра вызывают радость. Лишь пессимист может быть глубоко радостен».

«Который час?»

«Скоро полночь».

«Мне пора».

«У тебя, как у ведьмы, дела начинаются после полуночи?»

«Ты угадал. Прощай!»

Глава 47.

СУД

Он остался один и некоторое время лежал на спине, уставясь в потолок и припоминая интонации любимой, матовый отсвет ее тела, прохладный кончик носа... Кажется, у него снова поднималась температура. Роман подплывал к тихой гавани семейного счастья. Автор мысленно представил себе, как заживет с Сашенькой, она родит ему дочку, и все начнется сначала... Пожалуй, что придется писать снова тот же роман!

Эта мысль ему не понравилась. Он спустил ноги с раскладушки и принялся одеваться.

За стеною у Завадовских мерно гудело, потом раз-

дался бой настенных часов. Пробило двенадцать. Возлюбленная упорхнула от сочинителя, как Золушка, за четверть часа до полуночи... Интересно, что сказал бы милорд? Автор вспомнил о своем милейшем старике с растроганностью; жаль стало классика, доживающего век в чужой стране за чуждыми занятиями. А ведь он, поди, не спит, подумал сочинитель. Не сходить ли к нему в гости, не поведать ли о романе (в обоих смыслах), не получить ли благословение на брак, в конце концов?

Он оделся во все лучшее, как и подобает жениху, сунул в петлицу пиджака веточку традесканции и отбыл из квартиры № 33 навстречу своему счастью.

Дом спал. Приглушенные кирпичными стенами, доносились отовсюду мирные ночные звуки: посапывания и похрапывания, монотонный скрип кроватей, тихий разговор, робкое журчание воды, утекающей из неисправного бачка. Автору показалось, что, выйдя на лестничную площадку, он вступил в царство кооперативного сна, который струйка за струйкой просачивался сквозь щели из квартир, сливаясь в восхитительной грезе о мире и благоденствии. Неудовлетворенные дневные желания кооператоров расцветали удивительными красками фантастических видений. В пространстве плавали сны о моющихся обоях и электронных задвижках, об импортных гарнитурах и горнолыжных креплениях, о чашечках, щеточках, подметочках, каблучках и хрустальных башмачках. Кооператорам снились бывшие возлюбленные, которые в их объятиях внезапно превращались в грозных жен; им снились олеандровые рощи и шашлыки по-карски в романтических предгорьях, где усатый чеченец, блестя кинжалом, свежует молодого барашка. Иные из самых смелых оказывались во снах за границею и въезжали в Париж с какой-то упоительной высоты под музыку композитора Франсиса Лея. Среди приятных снов темными облачками проплывали и кошмарные: выговоры с занесением, протечки в ванной, утеря членского билета. Но они не могли нарушить общей благоприятно-сонной картины.

В ущелье, как всегда по ночам, горели ртутные лампы. Автор шел в бледных лепестках собственных теней. Светилось лишь одно окно в первом этаже второго подъезда. Там, за неплотно сдвинутыми шторами, склонился над письменным столом Игорь Сергеевич. Бывший майор милиции ставил печати на бланках,

энергично выдыхая на штемпель и притискивая его к бумаге.

Внезапно с противоположной стороны ущелья донесся легкий цокот копыт, а вслед за тем появилась шагавшая навстречу сочинителю фигура человека в котелке и пальто, застегнутом наглухо. Человек свернул к тому же четвертому подъезду, куда направлялся автор. Они встретились внизу, у дверей лифта, с глухим гулом спускавшегося сверху.

Незнакомец был лет пятидесяти, с редкой бородой, впалыми щеками и худым лицом. Глубоко посаженные глаза тревожили затаенной мукой. Автору показалось, что он знает этого господина, но вспоминать не было времени. Подоспел лифт и с шипением распахнул дверцы.

Незнакомец учтиво посторонился, пропуская автора вперед. Затем зашел сам, повернулся к кнопочному пульту и глухо спросил:

— Вам какой?

— Мне безразлично,— ответил сочинитель, имея в виду, что, какую бы кнопку ни нажал попутчик, он либо поедет дальше, либо выйдет вместе с ним на последнем, девятом этаже.

Незнакомец секунду помедлил, а потом нажал на кнопку, рядом с которой стояла цифра «12». Лифт тронулся вверх. Автор вздрогнул от неожиданности, потому как три последних кнопки пульта, рассчитанного на двенадцать этажей, задействованы никогда не были. Попытка нажать любую из них не приводила к движению.

Лифт между тем неторопливо возносился вверх, а незнакомец, не меняя позы, глядел куда-то вбок в глубокой задумчивости. Прошла, казалось, вечность, прежде чем лифт остановился и дверцы, чуть помедлив, разъехались в разные стороны.

Сразу за ними открывался просторный холл, покрытый темно-вишневым ковром и освещенный бронзовыми светильниками, висевшими по стенам. У одной из них располагалась вешалка из оленьих рогов, резная корзина для тростей и зонтов и зеркало в дубовой раме. Все это автор заметил, еще не выходя из лифта, когда же вышел вслед за незнакомцем, то увидел справа распахнутые и тоже дубовые двери, ведущие в полутемное помещение, похожее при беглом взгляде на театральный зал.

Короче говоря, место, куда попал сочинитель, ничем не напоминало грязноватую лестничную площадку, украшенную изречениями на стенах, где обычно останавливался кооперативный подъемник.

Посреди холла стояла Сашенька, полчаса назад покинувшая автора. На этот раз она была, будто жрица, в греческой свободной тунике, перепоясанной золотым ремешком; из-под нижнего края туники выглядывали ее ступни в сандалиях, схваченные такими же золочеными ремешками. Лоб Сашеньки стягивала синяя атласная лента.

Она не показала вида, что знакома с автором, а почтительно, но с достоинством приняла из рук незнакомца котелок. Он занял свое место на оленьих рогах, где уже был ряд головных уборов самого разнообразного вида — начиная от фески и кончая небольшим лавровым венком. Незнакомец сам повесил свое пальто и предстал перед Сашенькой в скромном темном сюртуке и брюках со штрипками.

Из дверей зала вышел мистер Стерн в парадном камзоле и напудренном парике. На лице милорда изобразилось одновременно два чувства — приветливость и недоумение. Последнее явно относилось к соавтору.

— Добро пожаловать, Федор Михайлович! — милорд подошел к незнакомцу, и они обменялись рукопожатием.

Автор застыл на месте, пораженный, точно молнией, мгновенной догадкой. Он понял — с кем поднимался в лифте, и окаменел, готовый провалиться сквозь вишневый ковер.

— Проходите, прошу вас...— милорд указал писателю на двери зала.

Федор Михайлович направился туда, а милорд, взглянув на сочинителя, оставил на лице лишь недоумение, сопровождавшееся красноречивым жестом ладоней.

— Сударь, а вы как здесь? — тихо и не слишком любезно обратился он к соавтору.

Сочинитель не мог вымолвить ни слова, язык присох к нёбу. Мистер Стерн укоризненно покачал головой и обратился к молодой жрице:

— Сашенька, а вы куда же смотрели, голубушка?

— Простите, сэр Йорик, но они вместе приехали...

— Вместе? — недоумение милорда перешло в изумление.— Ну, тогда что ж...

— Милорд...— автор попытался собрать последние остатки гордости, но вышло обиженно.— Если я... так сказать... недостоин вашего общества... простите...

— Родной мой,— с отеческой нежностью обратился к нему Учитель.— Мы как раз сегодня решаем этот вопрос. Кто достоин, а кто недостоин. Но вы пришли слишком рано. Разве у вас готова рукопись?

— Нет,— покачал головой автор.

— Вот видите... Что же с вами делать?

— Посадим на приставных,— предложила вдруг Сашенька.— Места за креслами.

— Ну...— мистер Стерн развел руками.— Сашенька, у нас уже кворум. Через пять минут начнем вызов соискателей. Приготовьтесь к большой и не слишком приятной работе.

— Я готова, сэр Йорик,— кивнула она.

Сашенька нырнула в какой-то закуточек и вытащила оттуда кухонную облезлую табуретку о трех ножках, одна из которых подозрительно болталась. Она вручила табуретку сочинителю и повела его в зал.

Мистер Стерн вошел за ними следом.

Автор с молодой жрицей тотчас свернули влево, а милорд направился прямо по наклонной ковровой дорожке, спускавшейся вниз между мягкими креслами, расположенными амфитеатром. Кресел было штук сорок, в некоторых из них сидели зрители.

Жрица указала, куда поставить табуретку. Автор устроился рядом с крайним пустым креслом в последнем ряду амфитеатра, в боковом проходе, тоже спускавшемся наклонно. Сидеть на сломанной табуретке следовало с большой осторожностью, но автор понял, что перейти на соседнее пустующее кресло — нельзя. Кстати, весь последний ряд амфитеатра был свободен.

Впрочем, отсюда все было хорошо видно — и фигуры в креслах, и сцена, и даже часть холла с дверцами лифта.

Сцена представляла собою полукруглую площадку, нечто вроде алтаря, на котором находилась огромная серебряная чаша, похожая на вместилище олимпийского огня. И огонь пылал в ней тремя языками холодного синеватого пламени. Рядом с чашей стояла вторая жрица: Любаша Демилле. На ней была такая же туника и такие же сандалии, только атласная лента, перетягивавшая лоб, была алого цвета. В руках Любаша держала большие каминные щипцы.

Правее, в глубине алтаря, у самой стены, выложенной силикатным кирпичом «в шашечку», как весь кооперативный дом, располагалось нечто вроде низкого неказистого пьедестала высотою не более метра, сделанного из железа и выкрашенного в унылый шаровой цвет. На пьедестал вела деревянная приставная лесенка. С другого боку из пьедестала торчала железная рукоять, рядом с которой тоже дежурила жрица с белой повязкой на лбу. Эта была Ирина Михайловна Нестерова.

В первом ряду амфитеатра, разделенного центральным проходом, в глубоких мягких креслах, обтянутых золотистым бархатом, сидели: справа — глубокий старик с крупными чертами лица и седыми волнистыми волосами. Он был одет в греческий хитон, из которого по локоть высовывались жилистые загорелые руки, державшие посох. Судя по всему, старик был незряч, взгляд его упирался в стену чуть выше пьедестала.

Слева, через проход, полулежала в бархатном кресле маленькая легкая фигурка человека во фраке, будто выточенная из черного дерева. Кудрявые волосы и бакенбарды, острый профиль и живой насмешливый взгляд не оставляли сомнений касательно его личности.

Во втором ряду за ним, разделенные промежутками пустых кресел, восседали автор «Вия» в свободной блузе, старик с буйной разлапистой бородою и в косоворотке, вполне совпадающий со своим хрестоматийным изображением, и известный уже автору Федор Михайлович.

Еще выше, в третьем ряду, было занято всего одно место. Там сидел человек с длинным лицом и бесцветными глазами, похожий на старого волка. Автор не сразу узнал в нем любимого своего поэта.

Человек из четвертого ряда, сидевший в крайнем кресле у бокового прохода, не отличался здоровым видом. С жалостью и восторгом смотрел сочинитель на своего вдохновителя, на его прямые непокорные волосы, падавшие на лоб, на заостренный подбородок и тонкие губы. Он был моложе других, но именно его формулу использовал синклит бессмертных для испытания соискателей.

В правом крыле амфитеатра, за слепым старцем в хитоне, сидели четверо в старинных одеждах. Один из них был с орлиным профилем и лицом, будто вычеканенным из бронзы. Его лавровый венок, висевший

в прихожей, удостоверял, что ему удалось спуститься в ад и выйти оттуда живым. Рядом с ним сидел создатель рыцаря печального образа, а чуть поодаль — автор истории датского принца. Крайнее место занимал здоровяк с бородкой на пышущем румянцем лице, так похожий на своих великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. В третьем ряду находился всего один человек с черными, как смоль, буклями, тщедушный на вид. Сочинитель долго не мог понять — кто это, но потом догадался, что видит перед собою создателя крошки Цахеса.

Самому старому было более двух тысяч лет, самый молодой не насчитывал и девяноста. Каждый из них создал образы, перед которыми отступила смерть.

Мистер Стерн исполнял обязанности секретаря собрания. Он восседал за отдельным маленьким столиком, расположенным сбоку алтаря. Перед милордом на столике лежали какие-то списки, маленький колокольчик и толстый том, в котором автор узнал адресный справочник Союза писателей. Заняв свое место у столика, мистер Стерн повернулся лицом к присутствующим и объявил:

— Джентльмены! Ввиду того, что наше собрание достигло правомочного кворума в количестве двенадцати бессмертных, разрешите объявить заседание святейшего литературного синклита открытым!

Слепой старец кивнул, ударив посохом об пол.

Милорд позвонил в колокольчик на деревянной ручке и сделал знак рукой в сторону входной двери.

— Сашенька, запускайте!

Сашенька в холле нажала на кнопку рядом с дверцами лифта. Над кнопкой вспыхнула красная лампочка. Секунду погодя дверцы разъехались и выпустили в холл литератора Мишусина с пухлой папкой под мышкой.

«Наш пострел везде поспел!» — с неприязнью подумал автор, а Мишусин уже бодро трусил по ковровой дорожке к алтарю с жертвенным огнем. Вид у него был слегка встрепанный, но он хорохорился — мол, и не такое видали! Бессмертные обратили на него взоры; Мишусин раскланивался направо и налево; папку вынул из-под мышки и нес перед собою обеими руками.

— Сдайте рукопись,— предложил из-за столика мистер Стерн.

Мишусин огляделся по сторонам, но Любаша уже царственно протянула к нему ладонь, на которую мгновенно притихший Мишусин и положил свою папку.

Жрица покачала рукою в воздухе, как бы взвешивая труд Мишусина, и неторопливо направилась к жертвенной чаше, держа в другой руке железные щипцы. Мишусин, затаив дыхание, следил за нею.

— Пройдите на эшафот,— предложил милорд, показывая рукою по направлению к пьедесталу.

При слове «эшафот» лицо Мишусина передернулось и приняло плаксивое выражение. Однако он не осмелился перечить и, осторожно ступая, приблизился к деревянной лесенке. Ирина взяла его за руку и возвела на железный пьедестал, сама же заняла место у рукояти.

Любаша тем временем развязала тесемки папки, прислонив щипцы к чаше, и прочла название:

— «Седьмой блюминг». Роман... Папку оставить? Может, пригодится?

Мистер Стерн кивнул. Любаша распахнула над огнем папку, и листы рукописи скользнули к язычкам пламени, на лету загораясь и покрывая днище чаши горящими лоскутами. Любаша деловито взялась за щипцы и перемешала горящие листы. Огонь занялся так ярко и споро, будто роман был пропитан бензином. Мишусин же, стоя на пьедестале, бормотал:

— Рад возможности... так сказать... лицом к лицу...

Через секунду все было кончено. Роман Мишусина сгорел без пепла, оставив лишь облачко серого дыма, которое взлетело к потолку и там исчезло в вентиляционной решетке... Бледный, как рукопись, Мишусин стоял ни жив ни мертв на фоне кирпичной кладки.

— В Лету! — объявил мистер Стерн, оглядев классиков.

Слепой старейшина с силою ударил об пол суковатым посохом, и Ирина Михайловна двумя руками нажала на железную рукоять.

С лязгом упала под ногами Мишусина крашеная крышка люка, и он провалился вниз, исчез, как облачко дыма в вентиляции, проследовав, правда, в противоположном направлении. Несколько секунд был слышен характерный грохот, сопровождающий падение груды хлама в мусоропровод,— удаляющийся лязг, шум, шуршание на фоне долгого, как паровозный гудок, вопля несчастного. Все завершилось глухим страшным ударом где-то далеко внизу, после которого наступила мертвая тишина.

Мистер Стерн опять позвонил в колокольчик.

На этот раз из лифта выпорхнул молодящийся поэт,

бывший когда-то любимцем публики, с растрепанной пачкой стихов в руках. Скользнув по наклонной дорожке к алтарю, он поцеловал Любаше ручку и легко взбежал на пьедестал, как на место, казавшееся ему привычным. Раскланявшись, он сделал жест рукою, но лишь только начал читать стихи, как его рукописи под стук посоха старца обратились в пепел и поэт последовал туда же, куда и Мишусин. Несколько секунд из открытого люка доносились его строчки, нараспев произносимые на лету, а потом крышка заняла прежнее положение.

А по ковру уже солидно двигался главный редактор толстого журнала с густыми бровями на розовом лице, которое можно было бы назвать красивым, если бы не маска самодовольной значительности, которая к нему приросла. Автор узнал его — именно он когда-то поставил на его рукописи резолюцию «для стенгазеты». Теперь автор не без удовлетворения смотрел на его казнь. Редактор с достоинством протянул Любаше тоненькую папку и, повернувшись к бессмертным, оглядел каждого.

— О вас мы печатали... И о вас... Серьезные исследования. Юбилейные даты...— под эти слова он начал восхождение на крышку мусоропровода.

Любаша откинула в сторону ненужную папку, объявила название: «Невыдуманные рассказы» — и швырнула их в огонь. Рассказы горели с копотью и неприятным запахом, похожим на тот, что бывает, когда горит резина. Обвиняемый встретил приговор с удивлением, пытаясь апеллировать к суду, но милорд прервал его:

— Выдумывать надо, милейший!

И главный редактор рыбкой скользнул вниз, задев бровями край люка.

Следующей возникла странная измятая фигура прозаика, который излишне долго задержался в холле — кажется, приставал к жрице. Но, отшитый Сашенькой, все же оказался на эшафоте, где стоял нетвердо, норовя упасть. Отличительной особенностью его рукописей были орфографические ошибки в названиях повестей и запах коньяка, распространившийся в зале, когда они горели. Он что-то бормотал, кому-то угрожал и довольно-таки накалил атмосферу; когда же проваливался, успел выставить локти и застрял в люке, так что Ирине пришлось согреть его каминными щипцами, одолженными у Любы, после чего прозаик канул в небытие.

Милорд вновь потряс колокольчиком. Сочинитель взглянул в сторону лифта и инстинктивно втянул голову в плечи. Там толпилось литературное начальство с фирменными папочками в руках. Они улыбались жрице и расшаркивались, будто их ждал прием в консульстве, затем проследовали к алтарю все трое: впереди небольшой пузатый человек с красным лицом и маленькими заплывшими глазками, за ним — молодой с аккуратной гривкой и при галстуке, а следом — женщина с восковым лицом старой куклы.

— Саша, я просил по одному! — крикнул милорд жрице.

— Эти по одному не ходят, сэр Йорик! — отозвалась Сашенька.

Толстячок полез здороваться за руку со старейшиной, но слепец посмотрел сквозь него невидящими глазами, и ладошка начальства повисла в воздухе. В рукописи оказались стихи, которые сгорели, не успел он дойти до эшафота. Однако на эшафоте толстячок вдруг принял из рук молодого бумагу, развернул ее и начал читать приветствие святейшей литературной инквизиции, в то время как помощники стояли у ног в почетном карауле. Но едва он прочитал первые слова: «Уважаемые юбиляры!» — как последние единодушно произнесли приговор и толстячок с листочком в руках исчез в люке. Помощники недоуменно переглянулись и, точно по команде, последовали за ним самостоятельно. Молодой человек с гривкой, сложив ладони на груди, прыгнул в отверстие головою вниз, а восковая кукла ловко перелезла через край люка и рухнула туда с дребезжанием и повизгиваниями, напоминавшими крики юной купальщицы, входящей в холодное море.

Следующим перед бессмертными предстал литературовед, просидевший всю жизнь в благословенной тени пушкинской славы. Любаша прочла название рукописи, посвященной исследованию некоторых фигур на полях пушкинских черновиков. Исследователь считал их искаженными портретами приближенных к государю людей. Рукопись была передана бессмертным и просмотрена самим автором черновиков. После короткого совещания мистер Стерн объявил:

— Александр Сергеевич говорит, что это кляксы!

Рукопись полетела в огонь, а литературовед — в люк.

Автор взглянул в сторону лифта и вздрогнул. В при-

хожей стоял его первый литературный наставник, к которому сочинитель носил свои юношеские стихотворные опыты, с благоговейным вниманием выслушивая его советы и наставления. Они давно уже не встречались, но автор сохранил в душе благодарность. Потому его сердце сжалось, предчувствуя зловещую процедуру.

Его учитель сильно постарел; сгорбленный и немощный, он мелкими осторожными шажками передвигался по наклонной дорожке навстречу гибельному огню. В руках его была папка — автор видел ее не раз,— куда он складывал лучшие свои стихи. Ни одно из них не было опубликовано. Очень часто в те далекие времена, говоря с учениками, он напоминал, что публикация не является целью сочинителя и, если творения того достойны, они непременно когда-нибудь увидят свет. Кажется, только теперь автор понял, за какое жестокое дело взялся,— когда увидел своего старика, ступенька за ступенькой одолевающего лесенку на эшафот.

Он отвернулся, чтобы не видеть казни. Как вдруг услышал возглас Любаши: «Не горит!».

Сочинитель взглянул на алтарь. В серебряной чаше с огнем, среди пепла сожженных рукописей, светился раскаленный прямоугольник бумаги с черными строчками на нем, написанными наклонным почерком учителя. Любаша ловко схватила щипцами листок и вынула его из чаши. Он потемнел, остывая, и строчки обозначились на нем золотыми буквами.

Любаша передала листок бессмертным. Каждый из них знакомился с текстом стихотворения и произносил приговор, определяя — сколько лет проживут эти стихи после смерти поэта. Наконец старейшина, утверждая приговор, проговорил: «Пятьдесят лет!». Ему с высоты двух тысячелетий этот срок, вероятно, казался мизерным.

Автор взглянул на поэта. Он плакал от счастья — и сочинитель понял эти слезы. Великое счастье — сохранить себя после смерти! Хоть на миг, хоть на месяц, хоть на несколько лет — но продлиться в мире, разговаривая с живыми и напутствуя их в скорбном движении к смерти. Даже короткая жизнь души зарабатывается пóтом и кровью, бессмертие же даруется тому, кто трудился, любил и не предавал себя...

Старый поэт сошел с эшафота, и обе жрицы алтаря — Ирина и Люба — под руки отвели его на дубовую скамью, где он остался сидеть, бережно сжимая листок

и перечитывая строчки, подарившие ему жизнь после смерти.

И снова один за одним спускались к жертвенной чаше соискатели бессмертия — молодые и старые, с толстыми романами и тоненькими рассказами, со стихами и очерками, драмами и комедиями. Густой черный дым валил к потолку, Любаша вся перепачкалась в саже; она приплясывала у жертвенного огня, орудуя щипцами — чистая ведьма! — и подкидывала в огонь новые и новые творения сочинителей. Пахло горелой бумагой, литераторы проваливались в Лету со скоростью курьерского поезда, так что Ирина натерла мозоль на ладони от беспрерывного нажимания на рукоять люка. Из лифта валом валил народ: иной раз прибывало человек по тридцать из какой-нибудь республики. Они устраивали на алтаре гомон, как на восточном базаре, жалуясь на плохое качество переводов, и один за другим исчезали в люке, отрываясь от своих тюбетеек.

Всех поразил прибывший из Москвы прозаик и секретарь, который плюхнулся в бархатное кресло для бессмертных и стал наблюдать, как горит его роман. Мистеру Стерну стоило большого труда убедить его взойти на эшафот, и он провалился в мусоропровод с удивленным лицом, потрясенный вопиющей несправедливостью.

Другой пытался уклониться от казни. С криком: «Я еще напишу!» — он побежал обратно к лифту уже после произнесения приговора, но сильно просчитался. Сашенька нажала кнопку, дверцы распахнулись, литератор вбежал туда, спеша к новому творению, но... лифта за дверцами не оказалось, и он рухнул в шахту с тем же воплем, что остальные — в мусоропровод.

Редко-редко какая-нибудь рукопись отказывалась гореть, раскаляясь добела на жертвенном огне. Тогда Любаша выуживала ее щипцами, а счастливый обладатель текста покидал эшафот и устраивался на дубовой скамье. Иной раз огонь щадил всего лишь одну страничку, стихотворную строку или отдельную метафору. Но и это давало автору право присоединиться к помилованным. Большинство получало от бессмертных льготу в пятнадцать — двадцать лет, некоторые дотягивали до пятидесяти; пожилой и любимый автором поэт, пришедший с гитарой, был пожалован целым столетием.

Бессмертные вели себя терпеливо. Скрытое презрение к продажному писаке сменялось столь же скрытым

состраданием к честному, но бесталанному сочинителю. Однако на приговор это не влияло. Тот и другой приговаривались к забвению.

Автор сидел ни жив ни мертв. Мысль о том, что он тоже должен был участвовать в этом шествии и нести к огню завершенные рукописи, не давала ему покоя. Получалось, что ему дали отсрочку до завершения романа, как он понял со слов милорда. Сочинитель представил, как падают в огонь все четыре части его сочинения, и старался угадать — имеет ли шанс хоть глава, хоть страница уцелеть в этом страшном пламени. Здесь уж не спасут связи с секретарем инквизиции, не спасет даже то, что автор сам выдумал эту процедуру. Все равно сгоришь, как миленький, в этом выдуманном тобою огне!

Он давно потерял счет времени. Жар от сгоревших рукописей мешался с жаром тела. Слезились глаза от дыма, вопли несчастных слились у него в ушах в один предупреждающий предсмертный крик. «Не пиши-и-и!» — будто кричали они, улетая в безвестность, между тем как роман тек, тянулся, влачился, приближаясь к концу, за которым ждало его огненное испытание.

В глазах померкло; автор упал с табуретки, потеряв сознание...

Глава 48.

ИСЦЕЛЕНИЕ

...Временами я всплывал из жаркого душного мрака с багровыми сполохами, озарявшими пространство под вéками — или под векáми?.. Пить хочу... пить...— и видел склонившиеся надо мною лица с выражением беспомощного участия. Ах, это бред, галлюцинации, как же я раньше не понял? Принесите губку, скорее!..— и вот уже холодные струйки стекают по лбу, смешиваясь с потом. Ну да, я болен, простудился, застудил душу, теперь температура.

Отыскивал начало в багровом бреду, точно шарил багром в колодце. Вода мягкая, податливая, если не быстро. Быстро не надо, потихоньку, потихоньку... Почему здесь Ирина? Зачем она мучает меня, является к месту и не к месту? Сейчас мне не до того, сейчас у меня температура. Сорок градусов в тени... Мне сорок лет и у меня сорок градусов. Это все водка виновата, мне не нужно было пить после убийства царя. Зачем я его

убил? Я просто хотел избежать простуды, кроссовки совсем развалились, даром что «Адидас»... Ледяные ступни.

Помню Александру; безрассудно с ее стороны являться после покушения на конспиративную квартиру. Что скажет Николай Иванович? Впрочем, все равно. Они приговорили меня к смерти, и вот я умираю. Самоубийство посредством ангины. Мамочка, почему я никому не нужен, даже тебе?

Александра пришла ночью после суда — последнее желание приговоренного к смерти. Меня трясло — от страха, любви, болезни. Это все одно и то же... Ирина, ты помнишь, как однажды в молодости я был в жару, а ты пришла с мороза? Ты показалась мне ледышкой; я гасил свой жар, утыкаясь воспаленным лбом в твою холодную грудь, и заразил тебя любовью. Через полчаса мы оба пылали, нашим теплом можно было отапливать небольшую квартиру в течение месяца. Но мы расходовали тепло слишком неэкономно, щели так и не заклеили — и вот результат... Я обнимал Александру, а видел тебя. Бедные женщины не знают, как часто, лаская их, любовники видят иные образы. Наверное, и у женщин так же, и тогда получается, что любят друг друга совершенно незнакомые люди, вернее — воспоминания. В этих квартирах каждую ночь укладываются спать друг с другом чужие воспоминания.

За жизнь без любви следует казнить.

Но какое моральное право имеют они казнить меня? Можно ли судить за бесталанность духа?..

Кровь закипела и кипит до сих пор; я слышу, как в ней взрываются белые пузырьки и бегут по венам, покалывая, точно шипучка. Я опьянен кипящей кровью. Мне надоела моя кровь с чуждыми добавками — инъекциями чужого духа. Они мешают мне жить.

Багровое зарево тяжелит веки, я не могу открыть глаза. Предки смешали кровь, и она закипела — бурлит пузырьками. Кровь кипит при сорока градусах Цельсия... Нет, это просто ангина. Мне осталось удалить гланды, все остальное мне уже удалили.

Утром пришел Николай Иванович. «Вы заболели?» Будто не знает, что я болен давно. Будто для того, чтобы в этом убедиться, нужен был ртутный столбик. Я еще понимал, что к чему, беспамятство пришло позже. Он увидел достроенный дом. «Никогда бы не подумал, что вы закончите его таким образом». Я сам бы не подумал.

Крыло террасы нелепо торчит в сторону. Когда я приклеил последнюю спичку, дворец мой завалился набок. Пришлось ставить подпорки. Дом на костылях, как вам это нравится? Но он не заметил подпорок, а может, решил, что так было задумано.

И в этот дом на костылях мы поселим ваших питомцев, Николай Иванович? Ах, как больно...

Я определенно что-то хотел выразить. Не получилось. Теперь меня казнят — и за дело.

Я хотел выразить любовь воспоминаний.

Мы разучились жить, но вспоминать еще умеем. Я никого не люблю — приходится еще раз признаться в этом,— но мои воспоминания умеют это делать. Любить — глагол прошедшего времени.

«Вы скоро выздоровеете, и все пойдет на поправку». Что — «все», Николай Иванович?

Ртуть — тяжелый металл. Чтобы поднять ее на такую высоту, надо постараться. Наверное, они испугались, когда я потерял сознание. Они думали, что «все пойдет на поправку». Но я и здесь оказался ужасным индивидуалистом. Я не желал поправляться. Вероятно, хотел избежать публичной казни, сделать вид, что все разрешилось естественным путем.

Когда я на короткий срок очнулся, то увидел у раскладушки новые лица. Это были мои соседи, супруги Завадовские. Ртутный столбик все еще пронзал градусник снизу доверху, как паста в шариковом стержне. Супруги плавали, точно в тумане, вокруг моей постели — сладкие, как малиновое варенье, которым они меня потчевали. Они тоже хвалили мой дом. Что за странность? — все его хвалят, но никто не хочет в нем жить... Потом Завадовские растворились в багровом сиропе, а вместо них возникли старички Ментихины, соседи по улетевшему дому. Старик держал меня за запястье, считая пульс, а старуха читала вслух «Моральный кодекс строителя коммунизма» — все заповеди подряд. «Человек человеку — друг, товарищ и брат...»

Где же вы были, друзья, товарищи и братья, когда я пропадал в ночных котельных и кладовках с мышами? Врете вы, уважаемые друзья, товарищи и братья! Никому нет до меня дела, а мне нет дела до вас. Все, что было святого, вы перевели в пустопорожние слова, произносимые загробным голосом у постели умирающего.

Впрочем, какой смысл спорить с галлюцинациями?

Потом явился Аркаша Кравчук. Он остановился

в дверях, теребя свою жидкую бороденку. «Я иду к тебе, Аркадий. Ты меня ждешь?» — вымолвил я, но он мягко покачал головою: «Нет, Женя, ты идешь на поправку. Знаешь, какие я там стихи написал? Гораздо правильнее, чем здесь». Он подошел к столику, дотронулся до башенки на спичечном доме. «А я не знал, что ты тоже сочиняешь. Это почти правильно, вот только терраса...» — «Но надо же им где-нибудь гулять?» — «Там нагуляются»,— сказал он, криво улыбнувшись, и вдруг превратился в лысого старика, одетого в выцветшую гимнастерку со Звездою Героя. «А мы с вами чем-то схожи,— с неприязнью проговорил он, осматривая мой дом.— Когда поедете в Швейцарию, не забудьте прихватить это сооружение. Ему там самое место».

Я понял, что это предсмертные мои видения. Озноб подбирался к сердцу, язык с усилием ворочался во рту.

Почему они не вызывают врача? Ведь я умираю.

Но вот явился врач с окладистой черной бородою, высоким и сильным голосом. Ему ассистировал мрачного вида субъект с глазами, сидящими у переносицы. Я стонал, раздирая горло, пока они, склонившись с двух сторон над кроватью, спорили о методах лечения. «Я думаю, нервный шок, Всеволод Владимирович, вы согласны? Ваша компетенция позволяет вам отличить больного от мертвого?» — «Вы нашу конституцию не трогайте, Рувим Лазаревич! Взялись лечить — лечите!» Как вдруг они соприкоснулись лбами надо мною, и комнату озарила яркая вспышка. Точно вольтова дуга проскочила меж ними и сожгла обоих в огне взаимной ненависти. Только серый пепел повис в воздухе, оседая на куполах и башенках моего дома.

Теперь в комнате моей возникла Серафима Яковлевна с подносом ватрушек, Михаил Лукич нес за нею кипящий самовар. «Что же мы — не люди? — говорила она, обкладывая ватрушками мое творение, отчего оно стало похоже на торт.— Жить по-людски надо, вот и весь сказ. Воображаешь о себе много, заяц. Мы — черная кость, однако кое-что в жизни понимаем, и не тебе нас учить. Попей-ка лучше чайку с ватрушечками, зла я на тебя не таю, живи как знаешь... Но нас не трогай. Мы свое горбом заработали...» И лился крутой кипяток из краника, а Михаил Лукич важно кивал речам супруги, похожий на дьячка сельской церкви — вот-вот запоет «аллилуйю».

Я понял, что они пришли прощаться со мною —

знакомые и незнакомые, бывшие соседи, родственники, персонажи — моя семья, в которой я был уродом, потому что не желал понимать их законов, но не мог объяснить им свои. Я никогда не выздоровлю, Николай Иванович. Благодарю вас, Петр Лаврович...

Чья-то рука поднесла к моему лицу градусник, и я увидел страшную картину движущегося столба ртути, который, как лифт нашего дома, неудержимо поднимался вверх, пока не уперся в запаянный конец трубки. Он прорвал его и выплеснулся фонтаном блестящего металла наружу. Много раз вот так я мысленно пробивал крышу кооперативного дома, чтобы взлететь в небо, и каждый раз упирался во что-то.

Надо выйти за предел. Хотя бы однажды позволить себе выйти за предел.

Пружинки раскладушки пели подо мною на все лады — заупокойный клавесин по блудному сыну, погибающему в чужой квартире чужого дома.

Меня накрыло черное забытье, в котором вспыхивали разноцветные пятна, точно огни цветомузыки в баре «Ассоль». Жирная крыса в лакейской ливрее со стаканчиком коктейля, зажатым в цепких лапках, сидела за стойкой, топорща жесткие усы. Я кинул в нее ботинком, как папа Карло, но промахнулся.

Темнота рассеялась. Возникли очертания окна с кирпичной кладкой за ним — причуда больного архитектора. Вокруг раскладушки сидели мои интернациональные племянники, складывая из кубиков слова «Миру — мир!». Сама Любаша с грудным Ваней пристроилась на раскладушке у меня в ногах. «Он проснулся,— сказала она детям.— Поздоровайтесь с дядей». Дети стали говорить на разных языках. Я силился понять, но не мог. «Мы пришли за тобой, хватит тебе тут,— продолжала сестра.— Майор согласен. Тебе дадут новый паспорт с новой фамилией, можешь сам ее выбрать в телефонной книге, нельзя же так мучаться! Сашенька согласна. Конечно, она еще молода, но любит тебя...»

Что она говорит? Какая Сашенька? Бред, бред...

Мать появилась сзади со спичечным домом в руках. «Хорошо, что папочка этого не видит! Я его протерла, там столько было пыли — просто ужас! Как у тебя сейчас с деньгами? Вы слишком транжирите, надо уметь экономить на спичках... Ты матери никогда не слушаешься. К нам приходил участковый, предлагал хорошие фамилии. Сидоров, Спиридонов... Есть выбор».

Это хорошо, мама, что есть выбор. Я благодарен тебе, но ведь нужно нести свой крест. Я не умею экономить на спичках — смотри, какой дворец отгрохал! Жаль, что он заваливается набок, но ничего, есть еще время поправить. Или поправиться?

Градусник торчал под мышкой, из него не иссякая хлестала струйка ртути.

Так это же кровь моя, ставшая жидким металлом! Как я не догадался?! У тех, кто любить не умеет, в жилах течет тяжелая ртуть вместо крови.

Уйдите все! Я уже давно чужой вам, я ушел далеко, не пытайтесь меня вернуть. Я потерял дом, семью и паспорт. О последнем не жалею.

Все уже навестили меня, но где же мой сын? Где жена? Неужели состояние мое менее опасно, чем той ночью, когда она явилась мне в окне со свечою в руках?

Чья-то ладонь поднесла мне ко рту крохотную таблетку, и я послушно слизнул ее языком. Она резанула мои воспаленные гланды. Через минуту я начал проваливаться в липкий вязкий сон, я барахтался в нем, пытаясь выплыть, и уже на грани забытья увидел над собою лицо Ирины. «Теперь хорошо...— прошептал я.— Теперь простимся. Ты пришла слишком поздно. Минутой бы раньше».— «Он бредит»,— сказала она кому-то. «Нет, я ухожу. Я расплатился сполна за тот столик с шампанским и пирожными. За то, что считал предназначенность любовью, а это не любовь. Это выше любви. Я освобождаю тебя от любви, от предназначенности может освободить только Бог».— «Это не опасно?» — спросила она. «Опасно, милая. Как видишь, это опасно. Прошу только, никогда не приходи, даже в виде галлюцинаций. Я построил дом, но он упал набок. Ошибка в расчетах...»

«Я, пожалуй, пойду»,— сказала она, обращаясь к кому-то за моей головой.

«Постой,— сказал мой голос, потому что сам я уже провалился в черную трубу.— Ты ведь ничего не сказала о моем доме. Как он тебе?»

Она печально взглянула на меня.

«Красивая игрушка, что я еще могу сказать? Но я не стала бы в нем жить. Он слишком изящен и... ненадежен. Я предпочитаю более крепкие стены. Прости!»

«Ты свободна!..» — крикнул я из глубины забытья.

Все потухло, осталась лишь одна яркая точка, как на экране выключенного телевизора. Она единственная

соединяла меня с жизнью. «Нас трое, ты забыл?» — сказал извне мой голос. Звезда моя едва мерцала. Я впился в нее глазами, боясь, что она погаснет...

Не знаю, сколько времени я так провел — день, неделю, месяц? Как вдруг слабеющая звезда налилась яростью, задрожала — и взорвалась! Это был Большой взрыв — начало жизни Вселенной. Мгновенно пространство вокруг меня наполнилось светом, разлетающимся в разные стороны. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но знал, что жив и теперь буду жить новым.

Я открыл глаза. Первое, что я увидел, был щегол, прыгающий на столике вокруг спичечного дома и что-то поклевывающий — не остатки ли тещиной ватрушки? Сам спичечный дом показался мне маленьким жалким сооружением (почему-то он был покрыт пеплом). Тут же стояли скляночки с лекарствами на месте железного противня, противень же с серными головками оказался на полу у стены.

В комнате ничего не изменилось: тот же полумрак, пустота. У окна на фоне кирпичной кладки спиною ко мне стояли две фигуры. В одной я узнал Николая Ивановича. Он покачивался с пятки на носок, заложив руки в карманы пиджака. Рядом с ним стоял невысокий худощавый человек с короткой стрижкой, отливающей сединой.

— В плане следующей пятилетки,— услышал я его глуховатый голос.

— Потерпим,— кивнул Николай Иванович.

Я попытался пошевелиться, обнаруживая, что тело слушается меня, хотя и с неохотой. Услышав шум, стоящие у окна резко обернулись ко мне.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Николай Иванович.

— Никак,— слабо улыбнулся я.

Они подошли к раскладушке, вглядываясь в мое лицо.

— Это Игорь Сергеевич, председатель нашего Правления,— указал на невысокого человека Николай Иванович.

— Раз шутите — значит, дело на поправку пошло,— с улыбкой заметил Игорь Сергеевич.

Николай Иванович приложил свою огромную ладонь к моему лбу.

— Температуры вроде нет... Градусник-то разбился,— объяснил он мне.

— Чего вы хотите? Чаю? Поесть? — спросил председатель.

— Чаю.

— Сейчас я организую,— он поспешил на кухню.

— Ну, слава богу, оклемались! — с преувеличенной бодростью начал Николай Иванович, присаживаясь возле раскладушки на стул.— Мы прямо перепугались. Дело-то пустяковое — ангина, а как вас скрутило! Тут все дежурили по очереди. Все-таки я вам скажу, люди у нас хорошие. Если надо спасать человека — тут уж не смотрят...

— Какое сегодня число? — спросил я.

— Да конец уж декабря! Рождество по старому стилю. К Новому году будете как огурчик!..

Я лежал с закрытыми глазами, а надо мною гремел бодрый голос Николая Ивановича. И вновь я слышал слова об историческом прогрессе и ответственности каждого члена общества, но они почему-то проходили мимо. Я уже не любил своего прошлого, а без этого не мог полюбить и его прекрасное будущее.

Игорь Сергеевич принес на подносе три чашки, выставил на столик. Щегол бесстрашно крутился тут же, вертя головкой. Мы принялись пить чай молча и серьезно, будто участвуя в некоем ритуале.

— Вам не трудно будет, если мы прямо сейчас обсудим ваши дела? — спросил председатель.

— Пожалуйста, я готов.

— Мы решили принять вас в кооператив. Пока условно.

— Спасибо,— слабо кивнул я, удивляясь, насколько мне это безразлично.

— Вот и хорошо...— оживился он, облегченно вздохнув.— Я думаю, вы понимаете двусмысленность вашего положения. Надо получать паспорт, устраиваться на работу, становиться, наконец, нормальным членом общества...

— Но меня разыскивает милиция,— сказал я.

— Забудьте об этом. Вас уже разыскали.

— Вас ни в чем не обвиняют, кроме нарушения паспортного режима. Придется уплатить штраф,— пояснил Николай Иванович.

— Для этого меня и разыскивали? — попытался пошутить я.

Но мои духовные пастыри не желали шутить. Лица их остались серьезны, и даже печаль какая-то обозначи-

лась на них. Кажется, я вел себя не совсем так, как им хотелось.

— Можете устроиться на работу по специальности, хотя это и сопряжено... Вас ведь уволили по статье,— сказал председатель.

— Вот именно, за прогул,— объяснил Николай Иванович.

— ...А можете пойти на ставку в наш подростковый клуб. Будете учить моделированию,— Игорь Сергеевич кивнул на спичечный дом.

И тут я всхлипнул, как ребенок. Мне не дали умереть, зачем? Я все равно не смогу стать таким, как они хотят, я много раз пытался. Неужели они не видят, что я любил их всех без исключения? Я клеил свои спички, надеясь построить для них дом, где можно было бы жить по-человечески. Что из того, что у меня не было иного материала. Идея, идея важна, Николай Иванович! Разве в паспорте дело, Игорь Сергеевич? Там стоит французская фамилия и адрес улетевшего дома. Чем вы их замените? Я сам строил этот дом, мучительно привязывая его к сильнопересеченной местности, но он все равно улетел, потерялся. Что мне остается, кроме игрушечного дома, в который я вложил свою мечту, и та завалилась набок?!

— Ну, полно, полно...— с состраданием проговорил Игорь Сергеевич.

Я вытер глаза уголком подушки.

— Согласен на все ваши условия,— сказал я.

— Да поймите, мы вас ни к чему не принуждаем! — вскричал он в досаде.— Мы хотим, чтобы вы сами! Сами! Но в коллективе.

— Что я должен делать? — сухо спросил я.

— Нужно решить ваш семейный вопрос,— председатель извлек из кармана конверт.— Ваша супруга просила передать вам.

— Так,— сказал я, пряча конверт под подушку.

Они этого не ожидали, думали, по всей вероятности, что я тут же прочту письмо, поэтому в разговоре возникла пауза.

— Вот, собственно, пока все... Жду вас в Правлении,— сказал председатель, поднимаясь.

Они откланялись и ушли, как и положено уходить от больного,— на цыпочках.

Щегол влетел в клетку, стоявшую на подоконнике,— я только сейчас ее заметил. Я спустил ноги с кровати

и сделал по комнате несколько шагов по направлению к окну. Вдруг я почуял резкий запах пива, исходивший из открытой форточки. В ущелье между домами сыпались белые хлопья. Я с трудом влез на подоконник, подвинув клетку, и высунул голову в форточку. Вывернув шею, я поглядел наверх, где виднелась полоска чистого голубого неба. В этом небе, выбрасывая пенные струи из двух баков, мягко шел на снижение голубоватый пивной ларек.

Все возвращалось на круги своя, но я уже не мог возвратиться. У меня не было запасов горючего.

Долго я лежал потом в оцепенении, вспоминая путь и находя его, как ни странно, необходимым. В комнате давно стемнело. Щегол чистил клюв о прутья клетки, шурша и поскрипывая. Я вспомнил об Александре...

И только я подумал о ней, как в замке осторожно повернулся ключ и прихожая наполнилась шагами и шепотом.

— Кто там? — спросил я.

— Это мы,— раздался ее голосок, а вслед за тем в комнате появилась она сама, а за нею юноши. Один из них был с гитарой, на плече другого висел портативный магнитофон.

— Сегодня праздник. Святки,— сказала Александра.

Юноши бесшумно рассредоточились по комнате, усаживаясь прямо на полу у стен. Александра уселась на стул. Света не зажигали. Я узнал в темноте обоих сыновей Николая Ивановича, Петю Братушкина, других конспираторов. Юные революционеры вели себя предупредительно, переговаривались вполголоса.

— Будем пить чай,— сказал я.— Только чашек не хватит,— я почему-то чувствовал к ним любовь и благодарность.

— Ничего, мы по очереди,— отвечала Александра.

Один из братьев поднялся, собрал чашки и бесшумно удалился на кухню.

— Может быть, зажжем свет? — предложил я.

— Не надо. Мы будем гадать,— блеснув в темноте глазами, таинственно произнесла Александра.

Она принялась готовить гадание: достала откуда-то подсвечник со свечой, поставила его посреди комнаты. Сбоку поместила тарелку... Пока она готовилась, один из гостей включил магнитофон. Приятный мягкий голос запел под ритмичный аккомпанемент: «Она боится огня,

ты боишься стен. Тени в углах, вино на столе. Послушай, ты знаешь, зачем ты здесь? Того ли ты ждал? Того ли ты ждал!..» Я растерялся — настолько точно эти непонятные слова соответствовали моему состоянию. Резкие, бьющие по нервам звуки виолончели подхватили мелодию, жесткость ритма усиливалась, и вдруг — как освобождение — призывно мягко полился тот же голос: «Я не знал, что это моя вина. Я просто хотел быть любим, я просто хотел быть любим...»

— Что это? — спросил я ошеломленно.

— Это вы не знаете,— ответил хозяин магнитофона.— Наша музыка.

Александра велела выключить музыку и зажгла свечу. Пламя озарило лица подростков.

В руках у Александры оказался лист бумаги, покрытый записями. Она скомкала его и поднесла к пламени свечи. Бумага занялась, Александра бросила пылающий комок на тарелку, где он вспыхнул, корежась, а когда остался лишь хрупкий пепел, на стене обозначилась его тень. Она была похожа на голову ребенка в кудряшках.

— Бэби,— сказал кто-то из парней.

Все дружно грохнули хохотом. Александра смутилась, принялась трактовать иначе. Следующий гадальщик зажег свое бумажное счастье, и оно запылало на тарелке на месте пепельного будущего Александры.

— Танк,— определил Петр по тени.

— В армию загремишь, не иначе!

Я заметил, что листки, которые жгли подростки, были покрыты тайнописью Николая Ивановича — шифром его конспиративных наставлений, превращавшихся под огнем в тени домов, станков, деревьев, ракет, тюремных решеток, переплетенных обручальных колец, гитар, мольбертов, поездов, самолетов. Здесь были все варианты будущего: счастливые и трагические судьбы, женитьбы, разводы, профессии. Александра с жадностью всматривалась в каждый новый призрак будущего, в то время как я все более отъединялся от молодых, понимая, что и здесь нет мне места, как не было его нигде во время моих скитаний.

Я все еще был обременен прошлым, как они — будущим. Необходимо было избавиться от него.

Вдруг наступила тишина. Я почувствовал, что все смотрят на меня. Свеча таяла в подсвечнике, колебля жалкий огонек.

— Теперь вы...— произнесла Александра, и голос ее дрогнул.

И тогда я, зная, что иначе нельзя, нашарил под подушкой конверт жены. Я поднес его к огню, не комкая. Уголок коверта обуглился, округляясь черной каймою. Гори, последнее письмо! Мне так и не узнать, что хотела сказать Ирина, как не вспомнить уже — когда мы последний раз были близки. Пускай это останется тайной.

Письмо горело в руках, огонь подкрадывался к пальцам.

— Бросайте! Бросайте! — не выдержав, закричала Александра.

Я швырнул горящий конверт на противень с горой серных головок. Столбом взметнулось пламя, отбросив тени подростков, точно взрывом, по сторонам. Я увидел их испуганные лица и, не раздумывая, схватил спичечный дом за луковку церкви — и метнул его в огонь.

Александра инстинктивно кинулась к нему, желая вырвать дом из огня, но я схватил ее за руку и с силою потянул назад.

Дом полыхал в костре, треща перекрытиями, башенками галереями, переходами. Причудливо изгибались балки, перекручивались спички, отделяясь одна от другой и обугливаясь. Подростки завороженно смотрели на пламя. Лица у них были, как тогда, в момент произнесения приговора.

Казнь свершилась... Дом дотлевал долго, в полной тишине. Гасли одна за другой спички, исчезали на углях розоватые светлячки жара... Расхристанный, вывернутый огнем наизнанку дворец топорщился на черном противне, а причудливая его тень, занимая полстены, взмахивала черным крылом.

Я всмотрелся в эту тень и наконец увидел.

ЭПИЛОГ

...И увидел он, что живет в своем доме — и другого нет у него.

Он перевел рычажок освобождения бумаги и вытянул наполовину исписанный лист из каретки. «Вот и все»,— подумал он безразлично и, не перечитывая написанного, подложил этот лист под высокую стопку бумаги, которая именовалась черновиком. Внешне ничего не изменилось, но он знал теперь, что работа закончена. Перед ним лежал его роман, с которым он

боролся не на жизнь а на смерть — девять месяцев подряд вынашивал его, как ребенка, и вот он готов.

Он окинул взглядом пустую комнату и в первый, кажется, раз удивился тому, что живет здесь — в одиночестве и нищете. Работа, которая внутренне сблизила его с кооператорами — ибо для кого же он писал, если не для них? — на самом деле изъяла его из обращения, как монетку старого образца, погрузила в бездны одиночества, лишила родственных и дружеских уз. Он сгорел в собственном пламени, как спичечный дом, что пылал на святки жарким костром, а теперь, как памятник самому себе, топорщится пучком обгорелых спичек на постаменте из спекшихся серных головок.

Даже теперь, когда он точно знал, что строительство завершено и он навсегда обречен жить в этом доме среди созданных им персонажей, он не спешил к ним, не пытался разорвать свое одиночество, медлил. Ему казалось, что он отринут навеки. От него отказалась жена; так же поступят все, кто прочтет его сочинение и сочтет его лишь красивой игрушкой, не захотев узнать себя и собственный дом — а другого нет у него.

Их суд он еще мог бы вытерпеть, но как пройти испытание священным огнем, в котором сгорали и не такие крепкие вещи, как его игрушечный дом, склеенный из самого что ни на есть обиходного материала? Потому он не спешил, сознавая, впрочем, что никуда ему не деться, он сам сдастся судьям, а тут уж не отделаешься штрафом за нарушение паспортного режима.

Еще вчера он мучительно подгонял одно слово к другому, вспоминая тот вольный, искрящийся их поток, который когда-то весною вырвал из души жалкие клапаны осмотрительности, робости, неверия и заставил его громоздить кубики в веселой лихорадке творчества. Тогда не было ничего, кроме странного проекта, куда он захотел уместить все, что знал о себе и собственном доме; теперь же в каждой ячейке жили близкие ему люди, готовились к встрече Нового года... У Завадовских жарился гусь; аппетитнейший запах поджаристой кожицы дразнил голодного сочинителя, но он упорно, хотя и медленно, продвигался к концу, неся на плечах созданную им громаду.

Аля-Сашенька-Шурочка забежала к нему после полуночи с яблочным пирогом, завернутым в крахмальное полотенце. Они выпили шампанского, за то, чтобы Новый год принес ему покой, а ей — радость. Она с жа-

лостью взглянула на черные угольки спичечного дома, а он, перехватив ее взгляд, вновь вспомнил огонь священного алтаря. Хорошо, если останутся хоть угольки! Может сгореть и дотла, без дыма — испарится, будто ничего не было.

Где-то неподалеку, в другом подъезде, на девятом этаже, сидели у новогоднего телевизора его жена и сын. Он издали сердился на жену, что она не укладывает ребенка спать — уже поздно! — но и поделать ничего не мог, ибо они тоже стали персонажами его романа, а персонажу хоть кол на голове теши — он сделает по-своему. Не то, что живой человек, которому можно объяснить, в крайнем случае, заставить. По-человечески ему хотелось к ним. То-то будет сюрприз!.. Но и над собою он не был волен, даже им распоряжалась его история. Нельзя было допустить, чтобы человеческая слабость исказила правду вымысла.

Посему он стучал по клавишам машинки, как всегда, одним пальцем, подбираясь к описанию новогоднего праздника, тогда как сам праздник уже бушевал на этажах кооперативного дома. Соседи ходили друг к другу в гости, носили пироги и закуски, целовались, чокались бокалами... Никто не вспоминал об авторе — и совершенно правильно! — никому он не был нужен, кроме выдуманной им юной ученицы.

Старый джентльмен, его собеседник в долгих раздумьях над романом, тоже измысленный от тоски одиночества, уже накинул старую потрепанную суперобложку и занял свое место на полке рядом с друзьями — Свифтом, Смоллетом, Филдингом. Ему есть что рассказать почтенным писателям.

Что же осталось, милые дамы и господа? Запах сгоревшей серы, стопка исписанных листов, навеки разбитая жизнь... Не так мало, дамы и господа.

Он совершенно не представлял — что следует теперь делать. Паспорт, прописка, семья, работа... Материал для нового романа? Эта мысль показалась ему чудовищной. Он только что освободился от прошлого, зачем же снова накапливать его в мучительной суете бытия, твердо зная, что человеческое счастье недоступно ему.

И все же пора было возвращаться из добровольного изгнания к своему коту, к библиотеке и письменному столу, в квартирку, что смотрит дверь в дверь в жилище улетевшей от него семьи. Он специально поместил себя там, чтобы напоминать о своем существовании. Пово-

дом послужила опечатка в справочнике Союза писателей, том самом, что лежал перед секретарем литературной инквизиции. Он останется для жены и сына соседом-сочинителем, стареющим холостяком, выводящим на прогулки ленивого рыжего кота, но никогда уже не соберутся у него на квартире таинственные фигуры в одеяниях прошлых веков, потому что эта история кончилась, начнется другая.

Он заметил, что в раздумье кружит по комнате вокруг некоего центра, каким был черновик. С ним надо было что-то делать, хотя бы перечитать для начала, но и это было непросто. Когда же он подумал о редактуре, цензуре, критике, то совсем приуныл, находя положение безнадежным. Впрочем, тут же забрезжил выход — гордый и в то же время трусливый. А что, если сразу передать рукопись в инквизицию, минуя читателей? Сгорит так сгорит, на нет и суда нет, он играл на крупную ставку, а если что-то останется, то можно помирать спокойно. «Пан или пропал?» — спросил он щегла, на что щегол всем своим видом резонно показал: неизвестно еще — кто является паном в данной ситуации. «Ты прав, как всегда,— продолжал он размышлять вслух,— ибо даже если я пройду инквизицию, кооператоры не увидят романа, следовательно, я все равно пропал...» И тут он вспомнил об Александре, которая читала его рукопись вплоть до новогодней ночи, терпеливо дожидаясь, когда очередная страничка покинет машинку. «Этого вполне достаточно!» — заявил он щеглу, ибо писал не для славы, не для триумфа и поклонения со стороны кооператоров, хотя они и были бы приятны, а для того, чтобы хоть один человек понял его правильно и узнал истинные свойства его души, порядком затемненные скитаниями блудного сына и мужа.

Решив так, он принялся готовить рукопись к сдаче. Напечатал титульный лист, положил его сверху, не без труда подровнял стопку, еще раз полюбовавшись ее толщиной — неужели все это написал он? — и начал озабоченно рыскать по квартире в поисках подходящей упаковки. О папке нужного объема нечего было и мечтать: такие папки давно не выпускаются промышленностью, на них нет спроса. Он кое-как завернул рукопись в газету «Советская культура» и засунул тяжелый пакет в полиэтиленовый мешок. Одевался он уже в лихорадочной спешке; его вдруг затрясло, как во время болезни. Он натянул шерстяные носки и усилием

засунул ноги в заскорузлые кроссовки, высохшие на батарее до состояния полного окаменения. После болезни он впервые покидал свое жилище. Застегнул молнию на куртке, нацепил вязаную шапочку, взял в руки мешок... «Присядем на дорожку?» — предложил он щеглу, чуть заикаясь от волнения. И, не дожидаясь ответа, уселся на раскладушку. Звонко скрипнули пружинки.

Автор хлопнул себя по коленкам и поднялся с шумным вздохом. Идти на суд не хотелось. Процедура все же неприятная, особенно если участвуешь в ней, стоя на эшафоте.

Он вышел на лестницу и почувствовал, что ноги слегка подкашиваются. Он заставил себя спуститься вниз и вышел в ущелье, запорошенное чистым снежком. Снежинки, падая, искрились в голубоватом свете ртутных ламп. Он направился к четвертому подъезду, как в ту ночь, почему-то не сомневаясь, что судьи терпеливо ожидают его у алтаря, и так же пылает жертвенный огонь, и жрица дежурит у люка мусоропровода.

Войдя в подъезд, он первым делом покосился на выпирающую из стены трубу, ведущую вниз, под пол. По ней в этот момент с грохотом и лязгом пронеслась с высоты очередная порция мусора. Или, быть может, это был его коллега, тоже получивший отсрочку, своего рода пролонгацию, и теперь вместо одобрения свергнутый с Олимпа во мрак небытия?

Он вызвал лифт, и пока тот спускался, отошел к висевшей на стене доске объявлений Правления. Ему в глаза бросился обведенный траурной рамкой некролог с двумя фотографиями — Серенкова и Файнштейна, членов Правления, погибших, как явствовало из некролога, в результате трагического случая. Он ошеломленно принялся читать этот общий некролог, написанный весьма странным образом — в параллель — так что в одной фразе упоминалось сразу об обоих: тот родился тогда-то, а этот тогда-то... тот учился там-то, а этот там-то... Оба члена Правления, объединенные траурной рамкой, выглядели похожими, как родные братья. Они и умерли в один день. Смерть наконец-то примирила их.

Досадуя, что этот факт не смог найти себе места в романе, и, конечно, посочувствовав беднягам, хотя относился к ним без особой симпатии, автор еще раз порадовался жизни, которая богаче любой выдумки. Как вдруг из дверей подъехавшего лифта вышла со-

седка Сарра Моисеевна, а за нею — кот Филарет, похудевший и жалкий.

— Ах, это ви,— конечно, сказала соседка и тут же без умолку начала рассказывать про кота, который стал бездомным, мяучит на лестнице, скребется в закрытые двери и вообще перешел на содержание Ментихиных и ее, Сарры Моисеевны.

— Таки это живой котик,— сказала она печально, и сочинитель почувствовал глубокий стыд.

Он взял любимца на руки, погладил его, прижал мордочкой к своей щеке. Соседка, переведя взгляд на некролог, тут же рассказала подробности трагедии. Члены Правления погибли в автомобильной катастрофе по дороге на Приозерск. Один ехал в город, другой — из города. Файнштейн был на «Жигулях», Серенков — на «Запорожце». Был страшный гололед, оба пытались увернуться от столкновения, но их влепило лоб в лоб...

Автор выслушал эту историю, холодея. Он вспомнил свои галлюцинации. Роман продолжался помимо его воли, дописывал себя сам — и если ранее это было лишь красивой отговоркой со стороны автора, ибо стучал по клавишам машинки все-таки он, больше было некому, то сейчас, когда готовая рукопись лежала в мешке, а роман продолжался в жизни, это был совсем другой коленкор, как говорила матушка сочинителя.

— Ви на утренник? — спросила соседка, увидев, что автор с котом входит в лифт.

Он не понял, но кивнул, лишь бы отстала. Дверцы с шумом съехались, когда он нажал на кнопку двенадцатого этажа. Это послужило доказательством, что ничего не изменилось по сравнению с той ночью.

Стенки кабины, расписанные на космические темы, как и прежде, были усеяны надписями. Стенгазета кооператоров продолжала жить. Однако тематика сильно изменилась. Автор уже не нашел нецензурщины, отсутствовали и черносотенные лозунги. Зато общественно-политических высказываний прибавилось. Чувствовалось, что гражданская активность кооператоров сильно выросла в сравнении с весною. «Да здравствует Рыскаль!» — крупными буквами было начертано над пультом. «Я люблю Правление!» — гласила надпись напротив. Автор с улыбкой читал эти надписи, как вдруг наткнулся на фразу: «Рукописи горят». Чуть ниже женской рукой наискосок было написано: «За жизнь без любви следует казнить».

Это были фразы из его романа. Он тихо и счастливо рассмеялся, продолжая блуждать взглядом по исписанным стенам, и наконец наткнулся на длинный, почти до самого пола, столбец слов. Это были синонимы глагола «выпить», только здесь их было гораздо больше, чем у него, что лишний раз доказывало несравнимость талантов автора и народа.

Раздался мягкий удар, и лифт остановился. Чуть помедлив, разъехались и двери. Он ожидал увидеть за ними знакомый холл с темно-вишневым ковром, но на этот раз за дверями лифта открылось полутемное низкое помещение с бетонным полом и бетонным же потолком. Он несмело вышел наружу, крепче прижал кота к груди и с минуту постоял, давая глазам привыкнуть. На полу разглядел он мусор, какие-то доски, сломанную мебель и понял, что попал на чердак собственного дома. Это озадачило его, но отчасти и вдохновило, поскольку события развивались, хотя и непредсказуемо, зато вполне в духе его фантазий. У автора была маленькая литературная слабость. Он любил заканчивать свои истории на крыше — в этом видел символику, а критики — многозначительность. Но он все равно не мог избавиться от этого недостатка. Даже теперь, сознательно избежав его в романе, он нарвался на него в жизни. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет»,— подумал он и побрел по чердаку, надеясь повстречать что-нибудь более интересное, чем отслужившая мебель.

И действительно через несколько шагов он увидел приоткрытую железную дверь с яркой полоской щели, окутанной зимним морозным туманом. Филарет беспокойно зашевелился у него на руках, но автор бесстрашно шагнул к щели и толкнул дверь ногой.

Из проема хлынул на него яркий свет, настоянный на морозном воздухе с игольчатой снеговой пылью. Тогда он, испытывая непонятное счастье, шагнул на крышу.

Плоская, покрытая сухим снежком, с низкими кирпичными трубами вентиляции, восемью антеннами коллективного пользования и невысоким каменным ограждением по краям, крыша простиралась далеко и была на удивление просторна, точно палуба авианосца. Но главное было не в этом. Крыша полна была народу: огромная толпа кооператоров в нарядных зимних одеждах теснилась вокруг высокой новогодней елки, расположенной где-то в районе второго подъезда. Елка была

украшена игрушками, гирляндами и серпантином, а на ее верхушке горела красная электрическая звезда.

Чуть сбоку, укрепленный между опорой антенны и высокой лестницей-стремянкой, трепетал на ветру транспарант «Да здравствует воздушный флот!». По краю крыши, вдоль кирпичного парапета, выставлены были переносные металлические заграждения, что часто используются для организации общественного порядка во время массовых скоплений. Особенно много было на крыше детей всех возрастов. Маленькие стояли, чинно держась за руки родителей, а те, что постарше, норовили побегать, но были отлавливаемы подростками из клуба Николая Ивановича и водворяемы на место.

Рядом с елкой возвышался голубоватый пластиковый ларек, в котором сидела тетя Зоя. Надпись за стеклом гласила: «Пива нет». Тетя Зоя вела бойкую торговлю квасом.

Над этой мирной картиной в бездонной блеклой синеве зимнего неба сияло круглое маленькое солнце. Свежий ветерок взбивал снежную пыль. В воздухе пахло апельсиновыми корками, которые тут и там горели на снегу, запорошившем крышу.

От колючего ветра и растроганности у автора на глаза навернулись слезы. Он почувствовал себя отцом этого многочисленного семейства, хотя на самом деле был его блудным сыном. Он медленно побрел к кооператорам по мягкому снегу, выпустив из рук рыжего, как апельсин, кота, который важно шествовал впереди, задрав пушистый хвост.

И вдруг словно вихрь налетел на автора. Это сын его, обернувшийся первым, подбежал к нему, взметая снежную пыль, и повис на руках, болтая в воздухе валенками. Сочинитель стиснул его в объятиях, поставил на ноги, и они молча пошли рядом к толпе, в которой многие уже обернулись на него, разглядывая кто с любопытством, кто с жалостью, кто с неприязнью или недоумением. А он неуверенно приближался к ним с мешком в руке, как Дед Мороз, приготовивший новогодний подарок.

Впрочем, Дед Мороз уже был под елкой — с бородой, в шапке и красной шубе. Он был невысокого роста, щупловат. Сочинитель узнал в нем Рыскаля. Рядом с ним возвышалась пышная Снегурочка, роль которой исполняла Клара Завадовская.

Рыскаль тоже заметил приближающегося блудного

сына, ободряюще улыбнулся ему: не робейте, милорд, подходите ближе!

Представление под елкой продолжалось; автор стоял в задних рядах рядом с сыном, не выпускавшим его руки. Мешок с рукописью он положил на вентиляционную трубу, а сам жадно вглядывался в лица.

Он увидел жену, а рядом — инженера Вероятнова в пыжиковой шапке; инженер был с дочкой. В первых рядах стояли и сестра с полным выводком интернациональных племянников, и матушка, постаревшая от павших на нее невзгод, и дочь генерала с сиротским мальчиком, прятавшимся под полою ее шубки, и семья Николая Ивановича Спиридонова.

Сочинитель радовался тому, что его история собрала их вместе на общем семейном празднике и даже оказалась столь щедра, что присоединила его к ним. В морозной пыли, вихрем взметнувшейся с парапета, он увидел вдруг маленького ангела с крылышками, который сидел на краю и болтал в воздухе босыми пятками.

Автор осматривал кооператоров придирчиво, как портной глядит на костюм, впервые надетый заказчиком. Нет, он не был полностью удовлетворен: кое-где морщило, поджимало, волнилось... Но носить можно.

Можно снести все, если знать — зачем.

Ему казалось, что теперь, пройдя через испытания, они знают — зачем и для чего живут в столь странном доме, но... так только казалось. На самом деле, они не видели смысла в испытаниях, а просто жили, суетились, боролись, влюблялись, рожали детей. Он же, видящий смысл, был лишен жизни.

Александра незаметно подобралась к нему и встала рядом. Сын взглянул на нее строго, но ничего не сказал. Она шепнула: «Хорошо вы это устроили...» — и потерлась щекою о его плечо.

А под елкой дело приближалось к апофеозу. Появился медведь с коробкой, откуда извлекли целый ворох бумажных пакетов с бенгальскими свечами. Дворники деловито раздавали серые стерженьки на железных прутьях детям и их родителям. Через минуту у всех кооператоров были бенгальские свечи.

— Зажжем нашу красавицу-елку! — провозгласила Клара охрипшим от ветра голосом.

Дворники подожгли свои свечи — у каждого было по пучку — и ринулись в ряды зрителей, раздавая на-

право и налево рассыпающиеся искрами огни, от которых зажигались новые свечи. Кооператоры торопились зажечь свои огоньки и помочь зажечь соседу.

Автор увидел вдруг, что над головами кооператоров в небе плывет бумажный голубь, испещренный мелкими значками. Ветер подхватил его и бросил за парапет, в сторону заснеженных крыш, которые уходили далеко-далеко, теряясь в морозной дымке. Он увидел второго, третьего голубя... Целая стая бумажных голубей кружилась над толпою кооператоров с горящими свечами в руках.

Автор оглянулся. У вентиляционной трубы, где он оставил свой пакет, сгрудились мальчишки — Шандор, Хуанчик, Митя. Среди них был и его сын. Перед ними на кирпичах лежала расхристанная рукопись. Они сворачивали бумажных голубей из ее листов и с восторгом швыряли их навстречу ветру.

Бумажные голуби романа плыли над городом, опускались на крыши, скрывались в ущельях между домами, садились на балконы и карнизы окон. Город втягивал их в себя, перемешивая с пургою, бросал на мостовые и в Неву, мял под колесами автомашин... «Как славно! — подумал автор.— Такого мне вовек не придумать!». И увидел рядом лицо Александры — она стремилась к нему с горящей свечою. Он поджег свою свечку от ее огня и, следуя примеру кооператоров, поднял искрящийся снопик над головой.

— Елка, зажгись! — скомандовал Дед Мороз.

Елка вспыхнула огнями — красными, синими, белыми, зелеными... Дети закричали, захлопали в ладоши. Бенгальские огни дотлевали в руках. Ветер кружил вокруг елки белые листы, покрытые мелкими буковками машинописи.

Кот Филарет, напуганный великолепием праздника, вскочил на трубу и выгнул спину. Маленький ангел поднялся и пошел по парапету чинной детсадовской походкой, догадавшись, что представление окончено.

Последний лист рукописи проплыл над крышей, ветер перевернул его, изогнул и бросил вниз, в ущелье между домами, успев показать сочинителю долгожданное слово:

КОНЕЦ

Ленинград
1979—1985

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ПЕРЕПОЛОХ

ПРОЛОГ 5
Глава 1. НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ 22
Глава 2. НЕ ВЫГУЛИВАЙТЕ СОБАК НОЧЬЮ! 32
Глава 3. БЛУДНЫЙ СЫН 43
Глава 4. ПРИБЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦЕВ 58
Глава 5. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ 66
Глава 6. СМЯТЕНИЕ 76
Глава 7. ФАМИЛИЯ ДЕМИЛЛЕ 89
Глава 8. НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 102
Глава 9. ЖЕРТВА ТЕЛЕКИНЕЗА 113
Глава 10. НИТОЧКА РВЕТСЯ 123
Глава 11. МАЙОР РЫСКАЛЬ 130
Глава 12. НЕПРОПИСАННЫЙ ЛЕТУН 142

ЧАСТЬ II. СКИТАНИЯ

Глава 13. АРХИТЕКТОР ДЕМИЛЛЕ 157
Глава 14. ТЕОРЕТИКИ 169
Глава 15. ГЕНЕРАЛ НИКОЛАИ 180
Глава 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 190
Глава 17. БОЛЬШОЙ ПЛОВ 202
Глава 18. СУББОТНИК 217
Глава 19. ПЕРЕПИСКА С СОАВТОРОМ 233
Глава 20. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ 240
Глава 21. У НАТАЛЬИ 247
Глава 22. ПРАЗДНИК 264
Глава 23. МЕЦЕНАТ 277
Глава 24. НОЧНЫЕ БАБОЧКИ 287

ЧАСТЬ III. КРАХ

Глава 25. КОНТАКТ 313
Глава 26. СЕМЕЙСТВО НЕСТЕРОВЫХ 323
Глава 27. СУПРУГИ 337
Глава 28. КОМАНДИРОВАННЫЙ 346
Глава 29. ДАЧНАЯ ХРОНИКА 364
Глава 30. ПОСЛАНИЕ СОАВТОРУ 380
Глава 31. ФЕДОР ШУРЫГИН 388
Глава 32. РЕЙД 404
Глава 33. КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! 414

Глава 34. ПРОЩАНИЕ 429
Глава 35. ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ 437
Глава 36. ОФИЦИАНТ 440

ЧАСТЬ IV. **ПРЕВРАЩЕНИЕ**

Глава 37. ВСТРЕЧА СОАВТОРОВ 451
Глава 38. СПИЧЕЧНЫЙ ДОМ 463
Глава 39. ЕГОРКА 472
Глава 40. ИСПОВЕДЬ ЗАБЛУДШЕГО 483
Глава 41. ЛИТО ИМЕНИ ЛОРЕНСА СТЕРНА 488
Глава 42. ВАГОНОВОЖАТЫЙ 496
Глава 43. РЕФЕРЕНДУМ 506
Глава 44. ПОКУШЕНИЕ 519
Глава 45. ТЕАТР ДЕДУШКИ ЙОРИКА 532
Глава 46. СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ 544
Глава 47. СУД 550
Глава 48. ИСЦЕЛЕНИЕ 562
ЭПИЛОГ 574

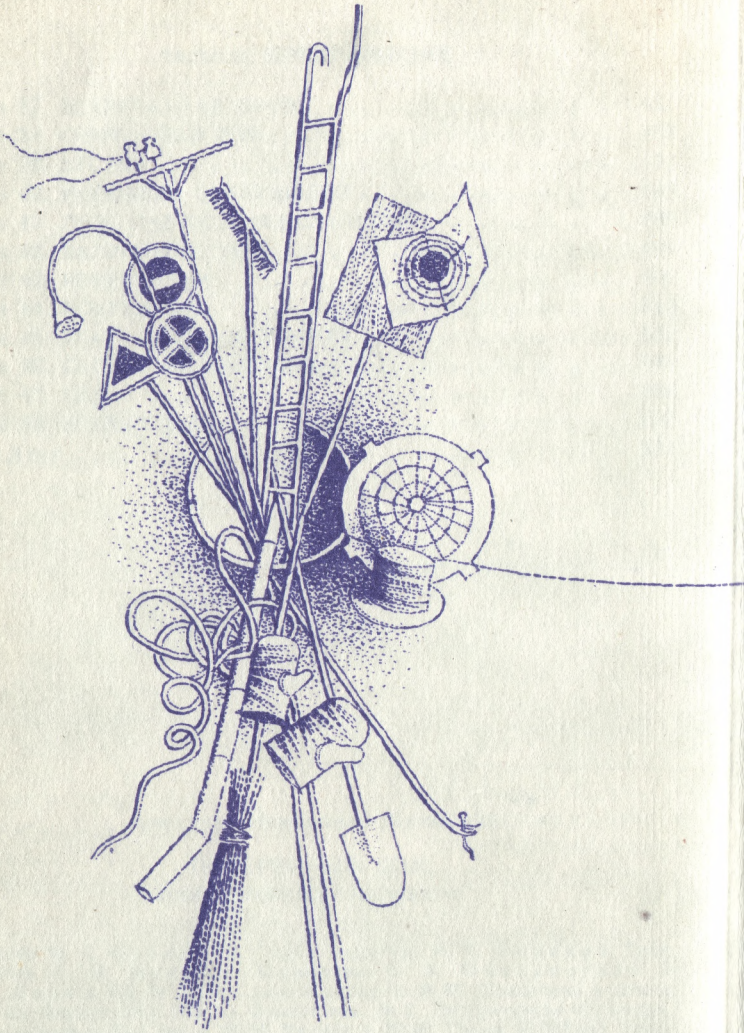
Александр Николаевич Житинский

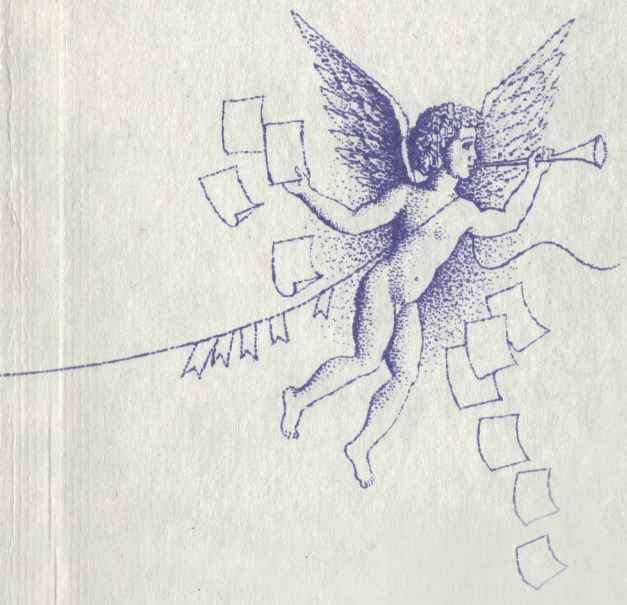
ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ,
ИЛИ РАЗГОВОРЫ С МИЛОРДОМ

Редактор И. С. Кузмичев. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Г. В. Мисюль. Корректоры Е. А. Омельяненко и Э. Н. Липпа. ИБ № 7129. Сдано в набор 05.08.88. Подписано к печати 20.03.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 30,66. Уч.-изд. л. 32,50. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1681. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.





2р.30к.

Александр Житинский

ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ, или Разговоры с милордом